ISSN 0130 – 6545

11. 1979

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГАБРИЭЛЬ БРАЧО. Венесуэла.
Демонстрация.

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА.

11 Ноябрь 1979

Содержание

Новые переводы

НИКОЛА ВАПЦАРОВ — Стихи *(Перевод с болгарского Евг. Винокурова)* 3

Рассказы монгольских писателей

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ. САНЖИЙН ПУРЭВ. ДАМБЫН ЦЭМБЭЛ. ДОРЖИЙН ГАРМА. ЖАМЬЯНГИЙН ГАЛ *(Переводы Б. Намжилова, Х. Мэргэна, Джангара Пюрвеева, Л. Скородумовой)* 5

Молодые поэты Панамы

АГУСТИН ДЕЛЬ РОСАРИО. БЕРТАЛИСИЯ ПЕРАЛЬТА. ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС *(Переводы с испанского В. Темкина, О. Островского, О. Волгиной)* 31

АНХЕЛЬ МАРИЯ ДЕ ЛЕРА — Продается человек *(Роман. Окончание. Перевод с испанского Вероники Спасской)* 37

МИКЛОШ РАДНОТИ — Стихи (К 70-летию со дня рождения и 35-летию со дня гибели. *Перевод с венгерского Давида Самойлова. Вступление Е. Малыхиной)* 120

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА — Тетушка Хулия и писака *(Роман. Перевод с испанского Л. Новиковой)* 125

Критика

МАЙК ДЭВИДОВ — Филип Рот — несбывшиеся надежды *(Перевод с английского И. Гуровой)* 193

Заметки писателя

ЖАН БРИЕР — «Если крик ранит птицу...» (Панорама гаитянской литературы. *Перевод с французского Александра Карлова, послесловие Мориса Ваксмахера)* 201

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС — Дом, с которого все начинается (Заметки о молодой панамской поэзии. *Перевод с испанского Н. Булгаковой)* 209

Культура и современность

Заметки на полях

Т. Ротенберг — Вниз по «лестнице совершенства» 217

Публицистика

София-79: мир — надежда планеты

Из материалов второй Международной писательской встречи (Окончание) 222

Год 1919-й. Слово писателей советской Венгрии *(Вступление и перевод с венгерского О. Россиянова)* 237

«Борьба, как говорят, эпична...» Последние дни Николы Вапцарова *(Вступление и перевод с болгарского Н. Глен)* 244

Антирубрика

ЯНУШ КРАСИНЬСКИЙ — Дырка в занавесе *(Перевод с польского Зинаиды Шаталовой)* 254

Немецкая сатирическая эпиграмма *(Перевод с немецкого Вальдемара Вебера)* 259

ЗИНОВИЙ ПАПЕРНЫЙ — Долгожданная книжка (Маленькая рецензия) 260

Наши гости

В. Перехватов — Хулио Травиэсо (Куба) 262

Среди книг

Издано в СССР

Святослав Бэлза — Горизонты поэзии Доната Шайнера ✦ Возвращение в край морошки (Беседа о творчестве Сары Лидман) 264

Издано за рубежом

Зарубежная критика о русской и советской литературе. В. Турбин — А. С. Пушкин: диалог с миром. У. Гуральник — С верой в возможности искусства ✦ Золтан Шимон — Еще одна книга из серии «Открытие Венгрии» ✦ Т. Балашова — Радуга над Марселем 268

Из месяца в месяц 276

Авторы этого номера 286

На обложке: ДИМИТРИЙ ТАЛАГАНИС (Греция). Плакат.

© «Иностранная литература», 1979.

НИКОЛА ВАПЦАРОВ

■

Перевод с болгарского ЕВГ. ВИНОКУРОВА

Прощальное

Словно гость в твои сны я приду на заре,
Как нежданный твой гость, поверь,
Не оставь же меня тогда там, на дворе,
Не запри на щеколду дверь.

Я войду. Буду тих, как в былые года,
Посижу у тебя на виду,
А когда на тебя насмотрюсь я, тогда
Поцелую тебя и уйду.

■ ■ ■

Да, у борьбы жесток закон:
Что ей какие-то там лица!
Я пал. И — вот другим сменен,
Ну что там значит единица!

Расстрел. И после — в немоту.
И черви. Что же здесь такого!
Но, мой народ, мы в битву ту
С тобою будем вместе снова.

История

Что дашь ты, история, нам
с листов пожелтевших своих,
твоим неизвестным сынам
из офисов и мастерских?

Мы были крестьяне — не зря
любой из нас в поте прокис.
Мы жили, весь свет матеря,
усы опустивши вниз.

История, славить должна
нас за такой удел:
ведь ты напилась допьяна
кровью растоптанных тел!

Контур лишь можно схватить,
но вот возьми опиши
то, чего не уловить:
тайну одной души!

Поэты освоят пусть
агитки и громкий стих,
а наша неспетая грусть
в пространствах потонет пустых.

Была ли нам жизнь дана,
чтоб ее отрывать, как клад?
Копнешь — и будет она
коптить и горчить, как яд.

Рождались, где во поле путь
пролег. И лежа бочком,
мать все пыталась лизнуть
губы сухим языком.

Мерли, как мухи в мороз,
и был на поминках вой,
и песню ту, полную слез,
слышал бурьян полевой.

Что делать? Мы неспроста
себе надрывали пуп.
И труд наш, как у скота,
был монотонен и туп.

«Так было, будет века!..» —
твердила старцев толпа.
А мы не жалели плевка
на мудрость их, что глупа!

И мы в досаде подчас
вставали из-за стола,
надежда улиц для нас
прекрасна была и светла!

О, как мы умели ждать
в кофейнях с чашкой в руке,
мы ночью ложились в кровать
с последними коммюнике.

Баюкала нас мечта.
О, как небосвод давил!
Давила нас духота:
не можем терпеть! Нет сил!

Книгу сдадим в печать.
И каждой нашей строкой
боль наша будет кричать,
скалить зубы с тоской!

Била нас жизнь кулаком,
била нас жизнь, подмяв.
И трудно нам с языком —
потому наш язык коряв!

И стих наш, увы, простоват
и мрачен бывает порой,
и в нем не духов аромат —
запах земли сырой.

Награды? Мы скромны весьма.
Не нужен нам в книге портрет...
Что ж, люди тома и тома
создали за тысячу лет!

История! Начистоту
ты все расскажи, как есть,
сменившим нас на посту,
что мы сохранили честь.

■

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ

О чем шепчет ветер Родины

Той осенью я побывал в родных местах. Проходят чередой годы, странствуешь вдали, но каждый раз возвращаешься в воспоминаниях к земле, где ты родился. Таков уж обычай людской. И айл, и аймак[1], и родичи, и радости и печали детства, и первая любовь — все хранит память, и хоть порой она утрачивает драгоценные эти свидетельства в своем долгом пути по жизни, вдруг иногда возникают в ней видения, от которых щемит сердце. Это чудо врачует, когда тобой владеют грусть и печаль, оно указывает дорогу, когда ты в тупике, помогает постичь, отбросив сомнение, давние события и проясняет смысл тех немногих слов почтенных стариков, которым ты не внял прежде. Зачем пренебрегать опытом бытия своего, считая его обыкновенным и скудным...

В людских судьбах, необычных или совсем простых, во всем увиденном или пережитом самим тобой есть обязательно некий смысл, который может преподать тебе урок в будущем. Когда от воспоминаний о прошлом щемит сердце, то порой пробуждается вдохновение и пером твоим движет то, что ты хочешь поведать людям о жизни.

Той осенью я ехал в надежде отдохнуть, сбросить напряжение, рожденное упорной работой ума. И надежды мои сбылись. Поднимаясь по знакомой дороге на перевал,— уж не вчера ли проскакал тут иноходец моего детства? — я воскрешал в себе то первое, еще смутное желание покинуть родное гнездо и взлететь ввысь, а когда я взглянул на лучистые белоснежные вершины и теплую синеву гор, все забытое и утерянное собралось воедино, обернувшись дождевыми облаками, способными окропить засуху памяти. Это настоящее счастье. Возвращаются, курлыча, улетевшие когда-то, казалось безвозвратно, твои «Солнечные журавли» [2], и слышится в ветре Родины, все отдаляясь, глухо и не очень отчетливо, голос дорогого тебе человека, наивно рассуждающего о будущем в летнюю ночь, когда мы ехали с сомонного праздника, ехали рядом, и стремена наши, касаясь, постукивали друг о друга. Вспоминают о прошлом не потому, что нечего сказать о нынешнем. Жизнь человека с начала и до конца — драгоценная нить, что хранит все и вся. И надо только стараться не прерывать ее.

---

[1] Административно-территориальные единицы. *(Здесь и далее примечания переводчиков.)*

[2] «Солнечные журавли» — новелла С. Эрдэнэ, навеянная воспоминаниями о детстве.

Небольшое обо [1] на перевале тоже нанизано на эту нить. Сколько раз спешивался я здесь, сколько раз отъезжал я отсюда. И печальным, бывало, отъезжал, и радостным. Тридцать с лишним лет назад, навьючив на послушного пегого коня плохонькое седло без подушки, храня в тороках боорцог [2] и арул [3], пустился я в путь-дорогу через перевал, чтобы стать учеником сомонной школы. А кто я теперь? Кажется, была такая песня: «Вспомню Родину и словно заново рождаюсь...»

Я ненадолго присел возле обо. События многих лет оставили на его камнях свои метины. Потрепанные хадаки — цветные тряпочки, конский волос на шестах. Заржавленные монетки. Какие же из них мои, детские? Облизанный ветром череп косули, гильзы, брошенные охотником. Пустые бутылки из-под архи, баночки из-под губной помады. И вообще здесь все, чему положено быть скрытым от людских глаз, и давнее и совсем недавнее. Несколько лет назад произошли значительные хозяйственные перемены, и люди покинули окраину. Но дорога еще не заросла. Проносятся из Тувгора, прогибая верхушку перевала, тяжелые лесовозы. Дороги всегда были узами, связывающими человека и землю.

Любая дорога непременно куда-то приводит. Знакомая дорога, как друг, надежна и верна. Дорога же родной земли, пыль которой ты взметал с малых лет, проходит через твое сердце. И неожиданно всплывает в памяти: вот то место, где тридцать лет назад ты спешился, чтобы подтянуть подпругу. Случайный прохожий, с которым ты встретился на этой дороге и перемолвился словом, до сих пор еще живет в твоей памяти и, более того, оставляет какое-то неуловимое чувство жалости. Чалый конь бренчал серебряными удилами, отмахиваясь от мошек, а его хозяйка, исхудавшая от летнего зноя, грустно, потупив взгляд, говорила, словно просила поддержки: «Я остаюсь здесь... Что мне еще... Вот так и становятся чужими».

Дорога... дорога... Ты привела меня в детство. Онон, Балж, Кумэль — за тремя реками колыбель моя,— привольная и широкая, звонкая голубая долина Прохлады и Огня.

К счастью, родился я в прекрасном крае. Еще в младенчестве родная природа привносит в душу твою благозвучье мелодий, а позднее, когда ты взрослеешь, перед твоими глазами всегда возникают ее картины и образы, и она, именно она дает толчок твоим думам. Человек всем своим существом постигает природу, сливается с ней. И разве столь капризное таинство, как вдохновенье, не рождается во все времена и у всех людей на земле прежде всего от соприкосновения с природой?..

Или, может, оно рождается болью воспоминаний о Родине? Проходят годы, я делаюсь старше, а эта боль во мне все острее... Как хорошо было бы съездить с детьми в Тооноту. Но почему-то всегда что-то житейское мешает столь дальней дороге, да и дети не очень-то сочувствуют этому «недугу» отца.

Долго сидел я на месте нашего последнего летнего стойбища на берегу Прохладной реки. Все заросло бурьяном. У соседей по кочевью такая же картина. Остались лишь столбы для привязи, полуразвалившийся сарай да кое-где изгородь. Я стал припоминать, где здесь чье... В памяти возникли образы знакомых до боли людей. А сколько незабываемых стариков! Кто еще жив, кто умер, их все меньше и меньше. Какие мы, их наследники? Ну что ж, ведь и деревья в горах бывают и

---

[1] Груда камней на перевале, сложенная согласно поверьям в честь духа горы.
[2] Род печенья.
[3] Сушеный творог.

высокими, и низкорослыми, людское же племя тоже бывает разное, но все же большинство из нас живет как подобает.

Не прошлое, а природа, хранящая воспоминания детства, старики и предки влекут меня к нашему стойбищу. Ведь это закон для поколений — добром поминать родительское добро. Старики сохранили для меня мудрость предков, а друзья были верной опорой, когда я заносил ногу в стремя скакуна дальних странствий. Отсюда, с прежней нашей Родины, я посылаю с ласковым осенним ветром всем им слова любви и благодарности. «С душами предков беседую»,— подумалось мне, и я вспомнил, что Расул Гамзатов когда-то в молодости попрекнул предка своего Шамиля, а позже в поэме «В горах мое сердце» попросил у него прощения. Когда ветер принесет мне слова кого-то из наших стариков: «Сын Сэнгэ, каким человеком ты стал?»— я, не скрывая, скажу о хорошем и о плохом. Но, наверное, я еще не стал таким, как они,— не отделяющим заботы свои от чужих.

Там, левее, летнее стойбище Дархана. Мне было лет десять, и я только начинал свою жизнь, когда он скончался. Думая об этом старике, я написал «Механизм для поездки в рай». Вот сейчас он выйдет, сгорбившись и чуть косолапя, взглянет хитрым прищуренным глазом из-под своих круглых очков в медной оправе и скажет: «Сынок, коли есть у тебя в тороках чашка, вытаскивай!» Это был мастер с чистой и нежной, как у ребенка, душой, со светлым умом бурхана[1].

С южной стороны густой лес. Он разросся и вплотную подошел к пастбищу, где пасли телят жители нашего летнего стойбища. Заросла, исчезла дорога, по которой возили дрова. Память услужливо подсказывает: из густого леса, ведя на поводу коня, запряженного в телегу с дровами, выходит дедушка Шо, как я про себя называл его. В знакомом дээли из овечьей кожи, всегда улыбающийся и тоже добрейшей души человек. Я помогал ему копнить стога в сенокос, а потом ночью слушал рассказы его про охотников. Помню, как однажды я напугался, когда из-под подушки вместо его трубки вытащил змею.

Из раннего детства можно вспомнить тысячи историй, подобных этим. Но почему они остались в моей памяти? И почему мне так грустно, что даже навертываются слезы? Дорога моей жизни началась здесь, думал я о самом начале и о том, что было позже, сравнивал и размышлял, но все же эта земля оставалась для меня самой лучшей.

Есть что-то такое, о чем не скажешь людям, но можешь доверить земле. Родине, той, где я родился, откуда я вышел, я шепчу самое сокровенное... Мои зеленые долы Жаргаланта и Прохладное птичье озеро! В детские годы, когда собирал я ваши саранки и ел их сладкие корешки, когда я купался в ваших водах, я думал о том, какие великие дела я совершу, каким необыкновенным человеком я стану. Это были прекрасные минуты. Что ж, детские мечты не всегда сбываются! Я не достиг мудрости родителей, я не сделал и половины задуманного. Уйма незавершенной работы, множество неосуществленных замыслов. Но если это есть у тебя, то, значит, есть мечты, есть желания. И это уже хорошо. Хоть сделанное и не всегда достигает меры задуманного, хочется, чтобы оно не пропадало впустую. Мы родились в этих чудесных местах, обремененные долгом перед людьми, перед Родиной. Родина! Обещаю тебе, что вся моя жизнь будет отдана исполнению этого долга!

В жизни я не смог обойтись без ошибок и заблуждений. И если когда-то неудачным словом или неразумным поступком я обидел людей, что живут и трудятся вместе со мной на этой земле, то я прошу у них извинения, посылая его с ветром моей Родины. Человек — это главное на земле. Ему надо верить и поклоняться. Ты достиг всего

[1] Мудрец.

благодаря помощи добрых друзей, что выросли рядом с тобой, и многих-многих других, что берегли тебя и были тебе опорой. Кем бы ты стал, если бы заботился лишь о себе? Всегда помни слова великого Горького: «...в тяжелые часы усталости духа я вызываю перед собой величественный образ человека».

У источника рядом с одиноким деревом серые журавли. Может, это знакомцы твоего детства? Может, они прилетели, чтобы напомнить тебе о первой любви, о солнечных журавлях... Журавушка-журавель! Пошли мне долгую жизнь! Даруй мне светлый ум! Пусть будет жизнь моя честной и справедливой!

Быстро промелькнуло время. И чему же тут удивляться? Мы — дети степей Монголии — поколение XX века, и у нас рано поседели виски. Но разве моя поездка на Родину — бегство от наскучившей городской суеты и шума? Разве это тяга вернуться к однообразной и спокойной жизни прежнего худона[1]? Вовсе нет. Старик кузнец, мастеривший «механизм для поездки в рай», для меня столь же дорог, как и первый космонавт. Я был на Красной площади, когда хоронили Юрия Гагарина. Улыбка Гагарина известна всему миру, трауром был окаймлен его портрет, на котором он улыбался, и моя душа была затянута трауром. И тогда во мне родился замысел «сказки» о мальчике, который ясной ночью с берега Онона увидел спутник в небе своей Монголии. Жизнь идет своим чередом. Свидетельство безвозвратно ушедшего прошлого — эти покинутые стойбища. Кажется, еще совсем недавно было время, когда наши люди с великим страданием уходили с насиженных мест, а сейчас они строят новую жизнь.

Мы, когда-то загорелые дочерна малыши, что целыми днями плескались в тинистой воде Прохладной реки и прятались в зарослях бурьяна и репья летнего стойбища, сейчас полнокровно живем и трудимся в городах и селах нашей Монголии.

Родная земля! Родные воды мои! Я пришел к вам как сын. Вы подарили мне мысли и веру.

Перевод Б. НАМЖИЛОВА

[1] Село.

САНЖИЙН ПУРЭВ

Забытая пора весны

К концу апреля в Великой Гоби задул теплый ветер, и далеко-далеко, там, где небо сливается с землей, зыбко задрожали миражи. Возле оазиса, который пережил многолетние жестокие засухи, пасутся линялые, голые верблюды с побелевшими от солончака боками. Одни мирно лежат, повернув головы навстречу ветру, другие стоят, общипывая жесткие, облетевшие на

ветру колючки. Тут, у этого оазиса, сменяются времена года, и верблюды переживают пору своей весны.

К северу от оазиса, на террасе — большая юрта знаменитого на всю округу верблюдовода — сурового, опаленного солнцем старика. А возле нее, тоненько попискивая, топчется привязанный к колу верблюжонок.

Тоскливый плач верблюжонка, подхваченный суетливым ветром, доносится наконец до слуха старой верблюдицы, и сердце ее замирает от жалости. Она стоит неподвижно, кажется, будто ей уже невмоготу носить свое усталое, старое тело. И впрямь, в стаде она — самая старая. Дитя далекой счастливой весны, она уже сама дала жизнь целому стаду — в нем она старшая и самая мудрая и потому знает, когда ему время отдыхать, а когда время пастись. Снег, гроза, солнце, ветер — все это давно ей прискучило. Но всегда волнует ее плач верблюжонка, звенящий над молодой гобийской травой. Бурая верблюдица стоит, изредка помахивает хвостом, и при каждом вздохе вздымается ее большое серое брюхо. Ветер обдувает дряблые, вислые губы. На висках бьются вздувшиеся жилы—они спускаются книзу вдоль шеи и переплетаются на груди. Верблюдица переступает с ноги на ногу, разминая замлевшие под тяжестью тела суставы.

Да, далеким сном обернулась теперь пора ее молодости. Вокруг, насытившись свежей травой, отдыхают верблюды, то и дело поглядывая на миражи синих хребтов.

В другом конце стада лежит черный самец. Прошлой зимой, когда камни раскалывались от стужи, он праздновал брачный гон. Обезумевший от страсти, с открытой пастью, носился он тогда с диким ревом и пугал все окрест. А сейчас он лежит исхудалый и вконец обессилевший. Да, немало потрудился на своем веку черный самец!

Старая верблюдица покосилась на него краем глаза и испытала привычный страх. А ведь было время, когда она кидалась к нему, привороженная его могучей силой. Какое счастливое было время! Она паслась в широкой степи, рожала своих верблюжат на весенних террасах, берегла и лелеяла их, а услышав за далекими холмами их плач, бежала на него тряской рысцой.

Черный самец встал, передернул горбами и, обратив взгляд к далеким вершинам, стал мочиться. В такой позе теперь застывал он надолго. И только шаловливые верблюжата могли нарушить его покой. А ведь еще прошлой зимой, когда свистящей пеленой кружились метели, метался он по степи, оглашая утробным ревом окрестности. Зад его тогда был покрыт толстым панцирем мерзлой мочи, и широко вокруг тянуло от него удушливым запахом мускуса. Как бешеный зверь бросался он на молодых самцов стада, среди них не было ему равных, и потому обессилел он раньше других.

Вечернее солнце уходило за горы. Верблюды, повинуясь во всем черному великану, послушно брели вдоль русла замерзшей реки, едва успевая на ходу обрывать верхушки колючек. Черный самец, почуяв на расстоянии бурую верблюдицу, издал трубный рев, подобный летнему грому, и стал приближаться к ней. Но бурая была уже слишком стара для брачных игр. Сердце ее сжалось от страха. Чтобы не раздразнить самца еще пуще, она медленными шагами стала отступать от него. Потом бросилась прочь. Мелькая, позади оставались кочки, кусты, холмы. За бурой по пятам гнался самец. От его дыхания, казалось, покрывались инеем горы. Самец настиг бурую и цепко схватил ее зубами за пяточное сухожилие. Передние ноги верблюдицы бессильно подкосились, оскользнувшись о гальку.

Вечернее солнце двумя золотыми звездочками сверкнуло в ее

зрачках, потом звездочки постепенно стали тускнеть и тускнеть, пока не закатились совсем.

Сейчас забыты и эти бурные минуты...

Черный самец чуть отошел и отряхнулся, перебирая тощими горбами. Время скрутило и этого великана. Бурая верблюдица снова поглядела в его сторону, но на этот раз уже не ощутила страха. Взгляд ее скорей был равнодушным. Тоскливый плач верблюжонка, привязанного у юрты хозяина, отзывался в ней тревогой. В старости, куда ни кинь глазом, все рождает тяжелое чувство прощания. Бурая верблюдица посмотрела на гряду синих хребтов Дарвийн, окаймляющих степь. Теперь и думать нельзя о переходе через эти горные цепи: круты и непреодолимы их перевалы. А сколько раз одолевала она их с тяжелыми вьюками между горбов, послушно следуя за хозяином! С годами силы стали ей изменять, на нее быстро находила усталость, после долгих переходов деревенели ноги. Когда такое случалось, хозяин, схватив ее за морду и увертываясь от плевков, вливал ей в рот крепкой архи, которая преображала ее. И тогда перевал, над которым хороводились звезды, давался ей без труда. Верблюд, глотнувший водки, мог бы, пожалуй, и океан переплыть.

А теперь горы лишь навевают уныние.

У бурой верблюдицы есть только одно неизменное чувство. Его вызывает тоскливый плач белого верблюжонка, рождающий грустные слезы на старческих материнских глазах.

Степь уже поросла свежей травой. В чистом небе широко вокруг раздаются неугомонные птичьи крики. Снова пришла весна в родную Хойсын-Гоби. Издавна знакомы верблюдице волнующие запахи трав, она выросла в этой степи. Чуть южнее оазиса когда-то родила она верблюжонка. Тогда все стадо, желая чем-то облегчить ее муки, неподвижно стояло вокруг нее, как бы подпирая горбами бесконечное, низко нависшее над ней небо, которое, казалось, хотело раздавить ее. Бурая верблюдица билась от боли на мелкой гальке, омывая слезами отраженные в ее глазах солнце, горы и небо. Наконец родила она красивого верблюжонка с маленькими, словно две шапочки, горбами, а на макушке у него торчали редкие волоски. Плюхнувшись на землю, он изо всей мочи пытался подняться, но его передние ноги беспомощно увязали в сыпучем песке, а задние совсем не сгибались. Новорожденный неуклюже и долго барахтался возле матери.

Его рождение обрадовало стадо. Сгрудившись вокруг, верблюды тянулись к нему, обнюхивали его, но мать ревниво охраняла своего верблюжонка, сердито мотала головой и била о землю копытом.

Шло время. Малыш заметно подрос и жил уже в стаде. Но вдруг весна изменила себе: повалил снег, началась злая пурга. От непогоды верблюды укрылись в оврагах. Бурая держала своего малыша возле себя, своим теплом защищая его от студеного ветра. Прошло четверо суток, мрачных как бездна. На пятый день верблюды пришли на небольшую, уже заброшенную стоянку и залегли, тесно прижавшись друг к другу. Здесь-то и умер ее верблюжонок. Из чистых глаз матери катились горькие слезы, и к синему небу поднимался плач прощания. Из разбухшего вымени сочилось уже никому не нужное молоко и свертывалось на песке.

Самки стада, слыша плач своих верблюжат, не уходили на дальние пастбища, и только бурая верблюдица роняла свои одинокие слезы на степную траву. Где-то тут поблизости и то место, где расстался с солнечным миром ее озорной верблюжонок.

Погрузившись в воспоминания, бурая верблюдица стояла и глазами, полными слез, смотрела на Великую Гоби, которая даровала ей и ее детям жизнь. Как светло и ярко вокруг!

Снова в этот мир вернулась весна, и снова пришло время верблюдицам приносить потомство. Сейчас Бурая должна отсюда уйти. Она должна дойти до далекой долины, защищенной от ветров горами, и родить там своего последнего верблюжонка.

Бурая побрела вдоль пригорка. С каждым шагом тяжелели ее ноги и цель, казалось, все более отдалялась. Губы ее, которыми она недавно лизала солончак, пересохли. Все дальше и дальше уходила она от своего бурого стада.

Она взошла на пригорок, на нее повеяло пряными гобийскими травами, и она оглянулась. Ее стадо бежало за ней, за своей матерью. Перебравшись за пригорок она припустила из последних сил дальше, чтобы скрыться от стада. Дыхание и жизнь ее были уже на исходе.

Жизнь — это мгновение — пронеслась сквозь нее, как строптивый апрельский ветер, что свистел в ее гриве.

Синие горы счастья

Кочевье двинулось из Гоби на рассвете, чтобы пройти часть пути по утренней прохладе. К полудню оно наконец достигло подножья горы. Впереди, растянувшись по тропе, бредут коровы. Долгая дорога их утомила, они разминают шеи, вскидывая кверху рога. Возле своих матерей перебирают тонкими ножками и вертят влажными мордочками телята, которые еще ни разу не проходили через Гоби, не преодолевали горного хребта. За ними, взметая коричневую пыль, неторопливо бредут овцы, принадлежащие хозяевам обеих юрт. Гэрэлма о чем-то призадумалась, слушая маленький радиоприемник, прикрепленный к луке седла.

В этом году Цогтбаяру исполняется восемнадцать лет, он уже почти взрослый мужчина, но все еще не решается открыто смотреть на Гэрэлму. Юность одаривает человека и силой, и ловкостью, и прекрасными чистыми порывами, но при этом вселяет в него и застенчивость, и робость перед девушкой.

По древнему обычаю, караван ведет мать Цогтбаяра, смуглая, крепкого сложения женщина. Подергивая за повод головного верблюда, старого белого кастрата, у которого вечно слезятся глаза, она едет, слегка склонившись набок. Под ней смирная лошадь из табуна: неразумно пускаться в дальний путь на норовистом коне, слишком много хлопот с ним. В двух корзинах, навьюченных на белого верблюда, сидят братишки Цогтбаяра, близнецы. Легкий встречный ветер обдувает их лица, они увлеченно играют, позабыв про усталость. Рядом с караваном бежит облезлая черная собака. Она так стара, что вряд ли выдержит еще одно кочевье. Собака вяло трусит, спотыкаясь о камни, однако это не мешает ей обнюхивать придорожные кусты. Ей тоже хочется увидеть еще одно лето в прекрасных прохладных горах. Верблюды каравана, втянув шеи и раздувая ноздри, тяжело поднимаются в гору. Где-то посередине каравана, покачиваясь от мерного шага коней, о чем-то беседуют отцы Цогтбаяра и Гэрэлмы. За последним вьючным верблюдом едет стройная, еще сохранившая красоту молодости Чулун, кроткая и сердобольная женщина. Лицо ее в едва заметных пятнах. За всю свою жизнь она родила единственную дочь, Гэрэлму. Чулун каждый год замыкает караван, она следит за вьюками, подтягивает ослабевшие ремни, подправляет накренившуюся ношу верблюда.

Когда дорога свернула в тесную долину хребта Дарвийн, на путников и скот пахнуло свежей прохладой воды. От юрт, белевших на северной террасе возле реки, как стрелы вылетели навстречу карава-

ну собаки, злобным лаем оглашая всю долину. На шум вышли из юрт люди. Женщины и дети, с кувшинами чая, с едой на больших тарелках, направились к каравану. Мать Цогтбаяра, Ханд, натянула поводья лошади, и весь вьючный скот остановился, принялся разминать уставшие ноги. Верблюды с удивлением смотрели поверх гор, будто видели их впервые. Некоторые мочились, и желтые струи ручейками стекали по траве. А раз была трава, значит, здесь шли дожди, значит, земля в этих местах напоена водой. Гэрэлма и Цогтбаяр, томимые жаждой, подъехали к каравану.

Путники, обливаясь потом, пили оранжевый от густой заварки и молока чай. Эрдэнэ достал свою длинную трубку с мундштуком из халцедона, закурил.

— Видели мы, часто в горах белело от гроз. Это хорошо, что дождя много — скот разговеется,— сказал он.

— Мы знали, что вы не сегодня-завтра придете в горы. Старик наш совсем вас заждался. Сегодня он за вьючными верблюдами поехал. Тоже думаем перекочевать, в такой духоте не усидеть,— глухо и монотонно проговорила маленькая женщина, угощавшая гостей. Сынишка женщины, уцепившись за ее подол и выставив из-за ее спины круглое, пухленькое личико, смотрел на всех удивленными, широко раскрытыми глазами. Мать мальчонки, взглянув на Цогтбаяра, сказала: — Ох и вырос ваш сын! А ведь совсем недавно сидел в корзине, как и его братишки,— и она понюхала макушки близнецов. Авир с одобрением посмотрел на сына.

— Да, растет. Но десять верблюдов ему еще не под силу навьючить. Вот отслужит в армии — там и силенок наберется и ума.— Он отломил большой кусок пенки[1] и положил себе в чай.

— Значит, ждали нас? Даже отложили, говорите, перекочевку?— спросил отец Гэрэлмы.

— А как же не ждать. Вы ведь через Гоби кочуете, а это дело не простое. И хороши бы мы были, если бы откочевали, не встретив вас чаем. Что бы люди сказали? Такое не принято в наших краях,— отвечала маленькая женщина, разливая чай.

— А куда вы собираетесь на лето откочевать?

— На склон Майхана. Старик что-то говорил о Майхане.

— Вот хорошо! Хоть одно лето соседями будем. Весело заживем.

Кочевье тронулось дальше в путь. Авир, затягивая подпругу, сказал:

— Дети, коров так оставьте: они уж как-нибудь сами перевал одолеют. А вот овец гоните да за козами присматривайте. Козы, они прыткие по скалам бегать, заберутся на склоны — тогда уж их не согнать вниз.

Синий шелковый платок и плечи потертого тэрлика[2] Гэрэлмы покрылись пылью, поднятой копытами бредущего скота. Две косички, доходившие до седельных ремешков, делали ее похожей на школьницу. Вот только лент в косах не было. К тому же она выросла и стала так хороша, что притягивала к себе взгляды. Цогтбаяр и Гэрэлма ехали стремя в стремя и, когда догнали отару, остановили коней, оглянулись. Там, далеко внизу, в Хойсын-Гоби переливался голубой водой мираж, размывая волнами то место, где небо встречается с землей. Если приглядеться, вдали синеет дымка, едва касаясь горизонта, а над ней небо светлое и чистое. Где-то там родилась Гэрэлма.

— Погоним отару с двух сторон,— предложила Гэрэлма.

Цогтбаяр, втянув голову в плечи, ухватился за луку седла. Он вдруг сразу сник от этих слов.

[1] Кушанье из снятого молока.

[2] Летняя национальная одежда.

— Давай гнать вместе,— едва слышно сказал он.

— А что родители скажут?

— Родители?.. А может, мне твой приемник охота послушать.

— Тогда возьми себе.— Гэрэлма сняла с луки седла приемник и протянула Цогтбаяру.

— Зачем он мне? — буркнул сердито Цогтбаяр.

— Уж не задумал ли ты увиваться за мной? Помни, я старше тебя. Да про родителей помни, они следом едут.— Гэрэлма отвернулась, и было видно, как в беззвучном смехе затряслись ее плечи.

— Если бы ты родилась раньше меня хотя бы месяцев на шесть, тогда могла бы такое говорить,— сказал он и тут же с опаской оглянулся, не слышат ли родители его слов, но караван бурой сороконожкой уже начинал вскарабкиваться на склон далеко внизу. Он вдруг выхватил из рук Гэрэлмы поводья.— Вот пущусь галопом и тебя за собой увлеку! — пригрозил он.

— А я сойду с коня и останусь.

— За твоим языком не угнаться.

— А за твоими мыслями и подавно.

И они оба громко расхохотались, а потом еще долго смеялись. Гэрэлма поглядела на громоздившиеся впереди скалы.

— Посмотри! — воскликнула она.

Коза по кличке Слива, возглавляя все стадо, устремилась в горы.

Если козы взберутся на скалы, никакая сила не повернет их назад, они, словно огонь, вспыхнувший у подножия дерева, будут карабкаться все выше и выше. Цогтбаяр подстегнул коня и поскакал к Сливе.

— Эй, Цогоо! А приемник разве не возьмешь с собой? — крикнула ему вслед Гэрэлма. «Ну, погоди! — пробормотал про себя Цогтбаяр.— А может, я что лишнее сказал?» — с тревогой подумал он. «Он был такой тихий в школе. Слова из него не вытянешь. А теперь такие разговоры заводит, прямо его не узнать. Странный он парень»,— подумала Гэрэлма, не отводя глаз от скачущего Цогтбаяра. С тех пор как кончили школу, они уже успели отвыкнуть друг от друга. В душе Гэрэлма затаила обиду на Цогтбаяра — очень он невнимателен был к ней. Во всяком случае так ей казалось.

Но ссориться они не ссорились, летом по очереди ходили пасти овец обеих юрт, смеялись, когда было весело, грустили, когда было грустно,— и так росли вместе под солнцем и под ветрами Алтая.

Цогтбаяр согнал в долину взобравшихся на склон коз и подъехал к Гэрэлме. Некоторое время они ехали шагом, отпустив поводья, а когда поравнялись с заброшенной стоянкой, заросшей крапивой и бурьяном, Цогтбаяр кивнул на обвалившийся каменный загон и сказал:

— Давай построим здесь новую стоянку?

— Строй, если хочешь.

— Я серьезно.

— И я не шучу. Гляди, снова красная коза на склон побежала!

— Пускай, далеко не убежит. Я хочу с тобой поговорить.

— Я музыку слушаю. Ты вроде тоже хотел послушать? — улыбнулась Гэрэлма. Она старалась казаться равнодушной, но искорки в глазах говорили о том, что она слушает вовсе не музыку.

— Выключи приемник, батареи сядут.

— Ну и ладно. Пускай поет, так веселей.

Они поднимались вверх по склону, все приближаясь к прохладному голубому небу.

Когда караван поравнялся с этой заброшенной стоянкой, отец Цогтбаяра подъехал к своей жене.

— Ну что, Ханд, устала? — спросил он.

Со стороны казалось, что за двадцать лет супружеской жизни они

уже обо всем переговорили — такие оба были неразговорчивые. Ханд удивленно посмотрела на мужа.

— Что это с тобой сегодня?

— А помнишь, Ханд, юрта твоего отца стояла вон там, на восточной стоянке, а наша напротив — на западной. А ведь хорошо было тогда, а?

Ханд выпрямилась в седле. Хотя она ласково смотрела на мужа, но голос ее звучал жестко:

— Вспомнил, как ты тут позабавился?

«А ведь в молодости мой Авир был красавец хоть куда. Нельзя было его не любить»,—подумала Ханд, нежно глядя на загорелое лицо мужа.

— Что ты говоришь — позабавился! Разве мы от этого хуже стали? У нас, гляди, три прекрасных сына. Таков закон жизни. Уж сколько лет прошло, как мы покинули стоянку. Загон наш совсем обвалился, крапивой и бурьяном так зарос, что только пятачок остался.

— Будь ты поумней, привел бы в порядок стоянку, вместо того чтобы меня сторожить. Не мы — так другие сюда приедут. Верно говорят, никчемный мужчина все возле юрты вертится.— Ханд испытующе посмотрела на Авира. Из крапивы с шумом вылетели воробьи и, сев на кошару, стали чистить перышки.

«Мы с ним слишком любим друг друга, чтобы ссориться из-за пустяков. Он отец моих сыновей, мужчина, который из моей одной жизни четыре горячих жизни сделал. Мне бы лучше попридержать язык»,— думала она.

— На будущее лето сюда приедем. После смерти отца мы ведь ни разу не заезжали на эту стоянку. Я все думал: тяжело будет жить на месте, где умер отец. Мы приедем сюда. Пусть и дети знают, что мы тут впервые поставили нашу юрту.— Авир посмотрел на жену, ожидая, что она скажет. Но Ханд даже и не взглянула на него.

— Да, уж лучше при ясном уме дать детям наставления, чем копить их под старость. Отец мой о многом мне говорил. Предупреждал, что ты выпить любишь. Наказывал беречь тебя от горькой. А сейчас я говорю тебе, говорю — и все без пользы. Собака залает, и то ты обратишь на нее больше внимания, чем на мои слова.— Ханд вынула из-за пазухи большой платок и провела им по лицу.

— Ты всегда преувеличиваешь. Я ведь тебя слушаюсь.— Авир приподнялся на стременах и, обняв жену за талию, привлек к себе. Ханд прижалась к нему плечом.

— Такая жара стоит, еще не хватало обниматься. Не надоело тебе?

— Хорошо-то как, а? — проговорил Авир.

— Отстань. Увидят нас Чулун и Эрдэнэ, что подумают! Скажут, совсем из ума выжили...

Авир убрал руку.

— Находит иногда на меня волнение,— задумчиво проговорил он.

— Не всегда я тебе по душе была. Некуда было с тремя детьми мне податься, вот и выношу золу из твоего очага. Я и согласилась быть с тобой потому, что пожалела тебя. Да и ты меня не часто баловал вниманием и лаской. Считай, я и не изведала женского счастья.— И Ханд лукаво улыбнулась.

«Эх, будь я неладен! Зря она ворчать не станет». Авиру стало жалко жену свою. Верблюды, неторопливо отпечатывая шаги плоскими копытами, прошли мимо старой стоянки, где впервые была открыта дверь их собственной юрты, открыт их дымник. Они ехали молча, вспоминая одно и то же — свое первое свидание, которое стало для них символом счастья, заслоняя все мелкие обиды и невзгоды.

Авир глазами памяти смотрел на свою прожитую жизнь. Воспоминания были зыбкими, как туман над пожелтевшей осенней степью. «Стать бы снова молодым, тогда бы я прожил жизнь без ошибок и грехов»,— подумалось вдруг Авиру.

— Ханд, помолодеть бы снова, а? — повернулся он к жене.

— Зачем? Чтобы на другой жениться?

— Да будет тебе. Может, думаю, прожил бы жизнь с умом.

— Чего ты сокрушаешься? Вон твоя молодость гонит овец на перевал. Вот его и сделай человеком,— сказала ему жена.

«И то правда. Мой сын становится мужчиной,— подумал он.— Был бы только хорошей опорой людям да не пилил бы жену свою. Нынче совсем другое поколение пошло, грамотное. Много знают, обо всем наслышаны — даром, что мало страдали. Я-то лично за Цогтбаяра не боюсь, он у меня парень серьезный».

«Сколько лет можно ворчать на него? Пора придержать свой язык. Не будь его, разве я жила бы так счастливо? Уж кто-кто, а он не отказал мне ни в чем». Ханд посмотрела на вершины темно-синих скалистых гор, близко подступивших к ним. За этими хребтами и находится их привольный летник. Над остроконечными горами легкий туман разрывался клочьями, и в просветы было видно голубое небо.

Эрдэнэ подъехал к голове каравана и поравнялся с Авиром.

— Заснули дети в корзинах,— сказал Эрдэнэ.

Чулун и Эрдэнэ очень любили близнецов Авира. И часто сетовали на судьбу за то, что она обделила их сыном.

Дети, убаюканные мерным шагом верблюда, спали. Один свернулся калачиком, другой свесил свои загорелые ручки через край корзины. Склон становился все круче. Веяло прохладой, благоухали душистые травы. Появились ласточки. Они молниями проносились между ног коней. Прохладным летом Алтай зовет на свои склоны все живое. «Даже птицы летят туда, где пестрые цветы и травы, где живительный свежий ветер»,— думал Авир, любуясь красотой родной стороны. «Какие только звери не водятся в этих горах, в этих синих горах счастья. Какое счастье родиться в таком крае! Счастливые мои сыновья! Не каждому ведь суждено ступать по такой земле, по такому разноцветью трав!» Тут Авир вспомнил наставление своего отца: «Мужчина должен быть тверд и надежен, как скала, а душой широк, как степь». Когда караван поднялся на перевал, огненно-желтое солнце первого летнего месяца сверкало над правым плечом могучей Сутайгоры. Овцы и коровы, преодолевшие перевал, уже вольно паслись внизу, в широкой долине. Парень и девушка стояли на горе, дыбившейся чуть севернее дороги.

Немного в стороне от дороги возвышается обо. Из него торчат два-три засохших деревца, к веткам которых привязаны разноцветные лоскутки материи. Караван остановился возле обо. И каждый из путников, следуя древнему обычаю, положил туда по камню. Авир опустил на колени головного верблюда и вытащил из корзин своих сынишек. Сонные дети сначала спотыкались в высоких травах, наконец совсем очнулись от сна и с удивлением стали озираться.

— Какое благодатное нынче лето,— проговорил Эрдэнэ и, вынув бинокль, навел его на гору Гунийн-обо. На вершине ее, махая хвостами, кружились на одном месте два коня темной масти — каждый норовил спрятаться в тени другого. Вдруг из-за коней появилась его дочь, а следом Цогтбаяр. Эрдэнэ тут же направил бинокль в другую сторону.

— Какое благодатное нынче лето,— повторил он. Авир, краем глаза наблюдавший за ним, подмигнул жене, а про себя подумал: «Вот хитрец».

Чулун расстелила на траве стеганую кошму, разложила еду, расставила пиалы.

— Садитесь пить чай,— сказала она и, чтя обычай предков, первым делом брызнула чаем в сторону Алтая, потом положила на обо сыр, приготовленный из парного молока, кусок пенки и немного сушеного творога. Сам Алтай не будет есть принесенную ему еду, зато ею полакомятся звери и птицы, будь то лиса, заяц, малая птаха или даже волк. После этого Чулун дала старой собаке миску разбавленного молока.

— Детям надо бы чаю попить. Хотя они и без чая прекрасно обходятся. Пьют воду.

— Они скоро придут, только проверят поклажу.— Эрдэнэ, мельком взглянув на жену, вытащил трубку и закурил. Ханд достала изящный сосуд, носик которого, похожий на гусиную шею, был повязан голубой ритуальной материей. Исполнив надлежащий обряд, она опустилась на колени и стала разливать водку.

— Возьми, Эрдэнэ. Чулун, садись поближе.— Ханд подала сидевшим пиалы с водкой.

— А про меня ты не забыла? — смеясь спросил Авир и, довольный, сел поудобнее.

— Как же я могу мужа своего обидеть? — улыбнулась Ханд.

«Нас две семьи, и мы крепко дружим, живем в мире и согласии. Ханд и Авир — надежные, хорошие люди»,— думала Чулун. На древней горе Гунийн-обо все еще стояли два коня, хвостами отгоняя слепней.

— Караван давно стоит на перевале,— сказала Гэрэлма, но продолжала сидеть и смотреть на горы с острыми вершинами, похожими на наконечники копий. Где-то с середины далекого хребта поднимался туман. Косые лучи солнца резче оттеняли складки бурых скал. Хойсын-Гоби, откуда они выехали, навьючив верблюдов еще ночью, переливалась чарующими цветами. И взгляд девушки был устремлен вдаль. Гэрэлма знала, что такое кочевье, ей не впервой преодолевать Гоби и перевалы, но сегодняшний переход был для нее каким-то особенно волнующим. Приемник, который висел у нее на луке седла, сейчас только глухо потрескивал. Гэрэлма сидела и смотрела на далекую Хойсын-Гоби, где она только вчера пасла отару. «Когда отец поедет на центральную усадьбу сомона, я попрошу привезти мне круглое зеркальце и крем для лица».

Цогтбаяр тоже смотрел на бескрайнюю степь и корил себя за то, что напрасно сегодня поддразнивал Гэрэлму. «Может быть, она даже обиделась на меня, поэтому и молчит»,— думал он. Две большие птицы, недавно кружившие над остроконечным пиком, сидели на белом от помета крутом утесе, повернувшись к солнцу.

— Пойдем? — предложил Цогтбаяр.

— Пойдем,— ласково ответила она и направилась к коням, отряхивая с подола прилипшие травинки. Цогтбаяр задумчиво посмотрел ей вслед.

Они спустились вниз.

— Как ты думаешь, что скажет отец? — с тревогой в голосе спросила Гэрэлма.

— А что мы такого сделали?

— Но все равно!..

Они направились к овцам, которые паслись у подножья перевала.

Эрдэнэ, увидев их, откашлялся и спросил, глядя на Авира:

— Что, дети не придут утолить жажду?

— Конечно придут. Дети с малых лет присматривают за скотом.

Это хорошо, это им на пользу будет,— проговорил тот и стал махать им старой пропыленной шляпой.

— Может, не пойдем? — сказала Гэрэлма, пытаясь остановить Цогтбаяра.

— Нет, обязательно пойдем. Куда нам еще идти?

Гэрэлма последовала за Цогтбаяром. Ей казалось, что на всем белом свете нет человека надежнее и лучше его. «Он мужчина. Вот ведь, не побоялся»,— порадовалась она про себя.

Когда они подошли, родители, к изумлению Гэрэлмы, ничего не сказали, а, наоборот, усадили их как дорогих гостей.

— Пейте чай, дети. Бедные, замучились совсем, гоняясь за скотом. Ну ничего. В наших синих горах счастья живут люди трудолюбивые, дружные.— Авир говорил сыну о том, о чем в свое время говорил ему его отец. И про себя одобрил сына, видя его сдержанность.

— Ну-ка, Авир, налей Цогоо архи,— весело сказал Эрдэнэ. Цогтбаяр покраснел, застеснялся отца. Авир налил водки и по всем правилам поднес ее сыну. «Ну и дела! Отец меня водкой угощает! Что он скажет, если я возьму да и выпью?» Цогтбаяр мельком взглянул на Гэрэлму, и та, что еще минуту назад дрожала от страха, как пойманный кролик, лукаво подмигнула.

— Как-никак ты мужчина, который взошел на перевал. Так выпей! — подбодрил его Эрдэнэ. Цогтбаяр зажмурил глаза и опрокинул пиалу. Он тут же задохнулся, на глазах выступили слезы, и что-то обжигающее прошло по горлу.

— Теперь в путь. Мы поедем вперед и отыщем место, где можно юрты поставить. А ты, Ханд,— Эрдэнэ повернулся к жене Авира,— как-нибудь доберешься с караваном следом за нами.

— А вы, дети, идите за стадом,— сказал Авир Цогтбаяру и Гэрэлме и поднял лежавшую на траве старую шляпу. Те поехали следом за скотом, а Авир и Эрдэнэ вскоре скрылись за выгнутым, как спина зайца, пригорком. Ханд и Чулун медленно тронули караван.

— Я все время ворчу на своего Авира, а он даже и не сердится на меня. А дружбе наших мужчин можно позавидовать. В наших горах других таких неразлучных друзей не найдешь. Да что о людях говорить — даже скот свыкается друг с другом.

— С самого детства они дружат. Нам с тобой повезло. У редких мужчин мы поддерживаем огонь в очаге.

На Майхане журчали и шумели речки, долина пестрела от цветов. Скот гнали в пустые загоны. Было шумно и весело.

Гэрэлма и Цогтбаяр подъехали, когда родители уже ставили юрты, а освободившиеся от поклажи верблюды шли на водопой.

Цогтбаяр приостановил коня.

— Гэрэлма, мы еще встретимся? — Это был не вопрос, а скорее просьба.

— Встретимся. Мы встретимся с тобой на Стожарах. Я буду тебя там ждать.— Гэрэлма прикрыла колени подолом тэрлика и выпрямилась в седле.

— А если серьезно?

— Я и говорю серьезно. Ты встретишь меня там.

То ли так показалось от усталости, то ли на самом деле так было, но сумерки тогда тянулись долго-долго: и пока расставляли вещи в юрте, и пока чинили загоны и отделяли телят от коров. А потом совсем стемнело. Спать легли, когда на небе уже мерцали звезды. Гэрэлма вынесла свою постель из юрты, сказав, что будет спать под открытым небом. Цогтбаяр тоже исчез, волоча свое одеяло.

Прохладны ночи в горах. Падает обильная роса. Где-то громко ревет бык, громко шумит речка на перекатах. О чем-то шепчет лас-

ковый ночной ветер. Гэрэлма смотрит на совсем низко опустившиеся над ней Стожары. «Какие высокие наши хребты Дарвийн! На их вершинах овцы пасутся среди звезд. Вот и приехали мы на летник! Как хорошо!» — думает Гэрэлма, завороженная чудесной ночью.

Цогтбаяр лежал на спине, скрестив на груди руки, и тоже смотрел на ярко сверкавшие в темноте Стожары. «Какие красивые звезды! А Гэрэлма — странная девушка. Придумает же такое. Она тоже, наверное, где-то здесь...» — Он встал и крадучись пошел по росяной траве.

Он подошел, сел у ее изголовья, некоторое время смотрел на ее спокойное лицо. Гэрэлма, казалось, спала крепким сном. Дыхание ее было едва слышно.

— Гэрэлма, это я...

— А я уже приходила на свидание! — Гэрэлма не открывала глаз.

— Ты не спишь?

— Как тут заснешь? Я думаю.

— О чем?

— Когда отец привезет мне зеркальце, я наряжусь перед ним и снова пойду на свидание.

Цогтбаяру хотелось смотреть и смотреть на Гэрэлму. Она улыбнулась и тут же вздохнула.

«Может быть, придет такое время, когда я буду водить его караван по всем перевалам наших седых гор»,—подумала она и горячей ладошкой сжала руку Цогтбаяра.

— Иди спать. Ведь завтра твоя очередь пасти овец. Иди...

Рассвело. Над могучими горами брызнули оранжевые лучи.

Лишь одно красное облачко, какие бывают только в разгар солнечного дня, цеплялось за скалы Гунийн-обо.

Перевод Х. МЭРГЭНА

ДАМБЫН ЦЭМБЭЛ

Последний выстрел

Прошло всего несколько дней с того момента, как синевато-свинцовая мгла заволокла горизонт. Глядя, как с деревьев раньше времени срывалась листва, старики хмурились и, поглаживая задумчиво седые бороды, тревожно посматривали на небо.

Старый таежный охотник Ядамсурен поставил свою юрту для осенней стоянки на уютной солнечной поляне, окруженной густым бургасом[1], близ небольшой речки. Белой масти конь, такой же старый, как и его хозяин, понуро опустив голову и прикрыв глаза, стоял возле юрты. Лишь время от времени он по привычке взмахивал хвостом, будто отгонял слепней и комаров, хотя к этому времени их уже давно не было.

[1] Прибрежный кустарник.

Поглядев из-под усталых век помутневшими, как мокрый жемчуг, глазами на своего старого друга, делившего с хозяином все невзгоды тяжелого охотничьего ремесла, Ядамсурен грустно сказал:

— Я стар, но и ты, мой конь, постарел... Кто же из нас уйдет первым?

В последнее время старый охотник с какой-то особой любовью стал приглядываться и прислушиваться ко всему, что окружало его: к шуму деревьев, пению птиц, течению горной речки, которая уже потеряла былую резвость, к печальной красоте осени.

Подставляя солнцу и ветру лицо, он забывал о своей старости, оживал, словно по жилам его растекались живительные весенние соки. С щемящей тоской он теперь понимал, и ценил, и любил окружающий мир, который в молодости оставлял его равнодушным. «Как было бы мудро и прекрасно,— с волнением думал Ядамсурен,— если бы все люди на свете, узнав о моей последней, запоздалой любви к природе, вместе со мной постигли бы красоту земли и сладостный вкус жизни!»

Старому охотнику казалось, что вся природа постоянно говорит о чем-то неведомом ему, о чем он раньше и не догадывался. Весь окружающий мир стал теперь для него значительным и полным глубокого смысла. «Боже, как прекрасно шумят деревья, ведь они поют так же звучно, как пела моя молодость!» — в раздумье шептал старик.

— Дедушка, откуда начинает расти дерево? — прервал его мысли внук.

— От самой земли...— тихо ответил старик, думая о своем.

— Скажи, дедушка, а на вершинах деревьев тоже земля? — не унимался мальчик.

— Да, там земля, на которую еще не ступала нога человека! По ней ходит только тот человек, который делал людям добро...

Запрокинув голову, мальчик долго и внимательно смотрел на вершины лиственниц, уходивших далеко в небо.

«Наверное, там рай, о котором все время мечтает дедушка»,— подумал он, и ему стало грустно.

Отец его погиб прошлой осенью на лесозаготовках в результате несчастного случая. Для маленькой семьи, одиноко живущей в лесах западной Монголии, это была тяжелая утрата.

Мальчик вспомнил, как сквозь глухие рыдания дедушка сказал тогда: «О добрый и богатый мир! Как много ты даешь нам! Но как дорого ты берешь с нас!»

Ночью мальчику приснился сон... Будто отец живой, на больших крыльях летел за стаей птиц, которых дедушка называл «райскими». Сделав несколько кругов, отец почему-то с птичьим криком опустился на вершину дерева, где начиналась райская земля. На этой сказочной земле был вечер. Отец обнял молодую, стройную лиственницу и слушал оленьи песни. На этой земле вскоре появился и дедушка со своим ружьем. Опустив ружье, он запел свою любимую песню. Внук даже во сне отчетливо услышал знакомые слова и мелодию:

Величаво-стройные олени
Меж холмов и ложбин проплывают.
Они ветвистыми рогами поводят
И грустные песни поют.
Я слушаю их, и тоскую,
И вспоминаю с грустью о маме...

Под эти знакомые с пеленок звуки мальчик проснулся. Дедушка сидел напротив и курил свою длинную тонкую трубку. Казалось, он

отдыхает после своего долгого путешествия по той далекой сказочной земле. Протирая еще сонные глаза, мальчик спросил:

— Дедушка, а далеко та земля, что покоится на вершинах деревьев?

— В той стороне, куда улетают птицы осенью...

В это время сквозь верхнее отверстие юрты долетели отдаленные, протяжные звуки: гарр-гурр, гарр-гурр!

Каждую осень старый охотник слышал над своей седой головой эти звуки. Но не в юрте, а в чаще тайги обычно слушал он этот клекот улетавших на юг птиц.

Когда птичьи голоса раздались уже совсем близко, Ядамсурен резко поднялся и вышел из юрты.

— Вечно тебе не сидится на месте! — проворчала, хлопоча у печки, его старуха.

— Не ворчи, жена! Журавли летят! Мои весны и осени пролетают! — сказал Ядамсурен, грустно улыбаясь.

Он неотрывно из-под ладони следил за клином журавлей, пока они не скрылись за свинцовыми облаками на горизонте.

— Улетели... Еще одна осень моей жизни...— услышал тихий голос деда стоявший рядом внук.

Подолгу наблюдая за вереницами улетающих птиц, мальчик заметил, что они всегда летят в одном и том же направлении, по одному и тому же воздушному пути. У мальчика появились даже свои определенные точки на земле и на небе, по которым он ориентировался.

И каждый раз, глядя вслед улетающим птицам, он думал: «Там сейчас мой отец, вон за теми темными лесистыми холмами».

Каждое утро из-за этих холмов поднимается солнце и теплыми, ласковыми, как мамины руки, лучами обогревает землю. Мальчику всегда кажется, что это огненный шар, привязанный за ниточку к вершинам высоких-высоких деревьев. Через какое-то время этот шар отрывается от неведомой нити и одиноко парит в поднебесье.

В той стороне, где поднимается солнце и куда улетают птицы, для мальчика все чужое, кроме солнца, которое он встречает и провожает каждый день. Но солнце слишком высоко и недосягаемо. И сколько ни жди, оттуда никто не приходит и никто не прилетает. Наоборот, все улетают и уходят туда и больше не возвращаются. И то, что там происходит, остается неведомым.

«Наверно,— думал мальчик,— стоит только ступить хотя бы одной ногой на эту землю, и ты сам уйдешь в эту вечность. Дедушка сказал, что туда попадают только добрые и хорошие люди, значит, и мой отец сейчас там. И нам с ним надо встретиться! А мамы там нет! Но она придет за нами, потому что она любит нас, всех-всех! Она ведь такая добрая и никому еще не делала зла!»

Старый Ядамсурен всей душой понимал своего внука и как мог поддерживал его наивную и мудрую мечту. Постепенно он и сам начал искренне верить в эту мечту.

Однажды вечером залаял беззлобно хромой старый пес Халтар. Откинув войлочный полог у входа в юрту, Ядамсурен увидел, что к ним верхом на коне подъезжает его давний друг, охотник Бурж.

— Кузнечики уже больше не стрекочут! — многозначительно сказал Бурж, входя в юрту.

— Раз замолчали кузнечики, значит, настало время осеннего гона оленей! — подхватил Ядамсурен.

— Что же, пора нам готовиться в путь на гору Их-Овгон! — сказал Бурж.

— Да, это последнее, что осталось мне в жизни,— задумчиво от-

ветил Ядамсурен и добавил: — У меня ужасно ноют суставы. Еще в год желтой обезьяны я почувствовал, что дни мои сочтены... Прошлой ночью приснилось мне, что у меня выпали зубы... Дай бог, чтобы мои пять маханов [1] не отказали мне, пока я не уйду из этого мира.

— Тебе бы надо дохнуть горного воздуха и погреться на солнце...— начал было Бурж, но Ядамсурен перебил его:

— Я тоже так думаю. Ведь только благодаря солнцу и ветру я все еще на ногах! Что бы ни было — а надо поохотиться на Их-Овгоне и потешить в последний раз душу!

— Ты что, ума решился?! — вмешалась старуха. Она заваривала чай и внимательно прислушивалась к разговору.

— Помолчи, старая! Чем женщина старше, тем она ворчливей! В Писании сказано, что только во время войны Налара [2] женщины смогут постоять за себя, и то когда начнут биться крышками от кастрюль! — добродушно оборвал ее Ядамсурен.

Наступил следующий день, тихий, солнечный, безветренный. Старый охотник, надев под дээли [3] тарбаганий жилет и сняв со стены видавшую виды кремневку, начал готовиться к охоте. Когда снаружи раздался звон стремян, Ядамсурен выглянул из юрты. Старый Бурж с тремя молодыми хотонцами [4] привязывал у юрты своих лошадей.

Дряхлый Халтар, сидя на задних лапах, время от времени лениво и хрипло лаял на них.

Перед тем, как отправиться на охоту, старый Ядамсурен ласково положил на голову плачущего внука свою сильную жилистую руку и сказал:

— Внук мой дорогой, не плачь, у тебя все еще впереди! А у меня, возможно, это последнее из того, что отмерено мне судьбой!

Долго, до боли в глазах, вглядывался мальчик в удалявшиеся фигуры всадников, пока они совсем не скрылись за оврагами.

Под вечер, проезжая по опушке леса, охотники увидели стадо коров. Вокруг стояла такая мертвая тишина, что казалось, можно даже услышать жужжание пчел в дальнем конце опушки. Но вдруг тишину взорвал долгий неистовый рев коров, созывающих телят.

— Когда у коровы погибает теленок, она жалобно мычит по нему пятеро суток! — как бы подумав вслух, грустно обронил Ядамсурен.

Молодые охотники, увлеченные своим разговором, не расслышали его. Лишь старый Бурж понял смысл его слов и, внимательно посмотрев на своего друга, подумал: «А сколько времени будут нас помнить?..»

Было уже за полночь, когда охотники двумя группами подъехали к лесу, расположенному у подножия горы Их-Овгон. Старые друзья Бурж и Ядамсурен ехали впереди и изредка переговаривались. Молодые охотники, чуть поотстав, устало клевали носом.

Слегка придержав коня, Ядамсурен сказал, обращаясь к Буржу, но достаточно громко, чтобы слышали все:

— Друг мой, помнишь, как в молодости под перезвон уздечек и при свете звезд над головой мы целый месяц, не слезая с коня, могли бодро держаться в седле?

Услышав это, молодые охотники сбросили с себя дрему и пришпорили коней.

Когда они прибыли к месту охоты, солнце огромным красным диском поднялось над лесом.

---

[1] Внутренние органы человека: сердце, легкие, почки, печень, селезенка.

[2] Герой народной легенды.

[3] Национальная верхняя одежда.

[4] Односельчанами.

— Какое яркое и удивительное солнце сегодня! И лес сегодня как-то непривычно шумит,— радостно воскликнул Ядамсурен, но вдруг покачнулся в седле. Правда, огромной силой воли он удержался на коне, крепко уцепившись за луку седла. От усилия на руках у него вздулись жилы и побелели пальцы.

Молодые охотники переглянулись, а когда Бурж кивнул им в сторону Ядамсурена, соскочили с коней, желая помочь ему.

— Не надо! — остановил их старый охотник.— В седле мужчина должен до конца оставаться мужчиной! По коням!

Проехав в молчаливом раздумье некоторое расстояние, Ядамсурен обронил:

— Бедная жена моя, как ты будешь жить без меня?

И вдруг, натянув поводья, он остановил лошадь. Внимательно вслушиваясь в звуки леса, пробормотал:

— Да! Уши мои под стать моим глазам! Слышите: олень зовет свою подругу.

И действительно, охотники явственно различили протяжный, трубный зов оленя и вторивший ему в ответ нежный голос самки.

Старик весь преобразился, приосанился, будто в него влились свежие силы. Ударив плеткой по крупу коня, он резво поскакал в чащу леса.

Молодые охотники, сгорая от нетерпения, наперегонки помчались за Ядамсуреном. Но старый охотник осадил своего коня и, подняв руку, сказал им:

— Олень очень умен! Он всегда чутко следит за тропой — за той, что уже прошел, и за той, по которой пойдет. Малейший шум — и вожак бесследно уведет свое стадо!

Молодые охотники послушались старика. Теперь они ехали молча. Казалось, они не слышали ничего, кроме биения своего сердца. Наконец охотники увидели свежие следы оленя, которые должны были вывести их прямо к нему.

В чаще леса, сквозь густые заросли молодняка, на небольшой поляне, залитой солнцем, охотники увидели огромного самца, который, запрокидывая голову, время от времени оглашал окрестности трубным ревом. Олень стоял как изваяние, гордо подняв ветвистую корону рогов. Темные и изящные ноздри его шевелились, и можно было даже разглядеть большие и выразительные глаза.

Старый охотник первым решительно снял с плеча ружье и прошептал:

— Тише! Если поздней осенью вспугнешь оленя до времени — на удачную охоту и не надейся!

Неожиданно олень, словно почувствовав недоброе, сорвался с места. Бег у него был красивый, плавный и ритмичный, он будто не бежал, а танцевал под слышимую лишь им одним мелодию. Охотники следили за ним, затаив дыхание.

Пробежав небольшое расстояние, олень как вкопанный остановился и затрубил. Теперь лесной красавец был виден охотникам еще более четко. Казалось, олень доверял людям, как бы говоря им: «Я сам показал вам дорогу к себе, так послушайте мою прекрасную песню».

Протяжная, грустная песня оленя остановила даже самых нетерпеливых охотников. Казалось, все звуки леса умолкли перед этим торжествующим гимном.

Старый охотник словно весь обратился в слух. Опустив ствол ружья и прислонившись к молодой лиственнице, он как бы целиком отдался песне оленя. В углах его старческих глаз на обветренном морщинистом лице блестящими росинками застыли скупые слезы.

Он ведь и раньше, когда был молод, слышал эти оленьи песни. Но так чутко он никогда не вслушивался в эти звуки. Азарт охотника, безжалостного в своем ремесле, всегда заставлял его решительно спускать курок.

Охотники смотрели на Ядамсурена, в глазах которого стояли слезы, и многозначительно переглядывались: «Да, убога старость, разнюнился наш старик...» И, заряжая в нетерпении ружья, они заторопили старика:

— Ну скорей, скорей, пока он поет!

Ядамсурен внимательно посмотрел на них, не переставая слушать лесного красавца, и с глубокой грустью подумал: «Неужели у этих молодых людей не сердце в груди, а камень? Неужели для них важно лишь мгновенье? Неужели когда-то и я был таким?»

Но не найдя сочувствия в их глазах, устремленных только на свою жертву, он сказал:

— Дети мои! Кинуть камень в речку или в поющего соловья — не одно и то же! Всю жизнь я промышлял охотой, и у меня есть о чем поведать вам на старости лет! Я слушал эту песню и заново осмыслил то, о чем в молодости и не задумывался!

Он подошел к старшему из охотников и, опустив нацеленное на оленя ружье, сказал:

— Подождите! В жизни я привык все доводить до конца. Радость охоты будет жить во мне до последнего дня. Все в округе знают меня как меткого стрелка, чья пуля всегда била без промаха! И если моя старая кремневка заряжена, значит, она выстрелит! И звук ее выстрела принесет мне радость! И сегодня я вновь услышу его! — И тут, как бы стряхнув с себя оцепенение, старый охотник решительно вскинул ружье и прицелился. Дрожащие, старческие руки не повиновались ему, палец никак не попадал на курок. Но вот огромным усилием воли он овладел собой и застыл, как бы слившись с ружьем.

«Крепкий старик! — подумал Бурж.— Нашел-таки в себе силы! Не человек, а скала!»

Раздался выстрел. Ядамсурен, не потративший за всю свою жизнь ни одной пули впустую, не промахнулся и на сей раз. Олень взметнулся вверх и снова опустился на четыре ноги.

Когда охотники поспешили к нему, он почему-то не сдвинулся с места. Он все так же твердо стоял на земле, и только медленно никла гордая его голова, увенчанная короной ветвистых рогов. Пуля попала в шейную вену. Жажда жизни удерживала животное на ногах, но силы уже покидали его.

Молодые охотники слышали от стариков, что когда убивают поющего оленя, то из отверстия, пробитого пулей, слышится песня. Но из шеи оленя струилась только густая кровь. Задумчиво глядя на гордо умирающее животное, Ядамсурен сказал:

— У всего живого, что создала мать-природа, есть три опоры в жизни: подруга или друг, свобода и сила!

Красавец олень, так и не дождавшись своей подруги, потеряв свободу, держался только благодаря своим последним силам. Из его больших, выразительных глаз, с молчаливым упреком и гордым вызовом обращенных к своим убийцам, катились крупные прозрачные слезы.

Охотники, окружившие умирающего оленя, стояли в нерешительности.

— Зачем мучить животное? — спросил один из них.

Старый Бурж сделал знак рукой, и тогда из группы охотников выехал вперед старший, спешился и, вытаскивая на ходу из ножен

большой, с серебряной насечкой охотничий нож, медленно подошел к оленю.

Нож охотника оборвал последнюю нить, связывавшую оленя с жизнью, и он, не издав ни звука, тяжело рухнул на землю.

Несколько желтых осенних листьев, кружась, упали на рану умирающего животного. Но бьющая из раны кровь унесла их в своем потоке.

— Да, повсюду и везде, где есть жизнь, всегда таится неведомая и трагичная история, о которой люди и не подозревают! — мрачно вымолвил старый охотник, а потом, как бы отгоняя грустные мысли, добавил, всматриваясь в синевато-свинцовую мглу:

— Мы должны обязательно добраться до условленного места стоянки, чтобы закончить охоту. Уж коли перед мужчиной есть цель, пусть даже маленькая, он обязан ее достичь! Мы с Буржем пойдем вперед и спрячемся в засаде, а вы втроем гоните навстречу нам животных!

Стреножив своих коней, старики двинулись пешком по тропинке вверх, к своей засаде. Молодые охотники верхом направились в чащу леса. Вскоре оттуда послышались шум, крики и пальба, а потом из чащи леса уже явственно доносились топот и хруст валежника под ногами бегущих животных.

Взбираясь на кручи, старый Ядамсурен не переставал думать о своем внуке. Ноги уже плохо повиновались ему, кровь стучала в висках, но он упорно преодолевал один подъем за другим. «На вершину горы давит толща снега и льда, мужчину годы придавливают»,— говорят в народе. И в этом старик еще раз убедился, пока добрался до условленного места. Расположившись поудобнее, он обратил свой помутневший взгляд в сторону солнца и прошептал:

— Неужели и впрямь сегодня такое яркое солнце или мне только кажется? Ведь я всегда, глядя на черное, думал, что оно белое! И пусть черное не всегда оказывалось белым, но оно всегда было для меня новым, другим, а не черным!

Из задумчивости старика вывела пролетавшая стая птиц. Провожая их взглядом, Ядамсурен с тоской подумал: «Дорогой мой внучек! Над моей головой пролетают не райские птицы, это птицы, что всегда летали над землей твоих предков! Это птицы твоей незабываемой, дорогой Родины! Да-да! Та сказочная страна, о которой ты мечтаешь, не где-то там далеко-далеко, а здесь, в родных местах, в нашей жизни! Поэтому твой дедушка никогда и никуда далеко от тебя не уедет! Я останусь с тобой, в твоем маленьком сердце!»

Засада, где расположились старики, находилась неподалеку от двух огромных скал, между которыми проходила звериная тропа. Место было выбрано удачное, ни одна живая тварь, пробегающая по тропе, не могла остаться незамеченной. И в этот день по тропе пробежало много разных зверей. Однако из засады так и не раздалось ни единого выстрела. Молодые охотники, гнавшие к засаде животных, стали прислушиваться. И услыхали отдаленный голос старого Буржа, который сзывал всех к себе.

Подскакав к засаде, разгоряченные охотники нетерпеливо спросили, почему они не стреляли.

Старый Бурж, сняв со своей седой головы обтрепанный лоовууз [1], ответил:

— Много разных зверей сегодня здесь пробежало. Но для старого Ядамсурена охота кончилась... навсегда! Настоящий моряк умирает лишь в море! — добавил он чуть погодя.

---

[1] Национальный головной убор.

Старый охотник лежал, плотно прижав к правому плечу ружье, и казалось — вот-вот последует выстрел. И только седая, когда-то непокорная голова его безжизненно свесилась на левую руку.

Выражение смуглого и обветренного лица старого охотника поразило всех. В зрачках его, по-стариковски мутных, отсвечивало солнце. А на плотно сжатых губах застыла едва приметная улыбка.

Полуденное солнце раскаленным диском сияло над головой. У подножия горы Их-Овгон по-прежнему радостно шумел олений лес.

Перевод ДЖАНГАРА ПЮРВЕЕВА

ДОРЖИЙН ГАРМА

Ононская переправа

То, что именуется между людьми судьбой,— загадка, отгадать которую невозможно.

У меня был старший брат, и казалось, на роду нам было написано никогда не расставаться — как двум рогам джейрана. Все радости детства мы всегда делили пополам, как и те сласти, что перепадали нам от взрослых. Один день был прекрасней другого, и мы верили, что и в будущем жизнь не обойдет нас своими щедротами. Мы говорили, что никогда не расстанемся, и даже если обзаведемся когда-нибудь семьями, наши юрты все равно будут стоять бок о бок, ведь родились мы темя в темя. Но где все это, где? Едва успев переступить порог пятого класса, мой брат, словно цветок, попавший под копыта скакуна, был сражен болезнью...

И осенью, что и без того печалит душу, и светлыми весенними днями мне постоянно недостает старшего брата, и бывает так одиноко, так тоскливо и грустно.

Отчего эта боль не проходит?

Я думал об этом желтым осенним днем, когда сентябрь был уже на исходе. Я лежу на спине, солнце слепит мне глаза, и хоть я прикрываю их ладонью, его лучики все равно пробиваются сквозь пальцы. Словно прощаясь до следующего года, клонится белая береза и перешептывается с кем-то листвой. Рядом шумит Онон.

На Ононской переправе гомонит народ, гудят машины в ожидании своей очереди, с парома что-то кричат. В реку загнали табун лошадей. Сильным течением их относит к водоворотам, они плывут, фыркают, и только головы их торчат из воды. Из ивовых зарослей противоположного берега покрикивают табунщики, которых мне отсюда не видно. От кормы парома отделилась маленькая лодка. В ней

сидит плотный мужчина в зеленой походной куртке геолога, его фигура, темнея, отражается в воде. Лодкой правит мальчик лет одиннадцати, орудуя квадратным, напоминающим деревянную ложку веслом. Из-под козырька новенькой, слишком большой для мальчика кепки торчат давно не стриженные волосы. Рыбацкие резиновые сапоги с длинными голенищами натянуты у него выше колен. На нем голубой выцветший тэрлик.

Солнце, солнце всходит,
Тени, тени гаснут...

Он поет звонким детским голосом, и роща отзывается эхом, словно все деревья поют вслед за ним. И многие из тех, что галдели на берегу, умолкают и затаив дыхание смотрят на мальчика. Только бы не перевернулась лодка!

Лодка несется, словно щепка, по голубым волнам. Вот она уже миновала середину реки и приближается к высокому откосу, где нахожусь я. Я сразу узнал мальчика. Сегодня утром он подбежал к нашей машине, забарахлившей у самого парома, поздоровался и спросил у шофера, лежавшего между передними колесами машины:

— Что, рулевая тяга ослабла?

Да, это он, именно этот мальчишка. Шофер ничего не ответил ему тогда и продолжал возиться с машиной. Водителя раздражали в пути малейшие неполадки, сердился он и на сей раз, но мальчик словно бы не замечал этого.

— Аха[1], может, кто-нибудь с парома поможет? Там среди водителей несколько рыбаков. Я им показал излучину, где можно поймать тайменей... Если я им скажу, они обязательно помогут вам.

Шофер на минутку высунулся из-под машины, его испачканное маслом лицо выражало недоумение.

— Правда, аха. Я схожу. Здесь есть лодка...— Мальчик ждал лишь согласия и готов был тут же броситься на поиски.

— Ну что ж, мальчик. Попробуй, сделай что-нибудь для нас,— сказал я ему из кабины, и он тут же, сорвавшись с места, исчез. И вот сейчас он возвращается...

Лодка коснулась берега, мальчик выпрыгнул первым и привязал ее веревкой к дереву. Потом он и его спутник дружно зашагали по тропинке и скоро скрылись за деревьями.

Направился к машине и я, хотя и был уверен, что они еще долго провозятся с ней, а мне придется только бессмысленно томиться рядом.

— Чего вам здесь делать? Лучше на реку идите... Переправить вас на ту сторону? — спросил у меня мальчик.

— Да вот не знаю, как машина...

— Можно порыбачить. У излучины ужас какие тайменя водятся. И удочка у меня в лодке. Пока вашу машину наладят, я вам тайменя поймаю.— Глаза мальчика горели от нетерпения.

— Идите, мы здесь и сами справимся,— сказал шофер. Он знал, что я люблю ловить рыбу, и протянул мне безмен. Мы отправились. Сели в лодку, и над крутой ононской волной опять полилась песня.

— Как тебя зовут, мальчик? — спросил я, когда он кончил петь.

— Батсуурь...

— А родители твои где?

— Родители?.. Они далеко. Отец у меня мировой! Пароход водит...

— Какой пароход?

---

[1] Старший брат — обычное обращение детей к взрослым.

— Ну этот, как его... Такой серебристый, большой... Видели? Иногда он по Онону на восток плывет. И мама у меня тоже хорошая. У нее ужас сколько орденов. Она очень добрая, конфеты мне всегда покупает.

— А кто она?

— Доярка... И старший брат есть у меня, он меня на спине катал, когда я маленький был. И сестра есть. Она в десятом классе учится. Всегда ласкает меня и жалеет.

— А что ты здесь делаешь?

— Я гулять люблю, когда время есть. Пришел сюда черемуху собирать. Осенью тут много черемухи. Сейчас-то ягоды осыпались, а те, что остались, посохли. Я и рыбу люблю ловить. А самому мне много не надо. Одной рыбины хватает. Остальные я отдаю тем, кто на пароме переправляется. Добрые люди бывают. Вот шапку мне подарили. И эти сапоги...

Я не перебивал его, но про себя удивлялся: «Занятный мальчонка. Но странно, почему он так далеко уходит от дома?»

Мы поставили крючки на тайменя. Мальчик взял из лодки мелкокалиберку и ни на шаг не отходил от меня. Скоро леска одного из крючков задрожала, напряглась...

— Тихонько, тихонько тяните! — вскричал мальчик, забредая в воду и прицеливаясь...

Мы вытащили на берег крупного тайменя. Лицо Батсууря разрумянилось, и когда мы возвращались к машине, казалось, от радости он не чуял под собой ног.

Темнело. В горных впадинах чернели тени. Прохладный ветер засквозил в речных зарослях. Машина наша была готова продолжать путь. Шофер вытер перепачканные маслом руки и не спеша взгромоздился на сиденье.

— До свиданья, аха! — Батсуурь помахал нам рукой.

— До свиданья!

— Приезжайте еще, обязательно приезжайте! Я вам еще побольше тайменя поймаю, вот увидите! — Батсуурь бежал возле тронувшейся уже машины.

Мы переправлялись через Онон на пароме. У Ононской переправы билась о берег река. Я смотрел на нее, облокотившись на перила парома.

В это время раздался звонкий детский голос Батсууря:

Ревет олень хангайский,
Рога свои он сбросил,
Я вспоминаю маму —
Как грустно без нее...

Его лодка плыла прямо посередине сильного речного потока.

— Бедняга...— вздохнул рядом старик паромщик, тоже наблюдавший за мальчиком.— Сироты, говорят, любят петь...

— Как так? Батсуурь сирота? Да он говорил мне, что у него есть и отец и мать!

— Он всегда так говорит. А сирота. Приехал к нам на школьные каникулы, собирает ягоды или вот на лодке переправляет людей с одного берега на другой. Добрый он по характеру, поэтому никому не в тягость. Такой одиноким никогда не будет.

Я посмотрел в сторону лодки. Разрезая носом крутые волны, она продолжала упорно пробиваться к берегу. И хоть большая вода преграждала утлой лодчонке путь, она плыла вперед и только вперед.

Когда мы достигли берега, Батсуурь перестал петь и помахал нам на прощанье своей маленькой рукой.

— До свиданья, Батсуурь! — крикнул я в ответ.

И меня почему-то охватила легкая грусть. Я вновь и вновь вспоминал, как Батсуурь рассказывал о матери, об отце... Нет, ничто не выдавало его сиротства.

Конечно же, он не сирота, нет, сирым не может быть такое щедрое сердце. Но что же тогда тревожит меня? Уж не мысль ли о том, что я сам, увы, не умею, как он, делиться радостью с другими?

Мало-помалу горечь затаенных мыслей таяла, и в сердце начинала звенеть песня, которую я услышал на Ононской переправе от случайно повстречавшегося мне на пути мальчика.

Перевод Б. НАМЖИЛОВА

ЖАМЬЯНГИЙН ГАЛ

Голубой архар

Мы вели тихий, неторопливый разговор о новых, уютных домах, о многолюдном поселке. Горячий чай обжигал губы. Зоркий взгляд старого Дандара, прозванного Метким Глазом, упал в открытую дверь на кремневое ружье, которое висело над моей кроватью, и он вдруг встрепенулся, словно голодный беркут, завидевший лисицу.

— Откуда у тебя это ружье? Ну и чудеса! — воскликнул он.

И тут история старого кремневого ружья, которое я нашел несколько лет назад в горах Таг, за Бурхан-буудаем, перестала быть для меня загадкой. Вот что рассказал мне старик:

— Мне и не снилось, что я опять увижу это ружье, которое когда-то похоронил высоко в горах Онгийдог хар!

У меня, сына бедного охотника на тарбаганов, не было ни захудалой козы, ни убогой собаки. Родители отказали мне только это вот кремневое ружьецо. Я еще был подростком, когда остался один с двумя младшими братьями. Надеясь на щедрость Алтая, я бродил по горам, чтобы прокормить братьев. Полны были мои торока — я радовался, а были пусты — огорчался. В зимнюю стужу и в летний зной рыскал я как голодный волк в поисках добычи и целыми сутками выслеживал дичь. Юрта наша стояла у самого подножья горы, питались мы мясом джейранов. Сколько ночей пришлось мне провести под открытым небом! Я не расставался с ружьем и скоро в меткости превзошел своего покойного отца. Я почти не знал промаха.

Бил я дичь без разбора, бывало, по двадцать штук в день, но если и не находил ничего, тоже долго не горевал. Ведь охота не только кормила меня, но и была моей жизненной школой.

Конечно, год на год не приходится. Народная власть наконец помогла беднякам распрямить спины. Ведь из поколения в поколение перенимали мы покорность своей несчастной судьбе, мы могли добывать скудный хлеб лишь охотой на тарбаганов. Но жизнь перевернула старую поговорку: «С тарбаганами и косулями еще не богач, с табаком и чаем — уже не бедняк». Теперь у людей появились и лошади в загонах, и укрюк[1] в руках, и овцы возле юрты, и верблюды под потником. Наш дом хоть и не считали богатым, но и бедным он не был.

Ты знаешь, что все люди не дураки, но иногда даже умные делают глупости.

Наверно, все произошло оттого, что наши голубые горы Буудая славятся красотой и изобилием. У каждого из нас было по три-четыре коровы, но ведь охотнику нет счастья без охоты. Бывает, что ни кожей, ни мясом не богат зверь, а охотник гонится за ним как сумасшедший и убивает. Прежде не было ни жалости у людей, ни запретов. Если бы мы были чуть рассудительней, меньше бы делали зла.

Эти горы кормили моих предков, а теперь кормят меня. Но мне никогда раньше и в голову не приходило, что умерь я свой охотничий пыл, несметные богатства земли моей, а значит, и мои богатства умножились бы.

В старину говорили: «Придет срок — и чаша наполнится». Может быть, это и так, не знаю. Но один случай так меня поразил, что я бросил это дорогое мне ружье, вещь, перед которой я благоговел с детства, память о моих седых родителях. С тех пор я забыл о своих мирских утехах.

Сначала земляки и все в округе смеялись: «Стрелок Дандар решил покаяться, стал монахом, и антилопы на Буудае наконец обрели покой». Долго я еще был предметом насмешек, но постепенно все забылось.

Тут старик Дандар замолчал, набил свою длинную трубку зеленым китайским табаком, пригубил крепкой архи, которая стояла до сих пор нетронутой, и положил ружье перед собой. Словно мать, нашедшая наконец своего заблудившегося сына, с радостью и тревогой смотрел он на ружье. Большой шершавой рукой с искривленными толстыми пальцами он нежно гладил ствол кремневки, а потом вздохнул и продолжал:

— Охотник никогда не останется голодным в степи, даже если ему и не удалось подстрелить тарбагана.

Солнце опустилось довольно низко. Я вышел на гребень горы, но, не заметив вокруг ничего интересного, прилег в круглой, как пиала, впадине, заросшей пестрыми цветами. Это было в начале осени. День стоял тихий и солнечный. Годы берут свое, прежней удали и резвости у меня уже не было, и я мгновенно уснул.

Проснулся я от топота копыт. И что бы вы думали? Надо мной, по гребню горы, неслись восемь огромных архаров. Они мчались к солончакам. Мне просто повезло — добыча сама шла в руки. Дурак и тот бы не упустил своего. Стоит ли говорить, как захватывает дух при виде бегущих стрелой баранов. Я вскинул ружье и выстрелил. Эхо разнеслось по горам. Не успел я оглянуться, как архары были уже на перевале. Я хотел снова зарядить ружье и погнаться за ними, но вдруг обнаружил, что по дороге растерял все патроны.

И злость меня взяла, и смех. Я сел, ничего не понимая. Где я мог их потерять? Искать бесполезно — ведь я бродил по горам целый день. Ладно, как говорят у нас — «найденное нашел, а потерянное

[1] Длинная палка с петлей на конце — для ловли лошадей в табуне.

потерял». Я стал гадать, попал я с первого же выстрела в барана или нет. Подойдя ближе к скале, я вдруг увидел там неподвижно стоявшего огромного голубого архара. «Видано ли, чтобы раненый зверь вернулся туда, где его настигла пуля!» — удивился я и стал тихонько подкрадываться к нему. Огромный, величиной с яка, архар стоял как вкопанный. По правому боку его текла кровь, прямые, стройные ноги словно приросли к земле, ясные, чистые глаза были устремлены вдаль. Струйка крови блестела в золотых лучах солнца, как фольга.

Прошло довольно много времени. Кровь все текла и текла. Вороны, радуясь предстоящей добыче, с карканьем кружили в небе. Поодаль парили два грифа. На горячем ветру кровь быстро запекалась, только тоненькая струйка продолжала стекать по ноге. Однако архар стоял не шелохнувшись, даже не моргая. Его красивая голова была по-прежнему гордо вскинута, а копыта под тяжестью огромного тела уходили в землю. Застыли наконец последние капли крови, и кровавый след, тянувшийся за ним, высох. Но архар все еще продолжал стоять. Мое изумление сменилось страхом: я не мог понять, какая сила удерживает его на ногах.

Хищные птицы уже кружили почти над самой его головой. Я отогнал их, сел возле барана и долго сидел так. Его гордая смерть как бы восставала против жестокости, в данном случае — моей жестокости.

Мертвый архар стоял на вершине высокой горы, почти у самого солнца, и четко выделялся на фоне ясного неба. Мне казалось, что он и меня призывает к мужеству, к справедливости. В тот день я поклялся никогда больше не убивать животных. Я снял ружье и спрятал его в расщелину под скалой. Сердце мое вдруг наполнилось незнакомой дотоле болью и тоской, из глаз хлынули горячие слезы. Сын мой, ты нашел мое ружье, потому я и рассказал тебе свою тайну, которую до сих пор берег от людей.

Природа встречает человека при первом же его вздохе, кормит и поит его. Но ведь несметные ее богатства даны не ему одному, а всем людям. Только тот, кто поймет это, может любить ее так, как она того заслуживает. Природа — мать всех людей, а если уж дитя не любит своей матери, кто же полюбит ее? Я всегда говорю детям: «Берегите природу! Пусть она вечно здравствует и цветет!»

Старый Дандар закончил свой рассказ, вытер пот с загоревшего, изрезанного морщинами лица и вернул мне свое ружье.

— Что ж, ведь мы тогда были неученые, не понимали всего. Не то что вы теперь,— каким-то грустным голосом сказал старик, будто в свое оправдание.

С тех пор я часто вспоминаю его простые, но мудрые слова о природе, матери всего сущего. Мне снится порою голубой архар, и я тогда думаю, что рассказ о нем привнес еще что-то важное в мои размышленья о вечной связи человека и природы.

Перевод Л. СКОРОДУМОВОЙ

■

Молодые поэты Панамы

С испанского

АГУСТИН ДЕЛЬ РОСАРИО

Панама

В моей стране
«зонийцами» зовутся люди которые живут
в так называемой «зоне канала» Люди
у которых белая кожа и светлые глаза и которые даже не учатся
говорить по-испански
хотя уже в тысяча девятьсот
таком-то году
они захватили нашу землю возвели небоскребы
оттеснили деревни в болота
и пытаются сделать с тех пор
из этих арендованных километров собственный дом
то есть точный слепок
(да будут благословенны мои последователи
копирующие меня со всеми моими пороками)
с дядюшки Сэма
который еще и извинился за то
что помог нам покинуть Великую Колумбию так как она
дескать мешала развиваться нашей нарождавшейся республике[1]
к тому же каждый «зониец» не устает славословить
Межокеанский Канал дескать открывший новые горизонты
на благо Человечества
Pro Mundi Beneficio[2]
как гласит
наш герб —
они навезли с собой деньги возами и танками
объединились в кланы отстроили себе чистенькие виллы
куда запрещалось залетать проклятым малярийным москитам
они засадили — как за решетку — за железные сетки
двери окна руки глаза наблюдавшие за ними
они отгородились от нашего мира
где дети снуют голышом

[1] В колониальный период Панама входила в состав различных территорий, принадлежавших Испании. Затем, с 1821 по 1903 г., она была в составе Великой Колумбии. Борьбой панамского народа за независимость воспользовались США, навязавшие Панаме соглашение (1903), согласно которому часть территории Панамского перешейка перешла в пользование США с правом на военную оккупацию страны — «при чрезвычайных обстоятельствах». *(Прим. перев.)*

[2] Ради благоденствия мира *(лат.)*.

а взрослые исходят потом и лопочут так быстро
что едва различаешь слова —
и все же нам нипочем наши прилипшие к телу рубашки
мы любим наших женщин с их «ну и ладно»
они работают бок о бок с нами и смеются
толстогубыми ртами
и этот всепоглощающий всепоглощающий смех раздается
там
где распростерся мой город
чистый
прекрасный
такой какой он есть

Встреча

Что это — бегство от жизни или картина
эпохи?
Этот вопрос
ты задавал себе
разглядывая полотна модных художников внимая речам политиканов
перечитывая стихи поэтов разговаривая на вечеринках
со старыми
приятелями
в то время как под окнами проходили демонстрации звучали
протесты
за которые арестовывали и бросали в тюрьмы и об этом
никогда еще не писал ни один из тех поэтов
этого никогда не рисовал ни один из тех художников и об этом
само собой разумеется —
никогда не говорили
на ваших вечеринках

Встречать тебя снова и снова

Встречать тебя снова и снова
каждый день
словно разлука — это дождь
а дождь — это мгновение
когда снова встречаешь тебя
в том же городе
под тем же ливнем
слыша твои шаги
в шорохе собственных шагов

След

След
запечатленный
в сердцевине дня
словно
вечная и неумолимая достоверность
всего что существует

— зимой море становится неподвижным
будто зеркальное отражение ностальгии —

Перевод В. ТЕМКИНА

БЕРТАЛИСИЯ ПЕРАЛЬТА

Гимн радости

Есть на земле одна задача,
важнее всех небесных дел:
нельзя, чтоб кто-то жил богаче,
а за него другой потел.

*(Аргентинская народная песня
из репертуара Атауальпы Юпанки)*

Мы предали земле тела умерших
И вот на той земле взросли цветы
то их улыбки
их слова
их жесты

несобранным букетом провожают
нас дальше в путь
усталость отогнав

Мы вслед за солнцем акварель заката
свою мечту о новом дне несем

давай же вместе петь
гимн радости рассвету
ведь *жизнь прекрасна брат*

Многоголосье

И тогда он слышит голос
идет навстречу
и видит это мы поем
и нас много

Счастливая пора

В ту пору мы были совсем
молоды и ничего не знали
о войнах о тех кто умирал
в те секунды-невидимки
на часах
нашего детства
ты помнишь Мария
бумажного змея который шелестел
как твоя розово-желтая юбка?

© Bertalicia Peralta, 1976.

Сладко в памяти от голоса матери
и от конфет за щекой
Что ж
у всякой поры свой срок

Только народ

Народ это высший мудрец и правитель
лишь он возвестит
мировой катехизис
народ
его голос уметь надо слышать
прекрасны его слова-поэмы
он плоть любви
он бездогмие
он чист как голос ручья
он щедр как недра земли
народ
это начало и венец всего сущего

Социология

Была малютка страна
в ней мало жителей жило

пусть мало жителей было
но это была их страна

при чем здесь величина:
любая страна есть страна

Первый день

Мы так живем словно завтра
наступит последний день

но это не так —
он будет первым

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС

Вечно одно и то же

Если б знать что однажды
кроме
все тех же фонарей на улице
все тех же знаков на улице
все тех же букв на улице

вдруг встретишь
хоть что-нибудь
новое
непохожее
невероятное
что-нибудь

© Pedro Correa Vásquez, 1974, 1975.

кроме STOP
кроме RIGHT
кроме LEFT[1]

тогда
НАКОНЕЦ
тогда

с дырявым зонтиком в дождь
не боясь увидеть вечные мумии
мы бы вышли из дому
и пошли бы бродить по улицам просто чтобы

бродить
и снова бродить

Истинные слова

Ходить пешком
делать зарядку
не пить спиртного

вот рецепты чтобы
окрепло и закалилось
тело

но истинные
слова

которые исцеляют
от голода и нищеты

никто
не смеет
не хочет
не может
открыть

Россия

Путь идет от озера к облакам
облако идет по пути к озерам
озера уводят заоблачными путями

где-то
в глубинах
вырастают грибы сумерек

сегодня праздник

вот бы встретить как старого друга знакомого из деревни
и пойти с ним
приблизиться к небу

---

[1] Стоп, направо, налево *(англ.)*.

Пробуждение

Забыться сном
ничего не стоит
все мы это умеем с 1903

но сегодня
как добиться рассвета?

Исход

Ну что ж
Моисей
глава и патриарх
я знаю ты будешь рад когда я
ухвачусь за твою бороду
но
что поделать
если сцепив пальцы
я падаю в МЕРТВОЕ МОРЕ
так слабы твои седины

Перевод О. ВОЛГИНОЙ

Третье пришествие

Сколько пустоты! Пространство с трудом облекается в новые формы. Говорят, что кто-то сказал «да будет свет», и был свет. Рассказывают, что тот же голос повелел, чтобы росли яблони, и яблони зацвели на земле. Чего только не расскажут! Но верно то, что пустующее пространство переполняется этим дождем, который льет все сильнее и сильнее. Отблеск света, настоящего, чистого, пугливо мелькнул и исчез, ему страшно открыться. Нахохлились деревья. Вода, как молоко, свернулась и хлопьями падает с неба. Говорят, что дважды до нас здесь жили другие существа и что мы третьи. Много всяких версий, но разве кто знает, что, когда ты приходишь ко мне, пустота наполняется теплым светом и мир сгущается, в нем только ты, рожденная для моего нового рожденья.

Перевод О. ОСТРОВСКОГО

АНХЕЛЬ МАРИЯ ДЕ ЛЕРА

Продается человек

РОМАН

Перевод с испанского ВЕРОНИКИ СПАССКОЙ

IV

Я чувствую на щеках приятную свежесть. Это Викториано массирует мне лицо лосьоном из розмаринового спирта, который он настаивает сам.

— Чем ты душишься, Марибель?

Глаза Марибель — две полные голубые луны, ясные и меланхоличные, освещающие ее лицо с мелкими чертами. Хоть и постарше меня года на два, Марибель тем не менее казалась подростком, только что выскользнувшим из детства. Ей было двадцать, но выглядела она пятнадцатилетней. Фигурка у Марибель была стройная, чуть угловатая, как у мальчика, и только два острых бугорка спереди говорили о том, что она женщина. Свои светло-каштановые, с золотым отливом волосы Марибель зачесывала наверх, оставляя открытыми затылок и маленькие ушки. Марибель... Ах, Марибель!

Я встретил ее в кино на картине «Безумство от любви». Поначалу я не заметил в темноте, кто сидит рядом, но потом еле ощутимый запах розмарина заставил меня повернуть голову. Моя соседка неотрывно смотрела на экран, поглощенная перипетиями Ауроры Батисты в роли королевы Хуаны, несчастной женщины, сошедшей с ума от любви и ревности. Серебристое мерцание экрана зажигало и расширяло ее глаза, освещало ее профиль. Она настолько притягивала меня, что я не раз терял нить сюжета, но, предполагая, что сидевшая по другую сторону от девушки сеньора — ее мать, не решился даже коснуться ее локтя. Лишь когда сеанс закончился и зажегся свет, Марибель заметила мое присутствие. Она окинула меня удивленным взглядом влажных глаз и прошла передо мной, даже не задев. Тогда я понял, что она одна. Я хотел немедленно последовать за ней, однако ноги у меня подкосились, и я сумел лишь проводить ее глазами, пока она не растворилась в выходившей из зала толпе. Я возвращался домой злой и опечаленный и горько сетовал на собственное ничтожество. Эта девочка напомнила мне другую, ту, что встречалась мне на лестнице дома, где жила донья Кармен, и с которой я по робости никогда не обменялся ни словом; уже давно я потерял ее из виду. Ведь в эту пору я был продавцом в «Колониальных товарах Уреньи» и получал жалованье.

Окончание. Начало см. в № 10.

«Придется платить тебе, Энрике, больше я не могу выкручиваться, в профсоюзе меня и без того взяли на заметку как враждебный элемент» — и вот уже другой мальчик разносит заказы по домам. Из всех клиентов, которых я узнал за время ученичества, я видел иногда только служанок сеньоров де Портилью, девушек из Риохи: они заглядывали в лавку, чтобы получить с сеньора Пласидо за недовес. «Хоть и грех говорить, Энрике, но они все ж таки мошенницы». Весь мой галантный опыт ограничивался обожанием девочки с лестницы, тисканьем и поцелуями веселых служанок да визуальными прогулками по бедрам Эуфросины. Я знал все остальное, все до конца, но только понаслышке, теоретически. У меня было смутное понятие о девственности, которое жутко запуталось, когда Эуфросина вышла за своего специалиста по торговому оборудованию, и Маноло, все еще торчавший на втором курсе, решил просветить меня на эту тему в день свадьбы. Он был пьян самым прискорбным образом и, схватив меня за локоть, оттащил в сторону. «Спорим, ты не знаешь, отчего это жених у нас такой бледный? От того, что́ ждет его ночью. Эуфросине давно уж невтерпеж, а она здоровая, как кобыла. Ну и вот, раз он не припас коловорота...» Сеньор Пласидо обвинял женщин во всех несчастьях, сыпавшихся на мужчин: «Эх, не будь у них того, что есть... А что потом? Вечно одна и та же песня. Дай денег. Нет, сегодня я нездорова. А сами жиреют. И думают только о своих детях. И человек привыкает в конце концов расплачиваться за покупки и за все остальное, по ночам трудиться безо всякой охоты и мучиться всю жизнь». Несмотря на эту информацию и на свой скудный, скорее негативный, опыт, я обожал женщин. Я верил, что это таинственные, чистые, обаятельные, нежные, хрупкие, мечтательные и бескорыстные существа, одаренные всеми прелестями Природы. Теперь мне ясно, что я был романтиком. И поэтому почти ирреальное явление Марибель заворожило меня.

С этого вечера я начал незаметно следить за кинотеатром, надеясь, что увижу ее снова. Ждать мне пришлось всего два дня. Она появилась одна. Еще более обворожительная, чем раньше. Какая походка! Какие руки! Я задыхался. Марибель купила билет и вошла в зал. Я сделал то же и поспешил за ней, но темнота — фильмы здесь шли без перерыва, и программа уже началась — и собственное смятение дезориентировали меня. Места были не нумерованы, и когда я хотел сесть рядом с ней, оказалось, что меня опередили: кресла по обе стороны от нее были уже заняты; мне пришлось двигаться дальше по ряду, среди протестов и шиканья зрителей. Наконец я плюхнулся на первое свободное место. «Мне уже восемнадцать. Я мужчина. Спокойно»,— сказал я себе, чтобы справиться с волнением. Несколько раз, пока шла картина, я наклонялся вперед, делая вид, будто завязываю шнурки ботинок, но на самом деле кидая взоры туда, где сидела она. Однако мне ее не было видно, и весь фильм стал для меня сплошным мучением. Наконец сообразив, что до конца остается уже немного, я поднялся, невзирая на недовольный ропот сзади, прошел через вестибюль и снова занял наблюдательный пост на улице.

Я стоял и курил, намеренно растягивая время, но минуты еле ползли, томительные и бесконечные. Я докурил одну сигарету и начал новую, и тут как раз из зала пошли зрители. Она появилась одной из первых. Шла она не торопясь и смотрела по сторонам. Кучка зрителей быстро растаяла, а Марибель чуть задержалась у дверей.

«Теперь или никогда. Ну, Энрике, смелей же». И я пошел следом, стараясь сохранять крохотное расстояние между нами. «Что я ей скажу? А вдруг она рассердится? Тогда зачем я иду? Надо сказать ей что-нибудь, ну, что она мне нравится, что я хотел бы поговорить с ней, что... Боже!» Она остановилась. Я застыл на месте. Она раскрыла су-

мочку. Что-то упало. Она наклонилась, чтобы поднять упавший предмет. «Я трус». И я рванулся вперед. Я поравнялся с ней и застыл, глядя на нее и улыбаясь, как полный идиот. Мы стояли на краю тротуара.

— Идем,— вдруг сказала она.— Это же нелепо.

Ее голос показался мне восхитительным — и еще более восхитительными нечаянные касания наших тел, когда мы снова двинулись в путь и стали переходить улицу. В это время по мостовой лишь изредка пробегали такси да проползали в парк последние трамваи. Ступив на другой тротуар, она спросила:

— Что тебе надо?

Как ей ответить, если я и сам не знал, что мне было надо? Кто я такой? Господи, что мне делать? И еще прежде, чем я успел что-нибудь сказать, все равно что, что угодно,— она посмотрела мне в глаза, и я онемел.

— Тогда зачем ты идешь за мной?

Зачем? Зачем? Но ведь это и так понятно... Зачем мужчина идет за женщиной? Так вот за тем же и я за ней иду. За тем самым. Что? Не помню, что я сказал. Мой словарный запас для разговоров с женщинами был весьма небогат. «Красотка. Ты мне нравишься. У тебя такие глаза, что бьют наповал. Ты точно тростинка, а когда идешь... Когда идешь — и что дальше? Ты девочка что надо. Ради тебя я мог бы проползти на четвереньках до самого Эскориала. Если ты скажешь мне «нет», я иду и записываюсь в иностранный легион...» Слова и фразы, подхваченные где попало. Глупости. Ничего стоящего. Марибель заслуживает другого. Кажется, я тогда ничего не сказал.

— Как тебя зовут?

— Энрике.

— А меня Марибель.

— Какое красивое имя.

Вот это вырвалось у меня само собой. Я хорошо помню, что так сказал, потому что следом услышал ее первую шутку:

— А если это неправда и меня зовут Паскасия?

— Все равно. Любое имя красивое, если оно твое.

— Да неужели?.. У тебя есть невеста?

— Нет. А у тебя есть жених?

— Тебе это важно?

— Да.

— Да неужели?

Я почувствовал себя увереннее, смелее. «Если она до сих пор не послала тебя ко всем чертям, значит, ты ей не противен, Энрике».

— И тебе хотелось бы услышать, что у меня нет жениха, верно?

— Верно.

— Ну так у меня его нет.

Я схватил ее руки и крепко сжал в своих. «Все образуется». Какие маленькие, мягкие ручки!.. И я вспомнил о пухлых руках Эуфросины и девушек из Риохи и еще о покрасневших, растрескавшихся руках моей мамы.

— А если у меня нет жениха, что из этого? Ты же ничего не говоришь.

Я собрался с силами и забыл обо всем. О своем страхе. О своем ничтожестве. О своей бедности. О сеньоре Пласидо. О девушках из Риохи и об Эуфросине. И о маме. Обо всем на свете. Была только ночь, Марибель и я, мы одни, лицом к лицу. Марибель и я, двое чужих, что встретились, всю жизнь проискав друг друга на окольных дорогах. Ночь, немая и жаркая,— убежище, соучастник, друг, искусительница... Почему ночью мы больше чувствуем себя самими собою? Почему в темноте все растворяется и видишь вокруг так мало? Мне хотелось

бы знать, что такое сны, куда мы уходим и как живем, пока спим. Но я не учен и никогда этого не узнаю. В ту ночь я впервые ощутил, как все эти вопросы зашевелились во мне.

— А то, что я хотел бы быть с тобой всегда,— сказал я внезапно для себя самого.

— Возьми меня под руку,— сказала она.

От прикосновения ее теплой обнаженной руки я вздрогнул, и по всем моим венам словно пробежал поток холодной воды. Даже желудок стиснуло. Меня прошиб пот. И захотелось пить.

— Хочешь пойти со мной? — спросила она.

— Хочу,— ответил я.

— Все равно куда?

— Все равно куда.

— Как ты думаешь, кто я?

— Марибель.

— Хорошо сказано.

— Чем ты душишься, Марибель?

— Розмариновым спиртом. Я настаиваю его сама. Тебе нравится?

— Очень.

Я уже не замечал, где мы шли, куда поворачивали, сколько времени шагали по улицам. Я чувствовал, как при ходьбе ее тело легонько касается моего. Я вдыхал запах ее кожи. Когда налетал ветерок, ее волосы щекотали мое лицо. Мы не разговаривали. Не знаю, о чем она думала. Я пытался думать, но мысли разлетались. Мне хотелось тогда лишь одного: чтобы наша прогулка никогда не кончалась.

— Ну, вот мы и пришли.

Я молчал. Она открыла дверь и сказала:

— Давай проходи.

Я заколебался. Я стал опять робким, боязливым, растерянным мальчиком.

— Идем же,— повторила она и подкрепила слова жестом.

— А твои родители? — пробормотал я.

— Родителей нет. Я живу с одной сеньорой. Ее зовут Чаро. Ты с ней познакомишься.

Мы вошли, и вдруг в темноте она схватила меня и поцеловала в рот долгим-долгим, влажным-влажным поцелуем, поцелуем скользким-скользким, таким скользким, что он, словно живая рыбка, ускользал из моих губ. Никогда меня так не целовали. Ведь это, несомненно, был поцелуй, но какой-то другой поцелуй, поэтому он парализовал меня, а когда я попытался на него ответить, было уже поздно. Марибель исчезла, и я хватал темноту. «Это сон? Все это неправда? Но где я?»

— Марибель, куда ты подевалась?

Тут в подъезде зажегся свет. Марибель стояла у стены. Она смотрела на меня и улыбалась, вся искрясь весельем. Показала язык и жестом остановила меня, когда я рванулся ее обнять. Потом она направилась к лестнице. Я пошел за ней. На втором этаже она вынула из сумки еще один ключ и открыла дверь.

— Тихо, не шуметь,— предупредила она.

Неяркая лампочка в красном абажуре слабо освещала коридор, устланный ковром. Я шел следом за Марибель, оба мы ступали осторожно, на цыпочках, но половицы все-таки поскрипывали. Еще одна дверь, свет, комната с супружеской постелью и прочей мебелью. Марибель бросила сумочку на кресло, а я остановился в ногах просторного ложа.

— Я сейчас вернусь.— И Марибель скрылась за маленькой дверью.

Тут как будто мне все стало ясно: Марибель была... Но слово застряло у меня в горле. И однако же, это так. А что теперь? Я оглядел комнату: мебель показалась мне неправдоподобно роскошной. Мои глаза задержались на большом круглом зеркале в дверце шкафа, и я увидел в нем себя в полный рост. Увидел свой черный галстук, подарок сеньора Пласидо, завязанный криво и неумело; клетчатый пиджак, купленный на вырост; мешковатые, слишком короткие брюки; потрескавшиеся тусклые ботинки... И увидел свое неинтересное лицо, лицо мужлана, лицо простофили... У меня упало сердце. «И правда, на меня противно смотреть». А тут еще до меня донесся плеск воды, и я смутно представил себе Марибель, сидящую в ванне. «Ну ладно, но как же я признаюсь, что в кармане у меня только семь песет, нет даже двух дуро? Она девочка с претензиями и стоит, наверное, не меньше десяти». Мне захотелось удрать, исчезнуть, испариться, и в этот миг на пороге появилась Марибель. Волосы ее рассыпались по плечам, тело завернуто в цветное полотенце. За несколько шагов до кровати она уронила полотенце на пол и оказалась обнаженной, обнаженной, обнаженной. Меня охватила дрожь. Она удивленно качнула головой, увидев, что я торчу столбом все на том же месте, и улыбнулась. Потом отвернула покрывало и уселась на край постели. И снова посмотрела на меня, уже без улыбки, внимательными помрачневшими глазами.

— Что, я тебе не нравлюсь?

Надо было что-то сказать, что-то сделать. Не мог же я стоять как пень перед первой девушкой, которую увидел обнаженной.

— Да нет, знаешь...

И я замолчал. Я хотел было сказать, что у меня нет денег и если бы я знал, о чем идет речь, я бы не... Но на самом деле меня давила огромная глубокая печаль, тяжкая, как свинец, печаль разочарования, горя, злости, и только один вопрос вертелся в мозгу: почему это так, почему, почему? Конечно, она уже не казалась мне девочкой, как на улице. Несмотря на свою внешность, она была женщиной. «Боже, какое тело! Значит, школьница с лестницы тоже была такая? Все девушки такие? Где же тайна, сомнения, очарование?»

— Иди и сядь возле меня. Я тебя раздену.

Ну, это уж дудки, и я торопливо разделся и разулся сам, раскидывая вещи по сторонам, как бешеная мельница. Теперь я стоял перед ней обнаженный, обнаженный, обнаженный. Ну, что? Марибель перекатилась на спину и протянула ко мне руки.

— Идешь, дорогуша?

Дорогуша? Слово тряхнуло меня, как пощечина. Это был вызов. Я понял и принял его. Но когда она обняла меня и я ощутил под рукой упругий изгиб ее спины, мне стало так стыдно — больше, гораздо больше, чем в тот раз, когда я впервые услышал ложь из уст моей мамы,— что я не смог удержаться. Я заплакал.

— Бедняжка, бедненький мой...

Но в последующие вечера — я приходил к ней через день — я показал себя настоящим мужчиной. Неутомимое тело Марибель раскрыло передо мной все секреты, научило всем удовольствиям. Мы почти не разговаривали. Поначалу исступленный вихрь подхватывал нас, и мы теряли голову; потом — нам было просто лень. И так я узнал, что такое женщина: куда больше того, что я себе представлял, и вместе с тем куда меньше. Иными словами, нечто совсем другое. Теперь я понимаю.

История Марибель обычна, по крайней мере, на мой взгляд. Ее родители, эстремадурские поденщики, сбежали из родных мест, спасаясь от голода и лишений, и приехали в Мадрид по совету одного

родственника, успевшего опередить массовый исход; он же нашел вновь прибывшим лачугу в Вильяверде, лачугу, которая стоила им всех денег, вырученных за ослика и жалкий скарб. Ее отец пошел работать подручным на стройку, а брат вскоре стал одним из мошенников, орудовавших на овощном рынке Легаспи. Она поступила в прислуги. В первом доме она продержалась недолго: голодала она там по-прежнему, и вдобавок хозяйка нестерпимо помыкала ею, а платила мало и нерегулярно. «Сеньора целыми днями кричала на меня, обзывала неумехой и дохлячкой — и так до конца месяца. Первого числа она становилась доброй и ласковой и со слезами умоляла меня потерпеть немного, потому что ее мужу тоже не платят». К счастью, Марибель подружилась с лавочником, и он порекомендовал ей хороший дом, где нужна была горничная. Она обратилась туда, и ее взяли на место. Дом новых хозяев был совсем иным, жизнь в нем шла барская и сложная. Нарядная мебель, ковры, портьеры, кабинет, заставленный книжными шкафами, белые наколки и передник, строгий этикет трапез, серебро, непонятные разговоры, светская жизнь, визиты и чаи, которые нужно подавать с реверансами, и жалованье сорок дуро в месяц, выплачиваемое самым пунктуальным образом. Хозяину было, казалось, лет пятьдесят; серьезный, всегда погруженный в свои высокие мысли, он говорил мало, но метко. «Вполне очевидно, дорогой друг, что нравственность падает. Давайте подвергнем эту проблему объективному анализу. Испания — страна эмоциональная. Я против релятивизма, этой отговорки посредственностей и малодушных. Основа жизни едина: это бог». Он считался преподавателем не знаю уж чего в университете Саламанки, но наезжал в этот город не больше трех-четырех раз в год, а остальное время у него отнимали дела в Мадриде: он был советником при столичных представительствах крупных каталонских и баскских предприятий. Его звали дон Сиксто. Хозяйка, полная, рыхлая, кудахтала, точно курица, и говорила лишь о своих предках и родственниках: «Мой дедушка — генерал; мой отец — полномочный министр первого класса»,— да о своей работе во время войны: она заведовала от Красного Креста складом одежды в Сан-Себастьяне. «Там мы, люди, которым благодаря своему положению никогда не было нужды работать, доказали, что, если доходит до дела, даже в этом мы превосходим остальных». Их дочь Матильдита изучала философию и литературу. Она встречалась с будущим дорожным инженером. «А Роберто говорит, что Испании больше всего нужны технические специалисты».— «Какой ужас, дитя! Что ты думаешь, Сиксто?» — «Скажи по-другому, Мария-Элена: механики и торгаши. Это знамение нашего времени: покупать и продавать. Уж мне ли этого не знать? Я сам вынужден служить подобным типам, которые даже «Дон Кихота» не читали».— «Ты не служишь никому, Сиксто».— «Мне платят, Мария-Элена, тебе этого мало? Короче говоря, сейчас господствует рыночная философия, при которой человек, его достоинство, его талант — предмет купли-продажи, не больше. Один продает железо и покупает интеллект, а другой продает интеллект, чтобы купить железо, ты понимаешь мою мысль? Это хуже, чем революция, от слова revolvere — переворачивать, перетряхивать; это нигилизация, от слова nihil — ничто». Хозяйский сын Луис-Мария был плохим студентом-юристом, сдававшим экзамены лишь благодаря связям дона Сиксто. Изящный бездельник, но притом — единственный симпатичный человек во всем семействе. «Моя мать — разорившаяся аристократка, да к тому же у нее сейчас климакс, знаешь, что это такое, Марибель? У моей сестры вкусы, как у кухарки, она спит и видит во сне мосты, которые будет строить ее Роберто, близорукий зубрила, способный перепутать дамское бедро с цилин-

дром; а мой отец — похотливый старикашка с пустой головой. Но нам-то с тобой что за дело до моей семейки, верно, Марибель?» В доме была еще одна важная особа — кухарка Грегория, перешедшая к хозяевам после их свадьбы от родителей Марии-Элены. Она безраздельно царила на кухне, не допуская постороннего вмешательства, будь то даже вмешательство хозяйки. Ее единственной слабостью был Луис-Мария. «При мне родились они оба, обоих я вырастила, но Луис-Мария — мой любимец». И Луис-Мария, зная об этом, частенько заглядывал в феод Грегории и, ласкаясь, выклянчивал у нее лакомства и деньги. Таким образом, когда лакомством стала Марибель, Грегория приняла его сторону. Юнец целовал и обнимал Марибель в присутствии кухарки, и девушка не могла противиться—впрочем, надо признать, что Луис-Мария не был ей неприятен, скорее наоборот. Впервые в жизни за ней ухаживали, а молодой человек умел к тому же ловко и с трогательным простодушием говорить такие красивые слова. «Луис-Мария — просто красавчик, правда? Все девушки влюблены в него, и не одна знатная гордячка отдала бы все на свете, лишь бы он потискал ее так, как тебя». И Грегория раскрыла ей некоторые тайны из тех, что не упоминаются в семейных беседах. Хозяйка, донья Мария-Элена, была из высокопоставленной семьи: у нее были богатые родственники в Бискайе и очень влиятельные родичи в Андалусии, но ее отец спустил состояние в игорных домах. Напротив, у дона Сиксто, сына винодела из Ла-Манчи, не было дворянских грамот, но зато водились деньжата. Донье Марии-Элене нравился сынок дипломата, тоже кутила без гроша за душой, но тут ее родители забили тревогу. «Дошло до того, что двое голубков собрались бежать во Францию. Хорошо еще, что министр и министерша зацапали свою дочку, когда та пыталась улизнуть из дому с узелком в руке,— не то поди знай, что случилось бы с твоей хозяйкой. Достаточно сказать, что на свете не было бы ни Матильдиты, ни Луиса-Марии». Последовали внушения, слезы, обмороки, сидение взаперти, слежка и ложь, чтобы сохранить приличия, а год спустя на сцене появился дон Сикстo, только что прошедший по конкурсу на должность преподавателя,— его привели в дом неоплаченные долговые расписки полномочного министра, которые новоявленный профессор сумел скупить. «Сеньора воротила нос от сына винодела, хотя тот и слыл профессором: для нее он по-прежнему оставался доном Никто. Но винодел прижимал и прижимал, и в конце концов ей пришлось сдаться ради своих родителей и спасения семейной чести, в обмен на расписки, стоившие двадцать тысяч дуро. Вот так она и продалась, или ее продали, за двадцать тысяч дуро». А Марибель тем временем отдалась на волю течения, которое потихоньку снесло ее в омут — поначалу в спальне для прислуги, когда Грегории якобы случайно не оказывалось дома, а потом и прямо в комнате Луиса-Марии. Но кто-то за ними следил, и однажды ночью их застал врасплох дон Сикстo. Пощечины сыну: завтра я с тобой поговорю, а ты, несчастная, ступай в свою комнату и складывай вещи. На другое утро Марибель призвали в кабинет, полный книг с кожаными корешками и золотым тиснением. У доньи Марии-Элены — круги под глазами, следы слез на щеках, в голосе боль и упрек. «Значит, вот как ты платишь нам за то, что мы подобрали тебя на улице? Соблазняешь нашего сына? Горбатого могила исправит, ничего другого и ждать не следовало. А все из-за того, что я по-человечески обращаюсь с твоим сословием и иногда строю иллюзии, будто вы такие же люди, как мы. Но это не так — пример налицо, а я лишь обманываю сама себя». Дон Сикстo был серьезен, внушителен, убедителен, академичен и говорил стоя: «Я немедленно отведу тебя к твоим родителям. Это мой долг. Ответственность прежде-

де всего. Ты несовершеннолетняя, и я не желаю, чтобы, выйдя из моего дома, ты упала в яму. А твое мнение, Мария-Элена?» Хозяйке было все равно. В эту минуту ей хватало дела утирать слезы и подавлять икоту. Но дон Сиксто истолковал ее поведение как согласие. «И вот под конвоем дона Сиксто я вышла из того дома, чтобы войти в этот. Я и не подозревала о намерениях своего покровителя, но он очень скоро растолковал мне их на этой самой постели». Дон Сиксто запер дверь изнутри и разделся во мгновение ока. Теперь это был уже не тот суровый, всезнающий и красноречивый хозяин, а голый, пузатый, слюнявый человек, умоляющий и жадный, жадный, жадный, как изголодавшийся пес. Нет, еще жаднее. Марибель была застигнута врасплох, она сдалась, потерявшись от удивления, оцепенев от страха. «Я обратил на тебя внимание, как только ты появилась в доме. Мой сын — щенок, но я настоящий маэстро, вот увидишь». Потный, все еще тяжело дыша, он одевался, расчесывал усики и несколько седых волосинок, которыми прикрывал череп, и постепенно вновь обретал свой привычный облик, словно актер, готовящийся к выходу на сцену. «Моя жена — вялая, сверхчувствительная и не подпускает меня к себе, потому что не желает больше разбавлять свою кровь плебейской. Как видишь, у нее еще и паранойя, тебе понятно? Ну хорошо, я выдал донье Чаро определенную сумму из расчета твоего месячного жалованья в качестве гарантии за жилье. Это очень солидный дом, здесь время от времени несколько сеньоров под большим секретом встречаются со своими приятельницами, а донья Чаро — понятливая дама, вот именно, понятливая. Здесь нет других пансионерок, кроме тебя, и она согласилась лишь потому, что речь идет обо мне, одном из друзей ее юности. Это очевидно, не правда ли? Итак, ты скажешь своим родителям, что просто сменила хозяев и теперь служишь у доньи Чаро, хотя, само собой разумеется, ты ей не служишь. И больше тебе не о чем беспокоиться. Все твои расходы оплачиваю я». Теперь он снова стал самим собой. И удалился. По словам Марибель, он оплачивал ее жилье, очень скромно одевал и обувал ее и выдавал двести песет в месяц, чтобы она могла оправдаться перед родителями. И все, больше ни одного сентимо, ни одного подарка. «Терпение, благоразумие и бережливость прежде всего, малышка». Короче говоря, дон Сиксто располагал двадцатилетней любовницей, платя ей, как служанке. Но Марибель была не такой дурочкой, чтобы не разгадать грязной игры своего покровителя. «Мне не нравится служить у хозяев. Это так, но, с другой стороны, я позволяю себя эксплуатировать этакому прижимистому ловкачу. Вот тебе и профессор... Если он думает, что его пустопорожние поучения убеждают меня, он очень ошибается. Цена мне повыше, милый. И эта цена — ты».

Сеньор Пласидо, очевидно, что-то заметил, потому что сказал:

— Ты втюрился, мальчик.

Я притворился глухим и ничего не ответил, но он пустился говорить и говорить как заведенный обо всех несчастьях, которые женщины причиняют мужчинам. «Теперь уже знаешь, что в сорок лет, женишься ты или не женишься, все равно будешь жалеть. Поэтому в конце концов почти все мы решаем попробовать. Если это так, поглядим, что получится, а? Но тебе же не сорок, Энрике. Тебе даже не двадцать». Для сеньора Пласидо самым удобным и разумным было как можно дольше ничем себя не связывать. «Разве ты не видишь, что они цепляются за ноги и топят тебя? Конечно, сейчас попасись здесь, попасись там, везде, где сумеешь, без этого нельзя, но захомутать себя не давай». В те дни он все еще возмущался приездом в Испанию Евы Перон: «И что только эта дамочка здесь потеряла? Вот видишь, для

того, чтобы переплюнуть мужчин, женщины способны на все. Будь я аргентинцем, я сгорел бы со стыда от того, что моей страной правит женщина, хоть какая ни на есть тебе разблондинка и раскрасотка. А роль ее муженька... И к тому же скольким бабам захочется теперь угнаться за Пероншей. Только этого не хватало! Ну, моя-то свое место знает, она у меня шелковая, мне беспокоиться нечего». И под любым предлогом возвращался к прежней теме:

— А как там твой романчик? Ты похудел. С этого все и начинается. А знаешь, где кончается? У священника, с шестимесячным зарядом, или в венерическом диспансере.

Но я помалкивал, а дурные болезни, о которых я слышал столько ужасов, меня не беспокоили, потому что Марибель, в конце концов, не была профессионалкой, и дон Сиксто, очевидно, заботился, чтобы девушка была здоровой. Моя сдержанность заставляла сеньора Пласидо отыгрываться на Эве Перон и на подаренных ею пароходах с зерном, которые затерялись по дороге. Этот скандал горячо обсуждался на его вечерних сборищах с друзьями. «Изменить курс и идти на разгрузку в Марсель! Кто приказал? Я! А вы кто такой? Хуан Перес! Ну, раз это приказывает Хуан Перес, то и говорить больше не о чем!» И они покатывались со смеху. Чем же еще им было утешаться после того, как лопнули все их надежды на скорую смену режима: «До лета дело не дойдет. К новому году — новые вести»,— и они обсуждали, кто их предал: западные демократии или Сталин. «Почему Сталин не объявил войну Испании, а? У каждого свои заботы, а о нас-то они и забыли».— «Но поэтому и надо быть радикальнее, Пласидо. Ты убедишься, что дон Диего не годится».—«А эмигранты? Грызутся между собой, шипят и зеленеют от злости, вместо того чтобы объединиться и сражаться, как один». И как-то раз сеньор Пласидо в немногих словах подвел итог спорам:

— Мы сделали все, что могли. Впредь дело за молодыми, такими, как Энрике. Ведь речь идет об их будущем, верно? Ну, так пускай и засучивают рукава. У нас нет другого выбора, как только зарабатывать деньги.

— Это не просто.

— Господи, конечно нет. Более того, даже разбогатев, мы все же останемся на подозрении. Но это единственное средство для того, чтобы от нас не требовали политических рекомендаций, не спрашивали, в какой зоне мы были во время войны. Деньги бесцветны и открывают все двери. Так что...

Для меня подобные разговоры звучали галиматьей. Эти люди, мой хозяин и его друзья, и многие другие (да я думаю, все их поколение, одни — оттого, что победили, другие — оттого, что проиграли) все еще сводили счеты между собой, словно им больше нечего было делать. Я не считал, что сеньор Пласидо и его товарищи неправы, но, по-моему, они сами были виноваты в том, что с ними случилось, и их сетования в задней комнате ни к чему не вели. Что они делали, чтобы исправить прошлое? Ничего. Только болтали, ожидая, когда другие вытащат для них каштаны из огня. У меня тоже были свои затруднения, а кто помогал мне? Никто. Один только сеньор Эладио выручил нас в самую тяжелую минуту, зато и умер в тюрьме, покинутый всеми, и единственным вознаграждением были для него сочувствие и благодарность моей мамы. Жизнь учила меня, что слова — одно, а дела — совершенно другое. Неужто невозможно забыть слова, слова, слова и обратиться к чувствам? Почему поступки людей так отличаются от их мыслей? Что же происходит? На этот вопрос через много лет мне ответит парикмахер Викториано: «Потому что люди не хозяева самим себе. Они всегда к чему-то прикованы. Даже теми, кто

представляется хорошим и поступает как хороший человек, руководят другие мотивы, и так же плохие плохи, потому что им нравится делать зло, нравится, чтобы их боялись. Гораздо удобнее быть хорошим, чем плохим, в этом и сомневаться нечего. Но сколько раз хороший хотел бы стать плохим и, однако, не решается, это стоило бы ему больших усилий и потери доброй славы, которую ему очень бы хотелось сохранить. То же самое происходит и с плохими, которые тоже устают всегда поступать наперекор, ни с чем не соглашаться, но им не остается ничего другого, как действовать по-прежнему, если они не желают терять своей власти, да еще услышать, как напоследок все посмеются над ними. И подумай только: иногда хорошие толкают нас к безумию и катастрофе, в то время как плохие могут послужить человеку на пользу, заставляя его восстать против их зла. Против высокомерия — кротость, против гнева — терпение и так далее. Хороший, считающий себя хорошим, так же невыносим, как тот, кто выполняет роль плохого. Для меня добродетель заключается в том, чтобы стать выносимым. В том, чтобы выносить друг друга, сочувствовать и помогать друг другу. Но это не котируется, мой друг, а следовательно, никого не интересует, тебе ясно?» Не знаю, понятно ли объяснял Викториано, был он прав или нет, но он выражал словами более или менее то, что думал я сам, хотя и был неспособен высказать это. Однако тогда я был еще очень молод и не знал Викториано. Меня тревожили только Марибель и моя мама. На следующий день после свидания с Марибель мне было грустно, меня терзали раскаяние и гадливость, мне не хотелось к ней возвращаться. Наступала очередь дона Сиксто, и я представлял себе, как он катается с ней по постели, мнет, пачкает ее, как в ее голубых глазах отражается его омерзительный образ. «Если бы ты видел, как он пресмыкается, Энрике; как молит меня и даже плачет... Потому что я презираю его, и говорю ему об этом, и обзываю его, и смеюсь, когда у него дрожит брюхо. Он хочет, глупый, чтобы я называла его «любовь моя», а знаешь, как я его называю? Чесун. Я дергаю его за усы, пересчитываю волосы на его лысине, пальцами ног хватаю его за нос, и когда он распалится дальше некуда, говорю, что он мерзость, а вот ты действительно хорош, пальчики оближешь. Я останавливаю его и спрашиваю, почему он женился на такой дуре, и он отвечает — знаешь, что он мне отвечает?— что женился на этой идиотке, ломте тухлого шпика потому, что деньги и профессорское звание — пустой звук, если ты сын неотесанного виноторговца, грязного мужлана, вьючного осла, пропахшего потом; женился на ней, хотя и знал, что она потеряла невинность с дипломатом, который поспешил письменно сообщить ему об этом, когда он стал женихом; женился, потому что хотел породниться со знатью, чтобы хвастаться, чтобы утереть нос иным приятелям по университету, которые то и дело спрашивали его, отчего это он не стал ветеринаром — ведь это так ему подходит, а еще затем, чтобы оставить своим детям дворянские грамоты, деньги и культуру, потому что он честолюбив. То есть это он говорит, будто честолюбив, но, по-моему, он просто хочет скрыть, какая он свинья. Сволочь, сволочь, сволочь. Поэтому когда он в первый раз бросил мне в лицо, что содержит меня, я спросила, куда он дел письмо дипломата, обесчестившего его жену, и этот подонок заявил, что напоминает о нем жене, когда та упрекает его за связи, и своим тестю и теще и прочим жениным родственничкам, когда те просят у него денег. Видишь, Энрике, все они воняют, все одинаковые, хотя потом и задирают нос: вот, мол, мы какие. Нам с тобой есть чем заняться, и не тревожься попусту, любимый: тебя я называю так от всего сердца, потому что это правда». И все же я мысленно видел ее с доном Сиксто, хотел я того или не хотел,

и во мне поднималась желчь. Лучше бы мне было не знать ее никогда, не встречаться с нею и бродить по улицам, ни о чем не ведая, потерянно, как говорится, вслепую, или исчезнуть, уехать далеко-далеко в другие страны, где, быть может, жизнь течет по-иному, как в кино, как в песнях, как в тех чудесных историях, которые в детстве рассказывала мне мама. «Завтра я не пойду. Завтра я не пойду. Больше я ее не увижу». Но когда приближался вечер, не знаю, что происходило со мною: таинственные силы изменяли цвет моих мыслей, моих желаний. У меня сжимало желудок, по всему телу бегали мурашки, я ощущал недовольство и тоску. В глазах мутилось, мне не хватало воздуха, и я начинал путаться в подсчетах. Следя за мной украдкой, хозяин то и дело подкалывал меня: «Какая муха тебя укусила? У тебя все из рук валится, мальчик. Внимательней, внимательней, смотри же, что делаешь». И так до самого закрытия. Больше я уже не мог терпеть ни минуты и вне себя, бегом мчался к Марибель, всегда в страхе, что не застану ее. Но она была дома и ждала меня. И тут я забывал свои колебания, свой стыд, свое отвращение, свои муки. Цветущая, улыбающаяся, ласковая, покорная, неотразимая Марибель — боже, какое это небо, какой это свет, какое ароматное дуновение, какой огонь, какая жизнь, какая смерть! «Я люблю тебя, Энрике, я бы хотела умереть вот так, в твоих объятиях». И ее тело обмирало в моих руках, словно таяло от моего дыхания. И она закрывала глаза, словно в агонии, глаза такие голубые, голубее которых я больше не встречал в своей жизни... Ах, Марибель! До сих пор, до сих пор ты у меня перед глазами, такая, как тогда!

Моя мама теряла силы и худела. Ее прежняя красота, смуглая красота горячей ковриги темного хлеба, ее красота знойного полдня постепенно тускнела, и теперь она стала лишь бледной тенью той женщины, которая как-то вечером вышла из поезда на вокзале Аточа, ведя за руку маленького мальчика, и потом прокладывала себе путь среди готовых затравить ее распаленных мужчин. Я мало видел ее — какую-то минутку по утрам, когда стоя глотал завтрак, перед тем как бежать на работу, и еще минутку по вечерам, когда была моя очередь отдыхать, потому что от Марибель я возвращался очень поздно и слышал только ее голос с кровати:

— Это ты, Энрике?

— Я.

— Как ты поздно, сынок.

Все же раз я заметил, как она изменилась, и перепугался.

— Что с тобою, мама?

— Ничего. А что?

— По-моему, ты плохо выглядишь.

— Да я просто старею, глупышка.

И она меняла разговор или иногда сама задавала мне вопросы:

— Где это ты так часто пропадаешь допоздна?

— В лавке, готовлю заказы.

— Через день?

— Конечно. Я предпочитаю разок уж сделать все, что надо, чем толочься там каждый вечер и никогда не отдыхать как следует.

Но однажды на рассвете после свидания с Марибель я обнаружил ее на кухне: она сидела у стола, бледная, без кровинки в лице, дрожащая, с потухшими глазами. Похолодев от страха, я подбежал к ней, обнял, и теперь она уже не могла отговориться.

— У меня в уборной закружилась голова, и я побоялась лечь в постель и уснуть.

И она объяснила мне про менструации. У нее слишком рано начался климакс, и поэтому появились отклонения в цикле: то совсем

ничего, то внезапные и обильные кровотечения, то кровь сочится долго и понемногу.

— А сегодня ночью у меня как раз случилось одно из таких сильных кровотечений. Это женская хворь. Так что можешь не беспокоиться.

Я почел за лучшее принять это объяснение и отвел ее в постель, пообещав время от времени подходить к ней, проверять, все ли в порядке. Но по дороге она потянула носом воздух и спросила:

— Ты с кем-то встречаешься, Энрике?

Я понял, что обманывать ее бесполезно, а кроме того, мне всегда было неприятно говорить ей неправду.

— Да.

— Надеюсь, она честная девушка. Это единственное, что меня заботит, да еще пусть будет бедная, чтобы никогда не смогла попрекнуть тебя своими деньгами, говорить, что купила тебя. Твой отец и я — мы оба были одинаково бедные. Поэтому деньги никогда не вставали между нами. Послушайся моего совета: бедная и честная.

— Ну конечно, конечно.

— Ты знаешь, мне бы хотелось, чтобы ты поскорее женился.

— Ой, мама! Сеньор Пласидо говорит, что чем позже, тем лучше.

— Но я не сеньор Пласидо, сынок! Я мать, у которой нет больше никого, кроме тебя, а ты сын, у которого нет никого, кроме твоей матери. Мы слишком одиноки с тобой, слишком одиноки. И если, не дай господь, один из нас вдруг исчезнет, что станется с другим? Я знаю, что это одни разговоры, но все-таки...

От ее печальных слов у меня сжалось сердце.

— Не говори так. Когда я отслужу, тогда и поговорим, хорошо?

— Вот именно оттого, что у тебя еще военная служба впереди, мне и не терпится.

Когда я пересказал Марибель мой разговор с мамой, свет погас в ее глазах, и она горько усмехнулась. «Бедная женщина. Если бы она только знала...» Я понял, что зря рассказал ей об этом, и попытался отвлечь ее, но напрасно. «Она не знает, что я старше тебя и что...» Марибель взглянула на себя со стороны и увидела совсем другую женщину, не такую, какой ей хотелось бы быть для меня в ту минуту и всегда. «Марибель, все это материнские глупости. У меня нет ни дела, ни надела, да и молод я еще, чтобы думать о женитьбе — и теперь, и через много лет». Мы лежали голые, на спине. Я видел ее длинные ноги до самых пальцев. «Но ты женился бы на мне, Энрике?» Лгать, лгать, лгать? Нет! Я особенно презирал обманщиков, таких, как сеньор Пласидо, как дон Сатурио, как множество других. Лгать — значит, на мой взгляд, отрекаться от самого себя. Не так, как святой Петр отрекся от Христа, гораздо хуже, как, к примеру, Христос сказал бы Понтию Пилату, что он не он, Христос, а безумец, идиот, простак. Я до сих пор считаю, что ложь — это наихудший людской порок и верх малодушия. Я не хочу этим сказать, что ни разу не лгал — я лгал слишком много; я просто хочу сказать лишь то, что говорю, нравится это или нет, заденет это кого-то или не заденет. «Думаю, я никогда не женюсь, Марибель...» Воздух спальни давил на нас, и давила тишина, покой в крови и больше всего печаль в мыслях. «Никогда не женишься? Почему?» Трудно объяснить — как все то, чего не видел и не знаешь. «Потому что я не хочу видеть, как тонет все вокруг. Потому что не хочу ни к чему быть привязанным насильно. Потому что хочу повидать мир. Потому что не хочу бояться голода, усталости и нищеты». Внезапно Марибель расхохоталась, подняла ноги и качнула их назад, словно собираясь перекувырнуть-

ся, но задержала в воздухе, а потом рухнула на меня, как искрящийся водопад, щебеча, щекоча, обжигая. «Энрике, да ты старше меня! Ты точь-в-точь как мой папа. Когда мы голодали в деревне, он все твердил, что лучше бы никогда не женился, что был бы теперь в Америке или на краю света и, может, разбогател бы, а если нет, то по меньшей мере у него никто не сидел бы на шее». Мы вскочили и помчались по комнате, гонялись друг за другом, щипались, играли... Она первая устала и пришла в себя. «Я забыла сказать, что в следующий раз ты увидишь Сиксто». Я принял это за шутку, она не спорила, и больше я не вспоминал об ее словах. Но так оно и случилось. Когда я вошел в комнату, Марибель лежала на постели, голая, раздвинув ноги, раскинув руки. Никогда раньше она не встречала меня так, и это удивило, даже укололо и смутило меня. Я не успел произнести ни слова, потому что Марибель сделала мне знак молчать и крикнула:

— Эй, Чесун!

— Что, крошка? — отозвался из ванной мужской, комично сладкий голос.

— Энрике уже здесь. Выходи.

И в комнату вошел человек, совершенно похожий на того Сикстo, каким я представлял его себе по описаниям Марибель. Высокий, полный, с усиками, наполовину лысый, надутый — типичный профессор. Он оправил и застегнул пиджак, ничуть не удивившись моему появлению, оглядел меня с ног до головы и вызывающе улыбнулся. По правде говоря, я опасался худшего и приготовился к неизбежной драке. Он был гораздо сильнее меня, но зато неповоротливее, и это давало мне некоторую надежду на успех. Я поспешил убедиться, лежит ли на туалетном столике Марибель длинная пилка для ногтей с острым концом. Главное было увернуться, чтобы он меня не схватил, и избежать первого удара кулаком. «А если дело будет плохо, я воткну ему пилку в пузо».

Однако вместо того, чтобы броситься на меня, он раздельно спросил:

— Итак, юноша, значит, вы друг Марибель, а?

— Да.

— Как я слыхал, продавец колониальных товаров, приказчик с мозолями на ладонях, не так ли?— Я ничего не ответил, и он продолжал: — Ну что ж, перейдем к сути дела.— И снова уколол меня своей мерзкой улыбкой.

— А подите-ка вы еще дальше, дерьмо этакое,— сказал я.

Услышав мой ответ, Марибель подпрыгнула на кровати.

— Хорошо сказано, Энрике.

— Ну, ну,— произнес этот Сикстo,— я вижу, что вы выражаетесь сообразно своему сословию и воспитанию. Но в данный момент это не имеет значения.— Он помолчал, бросил на Марибель суровый взгляд и затем спросил меня: — Вам нравится Марибель, правда?

— А вам?

— По этой причине я держу и содержу ее, молодой человек.

— А мне-то что? Я только сплю с ней, и дело с концом.

— Браво! — воскликнула Марибель, хлопая в ладоши.— Теперь ты, Чесун!

— Красноречиво, да, красноречиво, молодой человек. Я вижу также, что вы юноша красноречивый и категоричный. Но, к сожалению, должен сказать, что вы забываете об одном, а именно о том, что я могу взять над вами верх, когда мне заблагорассудится.

— Ну так попробуйте.

Я решил, что сейчас он бросится на меня, и ждал не шевелясь. Но нет. Он сложил губы в новую улыбку, как будто выдувал мыльные пузыри, и сказал:

— Нет, юноша, не надо бояться. Я не приказчик, чтобы драться с вами на кулачках. Я профессор, видный знаток права, известный адвокат. И здесь у нас тяжба, юноша, а не петушиные бои. Чтобы вам стало ясно, я бы сказал, что у нас на двоих как бы одно наследство, которое не подлежит дележу, понимаете? Вы помните о суде Соломона? Нет? Ну, так теперь не время объяснять. Или помните? Тогда вы поймете, что тело Марибель нельзя разрезать на две половины. Это было бы правильно математически, но не юридически, следовательно, подобная формула неприемлема. Однако существует другая законная и справедливая формула. Вы отказываетесь, и я получаю право полного владения спорной головой скота путем соответствующего возмещения убытков. Вот и все.

Я слушал эту абракадабру, не понимая ни слова, и не знал, то ли я сплю, то ли смотрю кино, то ли надо мной просто насмехаются. Я предпочел бы обмен ударами, но этот дядька и не думал шевелиться.

— Ты видишь? Туп как пробка.— И потом, повернувшись ко мне: — Иными словами, сколько вы хотите за то, чтобы оставить эту сеньориту в покое?

— Чего?— Мне хотелось подольше казаться болваном.

— Ну, сколько денег вы хотите за то, чтобы больше не приближаться к Марибель?

— Нисколько.

— Значит, вы оставляете ее задаром?

— Нет.

— Видишь,— закричала Марибель.— Я же говорила, что Энрике не из таких.

Но Сиксто настаивал, как будто ничего не слышал:

— Тысячу песет? Две тысячи? Тысячу дуро? Вы знаете, что такое тысяча дуро?

Я покачал головой и, глядя в его ошеломленное лицо, сказал:

— Вы еще не уразумели, что на деньги мне плевать? Таким путем эту тяжбу вам не выиграть.

Я увидел, что он растерялся, взгляд его забегал из стороны в сторону, словно ища, за что бы зацепиться, но он встретил только две пары глаз, одни голубые, ярко-голубые, другие — не знаю, быть может, свинцовые, которые холодно смотрели на него, ожидая его решения. Он сам загнал себя в тупик и не видел, как выбраться оттуда. И он прибег к общепринятому средству: вытащил сигарету и стал ее закуривать, чтобы посмотреть, не придет ли тем временем ему в голову какая-нибудь спасительная мысль. Но нет, он ничего не придумал. Его лекция окончилась, а другой он не знал. Но у него было время подсчитать.

— А если я дал бы вам две тысячи дуро?

Последовало молчание, которое я умышленно затянул, чтобы помучить обоих — и Марибель, и Сиксто. И наконец в качестве ответа я скинул пиджак. Что же будет? Оба не спускали с меня глаз. Я вцеплюсь ему в горло? Не этого ли он боялся, потому что шагнул назад? Не этого ли она хотела, потому что приподнялась на коленях? Я отбросил пиджак и принялся расстегивать брюки. Тогда Сиксто опустил голову и вышел из спальни, хлопнув дверью. Мы громко расхохотались, мешая смех со звонкими поцелуями. «Ты вел себя, как я хотела, как настоящий мужик». Но я был в ярости на Сиксто, на Марибель, на самого себя. Все это было мне отвратительно. Такое делать

нельзя, такого ни одна женщина никогда не должна допускать. И мое отвращение переросло в гнев, в слепой кровожадный гнев; я ударил Марибель по щеке. «Потаскуха!» Она широко раскрыла испуганные глаза, из них полились слезы, но руки ее отчаянно, изо всех сил вцепились в мои, обезумев, она целовала и кусала меня, и была моей, сотрясаясь от слез, смеясь и крича.

— Что теперь станет делать этот кобель? — спросил я, уже успокоившись.

— Ничего. Обойдется. Что же еще?

Не знаю, были ли известны Марибель намерения Сиксто или нет. Не знаю также, чего она добивалась. Что за существа эти женщины, мой друг! Потом с годами я понял, что они наполовину шлюхи и наполовину ангелы, грязь и чистая вода пополам, и сами не знают, отчего иногда в них берет верх одно, а иногда — совершенно другое. Такой была и Марибель. И я спрашиваю: а разве мы, мужчины, не такие? Когда через день я пошел к ней на свиданье, ее там уже не было, и никогда больше я ее не встречал.

— Дон Сиксто запрудил ручеек. Что еще ей оставалось делать? Встаньте на ее место, молодой человек,— сказала мне донья Чаро в дверях пустой спальни.

Несколько недель я провел между жизнью и смертью, продолжая жить, потому что мне не хватало смелости расстаться с жизнью, но ежеминутно умирая жалкой смертью, смертью труса. Мама, угадывая мои страдания, пыталась утешить меня по-своему, не ведая, что значит так сходить с ума — откуда ей было это знать? «Женщина, которая развлекает мужчину в такие часы, не может быть хорошей, сынок. Успокойся. Ты встретишь других женщин, много-много женщин и найдешь ту, которую полюбишь, как велит господь, вот увидишь». Я понимал мамины доводы, потому что она была ангелом, прозрачной водой, но я был отравлен и знал, что до тех пор, пока кровь моя не очистится — хотя мне казалось, что это невозможно,— я не смогу жить спокойно, не смогу взглянуть ни на какую другую женщину. Однако жизнь не кончается тогда, когда человеку этого хочется, и я продолжал жить.

Рождественские праздники этого года мне не забыть никогда. Я работал в лавке до полного изнеможения, даже сеньор Пласидо забеспокоился: «Мальчик, да ты заработаешься до смерти. Забудь ты ее, она тебя не стоит»,— потому что только так я мог избавиться от назойливых видений, в глазах стояла обнаженная Марибель — вот она смотрит на меня, смеется, подзывает к себе... Я ненавидел ее, думаю, что ненавидел, но не мог отогнать прочь. Домой я возвращался поздно вечером, разбитый, ничего не чувствуя, надеясь только на сон, и камнем падал в постель. Я едва понимал, что говорила мама, видя, каким усталым я прихожу. Только несколько фраз, пролетавших мимо моего сознания, как обрывки тумана. «Дон Сатурио... Теперь по утрам он останавливается внизу, у последней ступеньки, и кричит: «Что принести тебе сегодня на десерт, Херарда? Мороженого, пирожных, торт?» Его жена выходит на площадку в пестром шелковом кимоно, держа сигарету в длинном мундштуке из слоновой кости... «Клубничного мороженого, Сатурио!..» Говорят, что дон Сатурио ведает в своем банке иностранной валютой...»

В сочельник я вернулся домой под утро, еле передвигая ноги от усталости, и увидел, что вся привратницкая забита большими рождественскими корзинами, полными окороков, лакомств и марочных ликеров из лучших магазинов города. Я посмотрел карточки. Все корзины предназначались дону Сатурио Додеро. Почему они здесь? Либо в квартире дона Сатурио нет больше места для подарков, либо мама

их только что получила? Так или иначе, эта выставка громко кричала о бесстыдстве галисийца. Какая гадость! Я потушил свет в привратницкой и прошел на кухню, чтобы выпить всегдашний стакан молока, и меня удивило, что я не слышу маминого голоса. Не знаю отчего, но у меня упало сердце. Я окликнул ее,— она не ответила. Тогда, ощущая, как больно сжалось у меня все внутри, я заглянул в спальню. Ее тело комом темнело на кровати, но не слышно было дыхания, и я зажег свет. Мама лежала на спине, приоткрыв глаза и рот... «Мама!» Как пахнет кровью! Как от крови закружилась голова! Как жутко пропитались кровью простыни и тюфяк! Как страшно раздаются мои крики! И какие испуганные лица вокруг! «Выйдите отсюда. Врача, быстро».

— Рак матки,— кажется, сказал врач.

Ее унесли на другой день после обеда. Весь город готовился к самому радостному празднику. По улицам уже слонялись пьяные, кружили певцы с бубнами, хотя с неба сыпал мокрый снег. В этот день «Колониальные товары Уреньи» закрыть было нельзя, и я шел на кладбище один. Один.

V

— Ну что, волосы подровняем?

Голос Викториано. Я провожу пальцами по своим коротким волосам, подстриженным ежиком, а-ля парижан, и отвечаю:

— Да. Подправь затылок и баки, но только слегка.

Мне нравится носить длинные волосы, потому что они вьются и очень мне идут, как говорили знакомые женщины. «С такой прической у тебя получается очень интересная голова, Энрике». Всякий раз, когда по той или иной причине мне приходилось жертвовать волосами, я потом казался себе смешным, искалеченным, не совсем собой. И еще — гораздо уродливее. Не то чтобы я считал себя красавцем, но я верю, что в моей внешности есть нечто своеобразное, и главную роль тут, несомненно, играют волосы. Поэтому я так расстроился в тот день, когда в мою шевелюру запустили машинку и пробрили широкую полосу от лба до затылка — это произошло в парикмахерской при казарме, когда я стал новобранцем. Для меня это не было неожиданностью: я знал, что́ ожидает мои волосы, но до тех пор, пока передо мной в зеркале не возникла круглая, как кочан, голова — моя голова,— я даже и не подозревал, как это меняет человека, меняет, конечно, к худшему, настолько к худшему, что не знаешь, смеяться или плакать. Потому что далеко не одно и то же видеть своего ближнего до и после стрижки под нуль и веселиться безмерно, пусть и безо всякого дурного умысла,— и смотреть на самого себя с подобной физиономией. Я думаю, это одно из самых больших унижений, которым нас могут подвергнуть. Разумеется, я вынес испытание без звука. В первое утро в казарме капрал уже растолковал нам, новобранцам, что к чему. «Когда сюда входят, все хочу — не хочу остаются за дверью». В остальном воинская служба не была для меня слишком тягостной. Через два дня после смерти мамы мне пришлось оставить привратницкую, и я проводил ночи в задней комнате «Колониальных товаров Уреньи». Два долгих года я прожил печально, безо всякого желания заводить друзей и развлекаться, почти как отшельник,— хорошо еще, что в один прекрасный день мне пришла в голову новая мысль, новая для меня, но, как я полагаю, очень старая для человечества. Почему бы не попробовать читать? Мой хозяин, который читал только газету за полчасика до сна, в постели, среди прочих присказок частенько повторял: «Не читать — все равно

что не жить». Прекрасно. Но с чего начать? Проходили недели и месяцы, а я все не мог решиться. Тем временем я думал, что не могу и не должен всю жизнь торговать колониальными товарами. Я ненавидел это занятие. Воровать для другого, хоть бы и называя это вычитанием, всем подряд говорить «да», извиняться направо и налево, всегда улыбаться, работать без ограничения времени, забивать голову исключительно ценами, марками, снижениями норм, заменителями, весами и смесями, а главное, ограничить свое существование одной и той же, замкнутой средой — все это пугало меня и вызывало глубокое отвращение. Понедельники после обеда по договоренности бывали у меня свободными. В начале моей одинокой жизни я не пользовался своим правом и продолжал работать, как в любой другой день. Но однажды в понедельник, к неудовольствию сеньора Пласидо, который хоть и ничего не сказал мне, но выразительно скривил свой по-собачьи скошенный рот, я вышел пройтись, и поскольку важно только начать, с тех пор повторял это каждую неделю. Я отправлялся в парк Ретиро, усаживался на скамью и проводил так целые часы, наслаждаясь уединением, сознанием того, что я хозяин самому себе и своему времени, без помехи перебирая воспоминания и надежды. Позже я расширил зону своих экскурсий, включив в них улицы района Саламанки. Посреди прогулки я заходил в кафе и просил кофе, «но чтобы это был кофе», иначе тебе подавали мешанину из кофе и ячменя, по вкусу более напоминавшую последнее; и там, сидя за столиком, один, погруженный в созерцание входящих и выходящих людей, смешливых девушек, цветущих женщин и женщин зрелых, но все еще приятных на вид, мужчин всех типов и возрастов — и каждому что-то было нужно — и парочек, целующихся по углам, я считал себя на какое-то время участником другой жизни, гораздо более сносной, более заманчивой, даже куда менее тоскливой и незаметной, чем та, которая ждала меня в остальные дни недели. Иные вечера я убивал в кино, мешая жизнь реальную и воображаемую, правду и ложь, довольный, что вырывался из атмосферы «Колониальных товаров Уреньи», где дела с каждым годом шли все лучше, благодаря возраставшей скаредности хозяина, но единственная романтическая черта которых канула в вечность вместе с исчезновением фантазеров — собутыльников сеньора Пласидо, уставших от разочарований или, быть может, перешедших к иным, менее заметным действиям. Слоняясь по улице Гойи, я не раз останавливался перед витриной книжного магазина издательства «Агилар». Среди стольких названий и авторов, совершенно мне неизвестных, мое воображение запутывалось, как в лабиринте. А кроме того, я робел перед бесконечными рядами полок, уставленных книгами, и перед продавцами и покупателями, на которых глядел снизу вверх. Книжный магазин принадлежал к другому миру, чем «Колониальные товары Уреньи», и предназначался для людей куда более высокого уровня. Иной раз я готов был войти и купить книгу — какую? — но меня останавливал страх показаться нелепым, страх, что продавцы поднимут меня на смех, и я снова отступал, стыдясь своего невежества. Однако искушение было слишком велико, и настал день, когда оно пересилило робость. Продавец, вместо того чтобы смеяться надо мной, услужливо спросил:

— Что вы желаете?

От замешательства у меня пересохло во рту, мысли затуманились. Я желал только одного: выскочить из магазина и убежать раньше, чем вокруг раздастся смех, но даже этого не смог сделать. Продавец, несомненно, очень искушенный в своей профессии, казалось, ничуть не удивился. Наоборот, он приветливо улыбнулся мне и продолжал:

— Литература, история, очерки, поэзия, книги по технике? — Подождав несколько секунд, он добавил: — У нас есть замечательная коллекция биографий, их быстро разбирают.

Я кинулся наугад в этом направлении:

— Биографии.

— Прекрасно.

Он немедленно разложил передо мной несколько томов, озаглавленных: «Наполеон», «Бисмарк», «Дизраэли», «Филипп II»... Из всех этих имен только первое показалось мне отдаленно знакомым.

— «Наполеон».

Продавец убедил меня открыть у них текущий счет, потому что таким образом я смогу приобретать все интересующие меня книги, пока не истощится кредит. И я купил первые свои книги, внося по пятьдесят песет в месяц, чуть меньше того, что вручал мне по первым числам сеньор Пласидо за вычетом содержания и платы за ночлег. К счастью, жизнь Наполеона, чудо воли и ума, блестящая, такая реальная и одновременно фантастическая, такая невероятная и вместе с тем такая убедительная, приохотила меня к чтению, хотя другие исторические персонажи оказались менее интересными. От биографий я перешел к романам и к поэзии. Я выучил наизусть несколько стихотворений Гарсиа Лорки; его метафоры, пусть и непонятные, ослепляли меня как молнии, а в его музыкальных созвучиях я плавал как во сне. Я читал также книги о путешествиях, книги географические, и хотя не извлекал из книг всего, что в них таилось, тем не менее думаю, что подзаправился неплохо. Бонапарт научил меня многому. Был никем — и стал хозяином Европы. Почему? Для чего? — спрашивал я себя и пришел к выводу, что единственным законом его жизни была борьба. Борьба ради самой борьбы. Даже пожелай он остановиться,— а мне кажется, он этого желал,— прекратить борьбу он уже не мог. Властелин был в свою очередь прикован к чему-то, что превосходило его силы. Что же это было? Судьба? Бог? Какой-то математический закон? Сам Бонапарт считал, что им руководила судьба. Может, он и был прав, как знать, и все же я продолжаю думать, что иного выбора у него не было. Мне больше всего нравилась та его фраза, которую он произнес на торжественном обеде в Дрездене, окруженный королями, принцами, государями и маршалами: «Когда я был младшим лейтенантом...» — этим он пристыдил и унизил своих сотрапезников, как будто сказал, что все их кастовое высокомерие и крикливая пышность — глупость и больше ничего, идиотизм кретинов и паразитов. В результате, как я уже сказал, я пристрастился к чтению, которое не только заняло мои свободные часы, но и продолжало отвлекать во время работы настолько, что хозяину приходилось частенько возвращать меня на землю: «Эй, Энрике, да ты снова витаешь в облаках. Вот уж дал я маху, когда подтолкнул тебя к книгам. Давай брось мечтать и обслужи эту сеньору. Энрике, да очнись же, ты этак все на свете проворонишь!»

Когда я попал в казарму, жизнь моя полностью переменилась. Волей-неволей я подружился с другими ребятами моего возраста и научился у них многому, потому что там собрались парни всевозможного пошиба, однако самым главным для меня было вырваться из тесного мирка, в котором я жил до службы. Прощайте, увещания сеньора Пласидо, вычитания, часы за прилавком, шутки служанок, наглость клиентов, чтение тайком по ночам на тюфяке в задней комнате под поминутные оклики: «А ну-ка туши свет, думаешь, он у меня даровой?» Солдатская жизнь была суровой, это верно, но и в ней бывали свои минуты веселья, молодой радости. Конечно, мною командовали, но к этому мне было не привыкать, а взамен служба давала

чувство уверенности, забвение и беззаботность. С другой стороны, приятно было сознавать, что это дело временное, не то что моя работа в лавке. Я знал, что через несколько месяцев снова буду свободен и смогу выбрать ту дорогу, которая меня привлечет, по крайней мере, теоретически. Кроме того, мне повезло: я пришелся по душе капитану и благодаря этому сумел осуществить свою самую страстную тогда мечту — научиться водить машину. Таким образом, незадолго до увольнения в запас я уже умел водить грузовик и, вернувшись к гражданской жизни, обратился в гараж, где работал Эваристо. Атамана Мстителей я там уже не застал, но мне предложили место подручного шофера до тех пор, пока я не обучусь делу как следует и не получу необходимого удостоверения. Какая радость! Механика и путешествия — это то, о чем я всегда мечтал. Я хотел повидать разные земли, разные города, разных людей, окунуться в новую атмосферу, познакомиться с новыми обычаями; иными словами, расширить свой кругозор. Поэтому я продался во второй раз, не споря о цене, и уселся в кабину грузовика, предназначенного для перевозки грузов по шоссе. На мою долю приходились самые тяжелые работы, и мною командовал новый хозяин — водитель, вначале похуже капрала, но несмотря ни на что я считал себя свободным от всех пут. Мой хозяин, Пепе Мигас, был здоровенный мужик, приближавшийся к сорока, грубый, часто жестокий, истовый любитель поесть и попить, сквернослов, спорщик и тиран, но в глубине души прекрасный человек, хотя потребовалось несколько месяцев, чтобы открыть в нем это последнее и важнейшее качество.

Обыкновенно мы из Мадрида прежде всего отправлялись в Бильбао, груженные железным ломом. Потом с любым попутным грузом мы переезжали из города в город и наконец возвращались в Мадрид, покружив по стране почти всякий раз больше месяца. У нас был старый русский грузовик, оставшийся еще со времен войны, с крепким нутром, но слабыми конечностями и тихоходный, мучительно тихоходный; в конце концов приходилось с этим мириться, утешая себя мыслью, что телега ползет еще медленнее. Его ахиллесовой пятой были шины, все в швах и заплатах, которые трескались и лопались с такой легкостью, будто были слеплены из хлебных крошек. Мотор его не знал усталости, и грузовичок лез в гору, спускался и бежал по ровной дороге, не сбиваясь с ритма, словно его мускулам был нипочем изменения уровня и температуры. «Он у нас точно ослик: и бегом не бежит, и не устает»,— говорил Пепе Мигас. Но лопавшиеся покрышки и проколы, частые и непредвиденные, случавшиеся ни с того ни с сего, стали для меня настоящим мучением, особенно по ночам, зимой, под дождем или в снежный буран. На этом старом корыте я объехал почти всю Испанию. В те времена на шоссе почти не водилось заправочных станций и гостиниц для шоферов, а машин на разбитых дорогах было так мало, что в случае поломки или аварии ты оказывался один, некому было подсобить тебе или прийти на помощь. В эти годы нашу зависть вызывали современные грузовики, которые проносились мимо, обдавая нас клубами пыли, жидкой грязью и презрением. По большей части они принадлежали левантийским[1] экспортерам. Они мчались с грузом на невиданных скоростях, уверенные в себе, мощные, огромные, непобедимые, ошеломляющие... Приближаясь к нам сзади, они сигналили своими хриплыми и оглушительными гудками, требуя, чтобы мы покорно посторонились и освободили им путь, насмехаясь над нашей беззащитно-

[1] Левантом называют в Испании три юго-восточные провинции: Кастельон, Валенсию и Аликанте.

стью. «Похоже, эти гады воображают, что, усевшись за руль новехоньких грузовиков, они уже стали буржуями? Олухи! Им не приходит в голову, что они такие же рабы, как мы, что вовсе не они загребают барыши и проворачивают дела. Знаешь, сколько платят на черном рынке только за разрешение на ввоз одного такого грузовика? Пятьдесят или шестьдесят тысяч дуро — вот сколько зарабатывает какой-нибудь ловкач лишь на том, что передает другому клочок бумаги. И не думай, что они так уж хороши, как кажется. Нет. Они быстроходные и удобные, что верно, то верно, и, конечно, новые. Но еще не сделано грузовиков лучше «русачков», этих никто не сломает. Так говорю тебе я, Пепе Мигас, который уже почти двадцать лет колесит по дорогам».

Пепе Мигас не выносил бахвальства тех, кто водил новые грузовики и, как и он, зависел от поденной платы и от произвола хозяев,— ведь именно хозяин, в конце концов, наживался за их счет. Пепе Мигас презирал этих шоферов и не раз на дорожных стоянках громогласно выражал свое презрение: «Дерьмовые сеньорито, еще поганее, чем сеньорито по крови и по кошельку. Ни капли классового сознания, да и никакого сознания вообще. Стоит только хозяину положить им руку на загривок, как они и штаны спустить готовы».

С самого начала я заметил, что Пепе Мигасу становилось не по себе, если я ничего не делал. Под любым предлогом он сразу же подыскивал мне занятие. «Парень, и не стыдно тебе смотреть, сколько мусора у нас в кузове?», «Парень, почему бы тебе не проверить шины?», «Парень, ты замерял уровень масла?» Он заставлял меня смазывать то тут, то там, проверять и протирать свечи, подтягивать гайки, перекладывать груз... Но больше всего его раздражало, когда во время дневных перегонов я брался за книгу.

— Что ты читаешь? Какое-нибудь буржуазное дерьмо, да?

— Роман, и очень неплохой.

— Роман? — И он отводил от губ сигарету, чтобы сплюнуть в окно.— Ну точно перезрелая девица, которая от безделья на стенку лезет.

— Я говорю, что роман очень неплохой.

— А я говорю, что человек твоего класса должен бы читать кое-что другое.

— Что же?

— Когда-нибудь узнаешь.— Он ставил точку новым плевком, и дальше вопрос не дискутировался.

Я также подметил, что Пепе Мигас старался никогда не оставлять меня в кабине одного, и приписывал это его намерению помешать мне упражняться в вождении, потому что, как я его ни просил, он всякий раз упорно отказывался пустить меня за руль, хотя бы для тренировки или чтобы дать ему отдохнуть. «Видно, ты решил, что как вырос грибок, так и прыг в кузовок, а? Потише, потише, парень. Знаешь, сколько я дожидался, прежде чем мне дали хоть немножко поводить машину? Так вот: больше двух лет. Потому ты сиди себе да помалкивай и жди, когда настанет твой черед». Самое большее, чего я добился в первые месяцы наших совместных поездок,— это разрешения заводить машину на стоянку, когда мы в пути останавливались перекусить. Пепе Мигас соскакивал на землю и, стоя рядом, руководил моими маневрами: «Давай вправо. Хватит. Назад. Выравнивай. Потихоньку. Довольно. Выключай». Несмотря на это, не прошло и полугода, как во время одной передышки в Мадриде я сумел сдать экзамены и получил права водителя первого специального класса. Материальной части я обучился в дороге — на авариях и поломках.

Настал день, когда я потерял терпение. Он отвел грузовик на обочину, и я спросил:

— В чем дело?

— Да шины опять спустили. Ты поднакачай, пока я...— И он исчез в кустах.

Я взял ручной насос, но, как я и подозревал, давление в шинах было нормальное; я закурил сигарету и стал спокойно дожидаться его возвращения, даже не делая вида, будто работаю, хотя и полагал, что он подглядывает за мной из-за кустов. Вскоре он появился, застегивая штаны.

— Ну что, накачал шины? — спросил он.

— Нет,— ответил я как ни в чем не бывало.

— Так чего ты ждешь?

— Ничего.

— Я тебе велел.

— Ну и что?

— Я здесь приказываю.

— И на здоровье.

— Шуточки шутить надумал?

— Нет. И знаешь, что я тебе скажу?

— Что?

— Поди-ка хорошенько посмотри на себя в зеркало.

Он подошел ко мне вплотную, в нем уже закипал гнев.

— Ну-ка выкладывай. Что ты хочешь сказать?

— Ты вот столько разоряешься насчет дерьмовых сеньорито...

— Ну и что?

— А то, что ты сам дерьмовый сеньорито, причем из худших.

Я не мог выдумать для него большего оскорбления.

— Я — сеньорито?

Он кинулся бы на меня, но сдержался, видя, как хладнокровно я жду атаки, сжимая в руке насос. Вместо этого он резко повернулся, грозно сопя, влез в кабину и включил мотор. Я уложил насос и сел на свое место, рядом с ним. И мы снова тронулись в путь; нас разделяла стена напряженного, выжидательного молчания. Несмотря на рокот мотора, я слышал его прерывистое дыхание, чувствовал, как в нем клокочет гнев. Было великолепное утро. Поля пшеницы только начинали желтеть, а ветерок, слетавший с гор, свежий и пахучий, пластами резал золотой воздух перед ветровым стеклом, змеился по моей голой руке и омывал все тело, заставляя его вздрагивать от удовольствия. Это был ветерок моих ребяческих весен, он сладостно ворошил хлеба, весело плясал в листве деревьев, обдавал тебя струей свежести в тенистых лощинах, шаловливым спутником провожал по тропинкам. На небе — ни единого облачка. Шоссе на прямых участках и на пологих перекатах невысоких холмов казалось зеркальной рекой. В мирном просторном поле монотонно разносилось тарахтение мотора. Вдруг Пепе Мигас, не глядя на меня, спросил:

— Ты фашист или что? — И поскольку я не отвечал, он добавил:— Скажи наконец, парень, скажи мне наконец. После моего «ордаго» и твоего «кьеро» [1] надо раскрывать карты.

— Какие еще карты?— переспросил я, играя в дурачка.

Он вышел из себя:

— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. У меня никогда не было помощника, понятно?

— Ну и к чему ты клонишь?

[1] В игре в мус: «ордаго» — ставка на все, что осталось в банке (рест), «кьеро» — принято (вист).

— По-моему, ясно.

— Хватит ходить вокруг да около.

— Раз тебя приставили ко мне, значит, это неспроста. И я подозреваю — затем, чтобы следить за мной.

— Шпионом, что ли?

— Называй, как хочешь.

— Зачем?

— Я сидел в тюрьме из-за своих военных дел, и теперь я меченый. Вот зачем.

Я расхохотался так чистосердечно, что он стал успокаиваться.

— Я только и делал, что шпынял и шпынял тебя, а с тебя все как с гуся вода. И это меня злило, Энрике.

В немногих словах я убедил его, что меня ему бояться нечего. Достаточно было коротко рассказать ему об отце.

— Значит, ты из наших, а?

— Не знаю, Пепе. Я еще не решил.

Тогда Пепе Мигас вытащил из-под сиденья несколько листков с напечатанным на машинке текстом и сказал:

— Возьми-ка и прочти.

Это были странички революционной литературы, призыв к солидарности и борьбе против политического режима в стране, в них содержались вести о подпольной деятельности в ряде испанских провинций и критика преследований со стороны властей.

— Ну, что ты думаешь, Энрике?

Честно говоря, я никогда не интересовался политикой, хотя и чувствовал инстинктивное отвращение к существовавшей социальной системе с ее отношениями между людьми, с ее понятиями о жизни. Я скорее думал, что виной всему отдельный человек, а не общее положение. Листки заставили меня взглянуть на эту проблему в другом аспекте. Виноват ли во всем сам человек, его нечистая совесть, таящиеся в нем низменные инстинкты, или наоборот, человек по природе хорош, но его развращает общество? Я понял, что не в силах прийти к верному решению, и так и ответил Пепе Мигасу, хотя, по правде сказать, слова и накал этих текстов сумели пробудить во мне неведомое прежде беспокойство. Пепе Мигас, хоть и грубый внешне, был человеком с идеалами. Он был человеком с идеалами, это верно, но, пожалуй, слишком ограничен ими, не допускал иных перспектив, словно раз и навсегда нашел непогрешимую формулу, и вне ее не существовало других вариантов. Дважды два — четыре, согласен? Так чего же еще думать, зачем идти дальше? «Тихо, парень, брось мудрствовать, брось искать пятую ногу у собаки». Как бы я хотел вот так успокоиться, найти магическую формулу для решения всех проблем. Такой была религиозная формула «веруй и не думай». Но значит, можно верить — и все тут, верить без доказательств? Пепе Мигас, шофер грузовика, был честным человеком и жил своей верой. «Ты думаешь, Пепе, что достаточно изменить систему — и человек переменится? А разве не может случиться, что люди приспособят систему к своим желаниям, а не наоборот?» — «Система вынудит их измениться, Энрике, хотят они или не хотят». — «Кто кого изменил: христианство людей или люди христианство? Ты же знаешь, что случилось потом: инквизиция, войны, газовые камеры, концентрационные лагеря, фосфорные и атомные бомбы...» Пепе Мигасу некуда было податься. Он был привязан к своей неуязвимой, неизменной вере. В ней заключался смысл его жизни. Мне понравилось то, что говорилось в этих листках, напечатанных на машинке, но разве достаточно следовать их духу и строго чтить их инструкции, чтобы добиться поставленных целей? Мне так не казалось.

— Не обманывайся, Пепе, освобождение человека начинается с освобождения самого себя,— повторял я вычитанную где-то фразу.

— Дело в том, Энрике, что я марксист, а ты скорее склоняешься к анархизму.

— А что, быть анархистом плохо?

— Да выходит, что плохо, парень... Это мелкобуржуазная позиция. А кроме того, надо ведь что-то делать, верно? Вот поэтому я и развожу пропаганду, хотя мне хорошо известно, чем это грозит,— ведь это единственное, что я могу. Если бы каждый клал по песчинке...

Несмотря на наши разногласия, после его «о́рдаго» и моего «кьеро» и раскрытия карт между Пепе Мигасом и мною расцвела глубокая и искренняя дружба, и я смог оценить истинное мужество, великодушие и самоотверженность моего товарища. Больше мы не спорили по узкополитическим вопросам, обсуждали только общие, широкие положения, и когда иной раз он в своем догматизме вставал на дыбы, то есть показывал себя неуступчивым, непримиримым сектантом, я словно бы в шутку призывал его к порядку, и он утихал.

— Ты нарушаешь границы, Пепе.

— Ну и придира ты, Энрике: тебе уж и слова не скажи.

С тех пор он разрешал мне вести машину всякий раз, как мне того хотелось, иногда даже целый перегон, стоило только попросить. Так мы чередовали работу и сон. Поровну делили мы теперь и остальные обязанности, самые тяжелые и неприятные, которые раньше целиком лежали на мне. Бесприютность и непогода, общие опасности и риск сроднили нас, связали тесной и теплой дружбой. Я никогда не забуду те зимние ночи на дорогах, когда мы поднимались на горные перевалы или пересекали залитые луной равнины. Ни единого огонька, ни малейшего признака человеческого жилья. Очень-очень редко нас обгонял легковой автомобиль или другой грузовик, оставляя еще более одинокими, чем раньше. Мы проезжали и объезжали спящие селения и хутора, укутанные темными тенями, настороженные, враждебные, словно кладбища. И я рисовал себе тамошних мужчин и женщин, обнимающих друг друга в горячей постели; ревматических, исходящих кашлем стариков, что лежат без сна в ожидании тихой смерти; девушек, пахнущих айвой, с темными косами, разбросанными по подушке; бесстрашных мальчишек, каким был когда-то и я, вновь переживающих во сне свои дневные приключения; распаленных парней, которые даже во сне жадно вынюхивают женщин. Когда шел дождь, дул яростный северный ветер или стеной валил мокрый снег, мы озабоченно вслушивались в шум мотора, и его мерное воркование было для нас биением дружеского сердца. Стальные поршни и шестерни очеловечивались. Мы остро нуждались в тепле «русачка», его близости, его силе. Он был нашим товарищем, самым сильным из нас троих, от его крепости зависели и мы. Мы даже разговаривали с ним, подбадривали его: «Держись, старик, скрипи, но не сдавайся! Ты у нас молодчина!» Любой необычный звук, любой перебой, любое, самое малейшее нарушение ритма пугало нас. «Слышал? Что там? Погоди. Да, кажется, что...» Мы замирали. Наступали мучительные секунды. Иногда нам это просто чудилось — то были слуховые галлюцинации, навеянные страхом, и мотор отвечал нам своим невозмутимым урчанием. Тогда Пепе Мигас впадал в экстаз: «Честное слово, нет на свете машины лучше «русачка». Дай ему волю, и он будет бежать себе без остановки до возвращения Республики». Нашим наказанием были колеса. Вдруг хлопок—прокол. Мы выскакивали из кабины. Куртки почти не защищали нас от дождя и холода, впрочем, и их мы скидывали удобства ради, когда бросались менять

колесо при свете крохотной лампочки. Ледяные инструменты обжигали нам руки, морозный ветер полосовал лица, холодная морось мигом пропитывала одежду, а мы потели и еле переводили дух... Но самым рискованным было продолжать путь без запаски. Что станем мы делать ночью, на безлюдном шоссе, если прокол повторится? Стоять в неподвижности, цепенея от холода, и ждать рассвета, а потом латать, накладывать скобы или стягивать проволокой шины либо привод вентилятора, который так часто лопался у нашего старенького «русачка». Тем не менее верхом невезенья была механическая поломка. В таких случаях нам тоже приходилось ждать до утра, а потом идти пешком с поломанной деталью в ближайшее селение, если это было возможно, или буксировать туда грузовик на тросе и мудрить в кузнице, начерно производя временный ремонт, лишь бы добраться до мастерской. Без сна и практически натощак. Без сил. Замертво.

Раз мы катили в сумерках по бургосской равнине, дул резкий ветер, сыпал мокрый снег. Одно колесо стало спускать. Как обычно, мы занялись починкой и в разгар дела, когда мы с головой ушли в работу, вдруг услышали относимый ветром голос:

— Добрый вечер!

Мой товарищ светил, а я снимал колесо. Вокруг светлого пятна черной, непроницаемой стеной густел мрак. Мы обернулись туда, откуда донесся голос, но никого не увидели, и Пепе Мигас спросил:

— Кто идет?

Голос стал почти осязаемым:

— Гражданская гвардия.

Мой товарищ погасил лампочку, и когда темнота сомкнулась, мы разглядели одинаковые фигуры жандармов. Вода лилась с треуголок на плащи, облепившие их тела, а затем вниз, на землю. Конечно, их лица были неразличимы.

— Что у вас случилось?— спросил тот же голос.

Пепе Мигас молчал, отвечать пришлось мне:

— Шина спустила.

— Какой груз?

— Цемент,— сказал я.

— Будьте любезны показать документы.

Второй жандарм стоял как столб, а моего товарища словно парализовало. Поэтому я поднялся в кабину, достал бумаги и протянул их жандарму. Тот проглядел их при свете лампочки и вернул мне, говоря:

— Все в порядке. Спасибо.

У меня не было опыта общения с жандармами, и я всегда смотрел на них равнодушно, но на этот раз, ночью, в открытом поле, под струями ледяного дождя, они произвели на меня впечатление, которое трудно объяснить. Я увидел неустрашимых людей, нечувствительных к дождю и ветру, неукоснительно строгих, не произносивших ни единого лишнего слова; они несли свою службу без бахвальства, без аффектации, жестко, неумолимо и, сознавая, что их появление нагоняет на людей столбняк, действовали только по уставу, а не под влиянием своих настроений. Это были люди, при исполнении своих обязанностей чуждые всему остальному и потому такие суровые, а ведь вне службы ими, как мною и всеми прочими, движут обычные человеческие побуждения. У них, возможно, есть жены, дети, материальные нужды, они возмущаются, испытывают страх, подавляют свои сексуальные инстинкты, а быть может, и преступные наклонности и тем не менее способны стать выше всего этого, и не из-за денег, не из идейного фанатизма. Что же руководит ими? Сознание долга, гордая и несгибаемая воля?

Но разве этого достаточно, чтобы дойти до такого крайнего самоотречения?

Ночь привела их, и ночь их поглотила. Когда они исчезли из виду, я спросил своего товарища, что на него нашло, и он ответил:

— У меня все оборвалось внутри, когда я их увидел. Я ничего не мог с собой поделать.

Пепе Мигас был в свое время связан с теми группами, которые, пробившись из Франции или возникнув внутри страны, пытались развернуть вооруженную борьбу против правительства, выбирая для своих операций самые глухие сельские районы. «В те дни из-за каждого куста тебе выходил навстречу то партизан, то жандарм». На обязанности моего товарища лежала доставка провианта в определенные, заранее оговоренные пункты его маршрута. Свидания происходили всегда после захода солнца, в безлюдных местах, каждый раз новых. Он останавливал грузовик, делая вид, что произошла небольшая поломка, и ждал их — а они появлялись, только удостоверившись в том, что их не обнаружили и за ними не следят. Тогда, обменявшись паролем, они забирали у него тюки, отправленные их мадридской организацией, и незаметно исчезали. Поначалу неожиданностей не было, и система действовала как часы, но постепенно правительство усиливало ответные акции, совершенствовало тактику, и сотрудничать с подрывными группами становилось все опаснее. Жандармы множество раз задерживали грузовик Пепе Мигаса, тщательно проверяли груз и прощупывали машину до самого нутра. «Но, к счастью, это всегда случалось после встречи с партизанами. Жандармы ничего не объясняли, но смотрели на меня такими глазами, что всю остальную дорогу я обмирал от страха». Однажды он заметил их очень издалека по бликам света на треуголках и сумел выбросить груз до того, как машину остановили. «Обыск проходил как всегда, но жандармы не спускали с меня глаз, шептались между собой и в конце сверились с бумагой, которую старший извлек из кармана. Потом они спросили, как меня зовут, где я живу, часто ли езжу по этой дороге и многое другое: что я делал на войне, что после войны. Мне стало погано. Они действовали не наугад, куда там, они знали обо мне все, что следовало знать, и подозревали меня, ясное дело, подозревали. Им никогда так и не удалось схватить меня с поличным, но я думаю, что с тех пор они следуют за мной по пятам. Когда они смотрят на меня, я перед ними как голенький. Взбреди им сегодня в голову обыскать кабину, сколько там пропаганды под сиденьем...»

Парикмахер Викториано рассказывал мне много лет спустя, как он попал в ловушку. В одно прекрасное утро к нему в парикмахерскую заявились три давно не бритых чужака, одетых, как местные крестьяне: суконные штаны, рубашка без ворота, жилет и кепка. Однако чувствовалось, что один из них не простой земледелец. Он-то и спросил, можно ли им побриться. Кроме того, в самом их облике, в жестах, в том, как они оглядывались, сквозило нечто такое, что смутило Викториано. Пока тот, кто заговорил с ним, усаживался в кресло, второй встал у занавески из бусин, закрывавшей вход, а третий отступил к двери, ведущей во внутренние комнаты. «Когда я укрывал первого клиента простыней, я увидел рукоятку револьвера у него за поясом. Конечно, пришелец показал мне его умышленно и, заметив мое удивление, улыбнулся. «Знаешь, кто я, Викториано?» Викториано понятия не имел. А чужак между тем знал его имя. «Я Поляк». Так звали командира партизанской группы, действовавшей в тех местах. «Да, друг, и не бойся, против тебя никто ничего не имеет. Мы знаем, что ты ушел из алькальдов, потому что ты честный человек. Это очень хорошо». Парикмахер воздержался от ответа и продолжал молча ра-

ботать. «Знаешь, кто у нас один из связных? Родриго, фермер этого мошенника, дона Хусто». Зачем он открывал такой опасный секрет, отдавая в чужие руки жизнь Родриго? Викториано покончил с Поляком и затем быстро побрил двух его товарищей. К счастью, за все это время в парикмахерскую не заглянул никто из местных, и когда Викториано почувствовал, как нервное напряжение отпускает его и облегченно распрямился, Поляк, заплатив за услуги билетом в сто песет, снова его огорошил: «Мы хотим, чтобы ты стал нашим связным здесь, в городке. Парикмахерская — лучший центр информации. Я хочу знать, что думает о нас народ, что замышляют власти и особенно все, что тебе удастся выяснить о планах и передвижениях гражданской гвардии. Ты будешь встречаться только с Родриго, понятно? Да, и еще: подготовь нам убежище у себя в доме, на случай, если нам понадобится». Теперь, при виде конкретной опасности, Викториано полностью пришел в себя. Не отказываясь наотрез, он решил выиграть время и попросил, чтобы ему позволили подумать. Но Поляк все предусмотрел заранее. «Сопротивляться бесполезно, Викториано. Ты уже скомпрометирован. Мы приходили к тебе, и у тебя на руках ассигнация, номер которой известен. А если этого тебе мало, не сомневайся, дон Хусто добавит остальное, чтобы тебя утопить. Таким образом, выхода у тебя нет. Потому самое лучшее — помалкивать и делать то, что я сказал». Все случилось так быстро, что пока Викториано собирался с ответом, Поляка и его людей уже и след простыл. «По правде говоря, они меня почти не тревожили. Родриго приходил ко мне разок-другой, но я мало что мог ему рассказать: если у нас что и происходило, так я об этом не знал. Наконец, где-то через месяц ко мне в парикмахерскую поутру опять явились двое, похожие на партизан, дали мне понять, что они из отряда Поляка, и попросили приютить на одну ночь... И я, ни о чем не спрашивая, сказал, чтобы они шли за мной, и отвел их в подвал. Вот тогда-то все и случилось. На меня наставили пистолеты, без всяких разговоров приказали поднять руки и надели наручники. Я спросил, просто для очистки совести, что происходит, и они объяснили. Эти двое оказались из другого отряда — из гражданской гвардии. В стычке с группой Поляка он сам и еще один были убиты, а остальные арестованы, и кто-то из них все рассказал. Из-за него схватили Родриго, а Родриго назвал меня. Ясно как божий день. Больше и говорить нечего, и я вышел из своего дома под конвоем, наскоро простившись с женой и тайком от ребятишек, словно какой-нибудь злодей. Видишь, Энрике, как можно запутать человека, а он ни сном ни духом — он просто ни при чем. Я всегда говорил тебе: человек своей судьбе не хозяин. Как ни вертись, а все равно ходить тебе в ярме или сидеть за решеткой».

Едва мы тронулись дальше по бургосской равнине, Пепе Мигас принялся насвистывать «Кукарачу». Эту мелодию он пел в счастливые минуты, она помогала ему рассеивать остатки страха. «Я выучил ее на войне, мы обычно пели ее, когда нас снимали с передовой и отсылали передохнуть во второй эшелон». Он был тогда молодым парнем, сыном, внуком и правнуком земледельцев из Алькаррии; война и революция оторвали его от плуга, от крестьянского труда и привычной несложной жизни и бросили навстречу приключениям. Его ослепили красивые, очень красивые слова, красивые, как ясное солнце; и соблазнили заманчивые, очень заманчивые обещания, заманчивые, словно девушки в цвету. Он отправился на войну молодой и веселый, с песней на устах, вместе с другими парнями, такими же, как он, отправился завоевывать рай, где не будет *твоего* и *моего*, не будет голода и рабства. И вернулся с войны в слезах, с пустыми руками, по пути в концентрационный лагерь. «Там мы тоже пели «Кукарачу»

перед отбоем, чтобы лучше спалось». В один прекрасный день он оказался на воле. Теперь он уже был не парень из Алькаррии. А кто он? Как жить дальше? Жена, дети, работа. И воспоминания. Где она, земля обетованная? Несомненно, где-нибудь да есть. Так вперед, туда, будь что будет. И снова страх и тревога. Зоркое око жандармов следит за ним на всем пути. «Честно говоря, Энрике, когда появилась эта пара, я решил, что пропал, и испугался». Но страх уже остался позади, и в его ушах снова звучали красивые слова и соблазнительные обещания прошлых лет. Он опять шел своим путем, насвистывая «Кукарачу», и я ему не мешал.

Когда мы ночевали в каком-нибудь городе и я выходил пошататься по улицам, Пепе Мигас никогда не присоединялся ко мне. Я был ничем не связан, меня ничто не останавливало. Никто меня не ждал, а молодость требовала, чтобы я на несколько часов сбросил с себя ярмо и вновь обрел свободу; и тут что может быть лучше, чем встречи с незнакомыми женщинами, которые исчезают на рассвете, исчезают бесследно. «В свое время я тоже был таким, Энрике. Но теперь не имею права. Жена и двое детишек ждут меня и доверяют мне. Истрать я таким манером хоть один дуро, этот дуро я украл бы у них».

Марибель научила меня, что такое женщины, и этот мучительный урок немало помог мне в отношениях с ними. От скольких падений и глупостей уберегла меня память о Марибель! Ей я обязан многим. Говорят, что без битья не бывает науки. Может, это и дикость, но в том, что касается жизненной науки,— а женщины занимают здесь первое место,— эти слова, как мне кажется, святая правда. Я знал, как вести себя с ними в пылкие и спокойные минуты, всегда оставаясь хозяином положения. Я знал, как заставить любить или, по крайней мере, желать себя, а самому не терять головы. Я брал то, что мне предлагали, в обмен на неизбежное. Я искал легкого, мимолетного. Так я узнал девочек из публичных домов и других — с сырых, плохо освещенных улиц. Мне нравилось отзываться, удобства ради, на первый же зов. Потом я исчезал и никогда не возвращался. Только к одной я пристрастился и чуть было не поддался слабости. Ее звали Люси, она была андалуской из Пуэрто-Реаль, моих лет, с чернущими глазами и белоснежной кожей, нежная и ласковая. Я натолкнулся на нее в барселонской кафешке, она отвела меня к себе, в пансион, где жила, и наутро не захотела брать с меня денег. «Ты мой каприз»,— сказала она в оправдание. Ее перевели из севильского публичного дома в другой, барселонский, но она сумела вскоре откупиться от мадам и занялась промыслом на свой страх и риск. «Зарабатываю я прилично и могу делать, что хочу». Я приходил к ней всякий раз, как мы ночевали в Барселоне. Она говорила мне такое, от чего я терялся. «Мне стыдно раздеваться перед тобой. С другими мне все равно, они меня словно не видят». И при этом она не строила на мой счет иллюзий, по крайней мере, не давала им прорваться наружу. С каким ликованием она встречала меня всякий раз! «Ты не знаешь, как я молила господа, чтобы ты поскорее вернулся, Энрике! Я ждала тебя каждую ночь». И прошлась со мной, словно я уходил на несколько часов. «До свидания! Не задерживайся!» Она позволила подарить ей только одно платье и берегла его для встреч со мной, будь то зимой или летом.

Я не мог взять в толк, как девушка с ее характером и понятиями могла жить так, за счет своего тела, и быть довольной. Ее суждения и мысли почти не отличались от суждений и мыслей любой девушки из порядочной семьи — пожалуй, были только менее заурядные, потому что она была существом неглупым и восприимчивым. Меня вос-

хищало то, что она во всем, во всем держалась как сеньорита, это сквозило в ее жестах, движениях, словах... Она никогда не хвасталась своей профессией, но и не стыдилась ее. Мне кажется, у нее совершенно не было чувства вины. Но и обвинять она никого не обвиняла и, по всей видимости, жила в мире со своей совестью. «Для такой судьбы родишься, так же как родишься, чтобы стать королевой. Мне досталось худшее. Что же я должна делать, по-твоему?» Я твердил свое: но ведь продаваться каждый день, а то и несколько раз на дню... «Я не продаюсь, я отдаю себя в наем. Сдаю свое тело, на час или на ночь, но сама в этом не участвую. Конечно, с тобою все по-другому. Поэтому я и не беру с тебя денег». И она ни разу не поддалась соблазну рассказать мне историю своего падения, истинную или выдуманную, чтобы оправдать себя, как непременно сделала бы на ее месте любая другая. «Прошлое не повторяется. Знаешь, жизнь — точно река. Той же воды не пригубишь дважды». И она улыбалась. А я удивлялся. «В конце концов, все мы продаемся. Разве ты не продался твоему хозяину? Разница лишь в том, что я принадлежу другим какой-то час или какую-то ночь, а вот ты и другие, тебе подобные, день за днем, год за годом принадлежат тем, кто вам платит. Скажешь, не так?» И я замолкал. Поначалу я подозревал, что в жизни этой девушки есть какая-то тайна, но когда я узнал Люси поближе, то убедился, что единственной тайной в ее судьбе было отсутствие всего таинственного. Она никогда не говорила со мной о своих родителях, о своем детстве. Я понимал только, что она из Андалусии — по ее акценту,— что воспитана она иначе, не так, как другие из ее окружения, и обладает необычными в этой среде вкусами и наклонностями. Ее приводили в восторг истории, почерпнутые из моих книг, стихи, которые я ей читал. Ее любимым стихотворением стала «Неверная жена» Гарсиа Лорки, она заставляла меня повторять его всякий раз, когда мы проводили ночь вместе. Она выучила его наизусть и начинала декламировать сама, прежде чем упасть в мои объятия, а я продолжал его между ласками. «В песчинках и поцелуях она ушла на рассвете» [1] — были первые слова, с которыми мы приходили в себя. Однажды я подарил ей книгу стихов, поэтическую антологию, и Люси поцеловала ее и положила на ночной столик. Тогда я узнал, что она неграмотная. «Если бы я умела читать, меня бы здесь не было, и мы бы с тобой не узнали друг друга. Но разве не лучше, что я неграмотная? Я не смогу прочесть книгу, но не волнуйся, я буду беречь ее как драгоценность». Я пережил с ней ночи любви под музыку и образы стихов Гарсиа Лорки, ночи сомнамбулического романса. Когда на следующий день я вспоминал в кабине «русачка» ночь, проведенную с Люси, это казалось мне бредом, хоть я и знал, что все происходило наяву: ведь не было ни малейшей связи между привычной работой, разговорами с Пепе Мигасом — и полумраком, стихами и любовью в комнате Люси. Тяжелый труд, усталость и километры делали свое дело, впечатления бледнели и почти стирались в моем мозгу, однако стоило только показаться на горизонте, на туманно-голубом фоне, необозримому скопищу барселонских зданий,— пусть даже с последней встречи прошли многие недели,— все воспоминания разом воскресали во мне, и вот табун белоснежных скакунов, горячась и фыркая, мчался среди полуночи по оливковой роще, посеребренной лунным светом, мчался вслед за мной, а я летел через рощу к какому-то хутору, где на своем ложе ждала меня нагая девушка. Вот такие видения. Фантастические. Невероятные. «Берегись, берегись, Энрике...». Но что умозрительные зак-

[1] Перевод А. Гелескула.

лючения и воля,— они были хрупкой изгородью под неудержимым натиском летящих белоснежных скакунов... «Не возвращайся, Энрике, не возвращайся. Помни о Марибель». Бесполезно. Я возвращался снова. Но на этот раз случилось по-другому. Прошептав «в песчинках и поцелуях она ушла на рассвете», Люси разрыдалась. Никогда еще она не плакала при мне. Я был потрясен. Отчего она плакала? Из-за меня? «Люси, Люси, ну, пожалуйста, пожалуйста...» Вслед за слезами раздалась просьба:

— Возьми меня с собой.

— Но...

— Возьми меня с собой.

— Куда? Ты же знаешь, что мой дом — кабина грузовика.

— Куда угодно, подальше от Барселоны, туда, где я могла бы ждать тебя и ничего не бояться.

Возьми меня с собой, возьми меня с собой... Эти слова насторожили меня. На меня нахлынули подозрения. Все это выглядело как ловкий маневр, операция, задуманная для того, чтобы поймать меня в ловушку. «И для этого ты ждала так долго?» Она не поняла меня или не захотела понять. Ее беда заключалась в том, что Шикарный Луис, сутенер, на которого работало десять женщин, приглядел ее и пожелал присоединить к стайке своих подопечных. Поначалу Люси удалось ускользнуть, потому что ее оспаривали несколько сутенеров. Она была свежим товаром на бирже проституции и ценилась гораздо дороже, чем «мороженый товар». Происходили драки, взлетали кулаки, сверкали навахи, и, наконец, Шикарный Луис взял надо всеми верх. Началась охота за горлицей. Но она умело защищалась. «Я невеста шофера». Шоферы грузовиков — смельчаки, одолеть их непросто. И когда доходит до дела, они умеют поддержать друг друга. Так Люси приостановила удар, но молодчика это не смутило.

— Мы еще посмотрим,— сказал Шикарный Луис.

И путем терпеливой слежки он убедился, что шофер грузовика — я — только случайный посетитель, «каприз», перелетная птица, никак с девушкой не связанный, ничего ей не обещавший. Тогда, уже ничего не боясь, он перешел в атаку. Как-то ночью он подстерег Люси и безо всяких объяснений отстегал ее по лицу, разбив в кровь нос и губы. «С сегодняшнего дня ты работаешь на меня, за пятьдесят процентов, но только без фокусов и без обмана, иначе на улицу не выйдешь». Все это произошло со времени нашей последней встречи, и Люси смирилась, надеясь на то, что я ее освобожу. «Потому что перебираться в другой район не имеет смысла. Куда бы я ни пошла, везде будет он или его дружок. Да и уехать из Барселоны одной, без мужчины, мне не дадут». Моим первым побуждением было найти Шикарного Луиса и тут же набить ему морду, но Люси воспротивилась: «Я не скажу, кто он. Это может дорого тебе стоить, потому что они всегда ходят компанией, и у них много дружков и сообщников среди подонков. Да хотя бы ты и побил его, что изменится? На другой день ты уедешь, а расплачиваться придется мне». Я не смог убедить ее в том, что имеет смысл хорошенько припугнуть молодчика, чтобы он оставил ее в покое. Она заупрямилась, повторяя: нет и нет. Ее отказ еще больше подстегнул мое недоверие. «Увези меня в Сарагосу, в Мадрид, куда хочешь. Я ничего у тебя не попрошу. Разве я когда-нибудь просила тебя о чем-то?» С этого все и начинается, Энрике, с этого все и начинается. Ты скользишь, скользишь себе потихоньку, и вдруг, когда хочешь дать задний ход, оказывается, что переключение уже не работает, и ты застреваешь навсегда. Нет! «Клянусь тебе, что это правда, клянусь». Она целовала мне руки. Рыдая, молила на коленях. «Да, может, это и правда, но в таком случае я, сам того не зная, послужил

ей щитом, ширмой, чтобы она могла спокойно продолжать свою практику. Она использовала меня. Я для нее лишь орудие...» Клянусь, мне было очень больно ее оставить. «Энрике, Энрике, послушай! Иди сюда». Ослепленный гневом, я бегом спустился по лестнице, не слушая ее криков. Начинался рассвет, был тот час, когда закрываются кафе и таверны и свободные шлюхи уходят со своими сутенерами, когда пьяницы торопливо опрокидывают последние рюмки, когда тишину улочек взрывают ругань и хохот и кто-то опорожняется на углу. Я пошел из одной забегаловки в другую, из одного притона в другой. Просил рюмку водки у стойки и нагло оглядывал посетителей, чтобы спровоцировать какую-нибудь выходку неведомого мне Шикарного Луиса. Бесполезное намерение. Бесполезные рюмки. Бесполезный хмель. Рассвет застал меня на влажной от росы скамье, на Рамблас — я дрожал от холода и стыда. Сознание вернулось ко мне по дороге к порту, где мы должны были грузить кожи, чтобы везти их в Аликанте. Подъезжали тележки с цветами, люди уже заполняли трамваи. Мне пришлось завернуть в бар, чтобы промыть желудок и взбодриться горячим чаем. «Я вел себя, как дурак. Я вел себя, как дурак. Пусть это будет тебе уроком, парень». Так или иначе, не знаю уж, к добру или нет, но мне удалось избавиться от Люси. Конечно, я больше не искал ее и ничего о ней не знаю.

Совсем по-другому было с Фуэнсантой. Ее родители держали постоялый двор, и мы обычно ужинали там, направляясь в Картахену. Это была — да она и теперь еще существует — старинная корчма для погонщиков, где до сих пор едят в большой кухне с очагом, огромными глиняными кувшинами по углам и длинными полками, уставленными медной посудой. Единственным новшеством был маленький бар при входе, где Трабуко, хозяин, подавал напитки. Этот постоялый двор славился среди шоферов своими свиными ребрышками с картофелем, ветчиной и местным вином. Все началось со слов Пепе, моего товарища: «Похоже, что этой девушке ты приглянулся». Признаться, я и не смотрел на нее; не скажи мой друг этих слов, почти наверняка ничего бы и не произошло. И не потому, что девушка не заслуживала внимания любого мужчины, а просто в мои расчеты не входило связывать себя жениховством. Однако стоило лишь Пепе Мигасу намекнуть, что девушка бросает на меня ласковые взгляды, как мужское тщеславие подстегнуло мой охотничий инстинкт. У нее были напевные глаза и манящая улыбка. На мои взгляды она отвечала взглядами, в которых сквозило обещание, а на мои комплименты — улыбками, которые казались поцелуями. Заигрывание, не более того, причем инициатива неизменно исходила от нее. В следующий раз она спросила, глядя на меня, отчего это мы так долго не приезжали — не иначе как в их корчме с нами плохо обходятся? Ответил ей я. Я сказал, что только затем, чтобы увидеть ее, мы готовы ехать из Мадрида в Бильбао через Мурсию. Она рассмеялась. Смеялись ее зубы, ее десны, ее сочные губы, весь ее рот, большой и влажный. И она устроила так, чтобы обслужить нас последними. Пепе Мигас понял, как обстоит дело, и ушел, дожевывая последний кусок. Я остался один. Протирая тряпкой клеенку на столе, девушка спросила, где мой друг.

— Пошел подремать.

— А ты не хочешь спать?

— Пока ты здесь, нет.

Мы помолчали. Она улыбалась.

— А что ты делаешь, когда управишься с ужином?

— Ничего.

— Могли бы мы поговорить?

— Зачем?

— Чтобы подбить счет. Но только наедине.

— Ну, хорошо. В таком случае жди меня у задней двери.

Задняя дверь выходила в поле. Ночь звенела от лихорадочного треска цикад. Я ждал недолго.

— Ну, и что же это за счет?

— То, что ты и я...

— Двое. Ты это хотел сказать?

— Это самое.

— Ну, вот и договорились.

Не помню, о чем мы говорили, наверняка о разных глупостях. Неужто она и впрямь была такой доступной? Я подумал это, но не решился проверить сразу же, без околичностей. Да и не до того было. Я очень устал, а кроме всего прочего, у нас просто не было времени: мы с Пепе должны были сразу ехать дальше.

— Я тебе нравлюсь?

— Жутко,— ответил я скорее машинально.— А я тебе?

— А ты как думаешь?

— А ты?

Тогда она посерьезнела и, глядя в сторону, прошептала:

— Ты не такой, как все:..

«Не такой, как все» в устах женщины означает многое, и я это знал. Это все равно что сказать: ты — избранник, мужчина среди мужчин, ее идеал.

— Фуэнсанта! — раздался в доме женский голос.

— Это моя мать. Ты скоро вернешься?

— Как только сумею.

Я поцеловал ее, и она скрылась за дверью. «Иду, мама. Что, уж и воздухом нельзя подышать?»

На протяжении более полугода эта сцена повторялась несколько раз, хотя и с вариациями. Меньше слов и больше томления. Мы дошли до самого края. Фуэнсанта пылко подтверждала, что готова переступить через край, но я удержался. «Что ты будешь делать потом, Энрике?», «Здесь невест крадут, Энрике», «Смотри, ты падаешь, падаешь!» То, что началось в шутку, развернулось уж слишком всерьез. А поскольку в конце концов ты мужчина...

И раз, пока девушка прихорашивалась перед нашим свиданием, а я еще сидел за столом, меня окликнула ее мать и зазвала на кухню. Трабукша была еще нестарой женщиной, с острым, проницательным взглядом и повелительными манерами.

— Оставьте мою Фуэнсанту в покое,— заявила она напрямик.

— Почему?

Она беззастенчиво посмотрела мне в глаза.

— А что вы можете ей предложить? Вы видный парень, что и говорить, но подручному шофера нечего предложить девушке. А вы понимаете, что для своей дочки женщина желает самого лучшего, верно?

Я спокойно слушал ее слова, словно они предназначались не мне.

— А что же самое лучшее?

— Человек со средствами. Хозяин грузовика, торговец, крестьянин со своим куском земли... Мне все равно. Немало таких людей домогается моей Фуэнсанты, и было бы жаль, если...

Я не стал больше слушать и пошел прямо к грузовику. Пепе Мигас храпел и проснулся, как только я завел мотор. «Что случилось, что случилось?» Я коротко объяснил ему, в чем дело. «А девочка?» Она будет ждать у задней двери, готовая убежать со мной... Может, и так. «Мне не хотелось говорить с ней. Она быстро утешится. Все женщины таковы». Пепе Мигас считал, что Трабукша незаслуженно оскорбила меня, и воспринял это как личную обиду. «Теперь ты согласен, что

надо подложить запал под такое общество, где единственная ценность — это деньги? Как будто если у человека есть грузовик, торговое дело или кусок земли, он лучше другого, чье богатство — только рабочие руки...» Но мне было легко и весело, и я утихомирил разошедшегося Пепе Мигаса, принявшись насвистывать «Кукарачу», как делал он сам, когда у него проходил страх.

Его поджидали в Валенсии. Едва мы остановили грузовик в порту Грао, как к нам приблизились двое и спросили, кто из нас Хосе Мигас. Мой друг побледнел.

— Это я,— сказал он.— Что случилось? Кто вы такие?

Они показали свои жетоны.

— Полиция.

Тогда Пепе Мигас развернулся и накинулся на меня с кулаками, громко вопя:

— Доносчик! Сволочь! Значит, ты шпионил за мной, да? Ну, так ты у меня попомнишь.

Он настолько захватил меня врасплох, а его брань и обвинения звучали так невероятно, что когда я опомнился, он уже успел расквасить мне кулаками все лицо; полицейские крепко держали обидчика. Пепе Мигас фыркал, как раненый бык.

— Где пропаганда?

— Здесь, под моим сиденьем.

И его увели, а он оборачивался и грозил:

— Погоди, мы еще встретимся, доносчик дерьмовый.

Я сгорал со стыда и ничего не мог понять. Свидетели этой сцены плевались и осыпали меня оскорблениями: «Вот сукин сын! Доносить на товарища! И ведь наверняка, чтобы занять его место». Мне пришлось одному разгружать грузовик и загружать его снова, под градом издевательств и проклятий, а потом перед отъездом зайти в комиссариат. Я сказал, что ничего не знал, что Пепе Мигас не доверял мне, что у нас уже бывали стычки, так как он плохо со мной обходился, и меня отпустили. Тем не менее, выходя из комиссариата, я не переставал спрашивать себя: хорошо ли, честно ли я поступил или, напротив, плохо, трусливо. Но как это узнать? Почему мой друг внезапно переменился ко мне и так рассвирепел? Неужели Пепе Мигас все еще считал меня шпионом на жалованье? После стольких месяцев совместной жизни, после стольких излияний и тесной дружбы? Почему? На чем основывались его подозрения? Было ясно, что его выдали, но почему он думал на меня? Все эти мучительные вопросы вертелись в моей голове, от них было больнее, чем от побоев товарища. Мучительные вопросы — и без ответа.

В одиночестве продолжал я этот самый печальный в моей жизни путь. То и дело, особенно во время долгих ночных перегонов, я припоминал фразы, жесты, смех и свист моего товарища,— теперь он сидит в тюрьме, и неизвестно, что с ним сталось. Когда мотор начинал барахлить или случался прокол, я чувствовал себя таким одиноким, таким беззащитным, что меня не раз подмывало бросить грузовик посреди дороги и зашагать куда глаза глядят. И я плакал. Мне не стыдно в этом признаться. Я плакал, потому что после моей мамы никого не любил так, как любил Пепе Мигаса.

Через полтора месяца, вернувшись в Мадрид, я первым делом отправился к его жене. Я хотел заверить ее, что никак не повинен в несчастье, случившемся с ее мужем, и думал отдать ей часть заработанных денег. К моему огромному удивлению, она встретила меня ласково: «А, так вы Энрике. Проходите, проходите. Вы не представляете, как Пепе вас любит». Маленькая, смуглая, еще свежая женщина. Мальчики уже работали учениками в мастерской. Благодаря

этому семья кое-как перебивалась. Пепе сидел в тюрьме Карабанчель, ожидая военного суда. Чувствовал он себя хорошо и был бодр и весел. «Вы же знаете, какой мой Пепе сильный». А я не знал, с чего начать.

— Я бы хотел просить вас... когда вы его увидите, передайте, что я не виноват в случившемся. Я...

— Ну конечно же, не виноваты. Он это прекрасно знает.

Я что-то недослышал или она смеялась надо мной?

— Но он подумал...

Женщина, улыбаясь, покачала головой.

— Знаете, что Пепе велел передать вам прежде всего?

— Что?

— «Ступай и скажи ему, Энкарна, чтобы он не был таким ослом».

Ослом? Я осел? С женщинами — возможно. Но какая связь между моими любовными историями и арестом моего друга? Не понимаю!

— Так вы все никак не сообразите?

— Нет,— повторил я.— Я ничего не понимаю.

— Но это же яснее ясного. Все было комедией. Пепе набросился на вас, чтобы полиция не втянула вас в это дело. Понятно? Настоящими были только удары. Всякий раз, как он рассказывает об этом, он покатывается со смеху и повторяет: «Ну и разукрасил я рожу этому бедняге Энрике... Но если бы мне в голову не пришел этот фокус, сидеть бы ему сейчас в тюряге вместе с нами ни за что ни про что». В Валенсии устроили облаву, и один из арестованных проболтался. Теперь он тоже сидит: остальные так запутали его, что ему было не выкрутиться. И донос не помог.

Она угостила меня чашечкой настоящего кофе и отказалась взять деньги. «Если мне когда-нибудь понадобится, я у вас попрошу. А сейчас мне пока не нужно». Пепе знал и то, что я приду к нему домой, как только смогу, чтобы извиниться и предложить свою помощь. Пепе знал обо всем! А я, напротив, не знал ничего. «Энрике предстоит еще многому научиться, Энкарна». Хорошо. Наверное, это правда. Но я чувствовал себя свободным. Настолько, насколько можно быть свободным, работая поденно и зная, что тебя подстерегают на каждом углу. Как только я зазеваюсь... Я уже видел. Как только я зазеваюсь...

VI

— Сеньор доволен? Его хорошо обслужили?

Я открываю глаза. Пробег по моей жизни был длинным и утомительным, и я чувствую себя так, словно только что вылез из кабины нашего «русачка» — разбитый, с затекшими ногами и руками. Но отраженная зеркалом улыбка парикмахера подбадривает меня и возвращает к действительности. Я тоже улыбаюсь в ответ.

— Великолепно,— говорю я.— Теперь хоть под венец. Когда захочешь, ты бреешь и стрижешь, как профессор парикмахерских наук.

— Но слушай, ведь не каждый день человеку исполняется сорок. А кроме того, я хочу, чтобы ты вспомнил обо мне, когда тобой займется другой парикмахер.

Я вытаскиваю пачку сигарет, угощаю его и закуриваю сам.

— Последняя, а? — говорит он.

— Ни в коем случае. Предпоследняя, друг. Мы скоро увидимся.

— Но не здесь.

Я не отвечаю. Мы курим.

— Что ты будешь делать, Энрике?

— А ты, Викториано?

— Ба. У меня все уже решено. Я останусь в Мадриде, где работают мои дети. О том, чтобы вернуться в наш городок, и думать нечего.

Моей жене и твоему покорному слуге — нам немного надо, и слишком уж плохо должно все обернуться, чтобы я не сумел заработать нам на хлеб. Жизнь не бог весть что, но надо иметь мужество ее прожить. Запомни, хоть это и звучит как философия.

— Только звучит?

— Ну, как тебе сказать. Но это философия всего насущного, стоящая, хорошая философия. Другая — это музыка небесных сфер. Она ни на что не годится.

— Согласен.

— Я спросил, что ты думаешь делать, потому что ты говорил о разных вещах, но как будто не склоняешься ни к чему.

— Да я и сам не знаю, Викториано. Посмотрим, как лягут карты.

Мне надо идти, но не хочется двигаться. Быть может, оттого, что мне предстоит сделать большой прыжок, и я это знаю, и знаю, о чем я думаю и что меня ждет, знаю то, что знаю, меня оставляет воля, а ноги наливаются свинцом. Викториано продолжает говорить, что я счастливчик: в мои годы я никем не связан, ни за кого не отвечаю, я хозяин своего будущего и еще могу достичь всего, что захочу. Мой друг говорит и говорит, словно размышляя вслух, а я спрашиваю себя: достичь — но чего? Чего я хочу? И если то, чего, как мне кажется, я хочу, я хочу на самом деле — что будет со мной? Сколько времени ждать, чтобы получить наконец эту возможность, а теперь, когда я уже касаюсь ее пальцами, когда мне ее предлагают, когда она моя,— мне страшно воспользоваться ею.

Трусцой прибегает Селестино, заглядывает к нам и кричит отдуваясь:

— Дон Нарсисо говорит, чтобы ты поторапливался, ты опоздаешь на поезд, он тебя ждет...— И исчезает.

Викториано молчит. Вот и настал этот миг. Я встаю. Викториано смотрит на меня. Я знаю, что он сдерживается с огромным трудом. Я тоже. И мы молча обнимаемся.

— Я провожу тебя, Энрике.

— Нет, оставайся здесь. Я предпочитаю выйти один.

— Как хочешь.

Выйдя из парикмахерской, я оказываюсь в большом квадратном дворе. Уже перевалило за полдень, и осеннее солнце касается края высоких каменных стен, образующих четырехугольник, серых стен с рядами симметричных, зарешеченных, жутких окон. Люди прохаживаются по двору, поодиночке и группами, сидят под жестяными навесами. Здесь я отсчитал шесть лет, две тысячи сто девяносто дней и ночей из двенадцати лет срока, сокращенного за хорошее поведение и благодаря зачетам. Я расставлял и собирал свою койку столько раз, сколько получится, если это число умножить на два. В течение этого периода смена времен года была лишена для меня всякого смысла. Одинаковые дни, похожие месяцы, неразличимые годы. За все это время никто мне ни разу не написал, никто не навестил меня из мира, лежащего по ту сторону стен с вышками и часовыми. «Слушай!.. Слу-у-у-шай!» — зловещим воем звучало в ночи. За все это время я не видел ни одной женщины. Все это время я работал в маленькой игрушечной мастерской, чтобы иметь деньги на табак и кое-что из одежды и как-то разнообразить питание. Здесь я узнал людей, несравнимых между собой, отмеченных всеми мыслимыми шрамами горя и неудач, жертв мести и житейского краха, поборников идей и провозвестников будущего, пропащих и избавителей. Узники, узники, узники. Мужчины, мужчины, мужчины. Я видел, как они плачут и смеются, как по-звериному сцепляются в схватках, как укрываются парами в загаженных уборных, пока остальные спят, как они спорят, шумят,

замыкаются в молчании и печали или предаются ликованию и ждут, всегда ждут, в своем ожидании неподвластные течению часов и дней, месяцев и лет. Тут были уголовники и политические; первые — совершившие все существующие преступления, вторые — сторонники всех существующих идеологий. Уголовники внушали мне жалость и ужас; политические нагоняли робость. Первые чувствовали, что я чужой, а вторые использовали все искусство убеждения, чтобы заманить меня в свой лагерь. Я предпочитал общество последних, много разговаривал и спорил с ними. Надо признать, что в диалектике они были половчее меня, более осведомленные, более опытные, и хорошо знали, куда идут. Я же, напротив, плавал в тумане путаницы. Их аргументы загоняли меня в тупик. Много раз мне казалось, что у меня нет выхода. Но в последний миг я выворачивался. Мне говорили: «Ты духовный урод», или: «Ты сопротивляешься из эгоизма», или: «Ты слишком запуган». Это было и правдой, и неправдой. Как это объяснить? Непросто. Дело в том, что я Фома неверный. Я не хочу смотреть чужими глазами. Не хочу идти по дороге, на которую меня толкают, не хочу жить по указке. Хочу видеть сам, открывать сам, удивляться сам, без постороннего насилия. Ловцы душ применяют ту же тактику, что и торговцы: «Это самое лучшее. Все остальное имитация. Это единственный законный продукт, вот его марка, с полной гарантией». Они не дают тебе ни подумать, ни выбрать. «Поглядите, какая нитка, какая закалка, какая отделка, какая точность, какое совершенство... Попользуйтесь, поработайте, купите...». Они туманят мне мозги, оглушают, сбивают с толку и вместо того, чобы подтолкнуть к решению, добиваются лишь того, что я затормаживаюсь. Я ничего не могу с собой поделать. Я таков, и дело вовсе не в том, что я хотел бы быть таким. Разве тот, кто верит, будто чем-то владеет, не счастливее того, у кого ничего нет? Но тут уж ничего не поделаешь. Вот почему, хоть и дружа со всеми, я не попал ни в чьи сети и, однако, в глубине души отождествлял себя с каждым. «Ты ускользаешь, как угорь, Энрике, но не забывай одного: рано или поздно ты должен будешь встать на чью-то сторону, потому что нельзя прожить всю жизнь одиноким волком. Свобода — благо относительное. Человек свободен по отношению к А или к Б. Более или менее свободен. И свободен внутри тюрьмы, как здесь. Закон Эйнштейна применим как в физике, так и в метафизике. Человек едет в поезде, идущем на большой скорости, и волен садиться или стоять, перейти из одного вагона в другой, высунуться или не высунуться из окна и так далее, но не волен выскочить из поезда, понимаешь?» Это сказал мне один студент, осужденный на два года тюрьмы за подрывную деятельность. Для меня все это было слишком мудрено, и я остался тем, чем был, твердо решив не продаваться более никому и ничему.

Здесь мне объяснили и показали, как извлекать бумажник из внутреннего кармана пиджака так, чтобы хозяин ничего не заметил; какой техники следует придерживаться, нанося удары; каким образом продать чужой автомобиль, грузовик или дом; как душить козлят большим пальцем правой руки — способ, позже примененный к двум шуринам, пытавшимся отспорить у пастуха оливковую рощу; какими уловками пользуются агенты по торговле белыми девушками, заманивая деревенских красоток фальшивыми контрактами в Турцию и в Ливан; каковы приемы исступленной любви гомосексуалистов, ведущие к увечью или к смерти; в чем состоит искусство подделки чеков, свидетельств о рождении, паспортов и так далее. Благодаря всему этому я заглянул в один из самых отталкивающих, липких и грязных подвалов общества. Также — только менее детально, не вдаваясь в подробности,— меня познакомили с методами тайной политической

борьбы: как маскироваться, как хранить секретность, каковы способы самозащиты, как проникать в страну и гладко провести операцию. Вот это поистине захватывающий мир, поражающий богатством выдумки и способный увлечь самые благородные умы,— причем не только сиянием своих идеалов, но и атмосферой интриги, магией романтики, отвагой, дерзостью и самопожертвованием.

Здесь я выучился многому — и из самых различных областей. В последние месяцы сюда прибыли два типа, каждый по-своему примечательный: дон Се́гис и Тинйн. Дон Сегис — величественный старик лет шестидесяти с лишком; говорит он, приставляя к горлу аппаратик вроде маленького транзисторного приемника. Появившись среди нас, он дал понять своим почти каббалистическим способом, что был арестован как агент МОПРа, не уточнив, однако, справедливо это обвинение или нет. Это выделяло его из уголовников и давало доступ в круг политических. Но через несколько дней один из заключенных, работавший в тюремной канцелярии, рассказал нам историю дона Сегиса. Он был арагонец и жил в Сарагосе. Долгие годы он промышлял мелким жульничеством, что не избавило его ни от бедности, ни от страха за будущее; и вот, видя, как притупляются его способности и убывают силы, он задумал мастерский ход, который обеспечил бы ему счастливую и беззаботную старость. С этой целью он перебрался в Барселону и там, среди прочих добротных вилл, украшавших Виа Лайетана, выбрал одну, которая, по его мнению, наилучшим образом отвечала его намерениям. В качестве агента по продаже недвижимости, что удостоверяли прекрасно изготовленные документы, он получил всю необходимую информацию, касавшуюся этого здания. Вилла, ни разу не заложенная, принадлежала супругам А и Б, проживавшим в Таррагоне. Тогда он явился к одному из самых влиятельных нотариусов города и от имени владельцев виллы попросил связать его с каким-нибудь клиентом, который согласился бы дать взаймы четыре миллиона песет, под залог виллы номер такой-то по Виа Лайетана, оцененной более чем в сто миллионов. Нотариус счел предложение в принципе осуществимым, но не пообещал дону Сегису ничего наверняка. Тем не менее дон Сегис оставил в нотариальной конторе свое имя и адрес, и, как он и предполагал, уже к концу второй недели нотариус уведомил его по телефону, что подыскал подходящего клиента; они немедленно договорились о дне и часе, когда подпишут бумагу на таких-то и таких-то условиях, которые дон Сегис принял заранее. «Мышеловка захлопнулась». Дон Сегис подготовил парочку сообщников, согласных сыграть роли сеньора А и сеньоры Б, имея при себе самые полные и безупречные документы, изготовленные, как и его удостоверение агента по продаже недвижимости, доктором Сильвестре, лучшим в Испании специалистом по подделке бумаг. «Достаточно вам сказать, что великий доктор Сильвестре сумел подделать приказ о собственном освобождении. Он передал его жене вместе с грязным бельем, и на следующий день приказ пришел в тюрьму по почте, со всеми требуемыми печатями и штампами. Вечером того же дня доктор добровольно вернулся в тюрьму, сказав служащим, что хотел над ними подшутить. Этот тип сядет за столик кафе со своей коробочкой и перышками и состряпает тебе прямо на месте билет на корриду или на футбол». И вот в назначенный день и час состоялась юридическая церемония «ты мне, а я тебе», чек за подпись, в присутствии знаменитого нотариуса, который твердой рукой и со спокойной совестью скрепил документ своей подписью и печатью, как делал это много раз, ощущая удовлетворение от того, что честно заработал соответствующее вознаграждение. Деньги по чеку были получены без труда. Равным же образом клиент сумел безо всяких осложнений провести

бумагу через Отдел по регистрации недвижимости. В свою очередь, дон Сегис взял два миллиона, а остальное поделил между сообщниками. И все было спокойно до тех пор, пока не истек первый срок выплаты процентов, тогда клиент, одолживший деньги, известил нотариуса о невыполнении обязательств со стороны должников. Нотариус скорее всего подумал, что речь идет просто о недосмотре, вызванном, быть может, непредвиденным отъездом, и для начала позвонил по телефону хозяевам виллы. Ему ответил настоящий сеньор А. Он горячо и решительно отрицал абсолютно все. Вилла номер такой-то по Виа Лайетана принадлежит действительно ему, но ни он, ни его супруга, сеньора Б, не брали под нее никаких обязательств. Короче говоря, подлог выплыл наружу. Фальшивые сеньоры А и Б жили за границей, бог весть где. А что касается дона Сегиса Лосано, он же дон Луис Ка́серес, дон Тома́с Сеговия, дон Хосе Медиано, дон Фелипе Менендес и обладатель еще двадцати имен, то его обнаружили в мадридской квартире, купленной на имя дочери, совершеннолетней, замужней и имеющей детей, и арестовали без сопротивления с его стороны, когда он садился завтракать. И он говорил: «Денег уже нет, нотариус арестован. Между тем я объявил себя участником одного недавно раскрытого мошенничества с удобрениями, а это дело мелкое — даже в худшем случае дадут года два, не больше,— и поэтому сижу сейчас здесь. К тому времени, как меня переведут в Барселону, нотариус уже все уладит, так как для него это крайне важно,— уладит, разумеется, выплатив все до сентимо, а это главное, и наступит мир и благоденствие. Кто поверит всерьез, что такой человек, как я, который говорит через флейту во рту,— эту американскую штучку я купил много позже,— способен обмануть большого нотариуса и большого дельца?» По мнению дона Сегиса, люди делились на две категории: на тех, кто спит, закрыв оба глаза, и тех, кто спит, держа один глаз приоткрытым. Последние — его коллеги, а первые — те, кто проигрывает.

Случай с Тини́ном относится к другому жанру. Тини́н — паренек из Сантандера, шофер грузовика, любитель выпить и поесть до отвала. Для него блюдо отбивных и литр-другой риоханского вина лучше любой девушки. Судьба пожелала, чтобы в один из своих приездов в Мадрид он встретился с дружком по казарме, Рафаэлем. Встречу они отпраздновали знатным обедом. Наелись и напились вдоволь, и наконец, среди розовых винных паров, настал черед откровенной беседы. Тогда Рафаэль узнал, что Тинин работает много, а получает мало, и предложил перейти туда, где подвизался он сам, во франко-испанскую транспортную компанию. Поступить туда непросто, но Рафаэль брался похлопотать и уладить все формальности. «Денек-другой, не больше, вот увидишь». И действительно, через день Рафаэль смог предложить ему, от имени компании, месячный заработок в десять тысяч песет и вознаграждение в двести песет с головы.

— А, значит, дело идет о перевозке скота? — спросил Тинин.

— Ну конечно, конечно же, дружище.— И Рафаэль лукаво усмехнулся, однако приятель не заметил дразнящих ноток в его голосе.

Рафаэль передал Тинину на первый случай пятьсот песет, потому что следовало отправиться в Саламанку и найти Рене, тамошнего агента компании. Так Тинин и сделал и потом вместе с Рене добрался ночью до какого-то хутора, где их уже ждал грузовик, груженный кипами сухой люцерны. Он подумал, что это корм для скота, и без дальнейших разговоров сел за руль. Они ехали, не останавливаясь, шесть часов подряд, почти до рассвета, по кружным дорогам, то и дело освежаясь глотками вина, закусывая хлебом и мясом, причем Рене не скупился на угощение. Когда они добрались до одиноко-

го хутора, места их назначения, Рене настоял, чтобы Тинин отправился вздремнуть в спальню, приготовленную для них в доме. Лучшего и желать было нечего. Тинин, одуревший от винных паров и усталости, проспал до полудня. Он прекрасно отдохнул и проснулся веселый и бодрый, с намерением поскорее заморить червячка. Его уже ждали на кухне; за накрытым столом сидел Рене, еще один тип по имени Оливейра, говоривший крайне мало, на смеси галисийского и испанского, и супружеская пара, хозяева хутора, мужчина и женщина средних лет, крестьяне с виду и, судя по всему, бездетные. Тинин поел и попил вдосталь и почувствовал себя на седьмом небе. Тем не менее он заметил, что Оливейра вышел, едва кончив обедать. Этот тип ему явно не понравился, смуглый, молчаливый, с бегающими глазами. Зато Рене, который несмотря на свое имя был испанцем из Саморы, оказался превосходным товарищем. Он был всегда веселый. Раньше он работал в разных городах Германии и Швейцарии и знал великое множество историй о тамошних испанских эмигрантах, о веселых немецких девушках и о тупости северян,— он мог их рассказывать и повторять без конца. Хозяин дома тоже вышел, хозяйка принялась мыть посуду, и Рене и Тинин остались за столом вдвоем: между ними красовалась наполовину выпитая бутылка вина, один рассказывал анекдоты и случаи из жизни, а другой все прихлебывал да прихлебывал красное; наконец снова появился Оливейра. Тогда Тинин спросил, в котором часу они отправятся в путь, и Оливейра ответил: как стемнеет. Эти ночные переезды показались Тинину странными и возбудили подозрения, что дело тут нечисто. Но он не решился высказать свою мысль вслух, потому что присутствие Оливейры связывало ему язык. Он предпочел выйти в поле, чтобы освежиться. Вышел, а Рене — за ним. Тинину сразу же бросился в глаза разгруженный грузовик и рядом — кипы сухой люцерны.

— А где скот? — спрашивает Тинин.

— Идем,— говорит его приятель.

Рене привел его в хлев. Там на соломе лежали люди. Их было десять, молодые, смуглые, исхудавшие. Иные спали, другие молча смотрели на вошедших, и в их взглядах была безутешная, болезненная тоска, тоска человека, который перестал быть собою, превратившись в собственную тень. Короче говоря, тоска эмигрантов в грязных трюмах судов — смесь растерянности, беспомощности и душевной боли.

Никто из этих людей не раскрыл рта. Рене тоже молчал, а Тинин от удивления и страха не мог произнести ни звука. Это была немая сцена, во время которой говорили только глаза.

— Идем отсюда,— сказал Рене.

Выйдя из хлева, Рене продолжал:

— Вот тебе и скот, который путешествует на дне грузовика, под кипами люцерны.

Как, эти люди — скот? Что это, шутка? Тинин был словно пьян, он ничего не понимал.

— Да, это португальские эмигранты без документов, они законтрактованы французскими фермерами и едут во Францию Наша компания берется провезти их от границы до границы, конечно по этапам. Мы высадим их в Бургосе.

— Но это же свинство,— наивно протестует Тинин.

— Называй, как хочешь, но это так. А разве не свинством было то, что поначалу делали с нами в Швейцарии и Германии? Приезжаешь в Кёльн, без денег, не зная ни словечка из ихнего языка, с паспортом туриста, и тут же попадаешь в руки типов, которые продают тебя на фабрику за определенную комиссию.

— Господи! Для меня это слишком! — восклицает перепуганный Тинин.

— Ну, все так говорят поначалу. Потом привыкнешь, и это тебе покажется в порядке вещей. А ты думал, что будешь получать такие деньги за прогулки на машине? Брось, приятель, не будь дураком.

Тинин был настолько ошарашен, что не находил слов и не заметил, как к ним подошел Оливейра. Он только повторял «нет» да «нет», он, мол, не может ехать дальше, пусть ищут себе другого шофера, а он немедленно уходит, пешком, как угодно...

— Спокойно, спокойно,— от голоса Оливейры Тинин похолодел и онемел.— Не надо спешить. Ты уже ввязался в это дело и знаешь слишком много. Так что не думай, мы не дадим тебе уйти по-хорошему. Или ты работаешь с нами, или...— И угроза, точно ледяной ветер, дохнула ему в лицо.— И я предупреждаю: если тебе вздумается распустить язык, компания нянчиться с тобой не станет. Ясно?

Яснее ясного. Оливейра и компания были способны на все. Тинин увидел, что попал в ловушку, расставленную мошенниками, из которой нельзя выкарабкаться, и смирился. Десять человек были уложены в кузов, как сардины в банку, и укрыты люцерной... Немало подобных поездок совершил Тинин из различных мест вблизи португальской границы до провинции Бургос. За работу ему платили ровно столько, сколько обещали, и он узнал, что другие агенты обращались с эмигрантами еще хуже, чем в его компании. Они брали с несчастных стоимость проезда полностью и потом едва кормили их на протяжении долгого пути. Иногда они останавливали грузовик, высаживали бедняг на землю и говорили, указывая на линию ближайших гор: «Уже приехали. За этими вершинами Франция». Эмигранты, торопясь поскорее добраться до места, вслепую устремлялись к горам, и потом, повстречав кого-нибудь, узнавали, что они в Астурии и их попросту обманули. Хорошие заработки и привычка усыпили совесть Тинина, и поскольку работа казалась такой простой, он даже постепенно перестал бояться. Он ел и пил в свое удовольствие и копил денежки. Чего еще желать? Поработав два года, он сумеет купить себе грузовик и заняться законными перевозками на свой страх и риск. Таков был его план. Но когда, казалось бы, дело шло как нельзя лучше, случилась катастрофа. Как-то на остановке, выгружая эмигрантов, Тинин увидел, что один из них заболел. Он дрожал и горел, дышал хрипло и надсадно. Аспирин — единственное лекарство, оказавшееся под рукой,— вызывал у больного холодный пот и невероятную слабость. Его товарищи были напуганы, некоторые плакали. Что делать? Созвали совет. Все понимали, что больному грозит смерть; ввиду этого Рене считал, что его надо оставить на хуторе, быть может, от бульонов и растираний он пропотеет и к их приезду пойдет на поправку. Но хозяева фермы решительно этому воспротивились. Они тут ни при чем, и незачем им брать на себя такую ответственность. Это дело компании. Не имея права голоса, да и самого голоса, Тинин промолчал, и, как всегда, Оливейра хладнокровно рассудил, что следует делать. «Этого человека мы должны передать дальше живым или мертвым. А там пускай уж и решают, как хотят». Тинину это показалось настоящим убийством. «И меня всего затрясло». Он ничего не сказал, но твердо решил не принимать участия в преступлении. Теперь ему доверяли, он, по словам Оливейры, уже влип по уши и поэтому мог передвигаться свободно. И вот, пока все остальные, включая Оливейру, пытались оживить больного при помощи холодных компрессов, растираний и коньяка, Тинин сбежал. Он шел по горам весь вечер и всю ночь, время от времени присаживаясь отдохнуть, не зная, где он, куда идет и зачем. Знал он только,

что хочет убежать... Холодный и дождливый день застиг его в полном изнеможении. Сил не было, да и при дневном свете он не мог идти дальше и решил переждать до темноты, притаившись среди скал. Но спал он мало, потому что холод, а главное, голод терзали его безбожно. Никогда еще солнце не проходило так медленно свой дневной путь, и никогда еще Тинин не чувствовал себя таким несчастным. Он не знал, где находится, далеко или близко от Сантандера. Не знал также, что будет делать и говорить, когда окажется среди своих. Да и надо ли ему идти в Сантандер? Не туда ли в первую очередь направятся люди Оливейры, чтобы его убить? Думать и решать сейчас он был не в состоянии. Прежде всего поесть, потом поспать, а уж потом, когда голова прояснится, он сумеет принять решение. Быть может, двинется в Барселону, где так легко затеряться, или в Бильбао, а там сядет на пароход и уедет куда глаза глядят... Но сначала есть, есть и спать... Проходили часы, Тинин клевал носом, трясся в ознобе, голод грыз ему кишки; наконец солнце стало опускаться. Больше ждать он уже не мог. Будь что будет... Он вылез из своего убежища и пустился вниз, по козьим тропам. На закате далекий лай собаки возвестил, что по соседству находится какая-то ферма или хутор. Он дождался темноты и пошел на свет, падавший из окошка. Сидевший на цепи пес вновь залился яростным лаем. Вскоре дверь отворилась, и в ней обрисовалась мужская фигура. Тинин собрал последние силы и предстал перед хозяином. Тот успокоил собаку.

— Кто вы и что вам надо? — спросил он.

— Я заблудился в горах и падаю с ног от голода и усталости. Не могли бы вы дать мне что-нибудь поесть и разрешить поспать у вас до утра?

Тем временем вслед за мужчиной высунулась женщина и двое ребятишек.

— Я могу заплатить,— пробормотал Тинин.

— Боже правый! — И женщина вступилась за него.

Хозяин разрешил Тинину войти в кухню, и его охватило блаженное тепло. В большом очаге пылали поленья. Тинин промок до костей, и женщина предложила ему переодеться, пока его собственная одежда просушится у огня. «Наденьте старую рубашку и штаны моего мужа». Но Тинин предпочел сначала поесть, и ему дали большую кастрюлю подогретой молодой репы, сыра, хлеба и вина; все это Тинин заглотал единым духом, при удивленном молчании всей семьи. Хозяин дома подождал, пока он закончит, а затем спросил, как его зовут и что с ним произошло. «Мое полное имя Фаустино Гарсиа Родерас, но все зовут меня Тинин». Он сказал, что с его грузовиком случилась авария и он отправился за помощью, но, не зная местности, шел неведомо куда и заблудился. Ехал он из окрестностей Байоны в Галисию. А где он сейчас? «В Астурии, неподалеку от Грандас-де-Салимес».

Хуторянин недоверчиво посмотрел ему в глаза, и Тинин выхватил бумажник. «Я могу заплатить». Банковские билеты вспыхнули, словно звезды, перед жадными глазами хозяев, но мужчина жестом отказался их взять. «Здесь не постоялый двор. Завтра вам все равно придется уходить, искать свой грузовик, верно?» Недоумевая, Тинин ответил, что да, конечно, он так и думает, но от его тона и неуверенных слов взгляд хозяина стал еще пронзительнее. «Ну ладно, утро вечера мудренее». И хозяин, захватив пару одеял и смену одежды, проводил Тинина в хлев. Потом он бросил в уголок, рядом с коровами, несколько охапок душистого сена и подождал, пока Тинин переоденется. «Тут тепло, мягко, выспитесь на славу, а завтра посмотрим».

Разморенный коровьим теплом и сытным ужином, Тинин заснул, как щенок. Его сон был глубок и крепок, без сновидений, этакая сладкая смерть, но проснулся он оттого, что жандарм сапогом щекотал его под мышкой. Еще мутными со сна глазами он различил, как на него сверху смотрят трое: пара жандармов и хозяин. «А ну, вставайте». И началось великое похмелье Тинина. Вопросы, вопросы. Он решил не повторять истории со сломанным грузовиком — в ее неправдоподобии легко было убедиться,— а поскольку рассказать всей правды он не мог, то ограничился тем, что рассказал ее часть. Он убегал от агентов одной франко-испанской компаний, которые хотели его убить. А за что его хотели убить? Тинин понял, что загнал себя в тупик. Однако поворачивать назад было поздно. За что? За то, что он отказался с ними работать. И за это его собирались прикончить? За это. Больше Тинин ничего объяснять не стал. Значит, сначала поломавшийся грузовик, а теперь неведомые агенты некой транспортной компании, которые гнались за ним с намерением убить, да? Жандармы отвели его в казарму неподалеку, чтобы продолжить допрос. Не был ли он одним из уцелевших членов группы Педроте, они еще бродят по здешним горам? Тинин это отрицал. А деньги, которые оказались при нем? «Это мои сбережения». Да разве шофер может скопить двадцать тысяч песет и носить их в кармане, будто так и надо? К судье. Началось предварительное следствие, и сколько власти ни старались, им не удалось обнаружить никаких следов франко-испанской транспортной компании, маршруты которой постоянно или периодически пролегали бы по Галисии и через Саламанку. И потом: как звали директора, уполномоченного и их агентов? «Я не знаю». Значит, такой компании не существует. Вместо этого выяснилось, что несколько месяцев назад Тинин, безо всяких уважительных причин, бросил место водителя в сантандерском предприятии,— ушел не простившись, и с тех пор о нем там ничего не слыхали. Чем он занимался? Где был в течение всего этого периода? Конечно, он работал в несуществующей франко-испанской транспортной компании. Ну довольно. Если он даже и не член группы Педроте, то все равно его странное поведение, противоречивость и бессвязность его ответов заставляют с полным основанием предположить, что он, по крайней мере, был связан с одним или несколькими из этих преступников. Его судили за соучастие и приговорили к тюремному заключению. Тинин рассказал мне все это как-то ночью, лежа на соседней койке и то и дело протягивая руку, чтобы нашарить бутылку вина, которую я контрабандой раздобыл в тюрьме. «Мне не поверили. Никто мне не верил». А тот эмигрант умер? Кто же знает? Ну хорошо, а что, если вся эта невероятная история — плод его пьяных галлюцинаций? «Тогда почему я здесь?» Верно. И Тинин уже ничего не знает, ничему не верит и продолжает ничего не понимать. «Теперь я даже не скажу наверняка, Тинин я или нет, даже в этом я сомневаюсь».

Не успел я сделать несколько шагов по направлению к тюремной комендатуре, как отовсюду начинают сбегаться заключенные, чтобы поздравить меня и проститься. Они пожимают мне руки, дружески хлопают по спине, грустно улыбаются. «Будь здоров, Лорка. Удачи тебе, Лорка. Прощай, Энрике, всего тебе доброго». Особенно они желают мне удачи, удачи, удачи. И по их мнению, это самое разумное пожелание. Чего стоят здоровье, талант, мужество, если их не сопровождает удача? А что такое удача? Ах, этого никто не знает, да и какая разница. Удача существует на свете, и человек рождается со своей удачей, со своей судьбой. Ну, оставим это. Говорят, что каждое расставание подобно смерти — и каждое приближает нас к подлинной смерти, равно как каждая станция приближает нас к конечной. Фразы это или истина? Поди знай. Я оставляю здесь кусок моей

жизни, кусок невозместимый. Я не то чтобы не жил, но жил в стороне от времени остальных, вне поля тяготения, определяющего мир живых. Люди по ту сторону стен все это время что-то делали, а я — только трепал языком. Поэтому здесь я оставляю лишь поток слов, неисчислимую стаю слов. А поскольку в жизни все, что не действие,— ничто, значит, по существу, я здесь ничего и не оставляю.

Комендант, дон Нарсисо, в хорошем настроении:

— Ну, Лорка, глядя на тебя, подумаешь, что тебе не хочется отсюда уходить.

Он уже просмотрел мой чемодан. Все в порядке. Теперь нам надо пройти в главную тюремную канцелярию, чтобы покончить с бумагами. Последние объятия, и — удачи, удачи, удачи; и последний мой взгляд во двор, скорбный и неживой.

Перед нами одна за другой раскрываются зарешеченные двери. «Удачи, Лорка»,— говорит каждый часовой.

— Ты вел себя очень хорошо, Лорка. Старайся быть таким же и на воле,— говорит мне между тем комендант.

Я расписываюсь. Мне дают бумагу, которая удостоверяет, что мои счеты с обществом начинаются с нуля. Я ничего, ничего не должен. Однако по моим расчетам, по моим личным расчетам я заплатил то, чего не был должен, и, следовательно, они должны мне теперь за эти шесть лет, которые я истратил на то, чтобы трепать языком, выпуская на волю слова, как человек, ради развлечения открывающий голубятню.

— Лорка, у тебя неплохое сальдо на денежном счету.

— Деньги? У меня?

— Да. Как раз вчера сюда явился один сеньор и оставил для тебя двадцать пять тысяч песет. Они твои. Распишись.

Я расписываюсь еще раз и забираю купюры.

— Ты не знал об этом?

Конечно, нет, но я говорю:

— Это сюрприз. Ведь мне сегодня исполняется сорок лет...

— Ясно. Поздравляю, поздравляю.

И я вспоминаю сон, приснившийся мне этой ночью. Вот тебе и неприятность. Бог ты мой! Двадцать пять тысяч песет за шесть лет тюрьмы... Это моя цена. Дешево же меня оценили!

Меня провожают до дверей. Я уже на улице, на улице, которая, собственно, и не улица, я вижу здесь только часовых в будках. И я говорю себе: «Ну, Энрике, теперь — на станцию; дел у нас невпроворот».

VII

Я заплатил то, чего не был должен, в этом все дело, и мое единственное намерение состоит в том, чтобы, выйдя из тюрьмы, получить этот долг. У меня есть только одно желание и силы для осуществления только одного замысла. Это — рассчитаться. Таков мой план. А чтобы рассчитаться, есть только одно средство. И это средство — убить Хосе Пуига. Только Хосе Пуига? Мне следовало бы убить и Глорию. Без сомнения, Глория виновата так же, как Хосе. Да, но Глория — красивая женщина, а я едва ли способен применить силу к женщине, особенно если она красива. Однако все зависит от удачи. Тут опять возникает проблема удачи. Пусть удача решает все. И посмотрим, повезет ли Глории.

Поезд, на котором я еду в Мадрид,— один из тех, что называют «короткими», потому что короток их маршрут. В обычное время он почти пуст, только в дни ярмарки в Сан-Исидро в него набивается много народу, и никто не знает, зачем гоняют эти поезда, так как дохода они не приносят. Я иду в свое отделение и сажусь у окна. Мед-

денно умирает осенний день. Он был солнечным, и небо теперь чистое, прозрачное. Только на закате оно окрашено симфонией красных красок, то есть красным самых разных тонов и оттенков, от багряного золота до темно-кровавого пурпура. И наоборот, земля под паром и голые холмы — тусклые, мертвенные, охристые. Степная равнина, такая знакомая моим глазам. Сколько раз пересекал я ее во всех направлениях и сколько выстрадал ее летом и зимой, днем и ночью. Когда я снова смотрю на нее в полумгле, мне кажется, я опять возвращаюсь к своим шоферским годам. Клубы пыли и солнцепек, сумерки и полдни, дожди и ветры, снежные бури и гололед, горькие, томительные ночи, проколы, аварии, постоялые дворы, крестьяне в кожаных куртках и кепках, надвинутых на глаза, женщины на полях, женщины с узлами на голове, бредущие по дорогам, женщины, шьющие в тени, у дверей своих домов... Фуэнсанта, наверное, вышла замуж за человека со средствами. А что сталось с бедняжкой Люси, влюбленной в строки «Неверной жены»? Я знал, что Пепе Мигас, выйдя из тюрьмы, уехал работать за границу, в город, непроизносимое название которого я позабыл. Пепе Мигас. Хороший человек. Хороший товарищ. По-настоящему хороший. Хороший. Еще глубже — Марибель, сеньор Пласидо и словно незакатное, вечное солнце — моя мама. Сколько тюремных ночей вспоминал я Марибель — девушку, обучившую меня любви. До сих пор память о ней зажигает меня. И, однако, мне не хотелось бы встретить ее снова. Спустя столько лет это будет уже не Марибель, а ее блеклая тень, ее призрак, ее развалины, если она вообще жива. А сеньор Пласидо... По его понятиям, он стал богачом. Владеет еще тремя лавками, но зато потерял своего сына Маноло, который не захотел быть адвокатом и сбежал в Германию — а ведь казался таким тихим и безвольным! «Да, Энрике, я богат — а что с того? Деньги тоже связывают. Они есть у тебя — и их нет. Это они тобой владеют, они обязывают тебя поступать так, а не этак, они командуют тобой. Вот видишь, попроси ты у меня денег — я и хотел бы, да не смог пойти тебе навстречу. Такие-то дела, Энрике. И выходит, что деньгами не достигнешь того, чего хочешь. Я отдал бы все, что имею, лишь бы мой сын стал адвокатом и жил возле меня. Напрасные мечты. И я спрашиваю себя: что же это такое делается с людьми? Отчего мы никогда не можем добиться, чего хотим?» А моя мама не меняется. Я словно вижу и слышу ее: «Я не из таких. Я не продаюсь»; «Твой отец появился у нас, как красное солнышко...»; «Твоего отца убили, родной...»; «Не хочу, чтобы ты еще больше озлоблялся из-за меня, сынок». Моя мама не умрет, пока я жив, и будет для меня всегда, всегда, всегда такой же. Когда настал ее час, я не смог купить ей постоянной могилы, и ее останки будут перезахоронены в общей яме. И она тоже не сумела поставить плиты на могилах моего отца и сестры. Но это неважно. В постоянных могилах и пантеонах тоже ничего не остается. Мертвые живут в нашей памяти, они с нами. «Ты будешь жить, пока тебя помнят»,— и это правда. Так продолжают жить Цезарь, Сервантес, Наполеон и столько других мужчин и женщин разных эпох.

Какой лязг! Станция. Никто не выходит, никто не садится, и человек в шапке железнодорожника, словно во сне — кто знает, о чем он думает, если только думает вообще,— звонит в колокол. Ну и дергает же этот поезд! И снова в путь. Красный гребешок солнца уже исчез за горизонтом, и над пустошами, над пашней сгущаются тени. Господи, оливковая роща. Нет дерева с виду дряхлее оливы. Все оливы старые и печальные. Низкорослые, морщинистые, кривые, истерзанные артритом, всегда в надвинутой на лоб кепке. Старики. Черные тополя стоят по берегам рек; буки и дубы ползут вверх и вниз по

склонам; фруктовые деревья выстроились во влажных долинах; фиговые деревья — по суходолам... Акации кажутся невестами в воскресных нарядах; эвкалипты — кадилами; цветущий миндаль — веселыми хлопьями снега; апельсиновые и лимонные деревья — расфранченными жеманницами... А оливы вырастают на неведомых доисторических кладбищах, они — порождение огромных окаменелых скелетов. Когда я проезжал по провинции Хаен, нескончаемые ряды олив напоминали мне плотный строй мертвых воинов, и я цепенел от ужаса, особенно в лунные ночи. Немало страху я натерпелся от олив и оливковых рощ. Поэтому земля олив для меня — земля смерти.

Я многому научился тогда в кабине «русачка». Несмотря на все, что говорилось и писалось об Испании — а этому несть числа,— она страна, как мне кажется, малоизвестная, или, по крайней мере, не всегда воспринимаемая без предубеждений. Например, кому впервые вздумалось сказать, что андалусцы — веселый народ? Веселы те, кто живет на севере, жизнерадостные, по-животному подчиненные своему организму. Андалусцы улыбаются — это верно, но редко хохочут. Они не умеют, не могут хохотать, потому что по их жилам струится печаль, и они улыбаются, чтобы скрыть это, хоть сами и считают себя весельчаками. У них болезненная привязанность к своей земле, которую они считают лучшей на свете, и чтобы не расставаться с ней, готовы снести любой позор. Они — последние на свете крепостные, потому что, в сущности, они умеют быть либо господами, либо ничем.

То были годы эмиграции в промышленные города и за границу. Деревни и мелкие селения пустели. Волны переселенцев, хлынувшие из обеих Кастилий и Эстремадуры, вновь, после трех веков застоя и изоляции, растекались по промышленной Европе. Бежали также и из других областей. В деревнях оставались лишь старики, дети, дурачки, малодушные и богачи, потому что уезжали даже молодые женщины. Я видел эмигрантов на вокзалах, с их узелками и деревянными чемоданами, оставшимися от времен военной службы,— они сидели взволнованные, растерянные, но упрямые. Они ехали наудачу, но все ж таки и за удачей. Было нечто обнадеживающее уже в том, что в них проснулись какие-то желания и они были в состоянии отправиться на поиски желаемого, побеждая трудности и не боясь рисковать. В какой-то степени это было пробуждение старинной мечты о великих свершениях и бесполезном мессианстве. И именно тогда, когда началось это массовое бегство, в Испанию хлынули туристы в поисках дешевого солнца и дешевого отдыха. Их становилось все больше и больше. Это казалось абсурдом, многие так и думали, но на деле речь шла о самом логичном и простейшем явлении нашего времени.

Однажды, пройдя миллион километров, «русачок» вдруг остановился. Его заменили другим, одним из тех грузовиков, которые так издевательски обгоняли нас на дорогах,— быстроходным, хвастливым, сверкающим, с оглушительным сигналом. Мне передали его вместе с помощником, вернее, с помощниками, потому что за короткий период их сменилось несколько: они брались за работу и тут же бросали ее и уезжали в Германию. Я тоже подумывал о том, чтобы уехать и поискать счастья за границей. Может, мне и следовало это сделать. Тогда сегодня я возвращался бы из иных мест, хотя — как знать. В те годы я не эмигрировал из-за того, что бесконечно устал от дорог и от работы целыми сутками. Конечно, заработок у меня был сравнительно высокий, но только на первый взгляд: его целиком поглощала неустроенность походной жизни, и в конце концов выходило так на так. Я распростился с дорогами и, поселившись в скромном пансионе, занялся перевозками в черте города. Таким образом,

у меня появилось больше свободного времени, хоть и ненамного: чтобы обзавестись самым необходимым, приходилось работать сверхурочно по нескольку часов в день. Я поработал в конторе, занимавшейся доставкой пакетов, а потом один приятель по пансиону предложил устроить меня в таксомоторное агентство. «Слушай, ведь работа там легче и удобнее, а платят больше»,— и я согласился. Мне было нетрудно получить необходимое удостоверение, и через несколько дней я впервые выехал за рулем такси из парка на Куатро Каминос. Единственное, что не нравилось мне в моем новом качестве, это фуражка, ужасная фуражка, носить которую мы были обязаны постоянно. В этом полиция была непреклонна. Я глядел на себя в зеркальце заднего обзора, и мне было стыдно за свой вид, потому я всегда норовил скинуть фуражку, как только выезжал из центра или если пассажирка была молодой и хорошенькой,— ведь в своей внешности я больше всего гордился волосами. В остальном же работа таксиста развлекала и бодрила меня. Такси в Мадриде не хватало, и потому от клиентов не было отбоя, особенно в дождливые и холодные дни, так что мне не приходилось охотиться за пассажирами, скорее наоборот, я разрешал себе не обращать внимания на иные оклики, если прохожий мне не нравился или я уже возвращался и не хотел тратить свое свободное время. Стоило посмотреть и послушать, какие споры и стычки вспыхивали среди жаждущих занять машину... Не раз при мне двое хорошо одетых мужчин почтенного вида обменивались пощечинами только ради того, чтобы сесть в такси. Побеждал более сильный или хуже воспитанный, а когда они взывали ко мне, я пожимал плечами, не вмешиваясь в спор,— так мне советовали более опытные шоферы. Только если дело касалось старика или женщины с маленькими детьми, я принимал их сторону. Обычно после сражения победитель, еще отдуваясь, накидывался на меня: «Нельзя ли узнать, почему в городе так мало машин? Это же безобразие». Я улыбался, видя в зеркальце огненное, как помидор, или желтое, как лимон, лицо пассажира. «Что вы хотите от меня? Скажите это алькальду». Потом возбужденный пассажир постепенно остывал: «Извините. Я знаю, что вы тут ни при чем. Виновата эта проклятая система монополий. Несколько бесстыжих нахалов жиреют, а мы, все остальные, должны за них отдуваться». Иные не останавливались на этом и продолжали осыпать виновных угрозами и проклятиями, прибегая к самой откровенной матерщине. И действительно, службой такси монопольно владели несколько человек. Даже когда машин не хватало, новые лицензии продавались с огромным скрипом, дабы «защитить таксомоторное хозяйство» — удобные слова, прикрывавшие монополистические интересы нескольких привилегированных субъектов. Лицензия на такси стоила в ту пору больше четырехсот тысяч песет, иногда больше полумиллиона — в зависимости от того, сколько раз переходила она из рук в руки. Какой рабочий человек, вроде меня, располагал такой уймой денег? Естественно, лицензии в большинстве случаев оседали в руках «таксомоторных хозяев», которые, не касаясь руля,— да и как может один человек сидеть за рулем тридцати машин одновременно?— устанавливали свои законы и преграждали путь любой попытке конкуренции. Это было ясно, и все это знали, но как исправить такое положение, если монополисты, распоряжавшиеся в этой сфере, оказывались гораздо сильнее обывателей и общественности? Никак. Оставалось только ворчать, злиться и... платить. Так и делали. В те дни я понял еще одно: что такси нечто вроде исповедальни. Обычно новый пассажир, усевшись в машину, почти сразу начинал изливаться передо мной, рассказывать о цели своей поездки. Если он ехал в больницу навестить родственника

или друга, темой его излияний становилась болезнь, которой тот страдал, лечащий врач и все осложнения семейного, профессионального или материального порядка, возникшие в связи с болезнью. Если клиент спешил на деловое свидание или похлопотать о месте, он немедленно вводил меня в курс дела, а иные даже спрашивали, не знаю ли я какое-нибудь влиятельное лицо, которое могло бы ему помочь. Если я отвозил кого-нибудь на вокзал, в конце поездки мне уже было известно, куда отправлялся мой пассажир, почему и зачем. Иногда клиент сидел молчаливый и задумчивый, но если у меня появлялось желание поболтать, достаточно было заговорить с ним хотя бы о погоде. «Ах, видит бог, мне не до того». И он выкладывал мне свои заботы. Женщины, поначалу менее склонные завязывать разговор, потом, когда лед был сломан, оказывались намного болтливее мужчин, хоть их репертуар и не отличался разнообразием; все темы можно было пересчитать по пальцам: невыносимые претензии прислуги («Воображают, что они нам ровня»); рыночные цены, за которыми не угонишься («И куда только мы идем?»); болезни, школы («Никакого заработка не хватит, чтобы оплатить их счета, а учат с каждым годом все хуже. А что вы мне скажете о первом причастии? Во что это превратилось?»); работа по совместительству, которую приходится брать мужьям («Поверите ли, дети видят отца только по праздникам»); домашние электроприборы и аппараты («Вот вы механик, скажите, какая стиральная машина, по-вашему, лучше: марки А или марки Б?»); распродажа в больших универмагах... И вот что интересно — почти всегда мои пассажиры принимались в конце концов честить на все лады экономическое положение: «Мы катимся к пропасти. То вдруг есть кредиты; то вдруг их нет. Что это — игра, ребусы или загадки? Вот послушайте: из Гаваны пришло судно, груженое...»; политическое положение, алькальда, правительство, спорт, банки, университет, школы — все на свете. Время от времени кто-нибудь говорил мне под большим секретом, что ожидается смена правительства. «Как вам это нравится, а?» Мой собеседник знал имена новых министров, один из которых был его близким другом и однокурсником. «Кто бы только мог сказать в то время!» Конечно, министры, еще сидевшие на своих постах, считали себя неуязвимыми — так бывает всегда, но в один прекрасный день они заглянут в «Диарио офисьяль»... Не оберешься тогда перепугов, обмороков, желудочных колик... «Власть ведь, наверное, сладкая штучка, как по-вашему?» Но чаще всего—можно бы назвать это дежурной темой—меня спрашивали, болею ли я за мадридский «Реал», или за матрасников, или за мадридский «Атлетико», или меренг. Я отвечал то так, то этак, но кому бы я ни отдавал предпочтение, пассажир разражался целой лекцией о футболе или рассказывал мелодраматическую историю о счастливце, которому только что повезло в футбольном тотализаторе. Футбол, футболисты и футбольные события с утра до вечера составляли неисчерпаемый предмет для разговоров, словно от мяча и от ударов ногами зависели судьбы страны, хотя могло статься, что словесный понос на футбольные темы, поистине дурманящий, отупляющий и нелепый, почти олигофренический, служил отдушиной, дабы удержаться от не в пример более опасных комментариев и критики. По ходу разговора лягали то одно, то другое, но футбол расплачивался за все. Занятно было также наблюдать противоположную реакцию, когда человек обрушивался на все заграничное, а испанцев превозносил до небес: они тебе и самые отважные, и самые гениальные, и самые мужественные, и самые высоконравственные, и самые религиозные,— короче говоря, народ, избранный богом и вызывающий зависть у всех прочих. Через мое такси прошло бесчисленное множество

людей всех возрастов, классов и состояний. И все они как один оказывались недовольными, несогласными, суровыми критиками, провозвестниками катастроф, яростными ниспровергателями авторитетов и общепризнанных мнений, раздраженными, сердитыми, взбешенными... Ну хорошо, а что же происходило на деле? Если верить иным словам — словам прессы, радио и телевидения,— исключительно дипломатические победы, индустриализация, социальный прогресс, процветание, открытие общественных работ, пенсии для наших испанских старичков, жилища для наших тружеников, повышения заработной платы, мир и счастье. В тесной столовой моего пансионата тоже все говорилось без стеснения. Как только на экране телевизора появлялся диктор и оповещал нас о забастовках во Франции и Италии, о нехватке жилья в Германии, о низком уровне жизни в странах по ту сторону железного занавеса, об агонии Британской империи, о хаотических волнениях студентов, негритянских бунтах и беспорядках в социально-политической жизни Соединенных Штатов, о перетрясках и переворотах в Африке и в Южной Америке, немедленно разражалась буря. «А, вот и наш враль!» А что вы скажете про нас? А об этом? А о том? А о том, что происходит там-то и там-то? Что? Что? Что? Здесь у нас все идет как по маслу, да? Мы живем так, как нам хочется, да? У нас ничего не происходит, да? Потом, если не составлялась партия в мус, все как ни в чем не бывало расходились спать или по своим делам, чтобы назавтра говорить и делать то же самое. В первое время эти новые впечатления смущали меня и сбивали с толку, даже преследовали во сне, но послушав, как на разные лады без конца твердят одно и то же, я понял, что все это слова, ничего не значащие слова, только слова, слова, слова. Сколько бесполезных слов! Какое словесное море! Что за страна болтунов, крикунов, клоунов! Я даже начал спрашивать себя, есть ли хоть какая-то мысль за этим гамом скотного двора, и не находил убедительного ответа. И я сказал себе однажды: «Это просто рыночный гвалт» — и сразу же вспомнил об овощном рынке на площади Легаспи.

И впрямь, такси стало для меня лучшей жизненной школой. За один день я узнавал тут больше, чем за все годы, проведенные в кабине грузовика. Вскоре я запомнил названия и расположение основных ресторанов, танцевальных залов, баров, домов свиданий и всевозможных притонов. Днем я сажал и развозил людей, которые суетились, подгоняемые неотложными делами и нуждами. Это была пена города в разгар его делового кипения, его свободная энергия. И напротив, ночью клиентура состояла из людей, у которых не было иных забот, кроме желания незамедлительно удовлетворить свои физиологические и, по большей части, тайные потребности. Ну и город этот Мадрид в три часа ночи! Мошенники, проститутки, распутники, алкоголики, пресыщенные бездельники... Не скажу, что среди них не было нормальных людей, тех, что пытаются на несколько часов ускользнуть от однообразия трудовой жизни, но они составляли исключение, их легко было отличить от прочих. По ночам мы подбирали гниющую, зловонную тину города. Мне это не нравилось, хотя чаевые были щедрее, а поездки куда выгоднее. Мне это не нравилось, хотя подворачивались встречи с потрясающими женщинами. «Скоро рассветет. Почему бы нам не выпить вместе последние рюмки этой ночи? Я живу одна. Ну?» Вот так. Приключения, которые заканчивались обычно, когда занималось утро. Иногда они повторялись с одной и той же женщиной. Все они напоминали мне Люси, ту, что любила «Неверную жену». Одна даже предложила мне стать ее сутенером. «Ты мне нравишься, и поскольку, в конце концов, женщина не может жить одна...» Я не прерывал ее.

— Я могу дать тебе денег, чтобы ты купил себе такси, с лицензией и всем, что надо... Днем ты будешь работать на машине, а ночью, попозже, забирать меня, и мы вместе отправимся спать. Кто знает, может, вскоре у тебя появится несколько такси, а, мой мальчик?

— А потом? — спрашиваю я.

— Потом? Лучше не говори мне об этом.

— А надо.

Она смотрит на меня, не понимая. Алкоголь и усталость окутывают ее серым облаком. У нее большие подкрашенные глаза. Она очень привлекательна, это правда. И молода. Лет двадцать пять? Может, и меньше. Ее зовут — по крайней мере, по ее словам — Клео.

— А «потом» существует, дорогой? — говорит она, пытаясь улыбнуться.

— Конечно.

— Ну, в таком случае, раз ты... Но нет. Ты ведь не захочешь жениться на мне.

— Жениться?

— Не захочешь, правда?

Я отрицательно качаю головой.

— На целехонькой, да?

— Ни на тебе, ни на ком другом.

— А если я брошу эту жизнь?

— Все равно.

— Ну что ж, очень жаль. Я бы сумела дать тебе счастье. Я хорошая. Можешь мне не верить, но я хорошая. С тобой я стала бы очень хорошей. Я хочу быть хорошей, только...

— Я знаю, что ты хорошая.

— Правда? — Глаза у нее блестят от удовольствия, она протягивает руки.— Пойди сюда, я кое-что тебе расскажу, глупышка.

Я начинаю одеваться.

— Ну иди же сюда.

Я продолжаю одеваться.

— Иди сюда, не будь таким.

Я уже одет. Раздвигаю занавеси. Светает.

— Но послушай, кто ты?

Мне не по себе. Мне очень не по себе, во мне поднимается горечь. Я оборачиваюсь и говорю:

— Ты же видишь. Никто.

Как удивленно распахиваются ее глаза! Она трясет головой.

— Я что, пьяна?

— Ты очень хочешь спать. Давай спи.

— Так ты никто? — настаивает она.

— Я уже сказал. Никто,— повторяю я.

— Ну ладно, ладно.

Я укрываю ее одеялом. Легонько поглаживаю ей веки, щеки, волосы...

— Спи, спи...

Задергиваю занавеси и ухожу на цыпочках.

Больше я к ней не возвращался. Я встречал ее еще несколько раз, одну или в чьем-нибудь обществе, и ее глаза неизменно впивались в меня, как будто отчаянно твердили: «Никакого «потом» не существует, никакого «потом» не существует»,— а я в эту минуту ощущал огромную горечь моей маленькой победы. Почему у человека нет ста жизней, чтобы раздать девяносто девять, а одну оставить себе и прожить ее свободно, не оплачивая эту свободу ежедневно и ежечасно ценою чужой боли и собственной горечи?

Некоторое время спустя я столкнулся с Хосе и Глорией Пуигами. Я подобрал их у дверей одного знаменитого в ту пору бара. Высаживая там пару полуночников, я увидел, как на тротуаре появилась женщина, которую вели под руки двое мужчин; голова у нее болталась из стороны в сторону, прическа растрепалась: она была пьяна. «Такси!» Вдвоем они усадили ее в машину, но остался с ней только один.

— Она не привыкла пить и...— сказал тот, что остался в машине.

— Ничего страшного. Завтра увидимся, да? — отозвался тот, что стоял на тротуаре.

— Обязательно.

Мужчины пожимают друг другу руки. Я слышу адрес и трогаю машину. По пути они почти не разговаривают.

— Я же предупреждал, чтобы ты пила осторожно...

— Ба... Оставь меня... в покое, слышишь?

Когда мы остановились у подъезда на улице Монтеса, мужчина попросил меня, чтобы я был так любезен и помог ему высадить женщину из машины и поднять в квартиру. «Это моя жена, и я не хочу, чтобы ее видели в таком состоянии ни ночной сторож, ни горничная, вы понимаете?» И пока мы изо всех сил старались, чтобы она не ударилась головой ни о потолок, ни о дверцу машины, он продолжал объяснять: «Мешала напитки, не думая о последствиях, и ей стало дурно. Потом ее заставили выпить чай с лимоном, очень крепкий, и ее всю вывернуло». Женщина была в холодном поту и не держалась на ногах, так что нам обоим пришлось крепко обхватить ее за талию и закинуть ее руки себе на плечи. От нее пахло кислым. Я чувствовал, как мускулы ее бедра и живота вздрагивают под моими пальцами, а щеки касается нежная надушенная кожа обнаженной руки. «Мы ужинали с одним важным лицом и его супругой, деловое знакомство, вы понимаете, а потом дамам пришло в голову закончить вечер в boîte [1]. Не знаю, почему порядочных женщин так привлекают эти места? Чего они там не видели?...» Я мог бы ему ответить, что поскольку каждая женщина наполовину шлюха, то какая из них не захочет оказаться в шкуре шлюхи хоть на один вечер? Однако я промолчал. Что мне за дело до этой глупой истории? Тем временем мы добрались до лифта, хрупкой застекленной коробочки довоенных времен, которая вздрогнула и закачалась под весом нас троих. Правда, там мы с мужчиной смогли увидеть друг друга — голова женщины все еще болталась на груди. «Мы живем в мансарде. Мне нравится жить повыше. А вам?» Я ответил, что предпочитаю нижние этажи. «По меньшей мере, не волнуешься, что лифт испортится». Какие глупости! Мужчина был на несколько сантиметров пониже и на несколько лет постарше меня, его бледно-голубые, очень ясные и очень холодные глаза глядели удивленно и чистосердечно. На круглой голове курчавились темно-русые волосы, причесанные на пробор. Одет он был очень хорошо, даже, быть может, чересчур хорошо. А она? Я не осмеливался рассматривать ее в упор под неотрывным взглядом мужа, но даже поглядывая украдкой, исподтишка, мог заметить, что это аппетитная дамочка. Трезвая, в нормальном состоянии это, должно быть, первоклассная женщина, одна из тех, от которых мужчины теряют голову. «Наверху легче дышится, и видно оттуда больше... А сам ты не на виду...» Он идиот, что ли, этот тип, нашел о чем теперь болтать! Какая чушь! Но вот — дурак ли он на самом деле или только притворяется? Лифт дернулся и встал. И снова нам пришлось вытаскивать женщину волоком. Я все еще не знал

[1] В ночном заведении *(франц.)*

их имен. Но позолоченная табличка на дверях квартиры гласила: «Хосе Пуиг. Строительный подрядчик». Надо же, подрядчик, строитель домов. А не похоже. Строительные подрядчики обычно бывают толстые, с густой бородой... Ну, теперь и я думаю глупости! Какая мне разница, в самом деле, строитель он или агроном? Чтобы этот Пуиг смог достать ключ и открыть дверь, мне пришлось держать его жену одному, вернее, подпирать ее. «Ради бога, Глория, постой же спокойно минутку». А-а, так ее зовут Глория, очень подходящее имя. Ее тело давило мне на бедра, на живот, на грудь, волосы щекотали мое лицо, груди касались пальцев... «Это настоящая пытка, Энрике»,— сказал я себе, но дверь квартиры уже открылась.

— Ну, хорошо,— говорю я, считая свою роль Киринеянина [1] оконченной.

— Нет, пожалуйста, еще немножко, если вам не трудно. Помогите мне ввести ее внутрь.

Я не мог отказать. Теперь уже было поздно. В глубине устланного ковром коридора помещалась супружеская спальня. Мы положили женщину на широкую постель. Ну-ка, может, он ее разденет... Но Пуиг прикрыл ее одеялом. «Пойдемте выпьем по рюмочке, а?» Он потушил свет, и мы вышли. Квартира показалась мне небольшой и сверх всякой меры заставленной мебелью: картины, ковры, два кресла с диваном, телевизор, застекленные горки и еще уйма хлама. Маленькая гостиная-столовая, куда я попал, напоминала лавку старьевщика. Пуиг тотчас откликнулся на мои невысказанные наблюдения.

— Знаю, знаю, мы здесь не помещаемся. Но эту квартиру мы снимаем очень давно, и мне хочется ее сохранить. Теперь я строю себе шале возле Кольменара...

А мне на кой черт это знать?

— Что вы предпочитаете: виски, джин, коньяк, малагу, херес?..

— Глоток малаги. Немного.

— Вы не любитель спиртного?

— Нет.

— Неплохая деталь.

Он наливает мне рюмку малаги.

— Женаты или холостой?

— Холостой.

— Еще одна неплохая деталь. Вы не присядете?

— Уже очень поздно.

— Не беспокойтесь. Вы ничего не потеряете.

Этот человек смотрит на меня, точно любовница, и я внутренне готовлюсь к отпору. Не хватало еще, чтобы... Но внезапно наивное изумление на его лице уступает место иному выражению — выражению хищной птицы. Взгляд его широко раскрытых, рассеянно смотрящих глаз концентрируется, теперь в них поблескивают холодные, металлические искры, острые, словно иглы. Это человек, умеющий подчинять себе других, человек с хваткой. Я сажусь, и он усаживается рядом. Я чувствую себя спокойнее.

— Давно работаете на такси?

Ему-то какое дело?

— Не очень. Около двух лет.

— И сколько зарабатываете в день?

Этот тип собирается заполнять мою анкету? Мне хочется подняться и оставить его с вопросами в глотке, хочется беззвучно послать его куда следует... но я не могу и отвечаю на его вопрос.

[1] Согласно Евангелию, Симон Киринеянин нес на Голгофу крест, на котором был распят Христос.

— И этого вам достаточно?

Он не дает мне говорить. К чему ведут и зачем эти наглые вопросы?

— Слушайте, я...

— Хорошо, хорошо, простите,— категорично обрывает он меня, достает бумажник и вручает мне банкноту.— Возьмите, это за ваши услуги...

Банкнота в пятьсот песет, и я ищу в карманах деньги, чтобы вернуть ему лишнее.

— Нет, нет, сдачу оставьте себе.

И он вонзает в меня свой взгляд. Но теперь настал мой черед, голубчик. Сейчас ты увидишь.

— Это слишком много. Я возьму только то, что стоит на счетчике и сколько следует за ожидание. За любезность я денег не беру.

— Вот это деталь!

В яблочко! И выражение его лица снова меняется. Теперь оно становится теплым. Он что, подобрел или опять притворяется? Но надо послушать, что он там говорит. А он говорит, что в наши дни почти невероятно встретить такого человека, как я, который не любит выпить, который холост и некорыстолюбив. Я для него — образец честного человека, а честность — это качество, о котором в нынешние времена давно забыли. «Да, и вы увидите почему». Человек, который пьет,— человек безответственный. Человек женатый — не хозяин самому себе. Человек, жадный до денег,— человек, на которого нельзя положиться. По его мнению, это яснее ясного. Никакой ошибки. В своих делах он, Хосе Пуиг, зависит от обязательности многих. Он лично не может делать все сам. А сейчас у него трудный, да, но вместе с тем и счастливый период. Наконец ему удалось получить важный подряд: строительство двухсот квартир... Четыре корпуса, первый из которых поднялся уже до третьего этажа. А теперь к нему в руки плывет еще один контракт: школьный городок. Это сулит миллионы. Как раз цель сегодняшнего ужина и состояла в том, чтобы заручиться поддержкой очень нужного человека. «Потому что теперь дела окончательно решаются не в кабинетах, а в ресторанах. Такая сейчас мода». И, конечно, успех в строительстве зависит от контроля за материалами. Чуть только недосмотришь, и они исчезают, и потом поди найди, куда они подевались. Никто ничего не знает, но смотришь, не хватает цемента, железных конструкций, балок... Да и многого другого. И вот так, когда подбиваешь бабки, получается, что стройка обошлась тебе на десять — пятнадцать процентов дороже, чем ты рассчитывал, в то время как при добросовестном администраторе, при экономном расходовании материалов должно выходить как раз наоборот. В этом-то все и дело... Хорошо, но я здесь при чем? Что он мне докладывает? И ведь он не пьян, нет. Никоим образом. И не сумасшедший. Или он хвастун или... Что, что? Чтобы я хорошенько подумал? О чем? А-а, если в один прекрасный день я устану от такси... Если я когда-нибудь захочу зарабатывать побольше... Тогда у него...

— Вы не берете денег за любезность, и прекрасно, но я стану хорошо платить вам за работу, гораздо больше, чем вы получаете сейчас. Вот моя карточка. Вы не раскаетесь,— говорит он мне.

Была глубокая ночь. Когда я вышел от него, голова у меня кружилась, словно я перебрал рюмочку. Что за манера схватить человека за лацкан и ткнуть головой, хочет он того или нет, в некую сбивалку или водоворот проблем и вопросов, не имеющих к нему ни малейшего отношения. Как будто у каждого мало собственных забот. Но возвращаясь в гараж, чтобы запереть машину, я успокоился и

стал видеть яснее. Может, все дело в том, что мы окружены людьми и, несмотря на это, живем в одиночку? Может, этот порок — набрасываться с непрошеными излияниями — проистекает из желания, чтобы хоть кто-то нас выслушал, потому что никто не хочет нас слушать? Вот я, например, о чем я говорю с остальными? Действительно, о сущих пустяках, которые меня ничуть не занимают. И напротив, то, что меня беспокоит, то, что кипит в моей душе: сомнения, слабости, возмущение, тайные чувства, упреки, которые я себе обращаю, опасные идеи и грязные желания, которые истязают меня,— обо всем этом я молчу. Из стыда, из трусости, из гордыни и оттого, что никому это не интересно. И поэтому людей просто распирает, люди готовы лопнуть. Такой груз выше их сил. И как только появляется возможность, они обрушивают все на тебя. Так поступают мои клиенты в такси, потому что там мне ничего не остается, как терпеть, и так поступил сегодня этот Пуиг. Он выговорился со мною. Он облегчил свою душу и, очевидно, остался доволен. Что тут поделаешь. Существуют и иные способы освободиться от этого груза. И вот — «Мадрид сегодня победил» или «Какой сегодня чудесный день» может означать: «Ну-с, сегодня мне везет. Мой сын сдал экзамен. Мне повысили жалованье. Я выиграл в домино. Антонио вернул мне деньги, которые я давал ему взаймы», и напротив: «Что за мерзкая погода!» или «Ну и жулики в этой команде!» — может быть лишь попыткой скрыть личные неудачи, кровоточащие в душе.

Но тогда я не мог и предположить, какой хвост потянется вслед за этой ночной встречей с Пуигом. Тогда еще я не был знаком ни с Викториано, ни с Тинином, еще не знал о том, как их замели, но, пожалуй, если бы и знал, судьба моя нисколько бы не изменилась. Снова судьба! Кстати, о судьбе, об удаче: в этом смысле хуже всего пришлось двум моим коллегам. В течение одного месяца на обоих напали и чуть не проломили голову из-за каких-то пятисот песет. Ну, разумеется, если тебя в два часа ночи останавливают двое и уже в машине просят отвезти их в Карабанчель или в Вальекас, что ты станешь делать? Ты не можешь отказаться, не можешь позвать полицию. У тебя нет доказательств того, что они собираются совершить преступление. Вдруг эти двое — честные люди и у них нет дурных намерений? Таким образом, тебе остается только вступить в игру и посмотреть, что выпадет — орел или решка. Может, ничего и не случится, однако же этих двух таксистов оглушили сильнейшим ударом по голове и забрали выручку всей смены. Они могли скончаться, ну а если бы и умерли — что такого? У меня тоже бывали похожие ситуации, и хотя до поры до времени обходилось без неприятностей, я пережил немало волнений: на дворе глухой час, а тут за спиной двое, которые в любой момент могут кинуться на тебя, и ты беззащитен. По этой причине, узнав о нападениях, я призадумался. Умереть за пятьсот песет — это, пожалуй, уж слишком. Нет. И тогда я вспомнил о Пуиге. А почему бы не проверить: вдруг все, что он говорил,— правда. Так оно и случается... Еще не бросая такси, однажды утром я отправился повидать его в Карабанчель. И ведь действительно, у входа на строительную площадку виднелся большой картонный плакат с надписью: «Строитель — Хосе Пуиг». Один корпус был почти подведен под крышу; в другом заканчивали первый этаж; под остальные рыли котлованы. «Вам придется обождать»,— сказал мне конторщик. И я стал ждать, прислушиваясь к голосам Пуига и еще кого-то, доносившимся из-за перегородки. «Ты чуть было не вызвал серьезный конфликт в поселке. А этого нельзя допускать. Надо действовать по-другому, Пако».— «Но он задолжал уже за три недели, дон Хосе».— «Не спорю, но следует применять другие, более гибкие

методы». Наступила пауза. И снова голос того, которого называли Пако: «Я просил у вас хоть раз, чтобы мне повысили жалованье?» — «Нет, но почему ты сейчас об этом заговорил?» — «А потому, что надо поставить все на свои места. Командую я или нет, дон Хосе? Если командую, так не мешайте мне, а если нет, то мне плевать на должность. Оставьте ее себе, и дело с концом».— «Но послушай...» Пако заговорил еще громче. С тех пор как он начал командовать в поселке, там все шло как по маслу. Он прекрасно знает, как надо обращаться с мошенниками: без особых церемоний. «Как на военной службе, дон Хосе, как на военной службе». Но если теперь дон Хосе по слабохарактерности думает ограничить его власть, он, Пако, не намерен оставаться на этой должности ни днем больше, и пусть дон Хосе сам разбирается с этим сбродом. «Я уже сказал, дон Хосе, я или командую — или ухожу». И дон Хосе сдался на ультиматум своего служащего: «Ну хорошо, друг, хорошо, но старайся избегать конфликтов, потому что им нечего терять, а нам есть что. Нельзя же выбрасывать мебель в окно и выставлять семью на улицу в присутствии всех обитателей поселка». Конторщик время от времени поглядывал на меня поверх бумаг, словно следил за мной, но я не выдавал своих впечатлений. Я пытался сопоставить услышанное с тем, что говорил мне Пуиг у себя дома о хищении материалов и о нехватке честных людей. «Так командую я или не командую, дон Хосе?» — «Командуешь, мой друг». Дверь распахнулась, и вышел человек, одетый, как одеваются сторожа, хоть и без карабина: широкая кожаная портупея, шляпа с кокардой, высокие зашнурованные ботинки и трость с железным наконечником. Человек с высоты своего величия кинул беглый взгляд на конторщика и на меня, включил транзисторный приемник, болтавшийся у него на шее, и, точно главнокомандующий, прошествовал через комнату под звуки марша из рекламной передачи. Это был комичный и уродливый тип — быть может, некий Гитлер для своих подчиненных. Когда он исчез, конторщик выжидательно посмотрел на меня, но поскольку я не шевелился, он указал жестом, что я могу пройти в кабинет. Пуиг сразу же узнал меня и сделал самое простодушное лицо. «Да, да, как же, таксист. Заходите, заходите». Ну, конечно, он мог бы предложить мне место доверенного человека. Условия — лучше быть не может. Но только — в обмен на честность и верность с моей стороны. Моя работа будет заключаться в том, чтобы получать материалы и вести учет на складе. Для того, чтобы содержать там все в порядке, вовсе не надо быть профессором математики. «Ты видел Пако? — Он уже говорил мне «ты».— Крепкий мужик, вот на кого можно положиться. Быть может, слишком крут, но настолько же и верен. Ему лишь бы командовать, ради этого он и собственного отца не пожалеет. Он у меня главный в Паломерасе. Я купил там усадьбу, разделил ее на участки и потом продал участки в рассрочку. Только таким манером люди, приехавшие из деревень, могут получить кусочек собственной земли и построить себе домишко, тебе понятно?»

Через несколько дней я вступил в свою новую должность, в которой на первый взгляд не было ничего трудного. По соответствующим накладным я принимал материалы, подвозимые на грузовиках, приходовал их на складе и заносил в свой реестр. Таким же путем, только в обратном порядке, мастера получали со склада необходимые материалы, и я списывал их. Поступления, отпуск, наличие... Проще простого. Но несколько дней спустя подъехал грузовик с цементом, и хотя я протянул шоферу Хуану накладную, тот не стал разгружать грузовик, а развернулся и поехал прочь. Я попытался спорить, но Хуан отвел меня в сторонку и сказал, что этот цемент

предназначается для другого склада, существующего у сеньора Пуига в Кольменаре. Об этом сеньор Пуиг не говорил мне ни слова. «Видишь ли, Энрике, это хозяйские махинации. Если ты мне не веришь, спроси у него». И Хуан сказал кое-что еще. Он знал сеньора Пуига с самого начала. Тот явился в Мадрид с двумя грошами в кармане, полученными от продажи домика в деревне, отцовского наследства. На эти деньги, да еще подзаняв немного, сеньор Пуиг купил пустырь в Паломерасе, объявленном городскими властями «зеленой зоной». Разделив пустырь на участки, он продал их в рассрочку, с понедельной выплатой, приезжим из деревень, которым негде было построить себе хижину. Пако — настоящий палач для этих бедняков. Стоит покупателю пропустить один, в крайнем случае два взноса, как у него отнимают землю и на тех же условиях продают ее другому. Если же человек пытается сопротивляться, поскольку у него уже стоит хижина и он в ней живет, Пако с двумя-тремя подручными разрушает ее, и обитатели оказываются на улице. Благодаря этим маневрам сеньор Пуиг и сумел собрать необходимые деньги для таких дел, как строительство двухсот квартир. Теперь из материалов, изымаемых со стройки, он возводит шале для себя и другое такое же, но в Араваке, для своего друга, похоже весьма влиятельного. «В таком случае для чего здесь я? Зачем так превозносить мою честность и столько говорить о добросовестном администраторе?» Пуиг устремил на меня свой самый наивный взгляд. «Неужели ты не понимаешь? Это естественные потери, дружище. И потом, тебе нечего беспокоиться. Эти потери — только мое дело, только мое. Зачем я держу тебя здесь? Очень просто. Ты — гарантия того, что все потери предназначаются исключительно для меня».— «Но тогда концы не сойдутся с концами...» — «Ты ошибаешься. Если от того, что поступает на склад, ты отнимешь то, что берут мастера, останется излишек — это как раз и составляет потери. Понятно?» Уж куда понятнее. Потери представляли собой материалы, извлекаемые со стройки, цемент и железо, которого недоставало в железобетоне,одним словом, вычитания сеньора Пласидо. «Вычесть не сумеешь — не разбогатеешь». Все ясно. И я понял еще кое-что. Я понял, что моя честность служила ширмой мошенничеству. Что Пуиг купил мою честность, чтобы, с одной стороны, прикрыться ею, а с другой — твердо знать, что никто, кроме него самого, не сможет увезти отсюда ни единого кирпича. Хорошая покупка, верно? Конечно, я возмутился, хотя в эту неделю, когда я получал жалованье, мне вручили еще один конверт с изрядными чаевыми. Я его вернул. «Это не для меня. Тут ошибка». Кассир заспорил. «Это распоряжение сеньора Пуига».— «Так скажите ему, что я не хочу». Значит, надо начинать сначала. Куда идти? Очевидно, снова таксистом, больше некуда. Но, к сожалению, я не успел. Однажды вечером, за несколько минут до конца работы, бетонные опоры первого корпуса не выдержали и половина здания завалилась. Я был на складе, когда услышал жуткий грохот. Воздушная волна распахнула двери и подняла уралитовые плиты крыши. Боже мой! Какая пылища! Какие крики! Какой ужас! Все бежали и кричали, как безумные. «На расчистку, на расчистку! Людей засыпало!» Работа была опасной, потому что остальная часть здания тоже дала трещины. Пришлось вызывать пожарных. Я позвонил Пуигу. Мне ответил женский голос. Это была Глория. Дон Хосе еще не возвращался из Араваки. «Господи, какое несчастье!» Да, семеро погибших. Семь обезображенных трупов. Я видел их останки, их ошметки в свете автомобильных фар, среди оцепеневших от ужаса товарищей. У пятерых были семьи. Несколько рабочих плакали над мертвецами, плакали еще и потому, что сами могли лежать среди погибших... При-

ехала полиция. Приехал судья. «Кто вы такой?» — «А начальник, где же начальник?» Пуиг так и не явился.

И началось. Заголосила пресса, и хотя она тут же смягчила тон, а потом вообще прекратила упоминать о катастрофе, но скандал был уже неизбежен. Припомнили другие подобные происшествия с роковым исходом, особенно на улице Мальдонадо, и общественность потребовала призвать виновных к ответу. Воры! Мошенники! Студенты солидаризировались с рабочими и прошли с плакатами по улицам Университетского городка, требуя быстро и примерно наказать преступников. Заключение экспертизы не оставляло места для сомнений: причина катастрофы — нехватка цемента в бетоне и металла в конструкциях. Судья возбудил дело против Пуига, десятника и мастеров и присудил их к тюремному заключению. Рабочие, со своей стороны, являлись на стройку и не работали из-за отсутствия чертежей и распоряжений, но требовали жалованье. Запросы в профсоюзы. Неразбериха. Хаос. Никто не знал, что делать, как поступать. А мне позвонила по телефону Глория: «Пожалуйста, зайдите к нам домой. Надо поговорить. Это очень срочно».

Красивая женщина, изящная, хорошо сложенная, осмотрительная. Лет тридцать пять? Пожалуй. И где только Пуиг сумел подцепить такую жену? Она сама открывает мне дверь и приглашает пройти в гостиную-столовую, где происходил мой первый ночной разговор с Пуигом. Мы садимся друг против друга. Она, в своем хорошеньком домашнем халатике, кажется небрежно одетой, но эта небрежность хорошо продумана и делает ее еще привлекательнее. У нее большие, темные, ласковые глаза. Белоснежные зубы, прелестный рот. Она бледна, у нее круги под глазами: видно, что она много плакала и очень страдает.

— Я позвала вас, Энрике, потому что Пепе рассказывал мне о вас чудеса. Он говорит, что вы необыкновенный человек.

Начало мне не нравится. Мне не нравится, когда меня вот так напрямик начинают расхваливать ни с того ни с сего. Это наводит на мысль, что хотят либо над тобой поиздеваться, либо извлечь из тебя выгоду. Так тебя подготавливают, ставя поудобнее, чтобы нанести удар. Глория устремляет на меня печальный взор. Вздыхает. Улыбается.

— Думаю, вы единственный, кто мог бы мне помочь.

— В чем? — спрашиваю я.

— В спасении Пепе.

— Сеньора Пуига, вы говорите?..

— Да, конечно.

— А как?

На столике лежит портсигар с сигаретами, набитыми легким, светлым табаком. Она угощает меня.

— Нет, спасибо. Я предпочитаю покрепче.

Мы курим. Она — легкую, я — крепкую. Она предлагает мне глотнуть чего-нибудь. Я отказываюсь.

— Нам надо спасти Пепе,— повторяет она.— Вот посмотрите...

Мы глядим друг на друга. Она наклоняется вперед, чуть не касаясь меня. «Осторожней, Энрике». Но нет, это не та женщина или не та минута, чтобы взволновать меня. Я холоден и далек. Она говорит: «Дело в том, что лишь в руках мужа, его одного, сходится все. Без него все пойдет прахом. Конечно, произошло огромное несчастье... Бедные люди, бедные семьи! Видите ли, Пепе думает возместить семьям убытки по самой высокой ставке — ведь это единственное, что теперь можно для них сделать». А что будет со строительством? Пепе думает продолжить его, потом перейти к другим объек-

там, еще более важным, и таким образом обеспечить работой своих рабочих и служащих надолго, может быть навсегда, потому что ее муж — человек больших планов. Но как все это сделать, если он сидит в тюрьме и его счета заморожены? «Вы же знаете, какова жизнь, каковы люди. Теперь его друзья и покровители прячутся от нас. Я звоню им по телефону — их никогда нет дома. Я пишу им — они не отвечают. Я иду к ним домой — меня принимают их супруги, которые только и могут, что утешать меня на словах, говорить, чтобы я не отчаивалась, что в жизни все в конце концов устраивается». Но никто и пальцем не шевельнет, чтобы помочь сеньору Пуигу. И напротив, если сеньор Пуиг будет на свободе, он благодаря своим знакомствам и связям, умея лавировать среди власть имущих, иные из которых у него в руках, он все сразу поставит на свои места, и через короткое время — да что там, через несколько часов — все будет по-прежнему. Каждый на своем посту — и за работу.

— Нам надо спасти Пепе. Иначе мы все пойдем ко дну,— говорит она.

Все пойдем ко дну? И я? Почему? Я не понимаю. Это дела Пуига, ответственность Пуига, вина Пуига... Пусть сам и разбирается.

— Мы все пойдем ко дну,— повторяет Глория.

Да, потому что брызги могут разлететься очень далеко.

— Даже вы, Энрике, даже вы.

— Что-о-о?

Она объясняет. Я отвечал за материалы, верно? Так куда же эти материалы уплывали?

— В Кольменар,— отвечаю я, уже начиная сердиться.

— А у вас есть документы, которые подтверждали бы это?

— Нет, но у меня есть свидетель.

— Какой свидетель?

— Хуан, шофер.

— У Хуана тоже нет документов, и нетрудно будет доказать, что вы двое сговорились и воровали эти материалы. Я знаю, знаю, что это не так. Но если каждый будет спасаться сам по себе, как сумеет...

Глория показывает зубы, готовая укусить, и уже торжествует победу. Она накидывает мне петлю на шею, нежно, с недомолвками и предложениями... «Внимание, Энрике, она тебя запутывает». Я беру себя в руки и говорю, как мне кажется, со всей убедительностью:

— Но сеньор Пуиг знает, что я верный человек...

— Именно потому, Энрике. Я уже говорила, что Пепе рассказывал мне о вас чудеса,— прерывает она меня.— Ну, так вы готовы сделать все что угодно, да? Я говорю вам, если вы еще не знаете, что Пепе щедр, очень щедр, потому-то он и сумел стать тем, кем стал,— и в данном случае вам следует только назвать цену...

— Деньги?

— Если он окажется на свободе, у вас будет столько денег, сколько понадобится.

Я отрицательно качаю головой и смотрю ей в глаза.

— Погодите, погодите. Я знаю также,— добавляет она,— что вы не берете денег за любезность. Ничего. Ведь есть много способов расплатиться, как по-вашему?— Теперь она вопрошает меня глазами, смотрит, не отводя взгляда.

Поединок взглядов. Бесстыдный диалог, который ведут глаза, без недоговоренностей, без иносказаний. Я киваю головой, и Глория продолжает:

— Ведь это я во всем виновата. Я одна, не сомневайтесь.

— Вот этого я не понимаю.

— Естественно. Но вы легко поймете, если примете во внимание, что муж обожает меня и что любое мое желание, пусть даже самое глупое, для него закон. Однажды я сказала ему, просто так, не подумав, что мне хотелось бы иметь бриллиантовый убор, я так люблю бриллианты, и на следующий день я нашла на туалетном столике убор, который стоит целое состояние. Ну а в другой раз я ляпнула, что мне хотелось бы иметь шале в окрестностях Мадрида, и раз — он тут же, не сказав ни слова, покупает участок около Кольменара и вскоре, когда дом уже наполовину готов, везет меня туда, показывает и говорит: «Вот тебе шале». Ведь мой муж сделал то, что сделал, чтобы доставить мне удовольствие, из любви ко мне, и он не отвечает за последствия. Это я виновата. И, конечно, справедливо, чтобы я расплатилась вместо него.

Холодные, жуткие доводы, но в глубине своей они волнуют, как хирургическая операция. Значит... Намек совершенно ясен, невозможно высказаться прямее.

— И вы были бы способны на...

— На все, если это необходимо.

— Вы не любите вашего мужа, да?

— Напротив, я его обожаю. Вам не понятно?

Теперь она говорит пылко, с левантийским акцентом, от которого ее голос становится ниже, горячее. Как она сможет любить своего мужа, если он будет в тюрьме? И чего стоит ее любовь, если ее ценой она не сможет купить его свободу? Ее любовь — не слова. Ее любовь — жизненная необходимость, она сильнее всех прочих обстоятельств. Она превыше всего на свете. Что за женщина. Она пугает меня. И я продолжаю отчужденно слушать. Она, Глория, принадлежит к знатной семье из Тортосы, обедневшей, но знатной. Пуиг же, напротив, происходит из скромного семейства, жившего в Ампурдане. «Пробкодобытчик из Ампурдана» — презрительно называла его ее мать. В семнадцать лет, во время войны, Пуиг шпионил в пользу националистов в красной зоне и потом окончательно примкнул к ним. После войны он вернулся в Тортосу победителем, младшим лейтенантом, которому только что исполнилось двадцать. Глория была тогда пятнадцатилетней девочкой. Они познакомились, полюбили друг друга и тайно обручились. Он уволился из армии и получил должность в отделе поставок; тогда он решил, что настал подходящий миг, и оповестил семью Глории о своих чувствах к девушке. Из этого ничего не вышло. Его выгнали с криками, с оскорблениями. «Глория родилась не для пробкодобытчика вроде вас». Ее заперли в доме, окружили душным кольцом предосторожностей и слежки. «Я с ума сходила по Пепе и отказалась принимать пищу». Так она добилась чуть большей свободы. Он — со своей стороны, а она — со своей нашли способ снестись друг с другом. Зима тянулась бесконечно; за это время умер отец Пепе; влюбленные были вынуждены видеть друг друга только изредка и на расстоянии и вели переписку через сочувствовавшую им подругу Глории. Когда пришла весна, они начали встречаться ночами в саду, принадлежавшем родителям девушки. Тем временем Пепе продал часть своего наследства. «У нас уже есть деньги, Глория». Эти деньги могли стать их спасением; они любили друг друга слепо, страстно, лихорадочно, и однажды ночью, не рассуждая, Глория отдалась своему возлюбленному. Теперь ее родителям пришлось примириться со свадьбой. Немного погодя у Глории произошел выкидыш, и она уже не могла иметь детей. «Неважно, Глория. Я люблю тебя ради тебя самой, больше всего на свете». Они уехали из Тортосы и поселились в Мадриде. Пепе, не желая трогать деньги, полученные за наследство: «От этих

денег зависит наше будущее, и я не притронусь к ним до тех пор, пока у меня на примете не появится стоящее дело. Ты будешь жить по-королевски, вот увидишь»,— работал как негр, поначалу где придется, а потом получил административный пост в строительном отделе военного министерства. Они терпели нужду, всякие беды, даже голод, но оба не сдавались. «Малым я не довольствуюсь, Глория». И однажды, через несколько лет, Пепе сумел очень задешево купить землю в Паломерасе. Оттуда пошло все остальное, но в Тортосу они не возвращались до тех пор, покуда у них не завелся собственный автомобиль и свободные деньги. «Моя семья совсем обеднела. Мы же, наоборот, богатели, богатели с каждым днем. Все мои родственники и прежние подруги просто умирают от зависти».

— Теперь вам понятно?

Понятно. Два существа, навечно связанные друг с другом, из любви и из гордости готовые на все. Я был бы не способен на такое, но я могу это понять. Замечательно? Глупо? Пошло? Не знаю. Каждый человек волен играть свою игру. Есть люди, которые садятся играть, уже заранее опутанные обязательствами. Моя игра — постараться ни во что не впутываться, и, несмотря на это, я чувствую себя в ловушке. А все оттого, что я продан. Я продал себя Пуигу.

— Делайте то, что вам посоветует наш адвокат, и ничего не бойтесь. Мы заплатим вашу цену, ту, что вы сами укажете, как только подпишете. Пепе был прав. Вы необыкновенный человек.

На следующий день на стройку пришел адвокат — поговорить со мной. Кольцо осады сужалось. Если я признаю, что виновен в изъятии материалов, все другие будут освобождены и вина с них снята. Тогда Пуиг пустит в ход свои связи и деньги и со мной ничего не случится. А если же, напротив, я отвергну это предложение, Пуиг и его шайка, возможно, и не окажутся такими чистенькими, но я-то ничего не выиграю. У меня нет оправданий, и закон всей своей тяжестью так или иначе обрушится на мою голову. «Сеньор Пуиг очень хорошо знал, что делал, и оставил себе лазейку для спасения. Вы — нет».

Я согласился, но не из-за Глории, не из-за Пуига, не по любой другой причине, которые мне выставляли. Я согласился из трусости, и меня снова обманули. Меня приговорили к двенадцати годам. Пуиг и его помощники вышли на свободу как ни в чем не бывало. Его адвокат посетил меня. «Не беспокойтесь. Мы подадим апелляцию. Теперь вступит в бой тяжелая артиллерия сеньора Пуига. Выше голову, скоро вы окажетесь на свободе. Верьте в нас». Не верить было уже поздно. Прошел срок для подачи апелляции, и я остался в тюрьме с двенадцатью годами приговора на шее. И ничего больше не слыхал ни об адвокате, ни о Пуиге, ни о Глории. Вплоть до сегодняшнего дня. Двадцать пять тысяч песет. Вот моя цена.

Я возвращаюсь в Мадрид и приезжаю на вокзал Аточа, как почти тридцать лет назад. Вокзал не слишком похорошел. Правда, стало побольше порядка, почище, поменьше дыма и запахов, но он такой же уродливый, устаревший, бестолковый и по-прежнему выглядит заводским цехом. Что действительно изменилось, так это публика. Здесь уже не толчется тот крикливый, ошеломленный люд, в юбках и платках, в кепках и суконных штанах, с узлами одежды и тюками, обшитыми мешковиной,— спекулянты, беженцы из деревень... Теперь уже не волны сельских жителей штурмуют город. Теперь это пассажиры, которые приезжают и уезжают, одетые хуже или лучше, вернее сказать, одетые на любой манер. Пассажиры. Я не слишком всматриваюсь в окружающее, потому что мое внимание поглощают мавры и негры, занимающие почти все скамьи на перронах и в залах

ожидания. Они сидят молча, бесстрастно, устремив перед собой невидящий взгляд. Это молодые люди, одетые по-европейски, но они из Африки и, без сомнения, не понимают нашего языка. Чего они ждут? Куда едут? Я спрашиваю об этом у железнодорожника, тот пожимает плечами и отвечает неопределенно: «Почти все они из Марокко и из всяких там других мест, едут во Францию работать. Теперь они ждут сопровождающих, потому что ездят стадом...» Трудовые эмигранты, думаю я. Дешевые рабочие руки, дешевле, чем эмигранты из Европы. Оборудование, не знающее износа. Люди, проданные и купленные в качестве тягловой силы. Короче говоря, современная работорговля. Какой контраст представляет вид этих людей с картиной площади Аточа! И как отличается нынешняя площадь Аточа от той, которая возникла передо мной в первый раз! Сколько тут автомобилей, сколько шума и сколько огней. Машины продвигаются сомкнутым строем. Это шустрые жуки с горящими глазами. Вот они внезапно останавливаются. Светофор подмигивает зеленым глазом — и вот они возобновляют свой бег. Многочешуйчатый панцирь автомобильных крыш, грохочущая волна красных и белых вспышек, она заливает мостовую, то сжимаясь, то растягиваясь. Другая волна автомобилей, шумных и сверкающих, течет по виадукам, подрагивающим от их галопа. В воздухе стоит гул, оглушительный, ровный гул, который прорезают пронзительные свистки регулировщиков. Пешеходы тянутся друг за другом, как муравьи; их потоки обрываются, сливаются, становятся то шире, то уже, и так непрерывно. Все существует в движении, в движении туда и сюда, как колебания, как нория, как вихрь, как головокружение. Движение. Огни. Движение, шум, огни, движение, шум, огни, движение, шум, огни. Бледные лица, беззвучные голоса, бегущие существа. А в пустоте щелкают невидимые хлысты, они подстегивают, они грозят. Воздух здесь — бензиновые пары; небо — свод из конденсированного дыма; перспектива — обманчивый хаос черных деревьев, черных стен, светящихся водопадов, отблесков и теней; и все вместе — пьянящая ярмарочная карусель.

Здесь я никто, никто, никто. У меня нет ни имени, ни прошлого. Еще один ноль среди миллионов ему подобных. Энрике Лорка. Ха! Я решаю взять такси и ехать в гостиницу. Но не нахожу ни одной свободной машины. Конечно, с каждым днем все меньше такси и все больше людей, которым они нужны. Положение не меняется. Для этого и существуют монополии. Теперь лицензия, наверное, стоит миллион, не меньше. Дела процветают. Но мне-то что? Пусть делают что хотят. И одни, и другие: те, что платят, и те, что получают деньги. Я уже выше этого. Мне остается совсем мало времени, и последние дни я хочу прожить удобно, а чтобы жить удобно, нет ничего лучше первоклассного отеля. Я иду туда и прошу комнату с ванной, с ванной для меня одного.

VIII

Мне необходимо было поднакопить ненависти, потому что ее запасы у меня улетучивались, их уже не хватало на то, что я хотел сделать. А я хотел убить — и убить лицом к лицу, чувствуя, как смерть, словно электрический ток, скользнет вниз по руке и сосредоточится в кончиках пальцев. Смерть среди крови и спазм. Смерть, которую видишь,— видишь, как она приближается и входит в тело, свистящая, быстрая, неотвратимая. Та, о которой я мечтал на протяжении двух тысяч ста девяноста ночей. А чтобы убить вот так, надо собрать много ненависти, огромную запруду ненависти, способную прорвать плотину и смыть все препятствия.

Я начал с визита к шоферу Хуану. Дождавшись вечера, я застиг его врасплох, дома, после работы, когда он собирался ужинать. У Хуана была жена приятной наружности и, похоже, чистоплотная и энергичная. Она открыла дверь.

— Мне нужен Хуан,— говорю я.

— А вы кто такой? — спрашивает она.

— Скажите мужу, что его хочет видеть Энрике Лорка.

— Мы как раз садились ужинать...

— Не беспокойтесь, сеньора. Это дело пяти минут.

Она не успела возразить, потому что из комнаты торопливо вышел ее муж. «Идите ужинайте. Я поем потом. Господи, Лорка! Как я рад тебя видеть!» Он был бледен и заметно нервничал. «У него совесть нечиста,— подумал я,— и он не может этого скрыть». Он познакомил меня со своей женой, Хулией, которая бросила на меня подозрительный взгляд. «Ну ступай, Хулия, оставь нас. Это ведь ненадолго, правда, Лорка?» — «Я уже сказал: пять минут, не больше». Хулия исчезла, кольнув меня на прощанье недовольным взглядом. Мы все еще стояли в дверях. «Проходи же». За крохотной прихожей шел узкий коридор, из глубины которого — очевидно, из кухни — доносились обрывки фраз: «Кто пришел, мама, кто пришел?» — «Давай ешь и молчи». Хуан провел меня в маленькую комнатку, где стояла раскладушка, столик, а под ним — жаровня, стулья, телевизор и этажерка с учебниками, все очень чистенькое и в большом порядке.

— Садись, Лорка.

Мы садимся за столик друг против друга. Я не знаю, с чего начать, а Хуан ждет, чтобы я заговорил. Я предлагаю ему закурить, и он сразу же находит на этажерке пепельницу и ставит ее между нами.

— Ох и злится же Хулия, если где-нибудь заметит пепел,— улыбается он.

Мы курим. Хуан не выдерживает моего взгляда и говорит:

— Я рад, что ты на свободе, ей-богу, рад.— Он поднимает голову и добавляет: — Сколько лет, Лорка?

— Шесть, Хуан.

— Какое свинство!

— Да, какое свинство!

Он пристально смотрит на меня и наконец решается перейти к делу:

— Я знаю, что поступил с тобой нехорошо, что все мы поступили с тобой нехорошо. Мы же знали, что ты не виноват, а я лучше всех. Но хочешь — верь, хочешь — нет, а я тоже был в опасности...

— Знаю, Хуан. Поэтому я и не захотел брать тебя в свидетели. Тебя бы тоже упрятали, а мне бы от этого не полегчало, верно?

То же самое сказал ему адвокат Пуига, положив перед ним жалованье за год — только бы он добровольно ушел со стройки. «Ты знаешь лишь то, что делал: привозил материалы на стройку, и можешь доказать это накладными, которые давал тебе Лорка. Об остальном — ни слова. А о Лорке можешь не беспокоиться. Сеньор Пуиг и я — мы позаботимся о том, чтобы он выпутался из этого дела с выгодой для себя. И наоборот: если ты не удержишь язык за зубами, все обернется куда хуже и расплачиваться будете вы с Лоркой. Тогда на нас не рассчитывайте. Напротив. Ты же понимаешь, что легче вытаскивать одного, чем двоих».

— И потом, мне не дали времени подумать. А я был очень напуган. Что ни говори, а я поступил, как трус, я знаю. Но когда у человека семья и надо ее кормить, он себе уже не принадлежит.

Хуан стыдится своей трусости и внутренне сдается на мою милость, готовый принять мои упреки и даже брань. Он опять боится, на этот раз меня.

— Пятеро детей, Лорка, и все мал мала меньше.— И смотрит на меня жалкими глазами.

— Я пришел не затем, чтобы сводить с тобой счеты или тебя попрекать. Все это дело прошлое. Так или этак, но мне не вернуть шести лет, которые я потерял в тюрьме.

Хуан согласно кивает головой.

— Ты прав,— говорит он.— А что ты думаешь делать теперь? Если я могу чем-то помочь... Я сделаю для тебя все, что от меня зависит, конечно сделаю. Я твой должник...

Но я пришел к нему домой не для того, чтобы просить о помощи, и не для того, чтобы требовать возмещения за его моральный долг передо мной. Нет.

— Ты можешь оказать мне услугу, Хуан.

— Все, что хочешь, Лорка. В чем дело?

— Скажи мне, если знаешь, что с Пуигом, где он живет... Для этого я и пришел.

— Сеньор Пуиг? Он стал большим капиталистом, Лорка. Миллионщик, большой миллионщик. Если пройдешься по новым кварталам Мадрида, увидишь, сколько он там строит — целые микрорайоны. «Доходные дома Пуига» — это его фирма. Говорю тебе, он большая шишка. Я это прекрасно знаю, потому что транспортная контора, где я работаю и где можешь работать и ты, если захочешь, часто берет у него заказы. Я сам несколько раз возил ему грузы и иногда видел его, но он меня не узнавал или не хотел узнавать. Его любой знает. Если ты хочешь видеть его и поговорить, я думаю, лучше всего тебе пойти в контору фирмы «Доходные дома Пуига» на улице Конча Эспина. Знаешь, где это?

— Я хочу видеть Пуига не в конторе, а у него дома. Поэтому мне надо знать, где он живет; должно быть, он уже переехал с улицы Монтеса, а?

— Наверное, в шале, которое он построил себе в Кольменаре, Лорка.

Я тоже так думаю, но не знаю точно, где оно находится. Тогда Хуан описывает мне шале и указывает, на каком километре шоссе оно стоит. Оно называется «Вилла Глория».

— Найти его совсем нетрудно.

— Спасибо, Хуан.

Но Хуан не сводит с меня вопрошающих глаз, и я вижу в них новое беспокойство. «Лорка, ты не станешь делать глупостей, правда? Сеньор Пуиг, наверное, знает, что ты уже на свободе». Я киваю. «Так будь очень осторожен. Это скверный тип. Да что говорить, кому, как не тебе, знать всю его подлость. А теперь, при его деньгах и влиянии...» Я успокаиваю его, вернее, стараюсь успокоить:

— Нет, я не собираюсь делать глупостей. Я просто хочу получить свой долг. Пуиг много мне должен, и поскольку я знаю его фокусы, я не хочу, чтобы вокруг были люди, когда я явлюсь к нему со счетом. Мне необходимо захватить его наедине, врасплох. Посмотрим, сумеет ли он тогда отвертеться.

— В конце концов, ты знаешь, что делаешь.

— Единственное, о чем я тебя теперь прошу, Хуан: не говори никому, что мы виделись и беседовали. Об этой встрече — ни слова. Ради твоего же блага. По рукам?

— Не беспокойся. Но будь очень осторожен, Лорка. Не слишком на себя надейся. Сеньор Пуиг — большая сволочь.

Еще какая сволочь. И умный, и нахальный. Очень опасный тип. А Глория, эта притворщица. Хорошенькая парочка. Я последовал совету Хуана и выяснил, что Пуиг действительно стал крупной фигурой в строительстве. «Микрорайон Глория», «Поселок Глория», «Участок Глория», «Городок Глория», «Доходные дома Пуига». За шесть лет он завоевал империю и достиг высот, о которых мечтал, где легче дышится и больше обзор, а самого тебя почти не видно. У него наверняка есть управляющие, помощники, консультанты, секретарши. Поди доберись до него! Я принялся расспрашивать. Пуиг стал в Мадриде большой силой. То были дни, когда я переходил от одного удивительного открытия к другому, от одной поразительной новости к другой. И чем важнее и могущественнее представлялся мне Пуиг, тем больше я радовался, потому что тем громче будет его падение. Сбросить человека с первой ступени или с последней — далеко не одно и то же. Разумеется, нет. Обнаружил я также и «Виллу Глория». Роскошью она не отличалась. Конечно, ведь он задумал и построил ее еще до того, как достиг зенита своей карьеры. Если бы он выстроил ее позже, без сомнения, это было бы броское и великолепное жилище. Теперь же я увидел двухэтажное шале с бассейном, рядом гараж с металлическими дверьми. Обычное шале безо всяких причуд, какие сериями возводят строительные компании в курортных местах. Одно из многих. Наверняка Пуиг уже задумал новый особняк, более отвечающий его блестящим возможностям. Да уж точно. Но порадоваться Пуигу не удастся, и я упиваюсь этим чувством. В течение нескольких дней я на рассвете шнырял в окрестностях «Виллы Глория», чтобы разузнать, когда и как он выезжает по утрам. Что правда, то правда: несмотря на свои миллионы и высокое положение, этот Пуиг оставался человеком активным и ранней пташкой. Примерно часов в семь утра, еще затемно, в доме зажигалось несколько огней, и ровно в восемь он сам отворял двери гаража, выводил машину и вновь запирал их, повторяя ту же операцию у ворот сада; здесь он поворачивался, чтобы попрощаться с женщиной — с Глорией, чье лицо виднелось среди занавесей одного из окон. Потом он уезжал по направлению к городу в сверкании и блеске своего «мерседеса». И так всегда.

Однако то чувство, которое вызывала в моей душе мысль о существовании Пуига, его многоликое и оскорбительное присутствие, строго говоря, не было ненавистью. Нет, это была не ненависть. И тогда я понял, сколько правды заключалось в словах парикмахера Викториано, когда он говорил, что человек бывает плохим или хорошим не по своей воле, а по стечению непреодолимых обстоятельств, вследствие неизбежной обязанности или просто удобства ради. Хорошему хотелось бы иногда перестать быть хорошим, а плохой иной раз и желал бы прекратить борьбу и отдохнуть, но им запрещает это самый смысл их существования. Мы действуем по инерции, отдаемся на волю течения. Поэтому так трудно зарядиться разрушительной ненавистью, если человек не упражнялся в ней на протяжении долгого времени. Ненависть — это действенная сила, рожденная из всепоглощающего чувства, а я не испытывал ее никогда. И вот, чтобы преодолеть эту инерцию, чтобы совершить преступление или героический поступок, человек, если по склонностям своим он не преступник и не герой, прибегает к стимуляторам, которые туманят его сознание и переносят в область ирреального, например к алкоголю. Вместо ненависти Пуиг начал вызывать во мне скорее восхищение. Да, восхищение. Восхищение, в котором не признаешься, которого сам стыдишься,— восхищение патологическое. Пуиг представал передо мною как исключительная, нерядовая человеческая особь.

Он был не такой, как все, о, нет. Либо намного больше, либо намного меньше. Прежде всего Пуиг заключал в себе источник сокрушительной энергии, подобно нефтяным фонтанам, которые вдруг принимаются неудержимо бить из-под земли посреди пустыни, но только энергии, направленной во зло; в этом-то и было все дело. По этой причине, несмотря на мое восхищение его энергией и на мою неспособность ненавидеть его с нужным упорством, намерение уничтожить его не менялось. Хотя моей ненависти и не хватало для того, чтобы вызвать взрыв, зато я копил убедительные факты и доводы, которые должны были бы привести меня к окончательному решению. Я собирался отомстить Пуигу не только за мои личные обиды, нет, но взыскать с него по грозному счету от имени его бесчисленных жертв, в том числе обманутых и ограбленных жителей Паломераса. Таким образом, собрав воедино доказательства его вины, я бесповоротно укрепился в своем решении, причем я не знал и не подозревал, что это вовсе не мой путь, а путь хорошего человека Пепе Мигаса.

Я готовлю свою альбасетскую наваху с семью пружинами, которую купил в тюрьме у одного цыгана, и прячу ее за спиной. Жду, чтобы Пуиг открыл двери гаража, и через пятнадцать секунд проскальзываю внутрь, в тот самый миг, когда его пальцы берутся за ручку на дверце автомобиля.

— Привет, Пуиг! — говорю я.

Пуиг смотрит на меня, обмерев от ужаса. Я подхожу к нему еще ближе. Мы стоим на расстоянии вытянутой руки друг от друга. Мне весело, и его непонимающий, испуганный взгляд доставляет мне огромное удовольствие. Какой он маленький, трусливый, трясущийся, подлый! Он пожелтел, челюсти его дрожат. Он едва выдавливает из себя:

— Чего тебе надо, Лорка?

Он прижимается к автомобилю, ища укрытия, а я приближаюсь еще на несколько сантиметров.

— Получить то, что ты мне должен, Пуиг.

Пуиг тяжело дышит. Покрывается потом. Он готов зарыдать.

— Сколько ты хочешь? Говори,— умоляет он.

— Много. Куда больше того, что я получил. Ведь это шесть лет.

— Я могу дать тебе... миллион. Понимаешь, целый миллион.

Я улыбаюсь и молчу.

— Два миллиона... Три. Знаешь, что ты можешь сделать с тремя миллионами?

— Больше.

— Пять. Сейчас у меня больше нет наличных денег.

— Я сказал, что мне надо больше.

— Больше?

— Да, ты же знаешь, что деньги меня не интересуют.

В лице у него ни кровинки.

— Значит...— стонет он.

— Шесть лет, и с процентами.

— Боже! — Он пытается отступить, но «мерседес» отрезает ему путь.

Я чувствую, как смерть струится по моей руке. Это озноб, искрящийся на острие навахи.

— Нет! Только не это!.. Лорка!.. Лорка!.. Лорка!..

Три молнии моей альбасетской красавицы, три взрыва, три раны, три крика, и Пуиг падает, окровавленный, с раскрытым ртом, глядя на меня глазами, в которых стынет смерть.

Я не теряю времени даром. Открываю дверь в глубине гаража и бегу вверх по лестнице. Прихожая. Я вижу горничную, которая направляется ко мне, чтобы преградить дорогу, и отталкиваю ее в сторону.

— Сеньорита! Сеньорита! — пронзительно кричит горничная, вдребезги разбивая царящую в доме тишину.

Еще ступени, без сомнения ведущие в спальню. Благородная, крытая ковром лестница, с перилами из золотистой латуни. Я не колеблюсь ни секунды и большими прыжками взлетаю наверх.

— Сеньорита! Сеньорита!

Прежде чем я добегаю до площадки, появляется Глория — искаженное лицо, распущенные волосы, халат еще роскошнее, чем на улице Монтеса. При виде меня она застывает на месте, бледная, как снег.

— Энрике! — бормочет она.— Что тебе надо?

Она уже не указывает мне, что делать. Исчезла ее гордость, ее самоуверенность. Теперь это беззащитное, напуганное существо, она в моих руках. Прикажи я — и она упадет передо мной на колени. Настал мой миг. И я унижаю ее, унижаю, унижаю взглядом, улыбкой, словами:

— Я пришел рассчитаться.

Дом полон пустой тишины, какая воцаряется вслед за треском выстрела. Я медленно приближаюсь к ней, пряча наваху за спиной. Глория отступает и прислоняется к стене, под пейзажем с деревьями. Тогда наши взгляды возобновляют тот глубинный диалог, свой быстрый, испепеляющий поединок. Молча, глядя мне в глаза, она раздвигает полы халата. До нее можно достать рукой, рукой, по которой струится смерть, но я медлю секунду, две, три и смотрю на ее нагое, нагое, нагое тело, дрожащее, дрожащее, дрожащее, белое, белоснежное, ослепительное. Потом закрываю глаза. Вспышки. Одна, две, три. И все кончено.

Таков мой план, и я мысленно репетировал его до тех пор, пока не выучил хорошенько свою роль и не сумел увязать одну с другой все детали. Тогда я почувствовал, что сбросил с себя усталость, как человек, проспавший без помехи несколько часов кряду.

Достигнув этой мертвой точки, я захотел воспользоваться немногими остававшимися у меня днями на свободе, чтобы побывать в двух местах, которые всегда привлекали меня и которые я никогда не видел даже издали. Их названия — университет и музей Прадо — казались магическими и означали две недосягаемые вершины, такие же недосягаемые, как небо или начало рода человеческого. В мои тюремные ночи, полные вопросов и размышлений, я думал, что если бы окончил университет, жизнь моя пошла бы по другому руслу. Это с одной стороны. А с другой, я сам был бы другим человеком. Меня звали бы так же — Энрике Лорка, но между Энрике Лоркой — выпускником университета и Энрике Лоркой — шофером не было бы почти ничего общего, кроме свидетельства о рождении. Вот что значил для меня университет. Достойные, щедрые учителя несли знания, научные достижения, великие истины своим ученикам, а те, молодые и свободные, впитывали в себя эти драгоценные семена, словно влажное, рыхлое, хорошо удобренное поле. Единственным прямым воплощением всего, связанного с университетом, были для меня Маноло, сын сеньора Пласидо, и дон Сиксто, любовник Марибель, но и тот и другой духовно не принадлежали к подлинной университетской среде, они были пролазами, без настоящего призвания, просто шпиками на чужом корабле. И наоборот, на улице Принцессы, развозя пакеты, я видел множество студентов, прекрасно отвечавших типу

воспитанника университета, как я его себе представлял: они стояли группами, горячо обсуждая что-то, или сидели за столиками кафе, наедине со своими книгами и бумагами. Как я тогда — и всегда — восхищался ими! Они обладали единственной неоспоримой привилегией, единственной, ради которой я был бы готов пожертвовать всем на свете и вступить в сражение столь же немыслимое, как битва Дон Кихота с ветряными мельницами. О, я знаю, что эта привилегия почти исключительно сохраняется за детьми из определенных семейств. Поэтому-то я и был отлучен от университета. Но эти ребята тут ни при чем. Они не виноваты, что дела обстоят именно так. Виноваты их отцы, общество, все мы. Они были и есть прежде всего студенты, которым я по-хорошему завидовал, как можно завидовать солнцу. Не знаю, что бы я отдал — годы моей жизни, больше отдавать было нечего,— чтобы только оказаться одним из них, пусть самым последним из последних. Есть люди, мечтающие стать королями, капиталистами, епископами или генерал-губернаторами. А я, хоть и стыдно сказать, желал бы стать ученым, как Пастер, Рамон-и-Кахаль, Флемминг и столько других. И вот это уважение, вот это чувство расстояния и этот стыд мешали мне много раз вступить под сень университета. Если же говорить о музее Прадо, то я столько читал о его художественных богатствах — дескать, это храм искусства, там собраны гении живописи со всего света, в его картинах непревзойденно отражена красота мира и история человечества и так далее, и все в превосходной степени,— что я ни разу не осмелился туда пойти. Что стану там делать я, невежда, среди всех этих шедевров человеческого гения? Я ничего не пойму. Я буду там точно слепой, и глухой, и немой. Точно неодушевленный камень. Страх неизбежного провала всякий раз останавливал меня у его дверей. И даже больше. Я опасался, что, если осмелюсь войти в музей, кто-нибудь встанет у меня поперек дороги и спросит, зачем я иду, по какому праву, имею ли я понятие о живописи, и поскольку мне нечего будет ответить, меня, кругом опозоренного и осмеянного, выставят на улицу.

Тем не менее я начал с музея Прадо. Однажды утром я попробовал переступить его порог, и никто меня не остановил, никто ни о чем не спросил. Это меня успокоило. В залах уже был народ. Посетители, группами и поодиночке, останавливались перед картинами, точно кающиеся на этапах крестного пути. В группах всегда был человек, который говорил и объяснял особенности произведения и манеры его автора. Таким образом, слушая на благоразумном расстоянии эти объяснения, я сумел сориентироваться и потерял страх, потому что, судя по всему, многие из посетителей смыслили в живописи не больше меня. Немного погодя я бросил группы, пустился открывать картины и художников сам по себе и пришел к выводу, что не так уж трудно, как мне думалось, воспринимать красоту живописи. Можно не улавливать детали, не уметь описать их достоинств одно за другим, можно даже не уметь выразить, что видишь и чувствуешь, но все же получать от них удовольствие, какое, например, испытываешь, когда мимо проходит красивая незнакомая женщина или когда ты наблюдаешь заход солнца, рассвет на берегу моря, рощу апельсиновых деревьев в цвету, грозу, снежное поле и многое другое в природе и в жизни. Это чувство грустное и одновременно приятное, ощущение надежды и опасности, оно почти душит тебя, заставляет забыть обо всем и переносит в иной мир, оно подминает и переполняет тебя, встряхивает и расслабляет, сотрясает и изнуряет и оставляет тебя без слов. Помню, что, посмотрев столько всяких изображений бога, пап, королей, святых, воинов, женщин обнаженных и оде-

тых, детей, сражений, пейзажей и животных, я сел на скамью передохнуть и прийти в себя. Помню, что закрыл глаза, и постепенно, словно нарастающий ветер, голову мою стали наполнять образы, голоса, шум и движение. Все это пестрое скопление оживало, словно пробуждаясь. Персонажи говорили, улыбались, меняли позы и продолжали сцену, прерванную художником. Равным образом кони и другие животные скакали, фыркали, бежали, ржали, лаяли и отряхивались; а ветер сотрясал деревья и поднимал волны на море. Три формы времени сливались в одну. Взрывы хохота, голоса, смех, крики, гул и слова, прекрасно различимые по отдельности, тем не менее звучали вместе, сталкивались, перебивались, перемешивались. Помню, как — не знаю уж, через сколько времени,— весь этот шум перекрыли хлопки в ладоши и один отчетливый голос. Помню, я открыл глаза и встретился со взглядом служителя, смотревшего на меня с порога одной из дверей. «Мы закрываем, сеньоры». Я остался один. Самый последний посетитель уже выходил из зала. Помню, что, только вновь очутившись на аллее, я осознал, где нахожусь. Тогда я понял, что вырвался из власти колдовских чар, бежал из неведомого, вневременного мира, в котором я был зрителем, оторванным от собственной убогой жизни, от своих печальных забот, не оставлявших меня даже во сне. Я понял также, что нельзя узнать музей Прадо за несколько часов, для этого нужно несколько дней, а может быть и несколько месяцев. И поэтому полное наслаждение этим зрелищем мне заказано. У меня уже не оставалось времени. Я признал, что моя жизнь была ошибкой, а сам я — жертвой злой шутки. И у меня возникли новые сомнения, которые я не мог разрешить. Быть может, тот мир—тоже ложь? Все эти короли, папы, воины, святые и прекрасные женщины — какими были на самом деле? Были ли они свободны или скованы по рукам и ногам? Чувствовали ли они себя тоже обманутыми и потерянными? Свидетельствуют ли все эти картины о том, что было, о том, что могло быть, или о том, что художнику хотелось бы видеть в действительности? Как знать? Во всяком случае, хорошо, что они изображены там, на этих полóтнах. Да, хорошо видеть их и представлять их в жизни, думать, что они существовали когда-то, такие вот прекрасные и горделивые, стоящие над жизнью и смертью.

Два дня я ходил в университет. В первый день я только прошелся по его аллеям и разглядывал здания, смотрел, как снуют туда и сюда студенты, пешком, на машинах, на мотоциклах. Мне очень понравилось все, что я видел, особенно молодежь. Если бы я был одним из них! Если бы я тоже был молод! Меня очень удивила их одежда. Куртки, пуловеры, рубашки без галстуков, длинные волосы и бороды у юношей; штаны, пончо, вязаные кофточки, туфли на низком каблуке и небрежно рассыпанные по плечам волосы у девушек. Как отличались они от студентов десятилетней давности, таких вылощенных, глядевших барчуками! Может быть, нынешние происходят из низших слоев общества? На второй день я осмелился присесть на скамью, где сидели два юноши и две девушки. Украдкой прислушался. Они говорили о том, как провести вечер. Один из юношей предлагал отвезти всех на своей машине. Нет, эти, по крайней мере, были не из рабочих семей. Куда там. Я продолжал слушать. Одна из девушек рассказывала о зачете. «В жизни не догадаетесь, о чем ему приспичило нас спрашивать. Ни больше ни меньше, как имена тех, кто сватался к Изабелле Католической! Как будто это нам так важно! Как будто нам позарез нужно знать, часто Изабелла меняла сорочку или нет. Придворные сплетни и вопросы гигиены. Разве так можно выучить историю?» Остальные расхохотались. Тогда я решил заговорить с ними:

— Вы — студенты, ведь вы студенты, правда?

Это был нелепый вопрос, и они насмешливо уставились на меня. Я покраснел и почувствовал себя идиотом.

— А вам как кажется? — нахально спрашивает меня одна из девушек.

— Простите меня,— извиняюсь я.

— Не за что, не за что, приятель,— говорит парень с машиной.

— Вы не журналист, а? — спрашивает другой.— А то сегодня нам не до заварушек.

— Да ты что, ослеп, не видишь, кто это,— говорит парень с машиной и спрашивает меня: — Вы рабочий, верно?

— Ну да,— отвечаю я.

— Доходяга же, однако,— говорит другой.

— Рабочий? — И нахалка обращается к приятельнице: — Глядика, Роса-Мари, настоящий рабочий. А вдруг связной?

— Или шпик,— говорит Роса-Мари.

— Нет, я не связной и не шпик,— говорю я.—Я восхищаюсь студентами и...

— Ясно,— говорит нахалка.

— Вы не работаете? — осведомляется парень с машиной.

— Сегодня у меня выходной.

— И вы заглянули посмотреть, что здесь делается. Так вот. Сегодня ничего не происходит. Вам не повезло.— И другой юноша улыбается.— Может, через несколько дней. Да что там, в любой день. Никогда не знаешь заранее.

Они дали мне сигарету и стали расспрашивать о моей жизни. Я рассказал им несколько случаев из моей бытности шофером, и они слушали, обмениваясь возбужденными восклицаниями и многозначительными взглядами. Наконец мне удалось навести разговор на университетские темы, и мало-помалу они принялись рассказывать вещи, в которые трудно было поверить. Одни профессора вообще не приходят на занятия, другие похваляются тем, что заваливают девяносто пять процентов своих студентов, а третьи объясняют меньше половины материала; многие профессора почти не получают жалованья («Если хочешь когда-нибудь стать профессором, приятель, надо пресмыкаться и пресмыкаться»); практику невозможно проводить из-за отсутствия материала и преподавателей; между профессорами и студентами лежит пропасть непонимания; на занятиях царит скука и рутина; оборудование не отвечает своему назначению; отсутствует интерес к исследованиям; и повсюду — страх говорить самому и позволять говорить другим; полная распущенность у одних и отсутствие твердых нравственных устоев у всех прочих; власть вместо авторитета и покорность вместо уважения; беспорядок, издевательства, гнев.

— Одним словом, дерьмо,— подытоживает парень с машиной.— В теперешнем университете делать нечего. Это допотопное заведение, понимаешь? Времен динозавров.

— А благородство наставников, энтузиазм учеников, мудрость, великие идеи, труд во имя будущего и тому подобное — где же все это тогда?

— Не у нас,— говорит парень с машиной.

— Вы только послушайте, что он говорит,— вставляет нахалка.— Он говорит о мудрости. С чем это едят? Сразу видно, что вы не отсюда, дружище. В университет приходят не для того, чтобы чему-нибудь научиться, а чтобы спихнуть экзамены — и приветик. Фу, какая гадость!

— Или затем, чтобы скучать, потому что жизнь студента — сплошная скука,— добавляет другой парень.— Нет и нет, приятель. Пока все не изменится сверху донизу, университет будет годен только для подхалимов и подпевал. Смиришься — и прекрасно; но если в тебе есть хоть капля достоинства, ты пропал. Или глотай все как миленький, или катись к чертовой бабушке. А многие из нас не желают глотать без разбора все, что им преподносят, и тогда... В этом-то все и дело.

— Я же говорю тебе: дерьмо, и больше ничего.

Я видел, что ими владеют уныние и злость. Я видел, что они разочарованы и бессильны. Но если в их возрасте, в их положении они думают и чувствуют подобным образом, если их призванию не суждено осуществиться, что ждет их в будущем? Что станет с ними, когда они выйдут из университета со своим дипломом? Их удел — посредственность, битва за деньги, ложь, ярмо, капитулянтство. Если университет таков, как они говорят,— полная противоположность тому, что я себе представлял, во что я верил,— он не стоит никаких жертв, не заслуживает того восхищения и уважения, какое всегда вызывал в моей душе. А значит, нечего и жалеть, что я был отторгнут от этого мира. Но это открытие повергло меня в тоску и смятение, оно выбило последнюю почву у меня из-под ног. Где же свобода духа и человеческое достоинство? Выходит, необходимо, неизбежно участвовать в фарсе, продаваться тому, кто предложит цену повыше? Несмотря ни на что, студенты умчались, словно веселые воробушки, а я остался опечаленный, глубоко опечаленный и растерянный. Может, это я не прав? Такие мысли заставили меня ускорить сведение счетов. Я, по крайней мере, не капитулирую. Хосе Пуиг как раз и символизировал собою силу, которая развращает и закабаляет людей, которая враждебна человеческой свободе и достоинству и превращает общество в рынок, где продаются люди, где продается совесть. И я осуществил свой план.

Я готовлю свою альбасетскую наваху с семью пружинами и прячу ее за спиной. Жду, чтобы Пуиг открыл дверй гаража, и через пятнадцать секунд проскальзываю внутрь, в тот самый миг, когда его пальцы берутся за ручку на дверце автомобиля.

— Привет, Пуиг! — говорю я.

Пуиг оборачивается, на лице его — самое простодушное удивление. Голубые глаза распахиваются во все лицо.

— Бог ты мой, Лорка! Я ждал тебя в один из этих дней, но не здесь. Почему ты не зашел ко мне в контору? Там разговаривать было бы куда удобнее, дружище.

Он пытается скрыть за словами свой страх, безграничный страх. Он прекрасно знает, что я пришел не для разговоров. Какой это хитрый, какой ловкий и какой опасный человек! А я даю ему болтать...

— Ну, говори же, что тебе надо. Мне некогда.

Он очень боится. Невольно бледнеет. Но я тоже боюсь, очень боюсь и скован внутри. Я знаю, что должен его убить, для того я сюда и пришел. И, однако, ни слепая ярость, ни злость не спешат мне на помощь. По моей руке не пробегают судороги смерти. Что это со мной? Но я должен что-то сделать, иначе... Он продолжает держаться за ручку дверцы, и удивленное выражение на его лице сменяется другим — проницательным, внимательным, пытливым.

— Я пришел получить то, что ты мне должен, Пуиг.

Пуиг складывает губы в ледяную улыбку.

— Прекрасно. Я согласен целиком и полностью. Полагаю, ты уже получил двадцать пять тысяч песет, которые я внес на твой счет

в тюрьме. Конечно, это только задаток. Теперь назови всю сумму и не сомневайся: мы придем к соглашению.

Страх сильнее его, он пытается заговорить меня, сбить с намеченного пути, купить еще раз. Нет.

— Это шесть лет с процентами,— говорю я.

— Не беспокойся. Называй.

Я выпрямляюсь перед ним во весь рост и дрожу. Чувствую, как кончик навахи упирается мне в почки.

— Разговор идет не о деньгах, Пуиг.

Я возвысил голос и сам его испугался. Тогда Пуиг вонзает в меня колючий взгляд, который я едва могу выдержать.

— Ты хочешь сказать, что пришел меня убить, да?

Секунда молчания, тишины, и неожиданно он поворачивается ко мне спиной.

— Хладнокровное убийство, а?— вопрошает он.

Он отходит на несколько шагов и вдруг снова поворачивается ко мне. Я стою неподвижно, в нерешительности, в растерянности, оцепенев от страха.

— А чего ты добьешься, убив меня? Вернешь эти шесть лет? Нет. Ничего подобного. Тебя тоже ждет смерть или пожизненная тюрьма. Для обоих ничего хорошего. Тебе ясно? Нет, Лорка, нет, подумай хорошенько.

Я знаю, что силы ему придает именно отчаяние, ощущение, что его загнали в тупик. И как ни печально, в эту минуту я восхищаюсь им. Как ни печально. Это бойцовый петух, он сражается не на жизнь, а на смерть. Я знаю это, как знаю и то, что мне следовало бы заколоть его без промедления, но... Но я не способен. Я отвожу руку из-за спины и показываю ему свою альбасетскую наваху, но дальше ни на шаг. И я уже знаю, что он выиграет партию.

— Слушай, Лорка. Ты думаешь, я сделал это из прихоти? Нет. Я сделал это, чтобы спасти фирму. Речь шла не об отношениях между человеком и человеком, а между человеком и фирмой. Если бы меня тогда осудили, я остался бы один-одинешенек, покинутый всеми на волю злой судьбы, и в один миг потерял бы все, что удалось создать ценою стольких усилий, стольких жертв, стольких часов труда, труда моего и чужого, моего и моих рабочих, и служащих, и сотрудников. И наоборот, в ином случае...

От его цинизма меня бросает в дрожь. Мне противно его слушать. Пожалуй, именно отвращение может наконец подтолкнуть меня к действию. Я сжимаю наваху и уж не знаю, с каким выражением смотрю на него, но он, очевидно, видит смерть в моих глазах, потому что, сдаваясь, поднимает руки и пытается меня успокоить:

— Знаю, знаю, что тебе это очень дорого обошлось. Не думай, что я об этом не жалею. Жалею, и даже очень. Честное слово. Клянусь тебе. Но ты не все потерял. Для этого есть фирма, она воздаст тебе по заслугам.

А я между тем спрашиваю себя: убить этого гада и снова расплачиваться за всех? Думаешь, стоит, Энрике? Тебе только сорок лет, и еще...

— Ты сволочь, Пуиг, ты подлец,— произношу я хрипло.

— Ошибаешься, ошибаешься. Это жизнь у нас сволочная и подлая. Думаешь, я не мучился, когда сваливал вину на тебя? Но что еще я мог поделать, чтобы спасти фирму? Я становлюсь на твое место и понимаю, что́ происходит в твоей душе. Стань и ты на мое и попытайся меня понять.

— Да мне-то какое дело до фирмы?

— Тебе, может быть, и никакого, но фирма должна существо-

вать. Неужели ты не понимаешь? Не понимаешь, что фирма — одно, а мы — совсем другое? Что она распоряжается нами?

Сплю я или нет? Что говорит этот человек? Фирма, фирма, фирма! Я ничего, ничего не понимаю.

— Ты думаешь, я могу делать все, что захочу? Нет. Я в подчинении у фирмы: кредиты, долги, проценты, прибыль, жалованье, социальное страхование и здания, множество зданий, кварталы домов, целые районы. Ты знаешь, как все это растет и растет? И растет за счет чего, за чей счет, а? В первую очередь за мой. У меня нет времени ни на что. Ты провел шесть лет в тюрьме. Не спорю. Но я привязан к фирме еще дольше, прикован к ней, и много раз мне приходилось кривить душой и делать то, что мне не нравится... Начинаешь создавать фирму, а потом фирма заглатывает тебя. Это словно дом, который все строишь и строишь без конца, и пока ты его строишь, он держится, а если ты остановишься перевести дух, он рушится и хоронит тебя под обломками. Ах, если бы можно было удрать и бросить этот дом, пусть себе стоит, как знает. Но нет. Ты должен оставаться на стройке, пока у тебя есть силы, пока ты еще тянешь, а когда сил больше нет — тогда ты умираешь. Чудовище — фирма, Энрике. Это у нее нет ни чувств, ни совести. Я знал, что ты придешь отомстить за себя и что ты не захочешь денег. Что ты потребуешь мою жизнь. И что я сделал? Стоял под прицелом и ждал. С какой радостью я уехал бы отсюда. С какой радостью бросил бы все на свете. Средств у меня достаточно, более чем достаточно, чтобы жить без материальных забот. А я остался, ты видишь, я остался. Просто так? Нет, из чувства долга. Так обстоят дела. И так и должно быть. Иначе никто не смог бы ничего сделать, ничего создать, достичь чего-то важного. Не я установил такой порядок. Он существовал еще до меня, и одно из двух: надо было либо принимать его, либо отвергнуть. В первом случае это позволило бы мне осуществить мои планы; во втором — я осудил бы себя на блуждание вне тех границ, внутри которых проекты становятся явью. И я принял такой порядок, и в этом моя вина, но я принял его, ничего не зная о последствиях, о последствиях, которые обнаружил много позже, но тогда у меня уже не было альтернативы, не было иного выхода...

Он преобразился. Он говорит красноречиво, убежденно. Он кажется другим человеком. И я не знаю, как остановить этот поток красноречия.

— Ты, наверное, замечал, что многие честные люди, лично неспособные украсть ни сентимо или оскорбить своего ближнего, люди робкие — а я робок, Энрике,— эти люди, садясь за директорский стол, грабят, порабощают других людей и подчас безжалостно решают их судьбы. Мало ли таких, кто сам не убьет и мухи, но приговаривает к смерти миллионы?

Вдруг он умолкает и смотрит на меня. Я не знаю, что ему ответить. Да, я мог бы сказать многое. Что эта подтасовка чудовищна, что надо взбунтоваться против этой жесточайшей зависимости, что человек — прежде всего, что человек реален, а фирма — это фикция, что фирма должна служить человеку, а не наоборот... Я сказал бы ему... Но зачем? Пуиг не поймет, его уже не переубедишь. Одно я знаю твердо: убить его я не могу. Мне жаль, мне стыдно, но я не могу его убить.

— Пепе! Пепе! — кричит в доме женский голос.

Пуиг бежит к двери в глубине гаража и громко спрашивает:

— Что, дорогая?

— С тобой что-то случилось?

— Нет, нет, я уже выезжаю. До свидания, дорогая!
— Будь очень осторожен на шоссе.
— Не беспокойся.
— И приезжай поскорее. До свидания!
Пуиг оборачивается ко мне.
— Это Глория. Она удивляется, почему я еще не выехал.
Я молчу, и он приглашает меня в машину. «Лучше, чтобы Глория тебя не видела. Она испугается. Я отвезу тебя, куда захочешь». И я автоматически сажусь в машину, справа от него. Он выводит машину из гаража. Закрывает двери, и мы подъезжаем к ограде сада. Там он проделывает то же самое и машет Глории. Я тоже смотрю назад и вижу женщину, которая машет ему. Вот и шоссе.
— Остановись, высади меня здесь.
— Я же сказал, что отвезу тебя, куда захочешь...
— Ну так я выйду здесь. Я хочу немного пройтись и поразмыслить.
— Хорошо. И я уже сказал, что фирма готова возместить тебе убытки, возместить их щедро.
Я молчу и выхожу на дорогу. Машина срывается с места и летит к Мадриду, посверкивая никелем и стеклами. Внутри у меня пустота, тупая пустота. Я оскандалился. Меня осмеяли. Рука все еще сжимает раскрытую наваху. Я складываю ее и слышу, как семь раз щелкают ее семь пружин. Потом я размахиваюсь и бросаю ее подальше. Она падает в кусты.

IX

Я познакомился с Энрике Лоркой августовским утром во время еженедельной ярмарки, в баре у Фелипе. Бар Фелипе расположен в тени замка Карла III, стоящего на мысу у входа в полукружие бухты и, следовательно, напротив Орлиной скалы — так называют ее за сходство с гигантским орлом, лежащим на солнце брюхом кверху,— которая замыкает другой рог полумесяца. По одну сторону от бара — сквер Альфонсо Эскáмеса, по другую — эспланада порта. Здесь установлены механические приманки ярмарки: разнообразные карусели, колесо обозрения, автодром и лотки с чурро[1] и свистульками.

Фелипе, носящий штаны до колен,— один из самых популярных людей в поселке. Коренастый, сильный, с веселыми, насмешливыми глазами, хитрый и порой таинственный, Фелипе знаменит своей давней и красочной карьерой спирита и знахаря. Ему досконально известна подноготная его земляков, он знаком со всеми, кто приезжает сюда на отдых. Он слушает и знает все, что говорят и даже что думают в поселке, и является источником информации для прохожих и туристов. Любой, кто спросит Фелипе, будь то местный или приезжий, непременно получит ответ, пусть иногда загадочный и не поддающийся расшифровке.

Рыбаки штопали свои сети, советское судно грузило цемент на торговой пристани, проходили загорелые горожане с корзинами, полными фруктов, дымились жаровни, где жарились чурро, подъезжали и отъезжали машины, мотоциклы и фургоны с продуктами, голоса огородников-хуторян, расхваливавших свои товары, сливались в веселый гам. В который раз я снова разглядывал бухту. Над морем, густо-индиговым, как на плохих литографиях, разливался нестерпимый свет, почти белый, точно расплавленное золото. Вода казалась синей ареной огромного амфитеатра, первый ярус которого состав-

[1] Род пончика.

ляли домики, второй — холмы и голые скалы, а на самом верху таяло в дымке полукольцо гор. Несколько пальм и кое-где легкое колыхание листвы удачно нарушали раскаленное однообразие пейзажа.

— Прогресс неотвратим! — громко сказал Фелипе — то было его обычное приветствие,— и я обернулся посмотреть, кому оно предназначалось.

В бар только что вошел высокий, гибкий человек, смуглый, с серыми глазами, густыми, еще темными волосами; его движения были размеренны, лицо сосредоточенно.

— Привет, Фелипе!— откликнулся он и уселся за столик.

В руках у него был фунтик с чурро, а под мышкой — книга в бумажной обложке.

— Кофе? — спросил Фелипе.

— Да.

Вошедший положил на столик пакет и книгу, огляделся вокруг, задержав взгляд на мне — на одно мгновение, не больше,— и, наконец, устремил его на Фелипе, который готовил ему кофе.

— Ну и как идут дела? — спросил Фелипе, орудуя электрической кофейной машиной.

— Э!— отозвался мужчина.

— Однако в этом году съехалось много публики...

Но вошедший уже раскрыл книгу, нашел нужную страницу и, очевидно, погрузился в чтение. Когда же Фелипе поставил перед ним чашку, он закрыл книгу и, мокая чурро в кофе, принялся за еду, не спеша, ни на кого не глядя.

Меня очень удивило его пристрастие к чтению. Нечасто в таких местах можно увидеть мужчину с книгой в руках. По возрасту он никак не мог быть студентом, а по внешности не походил на отдыхающего интеллигента. В нем не было простоватости крестьянина, но в то же время он не смахивал на человека так называемых свободных профессий или на чиновника. Поэтому я подошел к стойке и, угощая Фелипе сигарой, спросил у него:

— Кто этот человек?

Фелипе пожал плечами и ответил сквозь зубы:

— Я знаю только, что его зовут Энрике Лорка, что он приехал с ярмаркой и работает механиком на автодроме. Он почти не раскрывает рта и всегда ходит один или с книгой под мышкой.

Это был необычный тип, он возбудил мое любопытство, заинтриговал меня, но мне пришлось удовлетвориться тем немногим, что мог сообщить Фелипе, так как замкнутость и сдержанность незнакомца, который продолжал завтракать, не обращая ни на что внимания, мешали мне предпринять попытку завязать разговор. И я ушел восвояси, украдкой убедившись, что не вызвал ни малейшего интереса с его стороны.

Обычно первый раз я хожу купаться очень рано, с тем чтобы почти в одиночестве насладиться чистой, прохладной водой, тишиной и пустынным пляжем. В этот час там бывает один-два человека из любителей ранних прогулок, чаще всего иностранцы.

На следующее утро после нашей встречи с Энрике Лоркой в баре у Фелипе я, выходя из воды, увидел, что он лежит на песке рядом с моим тентом. Несомненно, он поджидал меня. Заметив мое приближение, он приподнялся, показал мне потухшую сигарету и сказал:

— Извините. Не могли бы вы дать мне огня?

Вскоре мы оба уже курили.

Утро было прекрасное, словно пробуждение в раю. Море лежало тихое, ровное, нежно-зеленоватое. Чистый, без дымки, горизонт

был бесконечен. Поселок направо от меня казался необитаемым. Слева, из-за Орлиной скалы, вырывались лучи солнца, они поднимались вверх и разливались по бледно-голубому изгибу неба. Позади, по скалам и вершинам холмов, ступенями карабкались белые безлюдные шале. Неподалеку на песке раскинулись молодые полуобнаженные тела купальщиков-северян обоих полов, с ярко порозовевшей кожей; казалось, они спали.

— Искатели солнца,— сказал я, указывая на них.

— Это немцы, из Гамбурга.— И Лорка добавил: — За пятнадцать дней они хотят набраться солнца на весь год и потому торчат на берегу с восхода и до заката.

Мы продолжали молча курить. Лениво текли минуты, и я упивался этим несравненным блаженством — ощущать, как тебя до краев переполняет наслаждение жизнью. Стоит, думал я, выносить в течение дня тягостный груз стольких обязанностей, неприятностей и неудач ради одного такого мига, как этот, когда становишься самим собой, чувствуешь себя почти что богом в первое утро мира, свободным, без воспоминаний, без прошлого. Канули в Лету, словно ночь, полная кошмаров, история, культура и цивилизация. Я не помнил ни о чем, все мои чувства были сосредоточены на настоящем — мгновенном, всеобъемлющем и единственно сущем, неповторимом и языческом.

— Фелипе сказал, что вы писатель. Это правда?

Я совершенно забыл о своем соседе и вздрогнул. Он смотрел на меня, опершись локтями о песок, серые и внимательные глаза его блестели.

— Да,— ответил я,— я писатель.

— Чудесное занятие!

— Почему?

Он ответил мне без колебаний, словами, за которыми можно было предположить долгие и глубокие размышления. Для него писатель обладал двумя самыми завидными, по его мнению, качествами: умением сообщать людям свои мысли и чувства и умением быть свободным.

Я объяснил ему, что, к сожалению, писатель тоже зависит от многих обстоятельств, субъективных и объективных; что писателю очень редко удается сказать то, что он хочет, и так, как он хочет. Иногда — потому, что не позволяют способности, а иногда — потому, что не позволяет общество.

Он молча смотрел на меня несколько секунд, с сомнением покачал головой и, наконец, спросил:

— Тогда почему же вы пишете?

Нелегко объяснять, в чем причина призвания, которое по природе своей беспричинно. Тем не менее я ответил:

— Потому же, почему живу, хоть и знаю, что должен умереть.

— И вы довольны?

— Нет, никогда. После каждого провала мы повторяем свои попытки снова и снова, так же как всякий день пытаемся жить настоящей жизнью. Поэтому писать — то же, что жить.

Мой собеседник помолчал, зарывая в песок конец своей погасшей сигареты, и потом спросил:

— Вы хотите сказать, что жизнь бессмысленна, да?

— Та жизнь, которую нам навязывают,— полагаю, что бессмысленна; и, напротив, та, к которой мы стремимся,— думаю, она имеет смысл. Поэтому мы и живем.

— Ага. Значит, по-вашему, надо жить несмотря ни на что, да?

— Конечно, ведь другой возможности у нас нет.

Он снова замолчал. Немцы все так же неподвижно лежали на

солнце. Уже затрещали первые мотоциклы, в порту появились первые человеческие фигуры. Для всех начинался новый рабочий день. Энрике Лорка откинулся на спину и прикрыл глаза. Надо было идти. Я встал.

— Мне пора,— сказал я.

Он открыл глаза, заморгал от света и улыбнулся.

— Спасибо, профессор.

Я — профессор? Это звучало насмешкой.

— Никакой я не профессор, дружище.

— Для меня профессор.

На следующее утро, в тот же час и при тех же обстоятельствах, мы увиделись снова, как будто заранее договорились о встрече. Он сразу же высказал желание поговорить, быстро заведя беседу. Однако скорее он хотел слушать, потому что только задавал вопросы. Существует ли свобода? Необходимо ли человеку связывать себя с чем-нибудь, даже за счет ограничения своей свободы? Разве человек не может сам творить свою судьбу, независимо от судеб других? Верно ли, что преображение человека происходит через сознание и, таким образом, история человека — это история сознания? Иными словами, то были вопросы, которые задаешь себе на протяжении всей жизни, вопросы, перед которыми разум пасует и немеет, оставляя тебя во власти импульсов и неожиданных порывов. Слишком много вопросов, слишком они сложны и глубоки, чтобы ответить на них в конкретных выражениях. Я бы промолчал, но его покорное и вместе с тем настойчивое ожидание, а с другой стороны, желание приобщить другого к своим собственным тревогам и мысль о том, что, быть может, мои слова сумеют спасти человека от каких-то ошибок,— все это побудило меня высказать свое мнение о свободе — благе относительном, не абсолютном, хоть и самом высоком, и о жизни — нашей первостепенной ценности, хоть ценности неверной и временной. Естественно, я постарался по мере возможности разъяснить ему мои идеи на более или менее наглядных примерах и сравнениях. Он выслушал меня внимательно, и, хотя и не выдвинул никаких возражений, я понял, что он не согласился со мной. Он лишь сказал мне, что уехал из Мадрида именно потому, что в городе все стремится связать человека, поработить его, все отчуждает его тысячами различных способов.

— Я видел там победителей,— продолжал он.— Видел, как они двигаются, бесчувственные, упорные, словно автоматы; одни в метро и автобусах, другие — в собственных машинах. Победы первых еще начинаются, они только что приехали из деревень и впряглись в непрерывное движение, в несколько служб, подчинились тирании рабочих часов ради квартиры, ради телевизора и прочих подобных же трофеев. И я видел других, сильных мира сего,— эти прикованы к безудержному ритму своих желаний, ставших тиранической, изнурительной, бесчеловечной явью. Что это за победа, если она не позволяет человеку распоряжаться самим собой, а подчиняет его замыслу чуждых ему сил? Надо бежать быстрее и быстрее, подниматься по лестнице все выше и выше, не останавливаясь, не смея перевести дух из страха, что тебя задавят и обойдут, оттолкнут и забудут. Разве ради этого стоит побеждать? Мне кажется, нет.

Я уверен, что он сказал мне нечто подобное, хотя и в менее ясных словах, в более сбивчивой и несвязной форме, однако с выражением неколебимой уверенности, словно свое кредо, и добавил:

— Если бы вы знали мою историю, вы поняли бы мое отношение к жизни. Может, я был просто эгоистом и трусом. Кто знает. Но...

Потом утро за утром Энрике Лорка рассказывал мне кусками эпизоды из своей жизни, перемежая их замечаниями, вопросами, со-

мнениями или внезапно замолкая. Иногда он обрывал свой рассказ и извинялся:

— Не знаю, почему я вам все это говорю. Наверное, я вам наскучил, профессор.

Тогда я успокаивал его, стараясь быть как можно убедительнее, и он говорил:

— Вы очень любезны, что слушаете меня. Спасибо.— Но не возобновлял рассказа до следующего утра.

Энрике Лорка был, без сомнения, умным, искренним человеком, глубоко впечатлительным, наделенным способностью к самоанализу, обладающим обрывочными познаниями и одержимым отчаянной потребностью в истине. Его история свидетельствовала о том, что он перенес много болезненных разочарований и потому не доверял людям, боялся их и по мере возможности избегал или же, во всяком случае, проводил между собой и остальными четкую разграничительную черту. Был ли он эгоистом и трусом, как он сам говорил? Я бы сказал, скорее скептиком, упорно не признающим абстракций и, следовательно, неспособным отдаться чему-то или кому-то без предварительной проверки опытом. Человек замкнутый, он в то же время страстно желал найти убедительный повод для выхода из своей изоляции. У него был аналитический ум, а с другой стороны — склонность к возбудимости и мечтам. Он был антиподом фанатика, короче говоря — идеалистом без идеала. Мне он доверился по двум причинам, одну из которых он сознавал, а другую — нет. Во-первых, он хотел, чтобы я, благодаря моему опыту и предполагаемым знаниям, послужил ему мостом к примирению с жизнью, и потому все спрашивал и спрашивал меня без устали; а во-вторых, он пытался разделить с кем-то невыносимый груз своего одиночества и сомнений. На первых порах я заподозрил, что у Лорки начальная стадия шизофрении, но должен был тут же отвергнуть это предположение, потому что Энрике Лорка не таился и не оправдывал себя, а также не смешивал выдумку с действительностью. Напротив, он систематически отклонял любое искажение реальности. Он тяготел к реализму и предпочитал правду, пусть болезненную и неприятную, самой утешительной лжи. «Правда — прежде всего, хоть порой она и ранит»,— не раз повторял он.

Признаюсь, я записывал его рассказы, и не столько из-за оригинальности его историй, сколько ради их значения в жизни этого человека, ибо, казалось, судьба решила продемонстрировать на нем свое всемогущество. Был ли он жертвой фатума, наподобие древнегреческих героев? Ведь пример Лорки прекрасно подтверждал фаталистическую теорию, а следовательно, бессилие человеческой воли и безответственность человека. Таким образом, передо мной возник живой аргумент, опровергавший мою веру в то, что жизнь — это воля, что человек создает сам себя, что не обстоятельства выковывают человека, а человек использует обстоятельства, даже неблагоприятные, чтобы строить свою жизнь. Разве человек не воспользовался слепыми и дикими силами природы — по большей части управляя ими,— чтобы сделать свою жизнь лучше? Разве он не создал из молнии свет, телефон, телевидение и работающие на него машины? Разве он не менял течение рек, не превратил моря и воздух в пути сообщения? Разве он не побеждает враждебные полчища микробов, бактерий и бацилл с помощью других полчищ таких же микробов, бактерий и бацилл, но только предварительно приручennых? Тогда почему не признать, что человек может обратить себе на пользу враждебные ему силы и преобразовать негативные факторы в позитивные? Несомненно, что Наполеон Бонапарт не мог бы появиться без

предшествовавшего ему феномена французской революции. Это несомненно и, однако же, остается лишь общим местом, ибо в равной степени очевидно и то, что те же обстоятельства благоприятствовали бесчисленным потенциальным наполеонам, но только один Бонапарт сумел направить их в нужное ему русло. Почему? Да лишь потому, что воля Наполеона Бонапарта была сильнее, активнее и упорнее, чем воля его предполагаемых соперников,— а они у него были, и очень способные и остервенелые, но все же они больше полагались на случай, чем на самих себя. Только хотеть мало. Надо, чтобы желание сопровождалось действием, то есть чтобы оно проявлялось в форме активной воли. Бесспорно, мы в конце концов носим в себе смерть. Но что такое смерть? Этого мы не знаем. Она составляет часть огромной области нашего неведения. Мы зовем смертью необъяснимый фактор так же, как зовем временем и пространством другие факторы, в одинаковой степени несомненные и не поддающиеся определению. Во всяком случае, смерть — это самый могущественный стимул, чтобы жить, подобно тому как боль — такой же стимул для наслаждения. Что касается Энрике Лорки, то следовало бы спросить: быть может, ему не хватает воли? Однако его попытка следовать путем, начертанным им самим, не поддаваясь постороннему вмешательству, доказывала обратное. Но при этом Энрике Лорка забывал, что иногда приходится двигаться по кривой или по ломаной или даже пробираться через лабиринт не только вперед, но и назад, чтобы достичь поставленной цели. Энрике Лорка хотел состояться как человек, не уступая ничего своего и не принимая ничего от других. Без купли-продажи.

Если отвергнуть помешательство, его поведение можно было объяснить лишь простодушием и наивностью. Пусть так. Но Энрике Лорка — вот он передо мной, он существует, думает, желает. Как, каким путем и в какой степени сумеет он разрешить свои проблемы? Вот в чем загадка, вот что меня интересовало, вот почему я пространно записывал его признания. Ради результата. Ради конца. Крах? Победа? Так или иначе, но этот человек сражался против мира, который хотели навязать ему другие, а поскольку я всегда верил, что величие человека состоит в его борьбе против сил судьбы, история Энрике Лорки захватила меня.

Я помню, что иногда он прерывал свой рассказ и спрашивал меня:

— Вы считаете, что в моих рассказах что-то есть?

В другой раз он сказал:

— А может, вы вставите все эти истории в один из своих романов, а?

— А вам бы не хотелось? — спросил я.

— Да что вы, если вы сумеете извлечь из этого какую-то пользу... С моей стороны, профессор, нет никаких возражений.

Я объяснил ему, что писатель — это словно промокательная бумага. Он поглощает все, что видит, слышит, обоняет, чувствует и даже читает и воображает. Все это идет на дно его памяти, которая похожа на чердак. Там оно отстаивается, оседает и лежит позабытое до тех пор, пока нежданно-негаданно порыв ветра снаружи не распахнет двери и не перемешает все содержимое. Тогда иные из этих воспоминаний превращаются в сверкающие образы, в живые впечатления или в блистательные идеи, которые писатель воспроизводит потом в своих произведениях, почти никогда не зная, откуда они взялись. Это общее правило со многими и разнообразными исключениями. Иногда человек делает заметки и складывает их в папку; бывает, что они остаются погребенными там навечно, или писатель поль-

зуется ими как сырьем, или воссоздает их в переработанном виде — так сказать, покрывает налетом своей фантазии. Я предупредил Лорку, что записываю его воспоминания вперемешку с некоторыми другими мыслями и идеями, которые не имеют отношения к его истории, и может статься, что в один прекрасный день они появятся на свет такими, как он их мне рассказывал, или преображенными до такой степени, что даже он их не узнает. Результат зависит не от меня, а от механизма литературного творчества, в силу которого автор волен лишь остановиться или продолжать, но никогда не может умышленно искажать внутренние законы произведения, без опасения погубить его.

Не знаю, понял ли он меня, но, немного помолчав, он сказал:

— Что ж, поглядим, захотите ли вы когда-нибудь воспользоваться моими воспоминаниями, как вы говорите. Мне было бы интересно, как вы их рассказываете и истолковываете.

Описывая сцену в гараже с Хосе Пуигом, он особенно разгорячился,— таким я его еще не видел никогда.

— Это чудовищно,— сказал он.— Я не признаю лицемерной манеры для успокоения своей совести сваливать вину на организацию, какой бы она ни была.— Глаза его искрились и отливали сталью, все его существо дрожало от возмущения.— По такой дорожке и докатываются до того, что сжигают шесть миллионов евреев или выдают и расстреливают собственного отца.

И он замолчал, словно ему больше нечего было мне сказать. На следующее утро он не появился на берегу, не приходил он и в другие дни, и я отправился к Фелипе разузнать, что случилось.

— Я тоже больше его не видел. Хозяева автодрома сказали, что он ушел не простившись и не получив жалованья. Просто взял и пропал — вечером был, а утром исчез. Странный тип, правда?

По этой причине я сделал на его папке надпись: «История Энрике Лорки. Не хватает конца» — и положил ее к другим, содержавшим схемы и наметки для произведений, которые я, быть может, не напишу никогда; постепенно я забывал о сути дела, но не о самом человеке, потому что память о нем постоянно сопровождала меня в час первого утреннего купания.

Прошли осень, зима и весна, и Энрике Лорка присоединился к галерее моих еще не существующих персонажей, стал одним из них, покрылся пылью и паутиной. И пришло новое лето, а с ним — ежегодное обновление моего духа и плоти. Я сын солнца и возлюбленный моря, я чувствую, как оно отзывается у меня внутри, я слушаю его и говорю с ним, его изменчивая красота зачаровывает меня. Оно такое мягкое, приветливое, обволакивающее, человек погружается в него, растворяется и исчезает, чтобы затем возникнуть вновь успокоенным, полным невыразимой лени.

Пляж был такой же, как всегда. Те же очертания, та же безмятежность вокруг, то же эротическое очарование моря, те же группы купальщиков-иностранцев и даже тот же спутник — Энрике Лорка, но Энрике Лорка — призрак, иначе говоря, эфирное, недоступное чувствам существо, как все призраки, рожденные воображением. Призрак немой, улыбающийся и насмешливый, призрак дразнящий.

— А ну-ка угадай, что сталось со мной? Ни за что не угадаешь!

Так было день и два, и наконец его неотступное присутствие вынудило меня достать папку, перечитать мои заметки и потом привести их в порядок и переписать заново, терпеливо восстанавливая его рассказ путем тщательных розысков в моем мнемотехническом архиве. То было увлекательное занятие; я настолько с головой ушел

в жизнь Энрике Лорки, что иной раз чувствовал себя им самим. На это дело у меня ушел весь июль и большая часть августа, но, закончив сцену с Хосе Пуигом в гараже, я остановился. Тут передо мной открывалось несколько различных перспектив и дорог. По какой следовать, по какой двинуться? Призрак не пожелал прийти мне на выручку, пришлось снова отправить его в архив, не теряя надежды, что потом какая-нибудь неожиданность поможет мне.

Так и произошло. Почти в самом конце моего отдыха я получил пространное письмо со штемпелями Мюнхена, без имени и без адреса отправителя. Вот что в нем говорилось:

Уважаемый профессор! Умоляю извинить меня за то, что я простился с Вами по-английски, вернее сказать, по-немецки, потому что виною всему была одна из тех девушек, которых мы видели на песке во время наших разговоров и которые не раз вызывали Ваше восхищение.

Я связался с Хайди — двадцать восемь лет, темно-русая, длинноногая, крутобедрая, с хорошей грудью, большим ртом, золотистыми глазами и очень-очень ласковая. Хотя я не знал немецкого, а она владела только десятью—пятнадцатью словами нашего языка, но мы вполне понимали друг друга. Однажды ночью на берегу, когда мы были вдвоем, она предложила мне незамедлительно уехать вместе в ее страну. Я не стал раздумывать. Хайди сообщила о нашем решении своим друзьям, и после короткого прощания мы в ту же ночь уехали в ее автомобиле, «фольксвагене», который еще тянул как зверь, в сторону Барселоны. Там — сколько воспоминаний о Люси! — я привел в порядок свои бумаги, вернее сказать, воспользовался фальшивым паспортом, который когда-то купил в Мадриде, чтобы узаконить мой отъезд, и через пару дней, проведенных в постели и на прогулках (ну и потрудились мы, клянусь вам!), мы направились в Германию. У меня было не больше тысячи песет, но я мог не волноваться — Хайди платила за все. Так мы приехали в Гамбург, красивый и важный город, его озера — настоящее чудо. А теперь самое интересное. У Хайди есть десятилетний сын, плод ее связи с одним моряком, который так и не вернулся, а у ее родителей — собственный бар в порту. Конечно, поначалу я не стал отказываться от того, что подворачивалось само собой, а именно — стал жить с Хайди в доме ее родителей и работать в баре. В этот бар, скорее таверну для моряков, заходят также и кое-какие испанцы, работающие в порту. Благодаря моим соотечественникам я начал кое в чем разбираться и выучил некоторые немецкие слова — что за язык, профессор, когда на нем говорят, кажется, что тебя кусают или отхватывают большие кусищи от яблока, вместе с кожурой и всем прочим. Хайди тоже служила мне подспорьем, поясняя слова знаками и жестами, но она слишком уж старалась, чтобы я получше ее понял, и оттого становилась ужасно некрасивой, так что я прибегал к ее помощи как можно реже. И она, и ее родители прямо не знали, как мне услужить; ясное дело, потому что задумали ни больше ни меньше, как женить меня на Хайди. «Чего еще лучше для этого латинца, бедного, как церковная крыса, чем жениться на такой девочке, ядреной, что твой орех»,— наверное, думали старики. И я стал разнюхивать, но мне не пришлось долго ждать, чтобы подтвердить свои подозрения, вовсе нет. Однажды ночью Хайди сама сказала мне об этом напрямик, в постели,— где же еще? — прежде чем начать возню, и через несколько дней ее отец дал мне понять, что, как только я немного поднатаскаюсь в немецком, он передаст мне дело, потому что ему уже обрыдло ругаться с клиентами. У него не было других наследников, кроме Хайди и сына Хайди, его внука, а поскольку я вскоре стану законным отцом мальчика, логично, что-

бы я управлял его делами. «Стой, Энрике, не хлопай ушами, не то тебя свяжут по рукам и ногам». Естественно, я их не разубеждал: пусть думают, что я согласен с их планом, но между тем старался потянуть время, чтобы немного сориентироваться в стране. И правда, я очень скоро убедился, что в Германии тоже все продаются — кто как умеет — и что тебя могут стреножить за полпустяка.

У меня были другие намерения, но поскольку зима в этих краях очень суровая, я решил потянуть резину с Хайди до тех пор, пока мне не подвернется случай их осуществить. Потому что на самом деле я хотел сесть на корабль и уплыть на какой-нибудь остров в Тихом океане — об этом я мечтал еще со времени моей службы в «Колониальных товарах Уреньи». Я так и видел, как стану важной шишкой среди туземцев, они будут уважать меня и восхищаться мною. У меня будет столько женщин, сколько я пожелаю, безо всяких там обязательств, и свои потребности — кстати, весьма скромные — я сумею удовлетворять без особых усилий. Жить без обязанностей, без борьбы, без груза на плечах, в мире и гармонии со всеми, никому не подчиняясь и никем не командуя. Жаркий климат, ослепительные утра, медленные бархатные дни, сокровенные тихие ночи. Бывает ли большее счастье? Дни и ночи я думал лишь об этом и потерял интерес ко всему вокруг настолько, что Хайди стала сомневаться в моих намерениях. И мне пришлось притворяться,— что поделаешь, профессор! — оправдываясь тем, что я изучаю немецкий. Но их так легко не проведешь. И, усилив натиск, они объявили мне, что бракосочетание состоится весной. Но это еще не самое худшее: дело в том, что Хайди, стремясь закрепиться на своих позициях, решила втихомолку заполучить от меня ребенка, хотя до тех пор именно этого она старалась избежать всеми возможными способами. Хорошо еще, что я сумел вовремя разгадать ее план, не то меня закатали бы на пожизненную каторгу. Я не хочу и не могу говорить вам обо всех ухищрениях, к которым пришлось мне прибегнуть, но уверяю, что то была малопочтенная борьба со стороны обоих. Затем — сесть на корабль такому человеку, как я, тоже было далеко не просто. Требовалось отвечать стольким условиям в плане личном и официальном, что практически этот путь был мне заказан. В подобных заботах пролетело несколько месяцев, полных тоски и отчаяния. Опять я оказывался на перепутье, не зная, какое решение принять, по какой дороге пойти. И неизбежно наступила весна, впрочем, не такая уж весна, но дни стали длиннее, озера растаяли, однако холодно было по-прежнему, и солнце не показывалось,— и вот назначили день свадьбы, двадцать девятое апреля, чтобы воспользоваться двумя следующими за этим выходными: тридцатое—воскресенье и первое мая—День труда. Конечно, хоть я и сказал «да», про себя думал: «нет». Дудки. Что бы там ни случилось, я готовился устроить им неприятный сюрприз. На мое счастье, в таверну завернула группа молодых чудиков, мужчин и женщин различных национальностей: там собрались французы, англичане, белые и черные американцы и голландцы. На них были броские одежды, и выглядели они веселыми и беззаботными. Двое играли на гитарах, один — на губной гармошке, а негр — на трубе. Они смеялись, пели и вдруг, не обращая внимания на любопытных и зевак, пускались танцевать. Я был много наслышан о хиппи, об их бродячем, как у цыган, образе жизни, об их обычаях и пристрастиях и встречал их во время моих прогулок по Гамбургу, но никогда не видел так близко и не ощущал раньше этой странной атмосферы, которая их окружает. Они производят — по крайней мере на меня — тревожное, смутное впечатление, и, когда я гляжу на них, мне кажется, я вижу существа, вышедшие из леса и из моря, ветер приносит их и ветер уносит. Су-

щества, свободные от старости и печали, от голода и холода. Одна из девушек, тонкая, стройная, с зелеными глазами, веснушчатым носом и львиной гривой, одетая в обтянутые штаны и кожаную куртку с бахромой, с самой первой минуты так прилипла ко мне взглядом, что совершенно заколдовала меня. Она буравила меня глазами, улыбающаяся, безмятежная, невозмутимая, сосредоточенная, и, уходя, все еще продолжала смотреть. На другой день она нашла меня глазами и уже не отрывала взгляда, чуждая всему вокруг. На третий день, когда я подавал им кружки с пивом, она обхватила меня за шею, притянула к себе и поцеловала в губы. Я не мог сопротивляться, даже если бы и захотел, но не мог и подыгрывать, потому что она захватила меня врасплох и руки у меня были заняты. Спутники девушки поддержали ее смехом и аплодисментами. Потом она заговорила со мной певучим и гнусавым голосом. Она спросила: итальянец ли я, и, узнав мою национальность, воскликнула: «О'кей!» — и повторила то же еще с большим воодушевлением, когда в ответ на следующий ее вопрос я сказал, что не женат. Потом она взяла меня за локоть и заставила сесть рядом с ней — «О'кей!» — и протянула мне свою кружку — «О'кей!» — и «О'кей!» — когда я поднял кружку в ее честь,— и «О'кей!» — снова поцеловав меня в ухо и щеку. Тогда на сцене появилась Хайди, очевидно предупрежденная отцом, и разгорелась ссора. Начавшись так весело, все развивалось дальше грубо и нелепо, а закончилось неожиданно: Хайди, выйдя из себя, осыпала иностранку невразумительными оскорблениями и попыталась оторвать меня от нее. Какая сцена, профессор! Я энергично сопротивляюсь. Спутники Окей оттесняют Хайди от меня. Хайди кричит. На помощь спешит ее отец. Нас окружают моряки. Отец Хайди замахивается на меня, и сыплет ругательствами, и пытается выгнать из таверны всю компанию. Моряки науськивают нас веселыми возгласами, Хайди кричит еще громче. Никто никого не понимает, а негр дует в трубу. Моряки аплодируют. Я думаю: вот оно. Сделав знак своей новой подруге, чтобы она подождала меня, я расталкиваю окружающих, лечу за своей непромокаемой курткой, возвращаюсь, беру Окей за руку и направляюсь с ней к двери. Все это происходит мгновенно, среди многоязыкого галдежа и оглушительных звуков трубы. На улице нас встречает мелкий дождичек и приводит в чувство. Женщина обвивает рукой мою талию. Я прижимаю ее к себе, смотрю ей в глаза и угадываю в ее взгляде утробное удовольствие от того, что она сумела украсть мужчину.

Эта ночь... Их лагерь был в пригороде, посреди леса. Установив палатки, сложенные в автофургончике, и отпраздновав мое вступление в группу спиртным, музыкой и песнями у костра, мы разошлись парами. Нас было пятеро мужчин и пятеро женщин. В ту ночь я спал с моей похитительницей на ее надувном матрасе. Хотя и с трудом, но я выяснил, что Окей зовут Дженни, что она американка из Оклахомы, разведенная, что у нее шестилетний сын, живущий в частном колледже, что бывший муж ее, богатый промышленник, посылает ей каждый месяц чек на крупную сумму, что она осталась без пары в группе несколько дней назад и что она женщина полной отдачи.

В группе не существовало понятий «твое» и «мое», не говорилось ни о деньгах, ни об обязанностях, и каждый был волен делать все, что ему вздумается, но, конечно, не во вред другому члену сообщества. Неизбежные функции распределялись между теми, кто добровольно вызывался их исполнять. Так, американец Билли распоряжался общим кошельком, негр Кларенс занимался добычей провианта, а остальные мужчины расставляли и убирали палатки. Мне, как опытному механику, было доверено, по моей просьбе, водить фургончик

и ухаживать за ним. Несложная задача содержать в чистоте нашу скромную утварь лежала на обязанности и мужчин и женщин без различия. Отношения мужчина — женщина были абсолютно свободными, и верность в парах зависела от желания заинтересованных лиц, уважавшегося всеми остальными. В этом вопросе царило полное согласие, хотя потом я узнал, что именно он создавал в прошлом конфликтные ситуации, которые решались изгнанием нарушителя спокойствия из группы.

Мы проехали почти всю Германию, следуя вдоль берегов Рейна, поистине почти неправдоподобно чудесных. Пересекли Шварцвальд. Глухие леса, где нога утопает в мягком мху, реки, маленькие озера, луга... И всегда рядом величаво течет Рейн, огибая холмы и легендарные замки. Обычно мы располагались лагерем у какого-нибудь протока, неподалеку от селения. Расставив палатки вокруг большого костра — ночи были холодные,— мы ужинали, а потом тянулся долгий вечер, полный музыки, песен, танцев. Рекой лилось виски, джин и другие крепкие напитки, вроде вишневого ликера. Некоторые пили умеренно, но большинство — до полного опьянения. Я едва прикасался к спиртному, зато много раз на руках уносил Дженни к нашему ложу, пьяную в дым. Пробуждение в гуще леса стало для меня самым волнующим событием во всем этом приключении. Иногда, лежа на спине, я слушал, как дождь барабанит по брезенту палатки, и долго-долго, не шевелясь, грелся о бесчувственное тело Дженни. Мне нечего было делать, нечего было желать, и время шло, как один большой миг, без начала и конца. А иногда птичий гам, возвещая о теплом солнечном утре, наполнял меня силой, словно мне в грудь вливалась вся свежесть, все ароматы леса. Тогда я будил Дженни. Мы выскакивали из палатки почти нагишом и бежали к воде. Мы гонялись друг за другом, брызгались и плескались, испуская радостные крики. Потом мы выскакивали на берег, задыхаясь и стуча зубами, порой синие от холода, вытирались и грелись подле возрожденного костра, чтобы затем, в палатке, исступленно скреплять наше единение.

Лето застигло нас в окрестностях Баден-Бадена. Какие то были утра! Мы купались голышом. Завершая ночные бдения, мы разбредались среди деревьев и кустов. Мы спали на открытом воздухе, под звездным небом...

Тем не менее эта жизнь, которая поначалу казалась наивысшим воплощением моих намерений, понемногу стала терять для меня свое очарование, свое волшебство или свой хмель и вызывать колебания и сомнения. Сперва они появлялись и исчезали, словно летучие тени. Потом встревожили меня, а в разгар летних дней овладели мною всерьез, вынудив тщательно, до глубины, проанализировать свою совесть. И это все? До каких пор будет так? А потом?

Дженни по-прежнему пылала страстью, но не столько ко мне, сколько к себе самой. Это была женщина непостоянная, ненадежная, периоды восторга чередовались у нее с депрессией, холодность с ненасытным желанием. В сущности, неудовлетворенное создание, она искала чего-то, лежащего за пределами реальности. Поскольку я не знал английского, а она испанского, диалог между нами был невозможен, и мы возмещали эту неспособность к общению жестами, взглядами и мимикой, но всякий раз попытка противопоставить или согласовать наши идеи кончалась неудачей. Порой в любви мы прибегали каждый к своему языку, и тогда у меня складывалось впечатление, что и она и я обращаемся к другим людям. То же самое случалось и когда мы спорили, даже если в конце концов мы находили общий язык в поцелуе или ласке. Настал миг, когда я обнаружил в ней таинственную пустоту, а между нами обоими — космическую бездну.

Остальные члены группы также были мне чужими. Мы не жили вместе, мы сосуществовали. В периоды алкогольной или музыкальной экзальтации наше взаимное удаление достигало такого предела, что мы не замечали друг друга.

Мы были свободны, но — для чего? Придет момент, когда наш союз, не объединенный никакой целью, распадется так же легко, как он возник. Значит, наш образ жизни не имел смысла. Вместе с тем я зависел от Дженни, я продался ей, и, следовательно, моя свобода оказывалась лишь фикцией. Что же тогда?

Мы стояли лагерем возле Мюнхена, и однажды утром, проснувшись, я не нашел рядом тела Дженни. Я встал и направился к реке, думая, что она решила искупаться одна. И я увидел ее, но не в воде и не одну, а на траве, голую, с негром Кларенсом. Как идиот, я крикнул, чтобы они заметили меня. Мужчина немедленно поднялся. Я навсегда запомню, что он улыбался — тоже как идиот. Она же, напротив, в бешенстве закричала мне: «Get out!» [1] — вытянув руку в сторону лагеря. Она гнала меня прочь, как любого, явившегося некстати. Тут в моем мозгу запрыгали восклицания: «Get out!», «Okay», «Get out!», «Okay!», и я не смог совладать с собой. Я схватил ее за руку и заставил подняться. «Шлюха!» Дженни прожигала меня насквозь горящими глазами. «Я свободная, я свободная!» Я свалил ее наземь пощечиной. Кларенс бросился на меня. Мы покатились по траве. На крики Дженни сбежались все остальные, и мужчины приняли сторону негра Кларенса. «Он нарушил мир! Он нарушил мир!» На меня посыпались жестокие удары. В голове помутилось, и когда я открыл глаза, оказалось, что я лежу на больничной койке. Там я узнал, что меня подобрали на краю шоссе, полуголого, без документов, с тремя сломанными ребрами, сломанной рукой и сильным сотрясением мозга. Поскольку предполагалось, что речь идет о преступлении, то, как только я пришел в себя, явилась полиция, чтобы взять у меня показания, но агенты знали мой язык еще меньше, чем я их, и потому были вынуждены отложить допрос, выудив из меня лишь то, что я испанец. Прежде чем уйти, они предупредили меня в удобопонятной форме, что вернутся с переводчиком. Я встревожился и начал лихорадочно обдумывать ситуацию. Я сразу же понял, что, если правда выплывет наружу, меня ждут серьезные осложнения. С другой стороны, я и сам не знал, чем окончились события в лагере. Вдруг были еще жертвы? А если нет и мои прежние товарищи по моей милости встретятся с полицией, что они наплетут про меня? «Осторожно, Энрике, осторожно. Тут лучше сперва семь раз подумать». И мне пришло в голову, что, дабы избежать дальнейших допросов, неплохо прикинуться потерявшим память. Действительно, переводчик не смог вытянуть из меня ни единого конкретного факта обо мне и о моей прошлой жизни. Даже моего имени. Ничего. Абсолютно ничего. Он махнул на меня рукой, и через два дня меня навестил служащий испанского консульства с той же целью — и тем же результатом. Было очевидно только то, что я испанец. Поэтому консульство было обязано меня опекать. Но как, к примеру, репатриировать меня, не зная, кто я такой, откуда я и что делал в Германии? Кто же я такой, а? «Вы понимаете, что перед нами стоит очень сложная задача. Нам надо послать запрос в министерство и подождать ответа. Посмотрим, что мы придумаем к тому времени, когда вас выпишут из больницы».

Что думают, могут и хотят сделать служащие консульства, теперь мало меня заботит. В течение этих дней неподвижности и тишины я много думал и снова перебрал свою жизнь с начала до конца. И самое важное — тот вывод, к которому я пришел; пусть и

[1] Вон! *(англ.)*

тяжело его признавать, а мне очень тяжело, профессор, ведь это сорок два потерянных года, ну, может, не совсем потерянных, потому что познание тоже требует времени, но, как бы то ни было, истраченных впустую. Короче говоря, жизнь есть жизнь, и чтобы ее прожить, надо за нее бороться, а не давать ей утекать, как воде меж пальцев. Если бы Вы знали, профессор, с каким волнением вспоминал я Ваши слова о свободе и о жизни. Я воссоздал их одно за другим и думаю, что правильно. Я повторю их, и Вы увидите, что я не ошибаюсь. «Как совершенная свобода, так и совершенная жизнь — два недостижимых стремления. Несмотря на это, надо бороться до конца за одно и за другое, если мы хотим быть свободными и бессмертными, как боги». Еще Вы сказали мне нечто вроде этого: «Человек не может жить только ради самого себя, потому что он узнает себя и осуществляет себя в других». Как Вы были правы!

Но знаете, что заставило меня вспомнить об этом? Ваши фразы лежали позабытые на дне моей памяти и так бы там и остались, если бы не больница: мое пребывание здесь, словно налетевший ветер, переворошило их и стряхнуло с них пыль. Истинно, истинно говорю: нет ничего более назидательного и более убедительного, чем больница. Днем и ночью, без перерыва, мужчины и женщины, вдохновляемые мечтой, борются здесь самоотверженно, страстно против боли и смерти, то есть за человеческую жизнь, прекрасно зная, что могут добиться лишь эфемерных побед и что в конце большого поражения не избежать. Они сами, эти мужчины и женщины, которые изо всех сил стараются спасти чужие жизни, тоже будут сломлены, как были сломлены их предшественники и будут сломлены те, кто встанет на их место. Они умрут, конечно умрут. Они знают это и, однако, поступают так, словно бы не знают и верят в большую победу. Они замечательны, и, глядя на них, я подумал: свобода зависит еще и от того, что есть люди, которые в нее верят и стараются добыть ее для себя и для других, ибо, в сущности, свобода и жизнь — одно и то же, по крайней мере для меня. Так ведь, профессор? Тогда я не хотел этого признавать, но теперь вижу, что человек не может оставаться вне игры. Надо связать себя с чем-то, продать себя; да, продать, но продать себя общему делу, великому делу, как эти врачи и сестры, а не за жалкое вознаграждение, как, собственно, делал я до сих пор.

Я потерял много времени, профессор, это больше всего меня огорчает, но, как говорит пословица, лучше поздно, чем никогда. Поэтому теперь, раз я человек, так сказать, новорожденный, даже еще без имени,— знаете, что я сделаю, когда выйду из больницы? А вот что. Я пойду по улицам с плакатом за спиной, на котором будет написано: «Продается человек», и помещу в газетах объявления с тем же текстом: продается человек, продается человек, продается человек, пока не получу предложения высокой человеческой значимости,— быть может, так я сумею придать смысл остатку своей жизни.

А потом? О, то будет уже другая история, которой не знаем ни Вы, ни я. Может, когда-нибудь я напишу Вам снова, чтобы поведать ее. Но если Вы не получите моего письма — если я его не напишу,— прошу Вас, думайте милосердно, что это случилось не по моей вине, от недостатка смелости или веры, а виновато тут великое поражение, которое ждет нас всех и о котором не следует думать, верно, профессор? И Вы знаете, мне страшно связываться с чем-то, но я говорю себе: «Вперед, Энрике, это последняя возможность быть человеком, человеком, человеком и свободным, свободным, свободным, как боги».

С наилучшими пожеланиями

ЭНРИКЕ ЛОРКА.

■

МИКЛОШ РАДНОТИ

К 70-летию со дня рождения и 35-летию со дня гибели

Перевод с венгерского ДАВИДА САМОЙЛОВА

Миклошу Радноти было бы сейчас семьдесят лет — обычный человеческий век. Фашистская пуля пресекла его жизнь на самой середине. И он почти знал это, знал заранее. Не верил, мечтал о мирном «завтра», о возвращении из фашистских трудовых лагерей к жене, друзьям, любимым книгам — и при этом чутьем поэта знал свою судьбу. Ощущение несовместимости поэта — начала духовного, в высшем смысле человечного, олицетворяющего любовь,— и фашизма, войны, то есть насилия и жестокости, лежало в истоках его понимания поэзии вообще.

За то, что был Испанией любим
и все влюбленные тебя твердили,
они, когда пришли,— что делать им? —
ты был поэтом — и тебя убили.

Так писал он в тридцать седьмом году, когда фашисты заливали кровью Испанию; а в тридцать девятом, когда угроза фашизма нависла над всей Европой, подступила уже вплотную к границам Венгрии, разбудив все ее внутренние черные силы, он предугадал и то, что предстояло ему самому: «и буду я убит за то, что не жесток, и потому, что сам я не убийца!»

Так и случилось. По осенним дорогам сорок четвертого года отступающие фашисты гнали с собой множество венгров. Одну такую группу гнали из Югославии, из трудлагеря Хайденау, гнали через всю Венгрию на запад. И однажды остановили людей в чистом поле, у Абды, у развилка дорог, заставили вырыть себе общую могилу и всех расстреляли. Имена там погибших известны. Одно из них — Миклош Радноти.

Поэт много сделал за недолгую свою трудную жизнь. Он издал семь сборников стихотворений и успел еще подготовить восьмой, выпустил несколько книг талантливых переводов — из античной поэзии, из французской лирики. (Франция, Париж — особая любовь Радноти. Удостоенный в 1937 году литературной венгерской премии Баумгартена, он получил, наконец, возможность пожить недолго в Париже; он видел там и запечатлел в стихах демонстрации в поддержку революционной Испании. Поэт возвращался к любимому городу в своем творчестве и в горькие для Парижа дни, когда нацистская Германия напала на Францию.) В 1940 году выступил Радноти и как прозаик, опубликовав отдельной книжечкой новеллу «Под знаком Близнецов».

Первый стихотворный сборник Радноти — «Языческая здравница» — увидел свет в 1930 году. Гимн жизни, любви, природе, красоте — вот чем наполнена была эта книга, светлая и радостная. И вторую книгу — «Песни новых пастухов» (1931) — писал он со счастливо-свободным чувством единения с миром, гармонии человека и природы, раскрепощенности духа. Книга была конфискована «за оскорбление нравственности и религии», ветры реакции и насилия метались уже над Венгрией, над Европой (так и назван следующий сборник — «Поднимается ветер», 1933). Поэзия Радноти быстро «взрослеет», наполняется острой тревогой за судьбы мира. Теперь и его стихи о любви и прелестные зарисовки природы уже существуют как бы не сами по себе, а на грозовом фоне надвигающегося исторического катаклизма (сборники «Новолуние», 1935, «А ты ходи, приговоренный к смерти...», 1936, «Крутая дорога», 1938), и оттого, по закону контраста, рельефнее, значимей становятся самые простые детали естественного существования:

Когда я вышел из ворот, было десять часов,
пел булочник, под ним блестел его велосипед,
сверкал летящий самолет, было десять часов...
Стало тихо, утро остановилось, было десять часов.
(«Мир, ужас», перев. Л. Мартынова)

Все, все признаки мирного быта становятся выпуклыми, зримыми, бесконечно важными и бесконечно же эфемерными:

Шанхай и Герника сейчас
для сердца моего
близки вот так же, как твоя
напуганная рука...
(«Спи», перев. Л. Мартынова)

Трагедия надвигалась, скоро она придвинулась вплотную. К Венгрии, к самому Радноти. С 1940 года начинается его крестный путь — через фашистские трудлагеря, через изнурительный труд на медных рудниках и строительстве дорог. С короткими передышками дома, с всегдашним ожиданием мучительного, оскорбительного, гибельного «завтра». Какая необыкновенная сила духа и в этих нечеловеческих условиях помогала ему оставаться поэтом, создавать стихотворения, исполненные чистой любви, мужества, веры в грядущее!

...мир выстроится вновь, и это я постиг;
хоть песни все мои теперь запретны
станут,—
у кладки новых стен мои слова воспрянут!
(«Ни воспоминание, ни колдовство», 30 апреля 1944 года, перев. Д. Самойлова)

Сегодня, через тридцать пять лет после того, как были написаны эти строки, мы можем сказать: оправдалось и это предвидение Радноти. Его поэзия навсегда вошла в духовную сокровищницу венгерского народа, его имя стало в один ряд с именами Петефи, Ади, Йожефа.

Не мог такой поэт не прийти и к нам. Уже в 1951 году в «Антологии венгерской поэзии» появилась большая яркая подборка его произведений. В 1968 году издательство «Художественная литература» выпустило книгу стихотворений Радноти. Неоднократно публиковали его стихи журналы. В июльском номере «Иностранной литературы» за 1975 год напечатана новелла Радноти «Под знаком Близнецов». Но особенно сейчас (ведь 1979 год в Венгрии — год памяти Радноти) его поэзия привлекает к себе все больше интереса, все более несомненно становится фактом нашей культуры. В журналах, газетах публикуются новые для нас, ранее не переводившиеся его стихотворения: характерно, что некоторые из них почти одновременно привлекли к себе внимание нескольких мастеров перевода. Это естественно. Большая поэзия неисчерпаема, и каждое серьезное прочтение ее иноязычным поэтом открывает в ней читателю новые грани.

Радноти не ошибся. Его слова воспряли. Они идут к людям.

Е. МАЛЫХИНА

Незамысловатая песенка о войне

Дверь хлопает, слышны ее шаги,
топочут в лад цветочные горшки,
и солнечное сонное пятно
щебечет в пряди, павшей на виски.

За нею извивается чудно
электрошнур, ворча не по-людски,
все кружится — и непонятно как.

Она пришла сейчас, на склоне дня,
в ее руке огромный алый мак,
которым гонит гибель от меня.

5 января 1940 г.

В воспоминании...

В воспоминании стоят наивно
цветы... И я — в неистовости ливня;
две женщины навстречу, белозубы,
и пара голубей
зобатых, налитых надменностью своей.

Тому уж год. В дороге близ Санлиса
закат и теплый дождь в одно слились,
я был счастлив себе на удивленье;
зеленою стеной
безмолвный папортник склонялся предо мной,

и березняк к нам от Эрменонвиля
спускался, как девчонка-простофиля
в юбчонке белой. А у поворота —
солдат как на часах,
в затейливой грязи. И с розою в зубах.

Вдруг проскользнуло в небесах сиянье...
Был Дюла при застенчивой Жужанне,
со мною — Фанни; быстрые пейзажи
летели, просквозив
в ее глазах. Дымя, нас мчал локомотив.

И дорогой Париж нас ждал к закату...
С тех пор уже он видел смерть крылату,
что собрала здесь пестрые букеты.
Кровавый березняк
средь неостывших тел плетется кое-как,

и, победитель погребков отважный,
солдат лежит, украшен розой влажной.
Его отечество в огне. Трепещут
кладбища средь огней;
вокруг останки стен и скрюченных корней.

Над нами небо в копоти и гари;
но звезды зажигаться не устали,
в слезах росы торопятся рассветы
навстречу солнцу дня.
Спрошу, но этот край услышит ли меня?

В воспоминании стоят наивно
цветы. И я — в неистовости ливня,
и войско женщин и детей в дороге,
вверху — небесный дым,
он тихо тает. Серебристый с голубым.

1940 г.

Зачем

Ты взрослый,—говорю, порою — с отвращеньем,—
признайся же в своем убожестве нелепом.
Вернулся б голос мне в подобные минуты —
и просто б наземь сел, поговорил бы с небом.
Уже не можешь? Что ж, довольно грустно это.
Налево — глянь — Китай у ножки табурета,
направо — клевера, охотничьи угодья.
Ты не индеец — бледнолицее отродье.
И знать уж ни к чему, откуда ветер дует.
Дряхлеет человек, стихи кропает, учит...
«А просто б наземь сел, поговорил бы с небом».
Не сел. Не говорит. И в ус себе не дует.
Он вырос, а зачем — и смысл ему неведом.

1940 г.

У тебя на руках

У тебя на руках покачиваюсь
тихонько.
Тебя на руках покачиваю
тихонько.
У тебя на руках я словно дитя
малое.
И ты как дитя у меня, и тебя
я балую.
Руками меня обнимаешь, когда
мне боязно.
Руками тебя обнимаю, и мне
не боязно.
Смертельную тишь ты гонишь,
меня на руках
пестуя.
У тебя на руках сквозь смерть,
как сквозь сон,
прошествую.

20 апреля 1941 г.

Ливень

Ты в пору спасаешься. Ливень как боль.
Взъерошился ветер. И тучи в разбеге.
И проливень хлещет с размаху по водам.
И сыплются капли. Тянусь за тобой.

И сыплются капли. И вслед за тобой
бросается тело — сплетенные мышцы
хранят еще бурю любви и объятий.
Оно вспоминает и чувствует боль.

Так тело томится, так чувствует боль,
как мчится душа вслед тебе и навстречу,
ничто — о, ничто! — даже ливень не смоет
тоску по тебе. Я тянусь за тобой.

2 июля 1941 г.

Песня цветения

Яблоневая ветка.
И лепестки от ветра
падают с белой купы
в волосы, в очи, в губы.

Все гляжу в твои губы,
веток тяжкие груды,
свет пробегает по свету —
диво дивное это.

Диво, оно ускользает,
очи смежаются в заметь,
и затемняются тенью,
и заполняются темью.

Тьмы не надо страшиться,
скоро ночь распушится
веткой с месяцем белым
в мире остолбенелом.

Надьварад, госпиталь, 25 августа 1942 г.

Верешмарт

Проселок пуст, вразвалку, словно баба
брюхатая, один шагает ворон.
Вздохнет проселок — он и то забава!
И к ворону с печальным разговором.

Их раненые слушают посевы,
ресницы их изломаны в сраженье,
еще непозабытом, хоть напевы
заката все забвенней и блаженней.

В колдобине хоронится граната,
сверкая злобой — ей бы разорваться,
но — нет! — не смеет. И угрюмовато
кочны капусты вкруг нее толпятся.

А за подсолнухом, увядшим в пору,
перед стволами рощицы нарядной,
сеть — как стальная тень в ночную пору —
колючей проволоки кровожадной.

И на рассвете вот что видеть можно:
плеть тыквы (словно нежный шнур бикфордов)
оттуда отползает осторожно
и прячется среди цветов простертых.

И снова тишина кропит округу,
над бруствером крылами аист машет,
блиндаж окопный приютил зайчугу,—
все это завтра Флориан запашет.

Сюда умелец скоро возвратится,
ткач снова станет за станок послушный,
и будет сон тончайшей нитью виться
и завершится на заре жемчужной.

И снова будут женщины склоняться,
чтоб пестовать все поросли земные,
девчонки в алых платьях расшумятся,
запрыгают козлята озорные.

И вновь придет порядок жизни мудрый,
омытый бородатым звездным светом;
порядок тварей и колосьев — трудный
устав служенья, но благой при этом.

17 января 1941 г.

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА

Тетушка Хулия и писака

РОМАН

Перевод с испанского Л. НОВИКОВОЙ

Я пишу. Пишу, что пишу. Зримо ощущаю, как пишу то, что пишу, и даже вижу, что я вижу, как пишу. Помню — я всегда писал и видел себя пишущим. Вижу себя, вспоминающего, что я всегда видел себя пишущим, и помню себя, видящего свои воспоминания, что я писал и пишу, видя, что пишу о том, что всегда помнил себя пишущим, и всегда писал о том, что я всегда помнил, что писал о том, как писал, и о чем писал, и что я всегда пишу так, как писал. Я также могу представить себя пишущим о том, что уже написал, что я представлял себе то, как я писал о том, что уже написал, что я видел сам себя пишущим о том, что вижу, как я пишу о том, что я пишу.

Сальвадор Элисондо[1]. *«Графограф».*

I

В те далекие времена я был очень молод и жил с дедушкой и бабушкой в белостенном доме на улице Очаран в Мирафлоресе[2]. Изучая право в университете Сан-Маркос, я вообще-то смирился с мыслью о том, что буду зарабатывать себе на жизнь как человек судейской профессии, хотя втайне мне хотелось бы стать писателем. Пока у меня должность с громким названием, скромным жалованьем, неправедными доходами и гибким расписанием: я руководил Информационной службой «Радио Панамерикана». Моя работа заключалась в том, что я вырезал интересные сообщения из газет, слегка приукрашивал их и включал в радиосводки. Редакция, которую я возглавлял, состояла из одного молодого человека с сильно напомаженными волосами, отличавшегося особым пристрастием к сногсшибательным происшествиям. Имя его было Паскуаль. Радиосводки продолжительностью в одну минуту передавались каждый час, исключение составляли передачи в полдень и в девять вечера, когда они длились четверть часа, однако мы заготавливали сразу несколько сообщений, и потому я имел возможность подолгу бродить по улицам, сидеть за кофе на авениде Ла Кольмена; иногда посещал лекции, иногда слонялся по студиям «Радио Сентраль», где обстановка была оживленнее, чем у меня на работе.

Обе радиостанции принадлежали одному хозяину и находились по соседству — на улице Белен, совсем близко от площади Сан-Мартина. Однако они были совершенно несхожи, напоминая пресловутых сестер из сказки: одна — избалованная барышня, другая — простенькая замарашка; так же резко отличались друг от друга и радиостанции. «Радио Панамерикана» занимала второй этаж и плоскую крышу великолепного здания, ее редакторы блистали претенциозностью, а программы — особым духом: снобистским и космополитским; все материалы подавались в модернистской

[1] Современный мексиканский писатель. *(Здесь и далее — прим. перев.)*
[2] Аристократический район в северной части г. Лимы.

© Mario Vargas Llosa, 1977.

манере и были обращены к аристократствующей, эстетствующей молодежи. Несмотря на то что дикторы этой радиостанции не являлись аргентинцами (как сказал бы Педро Камачо), они заслуживали того, чтобы быть ими. Станция передавала много музыки, чаще всего джаз, рок-н-ролл, редко кое-что из классики; ее волны первыми разносили по Лиме последние музыкальные новинки Нью-Йорка и Европы, но не пренебрегали и латиноамериканскими мелодиями, правда, только в том случае, если они выделялись определенной изощренностью: национальная музыка допускалась неохотно да и то не дальше вальсов. Были программы с интеллектуальным уклоном, например «Картинки прошлого», «Международные комментарии», и даже передачи несколько фривольного характера вроде «Конкурса вопросов» либо «Трамплина к славе», в которых ощущалось стремление все-таки избежать явных глупостей или банальности. Свидетельством поисков в области культуры и являлась Информационная служба, в лоне которой мы с Паскуалем трудились, разместившись в деревянной будке на крыше, откуда можно было различить свалки мусора и невзрачные окна под убогими кровлями окраинных домов Лимы. К будке мы добирались с помощью подъемника, двери которого обладали неприятной особенностью открываться ранее положенного времени.

«Радио Сентраль», в отличие от нашей радиостанции, теснилась в старом здании со множеством переходов и закоулков; достаточно было послушать ее дикторов, чья речь отмечалась развязностью и изобиловала жаргонными словечками, чтобы понять, что ее аудитория — толпа, плебс, что ставка здесь — на национальные, криольские чувства. В передачах этой радиостанции информации было немного, зато тут господствовала перуанская музыка, царили мелодии Кордильер; нередко выступали и индейские певцы. Это случалось в дни публичных концертов, задолго до начала которых у здания радиостанции собирались толпы. Радиоволны буквально захлестывали музыкой тропиков, мексиканских и аргентинских напевов; программы были составлены просто, без особой выдумки, но отличались целенаправленностью, например: «Заказы по телефону», «Серенады в день рождения», «Сплетни из мира кулис», «Кинолента и экран». Главным блюдом этой радиостанции, весьма частым и обильным, которое, согласно всем опросам и анкетам, обеспечивало ей огромную аудиторию, были радиопостановки.

За день их передавали по крайней мере полдюжины, и мне доставляло особое удовольствие наблюдать за исполнителями, когда они разыгрывали перед микрофоном спектакли: то были стареющие актеры и актрисы, голодные и обтрепанные, чьи по-юношески чистые и ласкающие голоса ужасающе контрастировали со старыми лицами, горькими складками у рта и усталыми глазами. «В тот день, когда в Перу появится телевидение, этим людям не останется ничего, кроме самоубийства»,— пророчествовал Хенаро-сын, указывая на актеров через стекла студии звукозаписи, где, как в огромном аквариуме, они толпились у микрофона с листками сценария в руках, готовые читать двадцать четвертую главу «Семьи Альвеаров». Действительно, какое разочарование постигло бы всех домохозяек, которых так трогал голос Лусиано Пандо, если бы они увидели его, скрюченного и косого; как огорчились бы пенсионеры, в которых мелодичный голос Хосефины Санчес пробуждал нежные воспоминания, если бы они разглядели ее огромный двойной подбородок, черные усики, оттопыренные уши и прыщи. Но до телевидения в Перу тогда было еще далеко, и радиотеатральная фауна в те времена, казалось, была обеспечена пропитанием, хотя и весьма скромным.

Мне всегда хотелось узнать, чье перо создавало радиосерии, развлекавшие по вечерам бабушку, истории, которые терзали мои уши в доме тетушки Лауры, тетушки Ольги и тетушки Габи, в домах моих многочисленных кузин в дни, когда я их посещал (наша семья, как и многие в районе Мирафлорес, была библейски многочисленной и дружной). Я предполагал, что радиопостановки импортировались в нашу страну, но был очень удивлен, узнав, что мои хозяева — Хенаро — покупали их не в Мексике и не в Аргентине, а на Кубе. Продукцию эту выпускала компания CMQ [1] — разновидность радиотелевизионной империи, управляемой Гоаром Местре, седовласым джентльменом, которого я как-то видел в один из его приездов в Лиму в коридорчиках «Радио Панамерикана». Он шествовал, подобострастно сопровождаемый нашими хозяевами на виду у всего персонала, с почтением взиравшего на него. Я так много слышал об этой кубинской компании от дикторов, ведущих и операторов нашей радиостанции — для них CMQ представляла нечто мифическое, как Голливуд той эпохи для кинематографистов, — что нередко мы с Хавьером за чашкой кофе в баре «Бранса» подолгу фантазировали, воображая себе пишущую братию, которая где-то там, в далекой Гаване, городе пальмовых рощ, райских пляжей, бандитов и туристов, в кабинетах с кондиционерами, оборудованных в крепости Гоара Местре, должна была работать по восемь часов в сутки за пишущими машинками, чтобы производить весь этот поток радиодрам с совращениями, самоубийствами, взрывами страстей, свиданиями, тяжбами о наследстве, с игрой случая и преступлениями, дабы проникновенные голоса лусиано пандосов и хосефин санчес скрашивали вечера бабушек, тетушек, кузин и пенсионеров каждой страны.

---

[1] Крупнейшая радиотелевизионная компания на Кубе до победы кубинской революции, когда Г. Местре бежал в Аргентину.

Хенаро-сын покупал (а точнее — СМО продавала) радиодрамы на вес и по телеграфу. Он мне рассказал об этом однажды вечером, потрясенный моим вопросом, читает ли он сам, читают ли его братья или отец сценарии, чтобы одобрить их перед выпуском в эфир. «А ты смог бы прочесть семьдесят килограммов рукописей? — возразил он со снисходительным участием, которое стал испытывать ко мне после того, как возвел меня в ранг интеллектуала: он увидел мой рассказ в воскресном приложении к газете «Комерсио».— Представь себе, сколько бы это заняло времени?! Месяц? Два? Кто же может затратить пару месяцев, чтобы прочитать самому сценарий радиопостановки?! Мы оставляем все на волю фортуны, и до сей поры, к счастью, милостивый господь бог нас хранил». В лучшем случае Хенаро-сын узнавал через рекламные агентства, через коллег и друзей, сколько стран уже купили радиодрамы, предложенные ему, и как они были восприняты радиослушателями; в худшем — он решал все сам, исходя из названий или по принципу «орел или решка». Радиопостановки продавались на вес, потому что это менее коварный способ, чем продажа по количеству страниц или слов; вес — единственное, что можно проверить. «Естественно, — говорил Хавьер, — если не хватает времени прочитать рукопись, то уж и вовсе некогда пересчитывать все слова». Будоражила его мысль о драме весом в шестьдесят восемь килограммов и тридцать граммов, цену которой, как цену говядины, сливочного масла или яиц, решали весы.

Но и такая система порождала для наших хозяев проблемы. Тексты были засорены словами чисто кубинского происхождения, которые за минуту до каждой передачи сам Лусиано и сама Хосефина и их коллеги переводили как могли (и всегда плохо) на разговорный язык перуанцев. С другой стороны, нередко при перевозке из Гаваны до Лимы в чреве парохода или самолета, при перегрузках на таможнях папки с машинописными текстами приходили в негодность, а иногда терялись целые главы; отсыревшие и склеившиеся страницы невозможно было читать, в довершение всего уже на складах «Радио Сентраль» их обгрызали крысы. Поскольку обнаруживалось это в последние минуты, когда Хенаро-отец уже раздавал исполнителям сценарий, возникали поистине трагические ситуации, разрешавшиеся простым игнорированием утерянных глав, отчего все становилось с ног на голову; в самых тяжелых случаях это приводило к однодневной болезни либо Лусиано Пандо либо Хосефины Санчес, после чего в течение последующих двадцати четырех часов производилась реставрация — или уничтожение без особых травм исчезнувшего веса — в граммах или килограммах. Так как цены, установленные СМО, были высокими, вполне естественно, что Хенаро-сын почувствовал себя счастливцем, открыв существование и магические способности Педро Камачо.

Я прекрасно помню день, когда он рассказал мне об этом радиофеномене, потому что именно в тот день я впервые увидел тетушку Хулию. Она была сестрой жены моего дяди Лучо и лишь накануне вечером прибыла из Боливии. Недавно получив развод, она приехала сюда, в Перу, чтобы отдохнуть и восстановить силы и здоровье после матримониального краха. «А на самом деле — поискать другого мужа», — заключила на одном из семейных вечеров самая злоязычная из всей моей родни тетушка Ортенсия. По четвергам я всегда обедал в доме дяди Лучо и тетушки Ольги. В этот день я нашел членов семьи еще в пижамах: они «лечились» после тяжелой ночи холодным пивом и острыми маринованными улитками. Дело в том, что до рассвета они проболтали с вновь прибывшей гостьей, распив при этом на троих бутылку виски. У них болела голова; дядя Лучо страдал от мысли, что в конторе, наверное, все пошло вверх дном; тетушка Ольга утверждала, что стыдно не спать по ночам, кроме, конечно, суббот, а гостья — в халате, без туфель и с бигуди в волосах — распаковывала чемоданы. Она нисколько не смутилась, что я застал ее в таком виде, когда она менее всего походила на королеву красоты.

— Значит, ты и есть сын Дориты, — сказала она, запечатлев поцелуй на моей щеке. — Ты, кажется, уже закончил колледж?

Я смертельно возненавидел ее. Мои тогдашние стычки с семьей обычно вызывались тем, что все смотрели на меня как на ребенка, а не как на настоящего мужчину восемнадцати лет, каковым я являлся на самом деле. Ничто так не раздражало меня, как обращение «Марито»; мне казалось, уменьшительное имя возвращает меня к коротким штанишкам.

— Он уже на третьем курсе факультета права и к тому же работает журналистом, — пояснил ей дядя Лучо, протягивая мне бокал пива.

— Вот как! А выглядишь ты, Марито, все еще сосунком, — уколола меня тетушка Хулия.

За обедом она спросила меня — все тем же сладеньким голосом, каким взрослые говорят с идиотами и детьми, — влюблен ли я, хожу ли развлекаться, каким видом спорта увлекаюсь, и посоветовала не без коварства (я не понял: было оно неосознанным или намеренным, но которое тем не менее задело меня за живое), чтобы при первой возможности я отрастил себе усы. Брюнетам идут усы, пояснила она, усы, мол, будут способствовать моему успеху у девиц.

— Он не думает ни о юбках, ни о танцульках,— вновь вмешался дядя Лучо.— Он интеллектуал. И даже опубликовал рассказ в воскресном приложении к «Комерсио».

— Подумать только! А вдруг сын Дориты вырастет у нас совсем непохожим на остальных! — засмеялась тетушка Хулия, и я тотчас ощутил необыкновенную симпатию к ее бывшему супругу. Тем не менее я улыбнулся и постарался подладиться под ее тон.

В течение всей беседы за обедом она ввертывала затасканные боливийские остроты, то и дело поддразнивая меня. При расставании мне показалось, что ей все же захотелось как-то загладить свои колкости по моему адресу, а потому, сделав любезный жест, она заявила, что с удовольствием пошла бы со мной в кино: кино — ее страсть.

Я добрался до «Радио Панамерикана» как раз вовремя, чтобы помешать Паскуалю заполнить радиосводку, подготовленную к трем часам, сообщением о разыгравшемся сражении между могильщиками и прокаженными на экзотических улицах пакистанского города Равалпинди, которое было опубликовано газетой «Ультима ора». Подготовив материал для программ на четыре часа и на пять, я вышел глотнуть кофе. В дверях «Радио Сентраль» я столкнулся с Хенаро-сыном, у которого был на редкость возбужденный вид. Он потащил меня за рукав к бару «Бранса»: «Я должен рассказать тебе нечто совершенно фантастическое!» Хенаро-сын провел несколько дней по делам в Ла-Пасе [1] и там увидел в деле феноменальнейшую личность: Педро Камачо.

— Это не человек, это — индустрия! — восторгался он.— Камачо пишет все драматические произведения, которые ставят в театрах Боливии, и сам в них играет. Кроме того, он пишет сценарии всех радиоспектаклей, сам же их оформляет и в каждом сам играет главную мужскую роль.

Но еще более, чем плодовитость и многогранность Педро Камачо, потрясала его популярность. Для того чтобы увидеть Камачо на сцене театра «Сааведра» в Ла-Пасе, Хенаро-сын вынужден был купить билет по двойной цене у спекулянтов.

— Совсем как на бой быков, представляешь! — восхищался он.— Кто у нас в Лиме мог привлечь столько зрителей, чтобы заполнить театр?

Затем он рассказал, что два дня подряд наблюдал, как толпы девиц, дам зрелого возраста и старушек осаждали двери «Радио Иллимани» в ожидании выхода своего кумира, чтобы попросить у него автограф. Представитель компании «Макканн Эриксон» в Ла-Пасе в свою очередь заверил Хенаро, что из всех боливийских передач радиодрамы Педро Камачо пользовались самым шумным успехом.

Хенаро-сын был из тех, кого в те времена стали называть «импресарио-прогрессист»: его более интересовало само дело, чем почет и слава; он не был членом Национального клуба и даже не стремился стать им; он был дружен со всеми и всех изматывал своей неуемной энергией. Человек быстрых решений, Хенаро-сын после посещения «Радио Иллимани» убедил Педро Камачо переехать в Перу и работать лишь для «Радио Сентраль».

— Уговорить его было нетрудно, там он голодал, — пояснил мне Хенаро-сын.— Он займется здесь радиопостановками, а я смогу послать ко всем чертям этих акул из компании CMQ.

Я пытался его отрезвить. Убеждал, что по собственному опыту знаю: боливийцы — люди с норовом, и Педро Камачо непременно вступит в конфликт со всем персоналом «Радио Сентраль». К тому же его произношение будет раздражать наших радиослушателей, а поскольку он совсем не знает Перу, то станет постоянно попадать впросак. Однако Хенаро-сын улыбался, оставаясь глухим к моим пессимистическим пророчествам. Педро Камачо, по его словам, хоть и не бывал никогда в нашей стране, поведал ему об особенностях склада души жителя Лимы так, будто сам полжизни прожил в местных трущобах; выговор же его был безупречным: он не шипел, произнося «с», не рычал, произнося «р», и обладал бархатным голосом.

— Только бы Лусиано Пандо и другие актеры не сожрали беднягу иностранца, — опасался Хавьер. — Или не изнасиловала бы его прекрасная Хосефина Санчес.

Мы сидели у себя на крыше и беседовали, пока я перепечатывал, меняя лишь наречия и прилагательные, сообщения из «Комерсио» и «Пренса» для радиообзора «Панамерикана» к двенадцати часам. Хавьер был моим лучшим другом, мы встречались с ним ежедневно хоть на минуту, лишь для того чтобы убедиться, что мы существуем. Хавьеру были свойственны изменчивые и противоречивые порывы, но при этом всегда искренние; он слыл звездой литературного факультета Католического университета, где до него не было ни столь способного студента и пламенного любителя поэзии, ни столь остроумного комментатора сложнейших текстов. Никто не сомневался в том, что он с блеском защитит диплом, станет блестящим преподавателем и не менее блестящим критиком и поэтом. Но в один прекрасный день Хавьер поразил всех: он забросил работу над дипломом, отказался от литературы и от Католического университета и записался студентом факультета экономики в университет Сан-Маркос. Если кто-либо интересовался причиной бегства, он отвечал (а может быть, просто отшучивался), что диплом, над которым он трудился, открыл ему глаза. Труд его назывался «Пословицы и поговорки в творчестве Рикардо Пальмы» [2].

[1] Главный город Боливии.

[2] Рикардо Пальма (1833—1919) — выдающийся перуанский писатель, автор классического труда «Перуанские традиции» — о жизни страны от колониальных времен до начала нашего века.

В поисках этих пословиц и поговорок Хавьеру пришлось чуть не с лупой проштудировать «Перуанские традиции», а так как он был человеком обязательным и пунктуальным, то делал множество научных выписок, их накопился у него целый ящик. Однажды утром он сжег на пустыре этот ящик — мы вместе отплясывали индейский танец вокруг филологического костра — и решил, что ненавидит литературу и что даже экономика лучше того, чем он занимался прежде. Хавьер проходил практику в Центральном ипотечном банке и всегда отыскивал предлог, чтобы по утрам удирать в «Радио Панамерикана». От филологического кошмара, связанного с прежним коллекционированием, у него осталась привычка истязать меня пословицами, как говорится, без зазрения совести.

Меня очень удивило, что тетушка Хулия — боливийка и жительница Ла-Паса — ничего не слыхала о Педро Камачо. Правда, она пояснила мне, что никогда не слышала ни одной радиопостановки и нога ее ни разу не ступала в театры с той поры, как она исполнила роль «Сумерки» в «Танце часов» в год окончания колледжа под присмотром ирландских монахинь. («И не вздумай меня спрашивать, когда это было, Марито!»)

Мы шли от дома дяди Лучо, что в конце авениды Армендарис, по направлению к кинотеатру «Барранко». Она сама навязала мне это приглашение в тот же день, причем совершенно беззастенчиво. То был первый четверг после ее приезда и, хотя перспектива вновь стать жертвой боливийских острот мне совсем не улыбалась, я не собирался пропускать традиционный «четверговый» обед у дяди. Я надеялся, что не встречу ее там, поскольку накануне — по средам вечером все навещали тетушку Габи — я слышал, как тетушка Ортенсия сообщила тоном человека, которому боги доверили свою тайну:

— За первую неделю пребывания в Лиме Хулия уже четырежды бывала в обществе и все — с разными мужчинами! Один из них даже женат! Они так и липнут к разведенной!

Сразу же после полудня и по окончании передачи бюллетеня «Панамерикана» я пришел к дяде Лучо и застал тетушку Хулию с одним из ее поклонников. Я испытал сладкое чувство мести, войдя в зал и увидев около нее дядю Панкрасио, двоюродного брата моей бабушки, победоносно взиравшего на боливийку: он был на редкость смешон в своем старомодном костюме, с галстуком-бабочкой и гвоздикой в петлице. Дядя Панкрасио вдовствовал уже несколько веков; теперь он ходил, широко расставляя ноги, будто отмечал ими на циферблате десять часов и десять минут, и в семье всегда с неодобрением комментировали его визиты: он никак не мог удержаться, чтоб не щипать служанок у всех на виду. Дядя Панкрасио красил волосы, носил карманные часы с посеребренной цепочкой; его ежедневно можно было встретить в шесть вечера на углу у телеграфа, где он провожал комплиментами девиц, возвращавшихся со службы. Наклоняясь, чтобы поцеловать тетушку Хулию, я шепнул ей на ухо как мог язвительнее: «Блестящая победа!» Она подмигнула мне и утвердительно кивнула головой. Во время обеда дядя Панкрасио, поразглагольствовав о криольской музыке, большим знатоком которой он слыл — на семейных торжествах он исполнял непременное соло, барабаня по пустому ящику, — повернулся к боливийке и, облизываясь словно кот, произнес: «Кстати, вечерами по четвергам в подвальчике «Виктория» — в самом сердце криолизма — собирается ансамбль Фелипе Пингло. Тебе не хотелось бы послушать подлинно перуанские мелодии?» Тетушка Хулия, немедленно изобразив на лице крайнее огорчение, отчего ложь ее стала еще более оскорбительной, ответила, указав на меня: «Какая жалость! Но Марито уже пригласил меня в кино». «Дорогу молодежи!» — склонил голову дядя Панкрасио с самообладанием спортсмена. Несколько позже, когда он уже ушел, я решил было, что спасся от посещения кино, но вдруг тетушка Ольга спросила: «Насчет кино ты, наверно, придумала, чтобы отвязаться от этого старого волокиты?» На что тетушка Хулия со всей горячностью возразила: «Ничего подобного, сестрица! Мне ужасно хочется сходить в кинотеатр «Барранко», тем более что девушкам смотреть этот фильм не рекомендуется». Затем она повернулась ко мне, внимавшему, как будет решена моя участь в этот вечер, и добавила, чтобы успокоить меня, к своему словесному букету еще один великолепный цветок: «О деньгах не беспокойся, Марито! Я тебя приглашаю».

И вот мы идем с ней вниз по тенистой авениде Армендарис, затем по широким плитам авениды Грау на просмотр кинофильма, который ко всему прочему был мексиканским и назывался «Мать и любовник».

— Самое ужасное не в том, что мужчины считают своим долгом тут же предлагать себя разведенной женщине, — поведала мне тетушка Хулия. — Главное, по их мнению, в отношениях с разведенной никакой романтики не требуется. Мужчины в таких случаях не прилагают ни малейших усилий, чтобы вызвать ответные чувства, не рассыпаются в изысканных комплиментах, а делают тебе предложение чуть ли не с первого взгляда и притом без всякого стыда. Но меня не проведешь! Поэтому, вместо того чтобы где-то с кем-то танцевать, я предпочитаю отправиться с тобой в кино.

Я поблагодарил ее за то, что она выбрала меня.

— Мужчины настолько глупы, что считают каждую разведенную женщину уличной шлюхой, — продолжала Хулия, не показав вида, что поняла мой намек. — У всех

на уме одно и то же... А ведь самое приятное не это... Самое прекрасное — любовь. Разве не так?

Я пояснил ей, что любви вообще не существует, что любовь выдумали некий итальянец по имени Петрарка и трубадуры из Прованса. И то, что люди принимают за прозрачный источник волнений, взрыв прекрасных чувств, — не более чем инстинкт, такой же, как у котов; инстинкт, лишь прикрываемый возвышенными словами и литературщиной. Я сам не верил в то, что говорил, но мне хотелось выглядеть необыкновенно оригинальным. Моя эротико-биологическая теория вызвала у тетушки Хулии недоумение: неужели я действительно верил в подобный идиотизм?

— Я против брака, — заявил я со всей категоричностью, на которую был способен. — Я — сторонник так называемой свободной любви, и, если бы мы были честными людьми, ее следовало бы просто называть свободным соитием.

— «Соитие» означает ныне «заниматься любовью»? — засмеялась она. Но через минуту на лице ее отразилось разочарование: — В мое время юноши писали девушкам акростихи, посылали цветы, недели проходили, прежде чем они решались на поцелуй. В какую мерзость превратили любовь нынешние сопляки, Марито!

Перед кассами кинотеатра между нами возник бурный спор из-за того, кто будет платить за билеты. Вытерпев полтора часа на экране Долорес дель Рио [1] с ее стенаниями, объятиями, ласками, рыданиями, бегущую по сельве с распущенными волосами, мы вернулись в дом дяди Лучо опять пешком. Накрапывал дождь, неслышно падая на волосы и на одежду. Мы снова заговорили о Педро Камачо. Неужели она действительно никогда не слышала о нем? Ведь по утверждению Хенаро-сына тот слыл знаменитостью в Боливии. Нет, она ничего не знала о нем, даже не слыхала такого имени. Я подумал, что Хенаро здорово провели или, возможно, так называемая радиотеатральная индустрия Боливии была его собственным измышлением, чтобы эффектнее подать туземного борзописца. Три дня спустя я увидел Педро Камачо собственной персоной.

У меня только что произошло столкновение с Хенаро-отцом из-за того, что Паскуаль, одержимый страстью к стихийным бедствиям, посвятил всю радиосводку, подготовленную к передаче в одиннадцать часов, землетрясению в Исфахане [2]. Хенаро-отца возмутил не столько сам факт, что Паскуаль пренебрег всеми другими новостями, чтобы рассказать в подробностях, как уцелевшие после катастрофы персы подверглись нападению шипящих и свистящих от ярости змей, которые выползли из своих разрушенных убежищ, сколько то, что землетрясение это произошло неделю назад. Я вынужден был согласиться: да, Хенаро-отец был в конце концов прав, и я буквально надорвался, ругая Паскуаля. Откуда извлек он эту «свежайшую новость»? Из какого-то аргентинского журнала. А почему отколол такую глупость? Оттого, что не было ни единого важного актуального события, а это сообщение было по крайней мере захватывающим. Когда я разъяснил Паскуалю, что нам платят деньги не за то, чтобы мы развлекали слушателей, а за то, чтобы давали обзор событий за день, он выдвинул свои неопровержимые доводы, снисходительно покачивая при этом головой: «Дело в том, что наши точки зрения на журналистику не совпадают, дон Марио». Я уже собирался заявить ему, что если он будет упорствовать и каждый раз за моей спиной применять свои «принципы терроризирования слушателей» в журналистике, то мы очень скоро — и вдвоем — окажемся на улице, как вдруг в дверях нашей будки неожиданно возник чей-то силуэт. Это было маленькое и тощее существо, почти карлик, с большим носом и необыкновенно живыми глазами. Оно было одето во все черное, без труда можно было заметить потрепанность его тройки, пятна на рубашке и на галстуке-бабочке. Однако в его манере носить одежду было некое благородство, чувство собственного достоинства и чинность, как у кабальеро, что смотрят на нас со старинных фотографий, заточенные в свои чопорные сюртуки и безупречные цилиндры. Возраста он был неопределенного — ему вполне можно было дать от тридцати до пятидесяти лет. Отличала его к тому же маслянистая черная шевелюра, спускавшаяся до плеч. Походка, движения, выражение лица — все было неестественным и скованным и вызывало воспоминания о механической кукле или марионетке, которую дергают за веревочку. Существо отвесило вежливый поклон и с торжественностью, такой же необычной, как и его внешний вид, обратилось к нам следующим образом:

— Я собираюсь похитить у вас пишущую машинку, сеньоры. И был бы вам благодарен, если бы вы оказали мне помощь. Которая из машинок лучше?

Его указательный палец поочередно упирался то в мою машинку, то в машинку Паскуаля. Несмотря на то что я уже привык к контрастам между голосом и внешностью — благодаря моим вылазкам в студию «Радио Сентраль», меня потрясло, каким образом из крохотного и немощного тельца мог исходить столь глубокий и мелодичный голос, да еще с поражающей великолепной дикцией. Голос, казалось, не только отчеканивал каждый звук, он выделял каждую его частицу, оттенял каждый его атом, акцентировал каждый тон. Весьма нетерпеливо, не замечая удивления, вызванного у нас его видом, решимостью и голосом, человечек начал обследовать и чуть ли не обнюхивать наши пишущие машинки. В конце концов он остановился

---

[1] Известная мексиканская киноактриса 40—50-х гг.

[2] Город в Иране.

на моем древнем, огромном, похожем на катафалк «ремингтоне», на котором годы вроде не оставили никакого следа. Паскуаль отреагировал первым.

— Вы что — вор? Да кто вы, собственно, такой? — обрушился он на пришедшего, и я понял, что он отрабатывает себе прощение за катастрофу в Исфахане. — По-вашему, вот так, запросто, можно унести машинку Информационной службы?

— Искусство важнее твоей Информационной службы, чучело, — отпарировал неизвестный, бросив на Паскуаля взгляд, каким окидывают раздавленное насекомое, и вновь принялся за свое. На глазах растерянного Паскуаля, который, как, впрочем, и я, пытался сообразить, что же означает в данном случае слово «чучело», посетитель попытался приподнять машинку. С огромным трудом ему удалось оторвать от стола это сооружение — у него даже напряглись жилы на шее и глаза чуть не выскочили из орбит. Лицо его медленно заливалось цветом спелого граната, узенький лоб — по́том, но человечек не отступал. Стиснув зубы, шатаясь, он проделал несколько шагов по направлению к выходу, но был вынужден сдаться: еще мгновение — и ноша увлекла бы его за собой вниз. Тогда он поставил «ремингтон» на столик Паскуаля и остановился, еле переводя дыхание. Отдышавшись, не придавая значения улыбкам, которые это представление вызвало у меня и у Паскуаля (последний даже покрутил пальцем у виска, показывая мне, что мы, мол, имеем дело с психом), он обратился к нам с укором:

— Не будьте столь бесчувственными, сеньоры, проявите хоть каплю человеческого участия! Помогите!

Я ответил, что глубоко сожалею, но вынести отсюда «ремингтон» он может, только переступив через труп Паскуаля или в крайнем случае — через мой собственный. Человечек в этот момент поправлял свой галстук, от натуги съехавший набок. К моему удивлению, с досадливой гримасой на лице он, обнаруживая полное отсутствие чувства юмора, ответствовал важным тоном:

— Благородного происхождения человек никогда не уклоняется от вызова на бой. Ваши место и час, кабальеро?

Спасительное появление Хенаро-сына в нашей будке сорвало переговоры, весьма напоминавшие последние формальности перед дуэлью. Хозяин вошел в тот момент, когда упрямый человечек, лиловый от натуги, вновь пытался обхватить мой «ремингтон».

— Оставьте, Педро, я помогу вам,— сказал Хенаро-сын и взял машинку, будто это был спичечный коробок. Сразу поняв по нашим физиономиям, что ему следует как-то объяснить происходящее, Хенаро-сын успокоил нас, улыбаясь: — Никто не погиб! И нечего грустить! Отец в ближайшие дни возместит вам машинку.

— Как всегда, мы — лишняя спица в колеснице, — пытался я протестовать, надеясь сохранить хорошую мину при плохой игре.— Мало того, что нас держат в этой грязной будке на крыше! Мало того, что у меня отобрали письменный стол и отдали его бухгалтеру! А теперь вот — и мой «ремингтон»! И никто даже не потрудится предупредить!

— Мы подумали, что этот сеньор — вор, — поддержал меня Паскуаль. —Ворвался сюда, оскорбляет нас, будто имеет на это право!

— Между коллегами не должно быть скандалов, — заявил Хенаро-сын, став в позу царя Соломона. С этими словами он взгромоздил мою пишущую машинку на плечо — я заметил, что человечек доставал хозяину как раз до подмышек.— Разве отец не представил вас друг другу? Хорошо, я сам сделаю это ко всеобщему удовольствию.

В ту же минуту человечек, подойдя ко мне, быстро, как заводной, поднял ручонку, протянул детскую ладошку и церемонно поклонился. При этом он произнес дивным тенорком:

— Ваш друг Педро Камачо. Боливиец и артист.

Он повторил тот же жест, поклон и фразу, обратившись к Паскуалю.

Последний, пребывая в состоянии крайней растерянности, никак не мог уяснить — издевается над ним человечек или и впрямь он таков от природы. Стоя посреди крыши и укрываясь в тени Хенаро-сына, который казался рядом с ним гигантом, Педро Камачо с утонченной вежливостью пожал нам поочередно руки, а затем обратился ко всей нашей Информационной службе. Приподняв верхнюю губу и сморщив лицо, отчего обнажилось несколько желтых зубов — видимо, это должно было изображать улыбку, хотя скорее явилось лишь жалкой гримасой,— после секундной паузы он поблагодарил нас следующей музыкальной фразой, сопровождаемой жестом прощающегося с публикой иллюзиониста:

— На вас я не держу зла, я привык к людскому непониманию. Прощайте, господа, и навеки!

Он исчез в дверце будки, вприпрыжку, точно домовой, догоняя нашего импресарио, поборника прогресса, который, сохраняя серьезный вид, с «ремингтоном» на плече вышагивал к подъемнику.

II

Однажды весенним солнечным утром, когда герани в Лиме кажутся ярче, розы — ароматнее, а бугенвиллеи — кудрявей, доктор Альберто де Кинтерос, светило в

области медицины — широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, твердость духа, — открыл глаза в спальне своей просторной резиденции, расположенной в районе Сан-Исидро. Сквозь створки жалюзи он увидел, как солнце золотит траву ухоженного сада, защищенного живой изгородью, полюбовался чистотой неба, прелестью цветов и ощутил то прекрасное состояние, которое дают человеку восемь часов благотворного сна и чистая совесть.

Была суббота, и он мог позволить себе не ходить в клинику — если только у сеньоры, произведшей на свет тройню, не возникнет каких-либо осложнений, — мог посвятить утро гимнастике, а затем попариться в сауне, прежде чем отправиться на церемонию бракосочетания Элианиты. Его супруга и дочь находились в Европе, обогащая эрудицию и обновляя гардероб, так что раньше конца месяца их ждать не следовало. Другой бы, располагая таким состоянием и внешностью — чуть тронутые инеем виски, упругая походка, элегантность манер (чем он привлекал завистливые взгляды даже совершенно неприступных дам), — другой бы, повторяем, воспользовался своим временным положением холостяка и тряхнул стариной. Но доктор Альберто де Кинтерос был не из тех, кого карты, юбки и напитки прельщали более положенного, так что среди его знакомых — а имя им легион — даже бытовал афоризм: «Его пороки — наука, семья, гимнастика».

Доктор приказал подать себе завтрак и, пока его готовили, позвонил в клинику. Дежурный врач сообщил ему, что мама тройни провела ночь спокойно, а кровотечение у больной, оперированной по поводу фибромы, прекратилось. Отдав должные распоряжения, доктор де Кинтерос напомнил, чтобы в случае серьезной необходимости ему звонили в гимнастический зал «Ремихиус» или — в час обеда — домой к его брату Роберто, затем добавил, что вечером зайдет в больницу. Когда мажордом принес сок папайи, чашечку черного кофе и поджаренный ломтик хлеба с медом, Альберто де Кинтерос был уже побрит и одет в серые вельветовые брюки, мокасины без каблуков и зеленую куртку с высоким воротом. Он завтракал, просматривая заметки о катастрофах и интригах в утренних газетах, затем взял свой спортивный чемоданчик и вышел из дома. В саду задержался на минуту — приласкать Пука, чистейшей породы фокстерьера, встретившего его радостным лаем.

Гимнастический зал «Ремихиус» находился в нескольких кварталах от дома на улице Мигеля Дассо, и доктору Кинтеросу доставляло удовольствие пройтись по ним пешком. Он шел медленно, отвечая на приветствия жителей этих кварталов, заглядывая в сады, которые как раз в эти часы садовники поливали и подстригали. Перед книжной лавкой Кастро Сото он обычно задерживался — выбрать себе какой-нибудь бестселлер. Было еще довольно рано, но тем не менее у кафе Дэвори толпились уже в полном сборе непременные юнцы в распахнутых рубашках и с длинными спутанными гривами. Они ели мороженое, не слезая с мотоциклов или сидя на бамперах гоночных машин, перебрасываясь шутками и договариваясь о том, где будут веселиться ночью. Юнцы с уважением поздоровались с доктором, но не успел он пройти мимо, как один из них осмелился бросить за его спиной реплику, которую он постоянно слышал в гимнастическом зале. То была вечная шутка по поводу его возраста и увлечений, и доктор переносил ее стоически, с чувством юмора: «Не надорвитесь, доктор, помните о внуках!» На этот раз шутка прошла мимо его ушей, ибо доктор старался вообразить, как прекрасно будет выглядеть Элианита в подвенечном платье, сшитом на заказ парижским домом моделей «Кристиан Диор».

В то утро народа в зале было немного: только Коко, тренер, да два фанатика тяжелой атлетики — Негр Умилья и Перико Сармьенто, вместе они представляли собой три горы мышц, которых хватило бы на десяток нормальных мужчин. Видимо, и они пришли недавно, так как еще разогревались.

— А вот к нам и аист без своих новорожденных пожаловал.— Коко потряс руку доктора.

— Еще держится, который уж век! — помахал рукой Негр Умилья.

Перико ограничился тем, что поцокал языком и поднял два пальца — средний и указательный — в приветствии, вывезенном из Техаса. Доктору Кинтеросу была приятна эта неофициальность, доверие, с которым относились к нему его соратники по гимнастике, будто лицезрение друг друга голыми и истекающими потом объединяло их в братстве, где исчезают различия в возрасте и положении. Доктор ответил, что в случае надобности он всегда к их услугам: при первом же головокружении или недомогании они могут обратиться в его кабинет, где он держит специально для них мягкую каучуковую перчатку.

— Переодевайся и давай warm up [1],— обратился к доктору Коко, снова принимаясь прыгать.

— Если и хватит инфаркт, тебе, ветеран, ничего не угрожает, кроме смерти,— воодушевил его Перико, приноравливаясь к прыжкам Коко.

— В раздевалке уже сидит серфист,— услышал доктор голос Негра Умильи, отправляясь переодеваться.

И правда, здесь, натягивая спортивные тапочки, сидел его племянник Ричард в синей водолазке. Двигался он так вяло, будто руки его были тряпичными. Лицо мрач-

[1] Делать разминку *(англ.)*.

ное, взор отсутствующий. Племянник смотрел на дядю голубыми, совершенно пустыми глазами с таким безразличием, что доктор Кинтерос даже забеспокоился — не стал ли он невидимкой?

— Только влюбленные бывают такими рассеянными.— Доктор подошел и потрепал волосы юноши.— Спустись-ка с луны, племянник.

— Извини, дядя,— очнулся Ричард и густо покраснел, будто его застали на месте преступления.— Я просто задумался.

— Хотел бы я знать, о каких проказах,— засмеялся доктор Кинтерос, открывая свой чемоданчик, и, прежде чем раздеваться, выбрал ящик для вещей.— Наверняка у вас дома сейчас все вверх дном? Элианита очень нервничает?

Ричард посмотрел на доктора с неожиданной ненавистью — и тот даже подумал, не уязвил ли он юношу? Однако племянник, сделав над собой заметное усилие, чтобы казаться вполне естественным, изобразил подобие улыбки:

— Да, действительно все вверх дном. Поэтому я и пришел сюда согнать жирок, пока не настало время...

Доктор подумал, племянник вот-вот добавит: «...идти на эшафот». Голос юноши звучал надтреснуто, на лице — тоска, а неуклюжесть, с которой он завязывал шнурки, сменялась резкими жестами, выдавая беспокойство, внутренний разлад, даже отчаяние. Глаза его были полны тревоги: взгляд их то перебегал с предмета на предмет, то неподвижно устремлялся в одну точку, то снова беспокойно метался, ища чего-то. Ричард — красивый малый, этакий молодой бог, бронзовый от солнца и моря. Он носился по волнам на своей доске — серфе — даже в непогожие зимние месяцы, увлекался баскетболом, теннисом, плаванием, футболом,— словом, был из тех парней, у которых торс отшлифован всеми видами спорта и которых Негр Умилья называл «смерть педерастам»: ни капли жира, широкие плечи, выпуклая грудь, осиная талия, а мускулистые, длинные и ловкие ноги заставили бы побледнеть от зависти лучшего боксера. Альберто де Кинтерос часто слышал, как его дочь Чаро и ее подружки сравнивали Ричарда с Чарльтоном Хэстоном [1] и утверждали, что кузен куда красивей последнего, и эти слова заставляли юношу краснеть, как маков цвет. Ричард занимался на первом курсе архитектурного факультета и, как утверждали его родители, Роберто и Маргарита, всегда был примернейшим мальчиком: прилежным, послушным, добрым к отцу, матери и сестре, отличался завидным здоровьем и вызывал всеобщую симпатию. Элианита и Ричард были любимыми племянниками доктора. Надевая водолазку, натягивая тапочки и застегивая пояс — в это время Ричард ждал его у душевых, постукивая по кафельным плиткам,— доктор посматривал на юношу не без тревоги.

— Какие-нибудь неприятности, племянник? — спросил он будто невзначай, с сердечной улыбкой.— А твой дядюшка не может протянуть тебе руку помощи?

— Нет, ничего. Что это тебе пришло в голову? — поторопился ответить Ричард, вновь загораясь, как спичка.— Я великолепно себя чувствую и чертовски хочу поразмяться.

— А твоей сестре уже привезли мой подарок? — вдруг вспомнил доктор.— Мне обещали в магазине Мургиа сделать это еще вчера.

— Потрясающий браслет! — Ричард уже прыгал по белым плиткам гардеробной.— Крошке он очень понравился.

— Такими делами обычно занимается твоя тетушка, но раз она все еще гуляет по европам, пришлось самому выбирать подарок.— Доктор Кинтерос растроганно развел руками.— Элианита — и в подвенечном платье! Это будет необыкновенное зрелище!

Дочь его брата Роберто — Элианита — считалась идеалом среди молодых девушек, так же как Ричард — среди юношей; одна из тех красавиц, что составляют гордость рода человеческого и самим своим существованием доказывают ничтожность и никчемность таких метафор, как зубки — жемчуг, глаза — звезды, косы — спелая пшеница, а щечки — персик.

Тоненькая девушка с очень темными волосами и очень белой кожей, Элианита была удивительно грациозной, даже дышала изящно; классические черты ее лица, казалось, были нарисованы восточным художником-миниатюристом. Она на год моложе Ричарда, только что закончила колледж. Единственный ее недостаток — робость. Робка она была настолько, что привела в полное отчаяние организаторов конкурса на титул «Мисс Перу», поскольку никак не соглашалась принять в нем участие. Никто, в том числе и доктор Кинтерос, не могли объяснить, почему Элианита так поспешила выйти замуж и, главное, за кого... Конечно, Рыжий Антунес обладал известными достоинствами. Он был покладистым парнем, имел диплом менеджера, полученный в Чикагском университете, унаследовал компанию по производству удобрений, да к тому же завоевал несколько призовых кубков на велогонках. Однако из бесчисленных юношей Мирафлореса и Сан-Исидро, увивавшихся вокруг Элианиты и готовых на преступление ради женитьбы на ней, Рыжий, без сомнения, был самой неудачной кандидатурой и к тому же (доктору Кинтеросу стало стыдно, что он позволяет себе так судить о том, кто через час-другой станет его родственником) самым бездарным, туповатым и глуповатым.

[1] Популярный американский киноактер.

— Ты, дядя, переодеваешься еще медленнее мамы,— пожаловался, не переставая прыгать, Ричард.

Они вошли в гимнастический зал. Коко, в котором педагогическое призвание было сильнее профессиональных обязанностей, наставлял Негра Умилью аксиомам собственной философии, показывая на желудок:

— Когда ты ешь, когда работаешь, сидишь в кино, возишься со своей девчонкой, выпиваешь — в любой момент своей жизни, даже, если сможешь, в гробу, помни: втягивай живот!

— Десять минут warm up, чтобы порастрясти твои кости, Мафусаил! — приказал тренер.

Прыгая через скакалку рядом с Ричардом и ощущая, как приятное тепло охватывает тело, доктор размышлял: несмотря ни на что, не так уж и страшно иметь за плечами пятьдесят лет, если сохранил свои силы. Кто из его ровесников мог похвалиться отсутствием живота, играющими мышцами? Да зачем ходить далеко: родной брат Роберто — на три года моложе его — казался старше лет на десять, такой он был круглый, одутловатый и сутулый. Бедняга Роберто, наверное, ему тоже грустно из-за предстоящей свадьбы Элианиты, света очей его. В конце концов свадьба — это утрата дочери. Да и его собственная дочь Чаро может в любой момент выскочить замуж; вот получит ее возлюбленный Тато Сольдевилья диплом инженера, и придется тогда испытать такую же горечь, почувствовать себя стариком. Доктор Кинтерос обращался со скакалкой с легкостью, какую дает практика, ни разу не запутавшись, не нарушив ритма, меняя ноги, скрещивая и разводя руки, как это делают тренированные спортсмены. В зеркало он наблюдал, как его племянник, сбиваясь и путаясь, скачет тем не менее с бешеной скоростью. Зубы юноши были крепко стиснуты, на лбу выступили капли пота, а глаза зажмурены, будто он стремился на чем-то сосредоточиться. Чем озабочен? Наверно, из-за какой-нибудь юбки?

— Хватит прыгать, лежебоки,— Коко, хотя и занимался поднятием тяжестей с Перико и Негром Умильей, не терял из виду доктора с племянником, давая им время войти в ритм.— Три серии упражнений сидя! И немедля, ископаемые!

Упражнения для брюшного пресса были испытанием силы доктора Кинтероса. Он выполнял их с невероятной быстротой, закидывая руки за шею, запрокидываясь, но не касаясь спиной пола, потом почти доставая коленками до лба. После каждой серии из тридцати упражнений следовала минутная передышка, когда он лежал, растянувшись и тяжело дыша. Выполнив девяносто упражнений, доктор сел и с удовлетворением отметил, что оставил Ричарда далеко позади. Он обливался потом с головы до ног, сердце его учащенно билось.

— Никак не могу понять, почему Элианита выходит замуж за этого Рыжего Антунеса? — услышал вдруг сам себя доктор.— И что она в нем нашла?

В общем, все это было ни к чему, и доктор тотчас же раскаялся, но Ричард даже не удивился вопросу. Задыхаясь — он только что закончил упражнения,— юноша ответил шуткой:

— Говорят, любовь зла, дядя...

— Он — прекрасный парень, и я уверен, сделает девочку счастливой,— пытался выправить положение доктор Кинтерос, несколько смущенный.— Я хотел сказать, что среди поклонников твоей сестры были лучшие парни Лимы. И вот, пожалуйста! Всем дала отставку, а приняла предложение Рыжего — он, конечно, парень хороший, но такой, такой...

— Недоросль, ты хочешь сказать? — помог ему Ричард.

— Ну, я бы не говорил так резко,— доктор Кинтерос вдыхал и выдыхал воздух, разводя и скрещивая руки.— Но, признаться, он кажется птенцом, выпавшим из гнезда. Другой девице он, может, и подошел бы, но Элианита... Такая красивая, такая умница. Бедняга, еще наплачется с ним! — Доктор почувствовал неловкость за свою откровенность.— Да ты, племянник, не принимай все это близко к сердцу.

— Будь спокоен, дядя,— улыбнулся Ричард.— Рыжий — хороший парень, и, если наша крошка обратила на него внимание, значит, он того стоит.

— Трижды по тридцать side bonds [1], инвалиды! — прорычал Коко, взметнув над головой штангу в восемьдесят килограммов и раздувшись, как лягушка.— Втянуть брюхо!

Доктор Кинтерос подумал, что за гимнастикой Ричард забудет о своих передрягах, но, наклоняясь из стороны в сторону, он опять отметил, что племянник выполнял упражнения с какой-то особой яростью: лицо юноши вновь исказилось, снова на нем проступили тоска и отчаяние. Вспомнив, что в семье Кинтеросов было предостаточно неврастеников, доктор предположил: видимо, старшему сыну Роберто выпало на долю продолжить традицию в следующем поколении. Однако, отвлекшись от этих мыслей, он посчитал, что, пожалуй, было бы благоразумнее зайти в клинику перед занятиями гимнастикой и взглянуть на маму тройни, а также на сеньору, оперированную по поводу фибромы. Спустя минуту он уже больше ни о чем не думал, захваченный физическими упражнениями. Он поднимал и опускал ноги («пятьдесят раз»), изгибал корпус («трижды выкручиваться, пока не лопнут легкие!»), заставлял работать спину,

[1] Боковые наклоны (*англ.*).

грудь, шею, послушный приказам Коко («Сильнее, прадед! Веселее, труп!»). Весь он превратился в одно сплошное легкое, которое захватывало и выпускало воздух; в кожу, исходившую потом; в мускулы, которые перенапрягались в усилиях, изнемогая, страдая. Когда Коко прокричал: «Три раза по пятнадцать рывков с нагрузкой!» — доктор понял, что дошел до точки. Он, правда, пытался из самолюбия выполнить хоть серию рывков с гирей в двенадцать килограммов, но сил уже не хватало. Доктор был выжат как лимон. Гиря вырвалась у него из рук на третьем рывке, после чего ему пришлось выслушать немало острот от тяжеловесов («Мумиям — в могилу, аистам — в зоопарк! Вызывай похоронное бюро! Requiescat in pace, amen!»[1]) и с немой завистью взирать, как Ричард, все в том же быстром ритме и с той же яростью, без труда выполнял заданные упражнения. Нет, постоянства и дисциплины, разумной диеты и размеренного образа жизни еще недостаточно, мелькнула мысль у доктора Кинтероса. Все это компенсирует разницу в возрасте лишь до определенной границы, но, переступив ее, возраст сам устанавливает непреодолимые препоны, дистанции, которые невозможно одолеть. Чуть позже, в сауне, почти ослепнув от пота, заливавшего глаза, доктор меланхолически повторил фразу, вычитанную в какой-то книге: «Молодость! Воспоминание о тебе приводит в отчаяние». Выйдя из сауны, он увидел, что Ричард присоединился к тяжеловесам и даже соревнуется с ними. Коко бросил насмешливую реплику:

— Красавчик решил покончить жизнь самоубийством, доктор!

Ричард даже не улыбнулся. Он держал гири на весу, и его потное, красное, с надувшимися венами лицо отражало отчаяние и безысходность, казалось, вот-вот он бросится на окружающих. Доктору вдруг представилось, как племянник гирями размозжит голову им всем четырем. Он помахал присутствующим рукой и, обратившись к Ричарду, пробурчал: «Увидимся в церкви».

Вернувшись домой, он успокоился, узнав, что мать тройни здесь же, в палате, пожелала играть в бридж с приятельницами, посетившими ее, а сеньора, оперированная по поводу фибромы, спрашивала, можно ли ей съесть оладьи под тамариндовым соусом. Доктор разрешил и бридж, и оладьи и, довольный собой, стал переодеваться: темно-синяя тройка, белая шелковая рубашка, серебристый галстук, который он заколол булавкой с жемчужиной. Он опрыскивал духами носовой платок, когда принесли письмо от жены; к письму Чарито приписала несколько строк. Оно было отправлено из Венеции — четырнадцатого города в их турне: «Пока ты получишь наше послание, мы побываем еще в семи городах — они так прекрасны». Обе были счастливы, а Чарито совершенно очарована итальянцами: «Все они — киноартисты, папочка, и ты даже вообразить не можешь, какие они мастера на комплименты, только не говори об этом Тато, тысячи поцелуев, чао!»

Доктор отправился пешком к церкви святой Марии, что на площади Овало Гутьеррес. Было еще рано, приглашенные только начинали прибывать. Он встал в передних рядах и принялся разглядывать алтарь, украшенный лилиями и белыми розами, а также витражи, напоминавшие митры прелатов. Доктор еще раз убедился в том, что эта церковь ему совершенно не нравится из-за раздражающего сочетания гипса, кирпича и претенциозных полуарок. Время от времени он приветствовал легкой улыбкой знакомых. Естественно, иначе и быть не могло: в церкви собрался весь свет. Дальние родственники, друзья, объявившиеся после векового отсутствия, и, конечно, цвет города: банкиры, послы, промышленники, политики. «Эх, Роберто, ах, Маргарита, какие они легкомысленные!» — думал доктор Кинтерос, но без осуждения, скорее снисходя к слабостям брата и его жены. Несколько взволнованный, он увидел, как в церковь под звуки свадебного марша входит невеста. Она была действительно прекрасна в своем воздушном белом платье; ее лицо, едва различимое под фатой, сияло дивной красотой, одухотворенностью; опустив глаза, об руку с Роберто, подходила она к алтарю, а отец, солидный и величественный, пытался скрыть свои переживания под маской властителя миров. Рыжий Антунес выглядел не таким уж некрасивым: он был втиснут в новенький фрак, физиономия его сияла от счастья; даже его мать — бесцветная англичанка, которая, прожив четверть века в Перу, все еще путала испанские предлоги,— в длинном, темном платье, с двухэтажной прической, казалась привлекательной. Вот уж верно, подумал доктор Кинтерос, кто не отступает, тот своего добьется. Потому как бедняга Рыжий Антунес преследовал Элианиту с тех пор, когда они были детьми, оказывая ей всяческие знаки внимания, которые она всегда принимала с олимпийским спокойствием. Но парень переносил все выходки и колкости Элианиты, все жестокие шутки соседских ребят, отпускавшиеся в его адрес за смирение и терпеливость. «Упорный парень»,— размышлял доктор Кинтерос. И вот Антунес, бледный от смущения, надевает обручальное кольцо на безымянный пальчик самой красивой девушки Лимы. Церемония закончилась. Раскланиваясь направо и налево в шумной толпе, доктор Кинтерос направлялся к боковому нефу церкви, как вдруг у одной из колонн заметил Ричарда. Тот стоял отвернувшись, будто одержимый неприязнью ко всем.

Пока доктор среди других желающих дожидался своей очереди поздравить новобрачных, ему пришлось выслушать добрую дюжину антиправительственных анекдотов, которыми с ним поделились братья Фебре — близнецы, столь похожие друг на

[1] Да почиет с миром, аминь! *(лат.)*.

друга, что, как утверждала молва, их путали даже собственные жены. Публики собралось столько, что стены зала приходского дома, похоже, вот-вот рухнут; многие еще дожидались в саду. В толпе мелькали официанты, разносившие шампанское. Слышались шутки, смех, тосты; все, буквально все говорили о том, как прекрасна невеста. Когда доктор Кинтерос, наконец, смог добраться до новобрачных, он обнаружил, что Элианита, несмотря на жару и тесноту, оставалась по-прежнему свежа, великолепна. «Тысячу лет счастья тебе, крошка»,— сказал доктор, обнимая ее, а она прошептала ему на ухо: «Сегодня утром Чарито звонила мне из Рима, поздравляла, и я поговорила с тетей Мерседес! Как они любезны — позвонили мне!» Потный и красный, будто вареная креветка, Рыжий Антунес искрился от счастья: «Теперь и мне тоже будет позволено называть вас дядей, дон Альберто?» — «Конечно, племянничек,— похлопал Антунеса по плечу доктор Кинтерос.— Можешь даже называть меня на «ты».

Спасаясь от духоты, доктор спустился с подиума, где стояли новобрачные, и под вспышками фотокамер, сквозь лавину приветствий и толчею в конце концов выбрался в сад. Здесь оказалось меньше людей и можно было перевести дух. Доктор не успел осушить бокал вина, как его окружили друзья-врачи, посыпались нескончаемые остроты по поводу путешествия его супруги Мерседес: она не вернется, ее увлечет какой-нибудь французик, вот уже на лбу доктора начинают вылезать рожки. Доктор Кинтерос не обижался на шутки, понимая — тут он вспомнил гимнастический зал,— что и сегодня ему придется быть мишенью чужого остроумия. Временами в море голов, в противоположном углу, он различал Ричарда, окруженного смеющейся молодежью. Но племянник, хмурый, с насупленными бровями, пил бокал за бокалом, будто в них было не шампанское, а вода.

«Наверное, ему неприятно, что Элианита выходит за Антунеса,— подумал доктор,— он тоже хотел бы более блестящей партии для сестры. А может, юноша — и скорее всего это именно так — переживает один из кризисов, столь свойственных переходному возрасту». Доктор Кинтерос не забыл, что в такие же годы и у него были трудные дни, когда он стоял перед выбором — медицина или аэронавтика. Отец сразил его неопровержимым аргументом: у авиаинженера в Перу не останется иного выхода, как заниматься авиамоделизмом или мастерить воздушные змеи. Видимо, Роберто, погруженный в свои дела, не был способен дать юноше нужный совет. И доктор Кинтерос, повинуясь внутреннему порыву, решил в один из ближайших дней пригласить к себе племянника и попытаться как-то поделикатнее выведать, чем ему можно помочь.

Дом Роберто и Маргариты находился на авениде Санта-Крус в нескольких кварталах от церкви святой Марии, так что по окончании церемонии в приходском доме приглашенные к обеду прошествовали по тенистым и залитым солнцем улицам района Сан-Исидро к старинному зданию из красного кирпича под деревянной кровлей, окруженному цветами, газонами, живыми изгородями и богато разукрашенному по случаю торжества Доктор Кинтерос, едва подойдя к дверям особняка брата, определил, что размах празднества превосходит все его расчеты, ему придется присутствовать при событии, которое репортеры светской хроники нарекут «потрясающим».

По всему саду были укреплены зонты, под которыми разместились столики. В глубине, рядом с псарней, огромный тент защищал от солнца стол, покрытый белоснежной скатертью. Стол тянулся вдоль стены всего дома и пестрел яркими цветами разнообразнейших закусок. Бар находился около бассейна, где плавали японские золотые вуалехвостки; рюмок, бокалов, фужеров и стаканов с коктейлями, графинов с прохладительными напитками было такое множество, словно речь шла об утолении жажды целой армии. Официанты в белых курточках, горничные в крахмальных передниках и кружевных наколках, встречая гостей, уже в дверях осаждали их предложением выпить стопочку писко, чичи [1] из альгарробы, водки с соком маракуйи, стакан виски, джина, бокал шампанского и закусить сырными палочками, жаренной с чесноком картошкой, фаршированной сливами ветчиной, запеченными в тесте креветками, волованами и прочими всевозможными закусками, порожденными фантазией обитателей Лимы для разжигания аппетита. В глубине дома красовались огромные корзины и букеты роз, тубероз, гладиолусов, лилий, гвоздик; прислоненные к стенам, расставленные по лестницам, у притолок, на столах и прочей мебели, они наполняли воздух благоуханием и свежестью. Паркет был натерт, портьеры свежевыстираны, фарфор и серебро сияли — и доктор Кинтерос не мог сдержать улыбки, заметив, что даже глиняные индейские божки, стоящие за стеклом, тоже оттерты до блеска. В холле стоял второй стол с закусками, в столовой — стол со сладкими блюдами: всевозможные булочки, сырное мороженое, печенье-«безе», яйца с миндалем в сиропе, взбитые желтки, пальмовые орехи, орешки с медом, окружавшие грандиозный свадебный торт — сложное сооружение из колонн и завитков крема, вызывавшее у всех дам возгласы восторга. Но особое любопытство женщин возбуждали подарки, разложенные для всеобщего обозрения на втором этаже. Здесь выстроилась такая длинная очередь желающих осмотреть дары, что доктор Кинтерос отступил, хоть его и подмывало взглянуть, как выглядит поднесенный им браслет в груде подарков.

[1] Писко — алкогольный напиток из винограда. Чича — популярный алкогольный напиток из маиса или сока разных плодов.

Побродив и полюбопытствовав то тут, то там, пожимая руки, принимая поздравления и отвечая на них, доктор вновь вернулся в сад и уселся под зонтом, чтобы спокойно насладиться вторым за этот день бокалом. Все шло прекрасно: Маргарита и Роберто умели принять гостей на высоком уровне! И хотя доктору показалось, что идея пригласить оркестр не очень соответствует данному случаю — пришлось убрать ковры, столик и угловой шкафчик с безделушками из слоновой кости, освобождая место для танцев,— он извинил это нарушение норм элегантности как уступку новому поколению, ведь известно: для молодежи праздник без танцев — не праздник. Гостей уже обносили индюшатиной и вином, а в это время Элианита, встав на вторую ступеньку подъезда, собиралась бросить свой букет невесты, который уже ждали с поднятыми руками ее подружки по колледжу и соседки. В одном из уголков дома доктор Кинтерос разглядел старую Венансию, нянчившую Элианиту с колыбели; растроганная старуха вытирала слезы уголком передника.

Доктор не смог определить марку вина, хотя сразу понял, что оно импортное, возможно испанское или чилийское; учитывая исключительность торжества, он допускал, что вино может быть и французским. Индюшатина была нежнейшей, пюре к ней походило на сливочное масло, а салат из капусты с изюмом был настолько вкусен, что, несмотря на все свои принципы в области диеты, доктор не удержался от второй порции. Он потягивал второй бокал и уже ощущал приятную сонливость, когда увидел направляющегося к нему Ричарда. В руках его дрожал стакан с виски. Глаза юноши остекленели, голос прерывался.

— Может ли быть на свете что-либо глупее свадьбы, дядя? — пробормотал Ричард и, сделав презрительный жест в адрес всех и всего, что его окружало, тут же рухнул в кресло. Галстук его съехал набок, свежее пятно безобразно расползалось по лацкану серого костюма, а в глазах, налившихся кровью от возлияний, сверкала безудержная злоба.

— Скажу тебе по секрету, я тоже не великий любитель праздников,— отозвался благодушно доктор Кинтерос.— Но тебе ли, да еще в твоем возрасте, говорить об этом, племянник.

— Как я ненавижу эти празднества! — прошептал Ричард, оглядываясь так, будто желая уничтожить все кругом.— Какого черта я здесь?

— Представь себе, что подумала бы твоя сестра, не явись ты на ее свадьбу? — Размышляя о том, какие нелепости говорят под воздействием алкоголя, доктор Кинтерос вспомнил, как развлекался обычно Ричард на подобных праздниках. Да, он веселился больше всех! Разве не был он признанным танцором? Сколько раз доктор видел своего племянника во главе компании девиц и юношей, затевавших танцы в комнате Чарито. Но он не стал говорить об этом племяннику. Ричард поспешно выпил стакан виски и попросил у официанта другой. — Во всяком случае, готовься, — сказал ему доктор. — Когда ты женишься, родители закатят тебе праздник почище этого.

Ричард поднес к губам стакан виски и, прикрыв глаза, медленно отпил глоток. Затем, не поднимая головы, глухим, почти неслышным голосом пробурчал:

— Я никогда не женюсь, дядя, клянусь тебе богом.

Доктор не успел ничего ответить, как перед ними возникла юная блондинка, одетая по моде в нечто голубое, и, решительно взяв Ричарда за руку, даже не дав ему опомниться, заставила его встать:

— Не стыдно тебе сидеть со стариками? Пойдем танцевать, глупыш!

Доктор Кинтерос поглядел им вслед, пока они не исчезли в холле, и вдруг почувствовал себя никому не нужным. Где-то в ушной раковине ехидным эхом все еще отдавалось словечко «старик», так непринужденно и легко произнесенное милым голоском младшей дочки архитектора Арамбуру. Он выпил кофе и пошел посмотреть, что творится в зале.

Праздник был в разгаре, танцы уже захватили все пространство от исходной точки — камина, у которого разместился оркестр, до соседних комнат; припевая во весь голос, пары отплясывали ча-ча-ча, меренге, кумбии, вальсы. Волна веселья, рожденная музыкой, солнцем и вином, от молодежи поднялась до людей зрелого возраста, а там увлекла и стариков, и доктор Кинтерос с удивлением наблюдал, как восьмидесятилетний родственник — дон Марселино Уапайя — что было мочи старался, насилуя свои похрустывающие суставы, настигнуть быстрый ритм «Серого облака», придерживаясь за свояченицу Маргариту. Дым, шум, толчея, мелькание огней вызвали у доктора легкое головокружение, он облокотился о перила лестницы и на мгновение закрыл глаза. Потом, счастливый и веселый, стал следить за Элианитой, все еще в подвенечном наряде, но без фаты. Задававшая тон празднеству, девушка не отдыхала ни минуты: едва кончался танец, ее тотчас окружали человек двадцать молодых людей с просьбой о следующем, и она — с сияющим взглядом и пылающими щеками — выбирала всякий раз нового партнера, возвращаясь в круговорот танцующих.

Рядом с доктором возник его брат Роберто. Вместо фрака сейчас он был одет в легкую тройку коричневого цвета и, только что кончив танцевать, весь исходил потом.

— Мне как-то не верится, Альберто, что она вышла замуж, — сказал он, указывая на Элианиту.

— Она очаровательна, — улыбнулся доктор Кинтерос. — Ты, наверное, все выложил ради праздника, Роберто?

— Мне для дочери ничего не жаль! — воскликнул его брат, хотя в голосе его послышался оттенок грусти.

— А где же они проведут медовый месяц? — спросил доктор.

— В Бразилии, а потом — в Европе. Это — подарок родителей Рыжего. — Потом добавил, посмеиваясь и кивнув в сторону бара: — Молодые должны уехать завтра рано утром, но думаю, что при такой перегрузке мой зять завтра вряд ли сдвинется с места.

Вокруг Рыжего Антунеса собралась группа молодежи, каждый хотел чокнуться с ним. Жених, еще более порыжевший и побагровевший, несколько истерично хохоча, пытался обмануть приятелей, лишь пригубив очередной бокал, однако друзья бурно протестовали и требовали пить до дна. Доктор Кинтерос поискал глазами Ричарда, но не обнаружил его ни в баре, ни среди танцующих, ни в том уголке сада, который был виден из окон.

Все произошло именно в этот момент. Едва закончился вальс «Идол», едва танцующие остановились, чтобы похлопать музыкантам, едва те сняли руки с гитарных струн, едва Рыжий отказался от двадцатого тоста, как вдруг невеста поднесла правую руку к глазам, будто пытаясь отогнать невидимую муху, покачнулась и, прежде чем партнер успел поддержать ее, упала, потеряв сознание. Отец и доктор Кинтерос сперва не стали спешить, полагая, что она, вероятно, оступилась и сейчас поднимется, посмеиваясь над собой, но шумиха, возникшая в зале, восклицания, крики матери: «Доченька, Элиана, Элианита!» — заставили обоих мужчин броситься на помощь к невесте.

Первым кинулся к ней Рыжий Антунес. Он поднял ее на руки и в сопровождении друзей и подружек понес невесту по лестнице, следуя за сеньорой Маргаритой, беспрестанно твердившей: «Сюда, сюда, в ее комнату, осторожней, пожалуйста! Врача, зовите скорее врача!» Некоторые родственники — дядюшка Фернандо, кузина Чабука, дон Марселино — пытались успокоить гостей и даже приказали оркестрантам снова играть. Доктор Кинтерос увидел, что его брат Роберто, стоя наверху лестницы, делал ему какие-то знаки. Бог мой, какая глупость: разве он не врач? Чего же он ждет? Доктор, перепрыгивая через ступеньки, бежал сквозь расступавшуюся перед ним толпу.

Элианиту принесли в ее спальню. Комната, выдержанная в розовых тонах, выходила в сад. Девушка, все еще бледная, начала приходить в себя — ресницы ее дрогнули. Вокруг кровати стояли Роберто, Рыжий, нянька Венансия, а рядом сидела мать, растирая ей лоб платком, смоченным в спирте. Рыжий держал невесту за руку и в тревоге, не отрываясь, смотрел на нее.

— А сейчас все немедленно должны удалиться из комнаты и оставить меня наедине с невестой,— приказал доктор Кинтерос, входя в привычную роль. Оттесняя всех за дверь, он заверял: — Не волнуйтесь. Ничего страшного не может быть. Дайте мне осмотреть ее.

Лишь старая Венансия не хотела уходить, и Маргарите пришлось вытолкнуть ее чуть ли не силой. Доктор Кинтерос подошел к кровати, сел рядом с Элианитой, в страхе и смущении смотревшей на него сквозь длинные ресницы. Он поцеловал ее в лоб, потом, измеряя температуру, не спускал с нее глаз и улыбался: ничего не произошло, не из-за чего пугаться. Пульс был неровный, девушка дышала с трудом, задыхаясь. Доктор решил, что уж слишком затянуто на ней платье, и помог ей расстегнуться.

— Тебе все равно придется менять туалет, сэкономишь время, племянница.

В этот момент он заметил на ней туго затянутый корсет и моментально понял, в чем дело. Тем не менее доктор не выдал себя, не задал племяннице вопрос, из которого можно было заключить, что ему все ясно. Раздеваясь, Элианита то краснела, то бледнела и теперь стояла перед дядюшкой совершенно растерянная, не поднимая глаз, не размыкая губ. Доктор Кинтерос сказал ей, что можно не снимать нижнее белье, но следует избавиться от корсета, мешающего ей дышать. Улыбаясь и пытаясь принять беспечный вид, доктор говорил девушке: все это вполне естественно — в день свадьбы от суеты, усталости, волнений и особенно от танцев — а она ведь несколько часов плясала без отдыха! — невеста может запросто потерять сознание. Тем временем он потрогал груди, слегка помял живот Элианиты (вырвавшись на свободу из крепких объятий корсета, живот округлился, как барабан). После осмотра — с уверенностью специалиста, через руки которого прошли тысячи беременных, — доктор заключил, что девушка была на четвертом месяце. Он взглянул в ее зрачки, задал несколько никчемных вопросов, чтобы сбить девушку с толку, и посоветовал полежать немного, прежде чем возвращаться в зал. Но — на этом он настаивал категорически — больше не танцевать!

— Вот видишь, ты немного устала, милая. На всякий случай я дам тебе успокоительное. Чересчур много впечатлений сегодня...

Он погладил девушку по голове и, чтобы дать ей время успокоиться, прежде чем войдут родители, стал расспрашивать о свадебном путешествии. Она отвечала

слабым голосом. Совершить такое путешествие — это самое прекрасное, что только можно придумать. А вот ему, при его занятости, никак не вырваться в длительную поездку. Вот уже три года, как не был в Лондоне, своем любимом городе. Пока он говорил, Элианита тщательно спрятала корсет, набросила на себя халат, сложила на стул подвенечное платье, а вместо него достала блузку с высоким воротом и вышитыми манжетами, вытащила другие туфли, потом нырнула в кровать и накрылась одеялом. Доктор размышлял, не лучше ли ему откровенно поговорить с племянницей и дать ей несколько советов. Но нет, бедняжке было бы так тяжело, так неприятно. Кроме того, она наверняка все это время тайно посещала врача и прекрасно знала, как ей следует вести себя. Тем не менее носить такой узкий корсет было опасно, это могло привести к любому несчастью или, во всяком случае, повредило бы будущему ребенку. Доктора потряс тот факт, что Элианита, его племянница, девушка, о которой он мог думать лишь как о целомудренном существе, и... зачала! Дон Альберто подошел к двери, открыл ее и громко — так, чтобы его слышали и невеста и все семейство, — сказал:

— Она здоровее нас с вами, но крайне утомлена. Отправьте кого-нибудь за успокоительным и дайте ей отдохнуть.

Венансия бросилась в спальню — через плечо доктор видел, как старая служанка ласкает Элианиту. В комнату вошли родители, Рыжий Антунес тоже намеревался сделать это, но доктор незаметно взял его под руку и увел за собой в туалет. Здесь он запер дверь.

— Это большая неосторожность, что в ее положении она танцевала весь вечер, да еще с таким пылом, Рыжий, — сказал доктор будничным голосом, намыливая руки под краном. — У нее мог случиться выкидыш. Посоветуй ей не носить корсет, да еще такой узкий. Сколько уже месяцев у нее? Три, четыре?

И в этот момент, словно молниеносный укус кобры, страшная догадка поразила доктора. В ужасе, чувствуя, что молчание в туалете наполняется чем-то страшным, он посмотрел в зеркало. Глаза Рыжего вылезли из орбит, рот свело в жуткой гримасе, придавшей ему совершенно идиотский вид: он был бледен как мертвец.

— Три-четыре месяца? — услышал доктор булькающие звуки.— Выкидыш?

Доктор почувствовал, что земля под ним разверзается. Боже, какой пень, какой дурак! — корил он себя. С необыкновенной ясностью он вдруг вспомнил, что помолвка и свадьба Элианиты заняли буквально несколько недель. Он отвел глаза от Антунеса, и, пока долго — слишком долго — вытирал руки, мозг его лихорадочно искал какую-либо ложь, спасательный круг, который помог бы парню выбраться из преисподней, куда он, доктор, только что его вверг. Единственные слова, что пришли ему в голову — и самому показались глупостью, — были:

— Элианита не должна знать, что я все понял. Я заставил ее поверить, будто ни о чем не догадываюсь. И главное, не беспокойся. Она чувствует себя хорошо.

Доктор быстро вышел, бросив искоса взгляд на Рыжего. Тот стоял на прежнем месте, глаза его уставились в пространство, лицо покрывали капли пота, теперь еще и рот был разинут. Затем он услышал, как парень заперся изнутри. Ну вот, подумал доктор, сейчас начнет рыдать, биться головой о стену, рвать на себе волосы, будет проклинать и ненавидеть меня даже больше, чем Элианиту и чем... но кого же? Он медленно спускался по лестнице, испытывая опустошающее чувство вины, терзаясь сомнениями и одновременно автоматически заверяя всех встречных, что с Элианитой все в порядке, она скоро оправится. Он вышел в сад, свежий воздух живительно подействовал на него. Затем он подошел к бару, залпом выпил стакан виски без льда и без воды и решил отправляться домой, не дожидаясь развязки драмы, вызванной им по наивности из самых лучших побуждений. Ему хотелось скорее закрыться в своем кабинете, утонуть в кресле, обитом черной кожей, погрузиться в музыку Моцарта.

Выйдя на улицу, он встретил Ричарда: тот сидел на траве, и состояние его было прямо-таки плачевным. Скрестив ноги, подобно Будде, юноша привалился к решетке сада, костюм его был измят, весь в пыли, пятнах, в траве. Но остановиться и забыть Рыжего с Элианитой заставило доктора не это, а лицо Ричарда: казалось, его расширенные глаза по мере опьянения смотрели все яростнее. В уголках рта повисли нити слюны; весь вид его был жалок и смешон.

— Это невозможно, Ричард, — проговорил доктор, наклоняясь и пытаясь поднять племянника. — Нельзя допустить, чтобы твои родители видели тебя таким. Поедем ко мне домой, побудешь там, пока не придешь в себя. Вот уж не думал увидеть тебя в таком состоянии, друг мой.

Ричард смотрел на доктора и не видел его, голова юноши повисла, и, хотя он пытался подчиниться дяде и встать, ноги у него подкашивались. Доктору пришлось взять его за обе руки и почти рывком поднять. Поддерживая племянника за плечи, он заставил его идти. Ричард валился из стороны в сторону, как тряпичная кукла и, казалось, вот-вот упадет. «Поищем-ка такси, — пробормотал доктор, останавливаясь у тротуара авениды Санта-Крус, по-прежнему придерживая племянника.— Пешком ты даже до угла не дойдешь, братец». Такси проносились мимо — все они были заняты. Доктор стоял с поднятой рукой. Ожидание, воспоминания об Элианите и Антунесе, беспокойство за состояние племянника — все это начинало нервировать док-

тора, его, который никогда не терял присутствия духа. И тут в чуть слышном бормотанье, слетавшем с губ Ричарда, он разобрал слово «револьвер» Ему оставалось лишь улыбнуться и, делая хорошую мину при плохой игре, заметить будто про себя и не ожидая, что Ричард услышит или возразит ему:

— А зачем тебе револьвер, племянник?

Ответ Ричарда, который все еще смотрел в пространство блуждающим взором убийцы, был медленным, хриплым, но четким:

— Чтобы убить Рыжего. — Он произнес каждый слог с ледяной ненавистью. Затем сделал паузу и добавил совсем осевшим голосом: — Или покончить с собой.

Язык опять перестал повиноваться ему, и Альберто де Кинтерос уже не разбирал, что говорил племянник. В этот момент остановилось такси. Доктор втолкнул Ричарда в машину, дал водителю адрес, сел сам. Лишь только машина тронулась, Ричард разрыдался. Доктор обернулся, и юноша упал к нему на грудь, продолжая рыдать так, что все его тело сотрясалось от нервных судорог. Доктор обнял племянника за плечи, потрепал волосы, точь-в-точь как сделал это недавно в комнате его сестры, и жестом успокоил водителя, следившего за ними в зеркальце: «Парень перебрал спиртного». Так они и ехали: Ричард сидел, прижавшись к дяде, поливая слезами, соплями и слюной синюю тройку и серебристый галстук доктора, а тот сохранял спокойствие. Более того, у него не дрогнуло сердце, когда в невнятном бормотании и всхлипывании племянника он, наконец, расслышал дважды и трижды повторенную фразу, которая при всем ужасающем ее смысле звучала прекрасно и даже чисто: «Потому что я люблю ее, как мужчина, дядя, и на все мне наплевать, на всё!» В саду, когда они вышли из такси у дома доктора, Ричарда стошнило — да так, что он напугал фокстерьера и вызвал укоризненные взгляды прислуги. Доктор Кинтерос под руку довел Ричарда до комнаты для гостей, заставил прополоскать рот, раздел его и, уложив в постель, дал сильнейшего снотворного, потом посидел около него, ласково успокаивая — хотя понимал: парень не видит и не слышит ничего,— пока не убедился, что тот погрузился в глубокий сон.

Лишь после этого доктор позвонил в клинику и сказал дежурному врачу, что не придет в больницу до завтра, если только не произойдет что-либо сверхъестественное, приказал мажордому отвечать, что его ни для кого нет дома — кто бы ни пришел и кто бы ни звонил по телефону, затем налил себе двойную дозу виски и заперся в кабинете послушать музыку. Он выбрал пластинки с произведениями Альбинони, Вивальди и Скарлатти, так как решил, что несколько часов утонченной музыки венецианского барокко — лучшее лекарство для смятенного духа. Утонув в тепле мягкого кресла, с шотландской трубкой в зубах, доктор закрыл глаза и стал ждать, когда музыка окажет на него свое непременное чудесное воздействие. Он думал о том, что вот и представился великолепный случай подвергнуть испытанию нравственные устои, которым он следовал со времен юности и согласно которым было предпочтительнее понять, чем осуждать людей. Он не ощущал ни страха, ни возмущения, ни даже удивления, скорее — легкое волнение, симпатию, а вместе с тем нежность и жалость. Теперь ему стало совершенно ясно, почему такая красивая девушка вдруг решила выйти замуж за дурака и почему у «укротителя волн», короля гавайского серфа никогда не было возлюбленной, почему он всегда и без возражений, с завидным усердием выполнял обязанности гувернантки своей младшей сестры. Наслаждаясь ароматом табака и живительным огнем напитка, доктор размышлял, что о Ричарде не следует очень уж беспокоиться. Он найдет возможность убедить Роберто отправить мальчика учиться за границу, в Лондон например, где тот встретит достаточно много нового и интересного, чтобы забыть прошлое. Неизмеримо больше доктора интересовала, тревожила судьба двух других участников этой истории. Но музыка убаюкивала его, и в мозгу все слабее и медленнее ворочался клубок вопросов без ответа: покинет ли Рыжий сегодня же вечером свою безрассудную жену? Может быть, уже сделал это? Или будет молчать, проявив необъяснимое благородство, а может и глупость, и жить с обманувшей его, которой так долго домогался? Разразится ли скандал или стыдливый флер светского приличия и оскорбленной гордости навсегда скроет трагедию, разыгравшуюся в районе Сан-Исидро?

III

Я вновь встретился с Педро Камачо через несколько дней после инцидента с машинкой. Было семь с половиной утра, я уже подготовил первую утреннюю радиосводку и намеревался отправиться в «Бранса» выпить чашку кофе с молоком, когда, проходя мимо швейцарской «Радио Сентраль», разглядел в окошечко свой «ремингтон». Машинка работала, я слышал стук ее тяжелых клавиш по ролику с бумагой, но никого за ней не увидел. Просунув голову в окошко, я обнаружил, что за машинкой сидел Педро Камачо. Здесь, в крохотной каморке швейцара, ему оборудовали рабочий кабинет. В низкой комнатушке, где стены были обезображены сыростью, трещинами и всевозможными рисунками и надписями, теперь возвышался письменный стол, тоже разваливающийся от старости, но столь же величественный, как и машинка, грохотавшая на его досках. Громадный стол и «ремингтон» буквально подавляли Педро

Камачо. Он, правда, взгромоздил на стул пару подушек, но и после этого, доставая головой лишь до клавиш, печатал, вздымая руки на уровень глаз, и со стороны казалось, будто он боксирует. Целиком поглощенный своим делом, он не замечал меня, хоть я стоял рядом. Вытаращенные глаза его были прикованы к бумаге, печатал он двумя пальцами, от усердия высунув кончик языка. На Камачо, как и в первый день, была черная тройка; он не снял ни пиджака, ни галстука-бабочки. Увидев его, столь сосредоточенного и занятого, окинув взглядом его пышную шевелюру и костюм поэта девятнадцатого века, строгого и серьезного за письменным столом с машинкой, чересчур громоздкими для него, и в этой конуре, слишком тесной для них троих, я испытал сложное чувство: нечто среднее между жалостью и презрением.

— Вы ранняя птичка, сеньор Камачо! — приветствовал я его, еле протиснувшись в комнатушку.

Не отрывая глаз от бумаги, он ограничился властным кивком в мою сторону, что должно было означать: замолчи, либо подожди, либо то и другое вместе. Я выбрал последнее и, пока он заканчивал фразу, успел обнаружить, что весь его стол завален отпечатанными на машинке листками и на полу валяются еще несколько листков смятых и брошенных туда за отсутствием корзины для бумаг. Через минуту он снял пальцы с клавиш, посмотрел на меня, встал, церемонно подал правую руку и ответил на мое приветствие сентенцией:

— Искусство вне расписания. Добрый день, мой друг.

Я не стал выяснять, не тесно ли ему в этой конуре, так как был уверен, он ответит, что искусству претят удобства. Поэтому я просто пригласил его выпить со мной кофе. Он определил время с помощью доисторического механизма, болтавшегося на его худенькой ручонке, и пробормотал: «После полуторачасовой работы имею право слегка освежиться». По дороге в «Бранса» я спросил, всегда ли он начинает работать так рано, на это он заметил, что вдохновение у него — в отличие от других «творческих деятелей» — всегда пропорционально силе солнечного света.

— Это чувство пробуждается во мне с восходом солнца и разгорается вместе со светилом, — объяснял он мне мелодичным голосом, пока сонный парень неподалеку от нашего столика выметал опилки с грязью и окурками после ночных посетителей «Бранса». — Я начинаю писать с первыми лучами. В полдень мой мозг пылает, как факел. Затем пламя спадает, и к сумеркам я останавливаюсь, ибо в черепе моем остаются лишь потухшие угли. Но это не имеет значения, так как по вечерам и по ночам во мне пробуждается — и лучше всего действует — актер. У меня превосходно разработанная система.

Педро Камачо говорил более чем серьезно, и я понял, что он едва ли замечает меня: он был из тех, кто нуждается не в собеседнике, а лишь в слушателе. Как и в первый раз, меня удивило в нем полное отсутствие чувства юмора, несмотря на деланные улыбки — вот раздвинулись губы, показав зубы, вот сморщился лоб,— которыми он сопровождал свой монолог. Речь его была напыщенной, и это вместе с великолепной дикцией, странной внешностью, экстравагантной одеждой придавало ему совершенно необычный вид. Чувствовалось, что он верит абсолютно во все, о чем говорит; в то же время было ясно и другое: он — самый уважительный и искренний человек в мире. Я попытался спустить его с высот искусства, где он парил, на бренную землю, к будничным делам, и спросил, устроился ли он, есть ли у него здесь друзья, как он чувствует себя в Лиме. Все эти земные темы ни капли не интересовали его. С нетерпеливым жестом он ответил, что снял себе «студию» недалеко от «Радио Сентраль» на улице Килка и что он великолепно чувствует себя где угодно: разве весь мир — не родина артиста? Вместо кофе он попросил чашку отвара йербалуисы[1] с мятой, который, как он меня просветил, не «только приятен на вкус, но и освежает мозг». Он пил короткими, размеренными глотками, будто отсчитывал точное время, и как только закончил, поднялся, настоял на том, чтобы мы уплатили поровну, а затем попросил помочь ему купить план Лимы, где были бы указаны не только улицы, но и кварталы города. Мы нашли то, что ему было нужно, на лотке бродячего торговца на улице Уньон. Он внимательно просмотрел карту, развернув ее под открытым небом, и с удовлетворением отметил наличие разноцветных границ, разделяющих кварталы. Потом потребовал от продавца счет на двадцать солей — именно столько стоил план.

— Это — орудие труда, и оплачивать его должны работодатели,— изрек он, когда мы возвращались каждый к своей работе. Походка его тоже была необычной: он все время дергался, будто боялся опоздать на поезд. В дверях «Радио Сентраль», прощаясь, он указал мне на свой тесный кабинет, как человек, демонстрирующий роскошный дворец.

— Практически мой кабинет находится на улице,— сказал он, явно ублаготворенный собой и положением вещей вообще. — Это все равно как если бы я работал на тротуаре.

— Вас не отвлекает шум? Здесь и прохожие, и машины, — осмелился заметить я.

— Напротив, — успокоил он меня, довольный, что может провозгласить еще

[1] Растение с ароматными листьями из семейства вербеновых, произрастающее в Перу.

одну сентенцию: — Я ведь пишу о жизни, и моим творениям нужны непосредственные впечатления от действительности.

Я уже уходил, когда Педро Камачо остановил меня, поманив пальцем. Указывая на план города, он попросил с таинственным видом предоставить ему — сегодня или в другой день — кое-какие данные о Лиме. Я ответил, что сделаю это с удовольствием.

У себя на верхотуре «Радио Панамерикана» я нашел Паскуаля с готовой радиосводкой для передачи в девять утра. Сообщение начиналось новостью из тех, что так нравились Паскуалю. Он добыл ее со страниц газеты «Кроника», обогатив текст эпитетами из своего собственного лексикона: «В бурном Антильском море вчера затонуло панамское грузовое судно «Акула», причем погибли все восемь человек команды: одни захлебнулись в волнах, других сожрали акулы, которыми кишмя кишит вышеупомянутое море». Я заменил «сожрали» на «растерзали» и вычеркнул слова «бурное» и «вышеупомянутое», прежде чем поставил на материале свою визу. Паскуаль не рассердился — он никогда не сердился, но протест все же выразил:

— Ну вот, дон Марио! Обязательно подпортит мой стиль!

Всю эту неделю я пытался написать рассказ, основанный на событиях, о которых мне поведал дядя Педро, работавший врачом в одном из имений в Анкаше[1]. Однажды ночью какой-то крестьянин, нарядившись пиштако — так здесь называют дьявола — и засев в зарослях сахарного тростника, напугал соседа. Земляк, ставший жертвой розыгрыша, до того опешил, что рубанул своим мачете шутника, отправив его на тот свет с расколотым черепом. Потом убийца бежал в горы. Через некоторое время крестьяне, возвращавшиеся с праздника, увидели еще одного пиштако, который крадучись пробирался по селению, и забили его палками. Выяснилось, что убитый был убийцей первого пиштако и пользовался этой маскарадной личиной, чтоб навещать по ночам семью. Убийцы-крестьяне в свою очередь бежали в горы и, переодеваясь в пиштако, приходили по ночам в селение, где двоих из них зарубили мачете запуганные жители, в свою очередь бежавшие в горы, и так далее... Мне хотелось не столько изложить в рассказе события, происшедшие в имении, где трудился дядя Педро, сколько написать финал, вдруг порожденный моей фантазией: в какой-то момент среди многочисленных лжедьяволов неожиданно объявляется самый настоящий — живой и помахивающий хвостиком. Я вознамерился назвать свое произведение «Качественный скачок», и мне хотелось, чтобы оно было остраненным, интеллектуалистским, сконденсированным и саркастическим, как рассказы Борхеса[2], которого в те дни я открыл для себя.

Рассказу я отдавал все свободные минуты, остававшиеся у меня от сводок для «Радио Панамерикана», от университета и бара «Бранса», я писал всюду и всегда — у бабушки с дедушкой, в полдень и по ночам.

В эту неделю я не обедал ни у кого из моих дядюшек и тетушек, не был с визитами у кузин, даже не ходил в кино. Я писал и уничтожал написанное — точнее, как только я заканчивал фразу, она казалась мне ужасной, и все начиналось снова. Я был уверен, что орфографическая или каллиграфическая ошибка не бывает случайностью, что это — призыв к моему вниманию, особое предостережение от подсознания ли, от господа бога или еще от кого, указующее на то, что данная фраза никуда не годится и ее следует переделать. Паскуаль скрипел: «Черт побери! Если папа и сын Хенаро обнаружат такое разбазаривание бумаги, нам придется платить за нее из собственного кармана!» В конце концов, как-то в четверг, я решил, что рассказ окончен. Это был монолог на пять страниц, в финале которого обнаруживалось, что истинный дьявол — и есть сам рассказчик. Я прочел «Качественный скачок» на нашей крыше Хавьеру после того, как была сдана радиосводка для передачи в двенадцать часов.

— Прекрасно, братец, — одобрил он и даже зааплодировал. — Но неужели в наши дни еще можно писать о дьяволе? А почему не написать реалистический рассказ? Почему бы не выкинуть настоящего дьявола и предоставить действию развиваться среди лжечертей? Можно было бы создать фантастическую историю с участием всяких призраков, какие тебе нравятся. Но без дьяволов! Без дьяволов, ведь это попахивает религией, ханжеством, всем, что уже вышло из моды.

Когда Паскуаль ушел, я разорвал в клочки «Качественный скачок», бросив обрывки в мусорную корзину, решил забыть о «пиштаках» и отправился обедать к дяде Лучо. Там я узнал, что между боливийкой и типом, о котором я знал понаслышке — помещиком и сенатором из Арекипы[3], доном Адольфо Сальседо, состоявшим в отдаленном родстве с нашим семейным кланом,— возникло нечто похожее на роман.

— Самое привлекательное в этом претенденте то, что у него есть деньги, связи и намерения его по отношению к Хулии — серьезны,— говорила тетушка Ольга.— Он предложил ей вступить в брак.

— А самое плохое в нем то, что дону Адольфо уже за пятьдесят и что он до сих пор не смог опровергнуть гнусных подозрений в свой адрес,— возражал дядюшка Лучо. —Если твоя сестра выйдет за него, ей придется либо остаться вечной девственницей, либо изменять мужу.

---

[1] Департамент Республики Перу.
[2] Современный аргентинский писатель, занимающий реакционную позицию.
[3] Второй по значению город Перу, центр одноименного департамента.

— Вся эта история с Карлотой — типичные сплетни кумушек из Арекипы,— продолжала спор тетя Ольга.— У Адольфо вид настоящего мужчины.

«История» сенатора и доньи Карлоты была мне хорошо известна, так как в свое время послужила темой для другого моего рассказа, после комментариев Хавьера также нашедшего свое место в мусорной корзине. Этот брак потряс весь юг страны, ибо дон Адольфо и донья Карлота владели землями в Пуно [1], и их союз вызвал широкий резонанс среди тамошних латифундистов. Все происходило на высшем уровне: бракосочетание состоялось в живописной церкви в Янауара, приглашенные понаехали со всех концов Перу, а банкет был достоин Пантагрюэля. После двух недель медового месяца молодая супруга бросила своего мужа в каком-то уголке земного шара и вернулась одна в Арекипу, вызвав тем самым громкий скандал и объявив ко всеобщему изумлению, что будет просить папу римского расторгнуть ее брак. Матушка дона Адольфо Сальседо, встретив Карлоту после утренней мессы, здесь же, на паперти собора, спросила ее, не тая своей ненависти:

— Почему ты бросила моего бедного сына, бандитка? Да еще таким манером!

На что латифундистка из Пуно, сопровождая свои слова выразительным жестом, ответила во всеуслышание:

— Потому что у вашего сына, сеньора, то, чем обладает каждый кабальеро, служит только для того, чтобы делать «пипи».

Карлота добилась разрешения церковных властей на расторжение брака с Адольфо Сальседо, ставшего с тех пор непременной мишенью для шуток на всех семейных сборищах. Едва познакомившись с тетушкой Хулией, дон Адольфо осаждал ее приглашениями посетить ночной бар «Боливар» или ресторан «91», дарил духи, слал корзины роз. Я был счастлив, узнав об этом романе, и ждал лишь появления тетушки Хулии, чтобы подпустить шпильку по поводу нового претендента. Но она испортила мне всю игру. Войдя в столовую, когда мы уже пили кофе — в руках у нее был ворох пакетов,— тетушка объявила, громко смеясь:

— Слухи подтвердились! Действительно, у сенатора Сальседо «гобой» уже не играет...

— Хулия, ради бога! Как ты себя ведешь?..— запротестовала тетя Ольга.— Каждый может подумать, что ты...

— Он сам рассказал мне все сегодня утром,— пояснила тетушка Хулия, хохоча во все горло над трагедией латифундиста.

Выяснилось, что до двадцати пяти лет Адольфо был вполне нормальным человеком. Он находился, к своему несчастью, на отдыхе в Соединенных Штатах, когда с ним произошел ужасный случай. То ли в Чикаго, то ли в Сан-Франциско или в Майами — тетушка Хулия не помнила, где именно,— молодой Адольфо покорил (как он считал) некую даму в одном кабаре. Она привезла его в отель. Рандеву достигло своего апогея, как вдруг Адольфо ощутил спиной острие ножа. Адольфо повернулся: над ним стоял какой-то тип, одноглазый, двухметрового роста. Нет, его не ранили, не избили, у него просто отобрали доллары, часы и нательный образок. Так это все началось... И кончилось... Навсегда. С тех пор всякий раз, находясь рядом с женщиной и готовясь к любовному поединку, дон Адольфо чувствовал на позвоночнике холод металла, перед ним всплывало зверское лицо одноглазого,— он покрывался испариной и весь его любовный пыл улетучивался. Сенатор советовался с сотнями врачей, психиатров, обращался даже к знахарю из Арекипы, который заставлял его заживо зарываться в землю лунной ночью у подножия вулканов.

— Не будь так жестока! Не смейся! Бедняжка дон Адольфо!— Тетя Ольга содрогалась от смеха.

— Знай я наверняка, что он так и останется травмированным, я бы вышла за него замуж... ради денег,— отвечала без колебания тетушка Хулия.— Ну, а вдруг я его вылечу? Представьте только старикана, пытающегося наверстать со мной все упущенное им за это время!

Я подумал, какое удовольствие доставило бы Паскуалю приключение сенатора из Арекипы; с каким рвением он готовил бы радиосводку, целиком посвященную этой теме. Дядя Лучо предупредил тетушку Хулию, что, если она и впредь останется столь привередливой, ей трудно будет подыскать себе жениха в Перу. Она пожаловалась, что и здесь, как в Боливии, все симпатичные парни бедны, а все богатые — препротивны, а если появляется молодой, богатый и красивый мужчина, он обязательно чей-то муж. Вдруг она обернулась ко мне и спросила: не из опасенья ли, что меня вновь потащат в кино, я не показывался у них целую неделю. Я сказал, что нет, не поэтому, выдумал какие-то экзамены и предложил ей пойти в кино в тот же вечер.

— Великолепно, пойдем в кинотеатр «Леуро»,— безапелляционно заявила она.— На этом фильме буквально все рыдают.

В автобусе по дороге на радиостанцию я вновь вернулся к мысли написать историю Адольфо Сальседо, нечто легкое, ироничное в стиле Сомерсета Моэма или лукаво-эротичное в духе Мопассана.

---

[1] Департамент на юге Перу.

В кабинете Хенаро-сына сидела в одиночестве и пожатывалась от хохота его секретарша Нелли. В чем дело?

— На «Радио Сентраль» между Педро Камачо и Хенаро-отцом возник конфликт,— рассказывала Нелли.— Боливиец заявил, что отказывается от аргентинских актеров в радиопостановках. В противном случае он уходит. Добился поддержки Луциано Пандо и Хосефины Санчес и настоял на своем. Контракты со всеми аргентинцами разорваны. Вот дела-то!

Надо отметить, что между местными дикторами, чтецами и актерами и приглашенными из Аргентины было острое соперничество. Аргентинцы прибывали в Перу целыми партиями, многие были вынуждены покинуть свою страну по политическим мотивам; я подумал было, что боливийский писака провел эту операцию, дабы завоевать симпатии местных сотрудников. Но дело обстояло иначе. Вскоре я обнаружил, что Педро Камачо не был способен на столь расчетливые действия. Его неприязнь к аргентинским актерам и актрисам не связывалась с корыстными соображениями.

Я отправился к Педро Камачо после радиосводки в семь вечера — сообщить, что у меня выдалась свободная минута и я могу ему помочь: изложить интересующие его сведения о городе. Он провел меня в свою клетушку и царственным жестом предложил единственно возможное место для сидения (не считая его собственного стула)— угол развалины, служившей ему письменным столом. Он был в неизменном пиджаке и неизменном галстуке-бабочке, по-прежнему вокруг него лежали отпечатанные на машинке листки, на этот раз он аккуратно сложил их стопочкой у «ремингтона». Часть стены закрывал план города, прикрепленный кнопками. Теперь он оказался густо испещренным цветными знаками, красным карандашом были начерчены какие-то странные фигуры, и разные кварталы помечены заглавными буквами. Я спросил его, что означают эти символы и буквы.

Он изобразил подобие улыбки, привычно сочетающей глубокое самоудовлетворение с благожелательностью, и, усаживаясь в кресло, изрек:

— Я пишу о жизни, мои произведения связаны с реальностью, как кисть винограда с лозой. Именно поэтому мне и понадобится этот план Лимы. Я хочу знать, таков или не таков этот мир.

Он указал на план, и я напряг зрение, пытаясь понять, что же он хочет сказать. Заглавные буквы ни о чем не говорили, не связывались ни с одним знакомым мне учреждением или частным лицом. Единственно мне стало ясно: красным карандашом очерчены различные кварталы районов Мирафлореса и Сан-Исидро, Ла Виктории и Кальяо. Я сказал, что абсолютно ничего не понимаю и жду его пояснений.

— Все очень просто,— нетерпеливо и назидательно ответил Педро Камачо.— Самое главное — это правда, ибо в правде — искусство. А где ложь, там вовсе нет или почти нет искусства. Я должен знать, соответствует ли город на плане, помеченном моими знаками, истинной Лиме. Скажем, соответствуют ли району Сан-Исидро два заглавных «А», нанесенных мною. То есть является ли этот район местом проживания «Абсолютной Аристократии»?

Он особенно упирал на два заглавных «А», как если бы хотел подчеркнуть, что «лишь слепцы не замечают солнца». Все городские районы были обозначены Педро Камачо соответственно их социальной характеристике. Самым интересным во всем этом были определения, сущность введенной им «номенклатуры». В некоторых случаях Педро оказался прав, в других его выводы были произвольными. Я, например, согласился, что сокращение «СБРД» (то есть средняя буржуазия, ремесленники, домохозяйки) могло относиться к району Хесус Мария, но явно несправедливо обозначать районы Ла Виктория и Порвенир беспощадной аббревиатурой «БГЖП» (бродяги, гомосексуалисты, жулики, проститутки) и что очень спорно сводить весь район Кальяо к «МРМ» (морякам, рыбакам и мулатам), а Серкадо и Эль Агустино — к «СРЧИ» (служанки, рабочие, чиновники, индейцы).

— Дело заключается не в научной, а, так сказать, в художественной классификации,— заявил Педро Камачо, жестикулируя, как иллюзионист, своими крохотными ручками.— Меня интересует не *весь* народ, проживающий в данном районе, а самые характерные его представители, те, кто придает этому уголку своеобразный аромат, своеобразную окраску. Если персонаж по профессии гинеколог, то ему следует проживать там, где ему положено, что полностью относится и к сержанту полиции.

Сохраняя присущую ему похоронную мину, он подверг меня тщательному и смешному допросу о человеческой топографии города, из чего я понял, что его интересовали только крайности: миллионеры и нищие, белые и черные, святоши и преступники. В зависимости от моих ответов он добавлял, изменял или стирал свои обозначения на плане быстрыми, решительными движениями, и это убедило меня, что он придумал и пользовался данной системой классификации уже давно. Почему же тогда он разметил своими обозначениями лишь городские районы Мирафлорес, Сан-Исидро, Ла Виктория и Кальяо?

— Потому что скорее всего именно они станут основным местом действия,— ответил он, рассматривая своими выпученными глазами отмеченные районы с удовлетворением Наполеона, выигравшего битву.— Я ненавижу полутона, не выношу мутную воду и жидкий кофе. Мне нравятся либо «да», либо «нет», мужественные муж-

чины и женственные женщины, ночь или день. В моих произведениях всегда действуют аристократы и плебеи, проститутки или праведницы. Середина меня, как и мою публику, не воодушевляет.

— Вы очень похожи на писателя-романтика,— пришло мне в голову произнести это в недобрый час.

— Они, они похожи на меня!— подскочил Педро Камачо на своем стуле, и в голосе его прозвучала глубокая обида.— Я никогда не занимался плагиатом! Меня можно упрекнуть в чем угодно, но только не в этом грехе. А вот меня обкрадывали, и притом самым чудовищным образом!

Я хотел убедить его, что о сходстве с писателями-романтиками было сказано не с намерением обидеть, что это была шутка, но он не слушал меня и, неожиданно впав в крайнюю ярость и неистово жестикулируя, будто ему внимала целая аудитория, обрушил на меня водопады красноречия:

— Вся Аргентина переполнена моими произведениями, изуродованными на берегах Ла Платы. Вы когда-нибудь встречались с аргентинцами? Сойдите с дороги, если на вашем пути попадется один из них...

Он побледнел, ноздри его подрагивали. Стиснув зубы, он изобразил на лице крайнее отвращение. Я растерялся перед этим неожиданным проявлением его характера, пробормотав нечто уклончивое и избитое — жаль, мол, что в Латинской Америке не существует законов об охране авторских прав, и обидно, когда интеллектуальный труд лишен всяких гарантий и защиты. И снова попал пальцем в небо.

— Речь не об этом! Меня не волнует, что мои произведения переиначивают, крадут...— ответил мне Педро Камачо в еще большем исступлении.— Мы, художники, работаем не во имя славы, а во имя любви к человеку. Разве можно желать лучшего? Пусть мои произведения расходятся по всему миру, пусть даже под другими названиями. Но я не могу простить этим щелкоперам с Ла Платы, что они корежат мои сценарии, уродуют написанное мною! Знаете ли вы, что они делают? Они не только меняют названия моих драм и, естественно, имена персонажей. Но еще пропитывают их своим...

— Высокомерием,— прервал я его, уверенный, что уж на этот раз попаду в точку.— Легкомыслием.

Он презрительно покачал головой и горестным жестом провел по глазам рукой, как бы отгоняя от себя докучливых призраков. Затем с грустной миной закрыл окна своей каморки, поправил на шее галстук-бабочку, вынул из стола толстенную книгу, засунул ее под мышку и, показав мне на выход, потушил свет и запер свою конуру. Я спросил, что за книгу он взял. Камачо уважительно и ласково провел рукой по корешку переплета, будто гладил кошку.

— Старый спутник моих странствий!— прошептал он с волнением, протягивая мне фолиант.— Верный друг и прекрасный помощник в работе.

Книга, опубликованная в доисторические времена испанским издательством «Эспаса Кальпе» — ее плотный переплет был испещрен царапинами и множеством пятен, а страницы пожелтели,— принадлежала перу неизвестного, но достаточно титулованного автора (Адальберто Кастехон де ла Регера, лиценциат классической литературы, грамматики и риторики университета Мурсии). Труд имел длинное название: «Десять тысяч цитат из произведений ста лучших писателей мира». Был и подзаголовок: «Что говорили Сервантес, Шекспир, Мольер и др. о Боге, Жизни, Смерти, Любви, Страданиях и т. д.».

Мы уже шли по улице Белен. Протянув ему на прощание руку, я решил взглянуть на часы и ужаснулся: было десять вечера. Мне казалось, будто я провел с артистом всего минут тридцать, а на самом деле социозлословный анализ города и проклятия в адрес плагиаторов заняли у нас целых три часа! Я помчался на радиостанцию, уверенный в том, что Паскуаль все пятнадцать минут радиосводки, передаваемой в девять вечера, посвятил какому-нибудь поджигателю из Турции или детоубийце из столичного района Порвенир. Но, видимо, дела обстояли не так уж плохо, потому что в лифте я встретил обоих Хенаро и не заметил никаких признаков недовольства. Они рассказали, что в этот вечер подписали контракт с Лучо Гатикой на его выступления в течение недели как гостя «Радио Панамерикана». В своем «кабинете» на крыше я проверил сводки, и они оказались вполне «вещательными». Не торопясь я пошел к автобусу на площади Сан-Мартина, чтобы отправиться в Мирафлорес. Лишь к одиннадцати часам вечера я добрался до своих стариков — дедушка с бабушкой уже спали. Они всегда оставляли мне ужин на плите. На этот раз рядом с блюдом риса и холодной яичницей — таково было мое неизменное меню — лежало послание, написанное дрожащей рукой: «Звонил твой дядя Лучо. Что ты обманул Хулиту, потому что вы должны были идти в кино. Что ты — дикарь и чтобы ты позвонил ей и извинился. Дед».

Конечно, забыть о радиосводках и о свидании с дамой из-за боливийского писаки — это уж слишком! Улегся я в плохом настроении и с неспокойной душой, чувствуя, что невольно проявил себя невежей. Я все крутился и вертелся в кровати, пытаясь заснуть и стремясь убедить себя, что виновата была прежде всего сама Хулита, навязавшая мне эти экскурсии в кино всякими недостойными уловками. При-

шлось поломать голову в поисках извиняющего меня предлога для завтрашнего разговора с ней по телефону. Ничего дельного в голову не пришло, а сказать ей правду я не решился. Но все-таки сделал смелый шаг. После передачи сводки в восемь утра я отправился в центр города, заглянул в цветочный магазин и послал ей букет роз, который обошелся мне в сто солей, и прикрепил к нему визитную карточку, где после долгих сомнений написал фразу, казавшуюся мне образцом лаконизма и элегантности: «С глубокими извинениями».

Вечером в промежутке между подготовкой радиосводок я сделал несколько набросков моего эротико-плутовского рассказа о трагедии сенатора из Арекипы. Я собирался серьезно поработать в этот вечер над рассказом, но после основной передачи вдруг пришел Хавьер и увел меня на сеанс спиритизма в квартал Барриос Альтос. Медиумом был канцелярист, с которым Хавьер познакомился в Ипотечном банке. Он много рассказывал мне об этом типе, который посвящал Хавьера в тайны своих сношений с «духами», посещавшими его не только на специальных сеансах, но и просто так, вдруг и при самых неожиданных обстоятельствах, что доставляло ему бесконечные неприятности. «Духи» имели обыкновение подшучивать над канцеляристом: скажем, звонили ему на рассвете по телефону; сняв трубку, он слышал на другом конце провода неповторимое хихиканье своей прабабки, скончавшейся полвека назад и с тех пор пребывавшей в чистилище (об этом она сообщила ему лично). «Духи» являлись в автобусах, маршрутных такси, гуляли по улицам. Они нашептывали канцеляристу в ухо, а он должен был хранить полное молчание и невозмутимость — кажется, он называл это «игнорировать»,— чтобы окружающие не сочли его сумасшедшим. Потрясенный такими сведениями, я просил Хавьера договориться о сеансе с канцеляристом-медиумом. Он согласился, но вот уж которую неделю сеанс откладывался: чиновник ссылался на неблагоприятные метеорологические условия. Выяснилось, что необходимо дождаться определенной фазы луны, смены приливов и отливов и других более важных факторов, ибо «духи», видимо, были очень чувствительны к влажности, ветру, сочетанию звезд и так далее. Но, наконец, день настал.

Великим нашим достижением было прежде всего то, что мы отыскали жилище канцеляриста-медиума — мрачную крохотную квартирку, затиснутую среди других квартир в глубине дома на улице Кангальо. Медиум был мужчина лет шестидесяти, холост, лысоватый, от которого пахло какими-то притираниями; взгляд у него был бычий, и разговор он вел настолько банальный, что никто не мог бы заподозрить его в общении с «духами». Он принял нас в грязной, обшарпанной комнатке, предложил пресные галеты с кусочком сыра и по крохотной стопочке писко. Пока не пробило полночь, он уверенно повествовал нам о своем опыте общения с загробным миром. Все началось с момента, когда он овдовел — лет двенадцать назад. Смерть жены повергла его в неутешную печаль, от которой его спас один из друзей, познакомив со спиритизмом. Это событие стало главным в его жизни.

— И не только потому, что человек получает возможность по-прежнему видеть и слышать дорогих ему существ,— вещал канцелярист тоном, принятым при церемонии крещения,— но еще и потому, что это — прекрасное развлечение, часы летят, а ты их не замечаешь.

От его рассказов возникало ощущение, будто переговоры с мертвецами по сути схожи с просмотром кинофильма или футбольного матча (хотя, несомненно, не столь привлекательны). По описаниям медиума, загробная жизнь была совсем будничной, невоодушевляющей. Если судить по тому, что ему поведали «духи», никакой разницы в «качестве» жизни здесь и там не существовало: «духи» болели, влюблялись, вступали в брак, рожали детей, путешествовали, но — единственное, что их отличало от живых,— никогда не умирали. Я уже бросал на Хавьера убийственные взгляды, как вдруг часы пробили полночь. Канцелярист усадил нас вокруг стола (не круглого, а квадратного), потушил свет и приказал нам соединить руки. Несколько минут прошло в молчании. Я, раздраженный ожиданием, подумал было с надеждой, что дело, наконец, становится любопытным, но едва появились «духи», канцелярист все тем же будничным голосом стал задавать им скучнейшие вопросы: «Как дела, Зоилита? Счастлив слышать тебя. Тут у меня как раз сидят друзья, очень хорошие люди, они тоже хотят вступить в контакт с твоим миром, Зоилита. Что ты говоришь? Как? А, приветствовать их? Ну конечно, Зоилита! Я передам им приветы от тебя. Она говорит (это уже обращаясь к нам), чтобы я сердечно приветствовал вас, и просит по возможности время от времени молиться за нее, чтобы она поскорее могла покинуть чистилище».

После Зоилиты появлялись другие родственники и друзья, с которыми канцелярист вел подобного же рода переговоры. Все они находились в чистилище, все посылали нам приветы, все просили молиться за них. Хавьер настаивал, чтобы медиум вызвал кого-нибудь, кто находился непосредственно в аду, чтобы таким образом разрешить наши сомнения, но медиум без колебаний заявил, что это невозможно: пребывающих там можно вызывать лишь в течение трех первых дней нечетных месяцев, да и голос их еле слышен. Тогда Хавьер попросил вызвать няньку, вырастившую его мать, братьев и его самого. Появилась донья Гумерсинда, тоже передала нам при-

веты, сообщила, что вспоминает Хавьера с большой нежностью и уже связывает свой узелок, собираясь покинуть чистилище и отправиться на встречу с господом богом. Я попросил канцеляриста вызвать моего брата Хуана. И к моему удивлению (у меня никогда не было братьев), он явился и передал мне ханжеским голосом медиума, что я могу за него не беспокоиться, ибо он находится в раю и всегда за меня молится. Успокоенный этим сообщением, я перестал интересоваться дальнейшим ходом сеанса и занялся обдумыванием своего рассказа о сенаторе. Мне пришло в голову загадочное название: «Неполноценное лицо». В то время как Хавьер без устали требовал вызвать какого-нибудь ангела или, на худой конец, историческую личность вроде Манко Капака [1], я пришел к заключению, что сенатор мог бы решить свою проблему с помощью уловки фрейдистского характера: в нужный момент ему следовало бы накинуть на глаза супруги пиратскую повязку.

Сеанс окончился около двух часов ночи. Пока мы брели по улицам Барриос Альтос в поисках такси, которое доставило бы нас на площадь Сан-Мартина, где можно было сесть на микроавтобус, я довел Хавьера до бешенства, заявив, что по его вине загробный мир потерял для меня всю свою поэтичность и очарование, ибо благодаря ему же мне теперь ясно, что все мертвецы превращаются в дураков; и опять-таки из-за него я не смогу оставаться агностиком, и мне придется отныне всю жизнь мучиться сомнениями, не ждут ли меня в иной жизни, *если она существует*, вечная скука и кретинизм. Мы нашли такси, и в наказание его оплатил Хавьер.

Дома, рядом с неизменной лепешкой, яичницей и рисом, я нашел еще записку: «Тебе звонила Хулита. Что получила твои розы, что они очень красивые, что ей понравились, чтобы ты не думал, будто розы освобождают тебя от того, чтобы сводить ее в кино в любой из этих дней. Дед».

На следующий день отмечали день рождения дяди Лучо. Я купил ему в подарок галстук и уже собирался направиться к ним в полдень, когда на нашей крыше неожиданно возник Хенаро-сын и потащил меня обедать в ресторан «Раймонди». Он хотел, чтобы я помог ему отредактировать рекламные объявления, подготовленные им для публикации в воскресных газетах, о начале — в следующий понедельник — радиопостановок Педро Камачо. Но разве не логичнее, чтобы сам артист принял участие в редактировании этих объявлений?

— Дело в том, что он отказался,— объяснил мне Хенаро-сын, дымя сигаретой, как труба.— Его сценарии, видите ли, не нуждаются в продажной рекламе, они, видите ли, сами завоевывают себе публику и так далее! В общем, этот тип, как выясняется, тяжелый случай, он просто одержим всевозможными маниями! Насчет аргентинцев ты уже в курсе? Он заставил нас расторгнуть контракты, и мы вынуждены оплатить неустойку. Надеюсь, что предложенные им программы оправдают его высокомерие.

Мы отредактировали объявления, съели по жареной рыбе, выпили холодного пива, провожая взглядом серебристых мышек, сновавших временами по балкам у потолка ресторана «Раймонди» и как будто специально запускаемых туда, чтобы подтвердить вековую историю этого заведения, после чего Хенаро-сын рассказал мне еще об одном конфликте с Педро Камачо. Причина конфликта — герои четырех радиодрам, с которыми Камачо намеревался дебютировать в Лиме. В каждой из драм героем был пятидесятилетний мужчина, «удивительно хорошо сохранившийся».

— Мы толковали ему, ссылаясь на нашу практику, что публика предпочитает героев от тридцати до тридцати пяти лет, но этот тип упрям как мул,— жаловался Хенаро-сын, выпуская дым через ноздри.— Что, если я ошибся и боливиец вызовет грандиозный провал?

Я вспомнил, как накануне в клетушке «Радио Сентраль» артист вдохновенно разглагольствовал о том, что такое пятьдесят лет для мужчины. Он утверждал, что в этом возрасте мужчина достигает вершины своих умственных и физических возможностей, жизненного опыта, что в этом возрасте он как никогда желанен для женщин и опасен для других мужчин. С настойчивостью, показавшейся мне подозрительной, он повторял, что старость это нечто вроде «вседозволенности». Из всего сказанного я уяснил: боливийцу уже исполнилось пятьдесят, его пугала старость — тень человеческой слабости на его гранитном духе.

Когда мы закончили работу над рекламой, уже было поздно отправляться в Мирафлорес. Я позвонил дяде Лучо и предупредил, что приеду вечером его поздравить. По моим предположениям, в доме будет сборище родственников, приехавших поздравить дядюшку, но никого, кроме тети Ольги и тетушки Хулии, не оказалось — парад родни состоялся днем. Дядюшка и тетушки пили виски, налили и мне. Тетушка Хулия еще раз поблагодарила меня за розы — я увидел букет на серванте в зале, и роз там было совсем немного,— и, как всегда, стала острить, требуя, чтобы я покаялся и рассказал, что за «программа» была у меня в тот вечер, когда я надул ее: девица из университета или вертихвостка на радио? На Хулии было голубое платье, белые туфли, на лице — косметика, а прическа — только что из парикмахерской; она смеялась громко и откровенно, говорила несколько хрипловатым тоном, вызывающе поглядывая на меня. С некоторым опозданием я обнаружил, что она привлекательна. Дядя Лучо

[1] Глава государства инков, существовавшего на территории современного Перу в XIII веке.

в порыве энтузиазма заявил: пятьдесят лет бывает лишь раз в жизни — и предложил поехать в ресторан «Боливар». Я подумал: вот уже второй день подряд мне приходится откладывать редактуру текста о сенаторе-евнухе и извращенце (а может быть, так и следует назвать рассказ?), но потом решил не жалеть об этом. Приятно было окунуться в праздник. Тетя Ольга, оглядев меня, заявила, что мой вид — не лучший для такого ресторана, и заставила дядю Лучо одолжить мне чистую рубашку и вызывающей расцветки галстук, которые хоть немного должны были скрасить поношенность и измятость моего костюма. Рубашка была мне велика, я испытывал неловкость из-за воротничка, болтавшегося вокруг шеи, а это привело к тому, что тетушка Хулия стала называть меня Попейе[1].

Я никогда не бывал в ресторане «Боливар», и он показался мне изысканнейшим и элегантнейшим местом в мире, а еда — самой утонченной из всего, что я когда-либо пробовал. Оркестр исполнял болеро, пасодобли, блюзы; звездой шоу была молочно-белая француженка, которая так сладострастно мурлыкала песенки, что создавалось впечатление, будто она насилует микрофон, и которую дядя Лучо, будучи в прекрасном настроении, все повышавшемся по мере того, как он опустошал бокалы, громко приветствовал на диком жаргоне, считавшемся им за французский язык: «Браво-о-о-о! Браво-о-о! Мамуазель Черри!» Первым, кто бросился танцевать, был я. К своему великому удивлению, я потащил на площадку тетушку Ольгу, хотя совершенно не умел танцевать. В то время я был твердо убежден, что литературное призвание несовместимо с танцами и спортом, однако, к счастью, народу было так много, что в полусумраке и тесноте никто не догадался о моем невежестве в области хореографии. Тетушка Хулия в свою очередь доставила немало хлопот дяде Лучо, заставив его танцевать, не держась за нее руками, и к тому же выделывать всяческие па. Танцевала она хорошо — и многие мужчины провожали ее взглядом.

На следующий танец я пригласил тетушку Хулию, предупредив, что танцевать не умею, но, так как музыканты играли очень медленный блюз, я достойно выполнил свои функции.

Мы станцевали еще дважды, постепенно отдаляясь от столика, за которым сидели дядя Лучо и тетя Ольга. В момент, когда музыка смолкла и тетушка Хулия явно собиралась освободиться от меня, я задержал ее и поцеловал в щеку, совсем близко от губ. Она посмотрела на меня с таким удивлением, будто на глазах у нее свершилось чудо. Оркестранты сменялись, и нам пришлось вернуться к столику. Здесь тетушка Хулия вновь стала подшучивать над дядей Лучо по поводу его пятидесятилетия — рубежа, после которого все мужчины превращались в «старых хрычей». Иногда она бросала на меня быстрый взгляд, как бы удостоверяясь, на месте ли я, и по ее глазам я уяснил: у нее не укладывалось в голове, как это я ее поцеловал. Тетя Ольга уже устала и уговаривала нас уйти, но я настоял еще на одном танце. «Интеллигент начинает разлагаться»,— констатировал дядя Лучо и увлек тетю Ольгу на последний танец. Я пригласил тетушку Хулию, и все время, пока мы танцевали, она — впервые — молчала. Лишь только дядя Лучо и тетя Ольга затерялись среди танцующих, я слегка привлек к себе тетушку Хулию и коснулся своей щекой ее щеки. «Послушай, Марито»,— долетел до меня ее растерянный шепот, но тотчас же я прервал ее, сказав на ухо: «Запрещаю тебе впредь называть меня Марито!» Она чуть откинула голову, чтобы взглянуть на меня, попыталась улыбнуться, и тогда, почти бессознательно, я наклонился и поцеловал ее в губы. Все случилось мгновенно, она не ожидала этого и от удивления даже остановилась. Она была явно потрясена: глаза широко раскрылись, губы разомкнулись. Музыка смолкла. Дядя Лучо оплатил счет, и мы ушли. По дороге в Мирафлорес — мы с тетушкой Хулией сидели вдвоем на заднем сиденье машины — я взял ее руку, нежно сжал и уже не отпускал. Она не убирала руки, но не произнесла ни слова, вид у нее по-прежнему был чрезвычайно растерянный. Выйдя у дома своих стариков, я спросил себя, на сколько же лет она старше меня.

IV

Ночь в Кальяо[2] — влажная и темная, как волчья пасть. Сержант Литума поднял ворот плаща, потер руки и приготовился исполнять свой долг. Это был человек в расцвете сил — ему было пятьдесят, уважаемый всей полицией: не ропща он нес службу в самых опасных местах и лихо сражался с преступностью, о чем свидетельствовали шрамы на его теле. Тюрьмы Перу кишели злоумышленниками, руки которых он сковал наручниками. Его приводили в качестве примера в приказах, отмечали в официальных речах, дважды он был награжден, но все эти заслуги и слава не повлияли на его скромность, столь же великую, как и его храбрость и честность. Вот уже год Литума служил в четвертом полицейском комиссариате Кальяо и вот уже три месяца выполнял самую трудную обязанность, каковой судьба может наградить сержанта, несущего службу в порту: ночные дежурства.

Далекие колокола на церкви божьей матери Кармен де ла Легуа пробили полночь, и пунктуальный, как всегда, сержант Литума — широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, сама исполнительность и предупредительность — отправился

[1] Герой американских комиксов — незадачливый старый моряк.
[2] Главный перуанский порт близ г. Лимы.

в путь. За его спиной, как слабый огонек во мраке, осталось старое деревянное строение четвертого полицейского комиссариата. Сержант представил себе: лейтенант Хаиме Конча, естественно, листает комиксы про Утенка Дональда [1], полицейские Сопливый Камачо и Яблочко Аревало, наверное, балуются свежесваренным кофе с сахаром, а единственный арестованный за день — вор-карманник, пойманный на месте преступления в автобусе на маршруте Чукуито — Ла Парада и хорошо отлупцованный полдюжиной разъяренных пассажиров,— скорее всего спит, скорчившись на полу камеры.

Сержант начал свой обход с кварталов Нового Порта, где нес службу Курносый Сольдевилья, изрядный лодырь, но вдохновенный исполнитель тондерос[2]. Новый Порт наводил ужас на всех полицейских и детективов Кальяо, потому что из проживавших в его лабиринтах обитателей — хижины здесь были сооружены из досок, консервных банок, обрезков оцинкованного железа и сухого навоза — лишь самая незначительная часть зарабатывала на хлеб, рыбача или разгружая суда в порту. Большинство же были бродяги, воры, пьяницы, жулики и педерасты (не говоря уже о бесчисленных проститутках), которые по любому поводу вытаскивали ножи или палили друг в друга из пистолетов. Камни этого квартала, где не было ни воды, ни канализации, ни света, ни мостовых, не раз орошались кровью служителей закона. Но нынешняя ночь была на удивление мирной. Спотыкаясь о невидимые кочки, морщась от бьющего в нос зловония, исходившего от экскрементов и пищевых отбросов, сержант Литума обходил залитые мочой уголки квартала в поисках Курносого и думал: «Холод рано уложил сегодня ночных бродяг». Стояла середина августа, зима была в разгаре: густой туман скрадывал и размывал очертания предметов, мелкий, но упорный дождик пропитывал влагой воздух, и ночь становилась грустной и неприветливой. Куда же запропастился Курносый Сольдевилья? Этот лентяй, испугавшись холода и бандитов, наверное, отправился в поисках тепла и глотка писко в таверны на авениде Уаскар. «Нет, пожалуй, не осмелится,— подумал сержант Литума.— Он знает, что я обхожу посты и, если его не будет на месте, ему влетит».

Он нашел Курносого у фонарного столба на углу, ближе к бойням и складам. Полицейский яростно тер руки, лицо его было обмотано каким-то фантастическим шарфом, из-под которого выглядывали одни глаза. Заметив человека, Курносый дернулся и поднес руку к кобуре, но, узнав начальство, щелкнул каблуками.

— Вы испугали меня, мой сержант,— сказал он, смеясь.— В темноте показались мне привидением.

— Какое еще привидение... что ты мелешь,— протянул ему руку Литума.— Просто принял меня за ворюгу.

— Слава богу, ворюги в такой холод не шляются,— снова потер руки Курносый.— Единственные психи, которых в такую слякоть носит по улицам, это вы да я. И еще вон те.

Он показал на бойни, и сержант, напрягая зрение, различил на краю крыши с полдюжины стервятников, которые сидели рядком, запрятав голову под крыло. «Оголодали,— подумал Литума.— Замерзнут, но будут сидеть, если учуяли мертвечину». Курносый Сольдевилья расписался в акте обхода при слабом свете фонаря изгрызенным карандашиком, терявшимся в его пальцах. Никаких новостей: ни преступлений, ни происшествий, ни пьянок.

— Тихая ночь, мой сержант,— сказал Курносый, провожая Литуму несколько кварталов в направлении авениды Манко Капака.— Надеюсь, и дальше так пойдет, пока не появится смена. А потом пусть все катится к чертям собачьим.

Он засмеялся, будто сказал нечто очень остроумное, и сержант Литума подумал: «Вот как мыслят некоторые полицейские!» И не ошибся, ибо Курносый Сольдевилья тут же добавил уже вполне серьезно:

— Я ведь не то, что вы, мой сержант. Не нравится мне все это. Я ношу форму только ради хлеба.

— Ты не носил бы ее, будь это в моей власти,— проворчал сержант.— Я держал бы на службе лишь тех, кто верит в наше дело.

— Кто бы остался тогда в полиции...— возразил Курносый.

— Уж лучше быть одному, чем в плохой компании,— засмеялся сержант.

Они шли в темноте по пустырю, окружавшему факторию Гуадалупе, где охотники за собаками постоянно разбивали камнями лампочки на столбах. Вдалеке был слышен гул моря и время от времени — шум мотора такси, пересекавшего авениду Аргентины.

— Вам бы хотелось, чтобы все мы были героями,— вдруг проговорил полицейский.— Чтобы мы из кожи лезли, защищая этот мусор,— он показал в сторону Кальяо, в сторону Лимы и на все вокруг.— Разве нас отблагодарят? Разве нас кто-нибудь уважает? Не слышали, что кричат нам вслед? Народ презирает нас, мой сержант.

— Здесь мы прощаемся,— сказал Литума у авениды Манко Капака.— Не выходи из своей зоны. И не злись. Ждешь не дождешься, чтобы ударать, а когда тебя выгонят, будешь выть как пес. Именно так и случилось с Пухлявым Антесаной. Потом приходил к нам в комиссариат и со слезами на глазах ныл: «Семью я потерял...»

---

[1] Персонаж американских комиксов и детских фильмов.
[2] Народный перуанский танец, исполняемый в сопровождении куплетов.

Сержант услышал, как за его спиной Курносый пробурчал: — Семья без женщины, какая это семья?

Возможно, Курносый прав, думал сержант Литума, шагая в полночь по пустынной авениде. Действительно, народ не любит полицейских и вспоминает о них, только когда испытывает страх. Ну и что же! Он старался не для того, чтобы люди уважали или любили его. «Народ я ни в грош не ставлю», — думал он. Тогда почему же он относился к своей полицейской службе иначе, чем его товарищи, которые не гробили себя на работе и пользовались любым случаем, чтобы отлынивать от дел или заработать несколько грязных солей, едва отвернется начальство? Почему это так, а, Литума? «Потому что тебе тут нравится, — опять подумал он. — Другим нравится футбол или бега, а тебе — твоя работа. Вот почему». Ему пришло в голову, что если какой-нибудь футбольный болельщик спросит его однажды: «Ты за кого, Литума, за «Спорт бойз» или за «Чалако»?» — он ответит: «Я болельщик Национальной полиции». Он шел, посмеиваясь, сквозь туман, сквозь ночь, сквозь дождь, довольный своим остроумием, и в этот момент расслышал шум. Сержант рванулся было, схватился за кобуру, потом замер. Шум был настолько неожиданным, что он почти испугался. «Только почти,— подумал Литума, — ведь ты никогда не испытывал и не испытаешь страха, Литума, даже не знаешь, с чем его едят, этот самый страх». Слева от него простирался пустырь, справа — громада первого склада морского вокзала. Оттуда-то и донесся грохот ящиков и бочек, которые, падая, увлекали за собой целую гору других ящиков и бочек. Потом опять все стихло, и только слышались издалека рокот моря и свист ветра, ударявшего по крышам и путавшегося в проводах. «Кот погнался за крысой, опрокинул ящик, другой, вот и обвал», — подумал сержант и представил себе несчастного кота, распростертого среди крыс, раздавленного грудой мешков и бочек. Он уже находился в районе, где нес службу Початок Роман. Естественно, Початка на месте не оказалось. Литума прекрасно знал, что полицейский находится на другом конце своего квартала — где-нибудь в «Happy Land» [1] или «Blue Star» [2], в любом другом баре или борделе для моряков в глубине узенькой улочки, которую острые на язык жители называли «Улицей Сифилитиков». Определенно он там, потягивает пивцо за деревянной стойкой. Направляясь к притонам, Литума мысленно представил себе выражение ужаса на лице Романа, когда он, Литума, появится у него за спиной: «Так. Употребление спиртных напитков во время несения службы. Конец тебе, Початок»... Он прошел еще метров двести и резко остановился. Повернул голову. Там, во мраке, едва освещенная лампочкой, чудом уцелевшей после полчищ охотников за собаками, с трудом угадывалась стена склада. «Нет, это не кот, — подумал сержант, — и не крыса. Это — вор». Сердце забилось от волнения, и он ощутил, как лоб и руки его вспотели. Да, это вор, вор! Простояв неподвижно несколько секунд, он захотел повернуть назад. Сержант знал себя: подобные порывы обуревали его не раз. Вынув пистолет из кобуры, он снял его с предохранителя и взял в левую руку фонарь. Легкими прыжками прокрался назад, чувствуя, как рвется наружу сердце. Да, так и есть: вор! У склада он, задыхаясь, остановился. Не поискать ли Курносого или Початка? Он покачал головой: нет, ему никто не нужен, хватит — и даже с лихвой — его одного. Если вор не один, тем хуже для них и лучше для него. Он прислушался, прижавшись лицом к деревянной стене,— полная тишина. Только вдалеке слышны море и шум редких автомобилей. «Какой там вор, чтоб его... — подумал сержант. — Померещилось. Кот и крыса». Озноб прошел, теперь он ощущал тепло и усталость. Он обошел склад в поисках двери. Найдя ее, убедился при свете фонаря: замок в полной сохранности. Он собирался было идти, ворча про себя: «Ну и свалял же ты дурака, Литума, не тот уж у тебя нюх, как прежде», когда машинально осветил стену и в желтоватом свете фонаря перед ним возникло отверстие. Оно было в нескольких метрах от двери, дыру проделали грубо — доски то ли разрубили топором, то ли вышибли ногами. Дыра была достаточно велика, чтобы в нее мог пролезть на четвереньках взрослый человек.

Сержант почувствовал, как сердце его заколотилось словно безумное. Он потушил фонарь, еще раз проверил пистолет — снят ли предохранитель — и осмотрелся: кругом темнота, лишь где-то вдали спичечными огоньками мелькали огни авениды Уаскар. Он вдохнул воздух полной грудью и со всей силой, на которую был способен, проревел: — Капрал, окружай своими людьми склад! Если кто попытается бежать, стреляй без предупреждения! Живее, ребята! — Для вящей убедительности сержант пробежал сначала в одну, потом в другую сторону, громко топая. Потом он приник к деревянной перегородке и снова заорал во всю мочь:— Эй вы, сдавайтесь! Вы окружены! Выходите по одному через эту дыру! Даю тридцать секунд на добровольную сдачу!

Он услыхал эхо от своих выкриков, затерявшееся в ночи, а потом — снова море и лай собак. Он отсчитал, и даже не тридцать, шестьдесят секунд. «Шута горохового из тебя делают, Литума!» — подумал он, чувствуя, как в нем закипает ярость.

— Открой глаза, ребята!— прокричал он опять.— По первому знаку пали в них, капрал!

---

[1] Счастливая земля *(англ.)*.
[2] Голубая звезда *(англ.)*.

И, решительно встав на четвереньки, ловко, несмотря на свои годы и тяжелую форму, полез в дыру. Внутри он быстро выпрямился, на цыпочках отбежал в сторону и прижался спиной к стене. Он ничего не видел, но не хотел зажигать фонарь. Не слышно было ни малейшего шороха, однако в нем крепла уверенность: здесь кто-то сидит, так же как и он, скорчившись в темноте, и прислушивается, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. Вдруг ему показалось, что он уловил прерывистое дыхание. Сержант держал палец на спусковом крючке, а пистолет — на уровне груди. Сосчитав до трех, он зажег фонарь. Раздавшийся крик застал его врасплох; от неожиданности он выронил фонарь, и тот покатился по полу, освещая ящики, мешки — похоже, с хлопком,— бочки, древесину, и вдруг высветил (мимолетно, неправдоподобно) фигуру негра; голый и скрюченный, тот пытался руками прикрыть лицо и в то же время сквозь щели меж пальцами огромными, испуганными глазами уставился на фонарь, будто единственную опасность для него представлял именно свет.

— Не двигайся, пристрелю! Тихо, не то сдохнешь, черномазый!— прорычал Литума так громко, что у него даже в глотке засвербило. В то же время, присев на корточки, он шарил руками, пытаясь достать фонарь. Потом с величайшим удовлетворением добавил:— Попался, черный! Влип, черномазый!

Он почти оглушил себя собственным голосом. Теперь он добрался до фонаря, и луч света запрыгал в поисках негра. Но тот и не думал бежать: он сидел на месте, и Литума изумился, не поверив тому, что увидел. Нет, это была не игра воображения, не сон. Негр был совершенно гол, в чем мать родила: ни ботинок, ни трусов, ни майки — ничегошеньки на нем не было. Но, видимо, он не испытывал от этого никакого смущения, вроде не сознавая, что гол, потому что даже не прикрыл срам рукой. Негр по-прежнему сидел пригнувшись, половина лица его была закрыта растопыренными пальцами, он не двигался, будто загипнотизированный круглым глазом фонаря, излучавшим свет.

— Руки на затылок, черномазый!— приказал сержант, стоя на месте.— И веди себя смирно, если не хочешь заполучить свинец. Ты арестован за попытку вторгнуться в частные владения, а также за прогулки нагишом по столице.

Обратившись в слух — не выдаст ли шорох соучастника, прячущегося в темноте,— сержант в то же время размышлял: «Нет, это не вор. Это идиот». И не только потому, что негр совершенно голый в самый разгар зимы; сержант понял это по крику, который тот издал, будучи обнаруженным. «Нормальный человек так кричать не может»,— продолжал рассуждать сержант. Звук был уж очень странный, нечто среднее между воем, мычанием, хохотом и лаем. Он рвался вроде не из горла, а откуда-то из нутра, из сердца, из души.

— Сказано тебе: руки на затылок, сукин сын!— прокричал Литума, делая шаг к человеку.

Тот не послушался — и не шевельнулся. Он был очень черен и худ, даже в темноте сержант различил ребра, обтянутые кожей, и две палки вместо ног; в то же время огромное брюхо буквально свисало ему на ноги, и Литуме вспомнились рахитичные дети в нищих кварталах, с животами, раздутыми от паразитов. Негр сидел все так же тихо, закрыв лицо руками, сержант сделал еще два шага к нему в полной уверенности, что он вот-вот бросится бежать. «Сумасшедшие не боятся пистолетов»,— подумал сержант и снова шагнул вперед. Их разделяло лишь несколько метров, только теперь сержант различил шрамы, покрывавшие плечи, руки и спину негра. «Это после «посвящения в мужчины» или в честь ихних дьяволов»,— подумал Литума. А может, следы болезни? Ран, ожогов? Он проговорил очень тихо, чтобы не испугать злоумышленника:

— Спокойно, негр. Подними руки на затылок и двигайся к дырке, через которую влез сюда. Будешь вести себя хорошо, напою тебя кофе в участке. Ты, наверное, подыхаешь с голоду, да в такую непогоду, и совсем голый.

Он собрался шагнуть поближе к негру, вдруг тот рывком отвел руки от лица и... Литума застыл от ужаса, обнаружив под копной свалявшихся, как войлок, волос вылезшие из орбит, испуганные глаза, страшные шрамы и огромную щель рта, из которой торчал единственный — длинный и острый — зуб. Негр вновь издал непонятный, нечеловеческий вопль, глянул по сторонам; он весь дрожал, дергался, метался, словно животное, ищущее, куда бы укрыться от погони. В конце концов он углядел путь к спасению, но вовсе не тот, какой следовало: этот путь преграждал своим телом сержант Литума. Негр не бросился на сержанта, а просто пытался пробежать сквозь него. Это было так неожиданно, что Литума не успел остановить негра и почувствовал, как тот ударился о его грудь. Но сержант сдержал себя, у него не дернулся палец, и выстрела не последовало. Негр, ударившись, захрипел; Литума дал ему пинка и увидел, как тот валится, будто тряпичная кукла, наземь. Он пнул его еще раз ногой, чтобы негр утихомирился.

— Вставай! — приказал сержант.— Мало того, что ты — псих, ты еще и болван. Как же от тебя воняет!

От негра несло чем-то неопределенным: мочой, серой, кошками. Он повернулся и, лежа на спине, с ужасом взирал на сержанта.

— Откуда же ты взялся? — пробормотал Литума. Он приблизил фонарь и в полной растерянности стал рассматривать лицо, иссеченное прямыми линиями шрамов —

сеть рубцов, протянувшуюся по щекам, носу, лбу, подбородку и терявшуюся где-то на шее. Как могло разгуливать по улицам Кальяо это страшилище, да еще с неприкрытым срамом, и никто не сообщил ему, Литуме, об этом?

— Поднимайся, или я тебе снова врежу,— пообещал Литума.— Псих ты или нет, мне надоело с тобой возиться.

Странное существо не шевельнулось. Оно опять стало издавать какие-то звуки, урчание, клекот, посвистывание, нечто схожее скорее с языком птиц, насекомых, животных, чем с человеческой речью. С бесконечным ужасом негр по-прежнему глядел на фонарь.

— Вставай, не бойся,— сказал сержант и взял негра за плечо. Тот не сопротивлялся, но и не сделал никакого усилия, чтобы встать на ноги. «Ну и тощий же,— подумал Литума, почти развеселившись от непрерывного мяуканья, воркованья и посвистывания своего пленника.— И как же ты меня боишься!» Он заставил негра подняться и даже не поверил, что человек может так мало весить. Сержант едва толкнул его к двери, и тот, будто пролетев вперед, упал. Но на этот раз он встал сам — с большим трудом, опираясь на бочку с маслом.

— Ты болен? — спросил сержант. — Ты даже идти-то не можешь, черный. Откуда, черт тебя дери, могло явиться такое пугало, как ты?

Он потянул его к дыре, заставив согнуться, вылезти на улицу, и поставил перед собой. Негр продолжал без единой паузы издавать те же странные звуки, словно во рту у него была железка и он пытался выплюнуть ее. «Да,— подумал сержант, — все-таки это псих». Дождь прекратился, но зато ветер мел улицы, свистел и завывал вокруг с новой силой. Литума, подталкивая негра, чтобы тот поторапливался, направился к участку. Несмотря на плащ, его прохватывал холод.

— Ты, кум, совсем замерз,— проговорил он.— Голый, в такой час да в такое время года! Чудо будет, если ты не схватишь воспаление легких.

У негра стучали зубы, он шел, скрестив свои длинные и костлявые руки на груди, иногда потирая ими бока; холод, похоже, сильнее всего обжигал ему бедра. Он все продолжал ворковать, мычать и каркать, но теперь уже себе под нос и поспешно поворачивался туда, куда направлял его сержант. Они не встретили на улице ни автомобилей, ни собак, ни пьяных. Когда они подошли к комиссариату (мягко светящийся огонек в окнах обрадовал Литуму, как берег — тонущего), глухие колокола церкви божьей матери Кармен де ла Легуа пробили два часа ночи.

При виде сержанта и голого негра молодой и подтянутый лейтенант Хаиме Конча выронил из рук комиксы об Утенке Дональде (уже четвертая книжонка об этом персонаже, прочитанная им за ночь, не считая еще трех о Супермене и двух о Мандрейке), разинул от удивления рот, едва не вывихнув челюсть. Полицейские Камачо и Аревало, затеявшие партийку в шашки, тоже вытаращили глаза.

— Откуда ты приволок такое огородное чучело? — произнес наконец лейтенант.

— Это человек, животное или вещь? — спросил Яблочко Аревало, вставая и принюхиваясь к негру. Последний, переступив порог комиссариата, молча вертел головой по сторонам с ужасом на лице, будто впервые в жизни видел электрический свет, пишущие машинки и полицейских. Однако, заметив, что к нему направляется Яблочко, негр вновь издал леденящий душу крик (Литума заметил, что лейтенант Конча от потрясения чуть не свалился на пол вместе со стулом и что Сопливый смешал в этот миг на доске шашки) и опять попытался вырваться на улицу. Сержант удержал негра, тряхнув за плечо: «Спокойно, черномазый, не пугайся».

— Я нашел его в новом складе приморского вокзала, мой лейтенант, — доложил Литума.— Он проник внутрь, вышибив доски. Прикажете составить протокол о грабеже, либо о нарушении закона о частной собственности, либо об антиобщественном поведении, а может, и по всем трем пунктам сразу?

Негр стоял согнувшись, в то время как лейтенант, Камачо и Аревало изучали его с головы до ног.

— Эти шрамы не от оспы, мой лейтенант,— проговорил Яблочко, указывая на следы на лице и теле задержанного.— Они сделаны ножом, хоть это и может показаться невероятным.

— В жизни не видел более тощего парня,— сказал Сопливый, разглядывая ребра голого.— И более уродливого. Господи, что за грива! И что за лапы!

— Удовлетвори наше любопытство,— сказал лейтенант,— расскажи-ка нам о своей жизни, негритенок.

Сержант Литума снял кепи и расстегнул плащ. Он уже сидел за пишущей машинкой и сочинял протокол. Отсюда и крикнул:

— Он не умеет говорить, мой лейтенант. Он только издает непонятные звуки.

— Ты из тех, что придуриваются? — поинтересовался лейтенант.— Знаешь, мы уже старики, нас не проведешь. Выкладывай, кто ты такой, откуда прибыл, кто твоя мать?

— Или мы вернем тебе речь, дав разок по соплям,—добавил Яблочко.—Запоешь, черномазый, канареечкой!

— Если эти полосы сделаны лезвием, то его резанули не меньше тысячи раз,— удивлялся Сопливый, продолжая разглядывать шрамы, испещрявшие кожу негра.— Как можно так изрисовать человека?

— Он помирает от холода,— сказал Яблочко,— вон зубы щелкают, как мараки у музыканта.

— Коренные,— уточнил Сопливый, изучая негра, будто муравья.— Разве не видишь, что из передних у него всего один зуб, точно бивень у слона. Дьявольщина! Ну и тип! Будто из кошмарного сна.

— Я так полагаю, он рехнулся,— сказал Литума, не отрывая глаз от своей писанины.— Разгуливать в этаком виде, да еще по холодине, нормальный человек не станет, верно, мой лейтенант?

В тот же момент какой-то грохот заставил его поднять голову: негра будто током ударило — он толкнул лейтенанта и стрелой метнулся между Камачо и Аревало. Однако он бросился не на улицу, а к столику с шашками, Литума увидел, как он устремился к надкусанному бутерброду, схватил его и проглотил, как животное, единым махом, чуть не подавившись. Когда Аревало и Камачо подбежали к нему и съездили раза два по физиономии, негр жадно приканчивал остатки второго бутерброда.

— Не бейте его, ребята,— сказал сержант.— Лучше дайте ему кофе, проявите милосердие.

— Здесь не благотворительное заведение,— проговорил лейтенант,— черт знает, что мне делать с этим типом.

Он опять уставился на негра, который, проглотив бутерброды и безропотно перенеся тычки от Сопливого и Яблочка, теперь смирно лежал на полу и тихо дышал. В конце концов лейтенант сжалился и проворчал:

— Ладно, дайте ему немного кофе и отправьте в подвал.

Сопливый протянул негру полкружки кофе из термоса. Негр пил медленно, закрыв глаза, а потом до блеска вылизал алюминиевую кружку, чтоб не пропало ни капли напитка. Затем спокойно дал отвести себя в подвал.

Литума перечитал протокол: попытка грабежа, покушение на частную собственность, аморальное поведение. Лейтенант Хаиме Конча вновь уселся за стол, взгляд его что-то искал.

— Знаю, знаю, на кого он похож,— радостно засмеялся он, показывая Литуме ворох разноцветных журнальчиков.— Он похож на негров из историй о Тарзане, на африканских чернокожих!

Камачо и Аревало вернулись к своей партии в шашки, Литума надвинул кепи и застегнул плащ. Выходя из помещения, он услышал вопли карманника, который, проснувшись, отбивался от соседа по подвалу:

— Помогите! На помощь! Он меня изуродует!

— Заткнись, а то мы сами тебя изуродуем, — успокоил его лейтенант. — Дай мне спокойно почитать рассказики.

С улицы Литума увидел, что негр улегся на полу, совершенно равнодушный к крикам жулика, худенького паренька, который никак не мог прийти в себя. «Да, проснуться и увидеть рядом с собой такого бяку!» — посмеялся Литума, вновь раздвигая своей массивной фигурой туман, ветер и темноту. Засунув руки в карманы, подняв воротник и лацканы плаща, нагнув голову, он продолжал не торопясь свой обход. Вначале он побывал на «Улице Сифилитиков», где обнаружил Початка Романа, устроившегося у стойки притона «Happy Land» и обменивавшегося шутками со Стонущей Голубкой — старым педерастом с крашеными волосами и вставными зубами, который заменял бармена. Сержант отметил в своем докладе: полицейский Роман «употреблял спиртные напитки в служебное время», хотя прекрасно знал, что лейтенант Конча, человек, относившийся с пониманием как к собственным, так и к чужим слабостям, не обратит на его замечание никакого внимания. Потом сержант повернулся спиной к морю и направился по авениде Саэнс Пенья, мертвой в этот час, точно кладбище. Настоящим чудом было бы найти полицейского Умбе́рто Киспе, который отвечал за рынок. Лавки были закрыты, бродяг было меньше обычного, да и те спали, свернувшись на кипах мешков и газет, под лестницами или грузовиками. После нескольких безуспешных кругов и многочисленных свистков Литума нашел Киспе на углу улиц Колон и Кочране, где тот помогал таксисту: только что двое уголовников тюкнули его по черепу, пытаясь ограбить. Сержант и полицейский отвезли таксиста в пункт скорой помощи, чтобы его там привели в чувство. Потом они съели по тарелке супа из рыбьих голов на первом открывшемся лотке — он принадлежал донье Гуальберте, торговке свежей рыбой. Патрульная машина подобрала Литуму у авениды Саэнс Пенья и довезла до Форта Короля Филиппа, у стен которого дежурил Ручонка Родригес, любимчик полицейского комиссариата. Литума застал подчиненного за игрой в классики. В полном одиночестве, в темноте, Родригес, сохраняя серьезное выражение лица, перескакивал из одного класса на другой то на одной ноге, то на обеих. Увидев сержанта, он вытянулся.

— Такие упражнения помогают разогреться,— показал он на линии, выведенные мелом на земле.— А вы не играли в классики, когда были маленьким, мой сержант?

— Нет, я чаще заводил волчок и запускал змеев,— ответил Литума.

Ручонка Родригес рассказал сержанту об инциденте, развеселившем его на дежурстве. Около полуночи он обходил улицу Пас Сальдан, когда увидел какого-то типа, взбиравшегося по стене к окну. Полицейский приказал ему остановиться и вытащил

пистолет, но мужчина вдруг разревелся и стал клясться, что он вовсе не жулик, а муж своей жены и что она просила его именно так — в темноте и через окно — проникать в дом. «Но почему же не через дверь, как все люди?» «Потому что жена малость тронутая,— хныкал супруг,— понимаете, если я забираюсь к ней как вор, она бывает такой нежной. А если не сделаю, как она прикажет, даже поцелуя от нее не добьешься, господин полицейский!»

— Просто этот тип понял, что ты еще молокосос, и посмеялся над тобой, — улыбнулся Литума.

— Да нет, святая правда! — настаивал Ручонка. — Я постучал в дверь, мы оба вошли, и сеньора — она негритянка и стерва, видимо, изрядная — заявила, что все это истина и что они с мужем имеют полное право поиграть в жуликов. Чего только не насмотришься на этой службе, верно, мой сержант?

— Это уж точно, парень,— согласился Литума, подумав о негре.

— С такой бабенкой не соскучишься, мой сержант,— облизнулся Ручонка.

Он проводил Литуму до авениды Буэнос-Айрес, где они и распрощались. Пока сержант шел к границе с районом Бельявиста — по улице Вихиль, потом по площади Гвардии Кальяо, и здесь сержанта обычно одолевала усталость и сонливость,— он все думал о негре. Может быть, тот удрал из сумасшедшего дома? Но этот дом находился так далеко, что уж наверняка какой-нибудь полицейский или патруль обнаружил и арестовал бы негра. А эти шрамы? Нанесены они ножом? Скотство. Вот уж, наверное, боль дикая, все равно что пытка медленным огнем! Рана за раной до тех пор, пока все лицо не покроют шрамы, черт побери! А если он так и родился? Стояла еще глубокая ночь, но уже чувствовалось приближение рассвета: появились автомобили, один за другим катили грузовики, спешили забулдыги-полуночники. Сержант все размышлял: «Стольких на своем веку типов повидал, и почему меня так занимает этот голозадый?» Но тут же пожал плечами: «Простое любопытство, заняты мозги, пока длится обход». Он скоро обнаружил Сарате, полицейского, служившего вместе с ним еще в Айякучо [1]. Сержант получил от него уже подписанный протокол: одна драка, раненых нет, ничего существенного. Литума рассказал ему про негра, но на Сарате произвела впечатление лишь история с бутербродами. Полицейский был заядлым филателистом и несколько кварталов — пока провожал сержанта — рассказывал ему, что этим утром приобрел треугольные марки Абиссинии с изображением львов и змей в красном, синем и зеленом тонах, что марки эти — редкостные и что выменял их на пять аргентинских, которые ничего не стоят.

— Но их можно выдать за дорогие,— прервал его Литума.

Страсть Сарате — в других случаях Литума относился к ней с чувством юмора — сегодня раздражала сержанта, и он обрадовался, когда им пришлось расстаться.

В небе уже проступала синева, из сумрака возникали сероватые, прозрачные, перенаселенные дома Кальяо. Литума ускорил шаг, считая кварталы, оставшиеся до комиссариата. На этот раз он признался себе, что торопливость эта объяснялась не столько усталостью после долгого ночного обхода, сколько желанием еще раз увидеть негра. «Будто все это — сон, и ты сам не веришь, что эта ящерица существует на самом деле, Литума».

Но негр существовал: он был на месте. Свернувшись в клубок, спал на полу подвала. Жулик-карманник уснул в другом углу, и его лицо все еще сохраняло испуганное выражение. Все остальные тоже спали: лейтенант Конча уткнулся головой в кипу своих комиксов, Камачо и Аревало прижались друг к другу плечами на скамье у входа. Литума долго смотрел на негра, на его торчащие кости, спутанные волосы, огромный рот, сиротливый зуб, тысячи покрывавших его шрамов, следил за дрожью, которая пробегала по телу спящего. И думал: «Откуда же ты взялся, черный?» Наконец он протянул свой отчет лейтенанту, тот открыл покрасневшие глаза.

— Кончается на сегодня эта канитель, сержант, — произнес он сонным голосом. — На день меньше службы, Литума.

«И жизни тоже»,— подумал сержант и попрощался, громко щелкнув каблуками. Было шесть утра, он был свободен. Как всегда, завернул на рынок к доньe Гуальберте выпить кипящего бульона, съесть пару пирожков с картофелем, фасоли с рисом, молочного киселя. После этого он отправился в свою комнатушку на улице Колон. Он не мог заснуть довольно долго, а как только заснул, ему тотчас приснился негр. Кругом змеи и львы, красные, зеленые, синие — в сердце Абиссинии, — негр в цилиндре, высоких сапогах и с хлыстиком укротителя в руках. Звери танцевали, повинуясь взмахам его палочки, а толпа, разместившаяся на лианах, между стволами и на ветвях деревьев, где весело свистели птицы и кричали обезьяны, бурно аплодировала укротителю. Но вместо того чтобы кланяться зрителям, негр встал на колени и умоляюще протянул руки, глаза его были полны слез, огромная щель рта открылась, и оттуда вырвались звуки, горькие, яростные, путаные, как головоломка, как никому не понятная музыка.

Литума проснулся часам к трем дня в очень плохом настроении и усталый, хоть и проспал семь часов. «Наверное, его уже увезли в Лиму», — подумал он. Пока он брызгал, как кот, себе водицей в лицо и одевался, ему представлялся путь негра: скорее

[1] Главный город одноименного департамента в Перу.

всего черного забрал патруль в девять утра, ему дали тряпье прикрыться, потом отвезли в префектуру: здесь на него завели дело и отправили в подвал предварительного заключения, где он сидит сейчас — в темной норе, среди бродяг, жуликов, скандалистов и драчунов, собранных за последние двадцать четыре часа, дрожа от холода, умирая с голоду, ловя вшей.

День стоял серый и влажный, люди двигались в тумане, будто рыбы в мутной воде. Литума, задумавшись, медленно шел обедать, снова к донье Гуальберте: две булки с крестьянским сыром и чашка кофе.

— Странный ты сегодня, Литума,— сказала ему сеньора Гуальберта; старушка хорошо разбиралась в людях. — Денежные затруднения или любовные?

— Я все думаю об одном типе, которого нашел вчера,— ответил сержант, пробуя кофе кончиком языка.— Залез в склад на морском вокзале.

— Что же в этом странного? — спросила донья Гуальберта.

— Он был совсем голый, все тело — в шрамах, грива — как колючие заросли, и не умеет говорить,— объяснил ей Литума.— Откуда может явиться такой человек?

— Из ада,— засмеялась старуха, получая от него деньги.

Литума отправился на площадь Грау встретиться со старшиной Педральбесом. Они познакомились много лет назад, когда сержант был еще простым полицейским, а Педральбес — простым матросом, оба служили в Писко. Потом их судьбы почти на десять лет разошлись, но два года назад вновь пересеклись. Свободные дни они проводили вместе, и Литума чувствовал себя в семье Педральбеса как дома. Друзья отправились в Ла Пунту, в клуб старшин и матросов, выпить пива и сыграть на бильярде.

Первым делом сержант рассказал старшине историю про негра. Педральбес немедленно нашел ей объяснение:

— Так это же африканский дикарь, который «зайцем» приплыл сюда на корабле. Весь путь прятался, а прибыв в Кальяо, нырнул ночью в воду и незаконно проник на территорию Перу.

Литуме показалось, что засияло солнце: все вдруг стало на свои места.

— Ты прав, это точно,— сказал он, прищелкнув языком и хлопнув в ладоши.— Точно! Он приехал из Африки. Ну, ясно же! А здесь, в Кальяо, его высадили, видимо чтобы не платить ему за работу, а может быть, его в трюме обнаружили и чтобы освободиться от него...

— Его не передали властям, так как понимали, что власти не захотят такого принять,— развивал свою мысль Педральбес.— Его высадили силой — мол, сам выходи из положения, дикарь.

— Этот голозадый даже не знает, где находится,— сказал Литума.— Если его крики — крики не психа, а дикаря, значит, так орут дикари.

— В общем, такая же история, как если бы ты, братец, сел в самолет, а тебя высадили бы на Марсе,— рассмеялся Педральбес.

— Умные мы,— заметил Литума.— Представили всю жизнь этого зверя.

— Скажи лучше, это я умник,— возразил Педральбес.— Но что же с ним сделают, с негром?

Литума подумал: «Кто его знает?»

Они сыграли шесть партий на бильярде, четыре выиграл сержант, так что за пиво платил Педральбес. Потом направились на улицу Чанчамайо, где в доме с зарешеченными окнами жил Педральбес. Домитила, его жена, как раз кончила кормить своих троих ребят. Увидев мужчин, она сунула в постель самого маленького, двум другим приказала не высовывать носа за дверь, затем чуть прибрала волосы, взяла мужчин под руки, и они пошли.

В кинотеатре «Портеньо» на авениде Саэнс Пенья они посмотрели итальянский фильм. Литуме и Педральбесу он не понравился, но Домитила сказала, что еще раз сходит на эту картину. Потом прошлись пешком до улицы Чанчамайо, дети уже заснули, и Домитила подала мужчинам подогретые ольюкитос[1] с куском вяленого мяса. Литума простился в десять тридцать вечера. Он пришел в четвертый комиссариат к началу дежурства: ровно в одиннадцать часов.

Лейтенант Хаиме Конча не дал Литуме даже отдышаться, отозвал в сторону и одним духом выпалил инструкцию; от его по-спартански коротких фраз у Литумы закружилась голова и зашумело в ушах.

— Начальство знает, что делает,— пытался поднять его настроение лейтенант, похлопывая сержанта по спине.— И имеет на то свои основания, что и следует принять к сведению. Начальство никогда не ошибается, не так ли, Литума?

— Конечно так,— пробормотал сержант.

Яблочко и Сопливый делали вид, что они страшно заняты. Уголком глаза Литума видел, как один вглядывался в квитанции штрафов нарушителей уличного движения, как будто то были фотографии голых девиц, а второй открывал, закрывал и вновь открывал свой письменный стол.

— Можно задать вопрос, мой лейтенант?— произнес Литума.

— Можно,— ответил лейтенант.— Вот только не знаю, смогу ли я на него ответить.

[1] Корнеплод, родственный картофелю.

— Почему начальство выбрало именно меня для этой работенки?

— На это я тебе отвечу,— сказал Хаиме Конча.— По двум причинам. Потому, что ты его поймал, и справедливо будет, если шутку закончит тот, кто ее начал. А во-вторых, потому что ты — лучший полицейский всего этого комиссариата, а может быть и всего Кальяо.

— Сколько чести,— буркнул Литума, ничуть не обрадованный этим сообщением.

— Начальство прекрасно знает, что речь идет о трудном поручении, и поэтому доверяет тебе,— продолжил лейтенант.— Следовало бы гордиться, что именно тебя выбрали из сотен полицейских Лимы.

— Ах, вот как! Значит, мне их еще и благодарить! — изумленно покачал головой Литума. Он подумал с минуту и очень тихо добавил:— Это следует сделать немедля, мой лейтенант?

— Скорее скорого!— ответил тот, стараясь казаться молодцом.— Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.

«Теперь понятно, почему у меня из головы не шла физиономия этого негра»,— подумал Литума.

— Хочешь захватить с собой одного из них, чтобы тебе полегче было? — услышал он голос лейтенанта.

Литума, даже не глядя, почувствовал, что Камачо и Аревало застыли, как окаменевшие. Ледяное молчание воцарилось в помещении комиссариата, пока сержант с нарочитой медлительностью — пусть помучаются — разглядывал обоих полицейских. Яблочко застыл с кипой бумаг в дрожащих руках, Сопливый наклонился над столом.

— Его,— сказал Литума, указывая на Аревало. Он услышал, как Камачо глубоко вздохнул, увидел вспыхнувшую в глазах Яблочка вселенскую ненависть и сразу понял, что тот матерно обложил его.

— Я простужен и как раз хотел просить, мой лейтенант, разрешенья сегодня ночью не выходить на улицу,— промямлил Аревало, скорчив идиотскую мину.

— Хватит тебе, как девке, выкручиваться. Застегивай плащ,— прервал его Литума, проходя мимо и не глядя на полицейского.— Пошли.

Сержант спустился в подвал и открыл дверь. Впервые за этот день он увидел негра. На него надели рваные штаны, которые едва доходили до колен, грудь и спину прикрывал мешок с проделанным для головы отверстием, он был совершенно спокоен и посмотрел Литуме в глаза — без радости и без страха. Негр сидел на полу и что-то жевал, на руках вместо наручников болталась веревка, достаточно длинная, чтобы узник мог почесаться или поесть. Сержант сделал ему знак встать, но, по всей видимости, негр его не понял. Тогда Литума подошел к нему, взял за руку, и человек покорно встал. Он пошел впереди сержанта с тем же безразличием, с каким встретил его. Яблочко Аревало уже стоял в плаще, с замотанным вокруг шеи шарфом. Лейтенант Конча даже не повернулся и не посмотрел, как они вышли: он уткнулся лицом в комикс о приключениях Утенка Дональда («А сам держит журнал вверх ногами»,— отметил Литума), Камачо же, напротив, сочувственно им улыбнулся.

На улице сержант пошел по краю тротуара, а вдоль стены — Аревало; негр шел между ними тем же шагом, что и они, пожевывая что-то, ничем не интересуясь.

— Вот уже два часа, как он мусолит этот хлеб,— сказал Аревало.— Сегодня вечером, когда его вернули из Лимы, мы отдали ему все остатки хлеба, они уже в камень превратились. И он все съел. Все смолол, как мельница. Наверное, жутко голоден, а?

«Прежде всего долг, эмоции потом»,— думал Литума. Он стал высчитывать: «Сначала пойдем по улице Карлоса Кончи до авениды Контрадмирала Моры, потом спуск по авениде до реки Римак, затем берегом реки до моря». Да, подсчитал сержант, три четверти часа туда и обратно, скорее всего — час.

— Это вы во всем виноваты, мой сержант,— ворчал Аревало.— Кто вам велел хватать его? Надо было отпустить этого типа, когда вы поняли, что он не вор. Вот видите, в какую историю всех нас втянули. И главное, ответьте мне: вы тоже считаете, как и наше начальство, что этот тип проник к нам, спрятавшись на судне?

— Именно это и пришло в голову Педральбесу,— сказал Литума.— Возможно, оно и так. Потому что если это не так, то каким образом, черт побери, можно объяснить, что этот разукрашенный тип с его гривой, шрамами, с голым задом и несущий сплошную тарабарщину вдруг в один прекрасный день объявляется в порту Кальяо?! Наверно, он правильно говорит.

В темноте улицы грохали две пары полицейских сапог, босые ноги негра не производили никакого шума.

— Если бы от меня зависело, я подержал бы его в тюрьме,— снова заговорил Аревало.— Потому что дикарь из Африки не виноват в том, что он — дикарь из Африки, не так ли, мой сержант?

— Вот в силу этого он и не может сидеть в тюрьме,— проворчал Литума.— Ты же слышал лейтенанта: тюрьма для воров, убийц, насильников. За чей счет государство будет содержать в тюрьме это существо?

— Тогда негра следовало бы отправить обратно, в его страну,— огрызнулся Аревало.

— А каким образом, сукин сын, ты узнаешь, где его страна? — повысил голос Литума.— Ты же слышал лейтенанта. Начальство пыталось объясниться с ним на всех языках: и на английском, и на французском, даже на итальянском. Он не говорит ни на одном, он дикарь.

— Значит, вам кажется вполне справедливым, что мы должны ему влепить пулю только за то, что он дикарь? — вновь огрызнулся Аревало.

— Я не говорю тебе, что мне это кажется справедливым,— пробормотал Литума.— Я тебе повторяю приказ лейтенанта, а ему приказало начальство. Не будь идиотом.

Они ступили на авениду Контрадмирала Моры в момент, когда колокола на церкви божьей матери Кармен де ла Легуа пробили полночь, и звон их внушил Литуме страх. Он шел, старательно глядя перед собой, но иногда помимо воли поворачивал голову влево и бросал взгляд на негра. Он видел его лишь одно мгновение, когда они пересекали освещенный круг под фонарем. Негр был все тот же: сосредоточенно двигая челюстями, шел шаг в шаг с полицейскими, не проявляя ни малейшего страха. «Единственное, что для него имеет значение, это пища»,— подумал Литума. И через минуту: «Приговоренный к смерти не знает, что приговорен». И тут же: «Без сомнения, он — дикарь». В этот момент он услышал голос Яблочка.

— В конце концов, почему начальство не отпустит его куда глаза глядят, пусть устраивается как может,— ворчал полицейский, совершенно пав духом.— Пусть будет еще один бродяга, их и так много в Лиме. Одним больше, одним меньше — какая разница?

— Ты же слышал лейтенанта,— опять возразил Литума.— Полицейские не могут допустить нарушения закона. А если ты бросишь негра на площади, ему ничего иного не останется, как воровать. Или подохнуть как собаке. Так что, если подумать, мы ему даже милость оказываем. Выстрел — секунда. Это лучше, чем медленно умирать от голода, холода, от одиночества и тоски.

Однако Литума чувствовал: голос его звучит не очень убедительно, ему даже казалось, будто он слышит другого человека.

— Как бы то ни было, вот что я хочу сказать вам, мой сержант,— услышал Литума жалобный голос Яблочка.— Вся эта канитель мне не нравится, и плохую услугу вы мне оказали, выбрав на это дело.

— Ты думаешь, мне это нравится?— огрызнулся сержант.— А мне начальство не оказало плохую услугу, назначив исполнителем?

Они прошли мимо морского арсенала, откуда послышался звук сирены, а когда пересекали пустырь около высохшего канала, на них вдруг залаяла собака, выскочившая из темноты. Все шли в полном молчании, так что слышно было, как топали сапоги по тропинке, как плескалось совсем рядом море, ощущали влажный и соленый воздух.

— Здесь в прошлом году стояли цыгане,— вдруг проговорил упавшим голосом Яблочко.— Они поставили шатры, показывали всякие фокусы, предсказывали судьбу, заклинали. Но алькальд заставил нас выгнать цыган, потому как у них не было разрешения от муниципалитета.

Литума не ответил. Он вдруг ощутил жалость, и не только к негру, но и к Яблочку, и к цыганам.

— И мы бросим негра прямо здесь, на песке, чтобы его клевали коршуны!— почти стонал Яблочко.

— Мы оставим тело на свалке, утром его обнаружат мусорщики, они приезжают сюда на грузовиках, отвезут его в морг и подарят медицинскому факультету, чтобы его резали студенты,— разъярился Литума.— Ты же хорошо слышал инструкцию, Аревало, и не заставляй меня повторять десять раз!

— Инструкцию-то я слышал, но никак понять не могу... Как же так? Мы должны спокойно прикончить этого типа?— сказал несколько минут спустя Яблочко.— И вы тоже этого не можете представить, хотя и пытаетесь. По голосу вашему слышу, что вы не согласны с приказом.

— Наш долг — не соглашаться с приказами, а выполнять их,— мрачно ответил сержант. И после паузы добавил совсем тихо:— Ты прав. Я тоже не согласен. Я подчиняюсь потому, что надо подчиняться.

В этот момент асфальт кончился, оборвался тротуар с фонарями, они ступили во мрак и пошли по мягкой земле. Их охватила вязкая, почти густая ночь. Они шли по свалке, вдоль берега реки Римак, рядом с морем, по полосе земли, очерченной песчаным пляжем, руслом реки и улицей, по которой в шесть утра спускались грузовики с мусором из кварталов Бельявиста, Перла и Кальяо и где уже в этот час копошилась куча детей, мужчин, стариков и женщин, разгребавших груды отбросов в поисках чего-нибудь съедобного и вступавших в драку с чайками, стервятниками и бродячими собаками из-за остатков съестного, выуженных из грязи. Они были уже совсем близко от этой отвратительной пустоши, на дороге к Вентанилье, потом свернули к Анкону, где находились фабрики по производству рыбной муки.

— Вот самое подходящее место,— сказал Литума.— Здесь проезжают грузовики мусорщиков.

Море с силой ударяло о берег. Яблочко остановился, и негр остановился тоже.

Полицейские зажгли фонарики и в дрожащем свете уставились в лицо, исполосованное шрамами, все так же безмятежно продолжавшее двигать челюстями.

— Самое ужасное, что у него нет соображения; он даже не догадывается, о чем идет речь,— пробормотал Литума.— Другой бы уже все понял, испугался, пытался бы удрать. Меня просто убивает его спокойствие и доверие к нам.

— Знаете, что мне пришло в голову, мой сержант,— Аревало лязгал зубами так, будто замерзал.— Давайте отпустим его. Пускай удирает. Скажем, что мы его застрелили, в общем, придумаем что-нибудь, чтоб объяснить исчезновение трупа...

Литума же, вытащив пистолет, снимал его с предохранителя.

— И ты осмеливаешься предлагать мне неподчинение приказу вышестоящего начальства да еще врать ему?— послышался дрогнувший голос сержанта. Его правая рука приставила дуло пистолета к виску негра.

Но прошло две, три, пять секунд, а он не стрелял. Сделает ли он это? Подчинится ль приказу? Прогремит ли выстрел? Покатится ли по мусорной свалке труп таинственного пришельца? Или ему будет дарована жизнь и он исчезнет — слепой и дикий — где-то на заброшенных пляжах, а безукоризненный сержант останется на этом месте, среди зловония, плеска волн, растерянный и угнетенный тем, что не выполнил свой долг? Каков будет финал этой трагедии в Кальяо?

V

Приезд Лучо Гатики в Лиму был отмечен Паскуалем в наших сводках как «крупнейшее событие художественной жизни», как «большая заслуга национального радио». Для меня же он означал неудачу с рассказом, испорченные галстук и рубашки — последние были почти новыми, и потом — я снова обманул тетушку Хулию. До приезда чилийского исполнителя болеро я встречал в газетах россыпи фотоснимков и хвалебных статей о нем («неоплаченная реклама — самая действенная»,— говаривал Хенаро-сын), но масштабы славы певца я осознал лишь после того, как увидел на улице Белен длинную очередь женщин, жаждавших купить билет на его концерты в студии радиостанции. Зал здесь был весьма невелик — не более сотни мест, поэтому побывать на выступлении могли лишь немногие. Вечером накануне концерта толпа у дверей «Панамерикана» была так велика, что нам с Паскуалем пришлось добираться до своей верхотуры через соседнее здание, объединенное с нашим общей крышей. Мы подготовили радиосводку к семи вечера, но спустить материал на второй этаж не было никакой возможности.

— Женщины забили всю лестницу, двери и подъемник,— сообщил мне Паскуаль.— Пытался прорваться, но они посчитали, что я — безбилетник.

Я позвонил по телефону Хенаро-сыну, который буквально искрился от счастья:

— Еще час до начала выступления Лучо, а народ уже парализовал движение по всей улице Белен. Вся страна настраивается на волны «Радио Панамерикана».

Я спросил его, не следует ли пожертвовать радиосводками на семь и восемь вечера из-за того, что происходит сейчас, но Хенаро-сын всегда умел выходить из положения: он предложил нам продиктовать сводки по телефону непосредственно дикторам. Так мы и сделали; в перерывах Паскуаль, совсем разомлевший, слушал по радио голос Лучо Гатики, а я перечитывал четвертый вариант своего рассказа о сенаторе-евнухе — рассказа, которому, наконец, придумал название из «литературы ужаса»: «Изуродованный лик». Ровно в девять вечера мы прослушали конец программы, голос Мартинеса Моросини, прощавшегося с Лучо Гатикой, и овации зрителей — на этот раз настоящие, а не с магнитной ленты. Через десять секунд зазвонил телефон, и я услышал встревоженный голос Хенаро-сына:

— Спускайтесь, если сможете! Дело пахнет жареным!

Великим достижением было пробить стену из столпившихся у лестницы женщин, которых у входа в зал сдерживала массивная фигура швейцара Хесусито. Паскуаль орал: «Скорая помощь! Скорая помощь! Где здесь раненый?!» Женщины — в большинстве своем совсем молоденькие — смотрели на нас с полным безразличием или улыбались, но никуда не двигались, так что приходилось применять силу. В студии мы увидели ошарашивающее зрелище: прославленный артист призывал на помощь полицию. Лучо Гатика оказался низенького роста, с мертвенно-бледным лицом. Он скрежетал зубами от ненависти к своим поклонницам. Наш прогрессивный импресарио пытался успокоить певца, говорил, что приезд полиции может произвести очень невыгодное впечатление, что бесчисленный рой девиц — свидетельство почитания его таланта, но знаменитость не хотела слушать никаких увещеваний.

— Я их знаю,— говорил он, испуганный и злой.— Они сперва просят автограф, а под конец кусаются и щиплются.

Мы посмеялись, но действительность подтвердила прогнозы артиста. Хенаро-сын решил переждать еще полчаса, считая, что поклонницы устанут ждать и удалятся. В десять с четвертью (на это время я договорился с тетушкой Хулией отправиться в кино) мы сами устали ждать, пока почитательницы обессилеют, и решили выйти. Хенаро-сын, Паскуаль, Хесусито, Мартинес Моросини и я, взявшись за руки, образовали круг, в центр которого поместили знаменитость, чья бледность стала

почти меловой, едва мы приоткрыли дверь. Первые ступеньки лестницы мы смогли одолеть без особых потерь, пробиваясь сквозь море поклонниц локтями, коленками, головой, плечами. «Море» в это время ограничивалось аплодисментами, вздохами, прикосновением к своему любимцу, который, хотя и без кровинки в лице, улыбался и бормотал сквозь зубы: «Пожалуйста, друзья, только не расцепляйте руки!» Но вскоре нам пришлось отражать форменные атаки. Нас хватали за одежду, толкали, с воплями тянули к нам руки, чтобы оторвать кусочек рубашки или костюма с плеча своего идола. Через десять минут борьбы, задыхаясь, мы добрались до коридора к выходу, и я уже подумал, что мы спаслись, но здесь-то и началось главное. Несчастного исполнителя болеро вырвали у нас из рук, и поклонницы стали буквально рвать его на части. Правда, растерзать его окончательно им не удалось, но когда мы засунули кумира в автомобиль Хенаро-отца, ожидавшего нас за рулем уже полтора часа, сам Лучо Гатика и его железная гвардия выглядели как чудом уцелевшие жертвы катастрофы. С меня сорвали галстук и в клочья разодрали рубашку, у Хесусито была порвана ливрея и похищена форменная фуражка, у Хенаро-сына на лбу красовался синяк от удара дамской сумочкой. Звезда болеро остался жив, но от всей его одежды уцелели лишь туфли и трусы. На следующий день, когда мы пили традиционный кофе в десять утра в «Бранса», я рассказал Педро Камачо о подвигах поклонниц Гатики. Они нимало не удивили его.

— Мой юный друг,— сказал он философски, как бы созерцая издалека меня.— Музыка **тоже** трогает душу толпы.

Пока я защищал физическую целостность Лучо Гатики, сеньора Аградесида, производя уборку в нашей будке, выкинула вместе с мусором четвертый вариант моего рассказа о сенаторе. Но вместо горечи я почувствовал облегченье и решил, что это — перст судьбы. Когда я сообщил Хавьеру, что больше не буду работать над своим произведением, тот, не пытаясь отговорить меня от такого шага, поздравил с принятым решением.

Тетушка Хулия очень веселилась, услышав о моих подвигах в качестве телохранителя. Мы встречались почти ежедневно после ночи с мимолетными поцелуями в ресторане «Боливар». На следующий день после юбилея дяди Лучо я совершенно неожиданно явился к ним домой, на мое счастье, тетушка Хулия была одна.

— Они поехали навестить твою тетушку Ортенсию,— сказала она, проводя меня в гостиную. — Я не поехала, так как мне известно, что эта сплетница всю жизнь занимается тем, что придумывает про меня всякие небылицы.

Я обнял ее за талию, привлек к себе, попытался поцеловать. Она не оттолкнула меня, но и не поцеловала: я ощутил холод ее губ. Отстранясь, я увидел, что она смотрит на меня без тени улыбки. И не с удивлением, как накануне, а скорее с любопытством и чуть-чуть с насмешкой.

— Вот что, Марито, — голос ее звучал приветливо и спокойно. — Я совершала в своей жизни самые невероятные безумства. Но такого не совершу. — Она засмеялась. — Я — растлительница малолетних? Нет, увольте, этому не бывать!

Мы сели и проболтали почти два часа. Я рассказал ей всю свою жизнь — нет, не прошедшую, а ту, что ждет меня впереди, когда я перееду в Париж и стану писателем. Я поведал ей, что мне захотелось писать после того, как впервые прочел Александра Дюма, и с той поры я мечтаю отправиться во Францию, жить в настоящей мансарде, в квартале художников и артистов, полностью посвятив себя литературе, прекраснейшему занятию в мире.

Я рассказал ей далее, что изучал право лишь для того, чтобы сделать приятное своему семейству, потому что адвокатура, по моему мнению, является самой никчемной и глупой профессией, и я никогда не буду заниматься ею. Внезапно я обнаружил, что говорю с необыкновенной пылкостью, и объявил, что впервые в жизни свою интимную тайну поверяю не другу, а женщине.

— Я напоминаю тебе твою маму, потому-то тебя и тянет исповедаться передо мною,— подвергла меня психоанализу тетушка Хулия.— Так, значит, из сына Дориты получился поклонник богемы? Ай-ай-ай! Ну и дела. Но ведь самое ужасное, сынок, что ты при такой жизни умрешь с голоду.

Она рассказала мне, что накануне ночью совсем не спала и размышляла о моих робких поцелуях в ресторане «Боливар». Сын Дориты, мальчишка, которого она только вчера вместе с его мамой провожала в Кочабамбу[1], в колледж Ла Салль; соплячок, которого она видела еще в коротеньких штанишках; паж, которому она разрешала сопровождать ее в кино, чтобы не ходить одной, вдруг ни с того ни с сего целует ее в губы как самый настоящий мужчина! Все это никак не укладывалось у нее в голове.

— Да, я — самый настоящий мужчина, — заверял я, взяв ее руку и целуя пальцы. — Мне восемнадцать лет. И вот уже пять лет, как я утратил невинность.

— А что же тогда говорить обо мне — мне уже тридцать два, и свою девственность я потеряла пятнадцать лет назад! — смеялась тетушка Хулия.— Значит, я — совсем старая развалина?!

[1] Город в Боливии.

Она смеялась громко, чуть хрипло, но весело и откровенно, широко открывая крупный рот с пухлыми губами и щуря глаза. На меня она смотрела с иронией и лукавством, все еще не как на настоящего мужчину, но уже и не так, как смотрят на сопляков. Хулия поднялась налить мне виски.

— После дерзости, которую ты позволил себе позавчера, я уже не предлагаю тебе кока-колу, — сказала она опечаленно. — Теперь я вынуждена обращаться с тобой как с одним из своих поклонников.

Я ответил ей, что разница в возрасте не так страшна.

— Не так страшна — это верно,— возразила она мне.— Но почти такова, что ты мог быть моим сыном.

Она поведала мне историю своего замужества. В первые годы все шло прекрасно. Ее супруг владел имением в предгорьях, и она настолько привыкла к сельской жизни, что редко выезжала в Ла Пас. Господский дом был очень удобным, она наслаждалась тишиной, здоровой, простой жизнью: много ездила верхом, совершала прогулки, ходила на праздники к индейцам. Тучи начали собираться, когда стало очевидным, что она не может иметь детей: супруг страдал от мысли, что у него не будет наследников. Потом он стал пить, и брак их покатился по наклонной плоскости склок, раздоров, примирений, пока не наступил крах. После развода они остались добрыми друзьями.

— Если я когда-нибудь и женюсь, то не буду заводить детей,— сообщил я ей.— Дети и литература несовместимы.

— Хочешь сказать, что я уже могу подать заявление и занять очередь в хвосте твоих поклонниц? — кокетливо спросила тетушка Хулия.

Ее речь отличалась легкостью и остроумием, соленые анекдоты она рассказывала совершенно непринужденно и была (как и все женщины, которых я знал до той поры) фантастически невежественна в литературе. Создавалось впечатление, будто в долгие свободные часы своей жизни в боливийском имении она читала преимущественно аргентинские журналы да еще, видимо, два-три романа, которые сочла достойными запоминания. Прощаясь с ней в тот вечер, я спросил, можем ли мы вместе смотреть кинофильмы, и она ответила: это можно. С тех пор почти ежедневно мы стали ходить в кино на вечерние сеансы; мне пришлось перетерпеть множество мексиканских и аргентинских мелодрам, но зато мы обменялись и множеством поцелуев. Мы выбирали самые отдаленные от дома кинотеатры: «Монтекарло», «Колина», «Марсано», — чтобы проводить как можно больше времени вместе. После сеанса мы долго бродили, она научила меня «ходить пирожком» (оказывается, гулять под руку в Боливии называется «ходить пирожком»). Мы блуждали по пустынным улицам Мирафлореса (каждый раз при появлении автомашины или прохожего мы отстранялись друг от друга) и говорили обо всем на свете, а в это время нас поливал тихий дождик (стояло то мерзкое время года, которое в Лиме называют «зимой»). По-прежнему тетушка Хулия днем ходила обедать или пить чай со своими многочисленными кавалерами, а для меня оставляла вечер. Мы действительно шли в кинотеатр, но здесь выбирали самые последние ряды партера, где (особенно если фильм был плох) могли целоваться, не мешая другим зрителям и не опасаясь быть узнанными. Очень скоро наши отношения превратились в нечто неопределенное, замерев на каком-то неуловимом отрезке между столь противоположными категориями, как влюбленные и любовники. Это и было постоянной темой наших разговоров. Как у любовников, у нас была своя тайна, страх перед разоблачением, ощущение опасности, но любовниками мы были платоническими, ибо любовью не занимались (как же впоследствии удивился Хавьер, узнав, что мы даже не обнимались!). От влюбленных мы унаследовали уважение к классическим ритуалам молодых возлюбленных района Мирафлореса тех времен (хождение в кино, поцелуи во время сеанса, прогулки под руку по улицам), а также непогрешимое поведение (в те доисторические времена девушки этого района приходили к алтарю целомудренными и позволяли прикоснуться к себе лишь после того, как возлюбленный был официально возведен в ранг жениха). Но какими возлюбленными могли быть мы при нашей разнице в возрасте и с нашими родственными связями? Из-за того что наш роман был таким двусмысленным и необычным, мы шутя называли его то «жениховство по-английски», то «роман по-шведски», то «драма по-турецки».

— Любовь между ребеночком и старушкой, а она, кроме всего прочего, еще в некотором роде и его тетя, — однажды сказала мне тетушка Хулия, когда мы пересекали Центральный парк. — Прекрасная тема для радиодрамы Педро Камачо.

Я напомнил ей, что она лишь официально считается моей теткой. На это она мне сказала, что в радиопостановке, прослушанной ею в три часа пополудни, говорилось, как некий парень из района Сан-Исидро, красавец и прекрасный спортсмен-серфист, был в близких отношениях не с кем иным, как с собственной сестрой, которая к тому же — о, ужас! — от него забеременела.

— С каких пор ты слушаешь радиопостановки? — спросил я ее.

— Я заразилась от своей сестрицы,— ответила она.— Радиодрамы «Радио Сентраль» действительно великолепны: не драмы, а драмищи, так и рвут душу на части!

Тетушка Хулия покаялась мне, что нередко она и тетя Ольга рыдали, слушая эти передачи. То было первое свидетельство о впечатлении, которое произвело перо Педро Камачо на семьи жителей Лимы. Вскоре в домах моих родственников я имел возможность собрать и другие свидетельства. Я приходил к тете Лауре, но, увидев меня на пороге, она подносила палец к губам, а сама продолжала сидеть, прижавшись к радиоприемнику, как бы для того, чтобы не только слышать, но и вдыхать, осязать (то дрожащий, то сдержанный, то горячий, то нежный) голос боливийского артиста. Я приходил к тетке Габи и заставал ее и тетю Ортенсию с забытым клубком ниток в руках: обе внимательно следили за насыщенным модуляциями и изобилующим деепричастиями диалогом между Лусиано Пандо и Хосефиной Санчес.

Мои собственные дедушка и бабушка всегда имели «склонность к романчикам», как выражалась бабушка Кармен; теперь же ими овладела подлинная страсть к радиопостановкам. Я просыпался по утрам с позывными «Радио Сентраль»: это старики уже готовились прослушать первую из подобных передач — она транслировалась в десять часов утра. Я обедал, слушая постановку в два часа дня; когда бы я ни возвращался домой, я заставал в креслах маленького зальчика стариков и кухарку, завороженных тем, что исходило из недр приемника, огромного и тяжкого, как комод, к тому же они включали его на полную мощность.

— Почему тебе так нравятся эти радиодрамы? — спросил я однажды бабушку. — Что в них такого, чего нет в книгах?

— Они совсем как живые. Когда слушаешь героев, они кажутся настоящими, — объяснила она мне после некоторого раздумья. — И кроме того, в моем возрасте лучше служат уши, чем глаза.

Я пытался провести такие же исследования в домах других родственников, но результаты были очень неопределенными. Тетушкам Габи, Лауре, Ольге и Ортенсии радиопостановки нравились потому, что — грустные или веселые — они отвлекали их от будней, давая возможность мечтать, испытывать необычные для их повседневной жизни ощущения и вдобавок чему-то их учили. А может, потому, что каждая тетушка еще сохранила, пусть немного, романтики? Когда же я спросил их, почему радиороманы нравятся им больше книг, тетушки запротестовали: какая глупость! Как можно сравнивать? Книги — это культура, а радиодрамы — пустяк, простое времяпрепровождение! На самом же деле они теперь все свое время проводили, прильнув к радиоприемнику, ни разу ни одну из них я не видел за книгой. Во время наших ночных прогулок тетушка Хулия иногда вкратце пересказывала мне наиболее понравившиеся ей эпизоды из этих постановок, а я ей — содержание наших бесед с боливийским писакой, так что Педро Камачо в конце концов стал неотъемлемой частью нашего романа.

В тот день, когда в результате многочисленных протестов мне удалось наконец добиться возмещения изъятой пишущей машинки, я еще раз убедился в том, что новые радиопостановки имели успех. Хенаро-сын, сияя улыбкой, явился к нам с папкой в руках.

— Перекрыты самые оптимистические расчеты,— сказал он.— За две недели число слушателей наших радиопередач увеличилось на двадцать процентов. Догадываетесь, что это означает? Это означает, что на двадцать процентов будут повышены счета, направляемые рекламодателям.

— Значит, нам на двадцать процентов повысят жалованье? — подпрыгнул на стуле Паскуаль.

— Но вы работаете в «Панамерикана», а не на «Радио Сентраль», — напомнил нам Хенаро-сын. — Наша радиостанция славится хорошим вкусом и радиодрам не транслирует.

Вскоре откликнулись и газеты: на специально выделенных полосах было отмечено, что новые радиопостановки завоевали широкую публику; посыпались похвалы в адрес Педро Камачо. Гидо Монтеверде первым воспел его в своей газете «Ультима ора», назвав Камачо «опытным сценаристом, которого отличают тропическое воображение и романтический слог, мужественным режиссером, многогранным актером с удивительным голосом». Однако тот, к кому относились все эти эпитеты, и не догадывался о буре восторга, вызванного им. Однажды утром, когда я, как обычно, зашел за ним, чтобы вместе выпить кофе, я обнаружил на окне его клетушки плакат с корявой надписью: «Журналистов не принимают. Автографы не дают. Художник работает! Уважайте его!».

— Это что — серьезно или в шутку? — спросил я, наслаждаясь кофе, в то время как он потягивал отвар из йербалуисы с мятой.

— Вполне серьезно, — ответил он. — Местные пернатые начинают отравлять мне жизнь, и если я их не остановлю, то вскоре очереди радиослушателей дотянутся и сюда,— при этом, будто нехотя, он указал на площадь Сан-Мартина.— Будут просить фотографии, автографы. Мое время дороже золота, я не могу тратить его попусту.

В том, что он говорил, не было ни капли высокомерия, только искреннее беспокойство. Одет он был в свой обычный черный костюм, при галстуке-бабочке и курил вонючие сигареты «Авиасьон». Как всегда, он был чрезвычайно серьезен. Я надеялся

доставить ему удовольствие, рассказав о моих тетушках — фанатических поклонницах его таланта и о Хенаре-сыне, которого просто распирало от гордости после проведенной анкеты по поводу новых радиопостановок. Но Педро Камачо в раздражении заставил меня умолкнуть, давая понять, что все это — вполне естественно и он заранее знал, что так именно и будет. Он тут же сообщил мне, что возмущен отсутствием такта у «торгашей» (только так он теперь называл обоих Хенаро).

— Что-то не ладится в постановках, и мой долг — выправить это положение, а их долг — помочь мне, — говорил Педро Камачо, нахмурясь. — Но всем ясно, что толстосуму до искусства — как свинье до маргаритки.

— Не ладится? — удивился я. — Но ведь ваши постановки имели такой успех!

— «Торгаши» отказываются уволить Паблито, несмотря на мои требования, — объяснил он. — Из-за какой-то сентиментальной чепухи вроде того, что этот тип давно работает на радиостанции и тому подобное. Будто искусство сродни благотворительности. Некомпетентность этого придурка вредит моему творчеству.

Великий Паблито был одним из тех живописных и не совсем понятных типов, которых порождает и влечет к себе атмосфера радиостанции. Уменьшительное имя наводило на мысль о мальчике, однако Паблито был метис лет пятидесяти, он еле передвигал ноги, у него случались такие приступы астмы, что едва не вгоняли его в гроб. С утра до вечера он околачивался в студиях «Сентраль» и «Панамерикана», делая все, что придется: помогал уборщикам, покупал билеты в кино и на бой быков обоим Хенаро, раздавал пропуска для прослушивания в студии. Чаще всего он участвовал в радиопостановках, где отвечал за «особые эффекты».

— «Торгаши» считают, что «особые эффекты» — ерунда и поручить это можно любому бродяге,— с надменным видом аристократа и ледяным тоном поучал Педро Камачо.— А на самом деле эти эффекты — тоже искусство. Но что знает об искусстве этот полуживой Паблито с его недоразвитым мозгом?

Педро Камачо заверил меня, что в «нужный момент» он не колеблясь собственными руками уничтожит любое препятствие на пути «совершенствования его творчества» (и произнес это так, что я сразу поверил).

С грустью он добавил, что не имеет возможности подготовить специалиста по «особым эффектам» и обучить его всем тонкостям, но после ознакомления с местными дневными передачами он нашел того, кто ему нужен. Педро Камачо понизил голос, огляделся вокруг и таинственно изрек:

— Личность, нужная нам, находится на «Радио Виктория».

Мы с Хавьером, проанализировав возможности Педро Камачо осуществить его человеконенавистнические планы в отношении Великого Паблито, сошлись на том, что участь последнего зависит исключительно от результатов опросов: если радиодрамы будут пользоваться все возрастающим успехом, Паблито безжалостно принесут в жертву. Действительно, не прошло и недели, как у нас на крыше появился Хенаро-сын, застав меня в разгаре работы над новым рассказом, однако он был настолько любезен, что ничего не сказал по этому поводу. Он обратился ко мне и Паскуалю, как бы оказывая нам величайшее благодеяние:

— Вы вечно жалуетесь, что перегружены работой, так вот— мы нашли вам нового редактора. Вы ведь этого хотели, лодыри. С вами будет работать Великий Паблито. Смотрите не почивайте на лаврах!

Подкрепление, полученное Информационной службой, скорее можно было назвать моральной поддержкой, ибо на следующее утро, в семь часов, когда пунктуальнейший Великий Паблито явился в нашу будку и спросил, что ему делать, а я предложил просмотреть все сообщения о сессии парламента, у него на лице отразился смертельный ужас, он закашлялся до посинения и, наконец, выдавил, что это невозможно:

— Я не умею ни читать, ни писать, сеньор.

Я оценил направление к нам неграмотного человека в качестве редактора как тонкий юмор Хенаро-сына. Паскуаль же, который поначалу, узнав, что ему придется делить обязанности с Великим Паблито, очень разнервничался, воспринял новость с откровенной радостью. Он корил своего выдающегося коллегу за лень, за то, что не стал учиться, как он: Паскуаль, уже будучи взрослым, посещал вечернюю бесплатную школу. Совершенно подавленный, Великий Паблито со всем соглашался, повторяя как заведенный: «Все верно... я и не подумал об этом... вы совершенно правы», и смотрел на меня так, будто он уже уволен. Я успокоил Паблито, сказав, что ему вменяется в обязанность разносить радиосводки дикторам. Но вскоре Великий Паблито превратился в подлинного раба Паскуаля: тот целыми днями гонял беднягу с крыши на улицу и обратно — то за сигаретами, то за фаршированным картофелем к торговке на улицу Карабайя и даже посылал вниз посмотреть, не идет ли дождь. Великий Паблито стоически переносил свою рабскую зависимость и даже выказывал большее уважение и любовь к своему мучителю, чем ко мне. В минуты, свободные от поручений Паскуаля, Паблито забивался в уголок и, откинувшись головой к стене, тут же засыпал. Храпел он монотонно и со свистом, как проржавленный вентилятор. Паблито был великодушен — к Педро Камачо он не испытывал никакой злобы за то, что тот заменил его человеком из «Радио Виктория». О боливийском писаке он всегда отзывался восторженно, искренне восхищаясь им. Он часто просил у меня разрешения

послушать репетиции в студии и каждый раз возвращался еще более воодушевленным.

— Это — гений! — утверждал с одышкой Великий Паблито.— Какие удивительные вещи он сочиняет!

Великий Паблито нередко развлекал нас занятными историями об артистических подвигах Педро Камачо.

— Тебе следовало бы написать рассказ об этом, а не о Доротео Марти,— поучал меня Хавьер.—«Радио Сентраль» — золотая жила для литературы.

В основу рассказа, который я пытался написать в те дни, легла история, переданная мне тетушкой Хулией; она же была и свидетельницей этого события на представлении в театре «Сааведра» в Ла Пасе. Доротео Марти был испанский актер, который гастролировал по странам Латинской Америки, выжимая слезу у восторженной публики своей мастерской игрой в пьесах «Нелюбимая», «Настоящий мужчина» и других подобных нелепостях. Даже в Лиме, где театр как развлечение умер еще в прошлом веке, труппа Доротео Марти сумела заманить зрителей в муниципальный театр постановкой, которая, по слухам, была «гвоздем» всей программы: «Житие, Страсти и Смерть Христовы». Актер отличался завидным практицизмом. Злые языки утверждали, что однажды во время действия Христос вдруг прервал свои скорбные стенания в Гефсиманском саду, чтобы любезным голосом сообщить уважаемой публике об особом представлении на следующий день, на которое каждый кавалер может бесплатно провести одну даму (затем страдания Христа возобновились). Тетушка Хулия отправилась в театр «Сааведра» именно на эту постановку — «Житие, Страсти и Смерть Христовы». Все произошло в кульминационный момент. Иисус уже бился в агонии на вершине Голгофы, когда зрители заметили, что крест, к которому был привязан Христос— Марти, паривший в облаках ладана, вдруг качнулся. Что это — случайность или эффект, предусмотренный режиссурой? Богоматерь, апостолы, легионеры и народ, тревожно переглядываясь, стали тихонько отступать от качающегося креста, на котором по-прежнему, склонив голову на грудь, висел Иисус—Доротео. Вначале тихо, но уже достаточно слышно для первых рядов партера он шептал: «Падаю, я падаю!» Парализованные свершающимся святотатством люди, стоящие за кулисами, не выбежали, чтобы поддержать крест: он раскачивался вовсю, бросая вызов всем законам физики. Тревожный шепот сменил молитвы. А несколько минут спустя зрители Ла Паса увидели, как Марти из Галилеи ничком рухнул на сцену под тяжестью священного бревна, и услышали жуткий грохот, потрясший здание театра. Тетушка Хулия клялась, что Христос, прежде чем хлопнуться на подмостки, успел дико взвизгнуть: «Я падаю, черт побери!»

Мне хотелось воссоздать как раз этот финал: рассказ так и должен был эффектно завершиться — ревом и ругательством, вырвавшимся у Христа. Я старался создать настоящую сатиру, а чтобы овладеть ее техникой, читал в автобусах, такси и дома перед сном всех писателей-юмористов, книги которых смог достать: от Марка Твена и Бернарда Шоу до Хардиэля Понселы и Фернандеса Флореса. Но, как всегда, рассказ у меня не ладился — и Паскуаль и Великий Паблито потеряли счет страничкам, отправленным мною в корзину. Хорошо еще, что в вопросах расходования бумаги оба Хенаро проявляли подлинное великодушие к Информационной службе.

Прошло две или три недели, прежде чем я познакомился с человеком из «Радио Виктория», заменившим Великого Паблито. В отличие от практики, существовавшей до приезда боливийца, когда любой мог присутствовать при записи радиоспектаклей, Педро Камачо запретил вход в студию всем, кроме актеров и техников. Он запирал двери на ключ и для пущей важности выставлял снаружи монументальный заслон в лице швейцара Хесусито. Исключения не делали даже для Хенаро-сына.

Однажды вечером (так было всякий раз, когда у него возникали проблемы и нужна была чья-нибудь жилетка, чтобы выплакаться) Хенаро-сын поднялся к нам на крышу и с дрожащими от гнева ноздрями стал жаловаться.

— Я пытался войти в студию, но он прервал программу и наотрез отказался записывать дальше, пока я не уберусь, — говорил Хенаро-сын не своим голосом.—И к тому же пообещал, что в следующий раз, если я прерву репетицию, он швырнет мне в голову микрофон. Что делать? Рассчитать его без выходного пособия или проглотить эту пилюлю?

Я сказал ему то, что он хотел от меня услышать: в связи с успехом радиопостановок («в интересах развития национального радиовещания» и т. д.) он должен проглотить эту пилюлю и никогда более не совать свой нос во владения боливийского артиста. Хенаро-сын так и сделал, а я прямо-таки изнемогал от любопытства и желания присутствовать на записи одной из программ писаки.

Как-то утром, в час нашего обычного утреннего кофе, после долгих и осторожных заходов я осмелился заговорить с Педро Камачо о своем желании. Я сказал ему, что мне хотелось бы увидеть в деле нового ответственного за «особые эффекты» и убедиться, действительно ли он так хорош, как Педро мне говорил.

— Я не сказал «хорош», я сказал «годен», — тут же поправил меня Педро Камачо.— Но я обучаю его, и, скорее всего, он сможет стать хорошим техником.

Он принял глоток своего привычного пойла и уставился на меня, прищурив холодные, высокомерно взирающие на мир глазки, — видно было, что его раздирают сомнения. В конце концов он сдался:

— Хорошо. Приходите завтра, в три часа дня. Но, как ни жаль, повторить ваше посещение будет невозможно. Я не люблю, когда актеры отвлекаются, их беспокоит присутствие посторонних, они уходят из-под моего контроля, и — прощай работа, построенная на катарсисе[1]! Запись каждого эпизода — это как богослужение, мой друг!

На самом же деле все было гораздо торжественнее мессы. Среди всех церковных служб, памятных мне (вот уже несколько лет, как я вообще не ходил в церковь), я никогда не видел столь продуманной церемонии, столь сложного ритуала, каким была запись на пленку семнадцатой главы «Приключений и несчастий дона Альберто де Кинтероса», на которую я был допущен. Запись, видимо, длилась не более получаса: десять минут на репетицию, двадцать — собственно на запись, но мне казалось, что спектакль длится часы. Еще у входа меня потрясла атмосфера религиозного экстаза, царившая в застекленной клетушке с пыльным зеленым ковром, которая громко именовалась «Студия записи № 1 Радио Сентраль». В качестве зрителей здесь находились только Великий Паблито и я, все остальные были участниками. Войдя в комнатушку, Педро Камачо стальным взглядом дал понять, что мы должны замереть и превратиться в соляные столбы. Режиссера-сценариста будто подменили: он казался выше ростом, сильнее. То был генерал, наставляющий своих вышколенных подчиненных. Вышколенных? Скорее очарованных, завороженных, загипнотизированных. Усатую и прыщавую Хосефину Санчес, которую я столько раз видел в момент записи ее партии со жвачкой за щекой или со спицами в рукэх, обычно отрешенную от происходящего (нередко она даже не понимала, что произносит, — об этом свидетельствовал ее вид), с трудом можно было узнать в серьезной женщине, сидевшей передо мной. Хосефина уткнулась в листки сценария, как в молитвенник, и отрывала от них глаза лишь для того, чтобы взглянуть — покорно и почтительно — на боливийца. При этом ее пронизывала дрожь, как девочку перед алтарем в день первого причастия. То же самое происходило с Лусиано Пандо и другими тремя актерами — двумя женщинами и совсем зеленым юнцом. Они не обменивались ни словом, ни взглядом, их взоры, отрываясь от сценария, устремлялись только к Педро Камачо. Даже техник по звуку — Комаришка Очоа, стоявший по другую сторону стеклянной стены,— был с ними заодно. С чрезвычайно серьезным видом он проверял аппаратуру, нажимал кнопки, зажигал свет и очень внимательно, нахмурив брови, неотступно следил за всем, что происходит в студии.

Пять актеров выстроились полукругом возле Педро Камачо, который — черный костюм, галстук-бабочка, развевающаяся шевелюра — давал им наставления относительно предстоящей записи. То, что он говорил, не было инструктажем, по крайней мере в прозаическом смысле этого слова. Иными словами, то не были конкретные указания, как следует каждому читать свою роль: сдержанно или с чувством, медленно или быстро. Как всегда, Педро Камачо с олимпийским величием рассуждал об эстетических тонкостях и философских глубинах искусства. Естественно, наиболее часто употребляемыми словами этого вдохновенного монолога были «искусство» и «эстетический», будто они служили волшебным ключом, который все открывал и с помощью которого все находило свое объяснение. Но еще более, чем эти тирады, поражала его глубокая убежденность, а также эффект, вызываемый ею. Педро Камачо говорил, жестикулируя и поднимаясь на цыпочки, голос его звучал, как у фанатика, одержимого одному лишь ему доступной истиной, которую он призван насаждать и утверждать в умах. Этого он достиг вполне: все пятеро актеров внимали ему, слушали его, оцепеневшие и потрясенные, широко раскрыв глаза, будто впитывая его сентенции по поводу их работы («миссии», как именовал ее боливиец). Я пожалел, что здесь не было тетушки Хулии, ибо вряд ли она поверит, если я расскажу, как преобразилась и духовно возвысилась за каких-то полчаса пламенных проповедей писаки горстка представителей самой несчастной профессии в городе Лиме.

Прижавшись друг к другу, мы с Великим Паблито сидели в углу студии на полу. Перед нами в окружении каких-то дьявольски непонятных атрибутов расположился беглец с «Радио Виктория» — новейшее приобретение Педро Камачо. Он также пребывал в мистическом трансе, внимая взываниям режиссера. Началась запись очередной главы, и этот тип превратился для меня в центр спектакля.

То был невысокий человечек, крепенький, с медным оттенком кожи и жесткими, торчащими волосами. Одет он был почти как нищий: рваный комбинезон, рубашка в заплатах, огромные ботинки без шнурков. (Впоследствии я узнал, что он известен под таинственной кличкой Батан.) Его рабочими инструментами были: толстая доска, дверь, снятая с петель, стиральная машина с водой, свисток, рулон фольги, вентилятор и прочие предметы домашнего обихода. Батан сам по себе представлял целый спектакль — с чревовещанием и акробатикой, он перевоплощался во множество персонажей, изображая все, что доступно человеческому воображению. Стоило режиссеру подать условный знак — указательный палец многозначительно покачивался в воздухе, нашпигованном вздохами, ахами и разговорами, — как Батан, ступая по доске в точно рассчитанном, замирающем ритме, изображал удаляющиеся или приближающиеся шаги героя. По другому знаку он направлял вентилятор на фольгу — и слышались шум дождя или завывания ветра; по третьему — засовывал три пальца в рот и заполнял студию птичьими переливами, которые на весенней заре будили героиню

[1] Катарсис — учение Аристотеля об «очищении» душевного состояния зрителя под воздействием трагедии.

в ее загородном доме. Но особенно неподражаем он был, воспроизводя звуки улицы. Наступал момент, когда двое героев, разговаривая, пересекали главную площадь. Комаришка Очоа включал запись гудков и шума автомобилей, но все остальные уличные звуки производил самолично один Батан, щелкая языком, клекоча, подсвистывая (казалось, он все это делает одновременно). Достаточно было закрыть глаза, как в маленькой студии «Радио Сентраль» раздавались голоса прохожих, можно было различить отдельно брошенные слова, шутки, восклицания — все, что обычно слышишь, рассеянно бредя по многолюдной улице. Но и это еще не все. Подражая десяткам различных человеческих голосов, Батан в то же время ходил и прыгал на своей доске, изображая шарканье прохожих, их случайные столкновения в уличной суете. Он «ходил» и на руках (на них он тоже надевал ботинки), садился на корточки, свесив руки по-обезьяньи или ударяя себя ладонями или локтями. Изобразив — акустически — главную площадь, он без особого труда создавал звуковую картину роскошной виллы великосветской дамы в Лиме, устраивающей чай (естественно, чашечки китайского фарфора) для своих приятельниц: Батан звякал железками, царапал по стеклу и, дабы имитировать скольжение стульев и шаги людей по истертым коврам, водил по собственному заду маленькими дощечками. Рыча, гаркая, хрюкая и завывая, Батан фонетически изобразил зоологический сад в Барранко, при этом значительно обогатив его. После окончания записи Батан выглядел как олимпийский марафонец: он едва дышал, глаза запали, с него лил пот, не хуже чем со скакового коня.

По примеру Педро Камачо все его сотрудники держались с серьезной торжественностью, и в этом, по сравнению с прошлым, было резкое различие в работе над записью. Радионовеллы гаванской компании CMQ всегда записывались в развеселой атмосфере, когда актеры, читая свои роли, посмеивались друг над другом и делали непристойные жесты, подшучивая как над собой, так и над тем, о чем они говорили в микрофон. На этот же раз у меня было впечатление, что, если кто-либо осмелится подшутить над коллегой, остальные немедленно покарают его за святотатство. Я было подумал, что актеры притворяются, преклоняясь перед своим шефом, из боязни потерять работу на радио, что в глубине души они никак не ощущают себя «жрецами искусства» в отличие от своего предводителя. Но я ошибался. Возвращаясь к себе в конторку, я проводил немного по улице Белен Хосефину Санчес (между двумя записями она ходила домой выпить чашку чая) и спросил ее, перед каждой ли записью боливийский писака произносит свои монологи или то было исключение. Она посмотрела на меня с таким презрением, что ее отвисший подбородок даже задрожал от негодования:

— Сегодня он был не в настроении и говорил совсем мало. А порой душа разрывается, как подумаешь, что его мысли не сохранятся для будущего.

Я спросил, действительно ли она, «человек с опытом», считает Педро Камачо большим талантом. Хосефина помедлила, чтобы найти подходящие слова:

— Этот человек облагораживает профессию актера.

VI

Сияющим летним утром, как всегда подтянутый и пунктуальный, доктор дон Педро Барреда-и-Сальдивар вошел в свой кабинет судьи первой инстанции (по уголовным делам) при Верховном суде города Лимы. Он был мужчиной в расцвете лет — ему исполнилось пятьдесят. Широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, доброжелательность и нравственная безупречность в сочетании с особой манерой держаться сразу же завоевывали ему уважение окружающих. Он одевался скромно — как подобает служителю закона с низким жалованьем, но не способному на низкие поступки,— однако с такой тщательностью, что казался элегантным.

Дворец правосудия только начинал просыпаться от ночного покоя. Его громада постепенно заполнялась суетливой толпой адвокатов и адвокатишек, привратников, истцов, нотариусов, душеприказчиков, бакалавров и просто зевак.

Доктор дон Педро Барреда-и-Сальдивар, находясь в сердце этого улья, открыл свой портфель, вынул две папки с текущими делами и приготовился начать рабочий день. Через несколько секунд в его кабинете внезапно и бесшумно, как астероид в мировом пространстве, появился секретарь — доктор Селайа, человечек в очках, с малюсенькими усиками, которые ритмично шевелились, когда он говорил.

— Добрый день, мой сеньор доктор,— поздоровался он с судьей, в поклоне складываясь пополам.

— Того же и вам желаю, Селайа,— вежливо улыбнулся ему доктор дон Барреда-и-Сальдивар.— Что нам принесло это утро?

— Изнасилование несовершеннолетней с отягчающими обстоятельствами в виде морального принуждения,— секретарь положил на стол пухлую папку.— Ответчик, проживающий в районе Ла Виктория, по Ломброзо,— тип врожденного преступника, отрицает свою вину. Основные свидетели находятся в коридоре.

— Прежде чем выслушать их, я должен ознакомиться с полицейским протоколом и заявлением истца,— напомнил судья.

— Свидетели подождут, сколько потребуется,— ответил секретарь и вышел из кабинета.

У доктора дона Барреды-и-Сальдивара под непроницаемой маской служителя правосудия скрывалась душа поэта. Ознакомления с бесстрастными судебными документами ему было достаточно, чтобы, очистив их от риторической шелухи, всяких там пунктов, подпунктов и латинских выражений, силой воображения постичь суть происшедшего. Так, читая протокол о случившемся в районе Ла Виктория, он с живостью воссоздал происшедшее во всех подробностях. Судья мысленно представил себе, как в прошлый понедельник в полицейский комиссариат разношерстного и перенаселенного района вошла девочка тринадцати лет, ученица школы «Мерседес Кабельо де Карбонера» по имени Сарита Уанка Салаверриа. Она плакала, на лице ее, на руках и ногах были видны синяки Девочку сопровождали родители, отец — дон Касимиро Уанка Падрон и мать — донья Каталина Салаверриа Мельгар. Несовершеннолетняя стала жертвой преступления накануне в жилом доме на авениде Луна Писарро, № 12, в квартире «Г», со стороны субъекта по имени Гумерсиндо Тельо, жильца того же дома (квартира «Е»). Сарита, пытаясь побороть смущение и всхлипывая, рассказала блюстителям порядка, что преступный акт явился трагическим завершением долгого и тайного преследования ее преступником. Последний вот уже восемь месяцев — то есть со дня, когда он появился в доме № 12 (личность это была странная, можно сказать — темная),— преследовал Сариту Уанку (причем ни родители девочки, ни соседи не догадывались об этом) сомнительного рода комплиментами и непристойными намеками. От намеков Гумерсиндо Тельо перешел к действиям, предприняв несколько попыток обнять и поцеловать девочку во дворе дома № 12 или на ближайших улицах, когда она возвращалась из школы или выходила за покупками. По причине естественной стыдливости пострадавшая не рассказывала родителям об этом.

В ночь на воскресенье, через десять минут после того, как ее родители отправились в кино «Метрополитан», Сарита Уанка — она как раз готовила уроки — услышала легкий стук в дверь. Она пошла открывать и увидела Гумерсиндо Тельо. «Что вам угодно?» — спросила она вежливо. Преступник, стараясь проявить максимум доброжелательности, сказал, что в его примусе кончился керосин, что уже поздно идти за ним в лавку и он пришел попросить в долг баночку горючего для приготовления ужина (долг он обещал вернуть на следующий день). Добрая и наивная девочка Сарита Салаверриа пропустила этого типа в комнату и показала ему, что бидон с керосином стоит между плитой и ведром, которое иногда служило и ночным горшком. (Доктор дон Барреда-и-Сальдивар улыбнулся, увидев эту подробность, отмеченную блюстителем порядка; запись в протоколе, помимо воли ее автора, выдавала привычку жителей некоторых кварталов, в данном случае семейства Уанка Салаверриа, отправлять свои естественные нужды в том же помещении, где они спят и едят).

Проникнув с помощью этой стратагемы в квартиру «Г», обвиняемый немедленно запер дверь. Потом встал на колени, скрестил руки на груди и забормотал любовные слова в адрес Сариты Уанки, которая лишь теперь с тревогой почувствовала что-то неладное. На языке, который девочка определила как «романтический», Гумерсиндо Тельо убеждал ее уступить его желаниям. Сарита Уанка, придя в себя, ответила энергичным отказом, выбранила Гумерсиндо Тельо и пригрозила позвать соседей. Услышав это, обвиняемый, оставив уговоры и мольбы, вынул нож и припугнул девочку, обещав при малейшем шуме зарезать ее. Встав с колен, он направился к Сарите, сказав: «Ну, хватит, хватит! Давай-ка, давай, моя радость!» Но так как Сарита все же не подчинилась, он стал избивать ее кулаками и ногами, пока она не упала на пол. Она лежала в нервическом припадке (по словам потерпевшей, в припадке она даже клацала зубами), а насильник сорвал с нее одежду и обрушился на сопротивлявшуюся девочку. Позднее Гумерсиндо Тельо покинул комнату «Г», предварительно посоветовав Сарите Уанке Салаверриа не обмолвиться о происшедшем, если она хочет дожить до старости (он даже потряс ножом в доказательство, что говорит серьезно). По возвращении из кинотеатра «Метрополитан» родители нашли свою дочь в слезах, в странном виде. Они потребовали от девочки рассказать о том, что случилось, но она отказалась. Так прошла ночь. Наутро, несколько придя в себя от нервного потрясения, девочка обо всем сообщила родителям, которые немедленно отправились в полицейский комиссариат района Ла Виктория заявить о происшедшем.

Доктор дон Барреда-и-Сальдивар на мгновение прикрыл глаза. Он испытывал (несмотря на ежедневное соприкосновение с преступностью, душа его не ожесточилась) жалость к девочке; для него уже с первого взгляда было ясно, что речь шла о типичнейшем, даже заурядном, преступлении, до малейшей детали классифицированном в соответствующей главе Уголовного кодекса, с характерными и отягчающими вину обстоятельствами, как преднамеренность, принуждение словом и действием, жестокость.

Следующим прочитанным им документом был протокол, составленный блюстителями порядка, арестовавшими Гумерсиндо Тельо.

Согласно приказу своего начальника капитана Г. К. Энрике Сото, полицейские Альберто Кусиканки Апестеги и Уаси Тито Паринакоча с ордером на арест явились в дом № 12 по авениде Луна Писарро, но искомого лица в квартире не оказалось.

При содействии соседей было установлено, что он механик, работает в мастерской «Инти» по ремонту моторов и автогенной сварке, расположенной в другом конце района, почти у подножья горы Эль Пино. Полицейские незамедлительно направились туда. К их удивлению, в мастерской им сообщили, что Гумерсиндо Тельо только что ушел, а хозяин мастерской, сеньор Карлос Принсипе, добавил, что механик просил разрешения уйти пораньше в связи с крещением. Полицейские стали расспрашивать рабочих, в какой церкви можно было бы найти механика, однако те загадочно улыбались и переглядывались. Сеньор Принсипе объяснил, что Гумерсиндо Тельо не католик, что он принадлежит к секте «свидетелей Иеговы» и что члены ее совершают обряд крещения не в церкви и не со священником, а под открытым небом, погружаясь в воды реки.

Подозревая (так как это уже случалось), что секта есть не что иное, как объединение извращенцев, Кусиканки Апестеги и Тито Паринакоча потребовали, чтобы их отвели к обвиняемому. После долгих колебаний и переговоров хозяин мастерской «Инти» сам проводил полицейских к месту, где, по его словам, мог находиться Гумерсиндо Тельо: несколько дней назад механик, пытаясь обратить его и товарищей по работе в свою веру, пригласил их туда на обряд крещения (этот ритуал, как заявил вышеупомянутый сеньор Принсипе, никоим образом его не убедил).

На своем автомобиле сеньор Карлос Принсипе отвез блюстителей порядка в конец улицы Майнас и парка Мартинетти к пустырю, где местные жители жгли мусор и где река Римак образовала небольшую заводь. Действительно, «свидетели Иеговы» находились здесь. Кусиканки Апестеги и Тито Паринакоча обнаружили около дюжины лиц разного возраста и пола, сидевших по пояс в илистой воде, причем не в купальниках, а в обычной одежде, некоторые из мужчин были при галстуках, а один — даже в шляпе. Безразличные к издевкам, крикам и будто не замечая сыпавшихся на них ошметков и огрызков, равно как и прочих проявлений истинно криольского юмора местных жителей, собравшихся на берегу поглазеть, члены секты торжественно совершали свой обряд, сначала показавшийся блюстителям порядка не чем иным, как попыткой коллективного самоубийства посредством утопления. Вот что увидели полицейские: гнусавя какие-то странные псалмы, «свидетели Иеговы» держали за руки и ноги дряхлого старика в пончо и топили развалину в грязной воде — может быть, с намерением принести его в жертву богам? Однако когда полицейские с пистолетами в руках, марая в тине ботинки и краги, приказали всем немедленно прекратить преступные действия, старик первым начал возмущаться и требовать, чтобы они убирались, обзывая их какими-то диковинными словами (вроде «римляне» и «паписты»). Блюстители порядка вынуждены были смириться, ожидая окончания обряда крещения, чтобы задержать Гумерсиндо Тельо, личность которого была ими установлена с помощью сеньора Принсипе. Церемония продолжалась еще несколько минут, и все это время ее участники бормотали молитвы и окунали в воду новообращенного, пока у него не закатились глаза и он чуть не захлебнулся. После этого «свидетели» поторопились вытащить старика на берег, где и поздравили его с новой жизнью, которая, по их словам, и начиналась отныне.

Тогда-то полицейские схватили Гумерсиндо Тельо. Механик не оказал ни малейшего сопротивления, не выразил никакого удивления в связи с арестом, не пытался бежать и в момент, когда на него надевали наручники, сказал только: «Братья, никогда вас не забуду». «Свидетели Иеговы» немедленно разразились новыми песнопениями, возведя взоры к небесам и закатывая глаза, и в таком виде проводили машину сеньора Принсипе, который доставил полицейских и задержанного в комиссариат района Ла Виктория, где полицейские распрощались с хозяином мастерской «Инти», поблагодарив за оказанное содействие.

В комиссариате капитан Г. К. Энрике Сото спросил обвиняемого, не хочет ли он высушить во дворе свои ботинки и брюки. Гумерсиндо Тельо ответил, что уже привык ходить в мокрой одежде, поскольку в последнее время в Лиме увеличилось число обращенных в истинную веру. Капитан Сото немедля приступил к допросу, в ходе которого обвиняемый проявил полную готовность давать показания. На вопрос о происхождении он сообщил, что его имя — Гумерсиндо Тельо и что он является сыном доньи Гумерсинды Тельо, ныне покойной, родом из Мокегуа [1], и неизвестного отца; что сам он вероятнее всего родился тоже в Мокегуа лет двадцать пять — двадцать восемь назад. Сомнения относительно возраста объясняются тем, что мать вскоре после рождения отдала его в приют для мальчиков, основанный в этом городе сектой папистов, в лживом учении которых он и был воспитан и от которого, к счастью, освободился лет в пятнадцать — восемнадцать от роду. Арестованный рассказал, что в приюте он пробыл до достижения указанного возраста, когда дом сгорел; огромный пожар уничтожил все архивы, что и явилось причиной полнейшего неведения арестованного относительно своего точного возраста. Он разъяснил, что это испытание было ниспослано ему провидением, так как именно в те дни он познакомился с двумя учеными мужами, направлявшимися из Чили в Лиму пешком. Мужи эти открывали глаза на истинное учение тем, кто ранее был к нему слеп и глух. Гумерсиндо Тельо уточнил, что в Лиму пришел с этими мудрецами, имена которых он, извинившись, отказался назвать, заявив, что достаточно знать об их суще-

[1] Департамент на юге Перу.

ствовании на белом свете и не надо клеить на них никаких ярлыков; далее он добавил, что жил в этом городе, деля время между работой в качестве механика (этому ремеслу он научился в приюте) и проповедью истинного учения. Тельо сказал, что прежде жил в районах Бренья, Витарта, Барриос Альтос, что он переселился в район Ла Виктория восемь месяцев назад, так как получил работу в мастерской «Инти» по ремонту моторов и автогенной сварке, расположенной довольно далеко от прежнего места жительства.

Обвиняемый признал, что с указанного времени проживал в качестве квартиросъемщика в доме № 12 по авениде Луна Писарро. Он также признал, что знаком с семейством Уанка Салаверрия; по его словам, он не раз обращался к членам семьи с просветительскими беседами, читал им священные тексты, однако успеха в своем начинании не достиг в силу того, что семья эта, так же как и другие, проживающие в доме, глубоко отравлена ересью римско-католической церкви. Когда ему назвали имя его предполагаемой жертвы — девочки Сариты Уанки Салаверрия, Тельо сказал, что знаком с ней, и добавил, что не терял надежды когда-нибудь обратить ее на путь истинный, ибо речь шла о личности, находящейся еще в нежном возрасте. Когда же ему сообщили подробности обвинения, Гумерсиндо Тельо искренне изумился, отрицая вменяемую ему вину, но через минуту (быть может, обвиняемый вначале просто симулировал замешательство, обдумывая форму будущей защиты?) расхохотался, сказав, что это есть испытание, ниспосланное ему богом, дабы узнать, тверда ли его вера и готов ли он к самопожертвованию. Он добавил, что теперь ему стало ясно, почему его не призвали на военную службу. Выяснилось, что он с нетерпением ожидал призыва, дабы подать пример стойкости, отказавшись надеть военную форму и принести присягу знамени — все это атрибуты сатаны. Капитан Г. К. Энрике Сото спросил Гумерсиндо Тельо, не высказывался ли он против Республики Перу, на что обвиняемый ответил, что никоим образом и что он имел в виду лишь дела религиозные. После этого Гумерсиндо Тельо в самой увлекательной форме приступил к разъяснению капитану Сото и полицейским истины о том, что Христос не был богом, а лишь его свидетелем и что все распространяемое сторонниками папы римского насчет распятия Христа на кресте суть ложь, ибо он был распят просто на дереве, и библия это подтверждает. В связи с чем обвиняемый предложил им почитать издание «Проснись!» стоимостью в два соля и выходящее каждые две недели, которое помогло бы им освободиться от сомнений как по данному, так и по другим вопросам веры и просвещения и к тому же доставило бы полезное развлечение. Капитан Сото заставил обвиняемого замолчать, указав, что в помещении полицейского комиссариата запрещается вести коммерческую рекламу. Затем он потребовал от Тельо сообщить, где тот находился и что делал накануне, когда, по утверждению Сариты Уанки Салаверрия, он был с нею, избивал ее. Гумерсиндо Тельо утверждал, что в ту ночь, как и все предыдущие, он находился в своей комнате один, предаваясь размышлениям о плоти господней и о том, что, вопреки убеждениям некоторых, неправда, будто в судный день воскреснут все люди,— многие никогда не смогут воскреснуть, а это доказывает смертность души. Вновь призванный к порядку, обвиняемый извинился и сказал, что заговорил на эту тему без всякого умысла, но что он не может удержаться, чтоб не пролить хоть лучик света в души окружающих, он приходит в отчаяние, сознавая, в каком невежестве пребывает народ. Затем он показал, что не помнит, видел ли он Сариту Уанку Салаверрия в ту ночь или накануне, и просил особо отметить в протоколе, что, несмотря на возведенную на него клевету, он не в обиде на девочку и даже благодарен ей, ибо подозревает, что через нее господь хочет проверить, насколько тверда его вера. Убедившись, что от Гумерсиндо Тельо невозможно добиться других показаний по поводу предъявленного ему обвинения, капитан Г. К. Энрике Сото закончил допрос и отправил обвиняемого в тюрьму при Дворце правосудия, чтобы судья первой инстанции дал делу законный ход.

Доктор дон Барреда-и-Сальдивар захлопнул папку и под удручающий гул, наполнявший по утрам здание суда, погрузился в размышления. «Свидетели Иеговы»? Он знал их. Несколько лет назад к нему в дом постучал некий тип, прибывший на велосипеде, и предложил ему журнальчик «Проснись!», каковой, поддавшись минутной слабости, судья и приобрел. С тех пор с точностью небесного светила «свидетель Иеговы» являлся к нему в разное время дня и ночи, желая просветить судью и навязывая ему брошюры, книги, журналы всевозможного формата и тематики, пока, наконец, судья, уверившись в невозможности оградить свой семейный очаг с помощью цивилизованных методов убеждения, не прибегнул к содействию полиции. Значит, насильник был одним из этих одержимых проповедников. Дело, решил доктор дон Барреда-и-Сальдивар, приобретает любопытный оборот.

Было еще утро, когда судья, рассеянно поглаживая длинный стальной нож для разрезания бумаг с рукояткой из Тиауанако[1], лежавший на его письменном столе как дань уважения начальства, коллег и подчиненных (нож был подарен судье в день его «серебряного» юбилея на юридическом поприще), вызвал секретаря и приказал впустить свидетелей.

[1] Селение в Боливии, где сохранились руины древней, доинкской, цивилизации (1000—1200 гг. до н. э.).

Первыми вошли полицейские Кусиканки Апестеги и Тито Паринакоча, которые почтительно подтвердили обстоятельства ареста Гумерсиндо Тельо и заявили также, что последний, за исключением того, что отрицал предъявленное ему обвинение, в остальном вел себя достаточно смирно, хотя и был изрядно навязчив, чокнувшись в своей религиозной мании. Доктор Селайа, на носу которого подрагивали очки, писал протокол по ходу показаний полицейских.

Затем ввели родителей несовершеннолетней; престарелый возраст супругов удивил судью: как могла зачать всего тринадцать лет назад эта чета стариков? Беззубый, с гноящимися глазами, дон Касимиро Уанка быстро согласился с той частью протокола, что касалась лично его, и тотчас же пожелал узнать, сможет ли Сарита вступить в брак с сеньором Тельо? Сеньора Салаверриа де Уанка, женщина тщедушная и вся в морщинах, подошла к судье и, поцеловав ему руку, стала умолять, чтобы он сжалился над ними и заставил сеньора Тельо повести Сариту к алтарю. Доктору дону Барреде-и-Сальдивару стоило большого труда объяснить старикам, что в многочисленные и высокие обязанности, возложенные на него, сватовство не входит. Судя по всему, супруги скорее были заинтересованы в том, чтобы выдать дочь замуж, чем в наказании за насилие, последнего они едва касались, лишь когда их вынуждали. Зато все время расписывали добродетели Сариты, будто выставляя дочь на продажу.

Улыбаясь про себя, судья подумал, что эти скромные крестьяне — несомненно старики прибыли с Кордильеры Анд, где прожили долгие годы, обрабатывая свой клочок земли,— заставили его почувствовать себя жестоким отцом, отказывающим в согласии на брак. Он попытался заставить стариков одуматься: как могут они желать в мужья своей дочери человека, способного совершить насилие над беззащитной девочкой? Но супруги, перебивая друг друга на каждом слове, твердили, что их Сарита будет примерной женой, несмотря на свой юный возраст, она умеет готовить, шить и все такое, что сами они — люди старые и не хотят оставить девочку сироткой, а сеньор Тельо — человек серьезный и работящий, хоть он и согрешил с Саритой прошлой ночью, никто никогда не видел его пьяным, и со всеми он вежлив, на работу уходит очень рано, взяв чемоданчик для инструментов и сверток газет, которые разносит по домам. Если парень так бьется за жизнь, разве это не хорошая партия для Сариты? Оба старика тянули к судье руки: «Сжальтесь! Помогите нам, господин судья!»

В голове доктора дона Барреды-и-Сальдивара проплыло темное облачко сомнения и, как дождем, вдруг разразилось гипотезой: уж не ловушка ли это, придуманная супругами, чтобы выдать замуж своего последнего отпрыска? Однако медицинский протокол был неумолим: девочка изнасилована. Не без труда судья выпроводил свидетелей. И вызвал потерпевшую.

Появление Сариты Уанки Салаверриа солнечным светом осветило строгий кабинет судьи первой инстанции. Человек, все повидавший на своем веку, перед которым в качестве обвиняемых или потерпевших прошли всевозможные человеческие типы и характеры, доктор дон Барреда-и-Сальдивар тем не менее отметил про себя, что его глазам предстало совершенно своеобразное существо. Была ли девочкой Сарита Уанка Салаверриа? Без сомнения, если учесть ее возраст и взглянуть на это худенькое тельце с робко обозначенными признаками женственности и если судить также по ее косам, по школьной блузке и юбке Однако повадки ее, в которых было что-то кошачье, ее поза — она встала, слегка расставив ноги и выдвинув бедро, отведя плечи назад, и развязным, зовущим жестом подбоченилась, упершись руками в бока, особенно ее манера смотреть пустыми бархатными глазами, покусывая нижнюю губку мелкими мышиными зубками,— все это вроде говорило о богатом жизненном опыте Сариты Уанки Салаверриа, даже о вековой мудрости.

Доктор дон Барреда-и-Сальдивар проявлял особый такт при допросе несовершеннолетних. Он умел внушать доверие, исподволь подготовить к показаниям, чтобы не ранить детскую душу, и ему легко удавалось при терпеливом и мягком обращении подвести детей к повествованию о любом, самом щепетильном деле. Однако на этот раз прежняя практика не помогла судье. Не успел он спросить несовершеннолетнюю, начав издалека, верно ли, что Гумерсиндо Тельо давно беспокоил ее своими нескромными предложениями, как Сарита Уанка пустилась в разговор. Да, с тех пор, как он поселился в Ла Виктории, в любой час и в любом месте. Он дожидался ее на автобусной остановке и провожал до дома, говоря: «Мне бы хотелось попробовать твоего медку», «Я изнемогаю от любви к тебе!» — и прочее, и прочее. Но не высказывания, приведенные Саритой и неуместные в устах ребенка, заставили вспыхнуть щеки судьи, прервали стук пишущей машинки доктора Селайи, а движения и жесты, с помощью которых Сарита демонстрировала притязания того, чьей жертвой она стала. Механик всегда пытался потрогать ее вот здесь — и две ручонки поднимались и, охватывая едва наметившиеся груди, любовно их ласкали. И вот здесь тоже: теперь руки ложились на колени, поглаживая их, затем ползли вверх по ноге, выше и выше, задирая юбку, добираясь до бедер... Моргая, покашливая, обмениваясь беглыми взглядами с секретарем, доктор дон Барреда-и-Сальдивар отечески объяснил девочке, что не обязательно рассказывать так подробно. «И он щипал меня вот здесь»,— прервала Сарита судью, становясь к нему вполоборота и демонстрируя ягодицу, которая в его глазах вдруг начала расти и раздуваться, как воздушный шар. Внезапно у судьи родилось предчувствие, что его кабинет в любой момент может стать сценой для стрип-

тиза. Сделав над собой усилие, судья ровным голосом попросил несовершеннолетнюю сосредоточить свое внимание на главном. Он пояснил ей, что несмотря на необходимость рассказать о случившемся со всей объективностью, совсем не обязательно задерживаться на отдельных деталях, и даже освободил ее от изложения таких подробностей (здесь доктор дон Барреда-и-Сальдивар поперхнулся, ощутив некоторую неловкость), которые могли бы ранить ее целомудрие. Судья стремился сделать допрос по возможности кратким и пристойным: он полагал, что, заговорив о прямом нападении на нее, девочка — это было бы естественно — смутится, станет немногословной, замкнутой, сдержанной.

Однако Сарита Уанка, услышав просьбу судьи, как бойцовый петушок при виде крови, вновь разгорячилась и пустилась в объяснения, целиком отдавшись захватывающему монологу и чувственно-мимическому представлению, от которого у доктора дона Барреды-и-Сальдивара буквально перехватило дыхание и которое возмутило плоть доктора Селайи. Механик постучал в дверь вот так, она открыла, и он посмотрел на нее вот эдак; она сказала ему то-то, он встал на колени вот так и схватился за сердце вот эдак, а потом стал признаваться ей в любви вот так, клянясь ей вот таким манером. Растерянные, загипнотизированные, судья и секретарь смотрели, как девочка-женщина порхала, словно птичка, вставала на пальчики, словно балерина, как она склонялась, выпрямлялась, улыбалась, как меняла голос, изображая то самое себя, то Гумерсиндо Тельо, пока, наконец, не упала на колени, признаваясь (себе от него) в любви.

Доктор дон Барреда-и-Сальдивар поднял руку и пробурчал: «Хватит!» Однако потерпевшая возбужденно продолжала рассказывать, что механик угрожал ей ножом вот так и что он набросился на нее вот эдак, свалил ее на пол вот таким манером, а потом рухнул вот так... но в этот момент судья — бледный, негодующий, величественный, как библейский пророк,— вскочил со своего места и прорычал: «Хватит! Хватит! Достаточно!» Впервые в жизни судья повысил голос.

Лежа на полу, где она вытянулась, дойдя до кульминационного момента своего словесно-изобразительного рассказа, Сарита Уанка Салаверриа в испуге взирала на указательный палец судьи, который, казалось, проткнет ее насквозь.

— Мне более ничего не надо знать, — повторил судья, но уже мягче. — Встань, оправь юбку и иди к родителям.

Потерпевшая встала, покорно кивнула головой — бесстыдства и порочности как не бывало, она вновь стала девочкой, даже явно растерявшейся. Униженно кланяясь, она попятилась к двери и вышла. Судья повернулся к секретарю и спокойно, без малейшей иронии, попросил перестать стучать на машинке: разве доктор Селайа не видит, что бумага уже давно лежит на полу и он продолжает стучать по голому валику? Покраснев, как гранат, секретарь пробормотал, что все происшедшее привело его в замешательство. Доктор дон Барреда-и-Сальдивар улыбнулся.

— Нам довелось присутствовать на необычном зрелище,— философствовал судья.— У этой девочки бес в крови, и — самое ужасное — она, видимо, того не знает.

— Это таких американцы называют «лолитами» [1], доктор? — попытался расширить свой кругозор секретарь.

— Без сомнения, она — типичная «лолита», — подтвердил судья. И, сделав хорошую мину при плохой игре, этот «стреляный воробей» мастер своего дела, который даже в катастрофических ситуациях находил основание для оптимистических выводов, добавил: — По крайней мере можно радоваться, что хоть в данной области североамериканский колосс не пользуется монополией. Эта туземка может отбить мужчину у любой Лолиты-гринго.

— Скорее всего, она довела работягу до белого каления и он не мог выдержать,— размышлял вслух секретарь.— Послушав и поглядев на нее, можно поклясться, это она лишила его невинности.

— Довольно, я запрещаю вам высказываться на тему о презумпции невиновности,— остановил его судья, и секретарь побледнел.— Никаких подозрений и догадок. Пусть введут Гумерсиндо Тельо.

Десять минут спустя, когда в сопровождении двух стражников вошел обвиняемый, доктор дон Барреда-и-Сальдивар, увидев его, сразу понял, что секретарь был неправедлив в своих суждениях. Более того. Речь шла не о типе врожденного преступника — по Ломброзо, а о типе в некотором роде более сложном: об одержимом. Воспоминание, от которого у судьи зашевелились волосы на затылке, нахлынуло неожиданно, едва он увидел лицо Гумерсиндо Тельо и одновременно — немигающий взгляд человека с велосипедом и журнальчиком «Проснись!», доводившем его до кошмаров. То был взгляд фанатически упрямого человека, всезнающего, лишенного каких бы то ни было сомнений, разрешившего все свои проблемы. Механик оказался молодым человеком, ему наверняка не исполнилось и тридцати лет. Его изнуренный вид — кожа да кости — свидетельствовал о презрении, с коим он относился к пище и прочим земным благам; волосы коротко острижены, почти что сбриты; он был смугл и невысок, пожалуй даже низкого роста. На Гумерсиндо Тельо был светло-серый костюм —

[1] Лолита — юная героиня одноименного натуралистического романа американского писателя В. Набокова.

ни денди, ни нищий, так, нечто среднее,— очень измятый из-за частых погружений в воду на обрядах крещения, белая рубашка и ботинки с пряжками. Судье было достаточно взгляда — он проявлял тонкое понимание вопросов физиогномики,— чтобы определить отличительные черты Гумерсиндо Тельо: скромность, серьезность, верность идее, последовательность, стойкость духа. Едва переступив порог кабинета, обвиняемый благовоспитанно пожелал судье и секретарю доброго дня.

Доктор дон Барреда-и-Сальдивар приказал стражникам снять с обвиняемого наручники и выйти. То была привычка, родившаяся в начале его судебной карьеры; даже самых закоренелых преступников он допрашивал наедине, без охраны, по-отечески беседуя с ними, и на этих «tête-à-tête» [1] обвиняемые обычно открывали ему душу, как грешник исповеднику. У судьи не было повода раскаяться в столь рискованной практике. Гумерсиндо Тельо потер запястья и поблагодарил за доверие. Судья указал ему на стул, и механик сел на самый краешек, очень прямо, как человек, которому неприятна даже мысль об удобстве. Судья мысленно представил образ жизни, которому, без сомнения, следовал этот «свидетель Иеговы»: он поднимался с постели не выспавшись, вставал из-за стола с ощущением голода, а из кинотеатра (если когда-нибудь такое и случалось) уходил до конца сеанса.

Доктор дон Барреда-и-Сальдивар попытался вообразить его возбужденным, распаленным девочкой-вамп из Ла Виктории, но тотчас же прекратил свое умственное упражнение, как наносящее ущерб правам защиты. Гумерсиндо Тельо заговорил.

— Это верно, что мы не служим ни правительствам, ни партиям, ни армиям, никаким другим официальным учреждениям — пасынкам сатаны, — произнес он мягко. — Мы не клянемся в верности никаким флагам — многоцветным тряпкам, не носим мундиры, нас не привлекают ни золотые аксельбанты, ни прочая мишура. Мы не признаем ни инъекций, ни переливания крови, ибо то, что создано господом, науке не переделать. Но все это не означает, что мы не выполняем свой долг. К вашим услугам, господин судья, спрашивайте, что вам угодно, и будьте уверены, мое уважение к вам останется неизменным.

Он говорил медленно, будто хотел облегчить работу секретаря, сопровождавшего его речь стуком пишущей машинки. Судья поблагодарил механика за добрые намерения, сказал ему, что сам относится с уважением к любым идеям и верованиям, особенно религиозного характера, и напомнил, что задержан тот не по причине своего вероисповедания, а по обвинению в избиении и изнасиловании несовершеннолетней.

Неопределенная улыбка мелькнула на лице парня из Мокегуа.

— Свидетель — тот, кто свидетельствует, кто засвидетельствует, кто подтверждает свидетельство,— проявил он свои знания в области семантики, глядя в упор на судью. — Тот, кто, зная о существовании господа, возвещает его, кто, зная правду, несет ее. Я являюсь свидетелем, и вы оба тоже могли бы стать ими, если бы проявили немного желания.

— Спасибо, оставим это на другой раз,— прервал его судья, поднимая тяжелую папку с делом и жадно и нетерпеливо глядя на нее, словно это было лакомое блюдо.— Время не ждет — вот что важно. Давайте приступим к сути дела. И для начала позвольте дать вам совет: самое важное — и лучшее для вас — это правда, только чистая правда.

Обвиняемый, тронутый каким-то тайным воспоминанием, глубоко вздохнул.

— Правда, правда,— прошептал он с грустью.—Какая же правда, господин судья? Не идет ли речь о клевете, контрабанде, ватиканских обманах, которые нам предлагают за правду, пользуясь наивностью народа? Не будем скромничать: думается, я-то знаю, что такое правда. А вот если я вас спрошу — только не обижайтесь, господин судья: вы сами знаете, что́ есть правда?

— Полагаю, что знаю,— ответил хмуро судья, похлопывая по папке с делом.

— Правду относительно выдумки о кресте, о шутках пророка Петра, о камне и митрах? Или, возможно, правду о бесконечной болтовне папы римского относительно бессмертия души? — саркастически спросил Гумерсиндо Тельо.

— Правду относительно совершенного вами преступления, когда вы надругались над несовершеннолетней Саритой Уанкой Салаверриа,— перешел в наступление судья.— Правду о нападении на невинную тринадцатилетнюю девочку. Правду о нанесенных ей ударах, угрозах, которыми вы ее запугали, об изнасиловании, вследствие чего вы не только надругались над ней, но, возможно, и оставили беременной.

Голос судьи — одухотворенный и порицающий — все повышался. Гумерсиндо Тельо смотрел на него серьезно, без признаков растерянности или раскаяния, такой же прямой, как спинка стула, на котором он сидел. Наконец он качнул головой, будто скотина, ведомая на заклание.

— Я готов к любому испытанию, которому меня пожелает подвергнуть Иегова,— заверил он.

— Речь идет не о боге, а о вас,— вернул его на землю судья.— Речь идет о ваших гнусных притязаниях, о ваших пороках, о вашем преступлении.

— Речь всегда идет о боге, господин судья,— настойчиво твердил Гумерсиндо

[1] Разговор с глазу на глаз *(франц.)*.

Тельо.— Никогда речь не идет ни о вас, ни обо мне, ни о ком другом. О боге, только о боге.

— Я советую вам быть откровенным,— призвал его судья.— Придерживайтесь фактов. Сознайтесь в своем преступлении, и правосудие, возможно, учтет это. Поступите как человек верующий, вы ведь пытаетесь убедить меня в том, что вы именно таков.

— Я раскаиваюсь во всех моих ошибках, которых бесконечное множество,— произнес мрачно Гумерсиндо Тельо.— Я прекрасно знаю, господин судья, что я — грешник.

— Отлично, обратимся к конкретным фактам,— поторопил его доктор дон Барреда-и-Сальдивар.— Расскажите мне подробно, без омерзительных деталей и без иеремиад, как было...

Но «свидетеля» уже прорвало — он разрыдался, закрыв лицо руками. Судья не дрогнул. Он привык к резким переменам в настроении обвиняемых и умел пользоваться этим для выяснения фактов. Увидев Гумерсиндо Тельо в подобном состоянии — голова парня склонилась, тело содрогалось, руки стали мокрыми от слез,— доктор дон Барреда-и-Сальдивар с торжествующей гордостью профессионала, уверенного в эффективности своей методы, сказал себе, что обвиняемый достиг такого эмоционального накала, когда, не способный на ложь, он откроет столь желанную, необходимую правду, откроет во всех подробностях.

— Факты, факты,— настаивал судья.— События, место, положение, слова, действия! Ну, давайте, будьте мужественны!

— Дело в том, что я не умею лгать, господин судья,— произнес Гумерсиндо Тельо меж двумя всхлипываниями.— Я готов вынести все что угодно — оскорбления, тюрьму, бесчестие. Но я не умею лгать! Я никогда не мог научиться этому! Я не способен лгать!

— Прекрасно, прекрасно! Такого рода неспособность только делает вам честь!— воскликнул судья, жестом подкрепляя свое одобрение.— Так проявите же ее. Итак, каким же образом вы...

— Вот в этом-то и вся проблема,— вновь разразился рыданиями, размазывая сопли, «свидетель Иеговы».— Дело в том, что я не...

— Вот что я скажу вам, господин Тельо,— раздельно и мягко, но язвительно, что придавало его словам еще более унизительный оттенок, произнес судья.— Вы — не настоящий «свидетель Иеговы»! Вы — обманщик.

— Не трогал я ее, никогда не говорил с ней наедине! А вчера я ее даже не видел,— повторял Гумерсиндо Тельо, блея как барашек под ножом.

— Вы — циник, лицемер, духовный фарисей,— холодно изрекал судья.— Если для вас ничего не значат ни правосудие, ни мораль, так уважайте, по крайней мере, бога, которого вы так часто поминаете. Подумайте о том, что он видит вас сейчас и как ему отвратительно слышать, что вы врете.

— Ни взглядом, ни мыслью я не обижал эту девочку,— повторил раздирающим душу голосом Гумерсиндо Тельо.

— Вы же угрожали ей, избили и надругались,— голос у судьи сорвался от ярости.— Вот ваше грязное бесстыдство, сеньор Тельо!

— Мое-гряз-ное-бес-стыд-ство?— повторил «свидетель» с видом человека, которого сию минуту хватили обухом по голове.

— Да, ваше грязное бесстыдство, сеньор,— повторил судья и после многозначительной паузы добавил: — Вы и ваши грязные помыслы...

— Мои-гряз-ные-по-мы-слы...— пробормотал упавшим голосом остолбенелый обвиняемый.— Мои-гряз-ные-по-мыс-лы-ска-за-ли-вы?

Его выпученные косящие глаза, как обезумевшие кузнечики, перескакивали с судьи на секретаря, с пола на потолок, со стула на письменный стол и здесь задержались, обегая бумаги, входящие и исходящие, папки, промокашки. Но вдруг они загорелись, обнаружив нож из Тиауанако, блеском своим выделявшийся среди других предметов,— произведение искусства древнейших эпох. Движением столь быстрым, что ни судья, ни секретарь не успели и пальцем шевельнуть, чтобы помешать ему, Гумерсиндо Тельо схватил нож. Но не сделал угрожающего жеста, напротив, он прижал к груди блестящее лезвие, как мать прижимает ребенка, и обратил спокойный, приветливый и грустный взгляд на окаменевших от неожиданности мужчин.

— Вы обижаете меня, думая, что я могу нанести вам какой-нибудь вред,— сказал он с сожалением в голосе.

— Вы никуда не сможете бежать отсюда,— произнес, приходя в себя, судья.— Во Дворце правосудия полно охраны, вас убьют.

— Мне — убегать?— с иронией переспросил механик.— Как мало вы знаете меня, господин судья.

— Разве вы не понимаете, что сами себя выдаете?— настаивал судья.— Верните мне нож.

— Я взял его на минуту, дабы доказать свою невиновность,— спокойно пояснил Гумерсиндо Тельо.

Судья и секретарь переглянулись. Обвиняемый встал. Выражение лица его было как у Иисуса из Назарета: нож, зажатый в правой руке, блеснул страшно и предвозвещающе. Левая рука неспешно опустилась к ширинке брюк, скрывавшей застежку-«молнию».

С грустью он произнес:

— Я чист, господин судья, я никогда не знал женщины. То, чем другие грешат, мне служит, лишь чтобы делать «пипи»...

— Стоп! — прервал его доктор дон Барреда-и-Сальдивар, у которого мелькнула ужасная догадка.— Что вы собираетесь сделать?

— Отрезать это и выбросить в мусор, чтоб доказать вам, как мало оно для меня значит,— ответил обвиняемый, указывая подбородком на корзину для бумаг.

Он говорил без рисовки, спокойно и решительно. Судья и секретарь, открыв рот, даже не пытались крикнуть. Левой рукой Гумерсиндо Тельо придерживал «вещественное доказательство» своей вины, а правой, как палач, который поднимает топор над шеей осужденного, занес нож, дабы, опустив его, свершить акт уму непостижимого доказательства своей невиновности.

Сделает ли он это? Лишит ли себя мужского естества? Пожертвует ли своей плотью, молодостью и достоинством ради абстрактно-этического доказательства своей невиновности? Станет ли самый почитаемый в Лиме кабинет судьи жертвенным алтарем Гумерсиндо Тельо? Чем завершится эта судебная драма?

VII

Роман с тетушкой Хулией был в самом разгаре, однако продолжать его становилось все сложнее и сложнее, поскольку было трудно сохранять в тайне наши отношения. По взаимному согласию, чтобы не вызывать подозрений в семье, я резко сократил свои визиты в дом дяди Лучо, но по-прежнему пунктуально ходил на традиционные «четверговые» обеды. Мы изобретали всевозможные уловки, чтобы вечерами посещать кино и театры. Тетушка Хулия выходила пораньше, звонила тете Ольге, сообщала ей, что пообедает с подругой, и потом ждала меня в условленном месте. Но эта затея отличалась большим неудобством: Хулии приходилось часами ожидать на улице, пока я не кончу работу, так что в большинстве случаев она оставалась голодной. Иногда я заезжал за нею на такси, но из машины не выходил, тетушка уже была наготове и выбегала из дома, завидев притормаживающий автомобиль. Но и это была рискованная тактика: если бы меня обнаружили, тут же стало бы ясно — между нами что-то есть; в конце концов таинственный вздыхатель, забившийся в такси, вызвал бы любопытство, подозрения, многочисленные вопросы...

По этой причине мы старались реже видеться по вечерам и чаще — днем, когда я использовал свободные «окна» в радиовещании. Тетушка Хулия садилась в автобус, направляющийся в центр, около одиннадцати утра и к пяти вечера ждала меня в одном из кафе на улице Камана́ или в кафе-мороженом на улице Унион. К тому времени у меня уже были подготовлены две сводки, так что мы могли провести вместе пару часов. Мы отказались от посещения «Бранса» на авениде Ла Кольмена, так как здесь собирались все сотрудники «Радио Панамерикана» и «Радио Сентраль». Иногда (а точнее, в день выплаты жалованья) я приглашал ее пообедать, и тогда мы проводили вместе целых три часа. Однако мое более чем скромное жалованье не позволяло таких излишеств. Я, правда, добился того, что Хенаро-сын — в то утро я нашел его в превосходном настроении в связи с успехами Педро Камачо,— выслушав мою тщательно подготовленную речь, повысил мне оклад. Таким образом, он округлился до пяти тысяч солей. Две тысячи я отдавал своим старикам на домашние расходы. Трех тысяч солей прежде мне с лихвой хватило бы на мои грешки: сигареты, кино, книги. Но с тех пор как у нас с тетушкой Хулией завязался роман, деньги стали катастрофически быстро улетучиваться — я постоянно нуждался, нередко брал в долг и даже прибегал к услугам ломбарда, поскольку у меня сохранялись глубоко укоренившиеся предрассудки чисто испанского происхождения относительно связи между мужчиной и женщиной, и я не допускал, чтобы тетушка Хулия оплатила хоть один счет; мое экономическое положение становилось драматичным. Чтобы облегчить его, я занялся тем, что Хавьер сурово определил как «проституирование пера». Иными словами, я стал писать рецензии на книги, публиковать репортажи в журналах и воскресных приложениях к газетам. Двести—триста солей в месяц значительно увеличивали мой бюджет.

Свидания в разных кафе центра Лимы были почти безгрешными: мы вели долгие и очень романтические беседы, глядя друг другу в глаза и сплетая руки и, если это позволяла топография помещения, слегка соприкасаясь коленями. Целовались мы лишь в тех случаях, когда нас никто не мог видеть, что было весьма редко, потому как в указанные часы все кафе были забиты нахальными чиновниками. Естественно, мы говорили о нас, об опасности, подстерегающей нас в случае, если мы встретим кого-либо из нашего семейства, о том, как можно этого избежать; со всеми подробностями мы пересказывали друг другу все, что с нами произошло с момента последнего свидания (то есть либо за день, либо за несколько часов), однако мы никогда не за-

говаривали о планах на будущее. Будущее — по молчаливому соглашению — не затрагивалось в наших диалогах, так как мы оба были уверены, что у нашей связи вообще нет будущего. Тем не менее то, что вначале было игрой, превращалось в нечто серьезное во время наших безгрешных встреч в прокуренных кафе Лимы. Именно здесь, не отдавая себе отчета, мы полюбили друг друга.

Мы много говорили о литературе, вернее, тетушка Хулия слушала, а я рассказывал ей о мансарде в Париже (неотъемлемой части моей литературной карьеры) и о всех романах, драмах и эссе, которые я сочиню, став писателем. В тот вечер, когда Хавьер застукал нас в кафе-мороженом на улице Унион, я как раз читал тетушке Хулии свой рассказ о Доротео Марти. Рассказ я назвал на средневековый манер — «Унижение креста», в нем насчитывалось всего пять страниц. Это было первое мое произведение, которое я читал ей, читал очень медленно, чтобы скрыть свое волнение в ожиданье ее приговора. Испытание было ужасным, учитывая ранимость будущего писателя. По мере того как я читал, тетушка Хулия то и дело прерывала меня.

— Но это было совсем не так, ты все поставил с ног на голову,— заметила она, удивленная и обиженная.— Да он и не говорил так, но...

В полнейшем отчаянии я прерывал чтение, пытаясь объяснить, что она слушает не точное описание события, а рассказ, ра-с-с-каз и что все дополненное или опущенное мною является лишь средством для достижения определенного эффекта.

— Комического эффекта,— подчеркнул я, желая проверить, понимает ли она и улыбнется ли, хотя бы из милосердия.

— Напротив,— запротестовала тетушка Хулия, яростно и непримиримо,— изменив события, ты лишил рассказ соли. Кто же поверит, что может пройти столько времени с момента, когда крест начал качаться, и до его падения. В чем же тогда соль?

Несмотря на то, что я уже принял решение отправить рассказ о Доротео Марти в мусорную корзину, теперь я выступил в его защиту. С горечью и пылом я защищал право на художественный вымысел и переосмысливание действительности, и в эту минуту почувствовал, что кто-то трогает меня за плечо.

— Если я вам мешаю, скажите, и я уйду, потому что ненавижу быть третьим лишним,— сказал Хавьер, придвигая стул, садясь рядом с нами и заказывая официанту чашечку кофе; тут же он улыбнулся тетушке Хулии: — Очень рад познакомиться, я — Хавьер, лучший друг этого прозаика. Хорошо же ты ее прятал, кум.

— Это — Хулита, сестра моей тети Ольги,— объяснил я ему.

— Вот как? Знаменитая боливийка? — у Хавьера вытянулась физиономия: глядя в упор на наши сцепленные пальцы, он несколько утратил свою всегдашнюю самоуверенность и пробормотал: — Ну и ну, Варгитас!

— Я — знаменитая боливийка? Почему? — спросила тетушка Хулия.

— Потому что, когда ты приехала, ты мне не понравилась из-за своих шуток,—пояснил я.— Хавьеру известна только первая часть истории.

— Лучшую ее часть ты скрыл от меня, плохой писатель и еще худший друг,— ответил Хавьер, снова становясь развязным и кивая на наши руки.— Ну-ка рассказывайте, рассказывайте все.

Он был поистине обаятелен, так и сыпал анекдотами и буквально заговорил всех. Тетушка Хулия была им очарована. Я был рад, что Хавьер разоблачил нас: в мои планы не входило посвящать его в наши отношения (он не терпел сентиментальных излияний), тем более в столь запутанных обстоятельствах, но уж коль скоро случай сделал его нашим соучастником, я поспешил воспользоваться этим и рассказал ему о всех перипетиях этого приключения. В то утро он распрощался, поцеловав тетушку Хулию в щеку и сделав поклон:

— Я — первоклассный сводник, можете на меня рассчитывать в любых обстоятельствах.

— Почему же ты не сказал, что приготовишь нам постель? — выругал я Хавьера в тот же вечер, как только, горя желанием узнать все подробности, он появился у нас в «курятнике» над «Радио Панамерикана».

— Она вроде бы тебе тетка? — сказал он, похлопывая меня по плечу.— Ну, ты удивил меня! Старая, богатая, разведенная любовница! Великолепно! Двадцать очков!

— Она не тетка мне, она — сестра жены моего дяди,—объяснял я уже известную ему подробность, просматривая сообщения из газеты «Ла Пренса» о войне в Корее.— Она не любовница моя, она не стара и не богата. Верно только то, что она разведена.

— Говоря «старая», я имел в виду, что она старше тебя, а что касается «богатая», так это не в упрек, а как поздравление. Я — сторонник решительных действий по мужской части...— смеялся Хавьер.— Значит, она — не любовница твоя? Кто же она тогда? Возлюбленная?

— Нечто среднее,— ответил я, зная, что он будет раздражен таким ответом.

— Хочешь играть в загадки, ну и катись ко всем чертям,— предупредил он. — Кроме того, ты — подонок, я тебе рассказываю о всех своих похождениях с Худышкой Нанси, а ты от меня скрыл свой роман.

Я изложил ему всю историю с самого начала, рассказал о всех трудностях, которые нам приходится преодолевать, чтобы встречаться, и он понял, почему в последние недели раза два-три я просил у него денег в долг. Хавьер страшно заинтересовался,

буквально засыпал меня вопросами и кончил клятвой в том, что станет моей крестной матерью-волшебницей. Но перед тем как проститься, он вновь посерьезнел.

— Полагаю, все это — игра,— заявил он торжественно, глядя мне в глаза, как строгий папаша.— Не забывай, помимо всего, ты и я — пока еще молокососы.

— Если я забеременею, клянусь, сделаю аборт,— успокоил я друга.

Хавьер ушел. Паскуаль развлекал Великого Паблито рассказом о грандиозной катастрофе в Германии, в которой пострадали двадцать автомашин: они врезались друг в друга из-за рассеянности бельгийского туриста, остановившего свою машину прямо посреди дороги, чтобы не задавить собачку. А я размышлял. Не правда ли, что вся история превращается в нечто серьезное? Да, правда. Речь шла о чем-то совершенно непохожем, более зрелом, более рискованном из всего пережитого мною; и, чтобы эта история оставила добрые воспоминания, не следовало ее затягивать. Я все еще размышлял об этом, когда вошел Хенаро-сын и пригласил меня обедать. Он привез меня в «Магдалену» — ресторан с криольской кухней, заказал мне утку с рисом и ломтики сыра с медом, а когда нам подали кофе, протянул мне какую-то бумагу:

— Ты его единственный друг, поговори с Камачо, он нас втягивает в такой скандал! Я не могу с ним объясняться, он обзывает меня невеждой, врагом культуры, а отца вчера обозвал буржуа! Я хочу избежать осложнений. Разве выкинуть его?..

Возникшая проблема была связана с письмом, направленным послом Аргентины в «Радио Сентраль». В письме, полном яда, выражался протест против «клеветнических нападок и намеков в адрес родины Сармьенто и Сан-Мартина [1], намеков, которыми изобилуют передаваемые по радио постановки» (дипломат назвал их «драматические истории в сериях»). Посол приводил ряд примеров, которые, по его утверждению, были взяты наугад сотрудниками посольства, «увлекавшимися этими передачами». В одной из передач зло высмеивались обитатели Буэнос-Айреса, в другой сообщалось, что вся аргентинская говядина идет на экспорт, а местные жители, мол, рады и конине; мало того, говорилось, что в связи с широким распространением в стране футбола и особенно в связи с частыми ударами головой по мячу генетическому коду наследственности в национальном масштабе нанесен существенный урон, и т. д. и т. д.

— Ты вот смеешься, мы тоже посмеялись,— сказал Хенаро-сын, кусая ногти.— Но сегодня к нам приехал адвокат и покончил со смехом. Нам могут запретить радиопередачи, если посольство обратится с протестом к правительству, нас могут оштрафовать и даже прикрыть. Умоляй его, угрожай ему; пусть забудет об аргентинцах.

Я обещал сделать все возможное, хотя надежды у меня было мало: писака был человеком непреклонным. Я действительно считал себя его другом: кроме чисто энтомологического интереса, вызываемого им, я испытывал к нему уважение. Но было ли оно взаимным? Педро Камачо казался человеком, не способным тратить свое время, свою энергию ни на дружбу, ни на что иное, что могло бы отвлечь его от «искусства», то есть от его работы или, скорее, порока, страсти, сметавшей все преграды: людей, предметы, желания. Но меня он действительно переносил легче, чем кого-либо другого. Мы пили свой кофе (он — как всегда, отвар мяты и других трав), потом я заходил к нему в каморку — беседы служили ему передышкой в работе. Я слушал его с величайшим вниманием, возможно, это льстило ему; возможно, он видел во мне своего ученика, а может быть, просто я был для него тем же, чем болонка для старой девы или кроссворд для пенсионера.

В Педро Камачо меня восхищали три особенности: то, что он говорил, спартанский образ его жизни, целиком посвященной единственной страсти, и его работоспособность. Главным образом последнее. В биографии Наполеона, написанной Эмилем Людвигом, я прочел о выдержке Бонапарта: его секретари падали в изнеможении, а он все продолжал диктовать. Очень часто я представлял себе французского императора с длинноносой физиономией боливийского писаки, и некоторое время мы с Хавьером даже называли его Андским Наполеоном (это прозвище мы иногда заменяли на «Криольский Бальзак»). Из чистого любопытства я высчитал его рабочее время, и результат показался мне совершенно невероятным.

Педро Камачо начал свою деятельность с четырех радиопостановок в день, но так как они имели успех, их количество возросло до десяти. Они транслировались с понедельника до субботы, каждая глава по полчаса (на самом деле получалось по двадцать три минуты, так как на рекламу отводилось семь). Учитывая, что Педро Камачо был и режиссером, и актером в каждой постановке, ему приходилось проводить в студии около семи часов в день, ибо репетиции и запись программы длились по сорок минут (из них десять — пятнадцать занимали его речи и репетиции). Он писал свои драмы по мере того, как их транслировали. Я убедился, что написание каждой главы занимало у него почти вдвое больше времени, чем исполнение, то есть один час. Это означало, что так или иначе он ежедневно проводил за пишущей машинкой около десяти часов. Частично это время сокращалось за счет его свободных дней — воскресений, но и воскресенья, естественно, он проводил в своей клетушке, заготавливая ма-

[1] Доминго Фаустино Сармьенто (1811—1888) — государственный деятель Аргентины, классик аргентинской литературы. Хосе де Сан-Мартин (1778—1850) — руководитель национально-освободительной борьбы в странах Южной Америки.

териал на неделю. Таким образом, его рабочий день длился от пятнадцати до шестнадцати часов ежедневно с понедельника до субботы и от восьми до десяти часов по воскресеньям. Все эти часы отличались завидной продуктивностью и «творческой отдачей», и отдача эта была весьма звучной.

Педро Камачо приходил в «Радио Сентраль» в восемь утра и уходил около полуночи; свои выходы в город он совершал со мною — выпить в баре «Бранса» «умственно возбуждающего напитка». Обедал он в своей каморке, и вся его трапеза заключалась в бутерброде и бутылке лимонада, которые покупали ему преданные Хесусито, Великий Паблито или кто-нибудь другой из его сотрудников. Он никогда не принимал никаких приглашений, ни разу я не слышал, чтобы он ходил в кино, театр, на футбол или вечеринки. Никогда я не видел, чтобы он читал газету, журнал или книгу, за исключением фолианта со знаменитыми цитатами и плана города — их он называл своими «орудиями труда». Нет, вру: однажды я обнаружил у него «Бюллетень членов Национального клуба».

— За несколько медяков подкупил швейцара клуба,— ответил Педро Камачо, когда я поинтересовался этим изданьицем.— Откуда же мне брать имена моих аристократов? В остальном я полагаюсь на себя — имена плебеев беру с потолка.

Сочинение радиодрам, время, потраченное на это, а также легкость, с какой он пек свои сценарии, всегда потрясали меня. Я часто наблюдал, как он пишет. В отличие от записей в студии — здесь он ревниво охранял свои профессиональные тайны — Педро Камачо был безразличен к тому, что за ним подглядывали во время творческого процесса. Он стучал на своем (вернее — моем) «ремингтоне», а его то и дело прерывали актеры, Батан или техник по звуку. Педро Камачо поднимал глаза, вникал в вопрос, давал на него затейливейший ответ, отпускал посетителя чуть заметной улыбочкой, совершенно не похожей на все известные мне улыбки, и продолжал писать. Я обычно забирался в его каморку под предлогом занятий: дескать, в моем «курятнике» слишком шумно и людно. В то время я проходил курс права, но, сдав экзамены, тут же все забывал. Меня, правда, ни разу не завалили, однако я всегда плохо отзывался об университете, хотя не говорил ничего доброго и в свой собственный адрес. Сочинитель не возражал против моих вторжений, казалось, ему даже приятно присутствие постороннего, наблюдавшего, как он «творит».

Я усаживался в уголок у окна и погружался в очередной кодекс. На самом же деле я следил за Педро Камачо. Я смотрел на него и глазам не верил: он никогда не задумывался в поисках слова или мысли, в его горящих выпуклых глазах ни разу не отразилось сомнение. Можно было подумать, что он начисто переписывает заученный текст либо отстукивает на машинке под чью-то диктовку. Возможно ли при скорости, с какой его пальчики бегали по клавишам девять-десять часов в день, придумывать ситуации, шутки, диалоги нескольких совершенно разных драм? И тем не менее так было: сценарии выскакивали из его упрямой маленькой головенки и из-под неутомимых пальцев, как связки сосисок из машины. Закончив главу, Педро Камачо не только не правил ее, но даже не перечитывал написанное; он передавал ее секретарше для снятия копии и приступал — без всякого перехода — к изготовлению другой главы. Однажды я сказал ему, что, наблюдая его за работой, вспомнил теорию французских сюрреалистов относительно автоматизма письма, что идет от подсознательного, не контролируемого разумом. Ответ был в сугубо националистическом духе:

— Голова нашей индейской Америки способна рождать лучше, чем мозги французишек, и никаких комплексов, друг мой.

Почему он не использовал для своих рассказов о Лиме истории, написанные еще в Боливии? Я спросил его однажды об этом; он ответил, как всегда, общими рассуждениями, из которых нельзя было вылущить что-либо конкретное. Драмы, чтобы дойти до сознания публики, должны быть свежими, как фрукты и овощи, искусство не терпит заготовок и более того — материи, тронутой временем. С другой стороны, драмы должны быть «созвучны слушателям». Что же может заинтересовать слушателей Лимы в событиях, происшедших в Ла-Пасе? Выставлял он все эти доводы потому, что потребность философствовать — все облекать в абстрактные сентенции, выдавать за аксиому — была в нем столь же сильна, как и потребность писать. На самом же деле его нежелание использовать старые сценарии объяснялось очень просто: для Педро Камачо не имело никакого смысла облегчать свой труд. Жить для него означало писать. Ему была безразлична дальнейшая судьба его произведений. Сразу же после трансляции он забывал свои сценарии и уверял меня, что не хранит их копий. Он был убежден: эти драмы, дойдя до слушателя, затем должны навсегда исчезнуть. Как-то я спросил его, не думает ли он опубликовать их когда-нибудь?

— Написанное мною сохранится лучше, оставив по себе след не в книгах, а в памяти радиослушателей, — наставительно изрек он.

В тот же день, когда мы обедали с Хенаро-сыном, я переговорил с Педро Камачо по поводу протеста аргентинского посла. Часов около шести я зашел к нему в каморку и пригласил в «Бранса». Опасаясь его ответной реакции, я начал издалека: мол, бывают очень ранимые люди, они, дескать, не понимают иронии, а с другой стороны, в Перу клевета строго карается законом, любую радиостанцию могут закрыть из-за пустяка. Посольство Аргентины было оскорблено отдельными намеками и угрожало обратиться с официальной жалобой в министерство иностранных дел...

— В Боливии дело дошло до того, что возникла угроза разрыва дипломатических отношений, — перебил меня Педро Камачо. — Какая-то газетенка даже пустила слух о скоплении войск на границе.

Он говорил смиренно, как бы в раздумье: обязанность солнца — излучать яркий свет, что поделаешь, если от него вдруг разгорится пожар?

— Отец и сын Хенаро просят вас по возможности воздержаться от выпадов в адрес аргентинцев в радиопостановках, — сказал я доверительно и привел аргумент, который, по моему мнению, должен был его убедить: — Короче, лучше всего их не трогать, разве они этого стоят?

— Стоят, поскольку они вдохновляют меня,— пояснил писака и дал понять, что вопрос исчерпан.

Хенаро-сыну я сказал, что ему не следует строить иллюзий относительно моих способностей в качестве посредника.

Через два-три дня я ознакомился с жилищем Педро Камачо. Тетушка Хулия пришла ко мне на свидание во время передачи последней сводки, так как ей хотелось посмотреть в кинотеатре «Метро» фильм с участием прославленной пары романтических актеров — Грир Гарсон и Уолтера Пиджена. Около полуночи, когда мы пересекали с ней площадь Сан-Мартина, чтобы сесть в автобус, я заметил Педро Камачо, выходящего из «Радио Сентраль». Я показал ей его, и она тотчас потребовала, чтобы я его представил. Мы подошли к Камачо. Услышав, что речь идет о его землячке, он проявил необычайную галантность.

— Я — ваша большая поклонница, — сказала тетушка Хулия, и чтобы еще больше понравиться, солгала: — Еще в Боливии я не пропускала ни одной из ваших радиопостановок.

Мы пошли с ним пешком в направлении улицы Килка, сами того не заметив. По дороге Педро Камачо и тетушка Хулия вели сугубо патриотическую беседу, в которой я не участвовал, ибо речь шла о шахтах в Потоси, пиве «такинья», супе из маиса — «лагуа», пирогах с творогом, климате Кочабамбы, красоте женщин из Санта-Круса и других боливийских достопримечательностях. Писака выглядел очень довольным, рассказывая чудеса о своей родине. У двери дома с балконами и окнами, закрытыми жалюзи, он остановился. Но не попрощался.

— Поднимемся ко мне,— предложил он.— Мой ужин скромен, но мы разделим его.

Пансион «Ла Тапада» был одним из тех старых двухэтажных домов в центре Лимы, которые некогда считались просторными, удобными и комфортабельными, но потом, по мере того как состоятельные люди выезжали из центра на окраины и старая Лима теряла свое очарование, дома эти ветшали и переполнялись жильцами; в конце концов они превращались в настоящие ульи: перегородки делили комнаты на две, а то и на четыре части, новые жилые углы устраивались в коридорах, на крышах, на балконах, даже на лестницах. Вид дома наводил на мысль о том, что он вот-вот развалится. Ступени, по которым мы поднимались в комнату Педро Камачо, прогибались, и при каждом шаге вздымались облачка пыли, заставлявшие тетушку Хулию чихать. Пыль покрывала все — стены и потолки, очевидно в доме никогда не подметали и не прибирали. Комната Педро Камачо напоминала келью. Она была очень мала и почти пуста: матрас без спинки, покрытый выцветшим одеялом, подушка без наволочки, столик, застланный клеенкой, соломенный стул и чемодан; на веревке, протянутой через комнату, висели носки и трусики. Меня не удивило, что писака сам стирал белье, но поразило другое — он сам готовил еду. На подоконнике стояли примус и бутылка с керосином, лежали несколько оловянных тарелок, вилки с ножами и стаканы. Он предложил тетушке Хулии стул, а мне величественным жестом указал на кровать:

— Вот — присаживайтесь. Жилище мое бедно, но сердце велико.

Ужин он приготовил за две минуты. Все составные части угощения болтались в пластиковом мешочке за окном. Меню состояло из нескольких сосисок, яичницы, хлеба с маслом и сыром, а также простокваши с медом. Мы наблюдали, как ловко он все готовил, будто проделывал это ежедневно, и у меня закралось подозрение, что таково его постоянное меню.

Пока мы ужинали, Педро Камачо был оживлен и галантен, он даже снизошел до таких тем, как рецепт взбитого крема (о чем его попросила рассказать тетушка Хулия) и наиболее экономичный способ стирки белого белья. Свою порцию он не доел. Отодвигая тарелку и указывая на остатки пищи, он позволил себе пошутить:

— Для артиста еда — порок, друзья мои.

Увидев, что Педро Камачо в хорошем настроении, я осмелился задать ему несколько вопросов относительно его работы. Я сказал, что завидую его выносливости: хотя он трудится, как раб на галерах, но никогда не выглядит усталым.

— Я применяю свои методы, чтобы разнообразить день, — поведал он нам.

Понизив голос, как бы для того чтобы скрыть свои секреты от воображаемых конкурентов, Педро Камачо сообщил нам, что никогда не работает над одним и тем же сюжетом более шестидесяти минут, а переход от одной темы к другой действует освежающе, так как каждый раз он испытывает ощущение, будто работа едва началась.

— Главное — в разнообразии, господа, — повторял он, возбужденно поводя глазами, гримасничая как хитрый гном.

Важно, чтобы сценарии чередовались по контрасту: надобно радикально менять климат, место действия, интригу, героев — все это вызывает ощущение новизны. Очень полезен отвар йербалуисы с мятой, он прочищает мозговые извилины, и воображение от этого только выигрывает.

Кроме того, по его словам, переход от пишущей машинки к работе на студии, от сочинительства к режиссуре и исполнительству также давал ему отдых и освежал. С течением времени, как выяснилось, он открыл нечто — невеждам и людям, лишенным воображения, это могло показаться ребячеством. Впрочем, какая важность в том, что думает толпа? Тут мы увидели, он заколебался было, приумолк, карикатурное личико его погрустнело.

— К сожалению, здесь я не могу постоянно применять на практике свое открытие,— сказал Педро Камачо меланхолически.— Лишь по воскресеньям, когда я один. В будни же слишком много любопытных, а им этого не понять.

С каких это пор в Педро Камачо появилась подобная щепетильность — в нем, с олимпийской высоты взиравшем на простых смертных? Я видел, тетушка жаждет пояснения не меньше, чем я.

— Вы нас только раздразнили,— сказала она умоляюще.— Так в чем же секрет, сеньор Камачо?

Он молча уставился на нас, как фокусник, довольный произведенным эффектом. Затем с медлительностью священнослужителя встал (до этого он сидел на подоконнике около примуса), подошел к чемодану и стал извлекать из его недр, как иллюзионист извлекает из цилиндра голубей и флажки, совершенно неожиданный набор предметов: парик английского судьи, накладные усы различных размеров, каску пожарного, военный орден, маски толстухи, старика, глупенького ребенка, жезл регулировщика уличного движения, зюйдвестку и трубку старого морского волка, белый медицинский халат, накладные носы и уши, ватные бороды... Он механически перебирал все эти предметы, и — может, чтобы мы лучше оценили их, или подчиняясь внутренней потребности — то вынимал их, то снова прятал, укладывая и вновь доставая с ловкостью, выдававшей старую привычку и постоянное занятие этой коллекцией. Мы смотрели на него опешив, а Педро Камачо преображался то во врача, то в моряка, то в судью, то в старуху, то в нищего, то в ханжу, то в кардинала... Не прекращая своих перевоплощений, он запальчиво говорил.

— Разве я не имею права походить на своих героев, слиться с созданными мною персонажами? Кто запретит мне, пока я описываю их, иметь их носы, их волосы, их сюртуки? — говорил он, меняя красную кардинальскую шапочку на трубку, трубку на плащ и плащ на костыль. — Кому интересно, что я возбуждаю свое воображение с помощью тряпок? Что такое реализм, господа, столь хваленый реализм? Что это такое? Существует ли лучший способ создания реалистических произведений, чем самому слиться с реальностью? И разве с помощью этих приемов рабочий день не становится плодотворнее, увлекательнее, ярче?

Однако естественно, — здесь в его голосе появились сначала негодующие, а затем безутешные интонации,— непонимание и людская глупость все извращают.— Если на «Радио Сентраль» увидят, как он работает, меня обличье тотчас пойдут пересуды, мол, он — извращенец, и его кабинет станет магнитом для грязного любопытства черни. Спрятав маски и прочие атрибуты, он закрыл чемодан и вернулся к окну. Он был грустен. Почти шепотом проговорил, что в Боливии, где он всегда работал в собственном «ателье», у него никогда не возникало проблем «из-за тряпок». А здесь он только по воскресеньям мог работать так, как привык.

— Скажите, вы вынимаете эти маски, когда начинают действовать ваши герои, или, наоборот, придумываете героев, исходя из имеющихся в вашем распоряжении масок? — спросил я, чтобы хоть что-нибудь спросить и никак не приходя в себя от изумления.

— Сразу видно, что вы еще очень молоды, — мягко укорил он, глядя на меня, как на младенца. — Разве вы не знаете, что в основе всего лежит слово?

Мы горячо поблагодарили Педро Камачо за приглашение и вышли на улицу; здесь я пояснил тетушке Хулии, что он оказал нам величайшее доверие, посвятив в свою тайну, и этим растрогал меня. Тетушка была очень довольна: она никогда не предполагала, что представители интеллигенции могут быть такими забавными.

— Но не все ведь таковы, — посмеялся я. — Педро Камачо — представитель интеллигенции в кавычках. Ты заметила, у него нет ни единой книги? Он говорил мне, что ничего не читает, чтобы книги не повлияли на его стиль.

Взявшись за руки, мы возвращались по мрачным улицам центра города, направляясь к остановке автобуса, и я сказал, что как-нибудь непременно зайду в воскресенье на «Радио Сентраль», чтобы увидеть писаку, сопереживающего своим героям с помощью масок и переодеваний.

— Он живет как нищий, чем это объяснить? — возмущалась тетушка Хулия. — Ведь радиопостановки так популярны, я думала, он зарабатывает кучу денег.

Она заметила, что в пансионе «Ла Тапада» не было ни ванных, ни душевых, ей удалось увидеть лишь один туалет и заросшую плесенью раковину, установленную на первой лестничной площадке. Не кажется ли мне, что Педро Камачо никогда

не купается? Я ответил, что писаку подобные банальности абсолютно не беспокоят. Тетушка Хулия заявила, что ее затошнило от грязи пансиона и ей стоило нечеловеческих усилий проглотить сосиску и яйцо. Уже в автобусе — старой развалюхе, останавливающейся на каждом углу авениды Арекипа,— когда я поцеловал ее тихонько в ушко, в шейку, я услышал, как она встревоженно проговорила:

— Наверное, все писаки помирают с голода. Значит, всю свою жизнь ты будешь жить положа зубы на полку, Варгитас.

После того как она услышала, что так меня называет Хавьер, она тоже стала звать меня «Варгитас».

VIII

Дон Федерико Тельес Унсатеги сверился с часами, убедился, что было ровно двенадцать, и сказал полдюжине служащих своей фирмы «Антигрызуны. Анонимное общество», что они могут идти обедать. Он не стал напоминать, что ровно в три — и ни минутой позже — они обязаны быть на месте; все служащие прекрасно знали: в этой фирме неточность считалась кощунством за нее расплачивались штрафами и даже увольнениями. Когда все ушли, дон Федерико по привычке сам закрыл помещение на два замка, надвинул серую в крапинку шляпу и направился по зловонным тротуарам улицы Уанкавелика к стоянке, где находилась его автомашина (седан марки «додж»).

Он был человеком, внушавшим страх и мрачные мысли, ему достаточно было выйти на улицу, чтобы каждому стало ясно, что он не похож на своих сограждан. Дон Федерико Тельес Унсатеги был в расцвете лет — широкий лоб, орлиный нос, пронизывающий взгляд, твердость духа; по внешности он вполне бы мог быть Дон Жуаном, если б его интересовали женщины. Но дон Федерико всю свою жизнь посвятил одному-единственному крестовому походу и не позволял кому-то или чему-то (за исключением сна, пищи и общения с семьей) отвлекать его. Войну эту он вел вот уже сорок лет, и целью ее было истребление всех грызунов на территории республики.

Сия химерическая задача была неведома не только его знакомым, но даже жене и четверым детям. Дон Федерико Тельес Унсатеги скрывал ее, никогда не забывая при этом своего плана. Ночью и днем не покидал его этот навязчивый кошмар, в котором он черпал новые силы, свежую ненависть для продолжения боя, одними считавшегося экстравагантным, другими — отвратительным, а третьими — коммерческим. Вот и сейчас: он вошел на автостоянку (взглядом кондора окинул свой «додж», убедился, что тот вымыт), включил зажигание (по часам выждал две минуты, пока согреется мотор), а мысли его, подобно бабочкам, пляшущим вокруг огня, вновь возвращались ко временам и местам его детства, к заброшенной в сельве деревушке и к тому случаю, который определил его судьбу.

Это произошло в первом десятилетии нынешнего века, когда населенный пункт Тинго Мария был обозначен на карте лишь маленьким крестиком — всего несколько хижин, окруженных лесом. Иногда сюда являлись искатели приключений, отбывшие не один срок заключения; они покидали столицу с мечтами о завоевании сельвы. Приехал в эту область и инженер Ильдебрандо Тельес со своей молодой женой (ее имя Майте и фамилия Унсатеги свидетельствовали о том, что в жилах женщины текла голубая кровь басков) и маленьким сыном Федерико. Инженер носился с грандиозными планами: выкорчевать деревья, вывозить ценную древесину, необходимую в строительстве домов и производстве мебели для состоятельных людей, выращивать здесь арбузы, а также плоды тропиков — ананасы, авокадо, гуанабану, лукуму на потребу изощренным вкусам всего света; позднее — создать пароходную службу по рекам бассейна Амазонки. Но боги и люди обратили в пепел пламень инженера. Стихийные бедствия — дожди, эпидемии, наводнения — и человеческая ограниченность: отсутствие рабочих рук, леность, глупость «трудяг», алкоголь, отсутствие средств — все это одну за другой убивало мечты пионера. Через два года после прибытия в Тинго Мария инженер должен был обеспечивать скромное пропитание с помощью крохотного огорода камоте [1] на берегу реки Пенденсия. Именно здесь, в хижине из пальмовых стволов и ветвей, в одну из жарких ночей крысы заживо съели новорожденную девочку Марию Тельес Унсатеги, лежавшую в своей колыбели без противомоскитной сетки.

Все произошло очень просто и страшно. Отец и мать малютки были — как крестные родители — приглашены на праздник и заночевали на другом берегу реки. За огородом остались приглядеть надсмотрщик и два батрака — их шалаши стояли поодаль от хижины хозяина, где спали Федерико и его сестренка. Но мальчик привык в жаркое время вытаскивать свой матрац на берег Пенденсии и спал здесь, убаюканный журчанием воды. Именно так он и поступил в ту ночь (и не мог простить себе этого всю свою жизнь). Он искупался при свете луны, лег и заснул. Во сне ему показалось, будто он слышит плач девочки. Но плач не был ни слишком громким, ни долгим, чтоб разбудить его. На рассвете он почувствовал укусы стальных зубов. Он открыл глаза и решил, что умирает, вернее, что уже умер и находится в аду: его окружали десятки крыс, они кишели, лезли друг на друга, пожирая все на своем

[1] Батат, тропический съедобный корнеплод.

пути. Мальчик вскочил с матраца, схватил палку и криками разбудил надсмотрщика и батраков. Мотыгами, факелами, пинками они обратили в бегство полчища оккупантов. Войдя в хижину, они увидели, что от девочки (лакомое блюдо на крысином празднике) осталась лишь горстка костей.

Кончилось двухминутное прогревание мотора, и дон Федерико Тельес Унсатеги отправился в путь. В змеевидной колонне автомобилей он проехал по авениде Такна, затем свернул на авениду Вильсона, затем — Арекипы, направляясь в район Барранко, где его ждал обед. Тормозя перед светофорами, он закрывал глаза, как делал всегда, вспоминая тот страшный рассвет, и его охватывало горькое, жгучее чувство, ибо, как гласит пословица, «тяжко нести ношу одному». После трагедии его молодая мать — баскского происхождения — заболела: ее поразила хроническая икота, которая сопровождалась позывами к рвоте, мешала есть, у людей эти пароксизмы вызывали смех. Мать никогда с тех пор не говорила, только издавала какие-то бурчащие хриплые звуки; поводя вокруг испуганными глазами, она бродила, икая, пока не умерла от истощения через несколько месяцев после смерти дочери. Отец утратил весь свой предпринимательский пыл, энергию, опустился, перестал следить за собой. В конце концов за долги с торгов продали огород, и он устроился работать паромщиком, перевозил людей, скот и продукты с одного берега реки Уальяги на другой. Но однажды в наводнение поток разбил паром, и у отца уже не хватило сил соорудить новый. Он нашел себе убежище среди сладострастных изгибов складок горы, из-за выпуклостей, похожих на материнские груди и завлекательные ягодицы, прозванной «Спящей красавицей». Здесь он построил себе из веток и листьев шалаш, отпустил волосы и бороду и поселился навсегда, питаясь растениями и покуривая одурманивающие травы. Когда юношей Федерико покинул сельву, бывший инженер был известен как колдун из Тинго Мария, он обитал близ Пещеры индюшек в окружении трех индеанок, производя на свет пузатых, рахитичных существ.

Только Федерико смог выстоять перед несчастьем. В то самое утро, избитый за то, что оставил девочку одну в хижине, мальчик, став мужчиной за несколько часов, на коленях поклялся перед холмиком могилы Марии, что всю свою жизнь до последней минуты посвятит уничтожению убийц. В подтверждение своей клятвы он каплями крови, выступившей от порки, оросил землю, покрывшую девочку.

Сорок лет спустя — в доказательство того, что воля движет горами, — дон Федерико Тельес Унсатеги мог сказать, пока его «додж» катился по авенидам навстречу тощему будничному обеду, что показал себя человеком слова. За истекшее время его последовательными усилиями, вероятно, было уничтожено больше грызунов, чем родилось на свет перуанских граждан. Труд был упорным, он действовал самоотверженно, вознаграждения не ждал, и все это сделало его человеком сухим, лишенным друзей, наделенным особыми привычками. Самым сложным — когда он еще был подростком — оказалось побороть в себе отвращение к коричневато-серым зверькам. Техника его вначале была очень примитивной: мышеловка. Он купил ее на чаевые, заработанные в магазине и на складе матрацев фирмы «Глубокий сон», что на авениде Раймонди. Изделие послужило ему образцом для изготовления многих других. Он отпиливал дощечку, разрезал проволоку, выгибал ее — и дважды в день ставил капканы по обочинам огорода. Иногда попавшиеся зверьки были еще живы. В волнении он приканчивал их на медленном огне, а то заставлял мучиться, прокалывая их, вырывая им глаза, кромсая на куски.

Однако, хотя Федерико и был ребенком, разум подсказал ему, что, продолжая в том же духе, он потерпит крах. В осуществлении своего плана он должен был руководствоваться не качественными, а количественными критериями. Дело было не в том, чтобы причинить невыносимые муки одному из врагов, надо было в кратчайший срок уничтожить максимальное их число. С завидными для его возраста волей и хладнокровием он искоренил в себе всякую сентиментальность и впредь стал действовать здраво, обдуманно, научно. Урывая часы от занятий в колледже «Канадские братья» и от сна (но не от отдыха, ибо с момента трагедии он уже никогда больше не играл), Федерико усовершенствовал мышеловки, добавив лезвие, перерезавшее тело животного. Отныне ни одна крыса не оставалась в живых; сделал же это Федерико не для того, чтобы сократить страдания грызунов: больше не надо было терять время, добивая их. Затем он стал конструировать «семейные» ловушки на просторном основании, в которых затейливое проволочное устройство одним махом придавливало папашу, мамашу и четырех крысят.

Занятия Федерико стали известны всей округе; постепенно из акта мщения, из взятого на себя обета они превратились в услуги окружающим жителям, причем весьма низко оплачиваемые. Еще мальчишкой его вызывали в ближние и дальние поселки при первых признаках появления крыс, и Федерико с усердием муравья за несколько дней очищал окрестности. К его услугам обращались и из Тинго Мария — обитатели хижин, домовладельцы, конторские служащие. Мальчик испытал прилив гордости, когда сам капитан поручил ему освободить от нечисти полицейский комиссариат. Все вырученные деньги Федерико тратил на сооружение новых ловушек, расширяя дело, которое одни считали извращением, другие — бизнесом. После того как экс-инженер скрылся в квазисексуальных дебрях «Спящей красавицы», Федерико, бросив колледж, заменил нож в ловушке более тонким оружием: ядом.

Работа помогала ему зарабатывать на жизнь в том возрасте, когда другие дети еще пускают волчок. Но эта же работа превратила его в отверженного. Мальчика звали для изничтожения мерзких тварей, но его никогда не сажали за стол, не говорили с ним ласково. Возможно, это заставило его страдать, но он не подавал виду, более того, неприязнь сограждан, можно сказать, льстила ему. Он был хмурым, неразговорчивым юношей, и никто не мог похвастать, что видел, как он смеется. Казалось, единственной его страстью было истребление отвратительных крыс. За свою работу он получал скромное вознаграждение, однако в домах бедняков проводил безвозмездные чистки. Он появлялся с мешком мышеловок и пузырьками яда, едва узнавал, что враг оставил где-то свои следы. К проблеме истребления грызунов, технику которого юноша постоянно совершенствовал, добавилась еще одна: уничтожение их трупов. Эта часть работы всегда вызывала особое неудовольствие жителей, домохозяек и служанок. Федерико расширил свое предприятие: он нанял местного дурачка, горбатенького, косоглазого, проживавшего в селении Сьервас де Сан-Хосе, который за харчи собирал в мешок останки принесенных в жертву великому обету и сжигал их позади стадиона Абад или скармливал собакам, кошкам, коршунам и стервятникам поселка Тинго Мария.

Сколько всего было! У светофора на авениде Хавьера Прадо дон Федерико Тельес Унсатеги сказал себе, что он, без сомнения, далеко продвинулся с тех пор, как еще юнцом от зари до зари бродил, сопровождаемый дурачком, по грязным улицам Тинго Мария и своими кустарными средствами вел беспощадную войну против убийц крошки Марии. Тогда он был молод, у него имелся лишь скарб, носимый с собой, да единственный помощник. Тридцать пять лет спустя он возглавил технико-коммерческий комплекс, раскинувший свои филиалы по всем городам Перу, ему принадлежали пятнадцать легких грузовиков, у него работали шестьдесят восемь экспертов по обработке опылением наиболее трудных мест, применяя смесь ядов и разные ловушки. Полем битвы для техников служили улицы, поля, они выискивали, охотились и истребляли, получая директивы, научную и техническую помощь из Главного штаба, возглавляемого доном Федерико (кроме него в состав штаба входили еще шесть технократов, только что отправившихся обедать). Но, кроме этого созвездия, в крестовом антикрысином походе участвовали две лаборатории, с которыми дон Федерико подписал контракты (практически это были субсидии) на испытание новых ядов, ибо враг обладал удивительным иммунитетом. Проходило две-три кампании, и выяснялось, что отравляющие вещества уже бездейственны и превратились в лакомство для тех, кого должны были извести. Кроме того, дон Федерико — в этот момент перед зеленым глазом светофора он как раз включил первую скорость, направляясь к кварталам, прилегающим к морю, — учредил специальную стипендию: каждый год фирма «Антигрызуны. Анонимное общество» направляла только что защитившего диплом химика в американский университет Батон Ружа для специализации в области истребления крыс.

Именно эти обстоятельства — служение науке во имя идеи — двадцать лет назад сподвигли дона Федерико Тельеса Унсатеги на брак. Ибо в конечном счете он был все-таки человеком, и в его мозгу однажды зародилась идея о наследниках духа и крови, каковые с молоком матери должны были впитать ненависть к омерзительным тварям и, получив специальное образование, со временем продолжили бы его начинание, возможно и за пределами родины. Мысль о шести-семи Тельесах, обученных в лучших академиях, которые могли бы не только продолжить, но и увековечить его клятву, привела дона Федерико (его, отрицавшего самое идею брака!) в брачное агентство: здесь за несколько завышенное вознаграждение ему была найдена жена; ей было уже двадцать пять лет, она не блистала красотой, скорее наоборот (ей не хватало зубов, и, кроме того, она отличалась излишками жира в талии и на бедрах), но зато обладала тремя качествами, затребованными женихом: отменным здоровьем, целомудрием и способностью к продолжению рода.

Донья Сойла Саравиа Дуран была родом из Уануко [1]; волею судьбы, которая забавы ради то возносит, то сбрасывает людей в пропасть, члены ее семейства из провинциальных аристократов превратились в столичных полупролетариев. Она училась в бесплатной школе салесианских монахинь, которую те держали (из честных побуждений или в интересах рекламы?) около частного платного лицея. Девочка выросла, как и все ее подруги, с комплексами, причем у нее это выразилось в послушании, приспособленчестве и волчьем аппетите. Она провела часть своей жизни, работая привратницей у монахинь, и свободный распорядок дня, а также неопределенность обязанностей (кем она была: служанкой, рабочей, служащей?) лишь усугубили ее рабскую покорность. Во всех случаях жизни она лишь послушно кивала головой, как корова. В двадцать четыре года, осиротев, она после долгих колебаний осмелилась посетить брачное агентство, которое и связало ее с человеком, впоследствии ставшим ее хозяином.

Донья Сойла была покорной, бережливой женой, во всем стремящейся усвоить принципы — некоторые определяли их как «эксцентрические выходки» — своего му-

[1] Главный город одноименного департамента Перу, неподалеку от Лимы.

жа. Она, например, никогда не протестовала против вето, наложенного доном Федерико на использование горячей воды (по его утверждению, горячая вода расслабляла волю и вызывала кашель). Даже теперь, двадцать лет спустя, она по-прежнему синела, стоя под холодным душем. Она никогда не выступала против пункта нигде не записанного, но всем известного семейного кодекса, гласившего, что спать разрешается не более пяти часов, дабы не порождать леность, хотя каждое утро, когда в пять часов звонил будильник, крокодилье зевание доньи Сойлы сотрясало окна. Она смиренно согласилась и с тем, что из семейных развлечений были исключены, как губительные для нравственности и духа, кинематограф, танцы, театр, радио и, как наносящие ущерб семейному бюджету, рестораны, путешествия и все связанное с попыткой украсить себя или свое жилище. Единственно, в чем донья Сойла не покорилась мужу, так это в еде; еда была ее грехом. В меню семейства постоянно включалось мясо, рыба и сладкое блюдо из крема. В этой уникальной сфере дон Федерико не смог навязать свою волю — жестокое вегетарианство. Однако донья Сойла никогда не пыталась сокрыть свой грех, не таила его от мужа, который в этот момент на своем «додже» уже въезжал в оживленный квартал Мирафлорес; дон Федерико говорил себе, что откровенность жены помогала ему если не искоренить, то по крайней мере учитывать слабость супруги. Когда желание доньи Сойлы полакомиться становилось сильнее ее покорности, она, красная, как гранат, и заранее примирившись с грядущей карой, пожирала на глазах у мужа поджаренный с луком бифштекс, запеченную целиком рыбу-корвину или яблочный пирог с кремом «шантильи». И никогда не противилась эпитимье. Если дон Федерико за съеденное жаркое или за плитку шоколада запрещал ей разговаривать в течение трех дней, донья Сойла сама себе повязывала намордник, дабы не согрешить словом даже во сне; если же наказание заключалось в тридцати ударах по заднему месту, она торопилась спустить с себя корсет и подставить ягодицы.

Нет, сказал сам себе дон Федерико Тельес Унсатеги, бросая рассеянный взгляд на серые (этот цвет он ненавидел) воды Тихого океана, когда проезжал на автомобиле по набережной Мирафлорес, которую его «додж» обдавал гарью; нет, повторял он, в конце концов донья Сойла не разочаровала его. Но вот дети! Дети. Здесь дон Федерико потерпел фиаско. Какая разница между воинственным отрядом истребителей тварей, о котором он мечтал, и теми четырьмя наследниками, что ему подарили господь бог и сластена. Во-первых, у него было всего два сына. Тяжкий, непредвиденный удар. Никогда ему не приходила мысль, что донья Сойла могла родить и девочек. Рождение первой дочери явилось разочарованием, но его еще можно было приписать случайности. Но когда четвертая беременность также разрешилась существом, лишенным отличительных мужских признаков, дон Федерико, устрашенный перспективой воспроизводства неполноценных особей, раз и навсегда прекратил всякие отношения, связанные с появлением потомства, для чего заменил двуспальное ложе двумя индивидуальными матрацами. Не то чтобы он возненавидел женщин, нет, просто, поскольку он не был ни эротоманом, ни чувственным мужчиной, для чего ему существа, чьи лучшие дарования проявлялись лишь в постели или на кухне? Для него продолжение рода не имело иной цели, кроме продолжения антикрысиной войны. И надежды его улетучились как дым с появлением Тересы и Лауры, ибо дон Федерико не принадлежал к современным людям, толкующим, будто у женщины кроме чувственности есть еще и мозги и она может работать наравне с мужчиной. Вместе с тем ему была горька мысль о том, что, возможно, его имя будет втоптано в грязь. Разве статистические данные не утверждали: девяносто пять процентов женщин были, есть и будут гетерами? Ради того, чтобы его дочери попали в пять процентов добродетельных, дон Федерико организовал их жизнь по жесточайшей схеме: никогда и никаких вырезов на платьях; зимою и летом — темные чулки и блузки с длинными рукавами, им не разрешалось красить ногти, губы, подводить глаза, румянить щеки, не разрешалось делать никаких причесок — все эти челки, «лошадиные хвосты», переплетенные косички служили уловками для привлечения самцов; девочкам были запрещены спортивные игры и развлечения, предполагающие наличие поблизости мужчин, как-то: посещение пляжа или дней рождения. Нарушение этих пунктов всегда каралось телесными наказаниями.

Однако дона Федерико угнетало не только непредусмотренное появление среди его потомства женского пола. Оба сына — Рикардо и Федерико-младший — не унаследовали отцовских добродетелей. Они были вялыми, ленивыми мальцами, любителями ничегонеделанья (кроме жвачки и футбола) и не проявляли никакого энтузиазма, когда дон Федерико разъяснял, какое будущее им уготовано. Во время каникул отец заставлял сыновей работать вместе с теми, кто сражался на переднем крае, чтобы заранее подготовить их к будущим битвам, однако мальчики выполняли указание неохотно и подчинялись с откровенным отвращением. Однажды он услышал, как сыновья с омерзением отзывались о деле всей его жизни и говорили, что им стыдно за своего отца. В наказание он обрил их, как каторжников, но эта мера не избавила от ощущения, что его предали. Теперь дон Федерико не строил иллюзий. Он знал: в случае его смерти или продолжительной болезни Рикардо и Федерико-младший не пойдут по пути, начертанному им, они изменят профессию, избрав другую, диктуемую выгодой, и весь его труд, как некая прославленная симфония, останется незавершенным.

Именно в этот момент к вящему своему нравственному и физическому страданию дон Федерико Тельес Унсатеги увидел журнал, сунутый в открытое окно «доджа» уличным торговцем: яркая обложка греховно сияла в лучах утреннего солнца. На лице дона Федерико появилась гримаса отвращения, когда он заметил на обложке фотографию двух купающихся девиц на фоне морского пляжа. На девицах красовалось некое подобие купальных костюмов, какие осмеливаются надевать лишь кокотки. Но вдруг его глазные нервы обожгло болью, он открыл рот, как волк, воющий на луну: дон Федерико узнал полуголых, нагло улыбавшихся купальщиц. Его охватил ужас, сравнимый лишь с тем, который он испытал когда-то давним утром в амазонской сельве, на берегу реки Пенденсия, когда он с трудом различил в колыбельке, загаженной крысами, рассыпавшийся скелетик своей сестренки. Зажегся зеленый свет светофора — машины, стоявшие позади его автомобиля, стали сигналить. Негнущимися пальцами дон Федерико вынул бумажник, заплатил за порнопродукцию и тронул с места; он чувствовал, что вот-вот столкнется с другой машиной, руль выворачивался из рук и автомобиль выписывал кренделя. Он затормозил и встал у тротуара.

Здесь, содрогаясь от омерзения, он долго рассматривал ужасающее свидетельство. Сомнений не было: это его дочери. Конечно, девочек снял скрытой камерой ловкий фотограф, спрятавшийся среди купающихся. Они не смотрели в объектив и, казалось, разговаривали, разнежась на сладострастном песке пляжа Агуа Дульсе, а может Эррадуры. Дыхание вновь вернулось к дону Федерико; даже будучи в шоке, он подумал о невероятной цепи случайностей: бродячий фотограф запечатлел Лауру и Тересу, непристойный журнал выставил их напоказ развратному свету, и он случайно их обнаружил... Разве не случайно открылась его глазам страшная правда! Значит, дочери слушались его, лишь когда он был рядом, значит, стоило ему отвернуться, они в союзе с братьями и — о боже! (у дона Федерико даже екнуло сердце) — с его собственной супругой игнорировали все его указания и шли на пляж, где обнажали, выставляли напоказ свое тело. Слезы омывали его лицо. Он внимательно рассмотрел купальники: две маленькие повязочки, предназначенные не прикрывать тело, а привлекать внимание к обиталищу греха. Вот они — доступные всем и каждому ноги, руки, животы, плечи, шеи Лауры и Тересы. Он осознал всю нелепость положения, вспомнив, что сам ни разу не видел этих частей тела собственных дочерей, представленных ныне на всеобщее обозрение.

Он вытер глаза и включил мотор. Внешне он успокоился, но внутри его бушевало пламя. Медленно ехал он на своем «додже» к домику на авениде Педро де Осма, а про себя думал: если они ходили голыми по пляжу, то вполне естественно — в его отсутствие девочки посещали вечеринки, носили брюки, встречались с мужчинами, продавали свое тело, а может быть, даже принимали ухажеров в его доме? Может быть, сама донья Сойла была ответственной за установку тарифов и взимание платы? А на Рикардо и Федерико-младшего — на последнего скорее всего — была возложена мерзкая обязанность подыскивать клиентов? Дон Федерико Тельес Унсатеги, задыхаясь, представил себе потрясающее душу распределение ролей: его дочери — шлюхи, его сыновья — альфонсы, его супруга — сводня.

Постоянное общение с насилием — так или иначе дон Федерико лишил жизни сотни тысяч живых существ — сделало его человеком, которого нельзя было провоцировать, не подвергаясь серьезному риску. Однажды некий агроном, возомнивший себя специалистом по проблемам питания, осмелился в присутствии дона Федерико заявить, что, учитывая нехватку крупного скота в Перу, для расширения производства мяса в стране следовало бы заняться разведением морских свинок. Дон Федерико Тельес Унсатеги очень вежливо напомнил наглецу, что морские свинки сродни крысам. Агроном настаивал на своей идее, приводя статистические данные, говорил о питательности и нежности мяса свинок. Тогда дон Федерико вкатил ему несколько пощечин, а когда специалист по проблемам питания рухнул на пол, обливаясь кровью, дон Федерико назвал его тем, кем он и был на самом деле: бесстыжим апологетом человекоубийц. Сейчас, выйдя из автомобиля, заперев его и не спеша направляясь к дому, бледный и хмурый уроженец Тинго Мария ощущал, как внутри него закипает вулканическая лава, точь-в-точь как в тот день, когда он избил агронома — знатока диететики. Словно пылающую головню, он зажал в правой руке проклятый журнал. Глаза его прищипывало.

Он был настолько обескуражен, что даже не мог представить себе наказания, соразмерного проступку. В голове стоял туман, ярость мутила сознание, и это усиливало его горечь, ибо поведение дона Федерико всегда определял разум, он презирал породу примитивов, подчинявшихся, подобно животным, инстинкту и порыву. Но в этот раз, доставая ключ и с трудом открывая дверь (от гнева пальцы его одеревенели), он понял, что не сможет действовать спокойно и рассудочно. Он даст волю ярости, действуя по наитию. Заперев дверь, он сделал глубокий вдох, пытаясь успокоиться. Ему стало стыдно при мысли, что эти неблагодарные могут догадаться, как он унижен.

На первом этаже домика размещалась маленькая прихожая, гостиная — тоже миниатюрная,— столовая и кухня, на втором находились спальни. Дон Федерико увидел свою жену с порога гостиной. Она стояла у буфета, пережевывая какую-то мерзкую сладость — конфету или шоколадку, подумал дон Федерико, следы которых все еще

оставались на ее пальцах. Увидев его, она испуганно улыбнулась, показывая с мягкой покорностью, что она ела.

Дон Федерико не спеша подошел, развернул двумя руками журнал, чтобы жена могла рассмотреть обложку во всей ее вызывающей крикливости. Затем, не произнося ни слова, он сунул ей журнал под нос, наслаждаясь тем, как она вдруг побледнела, как глаза ее вылезли из орбит, она открыла рот, и по губе потекла слюна с крошками печенья. Уроженец Тинго Мария поднял правую руку и изо всех сил ударил по щеке дрожащую женщину. Она, застонав, покачнулась и упала на колени, при этом донья Сойла продолжала умиленно смотреть на обложку в каком-то мистическом восторге. Дон Федерико — праведный и справедливый,— стоя, глядел на нее уничтожающе. Затем он бесстрастно призвал обвиняемых:

— Лаура! Тереса!

Шум заставил его повернуть голову. Девочки стояли у лестницы. Он не слышал, как они спустились вниз. Старшая — Тереса — держала в руках пыльную тряпку, как будто она занималась уборкой. Лаура была одета в школьную форму. Дочери в растерянности смотрели на стоящую на коленях мать и медленно приближавшегося отца — сурового, непроницаемого, как жрец, направляющийся к жертвенному камню, где его ждут меч и весталка, и, наконец, увидели журнал, который дон Федерико обличительным жестом ткнул им в лицо. Он не ожидал подобной реакции от своих дочерей. Вместо того, чтобы, побледнев, упасть на колени с мольбой о прощении, озорницы, чуть покраснев, быстро переглянулись как сообщницы. Нет, сказал себе дон Федерико, несмотря на всю его опустошенность и гнев, он еще не испил до дна чашу с ядом. Значит, Лаура и Тереса знали, что их фотографировали, знали, что фото будет опубликовано, и даже — что же еще могли означать искорки в их глазах? — радовались этому. Сделав открытие — его семейный очаг, который он всегда считал пуританским, заражен не только общегородским поветрием пляжного нудизма, но еще и эксгибиционизмом (а может, вдобавок, нимфоманией?), он ощутил слабость во всем теле и известковый привкус во рту и вдруг впервые задумался: оправдана ли его жизнь? Одновременно — размышления заняли не более секунды — он подумал, что, пожалуй, единственным достойным наказанием за все это была бы смерть. Мысль сделаться детоубийцей мучила его меньше, чем сознание того, что тысячи людей обшаривали глазами (только ли глазами?) сокровенные тайны плоти его дочерей.

После этого он перешел к действию. Он отбросил журнал, схватил левой рукой Лауру за форменную курточку, притянул к себе, дабы не промахнуться, поднял правую руку и нанес удар, вложив в него всю свою силу и злость. И во второй раз — безумный, безумный день! — испытал непривычное потрясение, пожалуй, еще более пронзительное, чем при виде дурацкой обложки журнала. Вместо мягкой щеки Лауры его рука пронзила пустоту и нелепо, впустую повисла в воздухе. Но это было еще не все. Самое страшное наступило потом. Девочка не просто увернулась от пощечины — такого, как вспомнил несмотря на оцепенение дон Федерико, не позволил себе ни разу никто из членов семьи — с лицом, искаженным ненавистью, четырнадцатилетняя Лаура кинулась на него — своего отца! — и принялась молотить его кулаками, царапать, толкать и лягать!

Дон Федерико почувствовал: вся кровь в нем застыла и перестала бежать по сосудам. Все было, как если бы небесные светила сорвались со своих орбит и помчались друг на друга, сталкиваясь, разрушаясь, носясь в истерике по космическому пространству. Дон Федерико не в состоянии был отреагировать на происходящее, широко открыв глаза, он медленно отступал, а на него наседала расхрабрившаяся, отчаявшаяся девушка. Теперь она не только била его, но и кричала: «Проклятый! Диктатор! Ненавижу тебя! Чтоб ты сдох! Сейчас же!» Ему показалось, будто он сходит с ума, едва увидел (все свершалось так быстро — он почти не отдавал себе отчета в происходящем), что к нему бежит Тереса и не удерживает сестру, а приходит к ней на помощь. Старшая дочь выкрикивала ругательства вроде «Жадина! Тупица! Дурак! Маньяк! Мерзкий тиран! Псих! Крысятник!» Две юные фурии прижали дона Федерико к стене. Наконец он стал приходить в себя от охватившего его оцепенения и защищаться, прикрывая лицо руками. Но в этот момент он ощутил боль в спине: донья Сойла, встав с колен, укусила его. Видимо, он еще не утратил способности удивляться, если смог отметить, что жена преобразилась даже больше, чем дочери. Неужели донья Сойла, женщина, никогда не проронившая ни единой жалобы, ни разу не возвысившая голос, не посмевшая выказать плохое настроение, могла превратиться в существо с горящими глазами и мощными руками, которое осыпало дона Федерико ударами и щипками, плевало на него, рвало на нем рубашку и кричало, как безумное: «Убьем его! Отомстим за себя! Пусть подавится своей дуростью! Выцарапайте ему глаза!» Все три женщины завывали, и дону Федерико чудилось, что от их крика у него лопаются перепонки в ушах. Он защищался изо всех сил, пытался отвечать на удары, но тщетно: женщины (возможно, они на практике применили заранее отработанные удары) висли вдвоем у него на руках, а третья продолжала терзать его. Дон Федерико ощущал то жгучую боль, то уколы, то чувствовал вдруг, как набухают шишки, из глаз его сыпались искры; а увидев алые пятна на руках фурий, он осознал, что льется кровь.

Он понял, что погиб, когда увидел наверху лестницы Рикардо и Федерико-младшего. Несколько последних секунд сделали его скептиком, он уже знал: сыновья прибыли как подкрепление — нанести ему последний удар. В ужасе, позабыв достоинство и честь, дон Федерико думал лишь об одном: как бы добраться до дверей и ускользнуть на улицу. Но это было нелегким делом. Ему удалось сделать лишь два-три прыжка, как ловкая подножка с грохотом обрушила его на пол. Скорчившись, чтоб защитить свои детородные органы (наследники явно пытались добраться до них жестокими ударами ног), дон Федерико следил за тем, как жена и дочери вооружались метлами, вениками, каминными щипцами, намереваясь продолжить избиение. Он не успел даже подумать о том, что ничего не понимает, кроме того, что мир обезумел, услыхав, как и сыновья его в лад ударам твердили: «Маньяк, жадина, грязная тварь и крысятник». Сознание его затуманивалось, и вдруг в этот момент из незаметной дырки в углу столовой выскочил серый зверек с белыми клыками и с откровенной усмешкой в бойких глазках уставился на павшего дона Федерико...

Скончался ли дон Федерико Тельес Унсатеги, неутомимый палач перуанских грызунов? Совершилось ли в нарушение всех заповедей отцеубийство? Или супруг и отец, распластанный на полу, лишь потерял сознание, забытый под обеденным столом среди великого беспорядка, когда члены его семьи спешно укладывали свои чемоданы и с омерзением покидали домашний очаг?

Как закончится этот несчастный случай в районе Барранко?

IX

Неудача с повествованием о Доротео Марти привела меня в подавленное настроение на несколько дней. Однако в то утро, услышав переданную Паскуалем Великому Паблито историю об открытии в аэропорту, я ощутил, что вдохновение возвращается ко мне, и вновь задумал рассказ. Как выяснилось, Паскуаль застал нескольких беспризорников за опасным и увлекательным спортом. В темноте ребята ложились у края взлетной полосы аэродрома Лиматамбо, и — Паскуаль клялся в том — каждый раз при взлете самолета силой воздушной волны мальчиков поднимало на несколько сантиметров над землей. Как на представлении иллюзиониста, мальчики парили несколько секунд в воздухе, потом — со спадом волны — шлепались наземь. В те дни я как раз посмотрел мексиканский фильм (много лет спустя я узнал, что это была картина режиссера Бунюэля, и узнал, кто такой сам Бунюэль) «Забытые», который мне очень понравился. Я решил написать рассказ в том же духе о детях-подростках, маленьких волчатах, закаленных жестокой жизнью трущоб. Хавьер, проявив скептицизм, заверил меня на этот раз, что вся история выдуманная и что воздушный поток от поднимающегося самолета не поднимет и новорожденного. Мы поспорили, я в конце концов заявил ему, что в моем рассказе персонажи будут парить в воздухе, но тем не менее рассказ будет сугубо реалистическим («нет, он будет фантастическим», — кричал Хавьер). В общем, мы решили как-нибудь ночью, взяв с собой Паскуаля, отправиться на пустыри «Корпака» [1], чтобы выяснить, где правда, а где ложь в опасных играх (такое название выбрал я для рассказа).

В тот день я не встречался с тетушкой Хулией и надеялся увидеть ее в следующий четверг у дяди Лучо. Однако, прибыв в дом Армендарисов на традиционный обед, я не нашел ее там. Тетя Ольга сообщила мне, что тетушка Хулия приглашена на обед «солидным претендентом» — доктором Гильермо Осоресом. Этот врач состоял в дальнем родстве с нашим семейством, ему было уже за пятьдесят, внешность весьма презентабельная, и у него имелись кое-какие средства, к тому же он вдовец.

— Хорошая партия, — подмигнув, сообщила мне тетя Ольга. — Серьезный, богатый, красивый; у него только двое сыновей, и те взрослые. Разве не такой муж нужен моей сестре?

— Последние недели она теряла попусту, — добавил дядя Лучо. — Ни с кем не хотела выходить и вела жизнь старой девы. Однако эндокринолог понравился ей.

Я испытал такие муки ревности, что у меня напрочь пропал аппетит, настроение окончательно испортилось. Я опасался, как бы тетя и дядя по моему виду не догадались, что со мной происходит. Мне не пришлось вытягивать из них подробности относительно тетушки Хулии и доктора Осореса, они ни о чем ином и не говорили. Доктор познакомился с тетушкой лет десять назад на коктейле в посольстве Боливии — теперь, узнав, где она поселилась, он нанес Хулии визит. Присылал ей цветы, звонил по телефону, приглашал на чай в кафе «Боливар», а сегодня пригласил пообедать в клуб «Унион». Эндокринолог шутил в разговоре с дядей Лучо: «Твоя свояченица — выше всяких похвал, Луис. Может быть, она — та женщина, которую я ищу, чтобы вторично принести себя в жертву на алтарь брака?»

Я старался высказать свое полное безразличие, но делал это так неискусно, что дядя Лучо, когда мы остались одни, спросил, что со мной происходит: сунул

[1] Сокращение от Corporación Peruana de Aeropuertos — Перуанская корпорация аэропортов.

ли нос, куда не следует, и за это поставили клизму? К счастью, тетя Ольга заговорила о радиопостановках, и я вздохнул с облегчением. Она говорила о том, что иногда этого Педро Камачо слишком «заносит», ее подругам история о проповеднике, который «поранил себя» ножом для разрезания бумаги в кабинете судьи, доказав, что он не насильник, показалась странной, а я тем временем впадал то в ярость, то в отчаяние. Почему тетушка Хулия не сказала мне ни слова? За последние десять дней мы виделись не раз, но я никогда не слышал от нее упоминания о враче. Значит, правду говорит тетушка Ольга, что Хулия, наконец, кем-то «заинтересовалась»?

В автобусе, по дороге на «Радио Панамерикана», в моем настроении произошла перемена: от унижения к гордыне. Наша любовная связь тянулась уже давно, нас в любой момент могли накрыть, и это вызвало бы скандал в семье. С другой стороны, что я терял, проводя время с дамой, которая, по ее собственным словам, была для меня почти матерью? Жизненного опыта я набрался вполне достаточно. Осорес был послан судьбой и освобождал меня от необходимости самому разделаться с боливийкой. Мне было неуютно, я испытывал какие-то непривычные ощущения, вроде желания напиться или избить кого-нибудь. На радио я повздорил с Паскуалем, который, будучи верен своей природе, посвятил половину сводки, передаваемой в три часа дня, пожару в Гамбурге, в котором сгорела дюжина турецких эмигрантов. Я заявил Паскуалю, что отныне и впредь запрещаю без моего особого разрешения включать в сводку любую информацию о мертвецах. Затем я холодно поговорил по телефону с приятелем из университета Сан-Маркос, позвонившим мне с целью напомнить, что факультет наш все еще существует, и предупредить: на следующий день меня ждет экзамен по процессуальному праву. Едва я повесил трубку, телефон вновь зазвонил. Это была тетушка Хулия.

— Я надула тебя из-за какого-то эндокринолога, Варгитас. Надеюсь, ты скучал обо мне? — сказала она мне голоском свежим, как салатовый лист.— Ты не сердишься?

— Сержусь? Почему же? — ответил я. — Разве ты не вольна поступать, как тебе вздумается?

— Значит, ты сердишься,— услышал я ее серьезный тон.— Не будь глупеньким. Когда мы увидимся? Я тебе все объясню.

— Сегодня не могу,— ответил я сухо.— Я сам позвоню тебе.

И повесил трубку, сердясь более на себя, чем на нее, и чувствуя себя в глупейшем положении. Паскуаль и Великий Паблито смотрели на меня с интересом. Любитель сенсаций деликатно отомстил мне за заданную ему взбучку:

— Бог мой, как жестоко карает женщин дон Марио!

— Он правильно обращается с ними, — поддержал меня Великий Паблито. — Женщинам ничто так не нравится, как вожжи.

Я послал обоих своих редакторов ко всем чертям, подготовил четырехчасовую радиосводку и отправился к Педро Камачо. Он строчил очередной сценарий, и я ждал в каморке, просматривая его бумаги. Правда, я не понял ни слова из прочитанного, то и дело задаваясь вопросом, означает ли сегодняшний телефонный разговор с тетушкой Хулией окончательный разрыв. Я то ненавидел ее смертельной ненавистью, то рвался к ней всей душой.

— Пойдемте со мной, мне надо купить яда,— сказал мне меланхолически Педро Камачо, стоя в дверях и потряхивая своей львиной гривой.— У нас еще останется время, чтобы проглотить кое-что.

Пока мы бегали по улице Унион и соседним переулкам в поисках яда, артист поведал мне, что крысы в пансионе «Ла Тапада» дошли до неслыханной наглости.

— Если бы они только возились под кроватью, меня это не беспокоило бы. Они не дети, а к животным я не испытываю отвращения, — пояснял мне Педро Камачо, принюхиваясь своим длинным носом к каким-то желтым порошкам, способным, по словам аптекаря, сразить корозу. — Но эти усатики пожирают мой хлеб насущный: они каждую ночь грызут продукты, которые я держу на подоконнике, чтобы оставались свежими. Другого выхода нет, я должен уничтожить их.

Он выторговал скидку, приведя аргументы, сразившие аптекаря наповал, заплатил и потребовал, чтобы ему завернули мешочки с ядами, после чего мы отправились в кафе на авениде Ла Кольмена. Он попросил свой отвар, я — кофе.

— Я несчастен в любви, друг Камачо, — вдруг брякнул я, удивляясь своему порыву и тому, что изъясняюсь штампами из радиопостановок. Однако я чувствовал, что, говоря таким образом, абстрагируюсь от собственной истории и в то же время получаю возможность излить душу.— Женщина, которую я люблю, обманывает меня с другим мужчиной.

Он сверлил меня своими выпуклыми глазками, более холодными и мрачными, чем всегда. Его черный костюм был вычищен, отутюжен и так залоснился, что блестел, как луковица.

— В этих плебейских странах за дуэль расплачиваются тюрьмой, — очень серьезно изрек Педро Камачо, конвульсивно потрясая руками.— Что же до самоубийства, теперь никто не оценит подобный жест. Человек кончает с собой и вместо угрызений совести, потрясения или удивления вызывает лишь насмешки. Самое лучшее, мой друг, это практические советы.

Я был рад, что доверился ему. Понятно, поскольку для Педро Камачо никого, кроме него самого, не существовало, он и думать забыл о моей проблеме, послужившей ему лишь поводом для применения его теоретических построений. Большим утешением для меня (и с меньшими последствиями) было слушать его, чем предаваться попойкам. Изобразив подобие улыбки, Педро Камачо дал мне подробное наставление.

— Жестокое, колючее, краткое письмо в адрес изменницы, — говорил он, подчеркивая эпитеты. — Письмо, которое заставило бы ее почувствовать себя выпотрошенной ящерицей, грязной гиеной. Письмо, которое покажет ей, что вы — не глупец и вы осведомлены о ее измене. Письмо должно дышать презрением и вызвать у предательницы укоры совести. — Он замолчал, поразмышлял минуту и, слегка изменив тон, продемонстрировал мне величайшее свидетельство дружелюбия, какое вообще можно было ожидать от него: — Если хотите, я напишу это письмо.

Я горячо поблагодарил Педро Камачо, сказав, однако, что мне известно его рабочее расписание, сходное с расписанием работ на галерах, из-за чего я не могу допустить, чтобы он обременял себя моими личными делами. (Впоследствии я очень сожалел о своей щепетильности, лишившей меня оригинала письма.)

— Что же касается соблазнителя, — без паузы продолжал Педро Камачо, коварно подмигивая, — лучше всего послать ему анонимку, в которой изложить все характерные для данного случая обвинения. Почему жертва должна пребывать в летаргии, в то время как у нее растут рога? Можно ли допустить, чтобы изменники наслаждались прелюбодеянием? Нужно разбить их любовь, ударить по самому больному месту, отравить их сомнениями. Пусть проснется недоверие, пусть взглянут они друг на друга ревнивыми глазами и возненавидят один другого. Разве отмщение не сладко?

Я намекнул ему, что, пожалуй, анонимка не очень подходит для кабальеро, но он быстро успокоил меня: с кабальеро следует поступать как с кабальеро, а со сволочью — по-сволочному. Именно так «следовало понимать защиту чести», все же остальное — идиотство.

— Письмо к ней, анонимка ему — и любовники наказаны,— сказал я.— Ну а я как же? Кто избавит меня от тоски, разочарования?

— Для этого лучше всего применять слабительное,— ответил Педро Камачо, но мне даже не стало смешно.— Я знаю, вам это покажется чересчур прозаическим средством. Но послушайтесь меня; доверьтесь моему жизненному опыту. В большинстве случаев так называемая сердечная тоска и все прочее не что иное, как следствие плохого пищеварения от пересохшей фасоли, плохо перевариваемой желудком, протухшей рыбы, запоров. Сильное слабительное избавляет от любовных безумств.

На этот раз не было сомнения: он тонко шутил, он смеялся надо мной, над своими слушателями, он не верил ни единому своему слову, просто увлекался спортом аристократов: убеждать самого себя, что все мы — все человечество — неисправимые дураки.

— Вы много любили? Богата ли ваша личная жизнь?— спросил я его.

— Да, очень богата,— подтвердил он, глядя на меня через поднесенную ко рту чашку с отваром йербалуисы и мяты.— Но я никогда не любил ни одной женщины во плоти и крови.

Он сделал эффектную паузу, как бы определяя степень моей наивности и глупости.

— Вы думаете, я мог бы делать все, что я делаю, если бы тратил свою энергию на женщин?— назидательно произнес он, и в голосе его прозвучало отвращение.— Вы воображаете, будто можно одновременно делать детей и писать драмы? Вы считаете, что можно придумать и создавать сюжеты, живя под страхом сифилиса? Женщины и искусство — взаимоисключающие понятия, друг мой. Женские прелести — могила для художника. Воспроизводить себе подобных — что в этом хорошего? Этим занимаются и собаки, и пауки, и кошки. Нужно быть оригинальным, друг мой.

Внезапно он вскочил, заявив, что у него только-только времени, чтобы поспеть к пятичасовой передаче. Мне стало досадно, я бы весь вечер слушал его рассуждения, так как мне, вроде бы не желая того, удалось затронуть сокровенные тайны его «я».

В моем кабинетике в «Радио Панамерикана» меня ждала тетушка Хулия. Она сидела, как королева, у меня на письменном столе, выслушивая комплименты Паскуаля и Великого Паблито, которые наперебой подобострастно демонстрировали ей радиосводки и поясняли, как функционирует Информационная служба. Она непринужденно смеялась, но, когда я вошел, стала серьезной и слегка побледнела.

— Вот так сюрприз,— сказал я, чтобы что-нибудь сказать.

Но тетушка Хулия не была расположена к иносказаниям.

— Я пришла заявить тебе, что не привыкла, чтобы бросали трубку,— произнесла она решительным тоном.— Тем более такие сопляки, как ты. Может, ты скажешь мне, что за муха тебя укусила?

Паскуаль и Великий Паблито застыли, весьма заинтересованные подобным нача-

лом драмы, переводя взгляды с меня на нее и обратно. Я попросил их выйти на минуту, они сделали зверские рожи, но не посмели перечить.

— Я бросил трубку, но на самом деле мне хотелось придушить тебя,— сказал я, как только мы остались вдвоем.

— Не имела понятия о таких твоих наклонностях,— ответила она, глядя мне в глаза.— Можно узнать, что же с тобой происходит?

— Ты прекрасно знаешь, что́ со мной происходит, и не прикидывайся дурочкой,— сказал я.

— Ты ревнуешь, потому что я поехала обедать с доктором Осоресом?— спросила она насмешливо.— Сразу видно, что ты сопляк, Марито.

— Я запретил тебе называть меня «Марито»,— напомнил я. Я чувствовал, что меня охватывает раздражение, голос начинал дрожать, и я сам не ведал, что говорю.— А теперь я запрещаю тебе называть меня «сопляком».

Я сел на край стола. Как бы в знак протеста тетушка Хулия встала и сделала несколько шагов к окну. Скрестив руки на груди, она смотрела в серое, влажное, прозрачное утро. Но утра она не видела, она подыскивала слова, чтобы сказать мне хоть что-нибудь. На ней было голубое платье и белые туфли. Мне вдруг захотелось поцеловать ее.

— Давай все расставим по своим местам,— сказала она, все еще стоя ко мне спиной.— Ты ничего не можешь запретить мне, даже в шутку, по той простой причине, что я не принадлежу тебе. Ты мне не муж, не жених, не любовник. Эти игрушки в виде прогулок под ручку, поцелуйчиков в кино — все это несерьезно и, главное, не дает тебе прав на меня. Ты должен хорошенько усвоить это, сынок.

— Ты действительно говоришь словно моя мамаша,— сказал я.

— Дело в том, что я *могла бы быть* твоей мамашей,— ответила тетушка Хулия, и лицо ее погрустнело. Казалось, гнев ее прошел, а вместо него остались лишь старая боль, глубокая неудовлетворенность. Она обернулась и, сделав, несколько шагов к письменному столу, остановилась рядом со мной.— Ты заставляешь меня чувствовать себя старухой, хоть я и не стара, Варгитас. И это мне не нравится. Все, что есть между нами, лишено здравого смысла сейчас, и еще меньше — в будущем.

Я обвил ее за талию, она прильнула ко мне, но в то время как я с бесконечной нежностью целовал ее в щеку, в шею, в ухо (ее теплая кожа пульсировала под моими губами, и ощущение скрытой жизни ее вен вызывало во мне огромную радость), тетушка Хулия продолжала прежним тоном:

— Я много думала, и все это мне уже не нравится, Варгитас. Разве ты не понимаешь, что это нелепо? Мне тридцать два года, я разведена, ну скажи, что мне делать с восемнадцатилетним сопляком? Это уж извращения пятидесятилетних дам, я еще не дошла до такого.

Я был охвачен волнением и любовью, когда целовал ее шею, руки, тихонько покусывая ее ушко, проводя губами по ее носику, по глазам, путая ее волосы своими пальцами; иногда я даже не понимал, что она говорила. Ее голос дрожал, порой переходил в шепот.

— Вначале все это показалось забавным, особенно эта игра в прятки,— говорила она, позволяя целовать себя, но не делая даже попытки поцеловать меня.— Мне нравилось это еще и потому, что заставляло меня вновь почувствовать себя совсем молоденькой.

— Так на чем мы порешим?— прошептал я ей на ушко.— Со мной ты чувствуешь себя пятидесятилетней греховодницей или юной девушкой?

— Проводить время с голодным до смерти сопляком, держаться только за руку, ходить лишь в кино, так стыдливо целоваться — это значит вернуть меня к моим пятнадцати годам,— продолжала тетушка Хулия.— Конечно, чудесно влюбиться в скромного мальчика, который уважает тебя, не осмеливается соблазнить, обращается с тобой как с девочкой перед первым причастием. Но это опасная игра, Варгитас, и в основе ее — ложь...

— Кстати, я пишу рассказ под названием «Опасные игры»,— прошептал я.— О неких «мотыльках», которые парят в воздухе, когда над аэродромом вблизи них взлетает самолет!

Я почувствовал, что она смеется. Через минуту она закинула мне руки на шею и приблизила лицо.

— Ну ладно, злость моя прошла,— сказала она.— В общем, я шла сюда, чтобы выцарапать тебе глаза. И мне будет жаль тебя, если ты еще раз бросишь трубку.

— Мне будет жаль тебя, если ты еще раз пойдешь с эндокринологом,— ответил я, ища ее губы.— Обещай мне никогда больше не ходить с ним.

Она отодвинулась, посмотрела на меня с сожалением.

— Не забудь, что я приехала в Лиму подыскать мужа,— полушутя сказала тетушка Хулия.— И думается, на этот раз я встретила того, кто мне подходит. Красив, воспитан, хорошее положение и седина на висках.

— Ты уверена, что это чудо женится на тебе?— спросил я, вновь поддаваясь ярости и ревности.

Она уперлась руками в бедра и, встав в вызывающую позу, возразила:

— Я могу сделать так, что женится.

Но, увидев мою физиономию, засмеялась, вновь обняла меня за шею, и мы целовались в порыве страсти-любви, когда услышали голос Хавьера:

— Вас поместят в тюрьму за скандальное, непристойное поведение.— Он был счастлив, обнимал нас обоих, а потом сообщил: — Худышка Нанси согласилась пойти со мной на бой быков, это надо отпраздновать.

— Мы только что закончили нашу первую великую битву, и ты застал нас в разгар примирения,— сказал я Хавьеру.

— Чувствуется, что ты совсем не знаешь меня,— перебила тетушка Хулия.— Во время великих боев я бью посуду, царапаюсь и убиваю.

— Самое прекрасное в сражениях — это примирения и прощения,— сказал Хавьер, большой специалист в данном вопросе.— Но, черт возьми, я бегу сюда со всех ног сообщить о будущей прогулке с Худышкой Нанси, а вы как в воду опущенные. Ну и друзья! Пошли отметим такое событие...

Они подождали, пока я отредактировал еще две радиосводки, после чего мы отправились в маленькое кафе на улице Белен, которое обожал Хавьер,— хотя оно было тесным и грязным,— так как здесь подавали лучшие в Лиме чичарронес[1]. Я нашел Паскуаля и Великого Паблито у дверей «Панамерикана» (они занимались тем, что отпускали комплименты проходившим мимо девушкам) и вернул их в стены радиостанции. Несмотря на то что день был в разгаре и мы находились в центре города, открытые взорам бесчисленных родственников и знакомых, мы шли с тетушкой Хулией, взявшись за руки, я то и дело целовал ее. Щеки у нее пылали, как у горянки, и вид был очень довольный.

— Достаточно порнографии, эгоисты, подумайте обо мне!— протестовал Хавьер.— Давайте поговорим немного о Худышке Нанси.

Худышка Нанси была одной из моих кузин, очень хорошенькой и кокетливой, в которую Хавьер влюбился, едва став разумным существом, и которую он преследовал с упорством ищейки. Она никогда не воспринимала его всерьез, но ей всегда удавалось выйти из положения, пообещав: да, мол, пожалуй, да — вскоре, да, мол, в следующий раз. Этот, с позволения сказать, роман длился еще с тех пор, когда мы учились в колледже, и я, будучи личным другом, доверенным лицом и сводником Хавьера, был посвящен во все подробности их отношений. Бесчисленное множество раз Нанси «натягивала нос» Хавьеру, и бесчисленными были случаи, когда она заставляла его ждать по утрам в воскресенье у дверей кинотеатра «Леуро», в то время как сама отправлялась в кинотеатр «Колина» или «Метро»; невозможно сосчитать, сколько раз она появлялась на субботних праздниках в сопровождении других кавалеров. Первая попойка в моей жизни случилась, когда я сопровождал Хавьера, отправившегося утопить свою печаль в пиве за стойкой маленького бара в Суркильо[2]: в тот день он узнал, что Худышка Нанси сказала «да» студенту агрономического факультета Эдуардо Тиравáнти (он был очень популярен в Мирафлоресе, потому что умел всунуть в рот горящим концом зажженную сигарету, а потом, вытащив ее, невозмутимо курить дальше). Хавьер хныкал, а на мне, кроме того, что я служил жилеткой для его слез, еще лежала миссия доставить его в пансион, когда он дойдет до коматозного состояния («Я буду пить всегда до дна...» — предупредил он меня, имитируя Хорхе Негрете[3]). Но первым пал я. Прерываемый оглушительными руладами рвоты, отбиваясь от зеленых чертиков, я (согласно мерзкому рассказу Хавьера) вскарабкался на стойку бара и стал кричать пьянчужкам, хулиганам и ночным бродягам, из которых состояла клиентура заведения под названием «Триумф»:

— Спустите портки, перед вами — поэт!

Хавьер всегда упрекал меня, что вместо того, чтобы заботиться о нем и утешать его в ту грустную ночь, я заставил его тащить меня по Мирафлоресу до улицы Очаран в состоянии полнейшего отключения. Передавая мои останки испуганной бабушке, он сопроводил это следующим не очень подходящим комментарием:

— Сеньора Карменсита, мне кажется, Варгитас испускает дух.

Тогда Худышка Нанси дала согласие, а потом распрощалась с полдюжиной юношей Мирафлореса. У Хавьера также были возлюбленные, но они не убивали, а лишь укрепляли его великую любовь к моей кузине. Он по-прежнему продолжал звонить ей, посещать ее дом, приглашать ее и твердить о своей любви, несмотря на отказы, злые выходки, насмешки и обманы. Хавьер был одним из тех мужчин, которые умеют подчинить страсти свое тщеславие, и его совершенно не трогали шутки друзей из Мирафлореса, для которых его преследование моей кузины служило неисчерпаемым источником насмешек. (Некий парень клялся, что видел однажды, как Хавьер подошел к Худышке Нанси после утренней церковной службы и предложил ей: «Послушайка, Нансита, какое прекрасное утро! Не хочешь ли выпить чего-нибудь: кока-колы или шампанского?») Иногда Худышка Нанси ходила в кино или на вечеринку с Хавьером, обычно это случалось между двумя увлечениями. После чего он вновь обретал на-

---

[1] Ломтики свиного мяса со шкуркой, жаренные на своем сале.
[2] Район г. Лимы.
[3] Популярнейший мексиканский певец и киноактер.

дежду и пребывал в состоянии эйфории. Вот и сейчас он находился в таком состоянии и болтал без умолку, пока мы пили кофе с молоком и ели сандвичи в маленьком кафе «Эль пальмеро» на улице Белен. Мы с тетушкой Хулией соприкасались коленями под столом, переплетали пальцы, глядели друг другу в глаза, а музыкальным фоном служили разглагольствования Хавьера о Худышке Нанси.

— Мое приглашение потрясло ее,— рассказывал он.— Конечно, разве какой-нибудь кошкодер из Мирафлореса может пригласить девушку на бой быков?

— Как это тебе удалось?— спросил я друга.— Ты что — выиграл в лотерею?

— Нет, продал радиоприемник из пансиона,— ответил он без малейших угрызений совести.— Хозяева подумали, что это сделала повариха, и рассчитали ее как воровку.

Он пояснил нам, что у него разработан беспроигрышный план. В середине корриды он поразит Худышку Нанси неотразимым подарком: испанской мантильей. Хавьер был великим почитателем Матери-Родины — Испании и всего, что было с ней связано: боя быков, музыки фламенко[1], Сариты Монтьель[2]. Он мечтал отправиться в Испанию (так же как я — во Францию), и мысль о мантилье пришла ему в голову после того, как он напал на рекламу в какой-то газете. Мантилья обошлась ему в месячный оклад, получаемый в Ипотечном банке, где он служил, но он был уверен, что такое помещение капитала даст свои дивиденды. Он нам сообщил, что принесет мантилью на корриду в неприметном свертке и дождется напряженнейшего момента боя быков, чтоб развернуть кружевную накидку и набросить ее на хрупкие плечи моей кузины. Что мы думаем по этому поводу? Какова будет реакция Худышки? Я посоветовал добавить к мантилье еще и высокий гребень, как у дам в Севилье, а также кастаньеты и пропеть ей фанданго[3], но тетушка Хулия с энтузиазмом поддержала Хавьера, сказав, что все задуманное им — великолепно и, если у Нанси есть сердце, она будет потрясена. Если бы такие знаки внимания оказывали ей — тетушке Хулии,— она была бы сражена.

— Видишь, что я тебе всегда говорила?— обратилась она ко мне, будто споря.— Хавьер действительно романтик. Он влюбляет в себя так, как надо влюблять.

Счастливый Хавьер предложил нам пойти куда-нибудь вчетвером в любой день на следующей неделе — в кино, выпить чаю, потанцевать.

— А что скажет Худышка Нанси, когда увидит нас вместе? — спустил я его на землю.

Хавьер вылил на нас ушат холодной воды:

— Не будь наивным, она все знает, и ей это кажется прекрасным. Я сам рассказал ей о вас в тот же день.— Увидев наше удивление, Хавьер состроил хитрую физиономию:— У меня от твоей кузины нет секретов, ведь она, что бы ни говорила, все равно когда-нибудь выйдет за меня замуж.

Меня удручило, что Хавьер рассказал Нанси о нашем романе. Мы с ней дружили, и я был уверен: она нас не выдаст, но у нее могло случайно вырваться неосторожное слово, и весть побежит тогда, как пожар, по нашему семейному лесу. Тетушка Хулия промолчала и потом, пытаясь скрыть свое беспокойство, поддразнивала Хавьера, желавшего совместить несовместимое: бой быков и нежные чувства. Мы попрощались у подъезда здания «Панамерикана» и договорились с тетушкой Хулией встретиться под предлогом посещения кино. Целуя ее, я сказал ей на ухо: «Спасибо эндокринологу — теперь я убедился, что влюблен в тебя». Она кивнула головой: «Я это вижу, Варгитас».

Я смотрел, как она удалялась с Хавьером к автобусной остановке, и лишь после этого обратил внимание, что у дверей «Радио Сентраль» собралась толпа. Особенно много было молодых женщин, хотя попадались и мужчины. Очередь выстроилась в ряд по двое; по мере того как народ прибывал, она распадалась. Люди толкались, прокладывая дорогу локтями. Я подошел из любопытства, предполагая, что причиной всего должен быть Педро Камачо. И действительно, сюда стянулись коллекционеры автографов. Через оконце его каморки я увидел писаку, охраняемого Хесусито и Хенаро-отцом. Он царапал свою затейливую подпись в тетрадях, записных книжках, на отдельных листочках и газетах, провожая своих почитателей олимпийским жестом. Почитатели, воззрившись на него как завороженные, подходили с трепетом, бормоча неясные слова восхищения.

— От него временами голова трещит, но несомненно, он стал королем национального радио,— сказал Хенаро-сын, положив мне руку на плечо и указывая на толпу.— Как тебе кажется?

Я спросил его, с каких это пор началась раздача автографов.

— Вот уже неделю, по полчаса в день — с шести до шести тридцати вечера. Ты совсем не наблюдателен,— сказал мне импресарио-прогрессист.— Разве ты не читаешь объявлений, публикуемых нами, не слушаешь радио, на котором работаешь? Сам я скептически относился к нему, но вот видишь — ошибся. Я думал, что поклонников хватит дня на два, а теперь убежден, что раздача может продлиться целый месяц.

---

[1] Вид андалусской музыки (песня-танец) в цыганском стиле.
[2] Испанская актриса.
[3] Андалусская песенка, обычно сопровождающая одноименный танец.

Хенаро-сын пригласил меня чего-нибудь глотнуть в баре на площади Боливар. Я попросил кока-колу, но он настоял, чтобы мы вместе выпили виски.

— Ты понимаешь, что означают эти очереди?— объяснял он мне.— Это — проявление народного признания: значит, радиопостановки Педро находят глубокий отклик в людях.

Я подтвердил: мол, ничуть в этом не сомневаюсь. Импресарио заставил меня покраснеть, заявив, что, поскольку у меня имеются «литературные наклонности», мне надо бы следовать примеру боливийца и поучиться у него методам завоевания масс. «Нельзя тебе замыкаться в своей башне из слоновой кости»,— посоветовал он. Хенаро-сын распорядился отпечатать пять тысяч фотографий Педро Камачо, и с понедельника охотники за автографами будут получать их в качестве подарка. Я спросил его, не смягчил ли писака свои нападки на аргентинцев.

— Теперь это уже не имеет значения, отныне он может поливать грязью кого угодно,— сказал Хенаро-сын таинственно.— Ты разве не знаешь потрясающей новости? Сам Генерал не пропускает ни одной радиопостановки Педро Камачо.

Чтобы убедить меня, импресарио привел ряд фактов Будучи занят государственными делами, Генерал не имел возможности слушать пьесы Камачо в течение дня, заставлял записывать все на пленку, а каждый вечер прослушивал их, одну за другой, перед сном. Супруга президента лично рассказывала об этом многим дамам Лимы.

— По-видимому, Генерал — человек чувствительный, несмотря на то, что о нем говорят,— заключил Хенаро-сын.— Таким образом, если наверху нас одобряют, не имеет никакого значения тот факт, что Педро получает удовольствие, расправляясь с аргентинцами. Разве не так?

Беседа с Хенаро-сыном, примирение с тетушкой Хулией меня здорово подстегнули, и я вернулся в свою будку с горячим намерением взяться за рассказ о «летающих» мальчишках. Паскуаль в это время заканчивал радиосводку. У меня уже была продумана развязка рассказа: во время одной из таких игр беспризорник взлетает в воздух выше остальных, падает, ломает себе шею и умирает под рев самолетов. В последней фразе я хотел изобразить растерянные, испуганные лица друзей, окруживших мальчика. Рассказ должен был быть сдержанным и лаконичным, тщательно продуманным. Нечто в стиле Хемингуэя.

Несколько дней спустя я отправился с визитом к кузине Нанси, чтобы выяснить, как она восприняла весть относительно тетушки Хулии. Я нашел девушку все еще под впечатлением операции «Мантилья».

— Ты представляешь, какой дурой я выглядела из-за этого идиота?— восклицала она, бегая по дому в поисках собаки Ласки.— Ни с того ни с сего на переполненных трибунах он открывает пакет, вынимает какую-то шаль и набрасывает на меня! Все уставились на меня, даже бык чуть не сдох со смеху! Мало того, он заставил меня высидеть под этой накидкой всю корриду. Даже настаивал, чтобы я и по улице шла в ней. Никогда в жизни не испытывала подобного позора!

Мы нашли Ласки под кроватью мажордома (пес был не только мохнат и некрасив, но еще и кусался), отвели собаку в ее конуру, и Худышка Нанси потащила меня в спальню, чтобы продемонстрировать вещественное доказательство ее позора. Мантилья была сделана в стиле модерн и наводила на мысль об экзотических садах, цыганских шатрах и роскошных борделях. Ткань переливалась, в ее складках играли все оттенки красного — от кроваво-багрового до розоватого, кайма мантильи заканчивалась длинной узловатой бахромой, а золотая мишура и блестки своим сиянием вызывали головокружение. Кузина изображала с ней пируэты тореро, заворачивалась в нее, хохоча во все горло. Я заявил Нанси, что не позволю издеваться над другом, и спросил, обратит ли она на него в конце концов внимание.

— Я подумываю об этом,— отвечала она, как всегда.— Он нравится мне, но лишь как друг.

Я сказал, что она — бессердечная кокетка, что Хавьер даже совершил кражу ради этого подарка.

— А ты?— сказала она, складывая и пряча в шкаф мантилью.— Это правда, что у тебя связь с Хулитой? И тебе не стыдно? С сестрой тети Ольги!

Я ответил, что все — правда, что мне не стыдно, и почувствовал, как у меня запылало лицо. Она тоже немного смешалась, но любопытство девицы из Мирафлореса пересилило, и она выпалила:

— Если ты на ней женишься, то через двадцать лет ты будешь еще молодым, а она — бабушкой.— Нанси взяла меня за руку и повела по лестнице в гостиную.— Пойдем послушаем музыку, и там ты расскажешь мне о своем романе все — от «а» до «я».

Она выбрала первоклассные пластинки — Нат Кинг Коул, Гарри Белафонте, Фрэнк Синатра, Ксавьер Кьюгэт — и тут же сообщила мне, что с того момента, как Хавьер рассказал ей о нашем романе, у нее волосы становятся дыбом всякий раз при мысли, что будет, если об этом узнает наше семейство. Разве я не знаю, как наши родственники во все суют свой нос? Разве мне не известно, что, когда она выходит на улицу с каким-нибудь новым поклонником, десять дядей, восемь тетушек и пять кузин немедленно звонят ее матери, чтобы доложить ей об этом. Я влюблен в тетушку Хулию! Бог мой, какой скандал, Марито! Она напомнила мне, что вся наша семья

мечтала о моем будущем, что я — надежда всего рода. Это была правда: мои сумасбродные родственнички уповали, что я когда-нибудь стану миллионером или, на худой конец,— президентом республики. (Так я и не мог понять, почему обо мне сложилось столь лестное мнение. Во всяком случае, не из-за моих успехов в школе — они никогда не были блестящими. Возможно, лишь потому, что я с детства писал стихи всем своим тетушкам или казался чересчур рассудительным для своих лет.) Я заставил Нанси поклясться, что она будет нема как могила. Кузина умирала от желания узнать подробности романа:

— Хулита просто нравится тебе или ты и впрямь сгораешь от любви?

Иногда я исповедовался ей в своих чувствах и в этот раз, учитывая, что ей было кое-что известно, поступил так же. Вся история началась как игра, но внезапно, а точнее, в день, когда я приревновал ее к эндокринологу, я понял, что влюбился. Чем дальше я рассказывал, тем яснее становилось мне самому, что наш роман превратился в головоломку. И не только из-за разницы в возрасте. Мне оставалось еще три года до окончания университета, и я подозревал, что никогда не стану адвокатом, единственно, что мне нравилось,— это писать. Но писатели ведь умирают с голода. По крайней мере, в данный момент я зарабатывал только на сигареты, покупку нескольких книг и на билеты в кино. Будет ли ждать тетушка Хулия, покуда я стану независимым человеком, если вообще когда-либо им стану? Кузина Нанси была настолько добра, что вместо возражений соглашалась со мной.

— Конечно, подождет, если только к тому времени Хулита не разонравится тебе и ты сам ее не бросишь,— здраво рассуждала она.— Бедняжка зря потеряет время. Но скажи мне, она тоже влюблена в тебя или только забавляется?

Я ответил, что тетушка Хулия — не легкомысленный флюгер вроде нее самой (последнее Нанси очень понравилось). Такой вопрос кузина задавала мне не раз. Через несколько дней я задал его тетушке Хулии. Мы сидели с ней у моря, в небольшом парке с непроизносимым названием (нечто вроде Домодоссола). Здесь, обнявшись и беспрестанно целуясь, мы впервые заговорили о нашем будущем.

— Я знаю его во всех подробностях. Я видела наше будущее в волшебном хрустальном шаре,— сказала мне тетушка Хулия без малейшей горечи.— В лучшем случае наша связь продлится три-четыре года, то есть до момента, когда ты встретишь соплячку, которая станет матерью твоих детей. Тогда ты бросишь меня, и мне придется соблазнять другого кавалера. И появляется слово «конец».

Целуя ее руки, я сказал, что ей вредно слушать радиодрамы.

— Вот и видно, что ты сам их никогда не слушаешь,— возразила она.— В постановках Педро Камачо редко говорится о любви. Сейчас, например, мы с Ольгой увлечены его драмой, которую передают в три часа. Речь идет о трагедии молодого человека, лишившегося сна, потому что, как только он закрывает глаза, ему снова и снова представляется, будто его автомобиль сбивает маленькую девочку.

Возвращаясь к нашей старой теме, я уверял тетушку Хулию, что я — больший оптимист, чем она. С горячностью, необходимой, чтобы убедить самого себя — так же как и ее,— я утверждал: какова бы ни была разница в возрасте, любовь кратковременна лишь в том случае, если зиждется на чисто физиологической основе. С утратой новизны, с появлением привычки слабеет, а потом угасает сексуальное влечение (особенно в мужчине), после чего совместная жизнь пары может продлиться лишь при наличии иных магнитов — духовных, интеллектуальных, моральных. Вот для такой любви возраст не имеет никакого значения.

— Звучит красиво, и меня бы устроило, будь это правдой,— произнесла тетушка Хулия, потирая о мою щеку свой как всегда холодный носик.— Но это — ложь с начала до конца. Физическое влечение второстепенно? Да оно самое главное для того, чтобы мужчина и женщина переносили друг друга, Варгитас.

Может быть, она вновь встречалась с эндокринологом?

— Он звонил мне несколько раз,— сказала тетушка Хулия, разжигая мое нетерпение. Потом, поцеловав меня, рассеяла мои сомнения: — Я сказала, что больше никуда с ним не пойду.

Пребывая на вершине блаженства, я долго повествовал ей про свой рассказ о «летающих» беспризорниках. В рассказе насчитывалось десять страниц, он уже завершен, и я собирался опубликовать его в воскресном приложении к газете «Комерсио» с зашифрованным посвящением: «Женскому полу от Хулио».

(Окончание следует)

Критика

МАЙК ДЭВИДОВ

ФИЛИП РОТ — НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Почти два десятилетия разделяют первый и на данный момент последний роман американского писателя Филипа Рота «Прощай, Колумб» (1959) и «Профессор желания» (1977). В США это были десятилетия все более углублявшегося экономического кризиса и социальных столкновений. Для жизни американского народа они имели особое значение. В бурные шестидесятые годы наша мужественная молодежь если и не штурмовала небеса, то швыряла в пыль у Белого дома награды, полученные из рук генералов, на совести которых не одно лишь Сонгми. Это были годы ожесточенных выступлений обитателей негритянских гетто — выступлений, осветивших ярким светом язвы, разъедающие «богатую Америку». Это были годы, когда лучшие представители нашей молодежи — белые и черные,—наши «голуби» с бесстрашными сердцами храбро сражались с «ястребами» Миссисипи. Это были годы потерь и страданий, отнявшие у нас Мартина Лютера Кинга, Мальколма Икса, президента Джона Кеннеди и его брата сенатора Роберта Кеннеди. Это были годы, когда героическая борьба вьетнамского народа увенчалась в конце концов успехом. Это были годы исторического Совещания на высшем уровне в Москве, объявившего, что в ядерный век мирное сосуществование — единственный путь, по которому следует идти. Это были годы гибели «американской мечты» — годы Уотергейта, разгула наркомании, преступности в городах, порнографии, «сексуальной революции», нравственного разложения.

Какую роль сыграл в эти годы Филип Рот?

Писатель, как никто другой, не может укрыться от постороннего глаза. Он весь на бумаге— и в том, что пишет, и в том, о чем умалчивает. Рот не составляет исключения. За эти без малого двадцать лет он издал десять романов, но дело не в количестве, а в качестве. Не в узком «литературном» смысле, когда писателя оценивают только по его умению обращаться со словом,— в этом смысле Филип Рот заслуживает очень высокой оценки, он поистине мастер слова. Серьезного критического рассмотрения его творчество достойно именно потому, что его считают одним из крупнейших современных американских писателей. Но главное, о чем непременно нужно спросить каждого писателя, в том числе Рота: «Памятуя обо всем, что произошло, что ты создал в эти годы?»

Начнем с его первого романа «Прощай, Колумб», отмеченного литературной премией для дебютантов. Он вышел, когда Роту исполнилось всего 26 лет. Это тонкое, свежее (и до сих пор не утратившее свежести) произведение свидетельствовало о большом таланте проницательного наблюдателя жизни одной достаточно важной части современного американского общества. Естественно, Рот описывал то, что ему было близко и знакомо: свое собственное окружение, жизнь второго поколения иммигрантов — мелких буржуа еврейской национальности, приспосабливающихся к нравам Нового света, где правит бизнес. Свою силу роман в первую очередь черпает из бунта молодого героя Нила Клагмена против обывательского существования. Это настоящий бунт, хотя политически и неосознанный. Нил, впечатлительный юноша, ищущий нравственных мерок, чтобы судить мир, в который он вступает, мучается особой, присущей только юности проблемой: как отличить настоящую любовь от физического влечения? Уютный, самодовольный, обывательский мирок, персонифицированный в образе Бренды Патимкин, привлекательной дочки владельца фирмы по производству раковин для кухонь и ванных комнат, которая находится «в самом сердце негритянских кварталов Ньюарка».

Рот одной фразой дает блистательную

характеристику «сокровища папы Патимкина»: «Каждый кашемировый свитер (был) взят с бою у матери, и ее жизнь, которая, как я не сомневался, сводилась главным образом к приобретению тканей, приятно ласкающих кожу, превращалась в подобие Столетней войны». Жизнь, состоящая из таких «Столетних войн», отталкивает ротовского юного героя. Он содрогается, представив себя в роли совладельца фирмы по производству раковин для кухонь и ванных комнат: «Внезапно мне представилось, как я командую неграми. Да у меня через час развилась бы язва желудка... Мистер Патимкин отвел взгляд от телефона, сплюнул липкую сигару в мою сторону и вновь начал говорить в трубку. Я заметил, что в кабинете только один стул — тот, на котором сидел он сам. В «Раковинах для кухонь» Патимкина люди не сидят, в этой фирме деньги зарабатывают без нежностей, стоя на ногах... Мистер Патимкин поглядел на свою сигару.

— Чтоб заработать, надо работать. Сидя на стуле, далеко не уедешь... Самые большие люди в этой стране работали как проклятые, можешь мне поверить. Даже Рокфеллер».

Преуспевшие в Штатах евреи-иммигранты хвалятся друг перед другом примитивными, пустыми победами. На свадьбе Рона, никчемного сына Патимкина, и не менее никчемной Гарриет (писатель рисует безжалостно и желчно их образы) среди гостей были: «Муж Милли, торговец маслом и яйцами, Гарри Гроссбарт, наживший состояние на сбыте ячменя и кукурузы в дни «сухого закона». Теперь он подвизался в Храме и, встречаясь с Брендой, обязательно хлопал ее пониже спины — своего рода контрабанда спиртного сходившая за родственную привязанность. И еще Марти Кригер, брат миссис Патимкин, Король кошерных сосисок, дюжий толстяк, у которого столько же желудков, сколько подбородков.

...Когда явился фотограф, Марти положил лапищу на пышную грудь своей жены и сказал:

— Ну-ка, ну-ка, чем будет не снимочек!»

Именно это мелкобуржуазное сознание развратило многих земляков Шолома Алейхема, убило в них чувство сострадания, превратило в приверженцев сионизма, с одобрением встретивших жестокую агрессию Израиля против арабских народов. К сожалению, Рот ни в одной из своих книг не дал исчерпывающей критики этого разлагающего мелкобуржуазного влияния. Наоборот, как мы увидим дальше, он сам ему поддался.

Первый роман Рота свидетельствовал о пробуждающемся социальном сознании и чутком восприятии трагического положения нищего, подвергающегося дискриминации черного меньшинства — «новых иммигрантов», которые бежали с расистского Юга в надежде обрести свободу на Севере. В коротком абзаце (в романе всего 136 страниц, но писатель сумел охватить значительный материал) Рот рисует изменения, происходившие тогда в больших городах США. «Патимкинские «Раковины для кухонь и ванных комнат» находились в самом сердце негритянских кварталов Ньюарка. Много лет назад, во времена «великой иммиграции» евреев, уезжавших из царской России и из Восточной Европы в начале века, это были еврейские кварталы, и до сих пор там сохранились рыбные лавчонки, кошерные кулинарии, турецкие бани, которыми пользовались мои деды и бабки в начале века. Даже запахи не исчезли — запахи рыбы, солонины, маринадов, но теперь их заглушал сильный запах машинного масла маленьких механических мастерских, кислый запах пивоварни, запах паленого на кожевенной фабрике. На улицах ты слышишь уже не речь на идиш, а возгласы негритянских мальчишек, воображающих себя Уилли Миме (один из первых негров, принятых в ведущий бейсбольный клуб.— *М. Д.*) и бьющих ручкой от метлы по разорванному резиновому мячику. Эта часть города изменилась: старики вроде моего деда боролись с нищетой и умирали, а их отпрыски, победив нищету, перекочевывали все дальше и дальше на запад к границе Ньюарка, а потом и за нее, вверх по склонам Орейндж-Маунтенс, пока не перевалили через хребет и не начали спускаться с той стороны, вторгаясь в территорию гоев... И вот теперь по стопам евреев идут негры. *Такая же* иммиграция...» (курсив мой.— *М. Д.*)

Положим, не такая же. Черные «иммигранты» прибыли не из чужой страны. Они принадлежат к числу наиболее ранних поселенцев на территории Соединенных Штатов, где их «поселили» более трехсот лет назад белые работорговцы после того, как привезли в преисподней невольничьих кораблей. Не давали им возможности — за редчайшими исключениями — и подниматься по социальной лестнице, что вовсе не возбранялось белым иммигрантам из других стран. Принадлежность к черной расе обрекала их на жизнь у подножья лестницы, где они остаются и по сей день. Еврейские иммигранты, о которых пишет Рот, действительно боролись с нищетой, и потомки большинства из них до сих пор из нее не выбрались. Такова подлинная их история, которую с необычайной силой и трогательностью поведал Майкл Голд в своей бессмертной «Еврейской бедноте». Это история моих родителей, моей семьи. Ну, а кто преуспевает? Представители класса, к которому принадлежат описываемые Ротом люди. Предприниматели типа Патимкина, карабкавшиеся наверх по спинам черных и белых рабочих (среди последних было много евреев и евреек, таких, как моя мать,— она всю жизнь гнула спину в швейной мастерской). Но подавляющее большинство евреев, как и прочих американцев, осталось бедняками.

За последние два десятилетия американский книжный рынок был завален романами, рассказывающими не только об «иммигрантах» Рота, но и об их потомках. Хотя многие из этих произведений написаны с большим мастерством и знанием психоло-

гии, классовый подход в них отсутствует вовсе. К этой крайне важной теме я еще вернусь. А пока я просто хочу указать, что и Рот в этом отношении тоже близорук, хотя и сумел увидеть и показать нарастающее в городах США социальное неблагополучие.

За 20 лет, протекших с тех пор как Рот создал эту картину старых кварталов, Ньюарк, как и большинство крупных американских городов, оказался в тисках глубочайшего кризиса и упадка. Наши города охвачены кризисом! «Новые» черные иммигранты Рота, пришедшие на смену ему, его родителям, его дедам и бабкам, в настоящее время составляют 60% населения Ньюарка. Они живут в обветшалых домах, покинутых теми, кто сумел вскарабкаться вверх по социальной лестнице. Некоторым вроде Рота удалось с тех пор взобраться на самый верх. Другие бежали в пригороды в поисках тихих уголков, где можно укрыться от тлетворной среды, грозящей заразить и их. Многие убеждаются на опыте, что перемена места не дает возможности бежать от ширящегося социального кризиса. Впрочем, подавляющему большинству обитателей бывшего гетто не по карману бежать далеко — они перебрались в другие большие города и обнаружили, что больное общество, от которого они бежали, ждет их и там.

Однако, как бы ни страдало от социальных бед белое население, главными жертвами остаются негры и выходцы из стран Латинской Америки. Ветхие дома, в которых поселились эти новые жильцы, пришли в полное запустение и превратились в кишащие крысами трущобы, однако и за это жилье им приходится платить чуть ли не половину заработка. Обитателей тысяч зданий владельцы — и ротовские Патимкины в том числе — как следует обчистили, а затем, словно жестянки из-под консервов, выбросили на улицу. Такова обстановка в черных и латиноамериканских гетто современной Америки.

Когда Рот писал свой роман, в гетто стремительно накапливался горючий материал для социальных взрывов. В первом из десятилетий, отделяющих «Прощай, Колумб» от «Профессора желания», эти взрывы потрясали США. Во втором — подготавливалась почва для еще более мощных социальных потрясений.

Такова вкратце была социальная обстановка, которую Рот стремился отразить в своем романе, и даже если не понял, то как будто почувствовал, каким будет ее дальнейшее развитие.

Дебют Рота был удачным. Но после удачного начала, когда столько злободневных тем, столько богатейших социальных проблем ждали — нет, умоляли!— чтобы их обработала искусная рука мастера слова, чтобы в них вдохнуло жизнь чуткое сердце художника, чему отдал предпочтение Рот? «Профессор желания» наглядно показывает, насколько далеко отошел Рот от своей юности. В бурных водах современной Америки есть много глубоких социальных течений, но Рот (как, к сожалению, и многие другие наши талантливые писатели) предпочел окунуться в грязь, порожденную «сексуальной революцией». Сама «сексуальная революция», отражение гнилостного процесса, разъедающего всю ткань нашего общества, явилась «Великим Отвлечением»: уничтожая в сочетании с наркотиками миллионы людей, особенно молодежь, ибо это неизбежно влечет за собой разгул порнографии, насилия, физических расправ и извращений, «сексуальная революция» временно отвлекла многих американцев (особенно из среды буржуазной молодежи) от социальной борьбы, подменив ее «бунтом в спальне». «Свободу либидо!» — таков девиз «сексуальной революции». Ясно, что «революция» такого рода правящему классу США ничем не угрожает.

В «Профессоре желания» Рот сосредоточивается на эротической теме. Эта тема давно его привлекала, но в «Профессоре желания» он отдается ей целиком. Роман представляет собой подробнейший и во многом скучнейший анализ либидо, борющегося за свое «освобождение». Аннотация на суперобложке так суммирует содержание романа: «Это история смелого человека, наделенного умом и умением чувствовать, который пытается объединить наслаждение и достоинство *в мире сексуальных возможностей*» (курсив мой.— *М. Д.*). Далее в аннотации указывается, что Рот прослеживает историю сексуального влечения своего героя «с самого раннего возраста». Да, прослеживает, ничего не скажешь! Как с полным правом утверждает аннотация: «Книга исследует мучительную погоню за эротическим счастьем и его утрату». Очень, очень утомительная погоня!

Со столь популярной сейчас «достоверностью» Рот пичкает читателя скабрезными подробностями. Никогда еще за всю историю нашей литературы не было такой одержимости сексом. И не в его нормальной форме — сама идея «нормальности» презрительно отвергается. Чтобы «волновать», он должен принимать самые извращенные формы. Великие исследователи, открывавшие новые материки, далеко уступают в дерзновении нынешним сексуальным «исследователям». Труд, политика, социальная, экономическая, политическая борьба, не говоря уже о классовых конфликтах, либо отодвинуты на самый дальний план, либо словно вовсе не существуют. Даже «политические» романы и пьесы не могут теперь обойтись без обязательных сексуальных сцен. Человеческие отношения практически снижаются («возвышаются», как теперь принято у нас считать) до чисто половых отношений.

Рот повествует об «исследованиях», которые ведут его героя Дэвида Кепиша к «профессорству». Лондонский аспирант-литературовед Кепиш не удовлетворяется

МАЙК ДЭВИДОВ
ФИЛИП РОТ — НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

простой связью и устраивает оргию с двумя студентками. (После этого одна из них покушается на самоубийство.) Будущий профессор желания приходит от всего этого в экстаз. «Все это вдруг привело меня в такое возбуждение... что от внутренней неловкости не осталось и следа: я понял, что могу делать все, что пожелаю, что я хочу и буду поступать так... Кто, кроме безнравственных людей, будет утверждать, что *всякое желание, требующее удовлетворения, должно удовлетворяться немедленно?*» (Курсив мой.— *М. Д.*) Исследователь постигает более «высокие формы» эротизма. «Как ни далеко я зашел с Бригиттой, я знал, что мне будет легко зайти еще гораздо дальше — не раз я вспоминал острое наслаждение, которое испытывал, воображая ее с другими мужчинами, воображая, как она берет деньги, чтобы принести их домой...» Позже Кепиш жалуется своему психиатру, доктору Клингеру:

«Мне следовало бы дойти до конца и стать сутенером Бригитты. Я был бы более счастливым, более здоровым членом общества. А читать лекции о великих шедеврах разочарования и отречения мог бы кто-нибудь другой.

Психиатр отвечает:

— Да? Вы предпочли бы быть сутенером, а не преподавателем?

— Можно сказать и так,—говорит Кепиш и со стоном добавляет: — Прежде чем я хотя бы постиг его... (свое эротическое желание.— *М. Д.*), я задушил его... убил практически за одну ночь».

Да здравствует сексуальное освобождение! Свобода превыше всего, свобода в спальне! С необыкновенной тщательностью Рот прослеживает приливы и отливы эротического чувства своего героя, его удовлетворение и подавление. После приключений с Бригиттой Кепиш шесть лет состоит в браке с Хелен Бэрд, красивой, но истеричной «роковой женщиной», чья трагедия заключается в том, что ей не хватило «смелости» подтолкнуть своего любовника (лет на 20—30 старше ее) убить жену. В результате Кепиш становится импотентом и ищет исцеления у психиатра, что по карману только зажиточным людям. В конце концов он возвращается к спокойным и безопасным, нормальным отношениям с Клэр, учительницей-мещанкой. Клэр символизирует смерть желания.

Однако желание эротической «свободы» продолжает терзать Кепиша. В уютном мещанском доме в пригороде его преследуют воспоминания об извращенных отношениях с Бригиттой. И профессор отгравляется в Прагу — посетить город, где жил Франц Кафка. Прага для ротовского профессора означает только одно: она отвернулась от чешской «весны». И Кепиш видит Прагу воспаленными глазами ее «диссидентов». Один из этих последних, некий профессор Шошка, сообщает ему, что переводит на чешский язык «Моби Дика» Мелвилла (хотя уже существует хороший перевод), чтобы передать его «колоссальную ярость, если только удастся воплотить ее в чешском».

Чешского профессора тянет к Кафке из-за «политического отчаяния», американского профессора — из-за «сексуального отчаяния». «Либо я восстал против моей плоти, либо она восстала против меня — я до сих пор не знаю, как это выразить»,— сообщает он Шошке. И Рот, сексуально толкуя историю, заставляет своего профессора объяснять безнадежность и пессимизм Кафки эротическими причинами: «Я иногда задаюсь вопросом, не связан ли «Замок» с эротическим заблокированием самого Кафки — ведь это книга, в которой ни на одном уровне не достигается кульминации».

Вот так! Все и вся зависит не от классовых отношений и даже не от сложной паутины человеческих отношений вообще, а в конечном счете сводится к формуле: удается или не удается достичь удовлетворяющей сексуальной кульминации. Теперь профессор чувствует, что наконец-то он напал на верный след. Ведя свои «научные» исследования, он навещает проститутку, у которой бывал Кафка,— ей уже за восемьдесят. Эротическая фантазия Рота разыгрывается вовсю! Кепиш спрашивает дряхлую старуху, достигал ли Кафка оргазма и как часто. «В дневниках я не нахожу точного ответа»,— добавляет он. За десять долларов престарелая проститутка объясняет исследователю, с помощью какого извращения она помогла Кафке разрешить его проблему. Свою утомительно-скучную одиссею по морям порнографического эротизма Рот объясняет тем, что «настало время приступить к обнажению необнажаемого — к истории желания профессора... чтобы объяснить мою (Кепиша.— *М. Д.*) эротическую историю».

Кому необходим подобный «отчет»? Он необходим только эгоцентричным, эгоистичным «профессорам желания», чей мир замкнулся в спальне. Трудность заключается в том, как Роту завершить свою экскурсию в эротику. Кепиш, его герой, увяз в тупом мелкобуржуазном мирке пригородов со скучной, практичной Клэр. Туда вторгается «внешний мир» (тот, что за стенами спальни) в образе отца Кепиша, еврея-иммигранта, который, как Патимкин в «Прощай, Колумб», «добился успеха» в Америке. Но в отличие о Патимкина Кепиш-старший, удалившийся от дел владелец отеля, обрисован как добрый, чуткий человек. Он привозит с собой друга-еврея, выжившего в нацистском концлагере. Появление отца и его друга, согласно аннотации на обложке, «усиливает ощущение непрочности всего сущего, грызущее Дэвида». Возможно, так задумал Рот, но, на мой взгляд, это притянуто за уши. Автор получил удобную возможность идеализировать собственного отца, владельца отеля. Мои воспоминания о днях моей молодости, когда я был официантом в курортных отелях вроде того, который позволил папаше Кепишу удалиться на покой, никакой идеализации не поддаются. Возможно, Рот испытывает ностальгию по прошлому, но я и по сей

день с горечью вспоминаю 16—18 часов ежедневного черного, неблагодарного труда и унижений. Именно раннее знакомство с «благожелательными» владельцами курортных отелей внушило мне твердую решимость во что бы то ни стало вырваться «в люди».

Что остается делать бедному профессору? Бригитта все еще черной тенью нависает над его уютным домом. «Профессор желания» жалуется: «Через год моя страсть умрет. Она уже умирает... Я останусь без желания. О, это глупо! Нелепо! Нечестно! Отнять тебя у меня! И жизнь, которую я любил и едва успел узнать! И кто отнял? В конечном счете — я сам». И Кепиш представляет себе, как возвращается к Клингеру, своему психиатру, и восклицает: «Желание, которое вызывала во мне мисс Клэр Овингтон, учительница частной манхэттенской школы... самая добрая, самая любящая и верная душа, таинственным образом исчезло». Так кончается исследование желаний профессора. То исследование, которое Рот в той или иной форме проводит в большинстве своих произведений.

В буржуазном обществе отношения между мужчинами и женщинами издавна рассматривались как «битва полов». С точки зрения сильного пола попытки слабого пола покончить со своим неравным, зависимым положением изображаются как беззастенчивые интриги, злоупотребление доверчивостью простосердечного, куда более «честного» мужчины. К этому сводится суть двух романов Рота, если заглянуть за бесспорно искусную форму,— «Когда она была хорошей» (1966) и «История мужчины» (1974).

Сначала обратимся к «Истории мужчины». Сразу же следует сказать, что любой уважающий себя мужчина постыдился бы рассказать подобную историю. Она пронизана жалостью к себе, и вся она пронизана ядовитой ненавистью к «женщине». Если не касаться бесспорных литературных достоинств книги, то остается предвзятая, полная жалости к себе историйка, какие иногда волей-неволей приходится выслушивать от пьяного собеседника. Рот попросту одержим идеей женского коварства и лживости. И не менее зол на неспособность мужчины вырваться из когтей этого хитрого и цепкого врага. Повествование разворачивается в двух планах: сначала герой рассказывает о своих приключениях как Цукерман — в фантазии, а потом как Тарнополь — в реальности. И вновь Рот прибегает к своему излюбленному приему — беседе с психиатром. Герой растет в типичной мелкобуржуазной семье евреев-иммигрантов. В этом романе Рот идеализирует родителей героя. Отец — воплощение доброты и трудолюбия. Мать вся в заботах о своем бесценном сыночке. Цукерман-Тарнополь — гордость семьи, не по летам развитой мальчуган, который вырастает в «литературного гения». Старший брат обожает гениального братишку, заслоняет его своей широкой спиной от всех опасностей и пытается открыть ему глаза на будничную реальность мира простых смертных.

Гордость семьи попадает во власть злобной и пошлой мещанки с психикой, изуродованной жизнью с первым мужем-садистом. Эта женщина физически непривлекательна, интеллектуально неинтересна и не вызывает симпатии. Тем не менее, как ни тщится наш герой, ему не удается вырваться из ее цепких рук. Она издевается над ним, грозит самоубийством, устраивает ему чудовищные сцены. Он избивает ее, после чего, травмированный психически, носит ее одежду в знак признания ее господства. Он обращается к психиатру, с которым ведет долгий спор. Что же привлекло Цукермана-Тарнополя в этой отвратительной особе? Цукерман-Тарнополь рассказывает психиатру, что она ему попросту неприятна и он с большим трудом заставляет себя вступать с ней в супружеские отношения. Рот приписывает все это безмятежному детству героя, окруженного нежностью и любовью родителей. Привязала его к этой женщине жалость, убежденность, что нельзя отталкивать страдающего человека, а тем более такого тебе близкого, как жена. Мысль о том, что чувство долга, привычное стремление поступать хорошо представляют собой тяжкое бремя, которое необходимо сбросить, чтобы обрести истинное освобождение, повторяется во многих произведениях Рота.

Как бы то ни было, преодолеть эту «слабость» герою удается, только когда его жена погибает в автомобильной катастрофе. Рот остается безжалостным до самого конца. С кем бы он ни сводил счеты в этом романе, делает он это с беспощадной мстительностью. Даже Стриндберг в своей «Пляске смерти», этой «битве полов», заставляет Алису смягчиться, когда ее муж Эдгар умирает. Пожалуй, наиболее сильный момент в пьесе — заключительная реплика Алисы, когда она вспоминает доброго, любящего идеалиста Эдгара, каким он был в юности. Смерть — вселенский уравнитель. В ее грозном присутствии люди инстинктивно тянутся друг к другу хотя бы на несколько минут. Но не таков герой «Истории мужчины». Он ликует, потому что освободился, и радость эту умеряет только страх: вдруг она демон и вновь воскреснет? Такова «История мужчины».

Тема опасности, возникающей из привычной потребности делать «добро», пожалуй, наиболее полно раскрыта в одном из ранних произведений Рота. Она поставлена прямо в заглавии — «Когда она была хорошей». Роман этот вышел в 1966 году, Роту тогда было 32 года. Грозная героиня — вновь женщина, пожирающая мужчин. Собственно говоря, между Люси, беспощадной «мужеедкой» этого романа, и ее аналогом в «Истории мужчины» есть большое сходство. Обе родились и выросли в маленьких городках, обе духовно изуродованы прош-

---

МАЙК ДЭВИДОВ
ФИЛИП РОТ — НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

лыми столкновениями с мужчинами. У Люси — это пьяница-отец. Люси, умирающая в 21 год (возраст отнюдь не зрелой женщины), изображена демонической искательницей совершенства. Она доводит до отчаяния Роя, своего бедного покладистого мужа, требуя, чтобы он приблизился к ее идеалу «доброты». В конце концов от Люси все отворачиваются, кроме деда. Бескомпромиссно добиваясь «совершенства», Люси сходит с ума и, отвергнутая, кончает свою короткую, лихорадочную жизнь, замерзая в гараже. Рот делает ее настолько отвратительной, что читатель нетерпеливо ожидает ее смерти.

Это само по себе составляет одну из слабостей романа. Люси имеет только одно измерение — в ней нет ничего другого. Так Рот рисует многих, если не большинство, своих героинь. И уж во всяком случае тех, кто перечит мужчинам и кто не входит в категорию покорных женщин. По романам Рота нелегко догадаться, что в «свободном предпринимательском обществе» нынешних США подавляющее большинство женщин в экономическом, социальном и политическом отношении занимают неравное с мужчинами, подчиненное положение. В романах Рота в защите нуждается «бедняга» мужчина. Дядя Роя, Джулиан, вынужден самым прямым образом спасать его от сокрушительной Люси, которую приходится буквально вытаскивать из дома Джулиана, где Рой и их запуганный ребенок укрылись от этой дьяволицы.

Таким образом, для мужчин «битва полов» — это борьба за выживание. Создавая образ Люси, Рот словно утверждает, что наиболее смертоносна женщина, ищущая «совершенства». Он словно предупреждает: «Берегитесь тех, кто стремится делать добро!» Наиболее опасна такая женщина в 17 лет! — в этом возрасте Люси знакомится с Роем. До крайности Люси доводят пьянство отца и «слабость» матери. Но Рот вряд ли считает женщину, готовую подчиняться, «слабой». Собственно говоря, за исключением Люси, остальные персонажи обрисованы с симпатией. Конечно, в реальной жизни действительно встречаются изуродованные натуры вроде Люси. Но далеко не все они — женщины. Наоборот, подчиненное положение женщин в буржуазном обществе вынуждает их прибегать ко всевозможным маневрам, и все же они гораздо чаще оказываются побежденными в «битве полов». Причем не только духовно, но и физически, о чем свидетельствуют статистические данные. В Соединенных Штатах повсюду организуются комитеты защиты жертв насилия, в том числе и жен, подвергающихся побоям и издевательствам. Рот словно бы пребывает в блаженном неведении о реальных фактах, он слишком занят сведением личных счетов.

Но несмотря на все слабости романа, Рот в нем хотя бы пытается рассматривать человеческие характеры. Люси — не сексуальная машина. «Сексуальная революция» пока не разразилась и не «освободила» перо Рота. Испытываешь облегчение, читая этого раннего Рота, который еще не сосредоточил всего своего внимания только на одной функции человеческого организма. В отношениях Люси и Роя секс не играет особой роли — в жизни, оказывается, есть и другие проблемы. Конфликт между Люси и Роем вызван различиями в характере и мировоззрении. И если бы Рот не так старательно превращал Люси в ведьму, он мог бы глубже проанализировать эти различия.

Однако в «Жалобах Портного» (1969) влияние «сексуальной революции» и еврейского буржуазного национализма не просто воздействует на Рота — он полностью им подчиняется.

Диалектика такого странного союза нередко приводит к конфликту между этими силами. В частности, эта книга должна опровергнуть миф о беззаветно любящей еврейской матери. Часть самых горьких «жалоб» Портного адресована его матери. Можно согласиться, что в нашем кино и в нашей литературе образ матери (а иногда и отца) идеализирован. Но то, что делает Рот, даже еще отвратительнее.

Он стремится доказать, что именно еврейская мать, преследующая своих детей любовью и заботами, навязывающая им свой строгий этический кодекс, настолько их подавляет, что им остается лишь одно спасение — «сексуальная революция» и «свобода» не останавливаться ни перед какими извращениями. Для Портного пресловутая пропасть между поколениями (которая противопоставляет родителей детям вместо того, чтобы противопоставлять и тех и других загнивающему обществу) с легкой руки Рота превращается в пропасть между старшим и младшим поколениями. Точнее говоря, это кара, которую родители навлекают на своих детей, особенно сыновей. «Нынешние мальчишки и девчонки, у которых еще молоко на губах не обсохло, сосут марихуану, словно леденцы, а я сигарету толком закурить не умею. Вот какой я хороший, мамеле. Не умею курить, почти не пью, не принимаю наркотиков, не могу соврать, не вспотев, точно я экватор пересекаю... Освободите либидо этого еврейского пай-мальчика, будьте так добры».

Национальный характер Соединенных Штатов во многих отношениях еще проходит период становления. Это страна, где одна волна иммиграции сменяла другую. Поэтому вполне естественно, что наша современная литература отводит большое место трудностям адаптации и борьбе «новых» американцев за равноправие с остальными членами единой американской семьи.

«Корни», прогремевший роман Алекса Хейли, несмотря на все свои недостатки, преподал урок по истории черных в США — урок, необходимость которого назрела уже давно. Телевизионную постановку по этому роману смотрело рекордное число зрителей, и это свидетельствует о глубоком интересе к корням нашей страны.

Американские писатели исследовали также тему адаптации и борьбы миллионов иммигрантов-евреев, многие из которых бе-

жали от преследований царского правительства и привезли с собой в Америку революционные традиции того, чем было вскормлено пламя Октября. В конце двадцатых годов и в тридцатые годы под влиянием левых взглядов в изображении тяжелой борьбы за равное место у «семейного стола» подчеркивалась социальная ее сторона с позиций рабочего класса. Ярче всего это было выражено в «Еврейской бедноте» Майкла Голда, классическом произведении, самое название которого (по-английски буквально «Евреи без денег») било по карикатурному изображению еврейского народа, сложившемуся за века антисемитизма. Другие книги тоже в той или иной степени подчеркивают эту борьбу и связывают ее с общей борьбой американского народа — например, «Окорока, брюхо и брылы» Сэмуэла Орница и многие пьесы Клиффорда Одетса. Мои собственные пьесы: «Долгая жизнь» (в ней изображается борьба работниц швейной фабрики за то, чтобы их труд был источником гордости и достоинства), «Голуби с орлиным сердцем» (она посвящена людям, которые воспитывают в себе доброту и силу, и это выводит их на революционный путь) — продолжают эту традицию.

Однако губительное влияние сионизма в последние годы затемнило ее. К сожалению, в последние годы именно реакционная шовинистическая тенденция заслоняет остальное во многих романах на еврейскую тему.

«Жалобы Портного» Рота не являются исключением. Наоборот, этот роман прекрасно иллюстрирует противоречия, создаваемые подобными «исследованиями». По мнению Рота, второе и третье поколения американских евреев, несмотря на их материальные успехи и влияние в кругах интеллигенции, остаются в США чужими. Они чужие в родной стране, потому что их национальная принадлежность отделяет их от всех других, потому что они находятся в конфликте с христианской, особенно с протестантской Америкой.

Эта тема, которую по-разному развивали такие писатели, как Сол Беллоу и Бернард Маламуд, пожалуй, наиболее четко выражена в следующем отрывке, описывающем приезд Портного в Израиль:

«Мой сон начинается, едва я выхожу из самолета. Я в аэропорту, где все люди, которых я вижу: пассажиры, стюардессы, кассиры, носильщики, летчики, шоферы такси,— все евреи. Так ли уж это не похоже на сны, которые рассказывают ваши грезящие пациенты? (Роман построен как признания Портного своему психиатру, доктору Шпильфогелю.— *М. Д.).* Так ли уж это не похоже на то, что человек переживает во сне? Но, проснувшись, кто когда слышал о подобном? Надписи на стенах — сплошь еврейские графитти. Флаг — еврейский. Лица — похожие на те, что видишь на Чэнселор авеню (бывший еврейский квартал в Ньюарке.— *М. Д.*). Лица моих соседей, моих учителей, родителей моих школьных друзей. Лица, похожие на мое лицо. Только движутся они на фоне задника из белой стены, пылающего солнца, жесткой тропической листвы. *Все они (других слов нет) уроженцы этой земли, вернувшиеся на родину. Здесь это все началось.* Просто уезжали на долгие каникулы, только и всего. Э-эй! *Здесь мы все* — белые и протестанты» (господствующая группа в США, курсив мой.— *М. Д.).*

Рот словно бы даже не признает существования в Израиле арабских лиц. А ведь, несомненно, Портной должен был заметить такие лица — хотя бы среди носильщиков. По-видимому, Портной не видел ни азиатских, ни африканских евреев, которые вряд ли похожи на его еврейских друзей. Эти евреи с более темной кожей, с которыми на их «древней родине» обходятся как с гражданами второго сорта, составляют значительную часть населения Израиля.

Портной не может «вернуться на родину», как бы ему этого ни хотелось. Причины этого ему скучно и нравоучительно объясняет амазонка Наоми, которую он пытался соблазнить. Суть этих нравоучений сводится к следующему: евреи, рассеянные по миру, были развращены; они перестали гордиться своим происхождением и черпать в нем силы; оторванные от родины, они были низведены до уровня людей, которые возненавидели самих себя.

Чем же отвечает Портной на этот приговор? В отчаянии и ожесточении он пытается изнасиловать Наоми, чтобы заразить ее венерической болезнью, которую, как ему кажется, он где-то подхватил.

Контраст между внутренним и внешним миром в романах Рота не только резко обнажен, он, кроме того, говорит о многом. Два десятилетия, на протяжении которых он выпустил свои десять романов, были одними из самых бурных за всю историю США. Но, читая Рота, об этом трудно догадаться. Его занимало только узконарциссическое любование и самокопание мелких людишек —профессоров, изучающих свое либидо; портных, поглощенных сексуальным бунтом против своих матерей и хаотическими метаниями в поисках своего прошлого; мужчин. мстительно отбивающихся от хищных женщин.

Что сталось с обещаниями, которые сулил роман «Прощай, Колумб»?

Чем объяснить этот тягостный разрыв между тем, что было обещано, и тем, что осуществилось?

Это сложный вопрос, требующий изучения жизни и деятельности писателя. Такое изучение не входит в намерения автора статьи. Я позволю себе заметить, что ранний успех Рота не пошел ему на пользу. Успех повсюду чреват опасностями для писателей и ставит перед нами серьезные проблемы. В Соединенных Штатах, где власть коррупции вездесуща и хитра, успех может обернуться (и часто оборачивается) катастрофой. Он часто отрывает писателя от источников его силы и вводит в самую больную часть нашего больного общества.

МАЙК ДЭВИДОВ
ФИЛИП РОТ — НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ

Истинное богатство писателя заключено не в его «успехе», а в его материале, в узах, которыми он связан с источником всего великого искусства — с народом. Молодой борющийся Рот был много богаче нынешнего, преуспевшего и материально обеспеченного Рота. Его герой спасся от наследницы «Раковин для кухонь и ванных комнат» Патимкина, но сам автор вступил в мир гораздо более искушенных Патимкинов. Он исследовал их спальни и заимствовал их манеру изливать свои мелкие обывательские души хорошо оплачиваемым психиатрам. Запасы значимого опыта, который придал такую свежесть его первому роману, очевидно, не пополнялись.

Однако существуют другие, более весомые факторы, которые воздействовали не только на Рота, но и на других наших талантливых писателей. Ленин когда-то назвал империализм не только последней стадией капитализма, но и загнивающей стадией. И действительно, определение «загнивающая» точнее всего описывает жизнь во все еще богатой, но быстро идущей на убыль Америке.

Парафразируя известный афоризм философа Джорджа Сантаяны, можно сказать, что «те, кто не борется с разложением, обречены барахтаться в нем».

Как ни жаль, именно это произошло со многими нашими талантливыми писателями.

Порнографические книжонки маскируются мишурой «эротической литературы». Сексуальные извращения приветствуются как «сексуальное освобождение». Но какие ярлыки ни придумывай, нравственное загнивание остается нравственным загниванием.

Джонстаун в Гайяне стал свидетелем американской трагедии, которая потрясла мир. Это была (и есть) трагедия многих американцев, которые хватаются за темные культы в своих слепых, отчаянных поисках «кратчайшего выхода» из нравственной трясины, засасывающей страну. Для миллионов американцев ошеломляющие противоречия их будничной жизни оборачиваются невыносимым кошмаром. Я попытался дать хотя бы некоторое представление об этом путаном мире кошмаров в своем «Письме моим советским друзьям из «свободного мира», которое было опубликовано в десятом номере «Иностранной литературы» за 1975 год.

Перед писателями США стоит труднейшая задача показать в достаточной полноте чрезвычайно сложный и противоречивый мир и — что еще труднее — объяснить его. Я твердо верю, что эта задача еще будет разрешена. Страна Марка Твена, Уолта Уитмена, Теодора Драйзера, Уильяма Дюбуа и Джона Рида еще найдет своего Толстого, Горького, Шолохова. Но только ценой огромных усилий, без которых не удастся постичь реальность последних десятилетий XX века.

Реальность эта в первую очередь — мир развитого социализма, который Советский Союз отразил в своей новой гуманной Конституции, а также быстро растущее содружество социалистических наций. Более шестидесяти лет является реальностью Советский Союз, страна Ленина,— реальностью, которая вдохновила угнетенные народы повсюду в мире на его изменение в буквальном смысле слова. Именно эта реальность кладет начало подлинной истории человечества, пока значительная его часть продолжает жить на доисторической стадии. Для того чтобы писать весомо о времени, в котором мы живем, необходимо глубоко осознать этот решительный поворот в истории.

Трагедия многих талантливых американских писателей, включая Рота, состоит в том, что они живут в острый момент истории, не понимая его. И вместо того чтобы плыть по большим водам стремительного потока, они позволяют, чтобы их засосала смрадная трясина. Они сторонятся гуманного мира и — хуже того — поносят его.

Шоры антисоветизма, которые многие буржуазные писатели упрямо не хотят сбросить, заслоняют от них не только мир социализма. Они прячут и искажают наши собственные великие гуманистические, демократические и пролетарские традиции и, в частности, богатейшее наследие тридцатых годов. В значительной мере это наследие связано с положительным воздействием марксистско-ленинского мировоззрения на нашу творческую интеллигенцию на протяжении этого периода — одного из плодотворнейших за всю историю США. И маккартистская «охота на ведьм» имела целью стереть бесследно эту наиболее значительную эпоху в истории страны. Разумеется, стереть ее невозможно, но, к сожалению, ее удалось похоронить.

Маккартизм отбросил нас на десятилетия назад не только в политике, но и в культуре. И по сей день мы не вполне от него оправились, а мощные силы тем временем пытаются вернуть дни «холодной войны».

Рот достиг зрелости в годы, на интеллектуальную атмосферу которых все еще воздействовало тягостное влияние маккартизма. Кроме того, «освободительные» влияния, вдохновлявшие его перо (и далеко не только его), имели своим источником «сексуальную революцию», неофрейдизм и порядочную толику буржуазного еврейского национализма.

Поражение маккартизма, глубочайшее воздействие грязной войны во Вьетнаме, массовые волнения в черных гетто, индейских поселениях и в тех кварталах, куда загнаны латиноамериканские иммигранты,— все это вместе повлияло на жизнь американского народа и дало новую, свежую почву для культурного возрождения. Но эту почву по-прежнему душат ядовитые сорняки антикоммунизма и антисоветизма, не давая зазеленеть на ней всходам, напоминающим всходы тридцатых годов. Чтобы обрести истинную свободу творчества, наши писатели должны вырвать сорняки и возделать почву под эти всходы. Им необходимо сбросить шоры, бесстрашно и смело поглядеть в лицо Великой Реальности Нашего Времени.

Перевод с английского
И. ГУРОВОЙ

◆

Заметки писателя

В этом номере мы предлагаем читателю две статьи писателей Латинской Америки. Панамский поэт Педро Корреа Васкес молод. Он учится в Литературном институте имени А. М. Горького в Москве. Живущий в изгнании гаитянский поэт Жан Бриер уже убелен сединами. Педро Корреа Васкес пишет о своих сверстниках, самом молодом поколении панамских поэтов; Жан Бриер дает общую картину литературы Гаити за несколько десятилетий нашего века. И хотя авторы ставят перед собой разные задачи, они стремятся показать, что литературы этих стран объединяет стремление обрести свой собственный голос и интонацию, высвободиться от инородных влияний, от духовной экспансии колониализма. Объединяет стремление возродить традиции национального фольклора, используя эстетические достижения XX века, придать литературе универсальное звучание.

ЖАН БРИЕР

«ЕСЛИ КРИК РАНИТ ПТИЦУ...»

Панорама гаитянской литературы

Еще не так давно находились некоторые реакционные французские критики, которые на вопрос «Существует ли гаитянская литература?» отвечали: «Нет!» Как будто есть хоть один народ, хоть одна изолированная на каком-нибудь острове или живущая на самом краю света людская община, которая является настолько бедной духовно, что у нее не найдется собственных, присущих ей одной средств для того, чтобы рассказать о своей жизни, выразить свои радости и страдания.

Наш фольклор неисчерпаемо богат. Наряду с горькими речитативами, оплакивающими судьбу оторванного от родины и униженного человека, призывами к богам, жалобами солнцу — «Солнце, где ты? Я нездешний. Солнце, где ты?..» — мы находим в нем любовную лирику, песни, полные гнева, пронизанные бунтарскими мотивами. Вот боевой куплет, который распевал восставший народ во время борьбы за освобождение в конце XVIII — начале XIX века:

Гренадеры, вперед!
Мать с победою ждет,
Гренадеры, вперед!
Пуля нас не берет,
Вперед![1]

Открытый в 1492 году Христофором Колумбом остров Гаити (по-индейски — лесистая горная местность) был населен племенем индейцев-араваков. Обращенные в рабство, они быстро вымирали из-за изнурительного труда на золотых рудниках. Испанский священник Бартоломе де Лас Касас, получивший прозвище «индейского апостола», посоветовал завезти на остров невольников из Африки, которые, по его мнению, были более приспособлены для того, чтобы переносить столь бесчеловечное обращение. Это было в начале XVI века.

Западная часть острова (теперешнее Гаити) потом перешла к французам и стала именоваться Сан-Доминго. Рабство существовало у нас вплоть до Великой французской революции. Немало бунтов было потоплено в крови. В 1793 году черные повстанцы поклялись сжечь все плантации, на которых они гнули спину. А в 1804-м наконец была провозглашена независимость Гаити. Декларация независимости — первое произведение гаитянской литературы — пронизана пафосом французской революции. И нет ничего удивительного в том, что вся наша литература, родившаяся в атмосфере борьбы, идейных споров, воспитана на патриотизме и свободолюбии.

После завоевания независимости потомки тех, кому посчастливилось не знать цепей рабства — они получили образование или во Франции, или на Гаити, но на французский манер,— стали внедрять в стране культуру, чуждую сынам Африки и гаитянской действительности вообще. Элитарная система образования — виновница мно-

[1] Здесь и далее, кроме оговоренных случаев, переводы стихов Александра Карлова.

гих наших бед: потери народом собственного лица, презрения ко всему, что могло напомнить о нашем происхождении, расовых предрассудков. Страна была разделена — с одной стороны, горстка людей, воспитанных на французской культуре, с другой — девяносто пять процентов населения, замкнутого в деревнях, как индейцы США в резервациях.

Литераторы этой эпохи, как и эпох последующих, оставались далеки от реальной жизни. Выросшие — пусть не по собственной воле — на почве чужеродной культуры, они были всего лишь эпигонами. Даже бытовала шутка: «Когда во Франции насморк, на Гаити начинают сморкаться». Гористый облик острова, нежный силуэт черной женщины возникли в литературе только с приходом Освальда Дюрана (1840—1906), первого нашего крупного национального поэта. Что касается пьес Массийона Кауку и драматургов его круга, они занимают особое место в литературной истории Гаити. Хотя их и отличала патриотическая направленность, но написаны они в духе французского классицизма. Истинно гаитянской наша литература становится в начале XX века с появлением романов Фредерика Марселена, Жюстена Лериссона и Фернана Ибера, в которых с удивительной выразительностью запечатлены народные нравы.

В то самое время, когда писатели сбрасывали иностранные наряды, пригодные только для карнавала, впервые обращались к подлинной жизни народа, учились смотреть на мир собственными глазами, в издававшемся Фредериком Марселеном журнале «Аити литтерер э сосиаль» можно было прочесть строки, рассказывавшие о тяжких духовных муках, которые испытывали по-европейски одетые люди среди крестьян в домотканых рубахах: «Язык у нас французский, нравы, обычаи, мысли французские и, угодно нам это или нет, душа тоже французская. Даже креольский язык, на котором говорит простой народ,— не что иное, как месиво из почтительно оберегаемых старинных французских слов, исковерканных ради удобства наших ленивых губ и вялых ушей... Порт-о-Пренс, столица республики, центр нашей литературы, в интеллектуальном и социальном планах ближе к Парижу, чем какой-нибудь городок в Бретани...»

В 1928 году Жаку Румену был двадцать один год, а мне девятнадцать. Я говорю о нас двоих, прежде чем начать рассказ о социальном и политическом климате, в котором зародились основные течения гаитянской литературы, только потому, что хочу подчеркнуть: наша дружба пустила навечно свои корни отнюдь не в атмосфере литературных споров, а в грозовом климате открытых политических битв против американской оккупации, закамуфлированной правительством Луи Борно, которое американцы поставили у власти, чтобы придать видимость законности грабежу страны и попранию элементарных человеческих прав. Гаити жило в страхе и оцепенении.

Однако то обстоятельство, что колонизаторы в равной степени и совершенно откровенно презирали местных жителей, независимо от цвета их кожи, в конечном счете оказалось благом для нашего народа — в сельских школах ввели преподавание на креольском языке. Этот простой язык, на котором говорил народ, начал постепенно завоевывать театр, входить в политическую и другие сферы общественной деятельности, словом, стал играть все большую роль в освобождении гаитянской нации. Заболелая профранцузская элита почувствовала опасность для своего иллюзорного превосходства. Но пока она размахивала шпагами в защиту «своей» французской культуры и возмущалась проникновением в систему образования креольского языка, едкие перья патриотов, то и дело нарушая, несмотря на угрозу репрессий, реакционный закон о печати, питали соками правды национальное сознание. В этот тревожный момент на Гаити вышла книга социолога и историка, доктора Жана Прайс-Марса «Так говорил дядюшка», которая произвела эффект разорвавшейся бомбы и оказала серьезное влияние на умы. Жислен Гуреж, автор изданной в 1960 году «Истории гаитянской литературы», писал об этой книге:

«Америка наводняла мир аэропланами, нравоучениями, туристами и начинала осознавать свою силу и авторитет. Средний американец путешествовал не для того, чтобы удивляться, а для того, чтобы сравнивать. Ему хотелось, чтобы Америка была всюду, чтобы, куда бы он ни попал, он обнаружил бы свою яичницу с беконом и негра, которого мог бы презирать.

Разумеется, такая самоуверенность не могла нравиться. Особенно гаитянам. Находясь и без того в тяжком положении колонизованной нации, мы ожесточались еще больше... Мы понимали: наступил момент, чтобы действовать. Но как могли протестовать безоружные гаитяне? Наше молчание по поводу собственного прошлого, презрение к своему происхождению — разве не было все это свидетельством переполнявшего нас стыда?

И тут появилась книга Жана Прайс-Марса «Так говорил дядюшка». Гневный тон ее автора объясняется накаленной атмосферой на Гаити. Ему казалось нелепым, что «гаитянские негры одеваются в западные лохмотья». Если бы еще это имело смысл если бы это могло способствовать их духовному росту! Отнюдь нет! Рабское подражание, отмечал доктор Прайс-Марс, в котором погрязло наше общество, совершенно бесплодно.

Что может означать, спрашивает автор, это упрямое презрение гаитян к черному цвету кожи? Сколько таких, кто мечтает отыскать в мерзком колониальном прошлом доказательства того, что в их жилах течет белая кровь! Сколько таких, кто предпочтет, чтобы в нем обнаружили родство с эскимосами, самоедами, тунгусами —

с кем угодно, лишь бы не напоминали о его гвинейском или суданском происхождении.

Все это, безусловно, было следствием невежества гаитян, ненавидевших ту Африку, которую создало их воображение, разгоряченное досадой на свою горькую судьбу. И доктор Прайс-Марс ставит перед собой задачу растолковать людям, что они заблуждаются, восстановить справедливость. Три главы его книги посвящены изучению Африки в философском, географическом, этническом, историческом и других аспектах. Вывод напрашивается сам собой — гаитянам нечего краснеть за свое происхождение».

Признаюсь, я прочел эту книгу лишь много лет спустя. Но именно она — единственный документ, который может объяснить всеобщее пробуждение национального самосознания в эпоху американской колонизации. Прогрессивные идеи того времени были впервые сформулированы на страницах книги Жана Прайс-Марса — духовного наставника своего поколения, который с энергией патриота-ученого обозначил искривленные, линии духовного горизонта Гаити до 1928 года. Этой своей работой, как и последующими, которые были посвящены народным верованиям и долгу образованной элиты перед страной, он хотел перекинуть мостик между двумя антагонистическими общинами — мулатами и неграми, объединить их на основе единого национального самосознания и в конечном итоге поднять на борьбу с оккупантами. И его могучие идеи, по словам Жислена Гурежа, не остались узниками научных обществ и кружков интеллектуалов. Они стали отправной точкой новой литературы, открыли в ней ту струю, которая, как шахтер в недра, проникла в глубины гаитянской души,— струю поэзии и мечты, которая вскоре даст столько шедевров реалистического искусства.

Для нас новые веяния означали познание самих себя, своих собственных, неизвестных до сих пор возможностей, дремлющей духовной энергии, освобождение от чуждого влияния навязанной нам культуры, обрекавшей нас на подражание. Нечего плакать чужими слезами. Нечего напяливать на себя траурные одежды из «Ночей» Мюссе и чувствовать себя незваным гостем на поминках «Пеликана» или «Смерти волка»[1]. У нас польются собственные слезы, когда мы вскроем нарыв наших давних болей, а холщовая рубаха скорее, чем парадный камзол, подчеркнет наше достоинство. Чехов говорил, что он всю жизнь выдавливал по каплям из себя раба. В каждом из нас поднимался человек — на ощупь, будто в тумане, отыскивал он точку опоры. Надо было вырастить этого человека свободным, помочь ему выкорчевать из себя то, что было заимствовано у другого народа, что искажало наши лица гримасой, исторгало из груди крик протеста, надо было помочь заново обрести национальное самосознание, сотканное из наших страданий и наших надежд, напоенное творческим духом народа, подобно тому как величественная крона сырного дерева напоена могучими соками родной земли.

Широко распространено мнение, будто мы проповедовали возвращение в Африку. Отнюдь нет, Африка была для нас terra incognita, словом из лексикона начальной школы, которое мы просто произносили на уроках географии, перечисляя континенты. Мы стремились найти свое место в истории, сбросить жабо и маски пышного маскарада чужой культуры. Лишь много позже, добровольными эмигрантами или вынужденными изгнанниками, мы поплывем словно паломники с родного уже нам Гаити к невыразимо трагической скале острова Горэ [1].

Муки моего поколения выразил в страстном стихотворении «Предательство» старейшина живущих поэтов Гаити Леон Лало (род. в 1892 г.):

Где мне найти на сердце управу?
Чужды ему мой язык, мой наряд,
Далекой Европы чувства и нравы
Занозами горькими в сердце сидят.
Вы этой муки не испытали,
Тяжесть гнетущую в черной ночи —
Сердце, рожденное в Сенегале,
Словами французскими как приручить?

Творческая судьба Леона Лало уникальна. Он, с царственной легкостью владевший формой французского классического стиха, внезапно порывает с ним и вводит верлибр в гаитянскую литературу. Именно в таком качестве его можно рассматривать как предтечу новых поколений поэтов, творчество которых, в свою очередь, обогатило его: он отбросил штампы, изощренные образы, перестал писать стихи, «танцующие менуэт», и его сердце свободно забилось в ритме негритянского барабана.

В 1927—1928 годах Жак Румен, Эмиль Румер, Филипп Тоби-Марселен, Карл Бруар, Антонио Вьё и несколько других талантливых литераторов объединились вокруг журнала «Ревю эндижен». Хотя журнал и выступал в защиту национальной, подлинно гаитянской литературы, реально его влияние начало сказываться лишь позднее, когда он перестал выходить. Читатели не могли тогда еще предположить, что авторы этого журнала станут вскоре знаменитыми писателями.

Эмиль Румер (род. в 1903 г.), освоивший французское классическое стихосложение, от которого в его стихах на креольском

[1] «Ночи», «Пеликан» — стихотворения А. де Мюссе, «Смерть волка» — стихотворение А. де Виньи. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[1] Остров на Атлантическом побережье Африки, в нескольких километрах от Дакара, на котором в прошлом был крупнейший перевалочный пункт работорговли.

языке сохранится приверженность к регулярному размеру, еще в 1925 году выпустил в Париже сборник «Стихи о Гаити и Франции». Лучше этого он уже никогда ничего не создаст. Стихи написаны во Франции, но они дышат тропиками. Эмиль Румер ломает александрийский стих и, как словесный фокусник, наполняет свою поэзию неистовством тамтамов, толпами рабов, идущих на штурм Бастилий. Его стихи словно напоены брызжущим соком манго, насыщены ароматом рома: «Тело твое словно ворсистая кожица манго в полуденный зной...»

Из всех наших поэтов, пожалуй, именно Эмиль Румер выразил «гаитянскую душу» с наибольшей глубиной и неподражаемой образностью.

Карл Бруар (1902—1978) считается основоположником направления, близкого к народной поэзии. В его стихах — безыскусность, отсутствие всякой риторики.

В Круа де Мартир[1]
дни не слышат
боя часов,
текут мирно, покойно,
словно ручей.
Маленькая молчаливая церковь
все там же,
и яркая зелень
плотным ковром,
и красные цветы головами качают лениво.
Время на этой картинке жизни
движется неторопливо.

Поэзия **Филиппа Тоби-Марселена** (1904—1972) отличается тонкостью и изяществом: «Веселое ожерелье белых зубов твоего «спасибо». Он близок французским поэтам Валери Ларбо и Поль-Жану Туле. А отточенной форме своих лаконичных стихов он учился у Леона Лало. Одного удара сердца, одной капли крови ему достаточно, чтобы набросать пейзаж:

Луна в окно заплыла,
Тихо дубами качая.
Серебряными лучами
Дума струится светла.

Не оставляя поэзии, Филипп Тоби-Марселен в сотрудничестве с братом Пьером Марселеном обращается к прозе. Их роман «Зеленое канапе» (1944) получил премию как лучший латиноамериканский роман. Сопутствовал успех и другим их романам: «Скотина Мюссо» и «Карандаш божий». Описания крестьянской жизни в них волнуют подлинностью, говорят об острой наблюдательности, которая была присуща, вероятно, лишь Жаку Румену и Жан-Батисту Синеасу. Но, конечно, в нашей памяти Филипп Тоби-Марселен останется прежде всего благодаря простым и мелодичным ритмам его поэтического сборника «Диалог с уснувшей женщиной» (1941).

Антонио Вьё (1904—1962), один из самых одаренных поэтов этой плеяды, так и не оправдал возлагавшихся на него надежд. Помимо нескольких критических этюдов о литераторах предыдущего поколения он оставил после себя лишь поэму «Море», грозные волны которой поражают неистовым ритмом:

...могучим явилось ты мне, вздыбленным, злобным.
Узнал я тебя. Этот гул,
голос твоей преисподней,
кружева твоей пены
и соль, исхлеставшую кровь мне.

Жак Румен (1907—1944) ничего примечательного в «Ревю эндижэн» не опубликовал. Только в 1930—1931 годах, когда появились небольшой сборник его новелл «Добыча и тень», повести «Марионетки» и «Заколдованная гора», стало ясно, что это самый значительный писатель своего поколения. За резкое перо, сражавшееся сразу на двух фронтах — политическом и литературном, он не однажды расплачивался тюремным заключением. Антонио Вьё, написавший предисловие к книге «Добыча и тень», очень точно обнаружил в сборнике «духовную нищету нашего общества и нас самих». Буржуазные нравы того времени едко описываются в «Марионетках». Персонажи повести — снобы, неудачники с иностранными дипломами, не знающие, чем заняться, и называющие тоской то, что на самом деле всего-навсего есть праздная скука. Стиль автора, поначалу веселый, приобретает сатирические краски. В чернилах появляется щелочь, перо превращается в скальпель. Кое-кто, узнав себя в этих говорящих портретах, обиделся на Жака Румена.

«Заколдованная гора» — повесть о страданиях гаитянского крестьянства. Страданиях физических в прямом смысле слова — ибо крестьяне разорены засухой и постыдной эксплуатацией чиновников, которые отбирают у них все, вплоть до самой земли. Страданиях духовных — ибо неграмотные крестьяне, не имеющие ни школ, ни врачей, становятся жертвой суеверий. В их полном страхов мирке властвуют колдуны. Соперничество, ссоры между соседями, родовая вражда, кровная месть превращаются в самую настоящую «тихую» гражданскую войну. Героиня этой трагедии Пласинетта умирает в мучениях. Вина ее перед людьми заключалась только в том, что она хотела всех примирить.

Стиль «Заколдованной горы» отличается поразительной простотой и ясностью. Перо писателя — как граверная игла Домье. Такое впечатление, будто автор не анализирует жизнь крестьян, а раскрывает перед нами их душу.

Гибель Пласинетты предвосхищает трагическую судьбу Мануэля, героя романа «Хозяева росы»[1]. Мне довелось видеть, как Жак Румен мелким, тонким почерком, словно вырезая буквы на камне, писал этот шедевр. К сожалению, эта самая сильная его книга вышла посмертно.

Мануэль, работавший на рубке сахарного тростника на Кубе, возвращается в родные места, которые опустошает эрозия, раздирают распри между семейными кланами. Много повидавший, знающий, что такое за-

[1] Народный квартал в Порт-о-Пренсе.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 1, 1956.

бастовка, он сравнивает свои невзгоды с невзгодами кубинцев того времени и уроженцев других островов Карибского моря, где царит та же нищета. Мануэль понимает: чтобы покончить с нищетой, нужно оросить землю. А для этого нужно объединить всех. Но вечером, во время свидания с невестой около наконец найденного ими источника, Мануэля убивают.

«Хозяева росы» — глубоко самобытное произведение. Автор, искусно переплетая французский язык с креольским, воссоздает подлинно крестьянскую, наивно грубоватую, сочную речь.

Жак Румен был не только романистом, но и крупным поэтом. Его сборник стихов «Черное дерево» и поэма «Мадрид» — значительны ничуть не в меньшей степени, чем его проза:

Нет, не ждет тебя пышный прием
В черной стране черных людей.
. . . . . .
В мирной деревне там ожидает тебя
Хижина предков твоих и жесткий камень
надгробный,
Чтоб, наконец,
Голову приклонить[1].

(Перевод Е. Гальпериной)

Общественные взгляды Жака Румена не были замкнуты в узких рамках гаитянского национализма. С болью пишет поэт о массовом вывозе африканцев с родной земли:

Если остров словно тростину
дикие крылья тянут в пучину
если взмах прощальный платка
исхлестанный ветром
в сумерках тонет
и если крик ранит птицу
тогда ты покинешь свою отчизну

Постепенно голос его крепнет, грусть переходит в гнев:

Тишина тишина
раздирает словно самум из дротиков
ревет словно циклон диких зверей
рычит
дыбится
зовет
отмщенье
и кару
несутся волны гноя и лавы
на вероломство мира
бьет в барабанные перепонки неба
кулак справедливости.

Социалистические идеи привели Жака Румена к революционной борьбе. Он создал в подполье коммунистическую партию, он мечтал объединить рабочих, высоко поднять над землей грозный «кулак справедливости»:

...как гармонию лиц
создают контрасты
так мы возвещаем единство страданий
и бунта
всех народов
на всей земле
мы в прахе идолов месим
братства бетон

Антони Леспес (род. в 1907 г.) в сборнике «Ключи лучезарного света» (1955) не проявил в полной мере своего поэтического дарования. Для его поэзии характерны символика, наслаивающиеся друг на друга образы, поливалентность стиха. Роман Леспеса «Семена гнева» (1949) представляет собой галерею интересных картин из сельской жизни. Наполовину креольский, наполовину французский язык этого произведения не столь свеж и естествен, как у героев Жака Румена, однако и в нем, как звезды в ночи, разбросаны неожиданные находки.

Петион Савен (род. в 1906 г.) опубликовал свой единственный роман «Хижина Дамбаллы» в 1939 году. Он пишет о нищете крестьян, но смотрит на жизнь не их глазами, а сквозь призму своих чувств. Правда, когда крестьяне говорят о божествах, о страхе перед ними и их тирании, о медленной смерти, надвигающейся на деревню, писатель отходит в сторону, и тогда язык его героев, ставших жертвой засухи, делается действительно народным. И все же, несмотря на замечательный дар наблюдателя, Петион Савен, анализируя внутренний мир своих героев, иногда очень далек от понимания крестьянской психологии.

Энтони Фелпс (род. в 1928 г.) тоже интересный романист. На его творчество повлияла жизнь вдали от родины. Персонажей романа «Минус бесконечность»[1], описываемых с трогательной нежностью, он наделяет своими переживаниями. Он не позволяет себе их приукрашивать, потому что хочет видеть в них людей естественных, без всяких масок.

Жан-Батист Синеас (род. в 1895 г.) — автор четырех больших романов: «Драма земли» (1933), «Мщение земли» (1940), «Священное наследие» (1945), «Ответное потрясение» (1948). Произведения этого писателя, жившего в деревне и занимавшегося адвокатской практикой, никак не назовешь надуманными. Он рассказывает только о том, что видел, слышал, переживал. Но Синеас скорее документалист, нежели романист. Он не столь искусно завязывает интригу, не раскрывает психологические мотивы того или иного поступка.

Правда, проблематика его романов, защита писателем живых традиций патриархального деревенского общества и поныне актуальны.

Морис Кассеюс (род. в 1909 г.) написал свой единственный роман «Старина» пером поэта. Роман выиграл бы, если бы автору удавалось иногда укрощать свою лирическую натуру — вместо диалогов читатель этого произведения видит порой малопонятные восклицания. Прайс-Марс был прав, назвав «Старину» длинной, волнующей поэмой, в которой как в зеркале отразилась жизнь парий, копошащихся в трущобах Порт-о-Пренса.

[1] Опубликовано в «ИЛ» № 1, 1960.

[1] Опубликован в «ИЛ» № 7, 8, 1975.

ЖАН БРИЕР
«ЕСЛИ КРИК РАНИТ ПТИЦУ...»

Феликс Мориссо-Леруа (род. в 1912 г.), поэт, романист, драматург, превосходно владеет всеми тремя жанрами, что бывает нечасто. Редкой силы стихи составили его сборник «Изобилие». Поэту чужда патетика, назидательность. Вроде бы он ни к кому конкретно не обращается, простые, написанные разговорным языком стихи адресованы одновременно и каждому, и всем:

Я видел мужчин, детей и женщин,
у которых нет ничего из того, чем этот мир переполнен.
Я не прошу, чтобы вы принесли им хлеба иль света.

Великое небо давит на них, но
скоро оно лопнет — недолго осталось.
Вы приходите к ним с пустыми руками, только
жалкие медяки для бедных и
нежность для сирот.

Это слишком мало, слишком скудно.
Слишком мало, чтобы утолить тот голод, которым
заполнена жизнь, утолить мою жажду правды.

Взывая к социальной справедливости, чуждый евангельской кротости Мориссо-Леруа идет на улицу, навстречу бушующему народу. Он дает волю своему голосу, переливающемуся сочными красками креольского языка.

Поэт находит в нем мягкие и ударные ноты, восклицания, обращения к языческим божествам. Он стоит твердо на своей земле, и кровь его питают ее живительные соки. Свободный стих плещется, как голый ребенок под дождем. Высекает свет, как искры из кремня. Мориссо-Леруа переиначивает Евангелие и историю. Забитый крестьянин, униженный раб тешет у него распятие на колья, разоружает центурионов, превращает кропило в революционный факел. В 1951 году вышла его новая книга стихов «Диакут». Поэт не потерял пыла, дара образной речи, но чувствуется, что он отходит от своих истоков — уже более пятнадцати лет Феликс Мориссо-Леруа живет в изгнании.

Сначала в Порт-о-Пренсе, а затем в Париже в 1953 году была поставлена пьеса Мориссо-Леруа «Антигона по-креольски». Софокловский шедевр перенесен в красочный мир культурных традиций Гаити. Антигона Мориссо-Леруа — не копия греческой, но трагическое творение гаитянского духа. В пьесе «Рара» — так называется карнавал Святой пятницы на Гаити—Мориссо-Леруа обращается к страданиям Христа. Но они так поразительно реалистичны, что воспринимаются уже не как «страсти господни», а как рассказ о многовековом мученике — гаитянине.

Романисты, предшественники Мориссо-Леруа, черпали вдохновение в сельском мире. Его «Жатва» — это эпопея о «пахарях моря», о жизни опасной, грозящей кораблекрушениями, но прекрасной восходами солнца, солеными брызгами, ветрами, возвещающими о начале шторма, прекрасной своей картой неба, по которой можно догадаться, какой будет ночь, и звезды в ней — ее единственный компас.

Вершина лирики Мориссо-Леруа — «Родные места», поэма-сказка, посвященная гаитянской земле. Строки ее свежи, как морской ветер, они хлещут, как волны, неистовствуют, как буря:

Я сказал: «Снесите заборы —
поля наши слишком малы»;
я сказал: «Урожай мы снимем,
и хватит его на всех...»

(Перевод М. Кудинова)

Роже Дорсенвиль (род. в 1911 г.) стал известен в 1946 году, когда появилась его пьеса «Барьеры» — обвинительный акт против предрассудков, поражающих гангреной гаитянское общество. Уже некоторые места этой пьесы предвосхищали мастера романа. За «Барьерами» последовала книга стихов «Чтобы прославить землю». Здесь Дорсенвиль свободно переходит от языка неторопливой, величественной оды к разговорной речи. Образы его необычны, стиль же прост, как в народных сказках. В 1963 году писатель обратился к прошлому Гаити и создал историческую хронику о Туссене Лувертюре [1].

После «Кимби», этнографическо-социологического этюда, который, однако, написан в форме романа, Роже Дорсенвиль выпускает один за другим два романа: «Африка королей» и «Человек, разрубленный на три части».

Первый показывает заносчивых, спесивых правителей, обреченных на прозябание в своих дряхлых мечтах, в собственном мирке плохо усвоенной культуры, плохо заученных слов. В этой «Африке королей» черный человек обречен на вечные страдания: он противостоит угнетающим его монстрам, ему непосильна лежащая на нем ответственность, в бегстве он ищет спасения от своей тоски. И драме этой нет конца...

В «Человеке, разрубленном на три части» рассказана история юноши, попавшего в современное суетное общество с его мошенничеством, иерархией, ложью. Он пытается приспособиться, продвигается по социальной лестнице, но в конце концов терпит поражение. Лживый мир словно разрубает его на части.

Жак-Стефен Алексис (1922—1961, погиб в застенках Дювалье). Его писательская манера — это синтез творческих почерков Жака Румена, Петиона Савена, Жана-Батиста Синеаса. Роман «Добрый генерал Солнце» начинается в духе камерных рассказов Толстого, а затем приобретает размах эпопей в стиле Мальро. Публикацию «Деревьев-музыкантов»[2] можно считать рождением пролетарского романа Гаити. Я не случайно употребил слово «пролетарский», а не «народный» или «крестьянский». Один этот эпитет вводит в литературу динамику классовой борьбы, марксизм. Персонажи Алексиса, дополняющие образ Мануэля из

[1] Руководитель освободительной борьбы гаитянского народа на рубеже XVIII—XIX вв.

[2] Опубликован в «ИЛ» № 1—3, 1962.

романа Жака Румена,— крестьяне, которые обратили марксистскую теорию на службу народному делу. Они все погибли с оружием в руках, как сам автор, отдавший жизнь в революционной борьбе.

«В мгновенье ока» — первый роман из серии, прерванной гибелью Жака-Стефена Алексиса. Писателя упрекают за резкие эпитеты, за неровный стиль, но, несмотря на все это, он оправдал надежды, которые возлагал на него Жак Румен: широта дыхания, бьющее через край воображение, иногда жестокая, но всегда правдивая образность дают основание считать Алексиса самым крупным гаитянским романистом. А «Романсеро при свете звезд», цикл легенд, рассказанных «старым ветром Караибом», где нанизываются друг на друга светящиеся колечки сказочного реализма, открывает нам Жака-Стефена Алексиса как автора национального романсеро.

Маглуар Сент-Од (род. в 1912 г.) после появления в 1941 году сборника «Диалоги моих ламп» считается первым гаитянским сюрреалистом — «Мученики будущих столетий или друзья пустынь, постаревшие на пороге миров». Поэт испытал определенное влияние Рембо, Лотреамона и Бретона. Его ритмика строится на витиеватых периодах. В стихах Маглуара Сент-Ода встречаются намеренные неясности. Поиски поэта, не всегда доступные читателю, могут быть оправданы лишь в том случае, если их поймут последующие поколения. Маглуар Сент-Од создал поэтическую школу, но лично я предпочитаю ему его учеников — Рене Беланса и Гамильтона Гарута, которые сумели заселить сумерки своей поэзии яркими светилами.

Реньор Бернар (род. в 1915 г.) лепит стихи из морской зыби и базальтовых криков — по образу и подобию южного берега Гаити, где море то яростно-бурное, то безмятежно-ласковое.

Обрушатся скалы,
Когда запою свою державную песнь,
А палец мой солнце проткнет.

Рене Депестр (род. в 1926 г.). Вышедший в 1945 году юношеский сборник его стихов привлекает свежестью. Авторитет зрелого мастера принесла поэту книга «Черная руда». Марксист, как и Жак Румен, Рене Депестр унаследовал от него горячее дыхание, гнев, корни которого уходят в нежность и человечность, беспредельную щедрость души. Уже более двадцати лет поэт живет в изгнании на Кубе, испытывая некоторое влияние Николаса Гильена. В звуках его поэтического тамтама, как и раньше, слышится мелодия «Интернационала».

Ты, до нитки ограбленный, голый народ,
развороченный,
как земля после пахоты,
ты, народ перемолотый,
чтоб насытились самые мощные
мельницы мира,
берешь свой металл в самых тайных
глубинах ночей!
Никто не осмелится пушки направить
и золото сыпать
на расплавленный паводок черного
гнева![1]

(Перевод П. Антокольского)

Давертиж (его настоящее имя — Вилар Дени), **Жан-Ришар Лафоре, Жак Шарлье** продолжают сюрреалистическую школу Маглуара Сент-Ода, но они добились большего, нежели их учитель. Их находки, даже если они и не всегда оправданны, все же приятны на слух.

Автор этой статьи, старейшина гаитянских писателей, живущих в изгнании, сам говорить о себе не будет Скажет только, что на закате жизни он продолжает ощущать, как его по-прежнему твердое перо водит рука Жака Румена.

[1] «ИЛ» №12, 1958.

Перевод с французского
АЛЕКСАНДРА КАРЛОВА

Несколько слов об авторе этой статьи

Этот краткий обзор гаитянской литературы написан выдающимся ее представителем, одним из тех, чей талант много лет является гордостью этой литературы, ее совестью и надеждой.

Он вышел из-под пера прежде всего поэта, темпераментного, пылкого — и пристрастного. Это — яркая картина живого литературного процесса, с его противоречиями, спорами, схватками, борьбой, она написана убежденно, с великолепным знанием дела, с пониманием исторических перспектив. Главный упор в ней сделан на литераторов старших поколений; но рядом с сильным освещением, которое автор бросает на близкие ему фигуры, ряд книг и писателей остается словно бы в тени. Хотелось бы больше узнать о том, чем живет и дышит гаитянская литература наших дней как на самом Гаити, так и в эмиграции. За последние годы советский читатель имел возможность познакомиться с творчеством многих современных поэтов Гаити, вышедших в русском переводе в сборниках и журнальных публикациях; это, скажем, Франк Фуше (род. в 1915 г.), Карлос Сен-Луи (род. в 1923 г.), Рене Филоктет (род. в 1932 г.), Ролан Мориссо (род. в 1933 г.) и другие; хотелось бы услышать о них. Пожалуй, более подробного разговора заслуживает творчество таких крупных и известных в нашей стране поэтов, как Рене Депестр и Энтони Фелпс, как Давертиж и Жан-Ришар Лафоре, не говоря уже о творчестве самого автора этой статьи.

И поскольку Жан Бриер «сам говорить о себе не будет», скажу о нём несколько слов.

Жан Франсуа Бриер больше полутора десятилетий живет в изгнании, вдали от многострадальной родины, от прекрасного острова, превращенного в мрачный застенок; ему удалось вырваться из лап фашистских палачей, хозяйничающих на Гаити, и новую родину обрел он в Сенегале; но он — гаитянский поэт, и каждая строчка его стихов окрашена щемящей тоской по Гаити, нежной любовью к Гаити, неизбывной ненавистью к тем, кто тиранит Гаити.

О чем бы он ни писал — а пишет он много, и не только о своей родине, а о людях, городах, лесах и морях самых разных краев нашей планеты,— о чем бы ни писал Жан Бриер, о чем бы ни думал, ни говорил, все видит он на фоне гаитянского неба, в лучах гаитянского солнца. Он поразительный однолюб. И, наверно, поэтому он так безоглядно и щедро отдает свое сердце дружбе, так жадно вглядывается в другие пейзажи и души, вслушивается в другие песни. Увиденные зорким и добрым взглядом друга, написанные самобытной кистью большого мастера, картины Москвы и Ленинграда, Балтики и Кавказа, Средней Азии и Сибири, возникающие в его стихах, помогают поэту в горькой разлуке с его Гаити, с его Порт-о-Пренсом.

Больше полувека работает Жан Бриер в литературе. На его писательском счету множество книг — стихи, драмы, драматические поэмы, романы, публицистика. Его путь озарен высокой дружбой с Жаком Руменом, писателем и революционером, основателем Коммунистической партии Гаити. Жан Бриер — крупный общественный деятель, его первые шаги в литературе были и первыми шагами в политике, в борьбе за свободу и суверенитет страны, за демократизацию ее культуры. Много лет отдал он дипломатической работе на благо своей страны, много лет и сил — делу просвещения и культурного строительства в Сенегале; около двух десятилетий активно участвует он в движении сторонников мира, солидарности народов стран Азии и Африки, в афро-азиатском писательском движении. Тюремные камеры на родине, долгие годы изгнания, утрата друзей и близких — многое испытал на своем веку этот по-юношески стройный, красивый и добрый человек, которому в сентябре этого года исполнилось семьдесят лет.

Драматург, романист, эссеист, критик... И прежде всего — поэт. Не потому только, что стихи занимают в его творчестве главное место, но еще и потому, что жизнь видит и слышит он как поэт, потому, что все происходящее в мире воспринимается и выражается им как поэтом.

Помню, в сентябрьский день 1973 года, во время международной встречи поэтов в Ереване, он заплакал, услышав по радио весть о фашистском перевороте в Чили, заплакал, не стыдясь своих слез. Ночью в гостиничном номере он написал стихи о Неруде, о Чили, и утром читал их с трибуны симпозиума, и когда читал, тоже плакал. Но его трагические стихи — стихи мужественные и волевые, как мужественна и исполнена воли к борьбе вся жизнь этого человека, все его творчество.

Поэзия Жана Бриера гражданственна и лирична. Эти два качества слиты здесь полностью. Таков темперамент поэта. Дела и заботы людей ощущаются им как его личные дела и заботы, сопрягаются в его сердце и памяти с собственной болью, со страданиями и борьбой его родного острова. Все большое, масштабное, главное, чем живет планета, проходит через его сердце, все лирическое, интимное, нежное включено для него в напряженное магнитное поле исторических судеб людей.

Особенно ясно видишь это, когда читаешь его стихи, обращенные к Ленину. В спокойных, раздумчивых интонациях этих стихов, в мягкой музыке ритмов возникает образ — автобиографический и собирательный образ человека, который сложными и трудными дорогами, через толщу мрака и лет, через «заборы запретов, тотемов, табу» неуклонно идет к свету ленинской правды. Бриеровская Лениниана — это интимнейшая человеческая исповедь, выраженная целомудренно и душевно.

Жан Бриер пишет по-французски. Он виртуозно владеет всеми богатствами французского стиха. Народные гаитянские корни, отголоски напевов и ритмов, африканского буйства красок и звуков сплетены у него с прозрачностью классической французской метрики, с прихотливой ассоциативностью современного французского свободного стиха. Все это дает удивительно чистый сплав.

Свежестью юности веет от лирических стихотворений Жана Бриера, собранных в одной из последних его поэтических книг — в сборнике «Картинки из глины и золота», увидевшем свет в 1977 году. Признанный мастер верлибра, казалось наиболее естественно и полно выражавшего в едва уловимых, прихотливых и гибких, но непреклонных ритмах биение мысли и чувства поэта, Жан Бриер обратился здесь к традиционному, «регулярному» французскому стиху, оперенному звучной рифмой:

Буруны пенные и брызги серебра
Ложатся на берег накидкой снежно-белой.
Извечна легких волн певучая игра,

Извечен их напев — с ним перед
каравеллой
Они бежали вдаль, лаская слух рабов
Несмелой жалобой из глубины веков[1].

В этих отточенных миниатюрах — тот же голос Бриера, та же нераздельная слитность гражданственного и личного, та же боль по Гаити.

[1] Перевод Мориса Ваксмахера *(прим. ред.)*.

МОРИС ВАКСМАХЕР

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС

ДОМ, С КОТОРОГО ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ

Заметки о молодой панамской поэзии

Панамская поэзия на протяжении столетий (с XV по XIX век, точнее, по 1821 год — год победы национально-освободительного движения) существовала лишь в рамках чуждого ей языка, чуждой культуры. И тем не менее сумела сохранить своеобразные, неповторимые черты национального фольклора.

Поиски первых наших самобытных поэтов — Томаса Мартина Феуйльета (1832—1862), Амелии Денис де Икасы (1836—1911), Дарио Эрреры (1870—1914), Рикардо Миро (1883—1940) и других — нашли свое воплощение не в том лишь, что под влиянием латиноамериканской действительности трансформировался сам испанский язык, но и в новом содержании их произведений. И все же, если говорить обобщенно, истинную самобытность в нашу поэзию внесло творчество Деметрио Корси (1899—1957).

Кубинский поэт и критик Роберто Фернандес Ретамар напоминал о том, что поэзия Кубы долгое время была своего рода слепком созданного в другом месте. «Первоначально, — писал он, — этим другим местом, естественно, была Испания, затем Франция и, наконец, Соединенные Штаты... Впрочем, подобное явление характерно не только для Кубы: оно свойственно всем колонизованным странам» [1]. Слова Фернандеса Ретамара убеждают нас в том, что и современная поэзия Панамы возникла в результате длительного и сложного процесса «очищения» от инородных влияний.

Да, именно так. Возникает вопрос: на чем зиждется современная панамская поэзия и самобытна ли она по форме и по содержанию? И далее — какую логическую систему можно было бы предложить, если говорить о поэтической «планетной системе», у которой все же есть свой, собственный центр, расположенный у нас, а не в другом месте? Но прежде всего необходимо определить характер творчества некоторых авторов, составляющих как бы хребет нашей современной поэзии. Это могло бы стать точкой отсчета и при оценке произведений самых молодых лириков.

Пять имен для нашего исследования о молодой панамской лирике представляют живой интерес — Сесар Йонг Нуньес, Берталисия Перальта, Бенхамин Рамон, Димас Лидио Питти и Агустин дель Росарио. Именно они привлекают сегодня внимание у себя на родине и все чаще публикуются за рубежом [2]. Эту группу поэтов, более или менее монолитную, мы условно и сравниваем с «планетной

[1] Rev. «Santiago» № 9, 1972, p. 8.

[2] В молодую поэзию мы включаем тех, кто родился между 1934 и 1945 годами и чьи произведения выходят в свет с 1962 года (когда Берталисия Перальта издала свою «Песнь дочерней надежды»).

системой», для которой Деметрио Корси несомненно является своего рода центром, осью.

Но если уж говорить о некоей «системе» с единым центром, наш долг упомянуть еще о двух поэтах, получивших известность позже Корси, но оказавших большое влияние на становление новейшей лирики,— это Хосе де Хесус Мартинес (род. в 1929 г.) и Хосе Гильермо Рос Санет (род. в 1930 г.). Разумеется, у нас нет желания ограничиться лишь перечнем имен, попытаемся найти в них общее, то, что их объединяет.

ДЕМЕТРИО КОРСИ: ЦЕНТР, ОСЬ

В чем своеобразие творчества Корси? И почему мы ставим его в центр развития нашей поэзии? Разве нет поэтов равного ему таланта и значения? Содержание творчества Деметрио Корси — вот что оправдывает наш выбор. Прежде всего потому, что национальным темам он пытался придать универсальное измерение.

На своем творческом пути Корси отдал дань трем направлениям: романтизму, латиноамериканскому модернизму, главой которого был Рубен Дарио, и поэзии авангардистской. Но это был не просто переход от одного течения к другому, а решительный шаг к созданию поэзии, отражающей подлинную нашу действительность.

Не следует забывать, что в контексте Латинской Америки и модернизм, и литература авангарда приобретали сугубо свой смысл, свое значение, отличные от европейских. В произведениях его представителей преобладали национально-освободительные идеи, а в области поэтической формы обозначились поиски новой лексики, новых образных средств выражения, своего собственного голоса.

Вместе с тем характерное для латиноамериканской литературы того времени стремление идти в ногу с «поэтическим марафоном» Европы далеко не всегда оборачивалось удачами, поэтому создавались свои школы и течения, в чем-то излишне изощренные, в значительной мере гибридные.

Многие из выступавших до Корси лирических поэтов основное внимание сосредоточивали на форме, поскольку, казалось им, все истинно н а ш е не достигало уровня высокой поэзии. Недооценивая выдвигаемые жизнью темы (или запутавшись в иностранных влияниях), они трактовали их иной раз весьма поверхностно. Впервые именно Корси берется за нелегкую задачу — поиски черт, определяющих панамский национальный характер, поиски пути, на котором за повседневностью проявляется то самое истинное и вечное, что и характеризует подлинную поэзию. Благодаря этому он сумел подняться до уровня своей эпохи и уловить ее требования, влиться в русло поэзии, использующей свежие мелодии и свежие краски.

Уже в его раннем сборнике «Девственные земли» (1923) нашла отражение латиноамериканская действительность: поэт всматривается в родные земли, у которых своя память, свой характер.

Особенно самобытной делает поэзию Корси то, что, обращаясь к темам, волнующим панамский народ, и воспроизводя местные условия жизни, он прибегает к фольклору. Слово «народ» звучит здесь, пожалуй, по-особому — ведь панамцы отличаются от населения других стран нашего континента. Строительство соединяющего два океана канала сначала французами, потом североамериканцами привело к тому, что бесчисленное множество иностранцев обрели в Панаме не только вожделенный перевалочный пункт, но и как бы землю обетованную. Сегодняшняя Панама —это и смешение рас, и скрещение самых различных культур. Поэтому так трудно создать подлинно национальную поэзию; ведь прежде всего приходится ответить на вопрос, что же такое истинно панамское? Корси, однако, сумел в этом смешении языков, обычаев, традиций обозначить то, в чем выражается самая суть страны.

Описывая, например, предместья, мир ночных баров, расположенных на границе между собственно Панамой и зоной Панамского канала, где главным образом и сталкиваются четыре основные этнические группы населения — североамериканцы, негры, метисы и индейцы,— Корси сумел найти ключ к этому материалу, прежде считавшемуся «низким», «недостойным» литературы, и справедливо стал считаться поэтом, пожалуй более других понявшим всю сложность окружающей общественной жизни. Тема Панамского канала, конечно, уже и раньше встречалась в произведениях наших поэтов, но лишь в поэзии Корси ее развитие достигает непревзойденной до тех пор силы. Он не просто разоблачает социальную несправедливость — он анализирует, иронизирует, высмеивает, ищет и находит новые поэтические средства. В 1936 году в сборнике «Кумбиа» [1] он писал,

[1] Негритянский танец, популярный в Панаме.

не без иронии подмечая реалии североамериканской культуры, привнесенные в жизнь современной Панамы:

Покончила с собой хохочущая молодежь
при помощи рома национального
производства,
. . . . . .
Я тоже в ответе за этот вечер
(а, впрочем, не 30-го ли февраля это
было?).
О девушки, танцующие в кабаре румбу
сегодняшней ночью веселья и
беспутства![1]

(«Глосса»)

В более поздних стихах Корси в значительной степени следует требованиям традиционной поэзии. И это знаменательно. Он понимает: чтобы создать истинно панамскую поэзию, необходимо изобразить самые условия жизни, где смешались разнородные культуры и языки.

В сущности, если попытаться определить подлинное значение поэзии Корси, надо помнить, что именно он сумел в кажущемся хаосе и дисгармонии нашей жизни увидеть в ней наиболее значительное, то, что для нее характерно. Используя негритянские ритмы, обращаясь к преданиям индейцев, он соединяет в горниле своего творчества фольклор с важными, животрепещущими темами, историю и современность.

Разговорность и разящая ирония, умение одушевлять вещи, способность иной раз смеяться и над самим собой — простым смертным с массой его недостатков — введение неологизмов, осмеивающих увлечение всем иностранным, и т. д.— все это больше чем просто стилистические средства:

Временем года ошиблось лето,
нянчат его захламленные пустыри...
Зачем же оркестр сворачивает шею танго?
Медленно ходит солнце вокруг казино
с девочками, что сами шили свои бальные
платья.
Здесь, что почем, знает каждый,
даже одетое в купальник море и то сдают
напрокат.

(«Провинция»)

Всем своим творчеством Корси как бы говорит молодым поэтам: путь долог, а мы стоим лишь у его начала.

ХОСЕ ДЕ ХЕСУС МАРТИНЕС: ОТ ИМЕНИ ВСЕХ

Поэт, философ, математик, драматург, авиатор и ныне военный, Хосе де Хесус Мартинес упорно ищет себя. В одном из своих сонетов он утверждает: «И ненавидя душу мою, к ней взывает тело мое».

В приведенной строке скрыт, видимо, некий парадокс, но подобные парадоксы и являются движущей силой его поэзии.

Словно неутомимый алхимик, Мартинес всегда в поисках своего философского камня, в стремлении очистить, отфильтровать поэтический материал, чтобы стал он кристально-чистым источником, который только и может утолить жажду читателя. Правда, не все его произведения равноценны, но следует все же признать, что нашим молодым поэтам есть чему у него поучиться.

Особенно заботит поэта внутренний мир человека, полный неведомых тайников и лабиринтов,— тот мир, в котором, по его мнению, и находится философский камень. Это, однако, ни в коей мере не свидетельствует о каких-либо попытках отстраниться от внешнего мира. Напротив, Мартинес знает, что обязательно придет к нему через любовь, вечную для него истину, которую в большинстве своих первых книг он стремится открыть читателю. Он обращается к повседневной жизни, и результат этих наблюдений — книга «Одностороннее движение» (1967), в которой поэт поднимает голос против насилия над жизнью, против автоматизма — этого уродливого детища той цивилизации и того прогресса, какие не всегда несут человеку благо. Он уже прямо говорит о проникновении инородных элементов западной культуры в его страну:

Движение по одной стороне. Стоп.
Зеленый свет, продолжай,
сверни направо. Или убирайся к черту.
. . . . . .
Рабства не хочу я, мне не нужно ваших
реклам и знаков.
Не хочу я уезжать, здесь я живу, я из
этой страны.

(«Мое место на земле»)

[1] Здесь и далее перевод стихов Н. Булгаковой.

Наступает час познания окружающего мира. Сначала — наблюдение. Затем, и это главное,— сама поэзия. Люди узнают о ней из небольшого цикла стихов, вышедшего в 1972 году под названием «От имени всех». В нем ярко выразилась оригинальность стиля автора. У Мартинеса же, как и у Корси, разговорная манера. Однако присущая Корси ирония приобретает у Мартинеса иной оттенок: он словно смеется над самим собой, но это смех с известной долей уважения к самому себе, задумчивая, хотя по сути трагическая улыбка.

Лишь потому, что видишь ты меня сейчас робким и чуть-чуть глупым,
ты забываешь, что именно я, лично я, открыл первую теорему в мире,
впрочем, и последнюю тоже.

(«Интродукция»)

Мартинес — мастер на первый взгляд спокойной поэтической речи. Слово его не претендует на то, чтобы потрясти читателя,— и все же потрясает. В нем неразрывно слились боль и исцеление от боли, буря и штиль.

Значение его творчества для самых молодых наших поэтов — в умении выразить мир через свое «я», приблизить, казалось бы, глубоко отвлеченные проблемы к конкретным делам.

Для Мартинеса, пока существует поэзия, одиночества не будет, ибо не среди лабораторных стен, а находясь рядом с людьми, которые, так же как и он, живут и страдают, обретает поэт столь тщетно с древних времен искомую правду: все мы братья, а сам он — пророк, провидец, оракул, возвещающий истину, что откроет путь, ведущий от ненависти к братству и единению.

Это именно я прикатил эти камни,
напрягая все силы, притащил их сюда издалека.

. . . . . .

И с тех пор — благодаря нашим общим усилиям —
вещи в мире находят значение, проступают знаки новых примет,
мир полон смысла!

(«Карнак, памятники палеолита»)

Корси учит искать поэтический материал в мире городских низов, в жилищах бедняков, кажущихся отвратительными глазам аристократа, то есть идет от внешнего к внутреннему. В поэзии Мартинеса происходит обратный процесс. Широко образованный поэт, считает он, обязан собрать все средства, имеющиеся в его распоряжении (они и составляют его индивидуальный мир), с тем чтобы всех — и от имени всех — одарить этим огромным культурным багажом.

ХОСЕ ГИЛЬЕРМО РОС САНЕТ: БЕЗ НЕБЕСНОГО ЦВЕТА

Начиная с Корси, панамская поэзия идет к простоте. И на этом пути, отвергая украшательство, перегруженность образами и метафорами, столь свойственными искусству латиноамериканского барокко — трансформированного на нашем континенте наследия Испании,— она нашла присущие ей самобытные формы и образы.

Поэзия и Корси, и Мартинеса вела к прозрачности, которая стала характерной чертой нашей новой поэзии, а стремление к ней — принципом работы молодых поэтов. Простота и искренность отличают творчество Хосе Гильермо Рос Санета. Врач по образованию, Рос Санет в своих трех книгах — «Основные стихи» (1951), «Церемониал памяти» (1956) и «Без небесного цвета» (1961) — являет нам удивительную поэтическую зрелость. Написал он немного, но его поэзия, затрагивающая глубинные, философские проблемы жизни, во многом обогащает читателя. Верность своим постоянным темам присуща Рос Санету — одному из самых цельных панамских поэтов.

Порою он крайне обнаженно описывает чувство страха перед ужасом небытия, но между координатами «жизнь — смерть», «начало — конец» определяющее место отводит творчеству. Более того, вера в человека, в жизнь и любовь — неиссякаемый источник жизни — вот в чем находит он спасение от готового поглотить его пессимизма:

В плоть и кровь мою ты вошел, дом,
пусть дождь или будничный быт — я справлюсь со всем.

Пусть живет в тебе одна смерть, их со мною две,
твоя и моя —
дом, с которого начинаются
и земля, и мой род, и воля.

Смерть да не тронет тебя, господа я прошу!
В слове моем, в имени
дом навечно рядом со мной.

И я достигну конца вместе с тобой,
добророжденный,
озаренный и светлый дом. Я видел его!

Доброе пламя поддерживает тебя;
лишь охваченный им, я останусь с тобой.

(«Дом, с которого все начинается»)

И этот «дом», обретающий, несомненно, символический смысл, будет существовать вечно, никогда не превратится в развалины, ибо в нем живет сила борьбы противоположных начал, благодаря которой на грани разрушения возгорается пламя, а в нем — жизнь и спасение.

По мысли поэта, одиночество гибельно, взаимная выручка — вот что важно!

Жизнь — это просто
ежедневно жить в гуще жизни.

(«Взаимно»)

Что же это за «дом» Рос Санета? Тут нельзя не прибегнуть к обобщениям. На чашу весов ложится сама страна, находящаяся под постоянной угрозой экспансии чужеродной культуры. Однако в дилемме «жизнь—смерть» есть и третье решение — сопротивление: жизнь дана нам не зря, она обязывает поднять копья и броситься в бой. И сам поэт — быть может, порой подсознательно утверждая, что нельзя покорно ждать гибели,— возжигает пламя героизма.

ДИМАС ЛИДИО ПИТТИ: В КРАЮ БЕЗМОЛВИЯ

Подборка из десяти стихотворений Димаса Лидио Питти (род. в 1940 г.) — еще один образец искреннего и интимного тона, избранного сегодня панамской поэзией,—озаглавлена «Мемуары молчания» (1971). Питти принадлежит к характерным представителям нашей современной поэзии.

Питти пишет также и прозу. В современной панамской литературе он один из тех, чей голос обращен непосредственно к людям.

Нежный и простой язык его поэзии создает впечатление, что мы не будем лишь читать стихи, но сами они—словно в волшебной сказке — возьмут нас за руку и поведут в особый мир, и именно разговорный их тон убеждает в подлинности этого мира. Тут Питти ближе к Корси, чем к Мартинесу и Санету, хотя его поэзия как бы дополняет Санета.

«Жизнь слишком просторна для меня одного»,— пишет он в стихотворении «Жду здесь». Но если для Санета главное — дилемма «жизнь — смерть», для Питти важнее осознание того, что он окружен близкими людьми, чья жизнь неотъемлема от его существования. Мартинес обращается к далеким временам («Карнак»), Рос Санет сплетает в единый узел вероятное с невероятным. В творчество же Питти более органично входит окружающий мир. Поэт остается на земле и именно на земле старается обратить жизнь в поэзию:

Для тебя
свет,
мерцающие светила,
цветы —
все, что принадлежит и жизни, и надежде.

(«Для нее»)

Особенно показательна последняя строка. И жизнь, и надежда доступны людям, они существуют в мире. Именно с этой точки зрения Питти и обращается к национальным темам. Именно поэтому так глубоко нас затрагивают, например, его стихотворения, разоблачающие проникновение североамериканского империализма на панамскую территорию:

Ты,
мое второе «я»,
перепрыгни эту ограду, беги,
за колючей проволокой — смерть,
возьми же ее за глотку, сломай ей хребет.

(«В зоне Панамского канала»)

С одной стороны, здесь можно ощутить влияние Корси, с другой — Рос Санета, того Санета, что умел торжествовать над смертью. Нарочито прозаический склад стиха, емкость слова помогают Питти развивать разговорный тон в лирике. А если из его поэтического мира выделить темы, наиболее ему свойственные, на передний план выступают невозможность находиться в одиночестве и страшная искалеченность души, порожденная жизнью в эмиграции. Поэтому, создавая свои мемуары «в стране безмолвия», он подводит нас, настаивая на необходимости единения, еще к одной постоянной теме своего творчества — судьбе родины, которая, несмотря на сравнительно небольшую географическую протяженность, делает все возможное, чтобы освободиться от любого вида колониализма.

Сегодня, когда империализм старается тем или иным способом, активно осуществляя свою духовную экспансию, подрубить сами корни нашей национальной культуры, молодая панамская лирика поднимает свой голос в ее защиту. И не случайно ныне не только в Панаме, но и во всех латиноамериканских странах существует поэзия, которую мы называем политической и которую можно было бы прежде всего определить как поэзию чести и сопротивления.

БЕНХАМИН РАМОН: О ГОРОДЕ-УБИЙЦЕ ПОВЕДАЙ

Уже первая небольшая книжка стихов Бенхамина Рамона (род. в 1939 г.)— сборник «Грузовик», вышедший в 1972 году,— говорит о том, что он смело владеет поэтической техникой, ему свойственны лаконизм стиха, убежденность интонации. Он не пытается создавать вымышленные, иносказательные миры, которые уводили бы от повседневности. В маленьком сборнике «Только море» (написанном в 1968-м и опубликованном четыре года спустя) он продолжает мотивы поэзии Рос Санета:

Не было тебя, а я открыл это море,
летя в вышине
к нашему дому — обители ливней.

(«Море»)

Сборник «Грузовик»— самое серьезное из всего опубликованного поэтом до сих пор. Чтобы поведать людям о сокровенных своих думах, он прибегает к многочисленным аналогиям, параллелям, метафорам — в отличие от Питти, который говорит откровеннее, прямее. Если этот последний предлагает «сломать хребет» колонизаторам, то у Рамона действует город Панама — сознательный убийца: «О городе-убийце поведай...» Читателю предлагается домыслить, что же еще скрывается за написанной строфой.

Автор не подсказывает и выводов, а внезапная смена ритма и неожиданный поворот темы придают стихотворению (оно не имеет названия) новый оттенок:

Пробежали
вооруженные зубы
и глаза,
говорят, сам страх на замок запер отели.

В подобной неожиданной персонификации явлений заметно влияние Корси: вооружены глаза и зубы; не человек, преисполненный страха, запирает отели, сам страх делает это. В стихах Рамона присутствует на первый взгляд спокойная и мягкая, а на самом деле разящая ирония. Так, в стихотворении «Мерзость»:

В конце концов
и некая госпожа Некто и я,
мы оба сидим
во чреве кита.

Очевидно, это четверостишие намекает на судьбу страны, которая, равно как и поэт, ее сын, замкнута во чреве морского млекопитающего, символизирующего колониализм.

Чтобы создавать поэзию, пусть раненую, но не сломленную,— ту поэзию, которая подняла знамя национальной самобытности, демонстрируя существование панамской культуры, не поддающейся никакой ассимиляции, Бенхамин Рамон часто использует эпизоды из родной истории. Он неустанно твердит, что мы не имеем права ни о чем забывать:

О городе-убийце поведай,
скажи,
что истинная Панама — это та,
которая защищается;
Панама гор,
старинной площади,
она мудра, ей знакомо все, даже улыбка,
этой жестокой Панаме Педрариаса[1].

Можно сказать, что и Питти, и Рамон идут своими, но параллельными путями. И если даже они и пользуются схожими приемами, то никогда не повторяют один другого. Правда, Бенхамин Рамон дальше отступает от традиционных форм, стараясь (не всегда успешно) поразить читателя чем-то непривычным, неожиданным. Оба стремятся острее отточить свой поэтический язык. Этих двух авторов мы можем назвать поэтами конкретной реальности.

БЕРТАЛИСИЯ ПЕРАЛЬТА: ГИМН РАДОСТИ

Два из многочисленных сборников Берталисии Перальты (род. в 1939 г.) заслуживают пристального внимания. Первый — «Гимн радости» (1973) — вновь

[1] Педрариас Давила — испанский конкистадор, основатель города Панамы в 1519 г.

заставляет вспомнить о традиционном мотиве, столь характерном и для Рос Санета: любовь — это жизнь. В отличие от поэтов прошлых поколений молодые видят в жизни неиссякаемый источник радости, которую и воспевают в своих гимнах. Но общую спокойную тональность сборника питает не только индивидуальный мир поэтессы.

Из поэзии Перальты совершенно исчезло метафизическое начало, свойственное и Рос Санету, и Мартинесу. В ней, как и в творчестве других поэтов — ее современников, превалируют две темы: любовь во всех ее проявлениях и беспокойная, трагическая судьба страны.

Обнажая слово, доводя его до той черты, когда оно приобретает свой первозданный смысл, Перальта отдает себе отчет в том, что поэтическое ее слово призвано помочь читателю найти свое место в современном мире.

Вся ее поэзия последних лет проникнута духом протеста, стремлением защитить ту Панаму, что со времен Республики, с 1903 года, борется за полную свою независимость.

Тема любви проходит и через другую книгу Берталисии Перальты — «Книгу басен» (1976), где сухим, порой граничащим с прозой языком она в полный голос возвещает:

Я пишу стихи
и все остальное,
потому что не знаю
иного способа умирать.

(«О моем деле»)

Известная рассудочность, как один из основных элементов в ее творчестве, характерна и для лирики поэтессы. Именно рационализм, проскальзывающий в каждом стихе, придает поэзии Перальты глубокую оригинальность.

Есть черты, сближающие Берталисию Перальту в какой-то степени с Питти и Рамоном. Ее творческий почерк близок и другому нашему поэту, Агустину дель Росарио, хотя тематика их произведений различна.

Но главное — этот женский голос нашей поэзии в полную силу утверждает, что будущее страны — общее наше дело. Неоднократно заявляет она, что настал час пробуждения, что погруженным в спячку народам свобода может явиться лишь во сне, а значит, они останутся в вечном рабстве. И говорит она об этом резко и прямо, подчас даже грубо, не случайно прибегая к вульгаризмам. Ее стихотворение «Женщина» — хвалебная песнь, но и призыв к тем, кого несправедливо и постоянно считали слабыми и хрупкими созданиями:

Ты мудрее времени самого,
с честью ты выиграла больше боев,
чем развязали все остальные,
ты мягче росы,
легче ветра тело твое,
а все задаешься вопросом: «Что делать?»

Это еще одно направление нашей поэзии, открывшее для себя новые, вселяющие надежду пути, составляет то, что можно было бы определить как рационалистическую лирику.

АГУСТИН ДЕЛЬ РОСАРИО: ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА

Именно в этом виде поэзии Агустин дель Росарио (род. в 1945 г.) ищет и находит собственные мотивы. Сухой язык своей поэзии, словно сформировавшийся под влиянием холодных ветров, он пропускает через некий увлажняющий фильтр, чтобы освежить и омолодить его. Невольно подражая древнему философу Зенону, он осмеливается отрицать движение: «Все застыло в покое...»

Но это лишь после того, как ему довелось на собственном опыте познать мир, полный бурь и беспокойства: статика необходима для того, чтобы спокойно поведать о том, что же такое ярость шторма. В сборнике «Заинтересованная сторона» (1972) он с первой строки раскрывает свой творческий настрой: приведенной выше цитатой начинается книга. Но остается нечто, происшедшее давно, и это нечто еще необходимо переосмыслить.

Раз сто, не менее, воспоминание и сама память,
отраженные семью оконных стекол,
любовно
безмолвно
со мною говорили.

(«Признаки здоровья»)

Даже касаясь национальных проблем страны, дель Росарио не стремится вызвать тревогу, а, кажется, просто говорит: «Послушай, все это идет не так, как должно; пора открыть глаза». В стихотворении «Панама» он повествует о североамериканских колонизаторах, и мы снова слышим, будто кто-то близкий

рассказывает, как бесчинствовали «зонийцы», обитатели зоны Панамского канала.

Настойчивая память поэта — и это очень важно — несет уже известное, изначально знакомое, «родственное». Автор использует длинную строку, тон его сдержанно эпичен в описании героизма народа той страны, что называется Панама. С другой стороны, в нем мы встречаем мастера, крайне озабоченного шлифовкой слова. Он представитель той поэтической тенденции, в которой главное — обнаженная, до предела очищенная поэтическая речь. Это, быть может, объясняет и то, что дель Росарио до сих пор издал всего одну книгу (не считая, разумеется, публикаций в газетах и журналах).

Главное, что объединяет Перальту и дель Росарио,— это то, что поэзия возникает у них лишь вслед за тем, как усвоен жизненный материал. Более того, если и в творчестве Перальты (в большей мере), и в творчестве дель Росарио (в меньшей) прослеживаются влияния Корси, Санета и Мартинеса, то со временем они становятся все менее заметными. Современная поэзия в своих неустанных поисках продолжает находить новые художественные средства.

СЕСАР ЙОНГ НУНЬЕС: ЕЩЕ ОДНА ТЕНДЕНЦИЯ

Сесару Йонгу Нуньесу (род. в 1934 г.) должно быть отведено свое особое место в нашей поэзии. Объясняется это характерной для его творчества иронической струей, которая столь часто обогащала поэзию Корси, но почти исчезла в последующие годы. Во всяком случае, если ирония иногда и встречается, например в произведениях Рамона или Перальты, она отнюдь не принадлежит к излюбленным приемам какого-либо поэта. Только Йонг Нуньес своим сборником «Рутинные стихи» показывает нам, что ирония органически вошла в его творческий метод.

Об ироническом, как и сатирическом жанре в поэзии говорят немало. Но одно дело, когда смеется сам поэт, а другое, когда — читатель. Поэзия Нуньеса ни у кого не вызывает смеха, ибо она вскрывает самые глубинные пласты жизни. Читателю же предлагается распознать, каковы они, ибо автор затрагивает бесконечное множество тем, которые из-за необычности его поэтического языка кажутся как бы заново открытыми. Необходимо отметить стремление поэта к тому, чтобы все сказанное им в его стихах воспринималось с полной серьезностью. В последнем стихотворении «Рутинных стихов» он подчеркивает:

Утверждаю,
эти стихи
выросли в благородной колыбели.

А его вторая книга («Письмо Белоснежке», 1976), полностью продолжающая линию первой, изобилует краткими сентенциями, которые он, словно эстафету, передает читателю:

Бог — да, незначительный он поэт.

(«Письмо Висенте Уидобро»)

Дядюшка Сэм — новорожденным
латиноамериканцам:
ЮПИ! ЮПИ! ЮПИ! ЮПИ! ЮПИ!

(«Пейзаж с отцом»)

Зорок иронический взгляд Нуньеса. Именно ироническим ключом он пользуется, чтобы проникнуть в лабиринт, называемый жизнью. Именно поэтому в своих критических высказываниях ни на мгновение не забывает, что сам он панамец, что у него свой долг перед родиной, ведущей долгую и нелегкую битву за свободу. И если, скрываясь за иронией, поэт помнит, что есть и другая борьба, которую у Рос Санета смерть ведет против жизни, то вырывающееся наружу пламя («доброе пламя поддерживает тебя») освещает, делает жизненной и его поэзию.

Это пламя освещает творчество современных панамских поэтов, которые сумели доказать, что гражданские чувства не препятствуют созданию настоящей поэзии, но помогают ей.

Перевод с испанского Н. БУЛГАКОВОЙ

◆

Культура и современность

Заметки на полях

ВНИЗ ПО «ЛЕСТНИЦЕ СОВЕРШЕНСТВА»

Как известно, идея «лестницы совершенства» — физической красоты, красоты нравов и совершенства законов — принадлежит Платону. Платон утверждал, что лишь в совершенном государстве граждане могут быть совершенными. Выделенные классической античной философией компоненты понятия идеала — эстетический, этический и общественный — осмыслялись по-своему каждым историческим периодом. Для современной Америки постановка проблемы идеала весьма симптоматична.

«Трагедия Америки,—писал Роберт Пенн Уоррен в эссе «Демократия и поэзия»,— состоит в том, что это страна ложных ценностей и эти ценности жаждут обрести псевдоличности».

О том, насколько справедливы горькие слова Уоррена, свидетельствует целый поток выступлений в американской печати, посвященных этой проблеме. В частности, подборка материалов в журнале «Сатердей ревью»: статьи писателя Рейнолдса Прайса «Герои нашего времени», литературоведа Пола Цвейга «Герой в литературе» и редакционный комментарий. А также статья журналиста Пита Ансельма в еженедельнике «Ньюсуик» — «Куда девались герои?», повторившая название многих аналогичных выступлений последних лет. И в этой связи представляется небезынтересным напомнить наиболее существенные моменты целой эпохи духовных исканий двух последних десятилетий.

Еще в 50-е годы американские писатели заслужили прозвище «энтропологов» — регистраторов энтропии, общественного и нравственного распада. В те годы был разрушен один из основополагающих американских идейных мифов—миф о «фронтире», диком Западе, символе исключительной свободы проявления человеческих возможностей в Новом свете [1]. В период кризисных 60-х годов и подведшего их итоги следующего десятилетия погибли и многие другие традиционные представления.

«Мы, наша нация испытываем сегодня нужду более существенную, чем потребность в атомной, финансовой, промышленной и даже человеческой энергии — нужду в действенных идеях» — эти слова принадлежат Джону Фицджеральду Кеннеди, с чьим приходом в Белый дом Америка связывала большие надежды. Но именно тогда, как никогда стремительно, разрушалась «американская мечта», все ее мифологические компоненты. Война во Вьетнаме подорвала веру в безупречность американских политических институтов. И американская литература внесла существенный вклад в развенчание войны в национальном сознании. Одним из заметных произведений этого рода стала, например, книга Дэвида Халберстема «Самые блестящие и талантливые» (1972), давшая уничтожающие портреты «героев» вьетнамской кампании.

В 1976 году вышла книга Джо Макгинниса «Герои». Ее автор в двадцать три года, после выхода его первой книги «Продажа президента» о предвыборной кампании Ричарда Никсона, сам стал героем американской прессы и пережил драматический взлет в мир «звезд», сломавший его прежнюю жизнь и сорвавший розовые очки юношеского тщеславия. Новые впечатления заставили Макгинниса задаться вопросом: «Куда девались герои?». В поисках ответа он объехал всю Америку. Его собеседники—политики, космонавты, генералы, писатели — не ответили ему на этот вопрос.

В том же году появился роман Джозефа Хеллера «Что-то случилось»[1], в герое которого читатели и критика узнали характерного представителя эпохи, явление, известное в американской социологии под названием «аномы». Это понятие обозначает моральное состояние человека и общества в целом, оказавшихся оторванными от прочных этических корней. Анализируя это явление в работе 1977 года «Культурные противоречия капитализма», американский социолог Дэниел Белл пишет:

> «Мы являемся свидетелями гибели буржуазной идеи. И нам нечем заменить ее, кроме философии гедонизма... Миф об американской исключительности развеян — у нас нет больше ни общей цели, ни общей веры, одна растерянность».

Особенно существенны здесь слова Белла об отсутствии веры и цели. Все упомянутые

[1] См. статью Ю. Каграманова в «ИЛ» № 8, 1975.

[1] Отрывки из него см. в «ИЛ» № 4, 1978.

книги лишь ставили проблемы, но не указывали путей их разрешения. И в этом своеобразие идейных исканий тех лет, приобретающих в наши дни несколько иную окраску. В чем и состоит для нас интерес выступлений Рейнолдса Прайса, Пола Цвейга и Пита Ансельма, чьи суждения позволяют увидеть разницу точек зрения.

Прайс в статье «Герои нашего времени», открывающей подборку в «Сатердей ревью», рассуждая о современных представлениях об идеальной личности, обращается к американской культуре — с одной стороны, как к формообразующему фактору этих представлений, с другой — как к зеркалу современных этических ценностей. Он замечает, что сегодня классические «героические» жанры — эпос и трагедия — «раздроблены» на романы и фильмы. Герои современной литературы — вымышленные персонажи. (Последними воспевали реальных людей, насколько помнится Прайсу, Теннисон в оде «На смерть герцога Веллингтонского» и Унтмен в поэме на смерть Линкольна.) А ныне, пишет Прайс:

«Не найдешь поэм, посвященных, например, таким выдающимся нашим современникам, как Мария Кюри или Альберт Эйнштейн. Или од в честь популярных фигур недавнего американского прошлого — братьев Кеннеди или Мартина Лютера Кинга...

Свидетельствует ли их отсутствие в подлинных произведениях искусства,— спрашивает Прайс,— об отрыве нашей культуры от жизни?»

Писатель так отвечает на этот вопрос:

«Настоящее не имеет героев. Большинство же мертвых героев были фальшивками».

Основную причину Прайс видит в «безжалостном потоке информации, который сделал живущих героев такими уязвимыми на их вершинах». Этот поток максимально приблизил героя к почитателям, а человеку, говорит Прайс, всегда дороже «далекие» герои, и не только потому, что вблизи глаз может обнаружить на дне Большого каньона консервные банки, куриные кости или бессмертный пластик: «расстояние» предполагает «путешествие, время, усилия».

Современная наука, научная фантастика и сама действительность успешно удовлетворяют «охоту к перемене мест» и прочие виды тяги к нетривиальным ситуациям. Однако уже с «Одиссеи» можно проследить углубление интереса к личности героя, стремление совершить самое таинственное путешествие в глубины человеческой души. И не только обнаружить ее слабости, столь зримые в антигероях, но и увидеть ее в столкновении с самой реальной человеческой реальностью — обществом. Прайс же, используя чисто психологическое толкование проблемы, не уточняет главного — цели желанного «путешествия» и «усилий».

Следующий вопрос, которым он задается: «А могут ли вообще существовать герои в век информации?»

По его мнению, герои обладают некими желанными, но сравнительно редко встречающимися качествами: смелостью, профессиональным мастерством, жизнестойкостью, красотой. Писатель делает оговорку:

«Нам везет, когда «героические» качества наших избранников максимально независимы от наших личных представлений о морали».

И тут же поясняет:

«В относительной безопасности находятся спортсмены, актеры, музыканты, так как мы ценим их физические таланты... Выдающиеся артисты почти вне опасности: в наш век вседозволенности их может подвести лишь собственное здоровье... А к политикам и адвокатам моральные претензии гораздо выше».

Происходит явное смешение понятий. Прайс ставит в один ряд Марию Кюри, Эйнштейна, братьев Кеннеди и Мартина Лютера Кинга, спортсменов актеров, солдат — и объединяет всех одним, утрачивающим в этом случае четкость значения, термином «герой». И здесь, думается, уместно противопоставить этим словам Прайса замечание Пита Ансельма из его статьи «Куда девались герои?»: «В циничный век стертая монета «знаменитость» идет по достоинству прежней — «герой».

Итак, Прайс подходит к существу проблемы—содержанию понятия «герой» и констатирует, что бытовавшее ранее представление об идеале, которое находило воплощение как в реальных людях, так и в литературе, теперь оттеснено моралью века вседозволенности и современными сравнительно заниженными требованиями к достоинствам личности в область «личных представлений о морали». Но неожиданно автор делает вывод в духе только что осужденной им вседозволенности:

«Подобные утверждения не мешают обнаружить героев практически везде — в коммерции, науке, литературе, искусстве, юстиции, армии, кулинарии, физическом труде. И даже в правительстве».

И заканчивает писатель свои рассуждения на умиленно-сентиментальной ноте:

«Может показаться, что сегодня неподходящая пора для героев ...или любви... Но год за годом мир оказывается достойным любви... особенно отдельные представители человечества. Сказать, что нам не хватает героев,— значит утверждать, что мы не способны любить. Что, в свою очередь, равносильно утверждению, что мы не понимаем своего предназначения — несовершенных существ, способных на возвышенные проявления».

Разумеется, с подобным выводом мы не можем согласиться. Но прежде, чем говорить о выводах Прайса, обратимся к статье Пола Цвейга «Герой в литературе»[1], развивающей и иллюстрирующей суждения Прайса:

[1] Статья П. Цвейга была опубликована с некоторыми сокращениями в «Литературной газете» от 15/VIII 1979 г.

«Мы все еще называем основных персонажей книг «героями», хотя это звучит уже довольно иронически, поскольку в наши дни в литературных персонажах редко можно обнаружить нечто благородное, смелое или достойное подражания. Они так заурядны и несовершенны, что мы изобрели термин «антигерои».

Современный литературный герой становится интересным читателю, когда его мечты разбиты и его отвратительная ограниченность, известная нам под названием «условий человеческого существования», сжимает ему горло...

Такие чувства, как трепет или благоговение, связанные с прикосновением к нашей жизни действительно великого человека, стали редкостью и в литературе, и в жизни. Предел нашей демократии—свобода сознания и полного бездействия, скитаний среди погибших надежд».

Справедливо охарактеризовав современного литературного «антигероя», Цвейг бегло намечает черты героя подлинного: он человек общественный, человек действия, носитель моральных ценностей своего общества. «Мы стремимся верить,— пишет Цвейг,— что есть те, кто способен перевести наши мысли и чувства на язык действий. В этом смысле герои олицетворяют наш этический идеал».

И писатель вновь возвращается к распространенным героям массовой культуры:

«Современных героев нам пришлось «сжать» применительно к масштабам массовых телесерий и жанрового кино. Они способны действовать, они знают, кто они... Но, подобно героям Гомера, они больше чем жизнь. И их героизм в сравнении с реальной жизнью делает их гротескными, лишенными индивидуальности, которая проглядывает в моменты неуверенности и поражения. Перед нами — просто приятная игра. В этом смысле мы и называем эти серии эскепистскими. Они безболезненно уводят нас от самих себя, между их и нашими жизнями нет связей... И теряясь в их гротескном и судорожном мире, мы обретаем видимость перемены, перемещения в пространстве, той альтернативы, которую предлагал Одиссей и его героические собратья...

Этот парад звезд рока, спорта, карате и всего прочего гипнотизирует и захватывает нас... И, может быть, самое важное здесь — идея игры, действий совершенно бесполезных, риска ради риска...

У нас нет больше Одиссея, Беовульфа и даже Моби Дика, но есть мир развлечений — мир угарного рока, кино, гладиаторского спорта, где никто не умирает, где процветают игривые убийцы вроде Джеймса Бонда. Если справедливо утверждение, что человек — игривое животное, играющее в войну, любовь, мысль и прочее,— то герой массовой культуры напоминает, кто мы и чем заняты».

Как видим, в своем конечном выводе Цвейг ссылается на модную социологическую концепцию, которую мы не можем принять — ни в целом, ни в данном частном случае.

Не назвав конкретных «героев нашего времени», автор выражает желание верить в то, что они есть. Он лишь противопоставляет литературных «антигероев» и героев массовой культуры «вечно живым созданиям Гомера, Софокла, Данте и лучших писателей современности», так и не пояснив, что же, по его мнению, отличает Ахилла и Одиссея, Линкольна или Моби Дика от современных американских «звезд» и их теней на экране и в литературе. Создается впечатление, что в «звездах» Цвейга не устраивают только их мифологичность и отсутствие человеческих слабостей. Хотя он сам справедливо замечает, к сожалению мимоходом, что «у героя есть не только мускулы, но и ценности». Таким образом, конфликт обнаруживается уже на второй ступени «лестницы совершенства». Вспомним, что даже боги, герои греческой мифологии, в своей личной жизни были весьма далеки от совершенства. И уже в эпосе легко обнаружить несходство, например, Ахилла и Одиссея. Первый ближе к богам, второй — несовершенней, но привлекательней. Однако мифологичность Ахилла и человечность Одиссея не мешали им оставаться в нашем представлении подлинными героями, поскольку и в сознании греков, и для нас они являются воплощением высокого гуманистического идеала, утверждающего физические и духовные возможности человека и их высшее проявление — способность выполнять свой человеческий и гражданский долг.

Именно поэтому, несмотря на попытки нескольких американских газет обнаружить некие неблаговидные факты, касающиеся семейной жизни Мартина Лютера Кинга, он остается подлинным героем Америки. Герои же современной мифологии—будь то киноидол Джеймс Бонд или вполне реальные политики братья Кеннеди,— олицетворяют американский буржуазный идеал личного успеха в стране «неограниченных возможностей». С той разницей, что Джеймс Бонд занят беспроигрышной игрой на экране, а в жизнь братьев Кеннеди и в их образ в национальном сознании политическая реальность Америки внесла существенные коррективы. Психологическая трактовка, которой ограничиваются Прайс и Цвейг, никак не может исчерпать общественное и этическое содержание проблемы идеала.

Пит Ансельм в статье «Куда девались герои?» высказывает свою точку зрения:

«Героев всегда выдвигало их время. И неудивительно, что сегодня их больше всего среди негров и женщин... Кинг погиб за идею равенства. Мухаммед Али донес свои идеи до всего мира и сумел встать на их защиту... Бетти Фриден[1] обрушила на американские социальные институты все,

[1] Первая женщина — член конгресса США.

что накипело за последние десятилетия. С помощью пишущей машинки Джоан Дидион ценой собственных нервов со свойственной ей смелостью вскрывает несовершенства окружающего ее мира... и в этом смысле она представляется мне героиней в области литературы. У каждого из этих людей можно найти слабости, но как представители социальных групп они изменили свой мир, и поэтому — их героизм подлинный».

Вот что пишет Ансельм о космонавтах:

«Космонавтам не повезло: они достигли последнего по нашим техническим возможностям «фронтира», но их послало правительство, которое сжигало людей живыми в деревнях Азии. Их задание было дико дорогостоящим, а города в это время бунтовали из-за нищеты. К ним это не имело отношения, но тем не менее ...они говорили, как технократы, да и были пилотами-испытателями... Это был групповой, а не более привлекательный героизм одиночек. Возвратившись на Землю, они делали коммерческие фильмы для телевидения, становились владельцами авиакомпаний — настоящие, привычные герои электронной эры».

Ансельм не хуже других видит сложности психологической оценки, создаваемые даже подлинным героям социальной реальностью современной Америки и средствами массовой информации, тиражирующими их внешний облик, поступки, слова, без конца напоминающими о баснословных гонорарах «звезд». Так, например, шумиха, поднимаемая вокруг каждого шага Джейн Фонды или Ванессы Редгрейв, раздражает, мешая порой различить гражданский смысл их поступков. И потому Ансельм приводит слова журналиста Генри Фарли: «Если у нас нет героев — это не потому, что мы не можем ими быть, а потому, что мы не умеем их узнать».

Ансельм так заканчивает свою статью:

«Конечно, большинство предпочитает стоять в стороне... Но в то время, как легионы сомневаются в возможностях человека, находятся одиночки, которые доказывают их на деле.

Без героев мы теряем что-то в себе самих. Я не верю, что мы когда-либо примиримся с этой потерей».

То, что Прайс и Цвейг по существу ушли от решения поставленной ими проблемы, характерно для духовной атмосферы 70-х годов, которые были метко названы «50-ми на тормозах» (поскольку в 50-е вызревал кризис 60-х). С другой стороны, типична и точка зрения Ансельма, постаравшегося найти примеры проявления подлинного человеческого достоинства, смелости, целеустремленности, верности своим принципам. Об этом свидетельствует и тот редакционный комментарий, которым журнал «Сатердей ревью» снабдил публикацию статей Прайса и Цвейга. Редакция предложила читателям подборку из одиннадцати фотопортретов деятелей культуры и науки, чья «жизнь и деятельность пробуждают уважение к возможностям человека», подчеркнув в подписях к портретам, что каждый из этих людей сочетает в своей жизненной практике профессиональное мастерство и гражданственность. Четверо нам известны: писатель Роберт Пенн Уоррен, певица Леонтина Прайс, скрипач Исаак Стерн и боксер Мухаммед Али.

Нам, естественно, близка позиция Ансельма, постаравшегося не только разграничить понятия «знаменитость» и «герой», но и найти героев среди шахтеров, пожарников, литераторов и общественных деятелей, что сделала своей галереей фотопортретов и редакция «Сатердей ревью». Но, если мы вновь обратимся к недавней истории поисков идеала в США, мы обнаружим, что они носили гораздо более конструктивный характер и никак не удовлетворялись ссылками на несовершенство человеческой природы или модную теорию игр.

В 70-е годы волне демифологизации американской истории постоянно сопутствовал духовный поиск, целью которого было обретение идейной и социальной перспективы. Не просто утверждение абстрактного гуманистического идеала, но попытки обнаружить конкретные человеческие ценности, могущие сегодня стать основой разрешения актуальных духовных и общественных проблем, стоящих перед страной. К концу десятилетия — и этому в огромной степени способствовала система средств массовой информации как важный компонент общественной жизни страны — стало очевидным, что интерес национального сознания переключается с внешних примет выдающихся явлений, героев, сенсаций американской жизни на их человеческий, личностный, сущностный смысл, то есть — с первой на вторую и третью ступени платоновской лестницы. И эта тенденция очевидна в эссеистике и литературе тех лет.

Ко второй половине 70-х годов на фоне господства в литературе «антигероев» наметилась противоположная тенденция, которую один из американских журналистов метко сформулировал следующим образом: чем ругать темноту, лучше зажечь хотя бы одну свечу. Все большее число исследователей американского общества стало задаваться вопросом: что делать? Что может помочь личности сохранить себя, не говоря уже о представляющихся большинству утопическими попытках понять происходящее вокруг или изменить его к лучшему в условиях абсурдной жестокости жизни современного так называемого «постиндустриального» общества, когда повседневность является неиссякаемым источником «предельных» ситуаций, требующих от человека героических усилий, чтобы остаться человеком и сохранить рассудок в окружающем его безумном мире.

Вехой на пути этих идейных исканий стала публикация эссе Р. П. Уоррена «Демократия и поэзия» (1975). По мнению Уоррена, воспитание подлинной личности, осознающей себя в категориях морали, признающей необходимость социальной активно-

сти, подчиненной гуманистическому идеалу, есть задача искусства. Писатель переоценивает роль искусства. И его точка зрения отражает широко распространенную на Западе реакцию на сциентизм, абсолютизацию роли науки. Что привело к противоположной крайности — переоценке роли искусства и психологии. Но нам важно, что писатель предлагает пусть несовершенное, но средство выхода из духовного тупика и дает свое определение подлинной личности. И, как видим, предлагаемая концепция прямо противоположна представлениям о человеке как об «игривом животном», с которыми так легко соглашается Пол Цвейг. Или высказанной в гораздо более жесткой форме мысли о том, что человеческая жизнь подчинена «принципу домино» — некой скрытой от его сознания логике игры, в которой он — всего лишь костяшка домино, отличающаяся от других костяшек набором цифр, что в конечном счете и определяет судьбу (фильм Стенли Крамера «Принцип домино» шел на советских экранах).

Размышляя о путях формирования подлинной личности, Уоррен приходит к мысли, характерной для эссеистики и литературы тех лет:

«Мысль древних, мысль Маркса, робко повторенная нашими демократами, состоит в том, что человек станет подлинным человеком, перестав думать о хлебе насущном... Для художника работа — смысл жизни. Самовыражаясь, он обретает сознание преемственности человеческого опыта...

Развлечение дает удовлетворение, но не дает целостности мировосприятия. В царстве кибернетики работа станет привилегией элиты. Америка идет к пассивности... Чувству выключенности... Энергии нет выхода... Когда нет подлинного смысла жизни, находят ложный...

Сегодня мечтают «отключиться, найти себя». Найти по воле случая. Это абсурд. Себя нельзя найти. Себя нужно создать, создать в поступках. Не стараясь забыться, а глядя в лицо реальности. Подлинное искусство в противовес пассивности восприятия поп-культуры требует активного участия. Оно приносит удовлетворение, давая ощущение полноты жизни».

Уоррен с горечью утверждает, что в Америке взрослое население в своем большинстве не читает художественной литературы, что сводит ее реальное воздействие к нулю. В характерной для него иронической манере эту же мысль высказал Курт Воннегут. За последние десятилетия, сказал он, американские писатели сбросили на страну несметное количество духовной взрывчатки. При этом они находятся в полной личной безопасности, потому что правительство могло бы распевать с ними такой стишок: «Палками и камнями можно переломать мне кости, но от слов мне не будет никакого вреда».

В эти годы после горьких разочарований, которые принесли американцам вера в безграничные возможности политики, экономики, науки и тесно сплетенная с этими убеждениями и столь безжалостно растоптанная историей вера в мессианскую роль Америки в современном мире, американский дух пленился пьянящей простотой вновь открывшихся древних истин о целительности для души любви и работы. Книга Теодора Рожака «Там, где кончается пустырь» (1972), в которой он утверждал, что здоровая культура рассматривает работу как искусство, последний роман Роберта Пенна Уоррена «Приди в зеленый дол...», романы Джона Гарднера, книга Роберта Пирцига «Дзэн и искусство ухода за мотоциклом», первый после долгого перерыва роман Джеймса Болдуина «Если бы Биллстрит могла говорить» [1], роман Рейнолдса Прайса «Земная оболочка», книги Джойс Кэрол Оутс и другие — красноречивое тому свидетельство.

Нет сомнения в том, что человек, подобно герою упомянутой книги Пирцига сумевший внести творческое начало даже в уход за мотоциклом, счастливее того, кто видит в машине лишь символ современной бездуховности. Однако сегодня, как утверждает в созданной им на огромном фактическом материале книге «Работа» (1976) [2] Стадс Теркел, «для большинства американцев работа — насилие как над духом, так и над телом».

Таким образом, ставя проблему гуманистического идеала без учета конкретных общественно-исторических условий его претворения, американские деятели культуры явно переоценивают роль идей, которые, по выражению Маркса, «никогда не могут выводить за пределы старого мирового порядка: во всех случаях они могут выводить только за пределы идей старого мирового порядка. Идеи вообще ничего не могут осуществить» [3].

Ограниченность подобных поисков собирался пародировать Воннегут, намереваясь создать свой вариант утопии — написать книгу об идеальном обществе, совершенство которого зиждется на том, что все его члены, желательно в масштабе планеты, объединены узами кровного родства.

Очевидно, что именно отсутствие совершенства на третьей ступени «платоновской лестницы», предполагающей идеал общественного устройства, и диктует сложности его поисков на ее второй ступени — в области этических ценностей. Но при явной ограниченности подобных духовных поисков сама постановка проблемы гуманистического идеала в американской литературе и культуре в целом говорит о стремлении найти выход из идейного тупика.

---

[1] См. «ИЛ» № 7, 1975.
[2] См. «ИЛ» № 1, 1976.
[3] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 2, стр. 132.

Т. РОТЕНБЕРГ

Публицистика

СОФИЯ-79:

МИР — НАДЕЖДА ПЛАНЕТЫ

ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ВСТРЕЧИ

В зале заседаний.

* Окончание. Начало см. в № 10.

Елисавета Багряна

БОЛГАРИЯ

Я не собираюсь выступать ни с эссе, ни с докладом по теоретическим, критическим или философским вопросам.

Тема мира, тема будущего человечества и детей, тема сохранения на земле жизни, цивилизации, культуры, искусства, традиций, создаваемых веками, всегда были мне близки, волновали меня и присутствовали в моем скромном творчестве. В эти дни мы услышали великолепные выступления наших гостей — представителей различных стран и народов. В центре их речей — ответственность за спасение жизни на нашей планете, ответственность за души подрастающего и будущих поколений. Позвольте мне просто и откровенно рассказать вам, как перипетии моей жизни сделали меня страстным борцом за мир.

На мою долю выпала долгая жизнь. Я пережила четыре войны. Перенесла как человек, жена, мать и писатель все ужасы, связанные с ними. Я ненавижу, ненавижу всем своим существом сторонников войны, поджигателей и виновников военных конфликтов.

Я родилась в Софии и была старшим ребенком в семье, где помимо меня было еще шестеро детей. До начала первой войны это была здоровая, жизнерадостная семья. Семья скромного столичного чиновника.

Когда началась первая Балканская война, мать и отец стали работать в больницах, где ухаживали за поступавшими с фронта ранеными и больными. Я же, как самая старшая, заботилась о младших братьях и сестрах, хлопотала по хозяйству. Все школы отдали под госпитали. Мы не учились. Дома было голодно, а в деревне у нас не было ни родственников, ни близких людей, которые время от времени могли бы помогать нам мукой, мясом и другими продуктами. Мы съели всю картошку, заготовленную на зиму.

Позднее, в первую мировую войну, мой брат воевал на далеком Южном фронте, в то время как я работала учительницей в Кюстендиле, где в здании мужской гимназии размещалась штаб-квартира армии, а в женской гимназии — госпиталь. Дети занимались в ужасных старых домишках, сдаваемых внаем. Но вот по городу пронесся слух о разгроме наших войск на фронте и о бунте среди солдат. Школы закрылись. Штаб, собрав все свои архивы, ночью на грузовиках отправился в Софию. Мне не оставалось ничего другого, как вернуться к своим близким. Но поезда не ходили. Рано утром в дом постучался один знакомый нашей семьи, музыкант (он был мобилизован и служил при штабе армии); он велел мне взять с собой только самое необходимое. Меня спрятали под брезент грузовика, нагруженного документами. Ехали мы медленно, на каждом шагу нас подстерегали неожиданные препятствия. Наконец добрались до Софии.

А через несколько дней на пороге нашего дома появился мой брат. Бледный и тощий, без шинели и фуражки, в изодранной одежде, он походил на призрак. После прорыва линии фронта он пешком проделал весь путь до Софии, пробираясь по проселочным дорогам и крутым горным тропам...

К концу второй мировой войны, когда Болгария объявила войну гитлеровской Германии и когда на Софию обрушились бомбы, ушел на фронт и мой сын, подпоручик Первой танковой бригады. Днем, 10 января, во время бомбежки, мы с мужем едва не погибли. Дом рухнул, но мы спаслись благодаря двери, которую сорвало с петель. Она упала на нас, образовав нечто вроде заслона. Мы лишились крыши над головой. С рюкзаками за плечами мы отправились в окрестности Софии в поисках ночлега. Проходили дни, месяцы. Я страшно волновалась за сына — не знала, что с ним, жив ли он. Тогда я написала стихотворение «Моему сыну на фронт» и отправила его в редакцию армейской газеты, в надежде, что оно, может, попадет сыну в руки. Это стихотворение неожиданно для меня самой оказало на читателей сильное воздействие. Я стала получать письма от незнакомых мне солдат. Они сообщали, что восприняли мое стихотворение как написанное их матерями, и называли меня «матерью». И я действительно почувствовала себя матерью всех фронтовиков. Именно тогда я поняла, что поэзия может и должна стать необходимой людям.

Но от собственного сына я так и не получила весточки, потому что номер газеты со стихотворением не дошел до него.

Так не идея, а сама жизнь и мои личные переживания сделали меня убежденным, страстным, непримиримым борцом за мир. Как видите, я стала им не с того момента, когда начали проводиться конгрессы в защиту мира, а значительно раньше, почти со школьной скамьи.

Конечно, я знаю, что подобные страдания выпали не только на мою долю, но и на долю многих моих ровесников как в Болгарии, так и в Советском Союзе и других странах Европы. Мне известно и то, что люди на разных континентах переживают более серьезные личные потрясения, связанные с войнами и вечной мечтой о мирной жизни...

Вчера в столичном дворце бракосочетаний, слушая прекрасную игру одаренного юного скрипача Васила, восхитившего всех присутствующих гостей и нас, болгар, я вспомнила, как после очередной бомбежки из-под обломков разрушенного дома были извлечены трупы женщины и ее сына, талантливого скрипача, которого она крепко прижимала к себе. А подле них валялся раздавленный футляр со скрипкой. Эта семья жила по соседству с нами, и я хорошо ее знала. Вспомнив их, я вновь произнесла про себя: «Человечество, опомнись, не допускай больше таких зрелищ на земле» (этот призыв прозвучал в моем стихотворении «Пять звезд»).

Пусть же все дети нашей планеты растут счастливыми и здоровыми, пусть же скрытые в них таланты развиваются и достигают своей вершины — на радость тебе, будущее человечество!

Казимеж Козьневский

ПОЛЬША

Мы собрались накануне 40-летия с начала второй мировой войны: в июне 1939 года огромная военная машина гитлеровской Германии готовилась нанести удар Польше. И польский народ решил встать на защиту родины, все поляки были убеждены — нельзя отступать перед фашистскими полчищами, избавление можно обрести лишь путем сопротивления. Спустя три месяца, 1 сентября 1939 года, немцы напали на Польшу. На нашу долю досталось первое сражение второй мировой войны. Потом было проиграно много сражений, но в конце концов все мы, весь мир, победили в этой ужасной войне с фашизмом. В мае 1945 года стало особенно ясно, насколько было необходимым сентябрьское сопротивление Польши, должен был кто-то первым сказать Гитлеру «Нет!». И это ему сказала страна, которая была намного меньше и слабее третьего рейха. Польский народ решился на это сопротивление, потому что был воспитан в духе глубокого уважения к возвышенному идеалу независимости. Этим духом свободолюбия он в немалой степени был обязан традициям нашей культуры — польской литературе, польскому искусству, польской живописи, польской музыке... Мы, поляки, хорошо знаем, на что способна литература. Мы знаем, что творчество писателя, его книги оказывают огромное влияние на формирование общества. Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что наше творчество не в состоянии заменить общественные, политические, экономические институты: мир и свободу равно защищают и в кабинетах дипломатов, и в промышленных цехах. Разумеется, воздействие искусства и литературы на общественную жизнь, на моральный облик народа осуществляется далеко не однозначно и просто. И потому столь велика и значительна роль каждого из нас.

Год 1979-й — это не только 40-я годовщина начала второй мировой войны. Для нас это также 35-я годовщина образования Польской Народной Республики. В Народной Польше вся интеллигенция, будь то научные работники или писатели, с первого дня мира, с того самого момента, как мы обрели свободу и мир, думала об одном: впереди — самая страстная, самая решительная битва за сохранение мира и свободы. Не случайно первый международный конгресс в защиту мира состоялся во Вроцлаве — у нас, в стране, которая во время второй мировой войны понесла огромные человеческие и материальные потери. Не случайно два виднейших польских писателя — Леон Кручковский и Ярослав Ивашкевич — долгие годы были одними из самых активных деятелей международного движения в защиту мира. Не случайно и то, что именно в годы существования Польской Народной Республики наше правительство и лично первый секретарь Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек провозгласили в ООН проект указа о воспитании молодежи в духе мира. Много лет назад Ян Замойский сказал: «Польша станет такой, какими мы воспитаем ее детей». Эти слова и по сей день не утратили своей моральной силы.

Джордже Маковеску

РУМЫНИЯ

С этой трибуны ведется разговор о нашей жизни, о жизни народов, чьими сыновьями мы являемся, об общей судьбе человечества.

Возможно, нас обвинят в самонадеянности, недостатке скромности, в присвоении миссии и прав, которых никто нам не давал, даже в том, что мы зря поднимаем тревогу и вмешиваемся не в свое дело.

Что ж! Лучше навлечь на себя упреки, чем мучиться потом угрызениями совести, раскаянием в том, что вовремя не сказали своего слова о самых главных проблемах человечества.

Ни под каким видом мы не должны допустить повторения трагедии сороковых годов. Пусть наш голос, голос писателей, прозвучит на этот счет громко и ясно...

Тридцать четыре года минуло с окончания второй мировой войны — на четырнадцать лет больше, чем прошло между двумя войнами, потрясшими планету в нашем столетии. Следует ли видеть в этом добрый знак? Свидетельствует ли это о том, что человечество все целиком стоит за жизнь, стремится жить в мире?

Какова картина сегодняшнего мира? Стал ли он лучше, миролюбивее, организованнее? И да, и нет. Наряду с непрекращающимися усилиями найти гарантии мирного урегулирования международных конфликтов слишком часто разногласия еще выливаются в войны, в вооруженные столкновения. С другой стороны, мир страдает от множества мучительных проблем, и число их все растет. Нынешний подход к этим проблемам, от которых зависит будущее людей и земли, зачастую грешит и недостаточной рациональностью, и недостаточной ответственностью. В самом деле, если говорить без обиняков, можно ли назвать происходящую у нас на глазах устрашающую гонку вооружений иначе, чем безответственной и бессмысленной?

Наша писательская совесть заставляет нас смотреть действительности в лицо, как бы ни была она горька и жестока. Наша совесть подсказывает нам, что бесполезно призывать к миру и рассчитывать на успех, не затрагивая проблему разоружения. Это,

как все мы знаем, сложная и щекотливая задача: всеобщее и полное разоружение нельзя осуществить немедленно, это общеизвестно. Никто не предлагает на основании нескольких миролюбивых заверений отказаться от мер по обеспечению безопасности. И однако — и это мы тоже прекрасно понимаем,— создавшееся в мире положение требует немедленных действий; снизить темпы вооружений — неотложная задача дня.

Наша цивилизация переживает пору невиданного технического прогресса. Люди высадились на Луне, фотоснимки Марса, контуры поверхности Венеры знакомы сегодня каждому, ученым удалось синтезировать в лабораторных условиях живую клетку. Человек проникает в сокровенные тайны природы, находит разгадку явлений, еще вчера казавшихся непостижимыми...

Но чуть только обнаруживается несходство взглядов, неизбежные расхождения позиций — и перед нами совсем иная картина. Что в этой области отличает нас от пещерных людей, для которых единственным методом разрешения спора было уничтожение противника? Какое постыдное противоречие существует между высочайшим уровнем цивилизации и представлением, будто нет другого выхода из разногласий, кроме оружия, то есть кроме убийства и разрушения! Разве не лежит тяжелым грузом это противоречие на нашей совести, на совести человечества, на совести писателя?

Румынский народ, как и другие народы, убежден, что необходимо взять твердый курс на разоружение. Президент социалистической Румынии Николае Чаушеску неоднократно выступал с предложениями, отражавшими эту основную линию румынской внешней политики. Мы, румынские писатели, всемерно поддерживаем эту политику, сознавая, что не существует иного решения для альтернативы «война или мир». Мы полны уверенности, что любые международные вопросы, как бы сложны они ни были, могут и должны найти свое разрешение путем переговоров и соглашений. Сила, как военная, так и экономическая, должна быть исключена из способов улаживания расхождений.

Вместе с тем мир не может быть навязан, он должен быть достигнут и принят в ходе переговоров между всеми заинтересованными сторонами. Без этого речь может идти не о прочном и длительном мире, а лишь о каком-то гибриде, о моменте перемирия между двумя мировыми катастрофами.

Совещание в Хельсинки положило многообещающее начало. Да, именно начало, ибо упрочение мира, европейской и всемирной безопасности — процесс длительный, сложный. Его участники не рассчитывали найти философский камень или учредить земной рай. В Хельсинки был заложен фундамент мира, разработаны его принципы, намечены пути его достижения. Но предстоит еще многое сделать для завершения этого столь желанного здания, в котором все страны, независимо от их политического или общественного строя, могли бы найти надежную защиту от агрессии.

Нет сомнений, что правительства, дипломатические органы, политические партии играют первостепенную роль в обеспечении мира. Но в наше время, когда столь велика доля каждой из наций в разрешении насущных проблем, когда уровень политического сознания масс неизмеримо возрос по сравнению с прошлым, естественно, что народы всего мира включаются в борьбу за построение и поддержание мира. И в этом — единственная гарантия того, что войны как способ разрешения международных конфликтов будут устранены, что в отношениях между странами будут достигнуты согласие и взаимопонимание.

История и логика убеждают нас, что народы не имеют воинственных целей и что, напротив, они стремятся к миру и сотрудничеству.

Какова же в этой связи наша писательская задача?

Наше воздействие на массы огромно. Творчество, направленное на укрепление мира, на содействие духовному росту человека и дружбе между народами,— вот наш долг по отношению к нам самим, к людям, к нашему отечеству.

В последние десятилетия нашего мятежного и ослепительного века, не знающего себе равных во всей истории человечества, мы, писатели всех стран, протянем же друг другу руки для искреннего и сердечного пожатия! Соединим наши силы, и пусть наш голос прозвучит для всех людей: мы хотим мира, мы боремся за мир, за человека сегодняшнего дня и за человека будущего. Мы хотим оставить ему лучший, более справедливый мир, где он сможет жить в красоте и счастье.

■

Владимир Солоухин

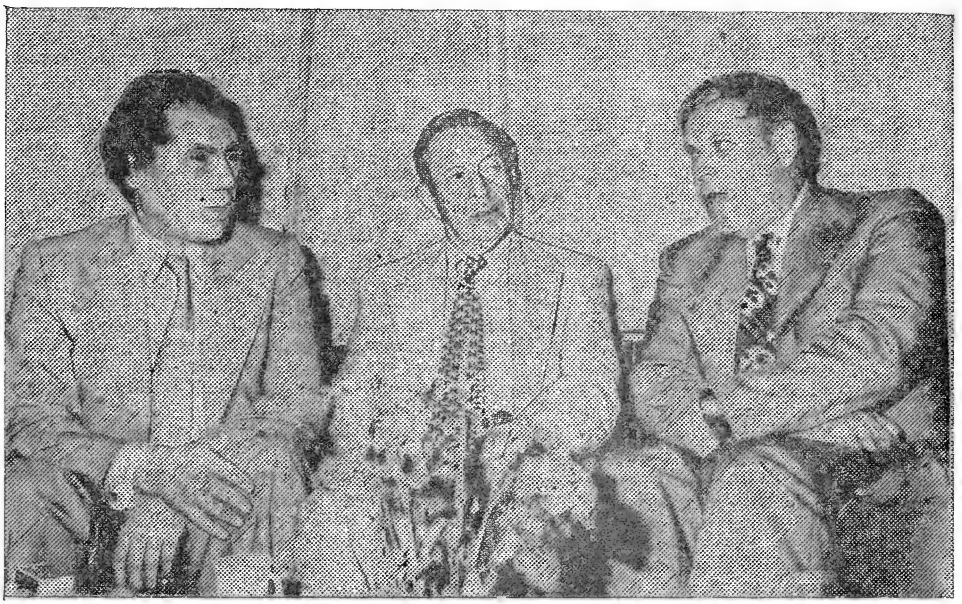
СССР

Я думаю, что мир, за который мы все так усердно боремся, в конце концов удастся отстоять. Не взорвутся накопленные страшные бомбы, не треснет земной шар, сохранятся и будут существовать народы на нем.

Однажды я написал рассказ, он называется «Под одной крышей». В российских деревнях есть такие дома — пятистенки. Два дома как бы соединены в один и крыша над ним — одна. В таком доме на одной половине жила наша семья, а на другой половине чужая для нас женщина Нюшка. И вот постепенно возникла и стала быстро расти между нами вражда.

Нюшка выплескивала помои под наши окна. Мы эту помойку посыпали дустом. У Нюшки, наклевавшись на помойке, околел петух. Нюшка в отместку и со зла убила нашего котенка. Жена вбежала ко мне с плачем и потребовала, чтобы я застрелил Нюшкину собачонку...

Так, думал я: она у нас — котенка, мы у



Слева направо: Георгий Джагаров, Джон Чивер, Владимир Солоухин.

нее — собаку. Она порвет наши простыни, висящие в саду, я беглым огнем истреблю ее кур, возможно поросенка, она перешибет ногу нашей дочери...

В конце концов накопившаяся злоба подведет нас к последней акции — поджечь дом. Но дом поджечь нельзя: живем под одной крышей, и поджечь соседа — значит поджечь себя. И жить с Нюшкой нельзя и поджечь нельзя, что же делать?

Именно с таким вопросом и приступила ко мне жена. «Ты мужчина, ты писатель в конце концов, научи, что делать и как жить дальше?»

Я сказал:

— Возьми тот кусок московской колбасы, который у нас есть, и отнеси Нюшке.

Жена посмотрела на меня как на сошедшего с ума.

— Да я лучше повешусь!

— Возьми колбасу и отнеси.

Жена взяла колбасу и ушла. Я думал, что она вернется в синяках, быть может с выбитым глазом. Но когда она вернулась, ее глаза сияли. Конечно, Нюшка потянулась за ухватом, когда увидела злостного врага, да еще на своей территории, но вдруг — колбаса...

Они рыдали там на плече друг у друга, а через несколько минут на нашем пороге возникла Нюшка с блюдом отборного репчатого лука.

Значит, так, подумал я, история пошла раскручиваться в другую сторону. Мы ей — колбасу, она нам — лук, мы ей — дорогой торт, она нам — утку на жаркое, мы ей — отрез на платье...

Жизнь оказалась сложнее, и много еще всего было у нас с Нюшкой, но я никогда не забуду ни сияющих глаз моей жены, ни Нюшки с блюдом лука, стоящей на нашем пороге.

Не так ли развивалась и история человечества? Маковое зернышко зла породило горошину зла, горошина породила орех, орех — яблоко, яблоко — арбуз, арбуз — глыбу, и вот все тонет во зле и вражде...

Не будем обольщаться, не много переменится в мире от нашего замечательного собрания. Пока мы тут выступаем, заводы, производящие оружие истребления, продолжают работать. Но все же наш голос — это голос доброй воли, это голос добра, а третьего пути, как и в упрощенном примере с Нюшкой, нет. Бросить дом нельзя и поджечь нельзя, живем под одной крышей.

Итак, я думаю, что мир, за который мы боремся, в конце концов удастся отстоять. Земля не треснет, народы продолжат свое существование. Но какие народы и какое существование? Каков будет нравственный климат будущего мира, каково будет духовное его богатство?

Вот это-то от нас, писателей, зависит больше, нежели простое сохранение мира как дипломатической и государственной категории. Если одно государство захочет объявить войну другому государству, оно у нас, писателей, пожалуй, и не спросится. Но книги наши люди читают, книги наши на умы и души людей влияют, и поэтому наша ответственность за будущий мир больше, чем мы сами предполагаем.

Волна наркомании, поднявшаяся во многих западных странах, рост преступности, алкоголизма, сексуальная революция во всех ее отвратительных формах, выхолащивание душ — вот против чего мы должны бороться, против чего мы должны поднимать свой голос.

Красота спасет мир, сказал Достоевский, это так, но откуда возьмется красота, если искусство не будет постоянно ее создавать и культивировать? Красота будущего мира зависит во многом от нас, сегодняшних писателей...

...И если традиция этих встреч продлится и прекрасная, гостеприимная Болгария еще раз соберет нас всех на третью встречу, то, мне кажется, именно об этом должны будут идти наши разговоры.

Мало сохранить мир, надо сохранить его полноценным, красивым, духовно богатым, соответствующим высокому званию, которое мы с вами носим — homo sapiens, человек разумный, а я бы поправил эту формулу — человек богоподобный...

Франц Ксавер Крёц

ФРГ

Дети, как мне кажется, многое усваивают от нас прежде, чем научатся читать. В этом процессе вольно или невольно принимают активное участие и родители, и воспитатели, и сверстники с детской площадки; ведь тот, кто прислушивается, может немало услышать. Так что многие «читают» прежде, чем прочитывают по слогам первое слово. В моей стране сегодня если ребенок растет в семье, где отец читает издания вроде «Байерн-курир», «Дойче националь-цайтунг» [1] и т. д. (подобного рода писания не только не запрещено издавать, наоборот — они продаются во всех киосках), то и ребенок в свои три-четыре года тоже читает их. Он узнает о прошлом, о том, что происходило за тридцать лет до его появления на свет. Он узнает от своего отца или деда, кем они были тогда и кем они стали теперь. Иначе я не понимаю, как за столь короткий срок такое множество и притом вполне нормальных людей могло стать приверженцами нацизма, если не активными нацистами, как это случилось в свое время в Германии.

Итак, читая о жизни предшествующих поколений, мы должны отвечать на вопросы наших детей, потому что их взгляд повсюду следует за нами, они пытаются проникнуть в наши мысли, ждут ответа.

Я родился в 1946 году, и я испытываю чувство стыда, говоря здесь об усилении нацизма, неонацизма, реваншизма и милитаризма в ФРГ. Не так давно министерство внутренних дел получило информацию о деятельности весьма активных неонацистских групп. Следует сказать, что с 1976 года их число возросло с 600 до 1300. Речь идет не о членах этих групп, а о самих неонацистских отрядах. И когда мы говорим, что нашему, так сказать, «общему ребенку» необходимо обеспечить мирное и спокойное будущее, то в моей стране это означает — антифашизм, каким бы «анахронизмом» ни почитал кое-кто это слово. К сожалению, нужно признать, что в моей стране существует еще расизм в форме антисемитизма. Сегодня можно услышать то, что несколько лет назад казалось бы немыслимым. Опасный путь! Молодых неонацистов и антисемитов в нашей стране немного, но все же их более чем достаточно. Кто же виновен в том, что они стали такими? По моему мнению, меньше всего молодежь. Повинны в этом отсутствие перспектив, невозможность разрешения многих важных жизненных проблем, безработица, наивность, фальсификация, обеление нашего отвратительного прошлого, беспросветность современной действительности и вот эти «коричневые пятна» на чистых одеждах нашей республики — то есть деяния тех, кто восхваляет антикоммунизм, кто оглупляет народ, кто провозглашает устрашение высшей добродетелью.

Во всяком случае, я своим детям хочу внушить, что вступление в члены нацистской партии было не «проявлением благородства», а преступлением.

Очень тревожен тот факт, что в нашей республике существует тенденция вновь требовать предъявления «государственно-юридических» «свидетельств» истребления нацистами сотен тысяч людей (например, в Майданеке). Поиски таковых означают требование применения срока давности по отношению к преступлениям нацистов, как будто забыть о нечистой совести — лучший способ забыть прошлое.

Вы все знаете о фильме «Holocaust» («Всеобщее уничтожение»). Я ничего не имею против этой многосерийной американской картины, но как писатель позволю себе спросить: что можно сказать о ФРГ, если для пробуждения памяти о собственном прошлом нам понадобился третьесортный голливудский фильм? Вот над чем нам следовало бы подумать.

Европейское сообщество — вместе с Грецией это десять западноевропейских стран — провело недавно выборы в общий парламент. В этом сообществе 6,4 миллиона безработных, среди которых 2 миллиона людей моложе 20 лет. Все это — будущие матери и отцы детей, которые завтра появятся на свет, и мы должны ясно сознавать: то, во что веруют родители, плохое или хорошее, непременно оказывает влияние на детей. Большинство из этих десяти государств — члены НАТО. А в НАТО есть силы, которые совершенно не волнует вопрос о безработице, социально-экономических трудностях, о людских невзгодах и горе; занимают их мысли только новые виды ядерного оружия, не включенные в ОСВ-2. Для них человечность, мир, взаимопонимание означают лишь одно: уменьшение прибылей от производства вооружения. Наш долг — бороться против них во имя будущего наших детей.

В этой Европе «десяти» есть и так называемые «слаборазвитые» области, или же, говоря откровенно, бедствующие районы, которые мало чем отличаются от развиваю-

[1] Издания неофашистского толка (*прим. ред.*).

щихся стран. Есть позорные для нашей цивилизации явления, такие, как увеличение смертности среди детей в Неаполе, неграмотность среди детей иностранных рабочих, и не только среди них. Есть семьи, впавшие в нищету, потому что они позволили себе родить по три, по четыре ребенка, есть также детский труд, применяющийся, например, в сельском хозяйстве. И не надо забывать, дорогие друзья, что речь идет не о каких-то отдаленных странах, а о Западной Европе.

Насколько мне известно, здесь присутствуют не только представители разных литературных жанров, но люди, придерживающиеся различных мировоззрений, религиозных взглядов, воспитанные в различных культурных традициях. Однако, дорогие друзья, учитывая тот ужасный факт, что каждую минуту в мире три человека умирают от голода и один из них — ребенок, рассуждая о будущем детей, нам не следует забывать о том, что пока приходится отстаивать самое насущное право человека — право на жизнь. Мертвому не нужны «права человека». Пока еще в стольких странах нет необходимой медицинской помощи, не хватает школ, работы для всех, не решены вопросы социального обеспечения, низок уровень культуры, пока жизнь лишена радости и смысла — каждый честный, каждый лишенный предвзятости человек, где бы он ни жил, не может не видеть, как много еще предстоит сделать для детей. И как велика здесь доля забот писателей, призванных создавать книги исполненные тревоги о человеке, мыслей о его завтрашнем дне, который обещает быть счастливым. Ибо колесо истории нельзя повернуть назад, оно движется вперед к лучшему будущему.

Эрвин Фишер

ФРГ

Два года тому назад Рафаэль Альберти в обращенном к нам приветствии писал, что встреча под девизом «Писатель и мир. Дух Хельсинки и долг мастеров культуры» может повлиять на ход истории, может объединить всех, кто хочет жить в согласии, в атмосфере доверия и надежды. Это требование нашего испанского друга представлялось мне тогда непреложным и реальным по отношению к событию, важность которого была вдвойне подчеркнута его организаторами: и самой формулировкой темы, и ссылкой на тот исторический конгресс тридцатых годов, когда писатели всего мира по инициативе Ромена Роллана и Анри Барбюса объединились на борьбу против фашизма. Ведь борьба против фашизма и борьба за мир имеют общее гуманистическое основание, на котором люди всех рас и национальностей, всех профессий и призваний строят общество интернациональной солидарности и дружбы, материальной и духовной свободы.

Мысленно возвращаясь к тексту приглашения, написанного глубокоуважаемым Пантелеем Заревым, я вижу, что тогда, два года назад, это высокое требование мы выполнили. В ином случае разве стали бы «громче звучать голоса, призывающие нас вновь выступить в защиту мира»? И разве согласилась бы общественность Болгарии пойти навстречу этому многократно высказанному желанию организовать наш сегодняшний форум? И еще: разве мы сами, собравшиеся здесь, приняли бы это приглашение с такими радостными ожиданиями и сознанием ответственности? Благодаря достойной всяческого уважения самоотверженности и настойчивости наших болгарских друзей и хозяев София-79 продолжает Софию-77 и закладывает новую историческую традицию. Пусть прислушаются народы! Пример Болгарии говорит о том, какие плоды могут принести готовность к взаимопониманию и осознание своего долга, претворенные в действие.

Таким образом, надежда Рафаэля Альберти сбылась. Писатели участвуют в демонстрации под лозунгом взаимопонимания народов! Писатели крепят узы дружбы, невзирая на предубеждения и границы! И они не перестанут бороться, не прекратят демонстрации, не разорвут узы дружбы — таково гуманистическое назначение творчества, исторический долг, приобщивший писателей к духу Хельсинки. Отказ от него равносилен предательству; не о том ли строки баллады «Проклятие певца», написанные более ста лет назад моим земляком Людвигом Уландом?

Что взгляд его — то трепет, что дума — то боязнь,
Что слово — то оковы, что приговор — то казнь.

(Перевод Ф. Миллера)

Я обозначил тему моего краткого выступления на этом заседании: речь пойдет ни больше, ни меньше как о партийности писателя, вкладывающего в литературу гуманистическое содержание, которое, по мнению Пантелея Зарева, и есть «синоним разрядки». Причем разрядки не только в области международных отношений, где для нее имеются многочисленные предпосылки, но и в личных отношениях людей. Личность и избранная, достигнутая и завоеванная форма контактов с окружающими — вершина культурной истории человечества. Я неколебимо убежден — пусть даже это прозвучит несколько идеалистически,— что если не будет высокомерия, недоверия и чванства между индивидами, то и с отношений между целыми обществами свалится тяжкий груз «кровной вражды» по политическим, расовым и идеологическим причинам. Политические прагматики и технократы могут назвать меня фантазером. Пусть!

Поскольку встреча, происходящая в Год ребенка, обращена к грядущим поколениям, к творцам будущего, я говорю о нашей партийной ответственности за

прогрессивное развитие общества,
освобождение от реакционного гнета и зависимости,

укрепление интернациональной солидарности в духе свободы, равенства и братства,
преодоление искусственно вызванных конфликтов и лимитирование псевдоправовых позиций,
политику разоружения и ослабления военной конфронтации,
поддержание духа Хельсинки,
равноправие народов и рас,
воплощение гуманистических принципов в отношениях между государствами,
запрещение войны в качестве так называемого продолжения политики другими средствами,
упрочение такого порядка, при котором человек может достичь всего в условиях мира, в войне же — лишь все потерять.

Понятую таким образом партийность нашего творчества я рассматриваю как культурно-историческую необходимость ныне, в конце двадцатого столетия, когда самоопределение личности зависит от нее самой, а не от купленных, завоеванных насилием или полученных по наследству привилегий.

Что же такое партийность писателя? Я начну с того, чем она не является. Она не представляет собой отказа от творческой свободы выражения, как пытаются нас уверить с помощью словесных выкрутасов и фантазии нервные и склеротические пошляки. Партийность писателя во многом определена признанием им истинного равенства людей — такого, каким оно было на заре нашего мира и его культурной истории. Она означает и решение бороться за такое будущее, в котором любовь к человеку освободится от губительного индивидуального и массового эгоизма среды. И, наконец, партийность, как я считаю, требует преодоления некоего субъективизма, который под девизом «чей хлеб жую, того и песенки пою» превращается в послушный инструмент, обесцениваясь и позволяя собой злоупотреблять.

Время сознательно направляемых страхов и организованных кризисов остро нуждается в свободе творческого духа, не зависимого от прихотей манипуляторов. Время запрограммированных конфликтов и провоцируемой клеветы остро нуждается в свободе творческого духа, поставившего себя на службу будущему утверждению мира на жизненном пространстве всего человечества. И, конечно, это время требует своих героев, но это должны быть герои из трудового мира, овладевшего культурой: от строительной площадки до операционной, от заводского цеха до театральной труппы, от полей пшеницы до космической лаборатории, от борта теплохода до письменного стола политика, от шахты до пишущей машинки. Время требует героев, чьи заслуги и слава не в разрушении, а в созидании. Необходим героизм, делающий нашу жизнь еще более ценной, а мир — прекрасным.

Выступать за все это в полную силу своего таланта, бороться за это всеми доступными средствами убеждения — вот что, друзья и коллеги, я называю партийностью писателя.

Свое выступление я хочу закончить воспоминанием о большом поэте того народа, чьим сердечным гостеприимством мы сейчас наслаждаемся. Начиная со встречи 1977 года все ярче и неотступнее стоит передо мною образ поэта, взывая к памяти и благодарности. Через несколько недель наступит 37-я годовщина его смерти; тогда, 23 июля 1942 года, когда он был убит фашистами, ему было 32 года. Стало преданием, что под прицелом убийцы он запел песню на слова Христо Ботева: «Кто в грозной битве пал за свободу, не умирает...»

Я говорю о Николе Йонкове Вапцарове, болгарском поэте и герое, чья поэтическая деятельность и героические деяния целиком были посвящены будущим поколениям. Его короткий, трудный, жертвенный путь, увенчанный золотым венцом победы, всегда вел его не к собственному успеху, а к великой цели освобождения его народа, к свободе, миру и согласию всех людей. Позвольте мне вместо его завещания и нам, и тем, кто следует за нами, прочитать заключительные строки его поэтического шедевра — стихотворения «Вера»:

Вы пулей убить мою веру хотите?
Нет! Невозможно!
Бросьте! Не выйдет!
Она за бронею
в груди моей скрыта.
И пуля,
что эту броню бы пробила,
еще не отлита!
Еще не отлита!

(Перевод Ю. Верниковской и В. Струева)

Я добавлю: она никогда не будет отлита!

Камило Хосе Села

ИСПАНИЯ

Желаю вам здоровья и мира, потому что все мы, собравшиеся здесь, желаем именно здоровья и мира всем мужчинам и женщинам нашей планеты. Здоровья, чтобы они могли радоваться миру, и мира, чтобы они могли учредить на земле новый общественный и политический порядок, более справедливый и благодатный для всех народов.

Трудно передать словами волнение, охватившее меня, испанца, на чью долю выпала честь выступить на этой встрече благодаря тому, что моя страна вырвалась наконец на свет из мрака, в котором еще, к нашему всеобщему сожалению, продолжают гибнуть представители народов, говорящих на древнем языке, благородном и гармоничном языке Сервантеса и Кеведо. Давайте же постараемся сделать так, чтобы на следующей нашей встрече выступили посланцы всех испаноязычных стран, выступили со словами правды, открыто и спокойно. Не забывая о том, что историю нельзя повернуть вспять, что среди нас уже нет Федерико

Гарсиа Лорки, Мигеля Эрнандеса, Пабло Неруды...

На торжественном открытии встречи наш видный поэт Рафаэль Альберти сказал, что Испания вышла на широкий и трудный путь, ведущий к свету и демократии. Да, произошло чудо, но за ним стоит выносливость и напор испанского народа, сумевшего, несмотря на противодействие врагов, найти дорогу к свободе. И с этой дороги нас не свернут ни реакция, ни терроризм, потому что они бессильны перед разумом и энтузиазмом испанцев, готовых встать на защиту всего того, чего они добились ценой огромных усилий.

Уже не существует странствующей Испании, о которой говорил Хосе Бергамин; исчезла та Испания, страна слез и изгнания, воспетая в волнующих сердце стихах поэта Леона Филипе. Сегодня есть свободная Испания, которая принимает всех своих сынов. И пусть нам в ближайшем будущем представится возможность сказать то же самое о свободолюбивых народах Латинской Америки!

Мы собрались в Софии в Международный год ребенка. В начале своего выступления я пожелал здоровья и мира всем мужчинам и женщинам нашей планеты. Я умышленно не упомянул о детях, так как для них недостаточно одних пожеланий: они нуждаются в той жизни, которую мы строим ценой больших усилий. Мы, писатели, обязаны, как нам здесь напомнил о том представитель советских литераторов, беречь мир, ибо без него невозможен прогресс. Мы, писатели, сообразно нашим силам и таланту, призваны участвовать в создании таких условий жизни на земле, при которых каждый ребенок, выросший и достигший глубокой старости, не пожалел бы перед лицом смерти, что он был человеком. И чтобы мы также не испытали стыда, что были людьми. Своими произведениями, своим талантом мы должны служить делу мира и его идеалам.

Один индеец, увидев, как распространяется эпидемия, уничтожая на своем пути все живое, воскликнул: «Погибло дерево, улетел орел. Кончилась жизнь, и начинается возрождение».

Мы, писатели, ратуем не просто за возрождение, мы ратуем за полнокровную жизнь. И во имя этой жизни мы призываем к миру, говорим о нашей готовности его защищать. ■

Лучезар Еленков и Имре Добози.

Имре Добози

ВЕНГРИЯ

Мы приехали сюда из разных уголков планеты и по-разному соприкасаемся со жгучими проблемами нашего века, но мир для всех нас — неделимое сокровище, и во имя мира мы должны делать все зависящее от нас.

Мир дает возможность проявиться таким человеческим качествам, как гуманизм, честность, солидарность.

Нужно ли нам, писателям, еще раз доказывать, что мы — за укрепление, за сохранение мира? Да, нужно. Потому что агрессивность определенных кругов и опасность новой мировой войны все возрастают. Потому что потребность в мире на земле сегодня еще острее, нежели четыре десятилетия назад.

Мы в ответе не только за высокие идеалы гуманизма и чести, но и за самое осознание народами мира истины о том, что, разделенная на континенты, наша планета — их общая родина и что именно она должна остаться местом жительства всех будущих поколений.

Гуманизм может дать бурные всходы там, где есть пригодная для пахоты земля, где есть шахты для добычи угля и руд, где по трубам течет нефть, где вода все еще вода и где вольно и хорошо дышится.

Кто же имеет право отнять все это у наших потомков, грядущих поколений? Мы, писатели, делимся своими мыслями, а быть может и мыслями тех, кто нас знает, кого знаем и мы как своих читателей. Давайте же сделаем так, чтобы все больше и больше народов каждый на своем языке, во весь голос, со всей решимостью заявили, что они хотят жить, не зная страха и нищеты...

У нас есть не только надежда, но и нечто большее. Это наш талант и наша решимость бороться во имя добра и прекрасного будущего. ■

Ян Козак
ЧЕХОСЛОВАКИЯ

С незапамятных времен в первых рядах борцов за прогресс, за более счастливую жизнь и справедливость в мире стояли творцы литературы — художники слова, считавшие высшей честью, высшим долгом отдавать свой талант, разум, все свои способности на службу народу, к которому они принадлежали и вместе с которым прокладывали дорогу в будущее.

Сегодня мы поднимаем голос в защиту мирного будущего, в поддержку взаимно обогащающей дружбы, которая избавит человечество от бремени лихорадочной гонки вооружения, высвободит огромные экономические ресурсы и человеческие силы во имя мирного процветания всех народов. Сознание, что текущий год проходит под эгидой Международного года ребенка, еще более нас мобилизует и вдохновляет.

Наш долг — указать детям, завтрашнему дню мира, путь к добру и красоте, привить им уважение к гуманистическим традициям, к творческому труду, солидарности и взаимопониманию, сознание причастности к тревогам и заботам человека-труженика — творца всех ценностей на земле. Эта благодатная нива ждет наших посевов. Мы в ответе за будущий урожай, который она принесет.

Ответственность эта нелегка, но разве она — не одна из самых прекрасных обязанностей, возложенных на нас, писателей? Все свои творческие силы и энергию мы должны отдать поискам правды жизни, путей, ведущих к переустройству старого, эксплуататорского мира, к воспитанию здорового, полноценного человека будущего.

Я глубоко убежден, что именно забота о счастливом будущем грядущих поколений связывает нас сейчас крепко, как никогда. Я горжусь тем, что мое отечество, социалистическая Чехословакия, добилось в области литературы для детей и юношества значительных успехов. Она, эта литература, исходит из лучших традиций нашей тысячелетней письменности, из традиций, которым более трех столетий назад дал мощный импульс всемирно известный чешский писатель и гениальный педагог Ян Амос Коменский, автор первой книги для детей «Мир в картинках», положившей начало процветающей сегодня научно-художественной литературе.

Детская литература на фоне всего литературно-исторического развития сравнительно молода. Педагоги, психологи и прежде всего родители начинают серьезно заниматься ею лишь в XIX веке. В Чехословакии по-настоящему ей уделяется внимание лишь в последние тридцать лет: социалистическое общество поставило ее в центр общественных интересов... Мы стремимся к тому, чтобы книги для детей открывали им смысл жизни, ее широту, показывали многообразие, перспективы, романтику истории и современных свершений, учили познавать человеческое в человеке, позволяя находить в наших книгах ответ на самые жгучие вопросы бытия.

В классических сказках почти всех народов, которые были верными спутниками нашего детства, встречается прекрасный символ живой и мертвой воды. Позвольте и мне сравнить детскую литературу с колодцем с живой водой, прозрачной и чистой, который мы должны оберегать, чтобы каждый ребенок мог черпать из него красоту жизни. Литература для детей всех стран подобна маленьким, кристально чистым источникам, несущим свою живую воду в один общий источник, который благодаря нашим усилиям непрестанно обогащается и становится по-сказочному неисчерпаемым.

Воспитание будущих поколений — задача первостепенной важности независимо от того, какие страны мы представляем. Наши общие усилия в этой области — в полном созвучии с заключительными документами встречи в Хельсинки по вопросам европейской безопасности и сотрудничества, с мечтами всех народов о мирном сосуществовании и дружбе.

Позвольте мне с этой трибуны горячо поблагодарить Союз болгарских писателей, с необыкновенным гостеприимством второй раз за последние два года предоставивший нам возможность встретиться здесь в дружеской и творческой атмосфере, чтобы обсудить важные вопросы, на которые мы, как писатели и как граждане нашей планеты, стараемся найти ответ. Я убежден, что все здесь собравшиеся готовы посвятить свои силы и способности их положительному разрешению и преуспеванию наших литератур во имя мира и прогресса на земле.

■

Иосиф Нонешвили
СССР

Сделать так, чтобы дети Софии, дети Москвы и Нью-Йорка, Бомбея и Каира — дети всей земли были счастливы. Чтобы на их лицах цвели улыбки, а в их руках были цветы. Это наша забота. Это наша тревога и наша надежда. Не только в этот год, а всегда. Но особенно в этот год, который ООН объявила Международным годом ребенка. Потому что мы, отцы и матери всей земли, не можем спать спокойно: на небе еще слишком много опасных грозовых туч.

Почти двадцать лет прошло с того дня, как Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Декларацию прав ребенка.

Давайте же мы, писатели всего мира, поднимем свой голос в защиту этих прав будущего человека. К сожалению, маленькие граждане нашей планеты еще нуждаются в нашей защите. Ужасы войны и голода, нищеты и бесправия все еще угрожают детям на разных континентах земли.

С кем вы, мастера культуры? — спрашивал в свое время великий писатель Мак-

сим Горький. Каждый честный писатель мира должен постоянно отвечать на этот вечный вопрос. Отвечать своим творчеством, своими выступлениями, своей жизнью.

Сегодня наш общий долг — во весь голос заявить: мы с теми, кто бережет и отстаивает счастье детей, будущее человечества. Мы с теми, кто бережет и отстаивает мир на земле.

Выражая мысли и чувства каждого из нас, руководитель нашей партии и государства Леонид Ильич Брежнев в своем новогоднем выступлении говорил: «Мы стремимся научить детей добру, дружбе, научить их жить по-добрососедски со всеми людьми любой национальности и цвета кожи, научить их уважать труд и уметь трудиться на благо всех людей».

Все войны семнадцатого века унесли почти пять с половиной миллионов человеческих жизней. В следующих поколениях эта цифра выросла до семи миллионов. Первая мировая война потребовала уже десять миллионов жертв. А вторая — пятьдесят пять миллионов.

На вопрос, каким оружием будут воевать в третьей мировой войне, Эйнштейн ответил: — Этого я не знаю, но зато знаю точно, что если она произойдет, то дальше придется воевать палками и камнями!

Оставим же в наследство детям и внукам не камни и палки, а чистое небо, голубые реки, цветущие поля, способные накормить все человечество. У нас есть эта возможность. Вы знаете, что один авианосец стоит столько, сколько стоят почти три миллиона тонн зерна, один реактивный самолет — сколько стоят сто тысяч тонн сахара.

Для этого есть только один путь — путь разоружения и разрядки. Тот путь, который намечен и сформулирован в Хельсинки и подтвержден в Белграде.

Я не сторонник деления литературы по тематическим признакам, но есть одна тема, вернее, задача, которая должна пронизывать все произведения, на какую бы тему они ни писались,— это человечность и мир на земле и в сердцах людей. И было бы прекрасно, если бы мы на наших международных встречах как бы отчитывались друг перед другом — какой вклад сделал каждый из нас для воплощения этой благороднейшей задачи! И было бы еще прекраснее, если бы мы каждый раз могли обмениваться взаимными переводами лучших наших книг, посвященных этой задаче!

Я представляю на этом форуме Советский Союз. И в частности, Советскую Грузию, одну из братских, равноправных республик Советского Союза. Сравнительно небольшую республику, выходящую, как и Болгария, на берег Черного моря. Могу с гордостью доложить, что все взрослое население моей республики подписало второе хельсинкское воззвание в защиту мира. Больше того — приходили письма даже от детей, которые просили, чтобы и их подписи присоединили к подписям взрослых.

Один из верных способов сохранить мир — ближе узнать друг друга. Здесь

Альдо Де Яко и Андре Стиль.

огромная миссия выпадает на долю деятелей литературы и искусства.

Нас, грузин, отделяет от Болгарии Черное море. Правильнее было бы сказать, что оно нас соединяет. История нашей дружбы уходит в глубь веков. Ведь еще в средние века грузины — братья Бакуриани на болгарской земле вместе с болгарами воздвигли знаменитый Бачковский монастырь. С тех пор наша связь не прерывалась. Достаточно сказать, что по-грузински издавна звучат произведения болгарских писателей, что недавно у нас вышла антология болгарской поэзии, а в Болгарии — антология грузинской поэзии.

Мне очень приятно было, что перед самым моим приездом в вашу страну в Софии вышла книга моих стихов на болгарском языке в переводах прекрасных поэтов Андрея Германова и Ивана Николова, под редакцией Христо Радевского. Стихи проложили мне дорогу сюда.

Мои стихи переведены с грузинского. Семьдесят семь языков живут и процветают у нас в стране, и на семидесяти семи языках создается в Советском Союзе литература. Эти литературы как звезды на небосклоне — каждая светит по-своему, каждая неповторима и прекрасна.

Чтобы убедиться в этом, надо знать друг друга. Приезжайте к нам в Грузию — вы увидите наш прекрасный край. Узнаете ее древнюю и тяжелую историю. Познакомитесь с гордым и свободолюбивым народом, который привык трудиться на поле и в винограднике, пасти овец и возводить крепости. Века борьбы за свободу приучили грузина держаться одной рукой за плуг, а другой — за рукоять меча.

Настала новая жизнь. Пришли новые времена. Сейчас Грузия — страна передовой науки, промышленности, сельского хозяйства. Но и сегодня для каждого грузина самое святое — мир!

Мшвидобит! — Мир тебе! — говорим мы прощаясь.

Мшвидобаши! — Носи с миром! — желаем друг другу, поздравляя с обновкой.

Дила мшвидобиса! и Гаме мшвидобиса! — Мирного утра! и Мирной ночи! — желаем при встречах и расставаниях.

Мира всем вам, мира всему миру, чтобы наши дети никогда не знали ужасов войны! Это не просто пожелание. Это — программа нашей работы и борьбы, которую всем нам надо выполнять в меру своих сил, таланта и возможностей!

Потому что писатель — совесть человечества!

Джон Коломбо
КАНАДА

Те из вас, с кем я незнаком, возможно, не знают, что моя фамилия Коломбо по-итальянски означает «голубь». Сегодня голубь — это символ мира во всем мире, а голубь, слетающий со страницы открытой книги,— символ подобных встреч. Поэтому позвольте мне рассказать вам нечто об этой прекрасной птице, по всей вероятности вам неизвестное.

Я приехал сюда из Канады. У индейцев-куакиут, живущих на побережье Тихого океана, бытует такая легенда.

Когда земля еще была совсем юной и человека не было и в помине, а дикие звери свободно разгуливали по горам и равнинам, бог Ворон однажды окинул взором свои земные владенья и ужаснулся: повсюду шли войны — пауки высасывали кровь у мух, волки пожирали зайцев, сильные истребляли слабых. Разозлился Ворон и решил принять самые крутые меры. Призвал он к себе голубей, этих безгрешных существ, и обратился к ним со следующими словами: «Вижу, не по душе вам чужие страданья, поэтому и назначаю я вас хранителями мира, дарую власть над всеми животными на земле, с тем чтобы вы боролись с произволом, насилием и убийствами». На этом он отпустил птиц. Голуби были мудрые создания. Они внесли разумный порядок в царство животных. Все зажили мирно и спокойно, и бог Ворон решил отблагодарить голубей. В качестве награды он дал им крылья. А потом бог сотворил человека, и вскоре множество мужчин и женщин, а также их дети расселились на земле. Но хранителями мира по-прежнему остались голуби.

Спустя тысячелетия, то есть фактически вчера, бог Ворон решил проверить, как живут творения рук его, глянул — и содрогнулся: люди убивали людей, причиняли друг другу сплошные страдания. И снова разгневался бог и призвал к себе голубей. «Почему вы не возбранили эти бессмысленные войны? — прокричал он испуганным голубям.— Отвечайте почему? Разве не вы хранители мира?»

Тогда один голубь сказал: «Бог Ворон, нам не стоило никакого усилия поддерживать согласие между животными. Мы только ходили среди них и убеждали. Но мы не в состоянии ходить среди людей и удерживать их от битв и сражений, потому что крылья, которые ты нам подарил, слишком тяжелы».

Бог Ворон смутился. Он дал крылья своим посланцам, но забыл научить их летать. Тогда он начал махать своими большими крыльями, чтобы показать им, как надо парить в воздухе, а потом произнес: «Ну, а теперь летите к людям и несите им мир».

Это случилось вчера, а сегодня голуби летают в вышине. Поэтому я надеюсь, что, когда мы отправимся в родные края, мы прилетим туда, подобно голубям, посланцами мира.

Робер Андре
ФРАНЦИЯ

Два года назад мне выпала огромная честь произнести заключительную речь на первой встрече писателей в защиту мира, и я высказал тогда надежду, что эта встреча не будет последней. Мы должны выразить глубокую благодарность нашим болгарским друзьям, исполнившим это пожелание. Множество событий, произошедших в мире с тех пор, и в частности в Азии, показали, что наша борьба важна как никогда прежде.

К тому же идея объединить нашу конференцию с Годом ребенка, с мыслью о детях кажется мне исключительно удачной. В жизни мне довелось немало размышлять об отношении писателя к детям, к детству. Ребенок — это будущее и в то же время напоминание о том, чем были мы сами; иными словами, ребенок — это память; в наших отношениях с ребенком мы воздвигаем для него, сами того не сознавая, здание воспоминаний, и нередко именно они определят впоследствии его деятельность, когда он, в свою очередь, станет взрослым. Велика наша ответственность перед детьми, и тут я разделяю наши сегодняшние тревоги. Мне хотелось бы подтвердить эти мысли на примере поколения, к которому принадлежу я сам, поколения, появившегося на свет вскоре после первой мировой войны.

Обращаясь к личным воспоминаниям, я должен сказать, что моему детству сопутствовали рассказы о войне, но в них отражались не ужасы войны, а лишь ее героическая сторона; эти рассказы внушали мне представление о том, что война так же неизбежна и естественна, как проявления климата, тогда как мир — просто минутная передышка между двумя схватками.

Целый ряд семейных обстоятельств, в которые я не буду здесь вдаваться, способствовал укреплению таких понятий о войне. Приведу только слова моей бабушки, показательные в этом смысле. При виде свежей газеты она часто спрашивала спокойным тоном, словно осведомляясь о погоде: «Ну что, война уже началась?» Незаметно и как бы подчиняясь непроизвольной пропаганде, я свыкся с фатальной неизбежностью второй мировой войны; я уж не говорю о детских книжках с картинками и рассказах о воинской доблести, неутомимо прославлявших сражения и насаждавших самый узколобый национализм.

И вот я думаю: ведь подобная литература выходила из-под пера писателей, а писатели, как об этом говорил здесь наш коллега Пьер Гамарра, обладают властью прямо или косвенно влиять на воображение детей, на их память и, следовательно, на их деятельность в мире будущего, который нам не суждено увидеть. Наши произведения способны в известной мере подготовить исторические события с помощью образов, которые из наших книг перейдут в сознание грядущих поколений,— понятно, к чему я клоню...

Наш долг — сделать так, чтобы любимые нами дети не унаследовали таких воспоминаний, какие достались на мою долю; пусть их детские годы пройдут не под грохот барабана, по выражению Альфреда де Виньи, пусть их украшают образы миролюбия, которые мы призваны создавать во имя согласия между людьми.

■

III. ИЗ ПРИВЕТСТВИЙ В АДРЕС КОНФЕРЕНЦИИ

Марио Варгас Льоса

ПЕРУ

Уважаемый господин Зарев!

Я благодарен за приглашение участвовать в Международной встрече писателей на тему «Мир — надежда планеты» в Софии. К сожалению, именно в дни встречи я должен присутствовать на Первом конгрессе испано-американских писателей, который будет проводиться в Мадриде и на Канарских островах, поскольку в организации этого мероприятия принял участие и Международный ПЕН-клуб. Искренне сожалею, что эти обстоятельства мешают мне посетить вашу страну и завязать непосредственные контакты с болгарскими писателями, что отвечало бы давним моим стремлениям.

Но хотя я и не смогу быть в Софии, хочу выразить свою солидарность с участниками встречи и передать наилучшие пожелания от себя лично и от имени Международного ПЕН-клуба. В наше время, когда развитие техники сделало возможным — в случае ядерного конфликта — истребление человечества, нет более важной темы, чем тема мира. Писатели по роду своих занятий призваны противостоять подобной угрозе и, создавая общий фронт, становясь выше разногласий, которые могут возникнуть между ними, должны объединяться в борьбе против ужасов войны, ради мира и решения спорных международных вопросов путем переговоров. Выступая в защиту свободы слова, права на дискуссии и других прав человека, Международный ПЕН-клуб всегда поддерживал идеи сосуществования народов и дружбы между писателями всего мира, а следовательно, между народами и культурами, которые они представляют. Желаю встрече, организованной Союзом болгарских писателей, внести значительный вклад в дело мира, самое достойное и неотложное в наши дни.

Примите сердечный привет от своего коллеги и друга

Марио Варгаса Льосы.

Эрскин Колдуэлл

США

Писательский форум в София в этом году — встреча, которая будет способствовать делу утверждения мира во всем мире, послужит мощным импульсом для дальнейших усилий по превращению всеобщего мира в реальность нашего времени. Самые сердечные пожелания всем участникам.

Роберт Пенн Уоррен

США

Уважаемый господин Зарев!

Сердечно благодарю за приглашение. Искренне сожалею, что в силу своей занятости не могу принять участия в этой важной встрече. Желаю успеха в ее работе.

Еще раз благодарю Вас и Ваших коллег из Союза болгарских писателей за приглашение.

Искренне Ваш

Роберт Пенн Уоррен.

Дениза Левертов

США

Самые сердечные дружеские пожелания писателям — участникам второй международной встречи писателей в Софии.

Джон Апдайк

США

Приветствую участников писательской встречи и желаю им успеха.
Надеюсь, что эта встреча принесет миру свет и правду.

Чарльз Перси Сноу

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Самые светлые воспоминания я храню о встрече, состоявшейся в Софии два года тому назад. Она была отлично организована. Я встретился со своими старыми друзьями и приобрел новых. Было много сердечных выступлений, проникнутых духом гуманизма. Два из них до сих пор сохранились в моей памяти — это выступление академика Пантелея Зарева и Евгения Евтушенко.

Ни один нормальный человек не может желать войны. Техника переходит границы дозволенного, но эта же самая техника, как мне кажется, делает войну двух сверхдержав почти невозможной. Мир между великими державами основывается на равновесии сил. Это равновесие необходимо поддерживать, не теряя надежды продлить его как можно дольше. Страшит меня не столько мысль, что равновесие это будет нарушено, сколько само распространение атомного оружия. Оно — в руках безответственных личностей, и существует известный риск, который не могут предотвратить даже великие державы. Будущая война принесет нам огромные бедствия, даже если нам удастся остаться в стороне. Думаю, что следует убеждать не друг друга, а тех, кто располагает возможностью своевольничать и провоцировать войны или атомные взрывы в любой точке нашей планеты. Мы должны взять на себя задачу помешать тому, чтобы атомное оружие попало в руки преступников либо неуравновешенных личностей. Это — нелегкое дело, и оно требует от нас высокой организованности. Если состоится еще одна конференция, мы могли бы заняться и некоторыми практическими вопросами. Главное и насущное — ненависть к войне — у нас есть.

Алехо Карпентьер

КУБА

Обязательство, давно взятое на себя, к сожалению, мешает мне быть среди вас на этой Международной встрече писателей. Мое сожаление становится еще глубже, когда я думаю о том, что она проводится в Народной Республике Болгарии — стране, чьи красоты я знаю и которой искренне восхищаюсь за полнокровие и динамизм ее культурной жизни и высокие достижения в строительстве социализма.

Я считаю, что в данный момент, когда во многих странах капиталистического мира гидра фашизма снова демонстрирует свои гнусные намерения, подобные встречи интеллектуалов, исполненных решимости бороться, нейтрализовать силы реакции и трудиться во имя победы социальной справедливости и поддержания прочного мира, становятся более чем когда-либо необходимыми. И потому я приветствую организаторов этого форума и хочу в этом искреннем послании выразить свою солидарность и полную поддержку целей и ценностей, в защиту которых будут выступать в эти дни писатели.

Горячо приветствую всех собравшихся в Софии и прошу считать, что я нахожусь среди вас в эти дни плодотворной деятельности.

Джанни Родари

ИТАЛИЯ

Мне было приятно узнать, что 7—9 июня в Софии состоится новая Международная встреча писателей, которая будет продолжением первой, успешно прошедшей в 1977 году, и о которой у меня сохранились самые светлые воспоминания. Она дала мне возможность за те дни, полные напряженной работы, встретиться с деятелями литературы, чьим творчеством я восхищаюсь, а также познакомиться с другими людьми, которых я не имел возможности узнать ранее. И сверх всего — возможность открыть для себя прекрасную страну Болгарию.

Первые десять дней июня имеют большое политическое значение для всех итальянцев, в том числе и для журналистов вроде меня. Мои обязанности в газете в связи с выборами у нас, назначенными на 3—4 июня, и выборами в Западноевропейский парламент 10 июня не позволяют, как бы ни хотелось этого, приехать в Софию. Но в августе я буду присутствовать на Международной ассамблее детей, которая состоится в Софии.

Надеюсь, что вы поймете меня и простите мое отсутствие. Сердцем и душой я с вами; желаю, чтобы встреча стала новым этапом в борьбе писателей и людей доброй воли всех стран и континентов за мир.

Джеймс Олдридж

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

С радостью узнал, что после успешной и плодотворной Международной встречи писателей в Софии, состоявшейся в 1977 году, решено организовать новую. Тема этой конференции жизненно важна не только для писателей, но и для всех, кто верит в гуманизм, которым проникнута настоящая литература любого общества.

Сожалею, что не могу присутствовать, но шлю писательской встрече мои самые горячие приветствия, тем более что она проводится в Международный год ребенка, когда все наши помыслы — о будущем наших детей и той роли, которую призвана сыграть литература в сохранении мира.

Благодарю Союз болгарских писателей за широту и гостеприимство при организации этой встречи.

Ален Боске

ФРАНЦИЯ

Поэты, знакомьтесь друг с другом!

Примите мой привет из Парижа и выражение глубокой симпатии! Этого мало, я знаю. Тысячи преград повинны в том, что вместо плодотворной беседы мы обмениваемся монологами. Прозаики обладают хотя бы тем преимуществом, что понимают друг друга, ибо их произведения легко поддаются переводу. С поэтами все иначе. И вот я предлагаю учредить регулярные, не реже раза в год, встречи хотя бы тридцати поэтов из разных стран которым помогали бы и содействовали переводчики. В ходе таких встреч намечалось бы, кого из поэтов желательно перевести, с тем чтобы выдающиеся таланты могли найти путь к читательской аудитории, пусть ограниченной, но растущей.

Мы должны помогать друг другу. Нам не следует ждать, пока случайно какой-либо переводчик пожелает перевести нас. Я не засну спокойно, пока такие поэты, как Ботев и Багряна, например, не появятся на французском, английском, немецком, испанском, арабском, русском языках. Пусть же гостеприимная Болгария возьмет на себя инициативу первой такой встречи. Она могла бы затем выбрать место постоянных встреч в своей или иной стране. Это потребует, конечно, и определенных средств. Постепенно взаимное знакомство поэтов станет фактором миролюбия, может быть, косвенным, может быть, подсознательным, может быть, таинственным и непростым.

В социалистических странах поэтов читают, даже если произведения их находят не совсем понятными для широкой аудитории.

В странах Запада поэты почти не имеют читателя: они свободны, но никто их не слушает. Я бы хотел, чтобы Болгария восстановила здоровое равновесие: поэты должны признать, что их первейший долг — переводить друг друга.

К пожеланию мира я добавлю еще одно важнейшее пожелание: познакомиться друг с другом в процессе работы.

ГОД 1919-й

Слово писателей советской Венгрии

Вступление и перевод с венгерского О. РОССИЯНОВА

Мы немало знаем о мировом значении Великой Октябрьской социалистической революции. Но и до сих пор нас еще ждут неоткрытые страницы, подтверждающие и с новых сторон показывающие, каким событием в первые же месяцы, годы стала она для соседних народов, какие — поистине великие! — ожидания на нее возлагались. Пусть читатель сам судит об этом, познакомясь хотя бы с несколькими писательскими откликами на революцию в России и на свою, Венгерскую социалистическую революцию 1919 года.

Можно было бы привести и другие, «просто» газетные статьи — в них нет недостатка. Ведь Венгрия была не только первой после России страной, где победила социалистическая революция; советская власть вдобавок и просуществовала там (сравнительно, например, с Баварией, со Словакией) дольше всего. Но именно по раздумьям, признаниям, по слову писателей, быть может, всего видней, какой переворот в умах, чувствах, в самой совести произвела социалистическая революция; как глубок был ее нравственно-освободительный, созидательно-гуманный импульс. Даже четвертьвековая хортистская «санация» не смогла его потом совершенно заглушить.

Очень разные венгерские писатели — иные еще не зная, не разбираясь точно, какие исторические силы, какая сложная идейная борьба привели к победе страну «ста миллионов русских мужиков» (А. Карпати), которая теперь всем пролагает дорогу,— сразу же всем сердцем, всем сознанием стали, однако, «слушать» революцию (пользуясь выражением Блока), обратив к ней полные доверия взоры, желая еще по горячим следам научиться у нее, помочь ей. Эта (конечно же, подготовленная глубоко пережитым опытом собственного народа!) открытость, устремленность навстречу революции и лучшему социальному строю особенно покоряет в предлагаемых писательских откликах как правдивое свидетельство огромного обаяния социализма.

Но чему научиться, в чем помочь? Да буквально всему и во всем. Покончив с эксплуатацией человека человеком, перестроить сообразно этому всю жизнь. политику, мораль, психологию и, не в последнюю очередь, литературу, озарить и ее светом общественных перемен. «Конец всякому рабству», капиталистическому, империалистическому,— вот что возвещает Аурелу Карпати Октябрьская революция, словно бы осуществляющая заветные чаяния русской литературы, лирическими реминисценциями из которой одушевлена его статья. Вся официальная национальная история должна быть пересмотрена. Надо развенчать, низложить одних и возвеличить других, прежде гонимых и униженных,— вот какая насущная, в том числе художественно-воспитательная задача видится известному прозаику Дюле Круди. Бичуя, высмеивая венгерских националистов с их великодержавными претензиями, Круди высказывает одновременно свое твердое убеждение художника: пора ввести в литературу новые темы, новых героев — рабочих и крестьян,— писать прекрасные, правдивые, благородные книги о народе и для народа.

И если одни при венгерской советской власти выступали преимущественно как публицисты, разоблачители империалистической, националистической, мещанской демагогии, то другие, как бы подхватывая литературно-эстетический призыв Дюлы Круди, пытались уже претворить свежие факты, впечатления в художественную плоть. Прежде всего публицистом заявил тогда себя Лайош Барта, который доказывал, в частности, несовместимость вскормленного дуалистическим австро-венгерским имперским устройством мадьярского шовинизма с коммунизмом, сберегающим подлинные национальные ценности. И, отправляясь от доводов разума, пускал в ход и острое полеми-

ческое оружие исторического материализма: различал две нации внутри самой же венгерской. Не чуждым саркастической остроты публицистом выступал также прозаик Лайош Надь, о чем говорит его памфлет против некоего собирательно мыслимого обывателя — «гражданина Сомненьева», который свое шкурническое неприятие коллективистского строя прикрывает «философическими» трюизмами о недостижимости всеобщего блага. Блестящим публицистом в те непростые, нелегкие дни показал себя и поэт Дюла Юхас, автор многочисленных честных и умных статей в защиту новой — мирной, интернационалистской — политики.

Вместе с тем Жигмонд Мориц, например, успел опубликовать около десятка очерков — о школах, о новых театральных зрителях, о сельскохозяйственных артелях (часть из них уже известна и нашим читателям). А кроме того, в печати советской Венгрии промелькнуло интереснейшее сообщение, своего рода «подслушанный разговор» о том, что им, Морицем, задуман, если уже не пишется, и целый роман о земледельческих производственных кооперативах. Угадывается настоящее предварение многого из того, что развернулось на селе и в венгерской литературе гораздо позже — после освобождения от гитлеровского и «отечественного» фашистского ига.

Просуществовавшая четыре с половиной месяца советская Венгрия была побеждена интервентами, и пожелания Круди, творческий замысел Морица остались неосуществленными. Но как историческая возможность, как взгляд и порыв в будущее, в свободное, справедливое общество эти мысли и вся публицистика того времени в полной мере сохраняют свое непреходящее значение. Пережитый тогда внутренний подъем никем из венгерских писателей не забылся. Пусть даже поражение венгерской советской власти обернулось для них, как и для всего народа, в первую очередь трагедией. Мы подразумеваем не только собственно преследования, цензурные тиски, но и всю мрачную действительность — гнет ее, который сказывался на общем душевном состоянии, на самих интонациях творчества. Меланхолическая атмосфера несбыточных грез, овевающая межвоенное творчество Круди; ушедшая в подтекст, в аллегорию, приобретшая горько-иронический оттенок насмешка Лайоша Надя — достаточное тому подтверждение.

Но тем не менее их деятельность в советской Венгрии, тогдашние помыслы и надежды навсегда остались светлым, чистым воспоминанием, жизненной и душевной опорой. И для Лайоша Надя, и для Дюлы Юхаса, в чьей лирике нетленным ореолом окружена та весна, созидательный труд, высокое призвание рабочего класса. Можно добавить: и для будущего известнейшего поэта Дюлы Ийеша, в революционную пору еще и не литератора, а просто юноши, мечтавшего о социальной справедливости,— «шестнадцатилетнего гуманиста», по его собственному определению. Для многих и многих в хортистской Венгрии, кто хотел поворота к лучшему и боролся за него.

Остается указать, что публикуемые статьи (в некоторых сделаны в переводе незначительные сокращения) заимствованы из антологии «Все к новому готовятся...», составленной по уникальным источникам венгерским литературоведом Фаркашем Йожефом. Благодаря этой антологии, в сжатом виде переизданной в прошлом году, богатое литературное наследие Венгерской советской республики стало достоянием сегодняшних читателей — большое дело, которое нельзя здесь не упомянуть.

А. КАРПАТИ

РОССИЯ

Свет хлынул с востока, завесы ночи распались, и русские просторы заполыхали алым утренним пламенем. Тургеневское солнце взошло и светит прямо в лицо едва очнувшейся после кровавой попойки Европе.

С изумлением в глазах, изумлением в сердце смотришь и приветствуешь эту загадочную страну, чьи силы дремали столетиями. Сколько же времени — во глубине сибирских руд и в сумрачных казематах Петропавловской крепости, на трущобных конспиративных квартирах — пришлось добуживаться до ее души, заснувшей, затаившейся в грустном, мечтательном взгляде ста миллионов русских мужиков. Два года всего как воспрянула, наконец, ото сна эта долго покоившаяся душа, поведав о своих мечтах недоверчивому миру. И вот взялась их теперь осуществлять с энергией, заряжающей и покоряющей народы. И наблюдающая Россию, готовая уже поверить в чудеса скептическая Европа ждет, желает этого осуществления и помогает ему.

Настал решительный момент великого единоборства коммунистического Востока с капиталистическим Западом. Владычащая над миром по праву разбоя Англия уже пошатнулась под кулачными ударами Геркулеса в меховой шапке, в страхе догадываясь, что свобода, которая семимильными шагами приближается по необъятным просторам, положит конец всякому рабству. Россия, которая, по словам одного из ее сыновей, до сих пор только нагайку подарила миру, протягивает ныне

золотое яблоко свободы, равенства и братства изголодавшимся, истомившимся по ним нациям. Смотрите же с изумлением во взоре и в сердце — и благодарите.

То, о чем полвека назад возвестил своим лирическим пророчеством Гоголь, пришло и готово сбыться: Русь что бойкая необгонимая тройка несется. Дымом дымится под нею дорога, гремят мосты, и все отстает, остается позади. Эх, кони, что за кони! Вихри ли сидят в этих гривах?.. Дружно, разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, полетели, как вдохновенные богом... Россия дала ответ на вопрос, которому внимала издавна, будто и не слыша... Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земли, и, косясь, посторанивают и дают ей дорогу другие народы и государства...

На все поставленные миром вопросы дала ответ Россия.

«Дели хирлап», 28 марта 1919 г.

Д. КРУДИ

НАДО ПИСАТЬ ИСТОРИЮ НАНОВО

*...И*стория, написанная наново, будет книгой разоблачений. Придется отказаться от изящной лжи, которой мы самообольщались целые столетия. Придется смыть румяна со щечек царицы наших грез и заглянуть ей во вскрытое чрево. Придется повергнуть коронованных истуканов, дабы убедиться: они набиты опилками. Совлечь идеальные покровы со святых и героев нашего национального самомнения, которые со скрещенными дланями возлежат на своих катафалках. Пора составить список супружеских измен! Снопом света вспугнуть нетопырей в башне, где в оковах веками томилась истина. Приподнять полог над брачным ложем наших вчерашних националистических идеалов; проникнуть в сказочные гроты, откуда, подобно реву прибоя, сотни лет неслись громовые «мадьярские» призывы. И духовников допросить, которые исповедовали военачальников, магнатов, царствующих особ и валявшихся со всеми ними уличных девок, чтобы допытаться до правды. Надо вызвать из небытия дух Дёрдя Дожи![1] Чтимых же со школьной скамьи великих людей выставить на посрамление нагишом на базарной площади, а кое-кого, может, даже в дегте и в перьях вывалять для восстановления хоть какой-то справедливости.

Пора, наконец, и пролетариату написать свой обвинительный приговор — пролетариату, который заталкивали до сих пор за решетку, едва он осмелится раскрыть рот. Послушаем его правду, которую писал он покамест лишь на тюремных стенах, потому что иначе высказаться ему не давали. Нечего трусить: национальной катастрофы от этого не случится. В ближайших предках нынешний венгр и так уже разочарован — в предках, что полвека знай только руководили им да воспитывали, пока не подтолкнули доверчивого воспитанника к краю пропасти[1]. Вряд ли найдется за последние тридцать лет на венгерском историческом горизонте имя, которое сегодняшнее поколение чтило бы по-настоящему. Пусть же из наново написанной истории узнает оно, что еще его прапрадеды порядком все подзапутали. Кого, мыслящего в духе нового времени, может в самом деле огорчить, что все эти увековеченные в красках, в мраморе и бронзе предки, которыми украшены стены особняков и порталы истории, окажутся никчемными людишками? Св. Августин был вон попрошайкой в молодости — и не стеснялся в этом признаваться, вступив на праведную стезю. На шекспировских венценосных убийц сама же родственница их взирала из королевской ложи в театре «Глобус». Имена низложенных государей предавались поношению на улицах, а провалившимся на выборах государственным мужам базарные торговцы плевали в лицо. Даже святоша, златоуст и непревзойденный репортер Карлейль не щадил жирноголового Людовика, даром что сам страшно гордился, будучи представлен ко двору своим шотландским земляком Вальтером Скоттом. Охотно сдирал парики со своих героев, литераторов и коронованных особ и Теккерей, который писал про них всего забавнее.

О том, что наши графы и герцоги завладели своими имениями вероломными, предательскими и другими бесчестными способами, известно было у нас всем и каждому. Как и то, что Габсбурги, сии недавно неприкосновенные персоны, больны дурной болезнью. Знали мы также, что все

[1] Дёрдь Дожа — предводитель венгерской крестьянской войны 1514—1515 гг.; был заживо сожжен подавившими восстание феодалами. *(Здесь и далее прим. перев.)*

[1] Подразумевается первая мировая война, в которую ввергла страну австро-венгерская правящая верхушка.

историки от Анонима[1] до Михая Хорвата[2] безбожно приукрашивали события. И что все наше официальное прошлое по большей части — печальная, нечистоплотная шулерская игра. Знали, что правота всегда была на стороне бедняков, а не бар и что кумиры наши — из папье-маше. Что портретное собрание, именуемое галереей исторических лиц,— сплошные мерзавцы; ведь на поверхности держались одни подлецы, а настоящих людей гноили в ямах. И все-таки тщетно стали бы мы искать книгу, где изложена подлинная история наших вылупившихся из кукушечьего яйца «национальных» идей. Едва ли у нас найдется король, чьи руки не запятнаны кровью; а мы еще им памятники воздвигали... Скрежет зубовный, стенания, плесень тюремная да нищенский смрад — вот все наши главнейшие исторические достижения. На смену одному властителю приходил другой, но все приносили только несчастья.

Не будем же бояться новой истории, новой Венгрии, взрыва идеалов и взлета революционных людских воль. Пусть гибнет, пропадает, рушится старый мир. Мы уж и так чуть не захлебнулись в его навозной жиже. Мучительнее не может быть жизни, нежели та, что была. Злоключения, которые терпит новый человек, пробирающийся сквозь чащу, отойдут скоро в область преданий. С изумлением оглянется путник с достигнутых вершин на пропасть, оставленную позади. И из книжек, написанных писателями, узнает, как были опасны эти кишащие разбойниками дебри, откуда он выбрался.

Народу, которому столько лет задуривали голову громкими словами, чтобы послать его на бойню или на выборы,— вот кому первым делом надо раскрыть глаза, показав всю историческую ложь. Покончить раз и навсегда с оглуплявшими крестьян календарями, с дешевым детективным и дурацким развлекательным чтивом. Запретить старорежимным винокурам от литературы торговать опять своим мерзким, дурманящим мозги самогоном. Вздернуть их давно пора, этих издателей лубочно-бульварного чтива. Надо, не откладывая, писать прекрасные, благородные книги для народа в новом, гуманном духе, писать историю, свободную от лжи,— писать у ж е с е г о д н я.

«Мадьярорсаг», 16 апреля 1919 г.

[1] Аноним (Anonimus) — безымянный автор древнейшей венгерской исторической хроники (на латинском языке), писец венгерского короля Белы III (1148—1196).

[2] Михай Хорват (1809—1878) — епископ, либеральный историк.

РОМАН О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ КООПЕРАТИВЕ

Вот уж оттаскал бы меня за вихор непревзойденный рассказчик и сочинитель, мадьярский наш сказитель Жигмонд Мориц, узнай он, что я собираюсь его выдать: оповестить, какой замечательный замысел, тема романа сложилась у него за время поездки по Шомоди[1]. Пока он в кофейной с одушевлением рассказывал одному знакомому об этом замысле (теперь, наверно, уже осуществляемом), я, навострив уши, строчил да строчил себе усердно за соседним столиком.

Жигмонд Мориц пишет роман из жизни производственных кооперативов! Венгерский хуторянин для него — уже член артели; победа кооперативного начала на хуторах, в деревнях — и не только в экономике, но в сердцах и душах — уже сейчас для него несомненна.

Фабула романа следующая. Парень возвращается из русского плена. Там он проникся пролетарским духом. Приобретенный в России опыт ставит его во главе движения за кооператив. В грандиозной этой работе находит себе место и любовь. Он просит руки девушки, к которой привязался еще в войну. Отец же ее, тип жадного до земли крестьянина, еще не подозревает, что парень против раздела земли. Он думает, что получит за будущим зятем десяток хольдов[1], и не прочь выдать за него дочь. Но, узнав, что тот — сторонник, даже инициатор артельного движения, берет свое слово обратно и дочь склоняет к отказу. Приходится жениху выбирать между невестой и кооперативом.

Парня глубоко задевает, что без земли девушка не согласна пойти за него, и он еще ревностней берется за организацию кооператива, уходя в эту работу с головой. Тут как раз провозглашается пролетарская диктатура. Крестьянин смекает: малый-то, пожалуй, прав был; теперь он — председатель артели и сельского совета, член окружной сельхозкооперации.

Конечно, в такой передаче замысел может и не показаться слишком интересным. Но под мастерским пером Жигмонда Морица этот сюжет наверняка обратится в увлекательный роман. И, читая, следя за его перипетиями, встречая знакомые фигуры, мы, шомодьцы, не раз, вероятно, расчувствуемся и посмеемся.

[1] С группой иностранных корреспондентов и наркомом земледелия советской Венгрии Жигмонд Мориц посетил в апреле 1919 г. несколько сельскохозяйственных производственных кооперативов, созданных в области Шомодь на бывших помещичьих землях.

[1] Хольд — приблизительно полгектара.

«Шомоди Вёреш уйшаг», 20 апреля 1919 г.

Л. НАДЬ

ГРАЖДАНИН СОМНЕНЬЕВ

Был когда-то гражданин Сомненьев весел, здоров и во взглядах неколебим. «Война — безусловная необходимость»,— твердил он и оппонентов своих отстранял одним мановением руки. Еще в войну и даже после русской революции любимым его публицистом оставался тот, кто заявил: «Полагаю, что революции не заразительны».

На исходе зимы 1918—1919 года, при республике, гражданин Сомненьев начал, однако, принимать на ночь веронал, потому что засыпал с трудом. Днем же беспрестанно жаловался, что у рабочих после очередной забастовки заработки повысились на сорок процентов, а его доходы — всего на тридцать. Так, дескать, больше не может продолжаться, это невыносимо! Да еще эти большевики с их требованиями. Это вообще уже кошмар, полнейшая несуразица. Чистая фантасмагория, по ежедневным уверениям всех ученых и газет. Нет, порядок нужен, твердый порядок! Иначе погибла страна.

Впрочем, не считая нервозности, гражданин Сомненьев был тогда еще вполне здоров. Аппетит ему не изменял, и пищеварение было в порядке. Даже общественно полезные, спасительно-патриотичные мысли приходили ему в голову (к ним, безусловно, относилась такая: «За ноги вешать да расстреливать этих подлецов-коммунистов!»). Словом, все шло более или менее благополучно, разве что к жене, которую звали Изабеллой, обратится он иногда: «Жужи». Ну, да это легко поправимо.

Но тут-то и случись революция. Поначалу гражданин Сомненьев сидел и дрожал как осиновый лист, а устав дрожать, стал возмущаться и в конце концов даже надеяться. Но дни шли за днями, американские самолеты над Будапештом не появлялись, достоверных известий, что французы под Цегледом[1], тоже не было. И гражданин Сомненьев запечалился, будто лирик на сносях. Исхудал и стал даже недомогать. Безапелляционность его перешла в нерешительность, и с уст стали срываться бесподобные афоризмы, мудрецов достойные изречения, в которых изливал он свои колебания. Настоящим философом-социологом заделался гражданин Сомненьев, но не из тех, из догматиков-марксистов, а которые выше всяких повседневных мелочей. Вот так-то!

[1] Город близ Будапешта.

Все мне, мол, ясно; все, мол, я прекрасно знаю и понимаю. И что такое пролетарское государство, и что такое коммунизм; только у меня... ну, как бы это сказать... одним словом, сомневаюсь. Сомнения, видите ли, у него, опасения. Не за себя — о себе он меньше всего думает, жизнью своей готов пожертвовать хоть сию секунду,— а за людей опасается. Да, за людей, за человечество, чью судьбу привык близко к сердцу принимать. Потому что коммунизм, или как его там, всем, может, хорош, да люди-то неодинаковы и никогда одинаковыми не будут. Вот о чем этот Маркс позабыл! Один лентяй, другой прилежный; тот малоежка, этот обжора; тот здоровяк, а этот хилый. И как она, советская власть, ни старайся, зубы, они ведь всегда будут болеть, разве нет? Все очень хорошо и справедливо, только неосуществимо, и вообще не так надо бы, выждать лучше бы, пока само не наладится, а не силком, на грубость, позвольте вам доложить, никто права не давал...

Был у гражданина Сомненьева приятель ему под стать, которому и развивал он каждый день эти соображения, а тот подобные же — ему в ответ, так что приходили они к полному согласию и обоюднейшему удовлетворению, только головами покачивая и печалясь — не о себе, о бедном человечестве, чью судьбу упорно принимали близко к сердцу.

Прошло полвека. Оба досомневались до седых волос, хотя все в мире шло далеко не худшим образом... В один прекрасный день присели они погреться на солнышке, и вдруг полил дождь. Совершенно невозможная стояла погода, дождь не переставал уже недели три; солнце хорошо, если на полчасика выглянет. Шел мимо рабочий и заругался в сердцах на дурацкую эту погоду:

— А, чтоб его, этот дождь. Житья никакого нет, этакая слякоть. С ума сойти!

Сомневающиеся приятели навострили уши, с упоением впивая громкие проклятья. Трясущаяся голова одного повернулась к трясущейся голове другого, и оба просияли.

— Ну? Что я говорил? — сказал гражданин Сомненьев престарелому приятелю.— Можно разве людям помочь? Не осчастливил их все-таки коммунизм.

«Априлиш», 25 апреля 1919 г.

Л. БАРТА

ШОВИНИЗМ И КОММУНИЗМ

Порой вынуждены бывают признать, что коммунизм — строй, несравненно более справедливый и человечный, чем тот, в войну окончательно разложившийся, который свергла пролетарская революция. Но укоренившийся в глубине сознания шовинизм мешает сде-

ГОД 1919-й

лать из этой посылки правильные выводы. Шовинизм никогда не был логичной системой взглядов — и не мог ею быть, потому что требовал возвышения одного народа за счет другого... Где же здесь разумная внутренняя логика? Мешанина из благоприобретенных привычек, разгоряченных чувств и звонких фраз — вот что такое шовинизм...

Шовинизм никоим образом несовместим с коммунизмом, который основывается на равенстве и священном братстве людей и народов, провозглашая их полное экономическое и духовное освобождение, утверждая развитие способностей каждого на благо всех.

Но не попирает ли тем самым коммунизм ценности национальные?

Утвердительно ответить на это могут разве лишь те, что заранее готовы идти против очевидности. Национальное дано от природы, но именно коммунизм ставит целью спасти все человеческие ценности, в том числе прирожденно-наследуемые, обусловленные происхождением, кровной принадлежностью. Именно при коммунизме, созидающем новый способ производства, строящем мир свободы, станет возможным полное раскрытие всех богатств человеческой природы — в противоположность капитализму, который присваивал их и подавлял нераскрытые, неразвернувшиеся силы, способности масс.

Так что кто говорит: «Коммунизм-де я с радостью приветствую, но за венгерскую нацию опасаюсь», тот сам себя морочит и обманывает.

Это лишь добросовестно заблуждающиеся или злонамеренные болтуны, которые красивыми словами хотят оправдать гнет и эксплуатацию, повсюду в мире ведущие к дальнейшему вырождению масс. А что́ сами они, беспокоящиеся сейчас за венгерскую нацию, сделали в свое время для угнетенных и эксплуатируемых? Для влачивших шестисотлетнее крепостное ярмо, огнем и железом усмиряемых венгерских крестьян? Какую жизнь обеспечили угнетенным миллионам? Какую культуру им дали?

Так могут говорить одни лишь закоренелые шовинисты, которые под предлогом «национальных» опасений мечтают возвратить свергнутым классам господство над народом. Те самые шовинисты, напуганные и устрашенные ходом событий, которые согласны на преимущества и свободное развитие в лучшем случае только для венгров и опять-таки лишь в ущерб соседям. Ничего подобного коммунизм никогда не признáет и не потерпит...

Варварская эпоха господства одних народов над другими, возвышения одних за счет других миновала. Время привилегий прошло. Да и какая в них нужда, если со свержением капитала народы смогут создать для себя на земле настоящий рай? Освобождая скрытую энергию масс, коммунизм получит возможность творить такие чудеса, какие трудно себе и представить. Кто же поверит в слова, будто я, мол, за коммунизм, но о нации пекусь?.. Коммунизм и шовинизм — вещи несоединимые, и кто рассуждает так, должен понять: он оказывается в положении врага мирового прогресса, а тем самым и прогресса собственного народа, от чьего имени выдвигает ложные свои доводы.

«Факья», 14 мая 1919 г.

Д. ЮХАС

БЕЗ РАБОЧЕГО КЛАССА...[1]

Без рабочего класса невозможна больше в мире никакая реальная политика. Воздушные замки, карточные домики строить можно, но реальную политику проводить нельзя. Ни в Париже, ни в Берлине, ни в Сегеде, ни в Абадсалоке[2]! Политика же антирабочая была бы просто злодейством или безумием. Это даже Иштван Тиса[3] понял бы; он хотя и плохо, но учитывал реальное соотношение сил. Уменье же учитывать соотношение сил — альфа и омега всякой политики. Подумайте над этим и уразумейте хорошенько, вы, кто собирается созидать что-то, организовывать, упрочивать и торжествовать победу в этот поистине решающий исторический час, у гроба старого мира и колыбели нового строя, новой жизни.

Ибо политика, помимо того, что она искусство, конечно же, еще и наука, и как искусства нет без интуиции, так и науки не может быть без знания фактов, без точного чувства и оценки реальности. И то, что политика до сих пор, в особенности у нас, была по преимуществу занятием прохвостов и высокопоставленных дилетантов, с очевидностью показывает состояние, до какого довели они нынешнее злосчастное или, по слову поэта, «пренесчастнейшее» поколение. Извольте же в исторической перспективе взглянуть, что произошло с этой маленькой страной, с пренесчастнейшей венгерской нацией,—

[1] Появившаяся в оккупированном французскими войсками Сегеде статья Д. Юхаса, в сущности, обращена к державам Антанты.

[2] Село под Будапештом.

[3] Иштван Тиса (1861—1918) — реакционный политический деятель, втянувший Венгрию в первую мировую войну; убит в дни венгерской буржуазно-демократической революции.

взглянуть и рассудить объективно и, насколько возможно, гуманно; взглянуть, воротясь к 1914 году и даже к более ранним внутренним и внешним политическим и экономическим причинам, приведшим к военной катастрофе. Нынче ведь уже не секрет, что война, как с неопровержимостью установил Франц Оппенгеймер [1],— лишь вершина ошибок и преступлений политико-экономического режима, который военными средствами выколачивает то, чего не удалось добиться мирными. Война, таким образом,— лишь иной вид коммерции, логически продолжающий так называемое мирное предпринимательство. Все сегодняшние лишения и неурядицы вытекают из бедствий и неурядиц войны.

А послевоенные революции — и это мы знаем уже не из Оппенгеймера, этому учит нас текущий день,— означают просто-напросто, что народы обнаружили наконец в долгой борьбе своего настоящего врага, истинную опасность для себя, подобно тому как в октябрьскую революцию[2] венгры узрели ее в лице габсбургского дома, который посылал их умирать и убивать ради чуждых им интересов. Революциям (на то они и революции!) не чужды крайности, перехлесты, даже жестокости; но благоволите отнести последние прежде всего на счет истинной их вдохновительницы, их преступной родительницы — войны.

Тэн посвятил огромный труд[3] доказательству того, что Франция и без Великой революции достигла бы того, чего добилась ценой столь кровавой. За своей кафедрой, в стерильной прохладе библиотек, в колбе своих историко-философских спекуляций ученый вывел, как видите, гомункулуса без слез и без крови. Но в реальном, беспощадно хаотическом мире и Андре Шенье, и Лавуазье пришлось жизнь отдать за то, чтобы длинное и красноречивое сочинение Тэна могло вообще появиться. А сколько же понадобилось жертв, чтобы в конце прошлого века началась, народилась новая историческая эпоха, нареченная в науке «новейшей»!

И чтобы слез и крови не было (или было как можно меньше), против этого главная гарантия — распознавать реальное соотношение сил, изучать логику фактов, видеть ход вещей, истинное направление событий. Конечно, это немалое искусство; конечно, это наука, кто же говорит. Без некоторой догадки и прозорливости, без капельки ума и фантазии тут не обойтись, это ясно. Вместо словесного жонглерства надобно знание действительности, вместо жадной, слепой погони за конъюнктурой — трезвое предвидение будущего, вместо красивой легковесности, дешевых, эффектных поз и фраз — честная и солидная реальная политика. Вы, вечно поминающие и обвиняющие толпу, «чернь», которая и воистину, может быть, черна, страшна, как грозная сыпь на теле пораженного недугом общества,— вы бы заглядывали лучше иногда в глубь собственной души. Не там ли, в укор вам, но и в поучение, откроется самая чёрная чернота? В поучение, ибо меньше станете, может быть, шуметь да хвастать, зато обдуманней и разумней поступать!

«Дельмадьярорсаг», 17 мая 1919 г.

◆

[1] Франц Оппенгеймер (1864—1943) — немецкий социолог и экономист.

[2] Речь идет о венгерской буржуазно-демократической революции 31 октября 1918 г.

[3] Имеется в виду исторический труд Ипполита Тэна «Происхождение современной Франции» (1875—1895).

«БОРЬБА, КАК ГОВОРЯТ, ЭПИЧНА...»

Последние дни Николы Вапцарова

Вступление и перевод с болгарского Н. ГЛЕН

24 ноября (7 декабря) исполняется 70 лет со дня рождения замечательного болгарского поэта-революционера Николы Вапцарова.

Советскому читателю нет нужды представлять его — к его творчеству журнал «Иностранная литература» обращался совсем недавно в статье Николая Федоренко «Вапцаров: поэтическая ступень в грядущее» (№ 9, 1979), стихи Николы Вапцарова переводили Николай Тихонов и Владимир Луговской, Леонид Мартынов и Борис Слуцкий, неоднократно издавались у нас его книги[1], а точнее — книга, потому что, рожденный быть поэтом, Вапцаров редко мог себе позволить им быть. «Нет, мне нынче не до поэзии — и хотелось бы петь — не могу...» — этими словами обрывается одно из последних его стихотворений, датируемое 5 июля 1941 года. Вапцаров кончил Морское техническое училище, был кочегаром и техником (одну из своих «песен» он назвал «Кочегаро-интеллигентская»), был партийным пропагандистом и организатором антифашистского подполья и успел выпустить всего одну тоненькую книгу — «Песни мотора». Взгляните на ее обложку, нарисованную великолепным болгарским графиком Борисом Ангелушевым. Фабричные трубы, извергающие клубы черного дыма, которые перечеркивают обложку, говорят не менее красноречиво, чем стихи, и о тревожном времени, когда эти стихи были созданы, и о том, как решительно Вапцаров считал свою поэзию голосом рабочего класса. «Песни мотора» вышли в свет в 1940 году.

Соратник и друг Вапцарова, поэт Младен Исаев впоследствии писал о том времени: «...артисты, писатели, художники, близкие и друзья поэта, его единомышленники стали все шире популяризировать его стихи. Маленькую книжку передавали из рук в руки, ее переписывали, декламировали, она волновала. Но в интересах истины следует сказать, что никто из современников Николы Вапцарова не оценил тогда по достоинству его поэзию. Лишь когда гибель поэта окружила ее поэтическим ореолом, стала видна ее подлинная красота».

Обстоятельствам гибели Николы Вапцарова, последним трагическим и прекрасным страницам жизни поэта и борца, верного друга Страны Советов и посвящена публикуемая нами подборка документов Публикация составлена на основе книги жены поэта Бойки Вапцаровой «Никола Вапцаров. Летопись его жизни и творчества».

Публикация охватывает март — июль 1942 года. Этому периоду предшествовали — вкратце — следующие события. Известие о нападении фашистской Германии на Советский Союз застает Вапцарова в городе Годеч, куда он был выслан под строгий полицейский надзор за организацию в конце 1940 года кампании по сбору подписей среди населения его родного Пиринского края под требованием к правительству — принять предложение Советского правительства о заключении пакта о дружбе и взаимной помощи между Советским Союзом и Болгарией. В сентябре 1941 года Вапцаров возвращается в Софию, и его привлекают к нелегальной работе в составе Военной комиссии ЦК БКП. Он едет в Варну, чтобы передать указание ЦК о помощи прибывающим из Советского Союза болгарским политэмигрантам, занимается доставкой оружия для подпольных боевых групп. В начале ноября Военную комиссию возглавил полковник Цвятко Радойнов[2], летом 1941 года вернувшийся в Болгарию из Советского Союза. ЦК назначает Вапцарова его помощником. В течение зимы 1941—1942 годов Вапцаров в Софии и Варне подыскивает квартиры для встреч подпольщиков, занимается

[1] Никола Вапцаров. Песни о человеке. М., ГИХЛ, 1952; Никола Вапцаров. Стихотворения. М., ГИХЛ, 1959; Никола Вапцаров. Стихотворения. «Художественная литература». М., 1964; Христо Смирненский, Гео Милев, Никола Вапцаров. Избранное («Библиотека болгарской классической литературы»). М., «Художественная литература», 1976. *(Здесь и далее — прим. перев.)*

[2] Цвятко Радойнов (1895—1942) — выдающийся деятель революционного движения в Болгарии. После разгрома антифашистского Сентябрьского восстания 1923 г. эмигрировал в Советский Союз, окончил в 1929 г. Военную академию им. Фрунзе, воевал в Испании.

© Бойка Вапцарова, 1978.

сбором и транспортировкой оружия, распространяет нелегальные антифашистские материалы и т. д. Встречи находящихся в подполье работников ЦК БКП нередко происходят на его квартире.

О дальнейших событиях расскажут документы и свидетельства современников.

«Третьего марта 1942 года был светлый зимний день. С раннего утра «гостем» Вапцаровых был Цвятко Радойнов. Пришел и Антон Попов[1]. В первой половине дня переводили и печатали на машинке речь Сталина, произнесенную 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве во время парада Красной Армии. В переводе принимал участие Радойнов. Антон Попов печатал, а Вапцаров диктовал. Происходило это на кухне, чтобы в случае полицейской проверки можно было бы сжечь все в печке. Речь была перепечатана в 20—30 экземплярах, а вечером все мы занимались ее распространением. Все прошло благополучно». (Из воспоминаний Митки Лаловой — в то время студентки, снимавшей комнату в квартире Вапцаровых. Воспоминания хранятся в Институте литературы Болгарской Академии наук).

«Это было в первые дни марта 1942 года. В букинистическом магазине на улице Гурко я неожиданно наткнулся на исключительно редкую и ценную книгу: большой однотомник Маяковского... Я сообщил Вапцарову, что у меня нет суммы, необходимой для покупки этой книги, что я хотел бы набрать взаймы триста левов и купить книгу и что я согласен на то, чтобы пользоваться ею сообща. Он сказал, что найдет сто пятьдесят левов, что мы купим Маяковского вместе, а потом организуем наиболее целесообразное пользование однотомником.

Мы договорились встретиться на другой день в 11 часов в том же кафе.

Я пришел туда раньше и ждал его с нетерпением. Одиннадцать часов, двенадцать, час — его все не было...» (Из воспоминаний Симеона Русакиева, специалиста по русской и советской литературе, ныне профессора Софийского университета).

«Задержать, произведя тщательный обыск, Николу Иванова Вапцарова — техника, родом из Банско, проживающего по ул. Ангела Кынчева, № 37, III этаж, уч. IV. Если там окажутся посторонние лица, также задержать их до нового распоряжения. Если придут посторонние лица, также обыскать и задержать в квартире до нового распоряжения.

3.III.1942 г.

Н-к отделения Н. Гешев».

(Копия хранится в доме-музее Вапцарова в Софии.)

«Вечером 3 марта 1942 г. Колё вернулся домой поздно, усталый и озабоченный...

Около четырех часов утра Колё разбудил меня:

— Боя, звонят! Кто бы это мог быть? Не полиция ли?

— У тебя есть что-нибудь компрометирующее? Давай уничтожим!

— Нет, ничего нет, посмотри, кто там!

...

— Кто звонит? — крикнула я.

— Свой, гость из провинции, — ответил хриплый мужской голос.

Я открыла дверь и застыла: в переднюю вошли несколько агентов полиции в штатском и двое полицейских с пистолетами в руках. Двое агентов набросились на Колё, схватили его за руки и крепко связали. В квартире нас было семь человек. Всех заставили стоять в передней с поднятыми руками и перевернули вверх дном весь дом.

Обложка книги «Песни мотора» работы Б. Ангелушева. 1940 г.

[1] Антон Попов (1915—1942) — журналист и поэт, коммунист, друг Вапцарова.

Колё сумел мне шепнуть:

— Завтра в два часа придет Васил (подпольная кличка Цв. Радойнова), смотри, чтоб он не попал в капкан, скажи ему, что встреча в шесть часов». (Из книги воспоминаний Бойки Вапцаровой «Когда воскресают миллионы».)

«Был поздний вечер 4 марта 1942 г. За прошедшие сутки врагу удалось захватить одним ударом десятки ответственных партийных деятелей... Среди арестованных были Петр Богданов, А. Романов и Никола Вапцаров — члены Центральной военной комиссии и близкие сотрудники Центрального Комитета». (Из книги члена Политбюро ЦК БКП Цолы Драгойчевой «Штурм».)

«Когда нас арестовали 4 марта 1942 г., Бойка дала нам с собой весь хлеб, который был в доме, около полкаравая. Нас было четверо[1]. Когда в полиции мы решили поесть, Колё отказался от своей доли.

— Я выносливее всех,— убеждал он нас.— Я уже тренированный. В прошлом году, когда меня арестовали, я не ел целыми днями, да и раньше приходилось...

Мы едва уговорили его откусить несколько кусков». (Из воспоминаний Митки Лаловой.)

«...Меня вызвали на допрос. Спрашивали, кто бывал у нас дома. Я назвала несколько семей, не имевших никакого отношения к партии. Два часа шел перекрестный допрос. Увидев, что они не могут узнать у меня ничего существенного, меня повели в другую комнату и велели осмотреть фотографии, разложенные на двух больших столах. Взгляд мой остановился на фотографии Цвятко Радойнова. Я тут же отвела глаза. Стало ясно, что провал серьезный. Я объяснила, что никого из этих людей не знаю.

...Вскоре два агента ввели в комнату Колё. Лицо у него было очень бледное. Он едва держался на ногах. Колё пытались заставить признать, что я была посвящена в его конспиративную работу. Вапцаров сказал:

— Моя жена не интересовалась людьми, которые ко мне приходили. Я поэт, был редактором газеты[2], меня спрашивали самые разные люди. Разве она могла всех запомнить?» (Из книги Бойки Вапцаровой «Воспоминания о Вапцарове».)

[1] Были арестованы Никола Вапцаров, его брат Борис, их двоюродный брат Л. Везюв и М. Лалова.

[2] В 1941 году Вапцаров в течение нескольких месяцев входил в редакционный комитет газеты «Литературен критик», которую решено было превратить в трибуну ЦК РМС (Союза рабочей молодежи — болгарского комсомола).

«В полиции я несколько раз видела Вапцарова. Это случалось в коридоре, когда я смотрела в глазок камеры или когда вели на допрос. Он был страшно исхудавший, отчего казался еще выше, небритый, в наручниках, и, поскольку считался особо «опасным», его всегда сопровождали двое полицейских в штатском. Из арестантов всего этажа его допрашивали чаще всех: с утра до полуночи, непрерывно, каждый день. Мне приходилось видеть его и когда он шел на допрос, и когда возвращался с допроса. Туда он обычно шел сам, а на обратном пути его всегда поддерживали «адъютанты», голова свешивалась на плечо, взгляд витал в пространстве. Страшно было смотреть». (Из воспоминаний Митки Лаловой.)

«В полиции этот зверь Гешев выдумывал невообразимые пытки, чтобы заставить Николу заговорить и выдать товарищей, но он повторял одно и то же:

— Если, по вашим законам, кто-то и совершал преступления, то это только я, потому что мои друзья оказывали мне личные услуги.

Отрицать, что переправлялось оружие, было бессмысленно — провокатор все выдал». (Из книги матери поэта — Елены Вапцаровой «Воспоминания о моем сыне».)

«15 апреля меня арестовали и в течение полутора месяцев подвергали жестоким пыткам... Однажды, когда меня вели на допрос, я случайно в коридоре второго этажа встретился с Колё. Он был почти без сознания, жестоко избит, двое полицейских пинали его и волокли почти как труп. И до сих пор горят передо мной его болезненно широко открытые глаза с большими черными тенями. Я пытался скрыть свое волнение и не показать, что узнал его. Неописуемая боль обезобразила его лицо. На миг наши взгляды встретились, но я не знаю, узнал ли он меня». (Из воспоминаний С. Стоянова, опубликованных в еженедельнике «Литературен фронт», 1972 г.)

«У полицейских есть любимая привычка внезапно, резко распахивать двери арестантских камер. Когда дверь камеры распахнули, я увидел, что в противоположном углу сидит, обхватив руками колени, давно небритый человек с задумчивыми глазами. Полицейские бросили меня на пол и ушли. Тот, кого они назвали «попом» из-за жесткой черной бороды, тут же подошел ко мне. Это был Никола Йонков Вапцаров!

И в эту ночь, когда я терял сознание от боли, и в следующие дни, когда меня вызывали на допросы и возвращали во все более тяжелом состоянии, он забо-

тился обо мне как мать и как близкий товарищ.

...Когда прошел период активных допросов, мы целыми днями и целыми ночами оставались вместе одни и разговаривали не умолкая. Вапцаров, которого долгие месяцы держали в камере одного, теперь был особенно оживлен. Он расспрашивал меня обо всех событиях, о ходе войны, о товарищах на воле. Сам долго и подробно рассказывал мне о своей жизни и о пытках, которым его подвергали.

Помню, как оживленно мы разговаривали о наших молодых прогрессивных поэтах и писателях. Помню, как ласково и одобрительно он высказывался о Веселине Георгиеве Андрееве, который был тогда молодым начинающим поэтом и относительно которого мы были одинаково уверены, что он не согнется в борьбе. С большой любовью и дружеским чувством говорил Вапцаров о наших молодых поэтах и писателях.

...Однажды утром, проснувшись, я прочел нацарапанную гвоздем на верхней части двери, над глазком, следующую строфу:

Борьба безжалостно жестока.
Борьба, как говорят, эпична.
Я пал. Другой сменит меня, только
и всего —
что тут значит какая-то там личность!

(Подстрочный перевод)

Эта строфа родилась в камере Управления полиции. Вторую строфу своего предсмертного стихотворения Вапцаров написал позже, когда находился в Софийской центральной тюрьме.

Рядом с нашей камерой помещались двое других арестантов. С одной стороны был полковник Радойнов... Каждый день, по нескольку раз, Вапцаров присаживался к стене и подолгу перестукивался с полковником Радойновым, они обсуждали состояние арестованных, виды на будущее, обменивались новостями...» (Из воспоминаний Живко Живкова, ныне члена Государственного Совета Болгарии, относящихся ко второй половине мая 1942 г.)

В середине июня начинается процесс «парашютистов» — революционеров-подпольщиков, вернувшихся нелегально из эмиграции в Советском Союзе и активно включившихся в антифашистскую борьбу. Центральной фигурой процесса был Цвятко Радойнов.

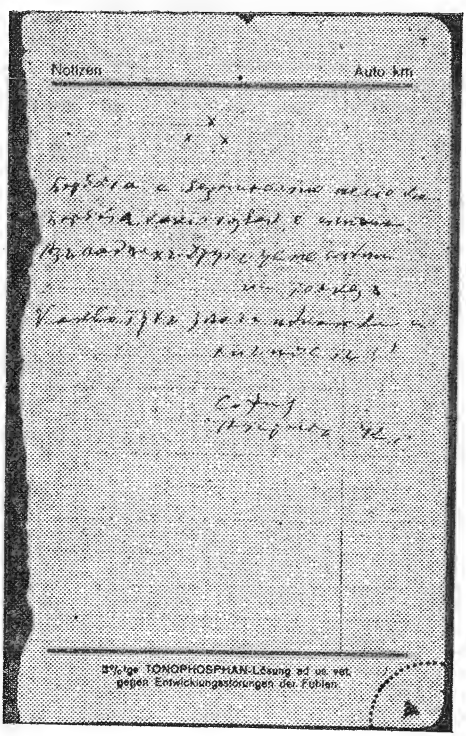
«На процесс парашютистов Вапцарова доставили в качестве свидетеля. В наручниках, исхудавший, заросший, он стоял перед фашистскими военными судьями. Колё сказал, что не знает никого из упоминавшихся лиц, кроме Радойнова, и твердо заявил, что служил только своему народу». (Из воспоминаний Малина Молерова, опубликованных в газете «Пиринско дело», 1959 г.)

«В нашей камере сложился коллектив из пяти товарищей. Мы делились всем, что было, садились обедать и ужинать, когда полагалось, хотя у нас был один черствый хлеб. Часами мы рассказывали друг другу о прочитанных книгах и фильмах, которые мы видели... Когда рассказывал Вапцаров, мы слушали затаив дыхание... Помню, как однажды он рассказывал о стремительном движении поезда в какой-то сцене из фильма и так передал это, что мы все инстинктивно отпрянули, так как машинист потерял управление и поезду грозила катастрофа.

За рассказами следовала литературно-музыкальная программа, а иногда и дружеская борьба, чтобы размять застывшие мускулы. Вапцаров, человек, ожидавший смертного приговора, наравне со всеми участвовал в этой борьбе». (Из воспоминаний Живко Живкова).

«Не помню точно, в какой именно день, я прочел наизусть что-то из Ботева. Он схватил меня за руку и подвел к

Факсимиле первого четверостишия прощального стихотворения



«БОРЬБА, КАК ГОВОРЯТ, ЭПИЧНА...»

углу, к стене под маленьким окошком. Гвоздиком, который он вытащил из подошвы, он написал стихотворение, посвященное жене.

— Тебе нравится?

Стихотворение пришлось мне по душе.

— Будь добр, выучи его наизусть. Через десять—пятнадцать дней меня, может быть, расстреляют. Если тебя освободят, передай его моей жене. Она живет на улице...» (Из воспоминаний Васила Трынкова, опубликованных в газете «Балканско знаме», 1969 г.)

25 июня следствие в управлении полиции было закончено, и 26 июня Вапцарова вместе с другими обвиняемыми по тому же делу переводят в Софийскую центральную тюрьму. Ему вручают обвинительный акт, согласно которому военный прокурор предъявлял обвинение в «измене родине» более шестидесяти коммунистам и требовал для них смертной казни.

«В 1941 г., после объявления войны между Германией и Россией, БКП... становится на сторону России против Германии и начинает усиленную организациоиную и агитациоиную деятельность... коммунистическая партия, по указанию своего Центральиого Комитета, приступает к сбору оружия и взрывчатки для нужд формирующихся боевых групп, устанавливает явки, пароли, шифры, организует тайные квартиры, готовит тайники для людей, оружия и взрывчатки, делит страну на боевые районы и приказывает совершать убийства и общественно-опасные преступления, а в октябре 1941 г. переходит уже к действиям... организуя саботажи (как, например, поджог бензохранилищ болгарской и немецкой армий, повреждение железиодорожного полотна иа линиях София — Русе и Русе — Варна) и т. д. ...Целью этих действий является помешать подвозу войск, боеприпасов и продовольствия для германской армии, помешать нашей армии сражаться против России и ее союзников и т. д. и т. д.» (Из обвинительиого акта. Цитируется по книге Цолы Драгойчевой «Штурм».)

«Нас помещали по восемь-девять человек в камеры, предназначавшиеся, вероятно, на двоих. Мы оказались вдевятером в одной камере— вместе с Вапцаровым и Антоном Поповым». (Из книги Младена Исаева «Незабываемое».)

«Нам, подсудимым, не разрешалось выходить во двор тюрьмы. Нас выпускали только в коридор на несколько минут, когда другие заключенные находились в своих камерах. Но случилось так, что в первый же день мы в последний раз увидели и других заключенных. Когда мы жадно использовали минуты, предоставленные нам для движения по коридору, из соседнего крыла тюрьмы, под строгой охраной, вывели группу арестантов.

— Парашютисты!—крикнул кто-то.— Их везут на полигон!

Через час один из тюремщиков сказал нам, что восемнадцать человек, увезенных из тюрьмы, расстреляны на военном полигоне. Среди расстрелянных был и полковник Цвятко Радойнов... Когда Колё узнал, что Радойнов расстрелян, он лег ничком, и я увидел, как вздрагивают его плечи. Когда он обернулся, глаза у него были влажные.

— Ты знаешь, что это был за человек? — тихо шепнул мне Колё, словно доверяя какую-то тайну.— Такого сердечного, преданного коммуниста, такого внимательного человека и друга я никогда не встречал. Он был поглощен круглосуточной работой. У него не было времени для личной жизни. А когда он узнал, что в нашей семье мы потеряли крохотного человечка [речь идет о сыне Вапцарова], он разволновался и долго расспрашивал и утешал меня...» (Из воспоминаний Младена Исаева.)

27 июня близким заключенных разрешают свидание в тюрьме.

«...Мы вошли в какую-то бетонную клетку, которая была разделена на две части другой клеткой, железной, шириной около метра. Хмурые охранники приказали нам стать лицом к железной решетке. В этот момент с другой стороны узкого прохода между стеной и железной решеткой вошли заключенные. Сквозь двойную решетку они жадно искали глазами своих жен и матерей. Каждый из них кричал, чтобы его услышали с той стороны:

— Здравствуй, Моряк!

— Здравствуй, милая Боя!

Мы просунули пальцы в железный переплет, пытаясь дотянуться друг до друга...

— Какие последние новости с Востока? — спросил Колё...» (Из книги Бойки Вапцаровой «Когда воскресают миллионы».)

6 июля начался процесс членов и сотрудников ЦК БКП.

«Рано утром перед двором казармы близ тюрьмы собрались родные и близкие подсудимых. Стали подходить и свидетели, которые молча кивали нам и тихо переговаривались. Перед казармой образовалось нечто вроде митинга. Нас было около трехсот человек. Скоро ворота открылись, и во двор въехали закрытые полицейские машины с подсудимыми. После выполнения некоторых формальностей часть близких пустили в зал суда...» (Из книги Бойки Вап-

царовой «Воспоминания о Вапцарове».)

«Когда я первый раз вошла в большой зал, я стала искать взглядом сына. Мне все были милы, но мать прежде всего хочет видеть своего мальчика... лицо его было спокойно и чисто. Когда он меня увидел, лицо его озарила та теплая улыбка, которая была присуща ему одному. Наверное, из глаз моих текли слезы, и эти слезы страшно его огорчили, потому что он поднес свои закованные в наручники руки к своим глазам и так дал мне понять, что ему неприятно, что я плачу...» (Из книги Елены Вапцаровой «Воспоминания о моем сыне».)

«Первый вопрос суда был: получили ли мы обвинительный акт и признаем ли мы себя виновными.

Мы все без исключения ответили: не считаем, что своими действиями совершили преступление против народа». (Из воспоминаний Н. Русева, опубликованных в газете «Пулс» 11 июля 1967 г.)

10—13 июля на процессе шел допрос свидетелей. В качестве свидетеля был вызван брат Николы Вапцарова — Борис.

«Последний раз я видел Николу на процессе. Меня привезли из концлагеря Эникёй. В суде меня поставили спиной к подсудимым, чтобы мы не могли сговориться. Я повернул голову и встретился с ним взглядом. Это был не он. Это была его тень. Это был скелет, обтянутый прозрачной кожей. Фашисты высосали из его тела всю жизнь. Продолжительные пытки сломили его. Страшно было на него смотреть. Но сломлено было только тело. Дух его жил. Глаза его смотрели пламенно, с всегда присущей ему человечностью. И тогда, когда смерть возложила свою холодную руку на их головы, он нашел в себе силы улыбнуться мне так широко, так тепло, по-братски, с такой верой в близкую победу, как он улыбался всю свою жизнь». (Из воспоминаний Бориса Вапцарова, опубликованных в газете «Работническо дело», 6 декабря 1959 г.)

Бойка и Никола Вапцаровы (1939 г.)

В качестве свидетеля была вызвана поэтесса Елисавета Багряна, которая должна была дать оценку творчества Вапцарова. Вапцаров имел право задать ей три вопроса.

«После того, как были выполнены формальности, Колё вышел вперед из группы подсудимых и задал Багряне следующие вопросы:

— Вы знакомы с моими стихами?

— Да.

— Имеют ли мои стихи художественную ценность и патриотическое содержание?

— Да.

— Являются ли они вкладом в болгарскую поэзию?

— Да».

(Из книги Бойки Вапцаровой «Когда воскресают миллионы».)

«Пришел и день, когда прокурор произнес свою обвинительную речь. Трайчо Костов стенографировал, но это не осталось незамеченным, и полицейские отобрали у него бумагу и карандаш. На другой день говорили наши защитники. Адвокат Анто Бояджиев заявил, что факты, которые приводятся в качестве доказательства существования заговора, неубедительны, что налицо сфабрикованное обвинение, цель которого — осудить невинных людей. Его лишили слова и удалили из зала. Выступили все защитники. Некоторые из них в сущности не защищали нас, а обвиняли еще более сурово, чем прокурор». (Из воспоминаний Н. Русева.)

Когда судебная комедия закончилась и председатель суда предоставил нам последнее слово, Колё заявил:

— Я действовал с полным сознанием того, что служу своей родине как ее верный сын. Я не раскаиваюсь. Милости ни у кого не прошу. Прошу только оправдать моих товарищей, которые ни в чем не виноваты». (Из воспоминаний Младена Исаева.)

«Я старалась слушать как можно внимательнее, чтобы запомнить последнюю фразу, произнесенную Колё на суде:

— Я боролся за счастье моей родины, я готов умереть за нее!..» (Из воспоминаний Бойки Вапцаровой.)

«Нас вернули в тюремные камеры, и нам пришлось трое суток ждать вынесения приговора...

В течение этих трех мучительных дней и ночей я ни разу не видел, чтобы Вапцаров потерял присутствие духа перед призраком приближающейся гибели. Только однажды поздно вечером, когда, лежа рядом, мы разговаривали шепотом, чтобы не беспокоить спящих товарищей, он сказал мне: «Отвратная штука смерть... Знаешь, незадолго до ареста я как-то шел поздно вечером по обледеневшей улице и подумал о ней. Вот просто представил себе, как пуля пронзает меня, я падаю на мостовую и остаюсь лежать. А мостовая покрыта толстым слоем льда — холодно, безобразно, мучительно. Ледяная дрожь прошла у меня по телу. Смерть! Отвратительно! — И, немного помолчав, продолжил: — А потом пришли часы, когда я сам предпочел смерть жизни. Это было в камере управления полиции. Меня долго и страшно пытали. Я понимал, что меня все равно убьют. Поэтому я решил сам положить конец мучениям. А никаких средств для этого у меня не было, у меня все отняли, не было даже простой иголки. И в эту минуту я увидел в углу камеры неизвестно как попавшую туда маленькую ржавую кнопку. Я обрадовался, когда ее увидел. Вот, сказал я себе, она меня спасет. Взял ее и спокойно воткнул в вену на левой руке. Потекла кровь. Я лег в ожидании конца. Я видел ясно, как кончается моя жизнь. В этой жизни много ужасов, крови и слез, но есть и героические порывы, борьба, подвиги, солнце. И мне страшно стало жалко жизни. Тогда я вспомнил короткую русскую фразу (я слышал ее по радио) и стал ритмично повторять ее: «Враг будет разбит, победа будет за нами». Но в этот миг щелкнул в дверях ключ, в камеру ворвались полицейские. Часовой увидел в глазок кровь и сообщил. Пришел врач, остановил кровь, перевязал рану». И, помолчав минутку, Вапцаров шепнул: «Не дали мне, гады, даже смерть выбрать по своему желанию». (Из книги Младена Исаева «Незабываемое».)

«23 июля, около полудня, нас вывели из камер и под самой строгой охраной повезли в суд.

В отличие от предыдущих дней мы встали рядами перед судом, с наручниками на руках. Немного левее меня стоял Вапцаров, справа — Антон Попов. Абсолютная тишина. К одному из столов подошел офицер. За колоннами притаились агенты государственной безопасности, которые вели следствие. Появились и судьи. Они были в парадных мундирах, при орденах, но не казались спокойными. Словно подсудимыми были они...

Последняя фотография Н. Вапцарова, сделанная в управлении полиции. 1942 г.

— Именем его величества царя...— председатель дрожащим голосом начал читать приговор: — Антон Иванов, Никола Йонков Вапцаров, Атанас Романов, Петр Богданов, Антон Попов и Георгий Минчев осуждаются на смерть через расстрел в срок 24 часа, без права на обжалование.

Наши ряды невольно смешались. Мы стали прощаться с осужденными на смерть товарищами. Я поцеловал Вапцарова и Антона Попова...

Я никогда не забуду этих шестерых, которые шли на смерть,— гордые, серьезные, словно им предстояло выполнить задание партии...» (Из воспоминаний Н. Русева.)

После суда мать и жена Вапцарова добились разрешения на свидание с ним в тюрьме.

«Колё протянул руку... И тут же спросил:

— Что с Севастополем?

Чего бы я не отдала, чтобы сообщить ему какое-нибудь радостное известие с Восточного фронта. У меня не было сил сказать правду, но и солгать я не могла. Радио Москвы передало сообщение Совинформбюро: после многомесячной героической обороны историческая черноморская крепость была оставлена советскими войсками. Колё слегка побледнел. Потом твердо сказал:

— Жалко, что я не увижу, как Красная Армия прижмет к ногтю этих гнус-

ных фрицев. Но ты, Боя, испытаешь это редкое счастье.

Мы все трое смотрели друг другу в глаза... И все трое хотели, чтобы эти мгновения превратились в вечность.

— Милые мои, сколько у вас из-за меня тревог. Простите! Мама, я должен умереть. Постарайся свыкнуться с этой мыслью, успокаивай себя словами твоего Христа: «Если пшеничное зерно не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

Его мать подняла голову и сказала дрожащим голосом:

— Не беспокойся за меня, милый Никола! Не говори так! Мы постараемся что-нибудь сделать, чтоб тебе было лучше, чем сейчас. Может, как-нибудь обойдется.

— Эх, мама, ты еще веришь? Не надо обманывать себя, не обойдется. Что бы вы ни делали, это будет только для вашего успокоения. Да, это конец!..

— Никола, не говори так! — прошептала мать.

И, ничего больше не сказав, она быстро вышла, чтобы не расплакаться, не закричать в голос.

— Боя, утешь маму, приласкай, смотри, чтоб она не слегла...

Пять дорогих минут истекли. Мы уходили и снова возвращались. Нас грубо вытолкали на улицу. Еле живые, свернули мы в какую-то улочку, сели и горько зарыдали. Я развернула листок, который дал мне на прощанье Колё. Сквозь слезы я стала читать:

ПРОЩАЛЬНОЕ

Моей жене

Иногда я буду приходить в твой сон
как нежданный и далекий гость.
Не оставляй меня снаружи на дороге—
двери не закрывай на засов.
Я тихо войду. Кротко присяду,
вперю взгляд во мрак, чтобы тебя
увидеть.
Когда я на тебя нагляжусь,
я поцелую тебя и уйду.

А на обороте листка было написано:

Борьба безжалостно жестока.
Борьба, как говорят, эпична.
Я пал. Другой сменит меня, только
и всего —
что тут значит какая-то там личность!

Расстрел, и вслед за расстрелом — черви.
Это так просто и логично.
Но в бурю мы снова будем с тобой,
мой народ, потому что мы тебя любили!
14 ч.—23.VII. 1942 г.[1].

(Из книги Бойки Вапцаровой «Воспоминания о Вапцарове».)

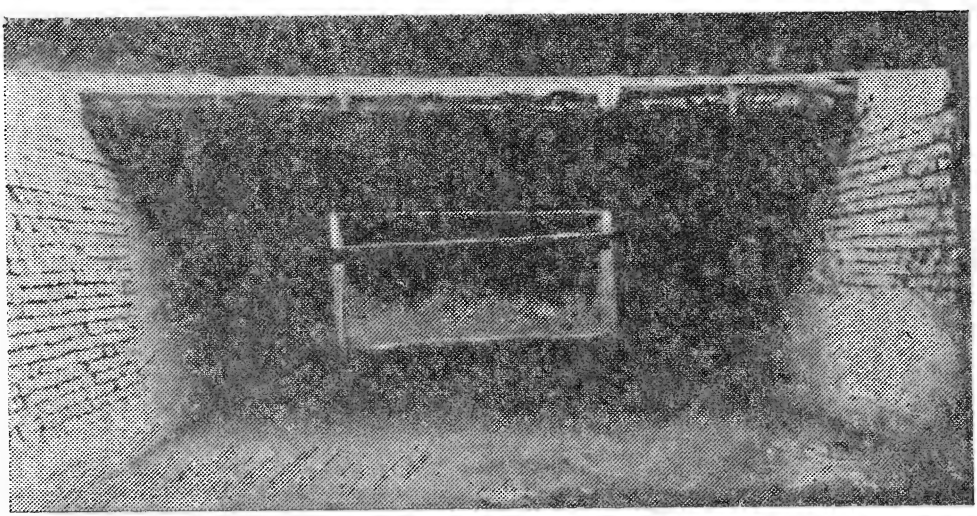
Близкие осужденных, после неудачной попытки добиться приема у военного министра, кидаются к Школе офицеров запаса, куда тем временем повезли приговоренных к расстрелу.

«Увидев нас, высшие полицейские чины страшно рассвирепели. Они приказали нам тотчас оставить казарму. Снова долгие, долгие увещевания... Прокурор разрешил нам остаться... на свадебную церемонию. Подруга Антона Попова, Росица Манолова, решила обвенчаться с ним. Она надеялась, бедная, что после венчания исполнение приговора могут отложить... Осужденные вышли из серой полицейской машины. И снова спросили, каковы сообщения Совинформбюро.

Им развязали руки, и нас тут же окружило плотное кольцо полицейских. Они не спускали с нас глаз.

[1] Эти стихотворения в переводе Евг. Винокурова см. на стр. 3.

Туннель полигона Школы офицеров запаса в Софии — место расстрела Н. Вапцарова и его товарищей.



О чем говорить в такую минуту! Мы стоим, взявшись под руки. Каждый чувствует, как бьется сердце другого. Колё заговорил первым:

— Боя, в последние минуты жизни я говорю тебе честно и искренне, что ты и мама были самыми близкими мне и дорогими существами, но я не смог сделать для вас ничего хорошего... А теперь уже слишком поздно... Простите... Что сказать тебе на прощанье?.. Что ты думаешь делать?..

— Не знаю, не тревожься обо мне...

Я собрала все свои силы, чтобы справиться с волнением. Сжала его руку и прошептала·

— Что сделать для тебя?

— Смотри, чтоб не пропали тетрадки со стихами. Спрячьте их хорошенько. И когда наступит свобода, пусть Христо Радевский их отредактирует и поможет, чтоб их получше напечатали.

Нам сказали, что мы должны прощаться...

Колё обнял меня. Замолчал на миг. Я слышала, как бьется его сердце. Потом мы в последний раз поцеловались.

— Прощай, Боя! Поклон маме и товарищам! — тихо сказал Вапцаров и до боли сжал мою руку.— Прощай, милая Боя!

Нас вывели на улицу и приказали тут же сесть в ждавшую нас машину...» (Из книги Бойки Вапцаровой «Воспоминания о Вапцарове».)

«...Когда обряд венчания кончился, молодая и другие женщины сели в машину, и в момент, когда машина трогалась, сестра Антона Попова обернулась, махнула рукой и громко крикнула: «До свидания, братик! Ты умираешь за свободу, и я умру за нее». И автомобиль отъехал.

Затем шестеро осужденных были введены в средний тоннель полигона, где стоял стол, и выстроены в один ряд. К столу подошел военный прокурор, он прочел приговор, согласно которому шестеро осужденных должны были быть казнены. После чтения приговора священник предложил им исповедаться, но все отказались.

Прокурор подошел к осужденным и спросил, имеют ли они что-нибудь сказать. Антон Иванов произнес: «Я всю жизнь боролся за свободу народа...» Прокурор прервал его словами, что такие декларации сейчас неуместны.

Подсудимые стали отдавать личные вещи, чтобы их передали близким и родным.

Затем Антон Попов громко воскликнул: «Я хочу сказать, господин прокурор, что все это судебная ошибка. Придет день свободы, когда какой-нибудь болгарский Эмиль Золя заявит: «Я обвиняю!» И этим Эмилем Золя будет народ!»

Осужденных подвели к месту казни и связали их. Когда на них надевали бумажные колпаки, Петр Богданов крикнул: «Да здравствует близкая победа Красной Армии!» — и сразу вслед за этим: «Да здравствует близкая победа пролетариата!»

Антон Иванов попрощался с осужденными, воскликнув: «Прощайте, товарищи!»

Все ответили ему: «Прощай!»

Атанас Романов крикнул: «Смерть фашизму! Скоро и вам придет конец!»

Лица, надевавшие бумажные колпаки, отошли в сторону, и осужденные тут же запели всей группой:

Кто в грозной битве пал за свободу...

Осужденные были казнены» (Из рапорта полицейского агента. Публикация газеты «Поглед» № 29, 17 июля 1972 г.)

«Один из последних его наказов, которые он просил Бойку мне передать, был положить на другой день на его могилу букет и, вместо того чтобы носить на кладбище кутью, отнести еды его товарищам в тюрьму». (Из воспоминаний Елены Вапцаровой.)

«Вписав свою славную жизнь, борьбу и героическую смерть в революционную летопись нашей коммунистической партии, нашего народа, Антон Иванов, Петр Богданов, Георгий Минчев, Никола Вапцаров, Атанас Романов и Антон Попов оставили один из самых светлых и вдохновенных примеров самоотверженного служения нашему идеалу — коммунистическому идеалу, нашей вере в счастливое будущее родины, нашей священной дружбе с советским народом.

35 лет назад они пали здесь смертью храбрых, встретили пули бессмертной ботевской песней «Кто в грозной битве пал за свободу, не умирает», доказав тем самым, что никто и ничто не в состоянии убить идеи, подхваченные народом, его решимость завоевать свободу и счастье.

35 лет назад здесь пали смертью храбрых верный сын Болгарии, Герой Советского Союза, доблестный воин и патриот генерал Владимир Заимов, бесстрашные по-

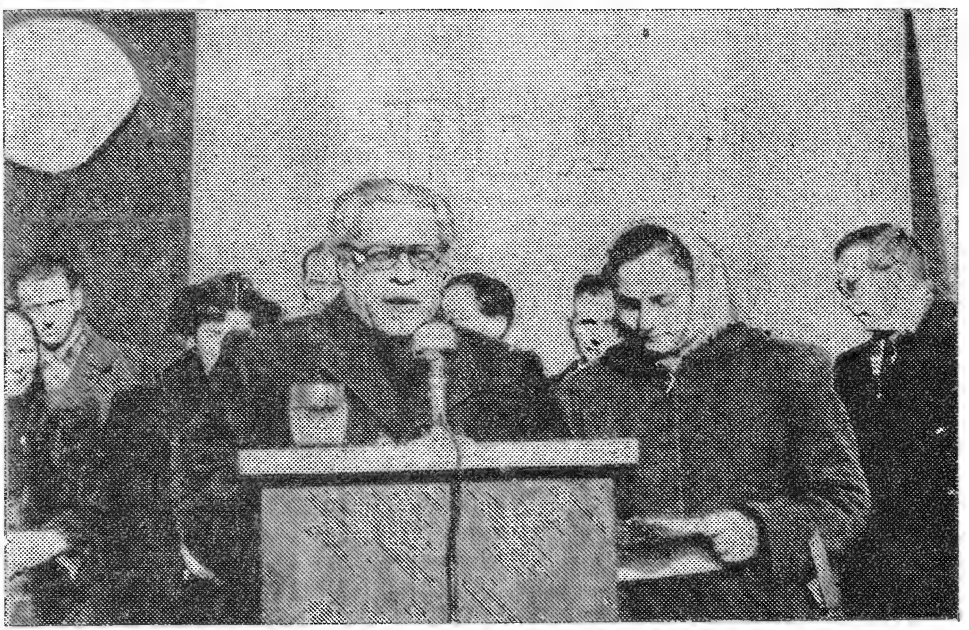
литэмигранты, вернувшиеся из Советского Союза,— полковник Цвятко Радойнов и его семнадцать товарищей-парашютистов, обаятельный и твердый, как сталь, руководитель РМС Адалберт Антонов-Мальчик. Здесь, на пороге нашего нового мира, ремсист неистощимой энергии и жизнерадостности младший офицер Петр Ангелов-Пьер сам командовал своим расстрелом.

Жизнь и подвиг пятидесяти пяти видных деятелей партии, коммунистов, антифашистов и ремсистов, расстрелянных фашистами здесь, на прежнем гарнизонном полигоне, теперь превращенном благодарными поколениями в волнующее святилище героизма и славы, будут вдохновлять трудящихся, юношей и девушек, подростков и детей на патриотические поступки, будут воспитывать у них подлинный патриотизм и интернационализм, преданность коммунистической партии, нашему дорогому отечеству Болгарии.

Всегда будет жив пример героев, которые жили, боролись и погибли по-ботевски и тем завоевали бессмертие!»

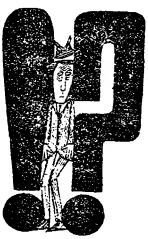
(ТОДОР ЖИВКОВ. Запись в почетной книге музея-памятника «Гарнизонный полигон». София, 27 июля 1977 г.)

Кубинский поэт Николас Гильен произносит речь на митинге в Банско по случаю посмертного (в 1952 г.) присуждения Н. Вапцарову Международной премии мира.



◆

Антирубрика



ЯНУШ КРАСИНЬСКИЙ

ДЫРКА В ЗАНАВЕСЕ

Перевод с польского ЗИНАИДЫ ШАТАЛОВОЙ

Работая длительное время в разных литературных жанрах, я убедился, что приходит день, когда испытываешь вдруг потребность определить к ним свое отношение, понять, какой из этих жанров тебе ближе, какой нет, а какой важнее всего. Со времени моего дебюта минуло двадцать лет. Я подсчитал, что работал за эти годы в семи литературных жанрах: занимался поэзией, прозой, очерками, радио, театром и кинодраматургией, рецензировал произведения живописи и киноискусства. С поэзией я не без боли расстался, это произошло в самом начале моего литературного пути. Затем я простился с очерками и рецензиями на произведения живописи. Остальными видами литературы в большей или меньшей степени занимаюсь по сей день. Времени, однако, остается все меньше, и надо умело распоряжаться им, экономя его для самого главного.

Следовательно, необходим отбор. Что избрать и что отбросить? Каждый жанр по-своему привлекателен, каждое мое решение — как хирургическая операция. Трудно и мучительно мне решить: что важнее? Самой же трудной, самой мучительной была для меня проза или драматургия. Не хочу с ними прощаться, в этом прощании было бы уже заложено нечто трагическое. Удастся ли этого избежать? Попытаюсь определить, что означают для меня оба эти жанра. Для начала несколько слов о драматургии.

Она считается самым трудным жанром. Так ли это? Действительно ли плохую пьесу труднее написать, чем хорошее стихотворение? Конечно, 60—80 страниц на машинке сложнее заполнить разумно, чем одну страницу или даже полстраницы. Но количество не всегда переходит в качество, а последнее — критерий существенный. Роман обычно бывает длиннее пьесы, но разве только поэтому его труднее написать? Такая аргументация лишена смысла. Разумеется, объем вложенного труда имеет немаловажное значение, но он не определяет ни сути творчества, ни степени трудности работы.

ДРАМАТУРГИЯ БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ ЖАНР, ЧЕМ РОМАН, поскольку она оперирует одной-единственной формой изложения — диалогом. Даже монолог в пьесе тоже диалог, так как адресован кому-то; ведь это как бы разговор с кем-то, хранящим молчание. Конечно, надо добавить еще и ремарки: вошел, ушел, целует, дает пощечину. Одни авторы любят ремарки развернутые, другие ограничивают их до минимума. Режиссеры, как правило, их не выносят, особенно вроде таких: «К а р л *(зло)*. Какого черта!» И правильно не выносят, ибо как же еще произнести подобное, если не зло? Никому не нравится, когда ему подсказывают вещи, для него очевидные. И потому в своих первых пьесах я экономил ремарки. Но режиссеры, как и драматурги, бывают хорошие и плохие. Одни умеют прочитать пьесу, другие нет. Так что я очень скоро понял, что к ремаркам надо прибегать в расчете на среднего режиссера, не более того. Ясно же, что я не поеду на генеральную репетицию в театр, который находится где-нибудь в глухомани, у черта на куличках, а уж что там сделают без меня с моей пьесой, страшно и подумать. Право, уж лучше написать: «К у з ь м а *(заботливо)*. Олесь, а ведь я тебя придушу...» — и можно быть уверенным, что хотя бы в этом

месте не будет крика. Но этим трудности не исчерпываются.

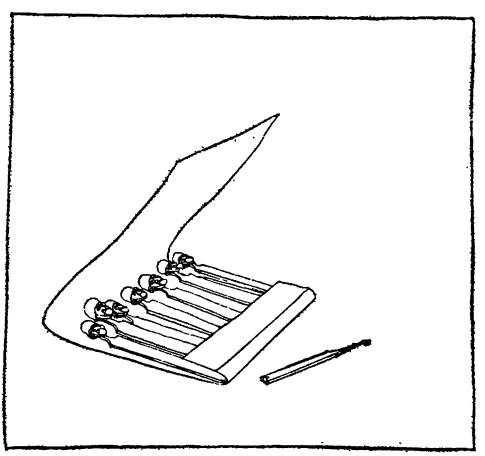
Прозаики знают, как трудно найти правильное соотношение при выборе формы подачи. Тут нужна чуть ли не аптекарская точность. Написал пять строчек диалога, и хватит, а то, что ты хотел сказать в нем дальше,— изложи, но тоже не слишком пространно. А вот здесь, пожалуй, будет лучше дать какое-нибудь размышление, или описать комнату, или, наоборот, изобразить природу. Но, может быть, все это получится куда лучше, если воспользоваться внутренним монологом? В нем также допустим диалог, но зато есть и заманчивая возможность вести монолог в монологе. Этим не следует пренебрегать — читателя утомляет однообразие формы. Почему бы и не разнообразить ему чтение? Выбор наиболее подходящей формы высказывания — это постоянная неуверенность, вечное колебание.

В ПЬЕСЕ С САМОГО ЖЕ НАЧАЛА ВХОДИШЬ В ДИАЛОГ И НЕ РАССТАЕШЬСЯ С НИМ ДО САМОГО КОНЦА. Занавес — и все тревоги позади! Если реплики мешают писать диалог, их можно частично опустить и дописать позднее, Как правило, не они направляют действие. С диалогом — как с городским транспортом: если есть прямой автобус, доезжаешь до места быстро и без хлопот, хуже обстоит дело, если надо делать пересадку. Впрочем, диалог правильнее было бы сравнить с автобусом, у которого разболтано рулевое управление, отчего его заносит на поворотах, а тебя то и дело швыряет из стороны в сторону. Одно непроизвольное движение, одна непродуманная реплика способны опрокинуть в кювет всю пьесу. Ход не с той карты — настоящая катастрофа. Это уводит действие в сторону, вносит психологический диссонанс, деформирует характеры героев и загоняет пьесу в тупик. Выхода нет. «Н-да,— говорите вы,— что-то заклинилось у меня, застрял я...» Что же делать? Приходится опять отступать и заново разбегаться. В таких случаях очень хорошо действует перерыв на один или два дня и краткий визит в бар. Выбить клин клином, забыть о том, что было, и начать жизнь снова. Жизнь в пьесе.

ПИСАТЬ ПЬЕСЫ ВСЕ ЖЕ ТРУДНЕЕ, ЧЕМ РОМАНЫ. Подумаешь, форма подачи! А писатель-то для чего? Справляться с нею — прямая его обязанность. Хуже всего с героями — прямо как с плакучими ивами и кваканьем лягушек в прозе! Ведь по крайней мере двое актеров не менее полутора часов должны топтаться на этих нескольких досках, называемых сценой, а если они и уходят, то только на минуту — не успеешь и оглянуться, как черт уже снова несет их сюда! И все время им нужно давать «материал для разговора», не могут же они молчать! А то, что они говорят, должно становиться все интереснее и интереснее. Так что никаких описаний природы, никаких плакучих ив и кваканья лягушек. Температура на сцене должна расти. Если она вдруг падает и это происходит где-то в середине пьесы — дело плохо. Если же она падает к финалу — дело просто из рук вон плохо! Как подогревать этот ртутный столбик, чтобы ртуть все время ползла вверх? Не знаю. Никто еще не разработал универсальной технологии, всякий раз это приходится делать по-другому, и всякий раз самому.

Хороший роман строится примерно по тем же законам. И тут и там действие должно развиваться, температура — расти, атмосфера — сгущаться, а драматургический узел — затягиваться все крепче. Но

Из альбома рисунков на антивоенную тему ГАНСА ГЕОРГА РАУХА (ФРГ)



в романе мы располагаем неограниченным пространством, и время нас не подгоняет, можно не торопиться. Если же автору наскучит торчать со своими героями в помещении, он может вывести их на настоящую, а не условную природу. Может вообще забыть о них на некоторое время — например, углубиться в рассуждения общественно-политического или философского характера, что даст ему возможность чуточку передохнуть. Пьеса же не дает ни малейшей передышки, ты должен толкать этот воз в гору, и притом толкать все быстрее и быстрее.

НА СЦЕНЕ ГОВОРЯТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ЖИЗНИ. Думаю, что многие зрители этого не замечают. Герои высказывают свои наиболее сокровенные мысли, чего никогда не сделали бы в жизни, а уж в романе и подавно. Здесь же они ни с того ни с сего оказываются совершенно раскованными, действуют и говорят как в состоянии наркотического транса — и никого это не удивляет, никому не режет ни глаз, ни слух. Вот эта неприметная глазу условность речи и есть одна из наиболее привлекательных сторон в сочинении пьес. Условность, не переносимая в прозу, совершенно от драматургии неотъемлемая, полностью отличающаяся от какой-либо другой. Условность и непременная емкость диалога. Поскольку мы не располагаем в этом жанре другими формами, кроме диалога, и только диалога, в нем должно вместиться все остальное. Поэтому, ссорятся ли герои, бранят друг друга или говорят друг другу комплименты, они не имеют права ни на минуту забыть о том, что во время их ссоры или их романа они обязаны высказать нечто большее, нежели только свои взаимные обиды, должны не только обменяться оскорблениями или выражениями нежности. Ибо все, что происходит на сцене,— всего лишь повод высказать некие глубокие суждения. О чем? Обо всем. О том, что есть в нас самих, и о том, что нас окружает. Как вплести это в диалог? Как сделать, чтобы диалог не стал от этого вялым, декларативным, скучным и, наконец, искусственным? Как все это сделать, чтобы при этом диалог остался только незамечаемо условным? А может быть, как раз то самое многообразие форм в прозе, так усложняющее выбор правильных пропорций, все-таки облегчает писателю его задачу? Я уж и сам не знаю.

Есть в драматургии еще одна — вовсе не пустяковая, хоть и не словесная — форма авторского высказывания — РЕКВИЗИТ. Конкретный безмолвный предмет, который способен заменить много слов. Эта его лапидарность изумительна! Я знаю только один случай введения реквизита в прозу: это сделал Сент-Экзюпери в «Маленьком принце». Маленький принц показывает взрослым рисунок удава, проглотившего слона.

Принц спрашивает: «Что это?» Взрослые отвечают: «Шляпа». У них недостает воображения и т. д., и т. д. Дело в том, что Экзюпери не описывает здесь ни слона, ни удава, ни того, что получилось из удава, когда он проглотил слона. Он лишь прилагает рисунок-реквизит. Он знает, что никакое слово не в силах было бы выразить это и описание завалило бы все дело. Рисунок-реквизит говорит сам за себя.

В прозе это единственный случай, исключение. К сожалению, к книге не приложишь даже самого малюсенького предмета, чтобы он подействовал своей конкретностью на воображение читателя. Правда, иногда прилагаются иллюстрации, но они — лишь добавление к словам, реквизит же должен слова заменять...

В пьесе автор может отдать распоряжение художнику-постановщику, и истребованный им предмет заговорит на сцене собственным языком, при условии, однако, что это будет очень важный предмет. Откуда его взять? Из хода главного действия. Поиски этого средства выражения — еще одна из прелестей, таящихся в сочинении пьес.

В одной из моих пьес возница погоняет лошадей не кнутом. Времена таковы, что кнут раздобыть трудно, поэтому он погоняет их... очередью из автомата. Такой реквизит в таком контексте сразу же вводит нас в требуемую эпоху, погружает в соответствующую атмосферу. Сколько потребовалось бы слов, чтобы объяснить зрителю, где и когда все происходит и кто такой человек, погоняющий лошадей! Это заняло бы много ценного времени и утомило бы зрителя. Реквизит выполняет задачу в одну секунду. Достаточно подбросить в добавление к нему еще одну-две реплики. Находка такого реквизита иногда приносит не меньшее удовольствие, чем, например, открытие фресок из Фарраса. Так что же легче писать, прозу или пьесы? Не знаю. Знаю только, что есть прозаики, мечтающие написать пьесу, и есть драматурги, мечтающие написать роман.

КТО ИЗ НАС НЕ ЗАГЛЯДЫВАЛ В КАКУЮ-НИБУДЬ ЯМУ? В грот? В пещеру? Вероятно, каждый. Глубокая, непроницаемая тьма, дна не видать — это возбуждает воображение. Что-то там в глубине зашуршит сейчас, что-то оттуда выползет... Это и есть сцена, уважаемые! Ее не заменят ни экран кинотеатра, ни телевизионный экран. Никто, включив телевизор, не трепещет, напряженно ожидая, что именно он увидит на этом экране. Нет глубины, нет тайны... Сочиняя пьесу, автор точно смотрит сквозь дырку в занавесе — без устали заглядывает в эту темную яму. Ему и самому интересно, что оттуда выползет. Может, как из ящика Пандоры, выползут ядовитые змеи и отвратительные черви. А может, вылетит яркая птица или ангел... Нет, выходят актеры. Но кто они такие? Не так уж они сильно и отличаются от того, что могло появиться из грота: иногда это страшно, иногда странно, а иногда так чудесно, что даже глазам больно,— человеческие характеры. Они выходят на сцену со своими проблема-

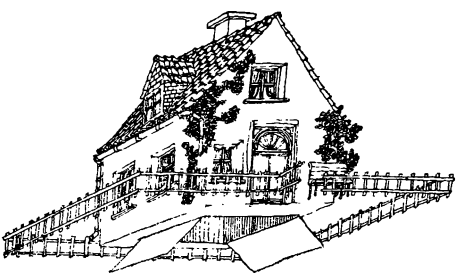
ми, комплексами, навязчивыми идеями, претензиями к другим людям, ко всему миру и начинают постепенно открывать себя... И сознание, что это я вытащил их из этой непроглядной темени, из этой непроницаемой глубины, приносит огромное удовлетворение. Это не литературные образы. Это настоящие живые люди.

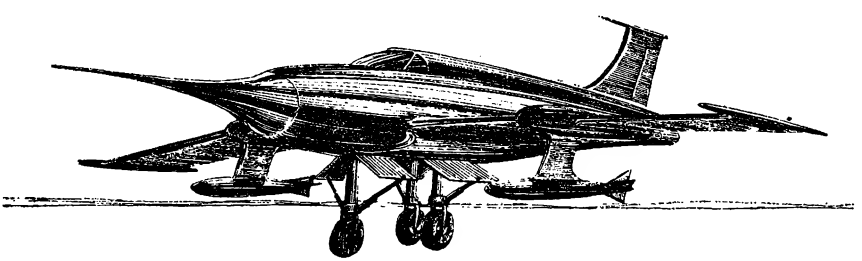
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ АКТЕР? Что это за создание? Чудесное явление природы! О хамелеоне говорится как о чем-то совершенно исключительном в природе. Но ведь он меняет только цвет, кожицу. Актер меняет всю свою личность. Это дар сверхъестественный. Я, например, если бы даже напряг все силы, все равно не сумел бы стать кем-нибудь другим. А тут человек, которого я встречаю в актерском клубе, где он нормально разговаривает со мной и вообще ничем не выделяется среди других посетителей этого дома, вдруг появляется на экране телевизора в роли Иглы из моей пьесы «Партизанские постои». Вначале неприятное изумление. Я писал эту роль, четко представляя себе внешний облик моего героя, ну, может быть, черты лица видел не очень ясно... Однако нижняя челюсть у него точно выдавалась вперед! А тут вдруг режиссер преподносит мне актера, о котором говорили, что он прекрасно чувствует себя в роли героя-любовника. Ну куда же ему, с его мягким лицом и милой улыбкой, играть главаря группы польских ультранационалистов? Ну не-ет! Однако после первых же сцен я сам начинаю его бояться. Нет ни героя-любовника, ни какого-то знакомого из актерского клуба — передо мной упрямый, жестокий рубака, разумеется со всей его трагедией и метаниями. И кто же убедит меня, что это не сверхъестественный дар? Не исключительное явление в природе?

Как это происходит, как природа создает людей для чего-то, что сделано не ею, но человеком? Например, она создала Шопена вскоре же после того, как было придумано фортепиано,— создала для фортепиано! Или театр — дело рук человека, но таланты для него поставляет природа. Удивительно! Гораздо удивительнее любого хамелеона! Театру уже две с половиной тысячи лет, а природа не устает подкидывать ему таланты иногда более, иног-

---

Из альбома рисунков на антивоенную тему ГАНСА-ГЕОРГА РАУХА (ФРГ)





да менее щедрой рукой. Должен признаться: ничего не понимаю! Но когда я слышу, что новейшие театральные теории провозглашают актера лишь элементом декорации, мне хочется так двинуть по этим «декораторам», чтоб из них и их декораций пыль пошла! Я далек от веры в возмездие по ту сторону жизни и потому подвешивание актера над сценой, к примеру, когда он привязан к лестнице, только чтобы ее украшать, считаю грехом, достойным немедленного наказания.

Сказанное мною вовсе не означает, будто я недооцениваю декорации. Я лишь считаю, что ей следует знать свое место. Она должна быть как литера в книжке, помогающая прочитать содержание, а не как куколь в хлебах — красивый цветок с ядовитыми семенами. Разрастаясь чрезмерно, он становится опасным сорняком. Декорация далеко не всесильна, она никогда не заменит в театре ни слова, ни актера, ни режиссера. Знаю, знаю, знаю... что декорацией можно все выразить, но я знаю также и то, что при помощи декорации можно все уничтожить. Театр — это слово и актер... а режиссер — это тот, кто знает, что с ними сделать.

То, что я так отвожу в сторонку режиссера, совсем не означает, будто я недооцениваю его роли. Просто я говорю о том, что, по-моему, самое главное на сцене,— об актере.

ЕСЛИ ЧТО-НИБУДЬ И ОТТАЛКИВАЕТ ПИСАТЕЛЯ ОТ ДРАМАТУРГИИ, так это роль девицы на выданье. «У меня неплохое приданое,— говорит автор,— и я ищу соответствующего мужа». А с мужьями, дело известное, можно и нарваться. У каждого жениха в запасе столько красивых слов, каждый из них так талантлив, каждый уже совершает блистательную карьеру или находится у самого ее порога. И у каждого — обязательно аристократические манеры. Женихи поглядывают на вас свысока, с высоты своих постановок Шекспира или Стриндберга, и при этом у них такое выражение лица, будто эти имена их собственное открытие. Открыть еще одного писателя, да еще с такой привычно польской фамилией, для них — просто тьфу. Так что девица краснеет, робко предлагает свое приданое и возвращается домой с горящими глазами: счастье-то какое привалило, такая партия! А потом как в жизни: серая, тоскливая действительность. Постановка... так себе. Или гладенькое, аккуратненькое перенесение пьесы с бумаги на сцену, или какое-то сплошное недоразумение: мужские роли заменены женскими и наоборот, увеличено число действующих лиц, потому что надо было занять в пьесе еще одну знакомую актрису, которая как раз захотела что-нибудь сыграть. Все распределено среди знакомых, приятель-художник (разумеется, гений) наворотил на сцене столько всего, словно ему платят гонорар за каждый погонный метр декорации... Что же потом? Кто обычно бывает виноват в жизни? Жена. А в театре? Автор.

К счастью, в театре допускается полиандрия. Еще один жених, следующее замужество, еще один... глядишь, в который-то там раз и получится. Зазнайкой он, конечно, тоже был, этот последний, но оказался талантливым. Бог с ним, пусть задирает нос, главное — спектакль удался. Есть все, что нужно, и даже более того. Каждая сцена продумана заново, для каждой из них — оригинальная идея, автор находит у себя в тексте новые возможности, которые ему даже и не снились, когда он писал пьесу. Посаженное им растение не выродилось, бутон, раскрывшись, превратился в крупный цветок. Хочешь не хочешь — писатель вынужден признать в режиссере второго художника. Он не сердится на него за то, что созданное им произведение теперь приняло иной вид. Он знает, что роль автора кончилась в тот момент, когда он отдал режиссеру свою пьесу, и что режиссер сделал с пьесой то, чего он сам сделать не сумел бы. Наконец-то полное счастье! Но сколько до того было разочарований, унижений... А недоброжелательство директоров театров: польская пьеса, польский писатель... кто его знает, какие могут возникнуть трудности. Куда как спокойней отделаться классикой или переводной пьесой. Впрочем, и публика предпочитает польским пьесам переводные.

ПОЭТОМУ ПИСАТЕЛЬ, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ И ДРАМАТУРГИЕЙ И ПРОЗОЙ, БУДЕТ ОТХОДИТЬ ОТ ТЕАТРА ВСЕ ДАЛЬШЕ. Чем трудней попасть на сцену, тем меньше энтузиазма у писателя, тем меньше ему хочется писать для театра. А без энтузиазма... что-что, но пьесы уж никак не напишешь. Проза — не меньшее искусство. И издатели более доброжелательны, чем директора театров. Писатель в издательстве не назойливый тип, а желанный человек, которому здесь искренне рады. Проза же обладает не меньшей силой притяжения, чем драматургия. Это самый богатый из жанров. Собственно говоря, в ней содержатся все другие жанры: драматургия, поэзия, эссе... Но есть в ней и еще нечто, быть может наиболее притягательное — ее полная самостоятельность. Ей не нужен никто и ничто, и она не должна обслуживать кого-то или что-то. Ей не нужны ни радиостудия, ни киностудия, ни телестудия, ни театральная сцена, ни костюмы, ни туалеты, ни раздевалки, ни стоянки для автомобилей; она не нуждается ни в актере, ни в режиссере, ни в художнике, ни даже в самом главном человеке, если речь идет о кино,— в директоре картины. Писатель-прозаик сам себе и режиссер, и художник, и актер, и звукооператор, и осветитель. Он сам себе кинокамера и прожектор. Направляет свет на то, на что нужно, и оставляет в тени менее важное. Но самое главное — он избавлен от капризов какого бы то ни было директора: сам составляет свой репертуар, а произведение свое доводит до возможно более высокого художественного уровня, перед тем как отдает его в руки издателя.

НЕМЕЦКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ЭПИГРАММА

Перевод с немецкого ВАЛЬДЕМАРА ВЕБЕРА

АБРАХАМ ГОТХЕЛЬФ КЕСТНЕР

(1719—1800)

ПАМЯТНИК

Тот, кто весь век глумился над пиитом,
Решил ему воздвигнуть монумент.
Не проще ль хлеба в нужный дать момент,
Чем после смерти потчевать гранитом?

ГЕНРИХ ФОН КЛЕЙСТ

(1777—1811)

НЕСВЕДУЩЕМУ КРИТИКУ

Прежде чем нас обучать искусству письма, в совершенстве
Должно тебе, дорогой, чтенья искусство постичь.

ИОГАНН ГЕНРИХ ФОСС

(1751—1826)

ОПЕЧАТКА

Внемли, мой Ральф, разумному совету:
С наборщика за опечатку эту
Не взыскивай! В ней скрыта, без сомненья,
Вся прелесть твоего стихотворенья.

ФРИДРИХ КРИСТОФ ВАЙСЕР

(1761—1836)

ТОСТ

Ральф, говорят, твой новый труд
Посмертно внуки издадут?
Я поднимаю свой бокал
За то, чтоб ты не умирал.

ЛЕОПОЛЬД ФРИДРИХ ГЮНТЕР ФОН ГЁКИНГК

(1748—1828)

ПОЛЮ

Известно всем, что для потомков пишет
Свои стихи неутомимый Поль.
Однако наше ухо их не слышит.
Пиши, пиши для них! А нас — уволь!

ОТТО ЭРНСТ

(1862—1926)

КАРЬЕРА

Вокруг себя струя елей волшебный,
Он воздавал и дьяволу и богу —
Вот почему по лестнице служебной
Он опускался кверху понемногу.

МОРИЦ АВГУСТ ФОН ТЮММЕЛЬ

(1738—1817)

ЭПИТАФИЯ РЕКРУТУ РЕЙХСАРМИИ

Под этой плитою лежит Иоганн,
Рекрут недавний. Когда б сей болван
От страха не помер, пред целым бы миром
Прославился б он наравне с командиром.

ЛЮДВИГ ФУЛЬДА

(1862—1939)

Речь — серебро, молчанье — злато...
Пословица ни в чем не виновата,
Когда брюзжит ворчун, на всех сердит:
— Не все то злато, что молчит!..

БЕРТОЛЬТ БРЕХТ

(1898—1956)

ЭПИТАФИЯ М.

От акул я ушел,
Тигров я умертвил,
Съеден был я
Клопами.

ДОЛГОЖДАННАЯ КНИЖКА

МАЛЕНЬКАЯ РЕЦЕНЗИЯ

И. Игин, художник-карикатурист, пишет в своей книжке «Улыбка Светлова», что поэт часто шутил:

— Что такое знак вопроса? Это состарившийся восклицательный.

Помню, мне очень понравилось это определение. Оно приписывалось Светлову, и при встрече с ним я сказал:

— Здорово вы придумали насчет вопросительного и восклицательного знака!

Михаил Аркадьевич возразил:

— Это вовсе не я придумал. Я просто повторил прекрасную шутку, но чью — не знаю.

Так я впервые познакомился с афоризмом польского сатирика Леца, еще не зная, что это Лец. А Светлов оказался одним из первых, кто его похвалил, также не зная, что речь идет именно о нем.

Потом стали появляться журнальные и газетные публикации с остроумными изречениями Леца. И с каждой такой публикацией число его почитателей росло. Будучи в Польше, я получил при помощи польских друзей — от самого Леца! — его книжку «Myśli nieuczesane» («Непричесанные мысли». Краков, 1959). Разбирал со словарем и, когда доходил до смысла, смеялся. Затем я достал немецкое издание — «Unfrisierte Gedanken» («Непричесанные мысли». Мюнхен, 1964), причем это было уже шестое издание.

Непонятно было лишь одно: почему же нет отдельного издания афоризмов Леца на русском языке?

Не прошло и двадцати лет со времени выхода краковского издания, как появилась книжка: Станислав Ежи Лец. Непричесанные мысли. Перевод с польского и предисловие Вл. Россельса. М., «Прогресс», 1978. Издание сравнительно полное, перевод сделан опытным мастером.

Не станем упрекать издательство «Прогресс» в медлительности. Лучше похвалим его за то, что книжка в конце концов вышла. Я считаю, что педагогически это более правильно.

И в этой книжке, на 47 странице, я обнаружил афоризм, который некогда восхитил Светлова: «Одряхлев, восклицательный знак становится вопросительным».

Тираж книжки небольшой. Я был одним из тех удачливых 10 000 читателей, кому она досталась.

Читать ее — истинное наслаждение. Афоризм — вообще уникальный жанр. Это всего лишь одна фраза. И в то же время — законченное произведение. Поэтический «атом», который уже не делится. Сокращать афоризм нельзя — дальше некуда.

Читаешь Леца, и такое ощущение, что автор — невидимый снайпер. Удар, вспышка — и цель поражена. И не сразу переходишь к следующему афоризму — тот, что прочитан, как будто тебя не отпускает. И смешит, и настраивает на серьезный лад, как это ни парадоксально.

Даже слово «краткость» кажется недостаточным, когда речь идет об афоризмах Леца. Тут уже какая-то молниевидная сверхкраткость.

Чехов выписал из Альфонса Доде:

«— Почему твои песни так коротки? — спросили раз птицу.— Или тебе не хватает дыхания?

— У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все».

У Леца — другое объяснение: «Почему я пишу так коротко? Потому, что не хватает слов».

Как строятся афоризмы Леца?

Если представить себе карту человеческого сознания, на ней, наверное, оказалось бы достаточно общих мест и хоженых-перехоженых дорог. Разговаривая друг с другом, мы, сами того не замечая, сыплем испытанными заготовками, ходовыми стереотипами. А иной человек и вовсе — как трамвай. Все спасение в

заранее проложенной колее. Причем, как известно, трамвай назад не ходит, так что езда тут односторонняя.

Так вот Лец — последовательный противник подобного одностороннего движения. Он с ошарашивающей неожиданностью направляет мысль в обратную сторону — противоположную привычной.

«Чтобы добраться до источника,— утверждает он в одном своем афоризме,— надо плыть против течения».

И вся книжечка Леца может быть уподоблена парусному суденышку, которое отважно плывет против течения и против ветра. Обычной логике вопреки.

Когда говорят, например, о Герострате, упоминают его в одном смысле: преступник, сжег Эфесский храм. Но у Леца свой взгляд, и он признается: «Не могу кипеть от возмущения, слыша имя Герострата, пока не увижу архитектуры храма Дианы в Эфесе».

В другом афоризме, который, к сожалению, не вошел в это издание, Лец пишет: «Не надо забывать, что и бактерии всматриваются в нас с другой стороны микроскопа».

Занятию с микроскопом придан обратный смысл: человек, склонившийся над ним, вдруг сам оказывается предметом рассмотрения — его разглядывает бактерия.

Так каждый раз — сатирик просто не терпит стереотипов речи и мышления, как будто выворачивает их наизнанку, открывает в них новое, оборотное значение.

«Чистая совесть»— казалось бы, выражение ясное и недвусмысленное. Но у Леца все сатирически переосмысляется: «Совесть у него чистая. Не бывшая в употреблении».

Известная пословица: «В доме повешенного не говорят о веревке». Лец позволяет себе только спросить: «А в доме палача?»

Есть выражение: посыпать голову пеплом. Под пером сатирика оно приобретает совсем другой смысл: «Посыпал голову пеплом своих жертв».

Как видим, Лец порой доходит до такого смеха, когда уже, кажется, не до шуток.

В странном мире афоризмов Леца, где обычная логика утрачивает свои права и оказывается поверженной,— в этом мире и отдельные слова начинают играть непривычными значениями.

«Правило: пусть живые соблюдают на кладбище тишину, если это удается даже мертвым».

Здесь с какой-то удивительной, невозмутимой парадоксальностью звучит слово «даже». Сказано так, будто именно мертвым и труднее всего соблюдать тишину.

Сходный пример, правда уже лишь для читателя после 16 лет: «Настоящего мужчину узнаешь, даже когда он голый».

Количество тем и персонажей книжки Леца так велико, что ее вполне можно было бы назвать Малой сатирической энциклопедией.

Он пишет о слове: «Вначале было Слово — потом появилась фраза». О назначении человека кратчайший ответ: «Быть им». О самовлюбленных: «Влюблен в самого себя, а быть самим собой не может». О жалкой мечте рабов: «Рынок, где можно было бы покупать себе господ».

Во многих его записях чувствуется дыхание времени, войны против фашизма, в которой участвовал Лец — и как воин, и как писатель.

Читать Леца весело, грустно, поучительно. Рецензировать — трудно. Все время хочется цитировать. Просто глаза разбегаются — столькими изреченнями хочется поделиться. И тут уже возникает опасность, что рецензия превратится в еще одну публикацию.

Я сказал, что принадлежу к тем 10 000, которым хватило тиража книжки. Но за этим эгоистически-радостным признанием следует альтруистическая мысль: а как же 10 001-й читатель, которому книжка уже не достанется? И 10 002-й, 10 003-й? Пусть издательство «Прогресс» подумает и о них.

Единственный недостаток издания «Непричесанные мысли» в том, что оно сразу же не переиздано.

◆

Наши гости

Хулио Травиэсо

КУБА

Писатель он по призванию. А вообще-то Хулио Травиесо — преподаватель экономики Гаванского университета. Для Кубы такая «раздвоенность» не исключение: литератор помимо чисто творческой работы обязательно проявляет себя и в другом общественно полезном труде.

Наша беседа велась по-русски, которым Хулио владеет свободно. Он шутливо заметил: «Я пока единственный кубинский писатель, знающий русский язык. Но, похоже, в лидерах мне долго не продержаться. У молодых завидные способности к языкам...»

Разговор начался с романа «Чтобы убить волка...» [1].

— Для меня публикация в вашем журнале большая честь, да и не только для меня — для всей нашей молодой литературы... Роман «Чтобы убить волка...» в прямом смысле был мной выстрадан. Некоторым читателям может показаться, что он перегружен насилием и кровью. Но ведь это лишь малая толика того, что было на самом деле, что пережил лично я и мои товарищи по борьбе. Я писал книгу два года — два года пытаясь отойти и обобщить, вновь приблизиться и вновь коснуться пережитой нами боли и надежды.

Долг перед погибшими друзьями настоятельно требовал создания произведения о революционерах-подпольщиках. Но я долго думал перед тем, как взяться за перо. И вот решил, по завету Хемингуэя, писать о том, что сам пережил и хорошо знаю. Я пытался создать обобщенный портрет подполья. Вы ведь знаете, до революции у нас было три основных организации, которые вели активную борьбу в подполье: Народно-социалистическая партия, «Движение 26 июля» и «Революционный директорат 13 марта». У каждой организации были свои герои. Но не умаляя их конкретного вклада в дело революции, я хотел воспеть наше подполье как таковое, его страданье, жертвы, его боевую страсть. Мне кажется, в чем-то я достиг цели. Повесть выдержала на Кубе два издания, в том числе второе — тиражом 60 тысяч экземпляров, для моей страны это большой тираж.

Мы просим нашего гостя подробнее рассказать о себе, о своем пути в литературе.

— Видимо, придется начать с анкетных данных — не так ли? — с улыбкой говорит Хулио.— Я родился в 1940 году в Гаване. Родители мои, добрые и милые люди, когда-то учились в университете, но закончить его не смогли из-за материальных трудностей. Они были членами Народно-социалистической партии. Атмосфера в доме, не меньше чем обстановка в школе, способствовала тому, что я всей душой возненавидел кровавую тиранию Батисты. Ненависть эта стала определять мою жизнь. Я рано узнал о том, что такое бутылка с зажигательной смесью, пистолет... Первый арест, допросы, освобождение, подпольная работа, организация забастовок, студенческих выступлений, актов возмездия. Потом новый арест, пытки, тюрьма. Вы, очевидно, обратили внимание, что в романе «Чтобы убить волка...» почти все революционеры — юноши, молодые люди. Это не случайно. Такое было время. Молодежь особенно остро ощущала всю несправедливость и жестокость диктатуры Батисты. Вспомните, что и Фиделю было всего 25 лет, когда он с горсткой смельчаков штурмовал Монкаду, и 30 — когда его «бородачи» триумфально вошли в Гавану...

Но я, кажется, отвлекся... Так вот, 1 января 1959 года на Кубе победила революция. Двери тюрем были распахнуты. Прак-

[1] «ИЛ» № 1, 1979 г.

тически власть в Гаване до вступления повстанческой армии почти неделю находилась в руках бывших подпольщиков, студенческих организаций, вчерашних узников. Мы не теряли времени даром — обезвреживали палачей и полицейских агентов.

В 1960 году я поступил на юридический факультет Гаванского университета, не бросая при этом своей работы в министерстве торговли — такова черта времени: революции не хватало не только специалистов, но и просто грамотных людей.

Вскоре мне предложили отправиться в Москву — учиться в университете. Я выбрал себе экономический факультет: мне казалось, что революция основной упор должна сделать на экономике и в этой области я буду ей всего полезнее.

Нет необходимости рассказывать вам о жизни в СССР. Для меня это были очень продуктивные годы, и я приобрел здесь много друзей. Конечно, поначалу было очень трудно. Мы были первыми кубинцами, осваивавшими русскую азбуку...

Сколько себя помню — всегда хотел стать писателем. Но сначала надо было учиться, потом — подпольная работа, потом — тюрьма, потом—опять учеба. Правда, урывками, в короткие минуты досуга, меня так тянуло излить на бумаге свои чувства, что я не мог с собой совладать. Но это относится уже к тому времени, когда я учился в Москве. Тогда я начал читать в оригинале французскую и русскую классику, не расставался с Чеховым, Толстым, Достоевским. Эти гиганты внушали мне неземное почтение к литературе и разжигали жажду писать во что бы то ни стало. С другой стороны, я понимал, что если любой может пожелать стать писателем, далеко не у каждого это получится. Внутренние сомнения терзали меня долго, многие годы. А в папке между тем росло и росло число рассказов.

Уже работая в Гаване, я встретил своего старого товарища по заключению — Давида Бутси. Он в то время уже стал лауреатом премии «Каса де лас Американас». Его советы и его пример укрепили меня во мнении, что надо работать и не бояться представить свой труд на суд общественности. Много помогал мне на первых порах и Густаво Эгурен, известный советскому читателю. Вдохновленный ими, я послал на конкурс в газету «Гранма» первый сборник своих рассказов. Мне присудили первую премию. И вот тут-то я впервые почувствовал, что могу писать.

Меня больше всего привлекает история моей страны, моего народа. Недавно я закончил полудокументальный роман «Новый день» — о штурме казармы Монкада. Пять лет я изучал документы, брал интервью у участников легендарного штурма, обобщал события, выстраивая их в единую историческую цепочку.

А сейчас я взялся за новую тему: освободительная война на Кубе во второй половине XIX века. Как видите, тема опять не современная, хотя не надо забывать, что пишу-то я для сегодняшнего читателя. Я уверен, что историческая книга имеет вполне определенное современное звучание.

В. ПЕРЕХВАТОВ

Фото А. РИКЕЛЬМАНА.

◆

Среди книг

Издано в СССР

ГОРИЗОНТЫ ПОЭЗИИ ДОНАТА ШАЙНЕРА

Донат Шайнер. Горизонты. Избранная лирика. Переводы с чешского. Составитель Р Кузнецова. Предисловие Е. Винокурова. Москва, «Прогресс», 1979.

Перу Доната Шайнера, заслуженного деятеля искусств ЧССР, принадлежит три десятка книг. Среди них — романы и сборники рассказов повести для молодежи и детские сказки; известны также его радиопьесы. Но он истинный поэт, так как именно в стихах нашло наиболее полное выражение его самобытное дарование.

Биография Шайнера проецируется на важнейшие события XX века, и его художественное сознание вобрало в себя драматический опыт эпохи Он родился в год начала первой мировой войны, где погиб его отец. Ему не было и четырех лет, когда из России донеслось громовое эхо «десяти дней, которые потрясли мир»

И кто-то произнес: Октябрь.
Не помню кто... И вновь: Октябрь.
Велик наш мир, но в паспортах и рельсах
идея не нуждается...

(«Возмужание». Перевод В. Корчагина)

Одним из следствий революционного потрясения Европы было образование Чехословацкой республики. В этом молодом государстве, в атмосфере надежд и разочарований, обострившейся классовой борьбы прошли школьные годы Шайнера, началась юность.

Есть факты, которые приобретают особую значимость в сопоставлении с другими фактами. Донат Шайнер стал членом коммунистической партии в том самом 1933 году, когда в соседней Германии пришел к власти Гитлер и фашизм превратился не только в «обыкновенную» реальность, но и в необыкновенную угрозу. Одновременно со вступлением в партию начинается и его творческий путь. Шайнер активно публикует свои стихи в коммунистической периодике, а в 1935 году выпускает первый сборник «Красная карусель», за которым последовало еще несколько стихотворных книжек, однако потом писателя на какое-то время больше увлекла работа в прозаических жанрах. «Лета к суровой прозе клонят»,— признавался некогда Пушкин, один из любимейших зарубежных авторов Шайнера: у него есть даже изданный в 1946 году лирический цикл «Онегинские мотивы». Но самого Шайнера лета склонили к поэзии — порою суровой, но одновременно и нежной, ибо в стихах его объяснение в любви всему, что дорого сердцу поэта, неотрывно от тревоги за судьбы человека, природы, родины, всей нашей «планеты людей»:

Я человек — и пел о человечьем сердце!
Порою — в одиночестве, порой — на марше,
порой отчаивался я, но вскоре снова
любовью трепетал,
и с тем, что было и жило во мне,
сплеталось
все то, что я оставил позади...

(«Я — человек». Перевод Т. Глушковой)

Семидесятые годы были чрезвычайно плодотворными для Шайнера. За это время у него вышел целый ряд сборников новых стихов. Наконец, в начале 1979 года, к 65-летию поэта, в Праге увидел свет тщательно составленный итоговый том стихов Шайнера «Спряжение»[1]. Одновременно в Москве вышла книга его избранной лирики «Горизонты». «Донат Шайнер — поэт серьезный, но не грустный. Он поэт глубин, но не темноты Поэт, склонный к размышлениям, но не отшельник»,— пишет чешская исследовательница Яромира Неедла во введении к сборнику «Спряжение». «Донат Шайнер тяготеет к философским раздумьям, к осмыслению происходящего, к нахождению причин и следствий, но не в умозрительных категориях, а в предметной, материальной воплощенности, в зримых, реальных образах — через факт, конкретный и достоверный. Эта художественная точность, привер-

[1] Donat Šainer. Časování. Praha, Československý spisovatel, 1979.

женность к Лику Земли, к образам непреходящего мира и делают стихи Д. Шайнера действенными и впечатляющими»,— отмечает Евгений Винокуров, предваряя своими наблюдениями советское издание стихотворений Шайнера. В двух этих характеристиках намечены основные черты шайнеровской поэзии. Она легко поднимается к философским обобщениям, но основа ее — глубоко земная.

Выше полета орлов
лежит вера в то,
что непременно грядет.
Выше паренья орлов людская уверенность:
грядущее — будет!
А вот — человек, та стихия, что в себе
укрощает стихии.
Он обуздал время, он покоряет даль...
Приветствуйте орлов там, в вышине,
орлов — измерителей голубой
вертикали.
Я же славлю даль горизонтов,
чтобы напомнить:
Высота — это мечта, что нас окрыляет.
Земля — это жизнь.

(«Приветствие». Перевод Т. Глушковой)

Сокровенное желание художника — стать частицей всего, что необходимо человеку. Он жаждет быть —

Всегда, во всем,
что было и что будет.
В металле корабля, несущегося к звездам.
В лекарстве, приносящем облегченье.
Дорогой к дому быть, и солью, и зерном...
Быть сновиденьем чьим-то, радостью
и чудом,
руками ласковыми в таинстве объятий,
быть словом — даже самым тихим «да»,
быть бегом времени — сегодня и всегда.

(«Всегда». Перевод В. Корчагина)

Наш современник, собирательный облик которого рисует поэт, предстает, подобно Человеку Межелайтиса, стоящим «меж двумя шарами — солнечным и земным», и по нему «солнце сходит на землю, а земля поднимается к солнцу». Лирический герой Шайнера тоже способен достать рукой солнце, но и само оно как бы протягивает ему навстречу руки-лучи. Проходя сквозным образом через стихи чешского поэта, солнце традиционно символизирует собою силы света, торжествующие над тьмой, а главное — воспевается как источник жизни.

Человек у Шайнера — исконный сын Земли, сердце которого настежь открыто ее красоте. Этот неутомимый труженик сознает свою силу и потому бережно относится ко всему, что получил от планеты и предков в наследство. Он остро ощущает свое единение с природой — у Шайнера немало стихов, обращенных не только к солнцу, но и к птицам, рыбам, к дереву, камню, роднику, к ветру, дождю... И поэт твердо знает: «Слово — это ключ от дерева, от воды, от человека...» («Поиски». Перевод Е. Винокурова).

В оба тома избранной лирики Шайнера вошло много стихотворений о назначении поэта и о проблемах политического искусства. Он вспоминает, с какой изумительной точностью его дед въезжал на телеге в узкие ворота, и стремится употреблять слова с такой же точностью («Слово»). В юности Шайнер намеревался стать скульптором (и в стихах его упоминаются Микеланджело, Донателло). Однако и словесная глина обладает большой пластичностью, и в вылепленных из нее образах поэту нередко удается добиться настоящей рельефности.

Шайнер необычайно изобретателен в подборе метафор, но ему чужда вычурность слога, он тяготеет к высокой простоте, которая дается, как известно, совсем не просто («Как добываю стихи»). Изменчивы ритмы шайнеровских стихотворений, многообразны они по форме. Бесхитростные двустишия, напоминающие иногда народные попевки, чередуются с произведениями, где применена изощренная рифмовка, часто встречается свободный стих.

Поэзия Шайнера — это прежде всего поэзия мысли, и камертоном для напряженных раздумий поэта служит нынешняя действительность. Однако в его творчестве происходит естественное сопряжение времен. «Кто говорит «сегодня», знает, что было «вчера» и будет «завтра»,— сказал он однажды, и мысль эта воплощена во многих его стихах. Вспоминаются строки Леонида Мартынова:

Ты
Не почитай
Себя стоящим
Только здесь вот, в сущем,
В настоящем,
А вообрази себя идущим
По границе прошлого с грядущим.

Думается, не случайно мы находим в стихах Шайнера немало мотивов, которые есть и в произведениях советских поэтов. В своем творчестве он выступает в первую очередь как продолжатель и обновитель богатейших традиций отечественной классики — от Махи и Неруды до Незвала и Галаса. Ему чрезвычайно близка и русская поэзия. Что же касается его «переклички» с современными советскими поэтами, то она, несомненно, основана на глубинной общности мировоззрения и на одинаковой устремленности в грядущее. В одном из стихотворений Шайнер пишет об «алфавите, необходимом будущему для слов его торжественного гимна». Такой алфавит создается уже сегодня совместными усилиями мастеров социалистического искусства. И в братской Чехословакии Донат Шайнер принадлежит к числу тех творцов, кто вносит в это ответственное дело заметный вклад.

СВЯТОСЛАВ БЭЛЗА

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КРАЙ МОРОШКИ

Сара Лидман. Край морошки. Я и мой сын. Вступительная статья А. Борщаговского. Перевод с шведского Л. Жданова. Москва, «Художественная литература», 1978.

Имя шведской писательницы Сары Лидман известно советскому читателю — она приезжала в на-

шу страну, ее произведения публиковались на страницах журнала «Иностранная литература», «Дружба народов». Книга прозы, вышедшая на русском языке, включает уже переведенный у нас роман С. Лидман «Я и мой сын», действие которого происходит в ЮАР, и ее ранний роман «Край морошки», повествующий о бедственной жизни шведских крестьян на болотах Вестерботтена. Рассказать о встречах с Сарой Лидман и о ее творчестве мы попросили писателя Александра Борщаговского и переводчика Льва Жданова.

А. Борщаговский. О Саре Лидман никто — ни друзья ее, ни враги — не говорит равнодушно: она очень цельный художник, всю жизнь выражающий единую идею — идею совестливости, правды. Художник, который ведет неустанный поиск конкретных ответов на мучительные мировые проблемы. Как человек и художник, она пребывает в постоянном движении и нетерпеливо стремится во все горячие точки планеты — только не туристом, не соглядатаем или любопытствующим европейцем: она хочет знать, что происходит в Южной Африке и в Кении, во Вьетнаме в самые тяжелые для страны дни и сегодня, когда победивший Вьетнам стал объектом разнузданной клеветы. Она хочет понять природу приключившейся с ее родной страной Швецией трагедии, где материальное процветание, «шведское чудо» вдруг сменилось инфляцией, дороговизной, трудными условиями существования. Писательницу интересует множество проблем и вопросов, и на все она самостоятельно пытается найти ответы.

Я помню Сару Лидман в очень сложную пору ее жизни. Она приехала в Москву вскоре после напечатания у нас романа «Я и мой сын»[1]. Приехала, чтобы собственными глазами взглянуть на наш мир, мир новых социальных и, следовательно, человеческих отношений, а главное (и потому она большую часть времени провела в Средней Азии) — увидеть, возможно ли вообще, чтобы народы, еще недавно, в начале века, отсталые, полвека назад находившиеся в полуфеодальной стадии развития, полностью преобразовали свою жизнь, сохранили национальные особенности, но ушли бесконечно далеко от того, что буржуазная мысль третировала как нечто примитивное, «туземное».

Она буквально помчалась в Узбекистан, в Ташкент, в узбекские колхозы. Будучи человеком пристальным, житейски-трезвым, Сара Лидман ничего не идеализировала, она понимала, что, скажем, жизненный стандарт жителей Ташкента ниже стандарта шведских буржуа, а квартиры по качеству строительства или меблировки уступают обеспеченным квартирам Стокгольма. Она не была восторженной туристкой, но старалась увидеть все и увидеть главное: от детских садов до Академии наук, от внутренних узбекских окраинных дворов до помещений народного правительства. И она хорошо поняла, что видит страну без нужды, нищенства, трахомы, угнетения, что узбеки и их дети — красивые, счастливые, веселые — настоящие хозяева своей жизни. Она поняла, что перед ней республика, которую от ЮАР или Родезии и даже от любой только что освободившейся от колониализма страны отделяют не просто десятилетия, а, образно говоря, парсеки истории, трудно постижимые умом расстояния.

Я думаю, что во втором ее африканском, кенийском, романе «С пятью бриллиантами» — а он был написан по возвращении из Советского Союза и вышел в 1964 году — ее взгляд на жизнь в Кении, глубокое проникновение в социальную проблематику, я бы сказал — более высокий уровень реализма, были связаны с тем духовным подъемом, который она испытала у нас.

Помню неотступную ее мысль, что на лицах старух и стариков более всего выражается судьба и даже история народа, что в их лицах, в морщинах и отметинах времени отражается нечто более значительное, чем личная судьба, но судьба народа, его красота, милосердие, мудрость, духовность и доброта. Временами она была одержима этим, могла остановить на улице своих спутников, внушая им свой интерес: «Смотрите, какая идет старуха: вы только вглядитесь в ее лицо!»

При этом Сара Лидман — отчетливо современный писатель, современный и в том смысле, что стремится освободить свои книги от традиционных, вялых описаний, от неподвижных, пусть даже и с блеском исполненных, портретов, от самодовлеющих пейзажей. Вспомним хотя бы ее замечательную книгу «Край морошки», с которой русский читатель теперь получил возможность познакомиться. Она стоит особняком даже в шведской литературе. Правдивые картины жизни писателей-реалистов, в том числе и Вилема Муберга или Ивара Лу-Юханссона, все-таки уступают в жестокости реализма, в бескомпромиссности роману «Край морошки». Казалось бы, эта книга, рисующая жизнь тропарей, самой низшей прослойки шведского крестьянства, по своей грубой прямоте, по тому, как дерзко используется в романе деревенское просторечие, почти граничит с натурализмом. Но писательская страсть, умение выразить страдающую душу человека освобождают эту книгу от подозрений в натурализме. Насколько мне известно, Сара Лидман призналась в одном из писем к переводчику Льву Жданову: «Я писала жестоко, чтобы не быть сентиментальной». А ведь стоит вспомнить, что она писала свой «Край морошки», а несколько ранее и «Смолокурню» в ту пору, когда жизнь в Швеции казалась безоблачной и навсегда благополучной.

Л. Жданов. Да, это были пятидесятые годы, годы «шведского чуда», годы известного самодовольства и самовлюбленности.

А. Борщаговский. Сара Лидман и тогда не боялась обратиться к недавнему прошлому, рассказать о страданиях беднейшей

[1] См. «ИЛ» № 5, 1962.

части народа и словно бы предупредить о беде, которая может вернуться в дом. Ее всегда донимало подозрение, что процветание Европы достигнуто не только благодаря тяжкому труду, передовой технологии, но и за чей-то чужой счет. Значит, и процветание это непрочно, в один день оно может рухнуть, погребя все прекрасные иллюзии.

Л. Жданов. Совершенно верно. Сара Лидман ни на минуту не отрывает судьбу своего народа от судеб всего мира. И пишет так, словно несет личную ответственность за все несправедливости на свете. Эта ее позиция проявилась и в интервью, напечатанном в двух июньских номерах коммунистической газеты «Норшенсфламман». Обычно она редко дает интервью. Но здесь писательница четко определяет свое отношение к тому, что происходит в Африке, во Вьетнаме, анализирует взаимоотношения Китая и США и вместе с тем обозревает свой жизненный путь. Примечательно, что свое интервью она заключает ленинскими словами о капитализме как о раковой опухоли. И добавляет: «У нас, в Швеции, разрешается говорить все, но что́ будет услышано — это решает капитал».

Сара Лидман обличает шведских дельцов, которые снабжали США подшипниками для военных вертолетов во время вьетнамской войны, поставляли мышьяк, которым американцы отравляли растительность и поля во Вьетнаме. И подчеркивает, что в то время никто в Швеции не вспоминал о законе, запрещающем поставлять военные материалы воюющей стране.

А. Борщаговский. Помните, в книге репортажей из Вьетнама «Беседы в Ханое» о военной агрессии американцев во Вьетнаме Сара Лидман писала: «Мы сожалеем. Мы тревожимся. А ведь главное — чтобы тревога в нас не умирала».

Л. Жданов. Тут уместно вспомнить, как формировалась с самого начала гражданская позиция Сары Лидман. Сама она в упомянутом интервью приводит такой эпизод: совсем девчонкой она приехала в университетский город Упсалу, пришла в библиотеку, узнала, что там семь миллионов томов. По книге на каждого шведа! Что же выбрать? Вспомнила, что ей советовали начать с «Коммунистического манифеста», и, робея, попросила найти эту книгу. Прочла и была потрясена. Далее она рассказывает, какое глубокое впечатление произвели на нее слова одного рабочего на дискуссии интеллигентов о свободе.

А. Борщаговский. Когда это было?

Л. Жданов. «Мне исполнился тогда двадцать один год»,— говорит Сара Лидман. Стало быть, это была середина 40-х годов. Этот рабочий встал и обратился к выступавшим: «Послушайте, о какой свободе вы говорите? Ведь вы толкуете о свободе для богатых. Расскажите лучше о свободе для нас, рабочих». Его слова во многом определили ее дальнейшую позицию и в жизни, и в творчестве.

А. Борщаговский. Вы только что побывали в Швеции и встречались с Сарой Лидман на ее родине. А это так важно — увидеть писателя и его книги, так сказать, в контексте страны. Ведь Лидман неотделима от Керуны, от жизни шахтеров севера Швеции, от судьбы крестьян Вестерботтена, от жизни народа.

Л. Жданов. Да, мне посчастливилось быть у нее дома, в той самой деревне, которая описана в «Краю морошки». Сейчас Сара Лидман признается: «Как я рвалась отсюда девчонкой, и думала ли я, что когда-нибудь вернусь сюда и не захочу уезжать». Но это не значит, что она сидит на месте. Я застал ее, когда она только что приехала из Финляндии. А в ближайшем городе ее уже ждали железнодорожники, перед которыми она должна была выступать.

А. Борщаговский. Каков материал и сама мысль новой книги Сары Лидман, вышедшей в Швеции в прошлом году?

Л. Жданов. Как вы знаете, Сара Лидман много лет занималась больше публицистикой. Причем она писала не только о том, что происходило в самых горячих точках земли, она следила и живо отзывалась на все, чем жила ее родина. Журнал «Иностранная литература» печатал куски ее очерков, посвященных условиям труда шведских рабочих [1]. В эти же годы она писала пьесы, также посвященные рабочей теме, профсоюзному движению. Но вот от художественной прозы Сара Лидман на время отошла и только сейчас к ней вернулась.

Сама она очень строго оценивает теперь свои первые книги—«Смолокурню» и «Край морошки» Считает, что не умела тогда по-настоящему понять суть происходящего. И она решила вернуться к той же теме, к тому же краю, к тем же людям, но писать о них уже по-другому, с высоты бо́льшего жизненного опыта. В прессе было объявлено, что она работает над трилогией, но сама Сара Лидман говорит: «Эту книгу я буду писать всю жизнь».

В уже изданных частях эпопеи — «Слуга твой внемлет» и «Дети гнева» — действие происходит в последней четверти прошлого столетия, то есть раньше, чем оно происходило в ее предыдущих книгах. Рассказывается в ней о тех, кто первым пришел на север, когда вся более или менее пригодная для возделывания земля в Швеции была уже поделена. Оторванные от привычных мест, оказавшиеся лицом к лицу с суровейшей природой, эти люди мечтают о том, что когда-нибудь этот далекий, заброшенный край, благодаря железной дороге, будет связан с остальной Швецией и они соединятся воедино со своей страной — уж очень тяжко живется им на отшибе.

Эта первая часть эпопеи полна аллегорий, в нее вплетены и народные предания, и воспоминания о давнем прошлом. Впрочем, и

[1] См. «ИЛ» № 5, 1969.

теперь, при всей современной массовой информации, при том, что у каждого здесь сейчас в доме телевизор, психология жителей этих мест по-прежнему очень своеобразна, как и сам этот уголок Швеции.

А. Боршаговский. Изменилась ли в чем-либо существенном манера Сары Лидман, ее письмо?

Л. Жданов. Конечно, она выросла как художник, богаче стала композиция, еще ярче язык, причем речь персонажей писательница по-прежнему считает важнейшей чертой характеристики. И настолько верна этому принципу, что в конце книги дает для шведов словарик областных слов.

А. Боршаговский. Так же было и с «Краем морошки», шведы вообще скептически смотрели на возможность перевода этого романа.

Л. Жданов. Норвежцы не боятся переводить Сару Лидман — и это понятно, в северном диалекте шведов много норвегизмов. Говоря о письме Сары Лидман, вы отметили ее стремление к прозе лаконичной, предельно выразительной, без пространных описаний. Но надо знать, какую работу проделывает она для этого! Видеть ее книжные полки! Чтобы рассказать о роли религии в жизни своих героев, она собрала целую библиотеку нужных ей книг. Поскольку речь пойдет о железной дороге, писательница читает все, что касается истории строительства железных дорог в Швеции, и не только в Швеции, но и в других странах. Я уж не говорю о постоянном общении с людьми, которые оживают на страницах ее книг.

А. Боршаговский. А как шведская критика отнеслась к этой книге?

Л. Жданов. Возвращение Сары Лидман в художественную литературу критики единодушно оценили как большое событие. Мне хотелось бы также подчеркнуть, что ее обращение к исконно шведским мотивам в эти дни выглядит вполне закономерным. Общаясь с шведскими писателями, переводчиками, издателями я убедился в их тяге к контактам с нашей страной и нашей литературой. Как мне кажется, я уловил одну из причин этой тяги. Сами шведы говорят об «англо-американской культурной оккупации» их страны, подразумевая, естественно, поток массовой псевдокультуры. Они встревожены влиянием этого потока прежде всего на молодежь. Сара Лидман живо участвует в борьбе против этого явления. Недаром ее выступление в газете «Афтонбладет» от 6 августа 1979 года озаглавлено «Шведское телевидение оккупировано?». Она отмечает, в частности, что от наплыва американских «кассовых» фильмов чахнет шведское кино. Все это вызывает у передовых слоев шведского народа стремление отстоять подлинные духовные ценности и национальную самобытность. И как я понял, в этой борьбе многие деятели шведской культуры ищут союзников в других странах, особенно в нашей стране с ее богатыми литературными традициями.

Издано за рубежом

ЗАРУБЕЖНАЯ КРИТИКА О РУССКОЙ И СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

А. С. ПУШКИН: ДИАЛОГ С МИРОМ

Эркки Пеуранен. Лирика А. С. Пушкина 1830 годов. Поэтика: темы, мотивы и жанры поздней лирики. Ювяскюля, Университет Ювяскюля, 1978.

Книга Эркки Пеуранена о лирике Пушкина 1830 годов вызвала в Финляндии острые диспуты и живые отклики прессы. Оно и понятно: исследования русской литературы в мире, в Европе и, в частности, в Скандинавии расширяются, и все же монументальная, проблемная работа по русской поэзии (да еще и по-русски написанная) в Финляндии — новость, событие. Тем более что речь идет о Пушкине: слово о Пушкине, сказанное на Западе и к Западу обращенное, особенно значимо.

Дело в том, что у нас, на родине Пушкина, исторически сложилась своя иерархия наших поэтических и, шире, общекультурных богатств; и Пушкин неколебимо занимает в ней уникальное место. Но на Западе — другая иерархия русской литературы, и сейчас, например, наиболее устойчивое место на вершине Олимпа занимают там Чехов и Достоевский. Возможны дальнейшие смещения, но при любых сдвигах и колебаниях Пушкин в сознании европейца, иноземца вообще, еще какое-то время не сможет занять того места, которое однажды и навсегда отведено ему в сознании его соотечественников. Несовпадение иерархий налицо, оно несомненно, и оно тревожит. Разумеется, имеется в виду не юношеский спор о том, кто выше: Достоевский ли, Пушкин ли. В конце концов, если для американского, шведского или бельгийского, скажем, студента выше всех Чехов и Достоевский, думать так — его дело, а нам остается радоваться тому, что именно ради Чехова, Достоевского он устремляется к изучению русской литературы и погружается в бездны русского языка, самоотверженно отмахнувшись от каких бы то ни было прагматических соображений: специалисту по русской литературе трудновато бывает найти работу. Но иерархия, которая видится нам деформированной — как же так, Пушкин куда-то отодвинут, задвинут?— и которая действительно деформирована,

начинает влиять на науку о русской литературе. А когда мнения ложатся в основу концепций, это уже опасно: здесь же — методология, историография, и внедрение в них произвольных симпатий может повредить их научной завершенности, точности, глубине.

В историографии народа, его культуры решающее слово принадлежит, конечно, прежде всего ему самому. Иноземная расстановка акцентов в оценках нашей литературы нас порою не устраивает, и наша огромная задача — национальное величие Пушкина раскрыть как величие мировое. И помощь зарубежных коллег здесь может быть просто неоценимой. Впрочем, они не только нам помогают, но и себе.

Э. Пеуранен начинает свою книгу с анализа исторической лирики Пушкина. В поле его зрения — жанр; а жанр — феномен поэзии, которому нынче трудно невероятно: приходится слышать сужденья о том, что жанр есть категория устаревшая, что литература наконец освободилась от жанров; она развивается, так сказать, партизански, и лишь педанты по инерции продолжают усматривать в ней жанровую организованность (насколько я знаю, особенно экспансивен этот жанровый нигилизм в работах ряда французских ученых). Мнение это основано на ложном, архаическом понимании жанра: жанр видится как умозрительно сконструированная абстракция, замкнутая в пределах литературы, не соотнесенная с жизнью, с душевными движениями современного человека. Между тем жанры продолжают жить, ибо без них невозможно общение людей друг с другом, восприятие прошлого, и мы не замечаем их так, как не замечаем воздуха, жизнь нам дающего.

Вышел, выскочил когда-то на улицу пятилетний мальчик, пропел, проорал: «Пусть всегда будет солнце!» Песнопение малыша подслушал писатель Корней Чуковский, восхитился им, записал, напечатал. Оно разлетелось по белу свету, распалось на лозунги, на газетные заголовки. Ни о каких жанрах мальчик слыхом не слыхивал. Он, возможно, еще и о Пушкине не слыхал. Но языческий молитвенный вопль его забавно совпал со стихами поэта: «Ты, солнце святое, гори!» И: «Да здравствует солнце...» Мальчик выкрикнул: «Пусть всегда будет мама!» А Пушкин из прошлого ответил ему: «Да здравствуют... юные жены, любившие нас!»

Эркки Пеуранен, прекрасно знакомый с западноевропейской теоретической литературой и встречавшийся, разумеется, с проглядывающим там жанровым нигилизмом, не стремится к открытой полемике. Его стиль мягок, даже и флегматичен. Но его книга последовательно отстаивает категорию жанра. «Пушкин в 30-е годы значительно расширил арсенал тех жанров, которые были в ходу у его современников, однако не столько путем изобретения новых, сколько путем омоложения старых за счет... возможностей того или иного жанра быть носителем свойственного ему смысла». Одна неточность: изобрести новый жанр, а тем более изобретать новые жанры один человек, даже если он Пушкин, вообще не может; жанры «изобретает» только народ, и уходят на это века. Остальное же верно, и книга схватывает диалектику новаций поэта и его архаизма: ода, элегия, публицистический памфлет на темы истории, притча — все это сосуществует в лирике Пушкина, соревнуется, взаимоборствует. И все это ведет к большой социальной и творческой драме, к непониманию поэта даже самыми тонкими людьми его времени. Далее говорится о «Стансах»: написанные в одическом ключе, они «были прямолинейно поняты читателями». Да, так их и поняли: раз ода — стало быть, однозначное прославление сильных мира сего; а раз прославление, значит, отступничество. И любой либерал, исподтишка брюзжащий на жестокости самодержавия, хотя и преспокойно пользующийся дарованными ему тем же самодержавием благами, считал себя вправе снисходительно укорять поэта. Общественное мнение тоже бывает деспотично и нетерпимо.

Эркки Пеуранен очень близко подходит к тому, что, по моему убеждению, сегодня открывается как сложный парадокс Пушкина и как его уникальное свойство. Я имею в виду всеохватывающую диалогичность слова поэта. Пушкин не начертал ни одной строки, которая не предполагала бы ответа того, к кому она обращена, будь адресат не только современником или героем истории, но и явлением природы, а то и немой, рукотворной вещью. Э. Пеуранен взял на себя обязательство быть очень строгим, но я не могу не вспомнить забавного послания поэта «К моей чернильнице». Это — слово, обращенное к вещи. Подобного во времена Пушкина писали достаточно, но лишь у Пушкина разговор с аксессуаром повседневного быта обрел оттенки осознанного художественного манифеста. Чернильница — «подруга думы праздной». Она равноправна в ряду других «подруг» Пушкина (ср.: «Подруга дней моих суровых...»). Но настанет последний час, и осиротеет чернильница, и будет она «век немая».

Немое, безглагольное в поэтике Пушкина — уродство. Нем пленник-башкирец из «Капитанской дочки», ему отрезали, усекли язык, но и он все-таки как бы то ни было говорит с окружающими: страх и боль живы в его глазах. Немы мертвые, да и те, впрочем, встают из гробов, чтобы зло пошутить над живыми, и тайна смерти соседствует с шутками («Гробовщик», «Пиковая дама»). Ни пытки, ни смерть, выходит, не могут сделать кого-то или что-то немым. Немота — голос, которого мы просто еще не можем услышать; и если на зовы поэта нет отзвука, то здесь, быть может, виноваты и мир, и поэт («Эхо»).

Всепроникающая установка поэта на диалог распространялась, естественно, и в сферу политики. Да какой политики! Политики,

предполагавшей как раз полную глухоту ее неколебимых столпов к исходящим откуда бы то ни было голосам,— политики Российской империи. Впоследствии Салтыков-Щедрин запечатлел тип подобной политики в фигуре знаменитого градоначальника: «Разорю!» и «Не потерплю!». Это — сатира, шарж; но своеобразная филология имперской политики передана в нем верно, и трудно представить себе, что можно ответить на лапидарное «Не потерплю!». Сохранить установку на диалог в этих условиях, в условиях стабилизации империи, было подвигом; а обращаться к глухой громаде с человеческим словом было подвигом вдвойне и втройне. Пушкин предполагал что-то живое в чернильнице. Что-то живое искал — и, всего удивительнее, находил! — он в атрибутике политической жизни современной ему империи: в законодательном акте, на который, казалось бы, нельзя возражать, в металлическом монументе. В этом — конкретно-историческая направленность его творческого поведения, в этом же — общечеловеческий смысл его слова: его творчество — школа диалога, бесед с неживым, с инородным. И научиться говорить с любым явлением мира было существеннее, важнее, чем пытаться искать спасения в дебатах даже самого либеральнейшего парламента (<Из Пиндемонти>). Но величайшее, дальновидное открытие Пушкина обернулось его своеобразной локализацией здесь, у нас, на Руси: Запад шел по пути парламентаризма; и то, что для Пушкина было подвигом, оттуда казалось пусть достойной уважения, но все же экзотикой. Переводы Пушкина, интерес к его творчеству — все это было и есть, конечно. Но речь не об этом, а о первостепенности поэта в сознании, о неизымаемости его слова из культурного и духовного обихода его соотечественников.

Эркки Пеуранен идет верным путем. Он многое угадывает, прозревает: жанровые эксперименты поэта — не внутрилитературное явление. Нет, это, во-первых, явление большой жизненной стойкости гениального русского поэта, органически близкого и крепостному крестьянину, и парламентарному Западу, ощущающего его, умеющего мысленно врасти в его жизнь, но остающегося сыном своей страны. И это, во-вторых, явление только сейчас открывающейся дальновидности. Анализируя послание «К вельможе», памфлет «Клеветникам России», «Пир Петра Первого», Э. Пеуранен показывает, как Пушкин все время стремится сделать свое слово орудием, ломающим, сокрушающим немоту. Немоту истории, прошлого. Немоту смерти или хитроумно своеобразную немоту клеветы. Формально, акустически, что ли, клеветническое слово есть слово звучащее. Оно звучит, да еще как звучит: в разных диапазонах, от шепота и до вопля. Но по сути клеветническое слово — слово немое, мертвое.

Эркки Пеуранен включает в свой анализ лирику Пушкина о природе, о творчестве, о любви, лирику на нравственно-религиозные темы. Он останавливается на активно бытующей в творчестве Пушкина оппозиции закона и милосердия. Он прослеживает, как развивается у Пушкина «мотив закона, сопровождающий пушкинскую историческую и политическую лирику в течение почти всей... жизни» поэта (здесь, правда, следовало бы разграничить два смысла слова «закон»: закон юридический, правовой и закон как категорию философскую).

Книга Э. Пеуранена — это его докторская диссертация. В диссертации надлежит быть благоразумным и сдержанным, в чем-то, возможно, и обедняя себя. Но то, что мыслимо в пределах строгой академической диссертации, профессор Пеуранен сделал. Книга его—победа. Пусть маленькая: победа-предвестие, победа-искорка.

Однако из искр возгорается пламя: свет. Свет развернутого понимания Пушкина, свет обучения в его школе поэзии, в этом лицее национального творчества.

Как бы сдержанна и академична ни была книга профессора из Финляндии, она — симптом: время всемирного постижения Пушкина наступает неуклонно, необратимо.

В. ТУРБИН

С ВЕРОЙ В ВОЗМОЖНОСТИ ИСКУССТВА

Nyota Thun. Krieg und Literatur. Berlin, Akademie-Verlag, 1977.
Hiersche Anton. Sowjetliteratur und wissenschaftlich-technische Revolution. Berlin, Akademie-Verlag, 1977.

Ниота Тун. Война и литература. 1977. Антон Хирше. Советская литература и научно-техническая революция. 1977.

Обе эти работы, можно сказать, рождались у нас на глазах. Собирая материалы для будущих книг, их авторы были частыми гостями Института мировой литературы. И вот теперь, когда рукописи наших немецких друзей обрели «типографскую плоть», мы с интересом ознакомились с их трудами.

Как правило, почти все работы литературоведов ГДР отличаются высоким уровнем. Продолжая на принципиально иной идейной основе традиции отечественного литературоведения, завоевавшего в догитлеровские времена международный авторитет, и опираясь на конструктивный опыт своих друзей из социалистических стран, наши немецкие товарищи вносят сегодня весомый вклад в разработку актуальных проблем современного литературного процесса.

Сказанное подтверждается и теми книгами, о которых идет речь. Ниоту Тун мы знаем как солидного исследователя советской литературы, уже зарекомендовавшего себя публикациями о советской прозе послеоктябрьского периода. Запомнились нам и выступления Ниоты Тун по вопросам теории литературы. Что касается последней

книги, то ее замысел, о чем заявлено в лаконичном предисловии, возник по ряду объективных и субъективных причин. Действительно, о факторах личностных, побуждающих ученого взяться именно за эту, с в о ю тему, обычно принято умалчивать. Между тем этот аспект в конечном счете немаловажен для понимания не только концептуальной направленности работы, но и ее тональности.

«Война и литература» — книга, написанная человеком, глубоко заинтересованным в истине. Отсюда та внутренняя напряженность и эмоциональность изложения, которые ощущаются при чтении. Тема работы Ниоты Тун — советская военная проза с 1941 года до наших дней — многоаспектна и, в сущности, неисчерпаема. Этой теме посвящены сотни книг, среди которых особенно выделяются исследования советских критиков А. Бочарова, И. Козлова, Л. Лазарева, И. Кузьмичева, В. Пискунова и других. В своих суждениях Ниота Тун опирается на достижения своих предшественников, оставаясь в то же время самостоятельной в понимании идейно-эстетической сути вопроса. Это касается и нюансов, и общей характеристики эволюции художественного осмысления темы войны в творчестве советских писателей разных поколений.

Теоретическое осмысление и литературный анализ конкретных произведений приводят исследователя к продуктивным выводам. Интересно, «без выравниваний» раскрыты новые тенденции в самом понимании уроков Великой Отечественной войны. В работе Ниоты Тун импонирует также богатство сопоставлений и ассоциаций, придающих мысли объемность, а аргументации — глубину и убедительность. Многонациональная советская литература «вмонтирована» в мировой литературный процесс как один из его авангардных отрядов, как литература первооткрывателей. Говоря об общем и особенном, автор обращается к художникам высокого международного класса, чтобы выявить перспективные начала и новаторские качества искусства социалистического реализма. Содержательны ссылки и на опыт послевоенной немецкой литературы.

Особенно плодотворным мне показалось обращение Ниоты Тун к классической традиции в качестве «точки отсчета» при анализе художественных поисков и новаций наших современников. В этом отношении представляется удачной вводная глава «Новое открытие Толстого». Здесь ставится и решается обширный круг вопросов, в том числе вопрос об эпической природе современного романа о войне, причем с привлечением опыта таких больших романистов, как М. Шолохов, К. Симонов, Эрнест Хемингуэй, Анна Зегерс и другие.

Рассуждая о документальности и повествовательном искусстве, о сложном синтезе правды факта и правды вымысла, о художественности публицистики, Ниота Тун обращается к творчеству И. Эренбурга, О. Берггольц, С. Смирнова, В. Субботина, А. Адамовича, В. Богомолова. В главе «Личность и общественный мир» на переднем плане — А. Бек и Ю. Бондарев, Г. Бакланов и В. Быков, Юлиус Фучик и Михайло Лалич. В других частях книги мы встречаемся с В. Астафьевым, Д. Граниным, К. Вольф. К их произведениям исследовательница обращается в связи с так называемой «историзацией современности».

К сожалению, взаимодействие разных родов и жанров литературы, воплощающих образ «человека на войне», по существу осталось вне поля зрения автора, хотя иногда Ниота Тун и упоминает стихи А. Твардовского, А. Суркова, Ю. Друниной. Думается, более частые выходы за пределы прозы были бы оправданны.

При всех достоинствах работы Ниоты Тун в монографии имеются и спорные положения и пробелы. Досадно, что повесть Э. Казакевича «Звезда», сыгравшая в литературе о войне принципиальную роль, даже не упомянута. Обойдены молчанием и фронтовые сочинения Б. Горбатова, роман В. Ажаева «Далеко от Москвы», в котором показан героизм советских людей в глубоком тылу. Тема «литература и война» включает в себя и этот, отнюдь не второстепенный, аспект.

Придирчивый критик, надо полагать, указал бы и на известный крен автора монографии в сторону социально-психологического анализа произведения в ущерб более детальному рассмотрению их собственно поэтического качества, художественного своеобразия. Однако, судя по многочисленным авторским замечаниям на сей счет, Ниота Тун обладает достаточно развитым эстетическим чутьем, и ей было бы под силу решение этой задачи в более полном объеме.

Теперь о книге Антона Хирше «Советская литература и научно-техническая революция». О книгах Ниоты Тун и Антона Хирше стоит говорить в одном ряду не только потому, что они соседи по серии «Литература и общество». Их объединяет ориентация авторов на достижения советской литературы и литературоведения. По этим книгам можно судить о плодотворном поиске филологами ГДР решений самых кардинальных идейно-эстетических задач современности, о перспективности этого поиска.

Не будет преувеличением сказать, что искусство и литература в условиях НТР, их настоящее и будущее — это, пожалуй, одна из самых жгучих нынешних дискуссионных проблем. Она в равной степени волнует как писателей-практиков, так и критиков-теоретиков. Живейший интерес проявляют сегодня к этому кругу вопросов и читатели, о чем можно судить по потоку писем в редакции и издательства. То и дело на страницах советской периодики возникают споры, подчас затяжные и жаркие, вызванные появлением очередного романа, пьесы или фильма о людях науки и производства. Такие споры, например, возникали вокруг

произведений С. Залыгина, Д. Гранина, И. Грековой, П. Загребельного и других.

В ходе дискуссий «НТР и литература» неизбежно встает все расширяющийся круг сопутствующих вопросов теоретико-методологического характера. От их правильного решения в известной степени зависят не только престиж литературоведения, его способности прогнозировать. Вопросы касаются в конечном итоге самой судьбы литературы. Иные скептики даже предрекают в скором будущем закат книгопечатания, кризис «галактики Гутенберга» под натиском «галактики электронной». Не секрет, что современные средства массовой коммуникации, взяв на вооружение новейшие технические открытия и достижения, теснят книгу как таковую. Вот почему эта проблема, которой Антон Хирше посвятил свою работу, представляется действительно актуальной. И надо обладать смелостью и уверенностью в своих возможностях, чтобы решить ся, вмешавшись в нескончаемые споры, предложить свою концепцию соотношения науки и искусства в современном мире. И разносторонне обосновать ее, исходя из опыта советской литературы.

Главное достоинство концепции Антона Хирше заключается, на наш взгляд, в ее оптимизме. Ошибаются те, кто пророчит искусству гибель. Образное познание действительности вечно. Литература в век НТР обретает качественно новые черты. Меняются и формы восприятия эстетических ценностей. Но в обществе развитого социализма неуклонно возрастает познавательное и идейно-нравственное значение литературы, воздействие искусства на все стороны жизни, на духовный мир человека.

В книге Антона Хирше немало ссылок на великих ученых разных времен и народов — от Авиценны до Вернадского, от Леонардо да Винчи и Джордано Бруно до Ландау, Планка и Ферми. Но в центре внимания автора именно литература, понятая по-горьковски, как «человековедение», и в этом качестве незаменимая. Вся книга пронизана верой в неисчерпаемые возможности искусства как специфической формы отражения и познания действительности, как средства активного воздействия на мир, как могучего орудия идейно-нравственного совершенствования человека.

Антон Хирше, и это важное достоинство его работы, видит советскую литературу в ее многонациональном единстве. Он говорит об общих закономерностях, по-разному проявляющихся в творчестве крупнейших современных мастеров слова, будь то русский романист Ю. Бондарев или молдавский драматург И. Друцэ, киргизский прозаик Ч. Айтматов или армянский новеллист Г. Матевосян, калмыцкий поэт Д. Кугультинов или первый писатель народа чукчи Ю. Рытхэу И еще одно обстоятельство придает монографии Антона Хирше основательность и многомерность: он привлекает к анализу поэзию и прозу, драматургию и очерковую публицистику.

Можно было бы, вероятно, упрекнуть Антона Хирше в некоторой тезисности изложения отдельных мыслей. Так, лишь «под занавес» ставятся вопросы специфики художественного и научного познания в свете «информационного взрыва» и в этой связи — об информационной насыщенности поэтического образа.

Однако в целом исследователю удалось раскрыть на современном советском материале целую гамму сложнейших взаимоотношений между литературным развитием и научно-техническим прогрессом, оказывающим все более заметное воздействие на все стороны социального бытия. Отметим также, что удачны многие конкретные разборы произведений прозаиков Ф. Абрамова, В. Белова, В. Быкова, В. Солоухина, драматургов Г. Бокарева, И. Дворецкого, М. Шатрова, поэтов Л. Мартынова, К. Кулиева.

Работая в содружестве с литературоведами Советского Союза и других социалистических стран, наши немецкие коллеги в своих исследованиях проявляют лучшие качества, присущие марксистско-ленинской науке о литературе: партийность, боевитость, наступательный дух, ясное представление об идеологическом противнике.

У. ГУРАЛЬНИК

ЕЩЕ ОДНА КНИГА ИЗ СЕРИИ «ОТКРЫТИЕ ВЕНГРИИ»

Csák Gyula. A szikföld sóhaja. Budapest. Szépirodalmi könyvkiadó, 1977.

Дюла Чак. Вздох солончаков. 1977.

Социография — специфический жанр, образовавший целое направление в литературе Венгрии. В нем органично переплетаются социологический анализ, бесстрастный документализм, непосредственность зарисовок, лиричность письма, философское обобщение Родилась социография в двадцатые — тридцатые годы, когда в Венгрии широко распространилась литература «исследования деревни». В последние десять — пятнадцать лет этот жанр переживает свое возрождение, вызванное подъемом социалистической демократии в стране, пристальным, заинтересованным изучением писателями действительности, их стремлением расширить духовные, изобразительные, жанровые горизонты литературы. Наглядное подтверждение подъему социографического движения — серия книг «Открытие Венгрии», выпускаемая крупнейшим издательством страны «Сепиродалми».

Дюла Чак[1] *— признанный мастер публицистики, очерка, социографии. Его книга «Глубинное течение» (1963) вызвала горячие дискуссии не только среди критиков и писателей, но и среди читателей. По этой книге у автора было более трехсот встреч с читателями. Последнее социографическое произведение Д. Чака — «Вздох*

[1] Запись беседы с Д. Чаком опубликована в «ИЛ» № 6 за 1976 г., его рассказы — в № 10 за 1978 г.

солончаков» — также было встречено с большим интересом.

Ниже мы публикуем статью венгерского литературоведа Золтана Шимона, посвященную «Вздоху солончаков» и опубликованную в будапештском журнале «Критика» № 9, 1978.

Село Пюшпёкладань, в котором живет шестнадцать тысяч жителей, относится к числу крупных населенных пунктов страны; среди 3219 городов и поселков оно занимает примерно 90-е место. И все же за пределами комитата Хайду-Бихар оно мало известно. Даже те, кто часто ездит по железной дороге Будапешт — Захонь или по шоссе Е-4, знают о Пюшпёкладане главным образом то, что здесь надо сделать пересадку или же свернуть с шоссе, если направляешься в Надьварад. Пассажира, который выходит на вокзале в Пюшпёкладане или проезжает через село на машине, вряд ли соблазнит и заставит задержаться открывающаяся перед ним панорама, и путеводители не предлагают путешественнику разбить тут палатку, ничем особенным не блещет природа этого края, здесь нет памятников старины, нет ничего примечательного и в этнографическом отношении.

Приятное и благодарное это дело — открывать неизвестные земли, но какая тяжелая и неблагодарная задача — открывать то, что обычно и заурядно. Дюла Чак знал все это наперед, для него этот край не был неизведанной землей. Писатель здесь вырос, с Пюшпёкладанем связано у него столько значительных, определяющих впечатлений детства. Но как раз потому, что Дюла Чак близко, изнутри знает этот словно бы застывший в неподвижности мир, он полагает: за внешней непримечательностью должны скрываться такие увлекательные «тайны», что ради них стоит заняться первооткрывательством, стоит окунуться в прошлое села, оглядеться в его настоящем.

И Дюла Чак оказался прав. «Вздох солончаков» — интересная книга. Она не похожа на его первое социографическое исследование «Глубинное течение», хотя и здесь стремительное течение выносит на поверхность и являет миру это «что-то» — Пюшпёкладань и его жителей. Дюла Чак сознательно не подступает вплотную к реальности, не живописует личные судьбы тех, кто движется от успеха к успеху, или тех, кто зашел в тупик, чья судьба сложилась трагически, его цель — не разоблачать, не вершить правосудие, а понять истину и рассказать о ней так, чтобы ее поняли и другие. Этой задаче служат и избранные писателем принцип построения книги, и тон повествования. То изнутри, то снаружи рисует он мир Пюшпёкладаня, эту «жизнь в толще жизни», как он ее называет, то подробно описывая один день, а то одной фразой охватывая историю целых десятилетий, иногда — субъективно и погружаясь в частное, но чаще — объективно и соразмеряясь с общим, целым. Дюле Чаку хотелось бы, чтобы в книге «не чувствовалось никакого личного авторского пристрастия», потому что в ней рассказывается о времени, многие представители которого еще живы. «Это было бы неэтично с моей стороны,— говорит Д. Чак,— если бы в своей книге я кого-то обидел или затронул честь чьего-либо отца или деда». Вот почему писатель обращается преимущественно к событиям, которым сам был свидетелем, а из собственных впечатлений заимствует только то, что может «послужить лучшему освещению жизни Пюшпёкладаня».

Сознательное оттеснение на задний план личных привязанностей отнюдь не означает, что автор рисует прошлое и настоящее Пюшпёкладаня с холодной беспристрастностью. Субъективное чувство, приверженность к «вскормившей и взлелеявшей его среде» часто берут верх над провозглашенным писателем принципом, вторгаются в спокойное повествование, в авторские размышления. «Тягостное чувство возникает во мне иногда,— признается Д. Чак в конце книги,— до сего дня не избавился Пюшпёкладань от горького наследия прошлого... бедность, непримечательность... многие причины и обстоятельства породили равнодушие к Пюшпёкладаню, а это сказывается на дальнейшей судьбе села, на его будущем». Книга Чака — еще и отрицание этой «непримечательности», и протест против равнодушия, и одновременно свидетельство юношеской любви и привязанности, которые испытывает автор к народу родного края.

Любовь эта вполне понятна, хотя иногда она и заставляет писателя свернуть на ложный путь. Старательно исследуя «тайны» Пюшпёкладаня, разыскивая что-то характерное, автор порой наделяет Пюшпёкладань такими чертами, которые отнюдь не являются исключительными, присущими только этому селу. Так, например, изолированность, малую известность Пюшпёкладаня Д. Чак объясняет тремя причинами. Первая — недостаточная причастность к истории. В венгерской истории нет такого важного события, поясняет свою мысль автор, которое было бы связано с Пюшпёкладанем. Пюшпёкладань не упоминается ни в одной из хроник. И никто из знаменитостей, кто прославил бы Пюшпёкладань, здесь не родился, разве что чеканщик Ференц Карач. Вторая причина — отсутствие специфических этнографических черт. Село затерялось где-то между Шарретом, Куншагом и Хайдушагом, и Пюшпёкладань, выступая чаще всего в роли посредника между этими селами, своих собственных традиций создать не смог. Обе эти причины веские. Но о скольких сотнях и тысячах сел, помимо Пюшпёкладаня, можно сказать то же самое? Об очень многих. Подобное возражение вызывает и третья причина — обособляющая.

изолирующая роль местного языка. Заметим между прочим, что пюшпёкладаньский диалект как таковой в языкознании не известен, многие «пюшпёкладаньские словечки» можно услышать и на дебреценском базаре. Во второй части книги Чак рассматривает и толкует всеобщие исторические явления как местные, специфические. Чак считает, что село «Пюшпёкладань развивалось как-то уродливо и однобоко», так как здесь «многие крестьяне перестали быть крестьянами не по своей воле — они просто не смогли больше крестьянствовать». Примерно так же автор «попадает в цель», когда описывает «пюшпёкладаньский склад ума»: хотя он и признает, что особого пюшпёкладаньского склада ума нет, он все же считает характерным для этой местной разновидности крестьянского образа мыслей «заземленность», «настороженность» и «политический консерватизм».

Повторяю: подобные выводы вызваны сильной авторской увлеченностью, приверженностью, горячим желанием сделать открытие.

Но когда Дюла Чак не увлекается интерпретированием и, главное, не стремится что-то открыть, а лишь описывает события, анализирует их, приводит свидетельства очевидцев, делится собственными воспоминаниями, тогда он точен и достоверен. У «Вздоха солончаков» есть своя внутренняя писательская и социологическая логика.

Дюла Чак ссылается на исторические источники, вспоминает сам, приводит воспоминания современников, и перед читателем предстает прошлое и настоящее до сих пор малоизвестного и ничем не примечательного села, перед ним предстает — и это гораздо важнее — частичка венгерской действительности. Мы узнали о Пюшпёкладане все, что стоило узнать, но жизненный материал, с которым мы познакомились, не воспринимается только как сугубо местный. Как того и хотел автор, этот материал «плодотворно обогащает наши прежние сведения о стране, о нас самих».

В материале книги, на мой взгляд, таятся и другие возможности. Книга Д. Чака могла бы быть своеобразной автобиографией-отчетом, если бы писатель рассказал о себе не только в связи с другими жизненными судьбами. Те главы книги, в которых воссоздается микромир его детства, дают почувствовать, какие возможности автора еще остались неиспользованными, какую золотоносную жилу с точки зрения эстетической и социологической, точнее говоря — социографической, представляют собой воспоминания писателя. Мы только можем предполагать, сколько оттенков человеческих отношений, поведения людей, их образа мыслей, сколько нюансов «жизни в толще жизни» остались неиспользованными, неоткрытыми. И это тот долг, который Дюла Чак — а все возможности у него для этого есть — должен погасить.

ЗОЛТАН ШИМОН

РАДУГА НАД МАРСЕЛЕМ

André Remacle. Arc-en-ciel. Nîmes, Editions du Temps Parallèle, 1978.
Андре Ремакль. Радуга. 1978.

В прошлом году у Андре Ремакля одновременно вышли две книги: во Франции — сборник стихотворений «Радуга», в Москве — перевод марсельских повестей «Улица Трех Солнц» и «Летайте «Каравеллой»[1]. Советский читатель знает А. Ремакля как прозаика и очеркиста: в 1972 году появилось русское издание романа «Время жить» (Пополистская премия 1966 года), а в 1977 году журнал «Новый мир» опубликовал лирический репортаж французского писателя «Сказание о КамАзе». Соотечественники ценят и Ремакля-поэта. Стихи он начал писать во время войны. Тогда же, в самое трудное для родины время, Ремакль стал коммунистом, хотя принадлежность к компартии каралась смертной казнью. Не так давно — на празднике газеты «Марсельеза» — в момент очередной антисоветской кампании Ремакль снова принял трудный идеологический бой, выступив в защиту завоеваний социализма.

Город Марсель — доброжелательный свидетель жизненного и творческого пути Ремакля. Здесь он участвовал в Сопротивлении, здесь редактировал газеты «Руж-миди» и «Миди-суар», здесь трудится и сейчас, не расставаясь с профессией журналиста: на страницах «Марсельезы» можно часто видеть его имя.

После двух небольших поэтических книг, выпущенных писателем в начале 50-х годов, до появления «Радуги» прошла четверть века. Но это вовсе не означает, что Ремакль-поэт все эти годы молчал. Повести Ремакля покоряют интенсивностью лирико-поэтических интонаций. Прозаические будни книги «Время жить» освещены легендой о красавице Марии, в «Улице Трех Солнц» поэтичен образ Марселя. Писателя отличает умение слушать звуки большого города, настраиваться на волну памяти — «оркестра, в котором каждый инструмент ведет свою партию, а дирижер неизвестен, хотя ты и привык к нему». Безудержным полетом воображения запоминается финал (вернее, финалы) «Каравеллы»: «Из этой ночи, сквозь которую Мартина промчалась, не оборачиваясь назад и не заглядывая вперед, возникла какая-то иная жизнь, так же как из этой тьмы, пронизанной отсветами искусственных огней, возникал какой-то новый свет, подобный тому, что заливает сейчас муаровую голубизну бухты, в зеркальную гладь которой глядится небо...»

В «Бухте Бессонницы» звучат стихи Кретьена де Труа, Верлена, Арагона и Ромео наших дней — Бернара. Это он, герой Ремакля, пытается с трамплина поэзии воспа-

[1] Андре Ремакль. Улица Трех Солнц. Летайте «Каравеллой». Составитель Ю. Уваров. Перевод Л. Завьяловой. Предисловие О. Тимашовой. Москва, «Прогресс», 1978.

рить над прозой быта, «разомкнуть неизменный круг рабских привычек». Это он вместе с автором вопрошает: «Где живет поэзия? Она селится в прилепившихся друг к другу домах, взбирается по лесенке, вьющейся по стене, выбегает в маленький сад к зелени и разноцветью, а потом вырывается в большой мир открытий, где поблескивают стекла микроскопов...» Даже «Сказание о КамАзе», несмотря на документальную основу, смело соединяет столбики цифр с лиризмом пейзажей, мотивами народных преданий, романтикой героического труда.

Летом 1979 года вышла из печати еще одна документально-публицистическая книга Ремакля — «ФОС» — о героической борьбе французского пролетариата за сохранение заводов черной металлургии в районе Фос-сюр-мер под Марселем[1]. Гигантская стройка от первых дней ее жизни до трагического угасания, увиденная глазами Ремакля, подобна живому существу, способному петь — гулом своих цехов — и плакать, провожая вереницы безработных...

Растворенная в книгах Ремакля поэзия берет начало в темпераменте самого автора — юного по духу, несмотря на свой преклонный возраст, человека любознательного и доброжелательного

Ремакль умеет видеть мир многоцветным, уже названия глав его последней поэтической книги составляют щедрую палитру — «Фиолетовое», «Индиго», «Голубое», «Зеленое», «Желтое», «Оранжевое», «Красное». Он наблюдает за происходящим чуть-чуть со стороны, просветленным и мудрым взглядом человека, который прошел трудную жизнь, но который — именно поэтому — никогда не примет мимолетное огорчение за трагедию, а пустое обещание — за решение всех проблем.

Если Ремакль-прозаик легко переключается в регистр поэзии, Ремакль-поэт охотно подхватывает многие мотивы своих повестей.

В «Радуге» город говорит звонко и мощно, как говорил он в «Улице Трех Солнц», «Каравелле», «Бухте Бессонницы».

Стихотворение «Мы идем по городу» — своеобразный гимн «городу-вьюнку, городу-скрипке» по-южному привольному марсельскому проспекту Каннебьер, что, словно «бегущее пламя», взбодрил «кровь голубых камней».

Возникает и воспоминание о войне, похитившей любовь у девчонки с улицы Трех Солнц:

Куда идут они,
Парни плечистые
С улыбками чистыми,
Башмаки с полковами
Отбивают ритм кованый.
Песня озорная
Вьется, обгоняет
Топот мрачный солдат на марше

. . . . . .

Куда идут они,
Пряча улыбки
Под рубахами липкими,
В вещмешках за спиною
Юность уносят.
Песня озорная
Вьется, обгоняет
Топот мрачный солдат на марше.

(«Топот мрачный солдат на марше»)[1]

Как и в романе «Время жить», автор снова и снова обращается к современникам, призывая их смотреть на мир без страха, но и без иллюзий, находить смысл существования в счастье других людей.

Мир Ремакля кажется ласковым и округлым, как «солнце и луна», как «круглы наши дни, земля и стол, цифры и числа, сфера и шар». Но социальная несправедливость вносит в этот мир резкую дисгармонию, создает острые углы контрастов и теней: «льются сладкие телеречи», а на рабочих окраинах «торжествуют хибары», «заводы, насильно закрытые, скорбно роняют последние струи дыма», и в «квартале канав сточных» стоит лиловая дымка горя.

Поэту очень хотелось бы разом покончить с грязью и нищетой, «снять с креста всех распятых, сеять овес и пшеницу широким звездным взмахом руки». И он призывает на помощь поэзию. Ей надо стать факелом и радостью, солнцем и нивой, вместить в себя заводы, доки, пестрый многоголосый город, чьи «улицы разобщены, пока их не коснулась поэзия»,—

Одна за другой рушатся стены,
За которыми человек — раб...

(«Замкнутое пространство»)

Андре Ремакль никогда не говорит о себе «поэт». Скорее «писатель» или просто «журналист» Назвать себя поэтом для него — это вроде бы присвоить себе право на особое видение мира. А поэтическим чувством должен обладать, по мнению Ремакля, каждый человек: ведь поэзия всюду — в поле, саду, в заводском цеху, на тихих улочках и шумных собраниях. Она шествует в струящихся колоннах демонстрации и отдыхает у домашнего очага. Поэзия — не только вихрь страсти, но и штиль преданности. Поэзия — это риск и мудрость, отчаяние и надежда.

Кто сказал, что время
скрутит шальные мечты?
Кто сказал, что время
обточит надежду по мерке будней?

Так заканчивал свою исповедь один из героев Ремакля. Так звучит и финал его новой поэтической книги. Нет, не погаснет радуга над Марселем. Не отнять у людей поэзии, возвращающей жизни радость и смысл.

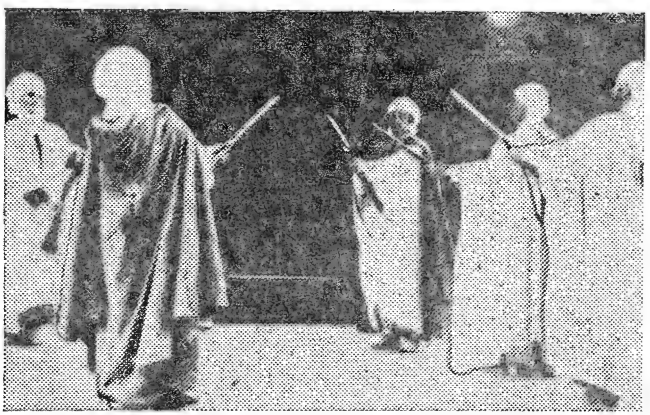
Т. БАЛАШОВА

[1] André Remacle. FOS. Paris, Editeurs Français Reunis, 1979.

Здесь и далее стихи даны в переводе А. Карлова.

Из месяца в месяц

АЛЖИР



Ансамбль народного искусства при Алжирском национальном театре выступил недавно с новой программой, куда вошли танцевальные сцены, в основу которых легли народные танцы Алжира, Орана, Ореса, Кабилии, Константины, Тлемсена и других городов и районов страны.
На снимке: сцена из спектакля Ансамбля народного искусства.

(Журнал «Ас-Сакафа аль-арабийя»)

РОМАН МОЛОДОГО ПИСАТЕЛЯ

Национальная компания по изданию и распространению книг в Алжире опубликовала новый роман молодого алжирского писателя Исмаила Гамуката «Солнце светит всем», посвященный борьбе крестьян за социальные преобразования в деревне.

БОЛГАРИЯ

СОВЕТСКАЯ ДРАМАТУРГИЯ В БОЛГАРИИ

В братской Болгарии с успехом идут спектакли по пьесам советских драматургов: Горького и Вишневского, Вампилова и Гельмана (разумеется, этот список можно продолжить). Они ставятся не только в Софии, но и во многих других городах Болгарии.

В минувшем сезоне в городе Шумен прошел спектакль Драматического театра имени Васила Друмева «Энергичные люди» по пьесе Василия Шукшина. Особенно интересным в творческом отношении для Драматического театра города Ямбол, по мнению критики, был сезон 1978/79 гг., отмеченный двумя работами: «Святая святых» И. Друцэ и «Последний срок» В. Распутина — спектаклями по произведениям советских писателей, хорошо знакомых и любимых в Болгарии.

«Спектакль «Святая святых» (режиссер М. Стоянов),— пишет на страницах журнала «Театр» известный болгарский критик Майя Басмаджиева, — сохраняет атмосферу, присущую этому глубоко поэтичному произведению современного советского драматурга». По мнению критика, эта работа Ямбольского театра по-новому раскрыла его возможности, его способность решать ответственные художественные задачи.

О зрелости этого театрального коллектива свидетельствует, по мнению болгарской критики, и первая в НРБ постановка по книге В. Распутина спектакля «Последний срок» (режиссер Д. Аврисов). Говоря о новой работе театра, критики отмечают «глубокое проникновение режиссера в художественный мир Распутина», «такт и умение, проявленные постановщиком в «разгадывании» самобытной распутинской прозы». Вера в жизнь как «самая сильная и самая земная вера» — вот лейтмотив спектакля, его режиссерский контрапункт.

Критики отмечают и прекрасную работу исполнительницы роли Старухи — народной артистки НРБ Иванки Димитровой, и остроту актерского рисунка роли Миронихи в исполнении народной артистки республики Стоянки Мутафовой.

Как отмечает Майя Басмаджиева, успех многих спектаклей периферийных болгарских театров далеко не случаен, ибо «является следствием политики Комитета по культуре НРБ, на-

На снимке: Иванка Димитрова и Стоянка Мутафова в спектакле «Последний срок».

(Журнал «Театр»)

правленной на укрепление театральных звеньев в стране, на превращение их в наиболее действенные институты идеологического фронта». И в этой работе особую, незаменимую роль играет обращение периферийных театров народной Болгарии к русской и особенно советской классике, к пьесам современных советских авторов.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ДВА «ЙОРКШИРСКИХ» РОМАНА

Внимание английских читателей привлекли два романа начинающих прозаиков Бэрри Хайнса и Дона Бэннистера, посвященные жизни йоркширских шахтеров.

Роман Бэрри Хайнса «Цена угля» повествует о катастрофе на шахте в Йоркшире в 1912 г. Рецензент журнала «Лиснер» Питер Кемп пишет, что книга фактически состоит из двух больших рассказов, объединенных временем действия и одним героем по имени Сид. В первом рассказе, который называется «На встречу с народом» и который ведется от лица Сида, описывается приезд королевской семьи в Йоркшир, имевший место в действительности и предшествовавший трагедии. В откровенно фарсовом тоне поданы автором, пишет критик, многочисленные, по сути своей бессмысленные приготовления к приезду королевской семьи — никому не нужное возведение потемкинских деревень.

Во втором рассказе Сид оказывается одним из погребенных в шахте, обрушившейся из-за того, что власти вовремя не позаботились об ее реконструкции.

Роман, как пишет Л. Кемп, проникнут откровенным негодованием по отношению к преступному легкомыслию и хладнокровию власть имущих.

Жизни йоркширских рабочих, только на этот раз в 30-е годы, посвящен и роман Дона Бэннистера «Сэм Чард». Сэм Чард, отмечает П. Кемп,— это романизированный образ самого автора, сына рабочего. Именно поэтому наблюдения Д. Бэннистера столь точны: шахтерскую среду он знает по собственному опыту. С большим теплом и лиризмом Д. Бэннистер рассказывает о традициях, существующих среди йоркширских рабочих, о тяготах, постоянно выпадающих на их долю, о тех немногих радостях, которые они умеют ценить.

Рецензент отмечает язык книги. Д. Бэннистер постарался передать не только особенности местного говора; проделав большую работу, он заботливо восстановил на страницах своего романа выражения, шутки, жаргон, которые бытовали в 30-е годы среди йоркширских рабочих.

ВЕНГРИЯ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ

В залах Национальной галереи экспонировалась выставка «Венгерская детская книга. 1527—1979».

Произведения, представленные на выставке, являются как бы наглядной историей развития венгерской детской литературы, ее гуманных традиций. Авторами книг для детей всегда выступали лучшие венгерские писатели.

На снимке: режиссер телевизионного фильма «Девушка с тысячью имен» Анико Варшани беседует с актерами. *(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)*

Отличительной особенностью детской книги в Венгрии является ее художественное оформление, отметил на открытии выставки известный венгерский писатель Иван Болдижар. Каждая книга, подчеркнул он,— самостоятельное произведение искусства. Их оформлением всегда занимались лучшие художники. Среди современников достаточно назвать таких художников-графиков, как Пирошка Санто, Карой Рейх, Янош Кашш.

Поражает разнообразие издательских серий, указывает далее Болдижар. Тут и серия классики «Жемчужины», и научно-популярная серия «Детская энциклопедия», и серия, в которую входят книги современных авторов,— «Моя библиотека», серия «История в картинках» и много других. Особое место среди экспонатов выставки занимают сказки как жанр, наиболее полно отражающий национальные традиции и обычаи венгерского народа.

В Международный год ребенка венгерская сказка как бы сошла со страниц книг и перешла на подмостки театров, киноэкраны. В последние месяцы уходящего года венгерские ребята смогут увидеть одну из любимых сказок старейшего писателя Золтана Зелка «Девушка с тысячью имен» и на экранах своих телевизоров.

ВЬЕТНАМ

НОВОСТИ ТЕАТРА

Сейчас во Вьетнаме насчитывается более 100 профессиональных театральных коллективов; в минувшем году было подготовлено более 100 новых постановок. Эти цифры имеют особое значение для освобожденного в 1975 году Юга страны, где после 20-летнего господства «музыкально-песенного искусства кафе и ночных клубов» театр переживает период бурного расцвета. В 1978 году состоялся первый фестиваль профессиональных театральных коллективов Юга. На этом смотре было показано более 60 постановок, представленных 50 театральными коллективами.

Большинство поставленных в минувшем году пьес воскрешает страницы славного прошлого Вьетнама, особое внимание зрителей и критики привлекла пьеса «Императрица Зыонг Ван Нга», написанная известным драматургом Чук Дыонгом. В ней воскрешаются события X века, периода борьбы с войсками китайских феодалов. Пьеса была поставлена театральным коллективом «Тхань Минь» в городе Хошимине. Исполнительница главной роли актриса Тхань Нга была убита реакционерами за то, что она играла в пьесе, наполненной глубоким патриотическим содержанием. В день похорон Тхань Нга десятки тысяч жителей Хошимина вышли на улицы города, чтобы проводить в последний путь актрису, которая как боец погибла на фронте искусства.

Наряду с историческим прошлым страны внимание драматургов и артистов привлекают темы, связанные с сегодняшним восстановлением страны. Театральная труппа города Хайфона поставила пьесу «Битва в деревне» Чан Куок Фи, а в Ханойском центральном драматическом театре идет спектакль «Муссон», автор пьесы — Хоанг Тить Линь.

Со вниманием была встречена новая пьеса Нгуен Аня и Хоай Зяо «В канун весны», поставленная в Ханое известными театральными режиссерами Динь Куангом и Тхе Анем. В ней воссоздается жизнь сайгонского общества в 1975 году: показан распад прежних прогнивших социально-политических институтов и моральных устоев, зарождение новой жизни, за которую приходится бороться, не щадя жизни.

Успешно развивалось и движение самодеятельных театральных коллективов, смотр которых состоялся в конце 1978 года. Он продемонстрировал достигнутые успехи, возросшее мастерство самодеятельных артистов.

ГДР

НОВЫЙ РОМАН ГЕРБЕРТА НАХБАРА

«Погреб старой кузницы» — так называется новый роман известного писателя Герберта Нахбара, который выходит в издательстве «Ауфбау». Отрывок из романа поместил еженедельник «Зоннтаг». Там же опубликовано интервью с писателем.

На вопросы корреспондента о том, почему писатель выбрал период с 1938 по 1949 год, время, о котором уже много писали, Герберт Нахбар ответил: «Я сде-

лал это по двум причинам. Во-первых, мне кажется, что об этом периоде написано недостаточно и многое, считавшееся незначительным, не отражено в нашей литературе. А это-то часто и дает представление о развитии нашего общества. Во-вторых, меня всегда интересовали переломные моменты истории, когда особенно ярко проявляются характеры и возможности людей, когда происходит переоценка ценностей».

Далее писатель рассказал о главном герое — Тео Олафсоне, продолжающем традицию его прежних книг, в которых всегда выступали дети.

«Дети видят мир по-своему, более непосредственно, чем взрослые... У них возникает много вопросов, на которые они хотят получить немедленные ответы. Но на вопросы Тео даже его отец не может ответить всей правды. Мальчик растет в суровое время и на своем опыте постигает сложности жизни... В конце книги Тео 19 лет, кончилось его детство. Повествование доходит до 1949 года, то есть до образования Германской Демократической Республики».

Журнал «Нойе дойче литератур» называет героя нового романа Нахбара «очень поэтичной фигурой». «Тео доверчив, любознателен, у него много фантазии. Нахбар рассказывает, как из мальчика формируется настоящий человек, в котором, однако, продолжает жить мечтатель, сохраняющий свою детскую чистоту и непосредственность».

ПАМЯТИ ЛЮДВИГА РЕННА

В связи с кончиной старейшего немецкого писателя Людвига Ренна газеты и журналы Германской Демократической Республики поместили статьи, посвященные его жизни и творчеству.

В некрологе Союза писателей ГДР говорится: «Жизнь и творчество Людвига Ренна тесно связаны с борьбой рабочего класса, с марксистско-ленинской партией. Бывший офицер кайзеровской армии, он сумел порвать со своим классом и после первой мировой войны стал в ряды революционеров, вступил в Коммунистическую партию. Ренн воевал в Испании на стороне республиканцев... До глубокой старости сохранял он большую работоспособность. Его творчество отмечено многими наградами».

«Людвиг Ренн был одним из самых известных и заслуженных наших писателей»,— говорится в некрологе Немецкой академии искусств, почетным президентом которой был писатель.

На снимке: исполнитель главной роли Ульрих Тайн и актриса Ингеборг Вестфаль в телевизионном фильме «Туль».

(Газета «Берлинер цайтунг»)

НА ЭКРАНЕ — ИСТОРИЯ «ОБЫКНОВЕННОГО ЧЕЛОВЕКА»

Новый телевизионный фильм «Туль» создан режиссером Лотаром Беллагом по сценарию известного писателя Бенито Вогацкого (см. «ИЛ» № 12, 1968, № 9, 1975, № 5, 1977).

Это — история сталевара Туля, человека сорока лет, жизнь которого течет как-то уж очень спокойно, без особенных волнений, без желания что-то изменить. Встреча с женщиной по имени Ганна, трудная любовь к ней преображают Туля, как бы пробуждают его от летаргии. Он по-новому начинает воспринимать мир, по-другому начинает относиться к своей работе, из вялого, безынициативного человека становится человеком творческим.

«Около двадцати лет я наблюдал за людьми на сталеплавильном предприятии во Фрейтале, — сказал Бенито Вогацкий корреспонденту еженедельника «Зонтаг». — Эти наблюдения помогли мне создать сценарий фильма о Туле».

В интервью корреспонденту газеты «Нойес Дойчланд» Вогацкий объяснил, почему его в этом фильме, так же как и в предыдущих произведениях, привлекают такие люди, как Туль: «Меня всегда интересовали «обыкновенные» люди, на первый взгляд ничем не выдающиеся, но способные на серьезные, часто неожиданные поступки. Именно такие люди — наша новая интеллигенция. Из простых рабочих они становятся инженерами, образованными людьми с широкими и многообразными интересами».

Рецензенты называют телевизионный фильм «Туль» «очень своевременным и достойным внимания».

ПРЕМИИ ОБЪЕДИНЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ПРОФСОЮЗОВ

Состоялось присуждение премий Объединения Свободных немецких профсоюзов. Премией награжден писатель Дитер Нолль за роман «Киппенберг», писатель Гарри Тюрк за роман «Шарлатан», актриса и певица Гизела Май, творческий коллектив ДЕФА за фильм «В апреле 30 дней», композиторы, художники и графики, театральные и музыкальные коллективы. Специальные журналистские премии присуждены ряду заводских многотиражек, редакциям радио.

ГРЕЦИЯ

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Вслед за Георгосом Сеферисом и Яннисом Рицосом почетное звание доктора литературы Салоникского университета было присвоено греческому поэту Одиссеасу Элитису. Благодаря за оказанную ему честь, Одиссеас Элитис сказал:

«Прошло около полувека с той поры, как я, будучи выпускником гимназии, в первый раз по-настоящему соприкоснулся с греческой поэзией и попробовал свое перо. Мною двигало не только обычное юношеское честолюбие, желание выделиться, но и тайное чувство обожания родного языка: я чувствовал, что должен отдать ему все свои силы и служить ему до тех пор, пока не внесу — последний из последних — своего вклада в традицию, блестящая история которой начинается с Сафо и Архилоха; эта традиция — богатая, живая, непрерывная — дожила до нашей эпохи, до Моломоса и Калвоса. Я полагаю, что именно за мою службу на этом поприще, которую я нес в меру моих скудных сил, однако без компромиссов, вы и отметили меня высокой наградой».

Второе приятное известие пришло Одиссеасу Элитису с Крита. Родной город поэта Ираклион объявил его своим почетным гражданином.

ДАНИЯ

НОВОЕ ИЗДАНИЕ НЕКСЕ

По инициативе одного из филиалов КПД в Брёнбю вышла из печати серия брошюр, где собраны посвященные рабочему движению отдельные статьи и речи выдающегося датского писателя-коммуниста Мартина Андерсена-Нексе. Публикация и распространение брошюр имеют своей целью, как указывается в предисловии к первым выпускам, ознакомить самые широкие круги публики с политическими взглядами Андерсена-Нексе.

Настоящее издание, осуществляемое под редакцией Рене Род, открывается статьей «Большой локаут» (1913) и завершается приветственной речью, произнесенной писателем на первомайских торжествах 1954 г., последнего года его жизни.

Материал сгруппирован по четырем разделам. Статьи, включенные в пер-

---

Петер Питерсен, житель Орхуса, крупнейшего города Ютландии, по профессии — каменщик. Самое большое увлечение в его жизни — искусство гравирования. Работы Петера Питерсена неоднократно экспонировались не только на национальных, но и на международных выставках, в том числе на последней Балтийской биеннале. Петер Питерсен отдает предпочтение линогравюре, его излюбленная тема — повседневная жизнь рабочих-строителей Дании.
На снимке: одна из гравюр Петера Питерсена.

(Газета «Ланд ог фольк»)

вый раздел, обличают политику предпринимателей, использующих любую возможность отнять у рабочих и то малое, что им удалось завоевать в классовых битвах, и лишить их испытанного оружия — забастовки, опираясь главным образом на штрейкбрехеров.

Работы 1917, 1919, 1929 гг., составляющие следующий раздел, отражают активную позицию Андерсена-Нексе как борца против ревизионизма в ходе более чем десятилетней идеологической дискуссии внутри рабочего движения, а также против развязывания империалистических войн.

Два последних раздела посвящены Международному дню солидарности трудящихся. По мнению корреспондента «Ланд ог фольк», публицистика этих разделов не уступает по своим литературным достоинствам многим художественным произведениям Андерсена-Нексе. В статье «1 мая» (1935), например, дается блестящее описание одной из первых в Дании майских манифестаций — возможно, читатель вспомнит не менее яркое изображение первомайской демонстрации в романе «Пелле-завоеватель» (1906—1910), одном из крупнейших эпических полотен Нексе.

«Певец пролетариата», Нексе поэтизирует Первомай, связывая его с древним языческим празднеством, когда в ночь на 1 мая на большом костре сжигалось Зло и наступало обновление мира, приходила весна.

Демократическая Дания проявляет большой интерес к новому изданию публицистических работ Мартина Андерсена-Нексе. Как отмечает прогрессивная печать, это лишний раз свидетельствует о жизненности идейного наследия Нексе, подтверждает политическую актуальность, созвучность его творчества современности.

Часть средств, вырученных от распространения «Тетрадей Андерсена-Нексе», поступает в фонд поддержки печатного органа КПД газеты «Ланд ог фольк».

ИНДОНЕЗИЯ

КОНЧИНА ИДРУСА

Скончался в возрасте 58 лет Идрус — один из реформаторов послевоенной индонезийской прозы. Он был первым индонезийским писателем, который, окончательно отказавшись от литературных шаблонов, изобразил в своих «Подпольных зарисовках» горестное, беспросветное существование своих земляков в годы японской оккупации (1942—1945).

Первым с беспощадной откровенностью он воспроизвел в своей повести «Сурабайя» страдания и жертвы, принесенные индонезийским народом в период борьбы за независимость и одновременно ту накипь, которая поднялась на революционной волне. Ряд лет Идрус был редактором журнала «Индонезия», одного из ведущих литературно-художественных журналов страны. Выступая в качестве переводчика, он впервые познакомил индонезийских читателей с произведениями А. П. Чехова и Вс. Иванова. Рассказ Идруса «Фуджинкей» был опубликован в СССР в 1958 г. на украинском языке, вслед за тем еще ряд рассказов был переведен на русский язык.

ИТАЛИЯ

ТЕЛЕФИЛЬМ О ДЖУЗЕППЕ ВЕРДИ

Первоначальный замысел этого телефильма возник еще в 1973 г. Только изучение документальных материалов, связанных с биографией Джузеппе Верди, отняло год работы. В результате, сообщает газета «Унита», родилась книга, в которой жизнь великого композитора прослеживается день за днем. Ренато Кастеллани, создатель ставшей значительной вехой в истории мирового телевидения картины о жизни Леонардо да Винчи (она демонстрировалась и на советских голубых экранах), теперь отбирает из этой своей книги материалы для телефильма «Верди». Сценарист и режиссер, он собирается воссоздать всю жизнь композитора от рождения до смерти, до скромных похорон в Милане «с одним крестом и при двух свечах», как завещал сам Верди.

На снимке: Роналд Пикап в роли Верди.
(Газета «Унита»)

Карла Фраччи в роли Джузеппины Стреппони в различные периоды жизни певицы.
(Газета «Унита»)

События, охватывающие почти 90 лет (1813—1901), составят содержание 7 выпусков телефильма, они будут разворачиваться на

фоне движения за объединение Италии — Рисорджименто и превращения страны из аграрной в индустриальную. Жизнь Джузеппе Верди будет представлена на основе строго документального материала, «без единой вымышленной сцены», утверждает Ренато Кастеллани. Сюжетную основу ленты должна составить работа над 27 операми. Отрывки из них будут в большей своей части включены в фильм наряду с уже имеющимися записями (музыкальный консультант Роман Влад).

В съемках участвуют 150 актеров (не считая статистов — зрителей оперных спектаклей). Художники-модельеры готовят для фильма 5 тысяч костюмов.

На роль Верди Кастеллани планировал и Витторио Гассмана, и Джана Мария Волонте, и Франко Наро, и Луиджи Пройетти, и Витторио Мецциоджорно, но остановил свой выбор на английском актере Роналде Пикапе. Знаменитая итальянская балерина Карла Фраччи в этом фильме станет певицей. Она снимается в роли жены Верди Джузеппины Стреппони. Для Верди подготовлено 14 проектов грима (композитор в различные годы), для Стреппони — 9 проектов.

Съемки продлятся год. В создании телефильма кроме итальянской телекомпании принимают участие представители английского, французского, западногерманского, а также советского телевидения. Один из эпизодов будет сниматься в ленинградском Эрмитаже.

КАТАР

ИНТЕРВЬЮ С ПАЛЕСТИНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ

Журнал «Ад-Доха» напечатал интервью своего корреспондента Али Шальша с палестинской писательницей Сахар Халифой, с которой журналист встретился в США на международном литературном семинаре, организуемом ежегодно университетом штата Айова. Писательница приехала на этот семинар по приглашению его организаторов из города Наблус, расположенного на оккупированном Израилем Западном берегу Иордана, где она постоянно проживает.

Сахар Халифа первая из писателей Западного берега обратилась к жанру романа. Ее первый роман «Мы больше не рабыни» был опубликован в 1974 году в Каире. Однако он прошел почти незамеченным. В 1976 году С. Халифа выступила с новым романом — «Кактус», который сразу же привлек внимание читателей и критики, вызвав оживленные споры. В настоящее время писательница готовит к печати свой третий роман под названием «Подсолнечник». Кроме того, она редактирует перевод романа «Кактус» на английский язык в одном из американских университетов. (До этого «Кактус» был переведен на иврит и французский.)

Сахар Халифа рассказала, что она уроженка палестинского города Наблуса, где окончила среднюю школу. Затем, после 17 лет замужества, Халифа решила продолжить свое образование и поступила учиться в университет Бир Зейт на Западном берегу Иордана, который окончила, получив диплом бакалавра по английской литературе. (Недавно университет Бир Зейт был закрыт израильскими оккупационными властями.) «Таким образом, — продолжала Халифа, — я женщина, которая пытается выйти за рамки роли, предназначенной ей в арабском обществе».

С. Халифа считает, что для того, чтобы хорошо писать, недостаточно таланта, знания писательской техники и узкого личного опыта. Необходим более широкий общественный опыт. По словам писательницы, у нее был определенный личный опыт, когда она решила посвятить себя литературе. «Но сверх всего этого был исторический опыт, который мы пережили в Палестине и который завершился последней иностранной оккупацией двенадцать лет тому назад. Мы познали угнетение и насилие. День ото дня становилось все хуже. Но сквозь все это зло я вижу проблеск надежды. Я абсолютно убеждена, что народы непременно найдут свою дорогу. Сколько бы времени ни продолжался закат, солнце непременно взойдет».

Отвечая на вопрос о том, что ее побудило писать романы, Сахар Халифа сказала, что она стремилась «описать свою жизнь в условиях оккупации, изобразить себя вместе с людьми на покинутых улицах с затемненными окнами домов, с солдатами, с толпами беженцев, бросивших свои деревни».

На вопрос корреспондента о своем третьем романе «Подсолнечник» писательница ответила, что он должен явиться продолжением ее романа «Кактус».

ЛИВАН

ПЕРЕВОДЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГАССАНА АЛЬ-КАНАФАНИ

В современной литературе палестинских арабов особое место принадлежит Гассану аль-Канафани — видному прозаику и деятелю палестинского Сопротивления, жившему в Ливане и погибшему от рук израильских террористов.

Как сообщает ливийский еженедельник «Аль-Мунтиджун», недавно в Риме вышел в переводе на итальянский язык роман аль-Канафани «Умм Саад». Издание романа осуществлено группой итальянских востоковедов. Ему предпослано обстоятельное введение, в котором рассказывается о жизни и творчестве палестинского писателя.

Рассказы и повести аль-Канафани, посвященные жизни и борьбе палестинского народа, публикуются не только в различных арабских странах, но и выходят в переводах на иностранные языки. Его произведения публиковались в Советском Союзе, ГДР, Японии.

МОНГОЛИЯ

Гравюра занимает важное место в современном монгольском изобразительном искусстве. Наиболее известны работы художника Д. Пушкина.
На снимке: гравюра Д. Пушкина «Новорожденный».

(Журнал «Монголия»)

ПОЛЬША

К ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ

В залы Варшавского королевского замка возвратились все сохранившиеся и спасенные во время войны произведения искусства и старинные предметы. В замке создана национальная галерея произведений Яна Матейко, отображающих важнейшие события польской истории.

В специальном зале хранится урна с сердцем Тадеуша Костюшко. Замковые залы были подготовлены к открытию 22 июля, в знаменательную дату — 35-летие народной Польши.

«ПОСЛЕДНЯЯ МАЗУРКА»

Так называется новый фильм известного польского режиссера Ванды Якубовской, знакомой советскому зрителю по фильму «Последний этап» о гитлеровском концентрационном лагере Освенцим. Фильм «Последний этап» был награжден «Гран при» на Первом международном кинофестивале в Карловых Варах и удостоен Премии мира Всемирного Совета Мира.

В основу нового фильма «Последняя мазурка» легла книга Тадеуша Голуя «Роза и пылающий лес», рассказывающая о жизни и деятельности выдающегося польского революционера Людвика Варыньского (1856—1889), основателя первой в истории революционной партии польского рабочего класса «Пролетариат».

Дворянин по рождению, Варыньский еще в годы учебы в Петербурге примкнул к студенческому движению, сблизился с революционными деятелями. Исключенный из Петербургского технологического института за участие в студенческих волнениях, Варыньский приезжает в Варшаву. Его цель — организовать молодежь Королевства Польского для борьбы против царизма. Он поступает на завод простым рабочим, чтобы ближе узнать жизнь трудового народа, и основывает первые кружки социалистов. Потом продолжает свою деятельность на территории Польши, находившейся под властью Австрии. Здесь его арестовывают по обвинению

На снимке: кадр из фильма «Последняя мазурка». В роли Людвика Варыньского — Томаш Грохочинский.

(Журнал «Фильм»)

в государственной измене. После выхода из тюрьмы Варыньский едет в Женеву, где встречается с русскими революционерами, с Плехановым и Верой Засулич, становится сотрудником ряда социалистических изданий. По возвращении в Варшаву из разрозненных социалистических и рабочих кружков создает партию «Пролетариат» и выпускает газету под тем же названием. Спустя год царские власти бросают его в тюрьму. Умер Варыньский в Шлиссельбургской крепости в возрасте тридцати трех лет, семь из которых он провел в заключении.

Фильм о Варыньском знакомит зрителей со многими людьми, вошедшими в историю польского и русского рабочего движения, с условиями, в которых им пришлось действовать.

Как отмечает польская печать, молодой актер Томаш Грохочинский, играющий роль Людвика Варыньского, создал достоверный образ пламенного революционера.

СИРИЯ

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ РЕБЕНКА

В связи с Международным годом ребенка организации, ведающие вопросами культуры в Сирии, осуществили немало мероприятий. Министерство культуры Сирийской Арабской Республики издало ряд оригинальных и переводных сборников рассказов и стихов для детей. В издании книг для детей принял участие и Союз арабских писателей, посвятивший специальный номер своего журнала «Аль-Маукиф аль-адаби» детской литературе. Критик Самар Рухи аль-Фейсал подготовил к печати книгу о развитии детской литературы в Сирии за последние десятилетия.

Среди книг для детей, опубликованных сирийскими писателями, критика особо отмечает сборник рассказов Ясина Рифаийи «Птицы ищут родину». Как пишет критик аль-Фейсал в журнале «Ас-Сакафа аль-арабийя», в сборнике одиннадцать рассказов. Эти рассказы, в качестве героев которых выступают в основном птицы и звери, способствуют, по мнению критика, воспитанию в детях чувства коллективизма, любви к родине и ее природе. В них содержится призыв к борьбе за свободу и за единство всех арабов. «Птицы ищут родину» — первая книга Я. Рифаийи, написанная специально для детей.

По случаю Международного года ребенка молодежная организация «Пионеры Баас» провела конкурс на лучший рассказ для детей. Из ста рассказов, поступивших на конкурс, лучшими были признаны двенадцать произведений начинающих авторов. Победившие на конкурсе рассказы были изданы отдельными книжками. Два из них — «Как поймали волка» Джуманы Нуаман и «Письмо моему сыну» Саида Абуль-Хасана — министерство просвещения решило включить в программу школьного обучения.

США

АЗИМОВ, «ОПУС 200»

В США одновременно вышли две книги известного американского писателя Айзека Азимова «Памятные годы юности» и «Опус 200». Их выход ознаменовал своеобразный юбилей — публикацию двухсотой книги Азимова, чье творчество пользуется популярностью во многих странах мира, в том числе в СССР.

Азимов родился в селе Петровичи, в районе Гжатска. И, как он пишет в автобиографической книге «Памятные годы юности», «сохранил наивную гордость, что родился неподалеку от места, где родился первый человек, облетевший Землю,— Юрий Гагарин, наверное, столь же абсурдную, как и гордость человека, родившегося в Цинциннати, неподалеку от Огайо, где родился первый человек, ступивший на Луну».

Трехлетним ребенком, говорится в книге, Азимов попал с родителями в Америку. Он вырос в Бруклине, в Нью-Йорке, городе, где живет и сегодня. Необычайно рано проявившиеся способности заставили родителей прибавить ему год, чтобы его поскорее взяли в школу. Уже в юности он начал писать фантастические рассказы, но его первый роман «Камешек в небе» вышел только в 1950 году, когда Азимову было уже тридцать лет.

Все книги Азимова — образец талантливой популяризаторской деятельности в различных областях современного знания: физике, биохимии, лингвистике, истории, культуре в широком смысле этого слова. И вслед за потоком фантастики 50-х годов центральное место в творчестве Азимова заняли книги именно этого характера.

По свидетельству рецензента газеты «Интернэшнл геральд трибюн», жизнь Азимова не отмечена выдающимися событиями, но книга примечательна тем, что она знакомит читателя с характерным явлением нашего времени, феноменом Азимова — творчеством человека, отдавшего свой талант популяризации специального научного знания, распространению новых научных идей своего времени. И в этом смысле, по мнению рецензента, двухсотая его книга «Опус 200», объединяющая лучшие произведения писателя, удачно дополняет его автобиографическую книгу «Памятные годы юности».

ФРАНЦИЯ

«ЛИТЕРАТУРА ДАЛЬНИХ ДОРОГ»

Имя Клода Прево известно советским читателям по его работам, опубликованным на русском языке в сборниках «Судьбы романа» (М., 1975) и «Ленин и марксистская литературная критика за рубежом» (М., 1977). Его статьи часто появляются в «Юманите» и других французских коммунистических изданиях; он сотрудничает также в журналах ГДР —

«Ваймарер байтреге», «Зинн унд форм».

Новая книга Клода Прево, появившаяся в издательстве «Эдитёр франсе реюни», называется «Литература дальних дорог». Смысл этого названия не только в том, что ряд статей, входящих в книгу, посвящен писателям не французским. По мысли автора, настоящая большая литература всегда — открытие нового, она расширяет умственные горизонты читателя и уже в этом смысле «зовет в дорогу».

Рецензент «Юманите» Жан-Пьер Леонардини, высоко оценивая книгу, отмечает прежде всего широту творческого кругозора автора. Среди современных французских писателей Клоду Прево особенно дорог Арагон, которому он не раз посвящал серьезные работы; в то же время он впервые открыл многим читателям творчество М. Юрсенар, Ж. Гракка, оригинального прозаика — алжирца Р. Буджедры. В книгу входят статьи о писателях других стран, таких, как У. Фолкнер или А. Карпентьер. Прево тесно связан своими творческими интересами с литературой ГДР: он глубокий знаток творчества Анны Зегерс, он говорит также о Г. Канте, К. Вольф, Ф. Брауне, Г. де Бройне, Э. Панице, Х. Шюц.

Предмет постоянного внимания Клода Прево — советская художественная проза. По словам рецензента, ни один французский критик не пишет о литературе СССР так систематически, с такой живой заинтересованностью. В новой книге идет речь о творчестве И. Бабеля, К. Паустовского, Ч. Айтматова, К. Симонова, В. Быкова, Ю. Бондарева, В. Шукшина. Критик продолжает знакомить своего читателя с новинками советской прозы, появляющимися во французских переводах: совсем недавно появилась в «Юманите» его новая статья, на этот раз о произведениях В. Тендрякова.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ГОРЯЧЕЕ СЛОВО ЮЛИУСА ФУЧИКА

Издательство «Млада фронта» выпустило в свет сборник публицистических газетных выступлений Юлиуса Фучика «Обыкновенный капитализм». Здесь представлены политические статьи и комментарии, репортажи, литературные рецензии, публиковавшиеся в разное время в «Творбе», «Гало-новинах», «Руде право» и других изданиях. Материалы сборника очень разнообразны по тематике и жанрам, единство им придают четкая политическая позиция автора и поставленная им перед собой задача — разоблачение чешской буржуазии, ее связей с немецким фашизмом, ее измены собственному народу.

Известный чешский критик Гана Грзалова, рецензируя сборник в журнале «Литерарни месичник», раскрыла его многосторонний интерес для молодого читателя. Сборник даст молодежи конкретное представление об обстановке в стране и в мире в период между двумя войнами, поможет разобраться в политических событиях.

По мнению Г. Грзаловой, сборник «Обыкновенный капитализм» — свидетельство боевого характера чешской предвоенной рабочей печати вообще, ее высокого профессионального уровня, «когда талант и остроумие сочетаются со знанием и марксистской принципиальностью».

Исполнилось 160 лет со дня рождения выдающегося американского поэта Уолта Уитмена. Газета «Дейли уорлд» отметила юбилей У. Уитмена перепечаткой лучших его стихотворений из сборника «Листья травы».
На снимке: Уолт Уитмен в молодости.

(Газета «Дейли уорлд»)

Авторы этого номера

НИКОЛА ВАПЦАРОВ (1909—1942).

Выдающийся болгарский поэт, продолжатель традиций революционной поэзии Х. Ботева и Х. Смирненского. Был расстрелян фашистами 23 июля 1942 года. Посмертно, в 1952 году, ему присуждена Международная премия мира. Стихи Н. Вапцарова неоднократно издавались на русском языке. О нем см. публикацию «Борьба, как говорят, эпична...» в этом номере журнала и статью Н. Федоренко «Вапцаров: поэтическая ступень в грядущее» (№ 9, 1979).

Публикуемые стихи взяты из его сборника «Песни мотора» (1940).

ВИНОКУРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1925 г.).

Советский поэт. Автор более 30 книг стихов. Его основные поэтические сборники: «Стихи о долге» (1951), «Синева» (1956), «Лицо человеческое» (1960), «Слово» (1962), «Музыка» (1964), «Характеры» (1965), «Ритм» (1966), «Зрелища» (1968), «Метафоры» (1972), «В силу вещей» (1973), «Контрасты» (1975), «Жребий» (1978). Его книги переведены на многие иностранные языки. Е. Винокуров — лауреат Международной премии имени Дж. Неру за цикл стихов о Р. Тагоре и работу «Философская лирика Тагора».

СЭНГИЙН ЭРДЭНЭ (род. в 1929 г.).

Монгольский поэт и прозаик, лауреат Государственной премии. Автор книг стихов «Когда едешь по степи» (1949), «Весенняя лирика» (1956), сборников прозы «Когда приходит весна» (1959), «У самого горизонта» (1963), «Рассказы» (1966), «Дневная звезда» (1969) и др.

На русский язык переведены его повести «Жители реки Салхит», «Год синей мыши» («ИЛ» № 11, 1974), рассказы и новеллы С. Эрдэнэ неоднократно печатались в советской периодике, в том числе в «ИЛ» (№ 3, 1978).

Рассказ «О чем шепчет ветер Родины» взят из собрания сочинений С. Эрдэнэ (Улан-Батор, 1976).

САНЖИЙН ПУРЭВ (род. в 1941 г.).

Монгольский писатель. Работал шахтером в г. Налайхе. Литературным творчеством занимается с 1963 года. Автор рассказов, сборника повестей «Горное эхо» (1971). В последние годы вышли его повести «Осень в горах» (1976), «Вера» (1977), «Мир идет за солнцем» (1978). В 1979 году С. Пурэв окончил Высшие литературные курсы при Московском Литературном институте им. А. М. Горького.

Рассказы С. Пурэва взяты из газеты «Утга зохиол урлаг» (Улан-Батор, 1978).

ДАМБЫН ЦЭМБЭЛ (род. в 1945 г.).

Монгольский поэт и прозаик. Дебютировал в начале 70-х годов как поэт-переводчик и новеллист. Автор романа «Зеленый цветок» (1979). Переводил на монгольский язык стихи Р. Гамзатова, Е. Евтушенко, Д. Кугультинова, К. Эрендженова. Стихи и рассказы Д. Цэмбэла в переводе на русский язык печатались в периодической печати.

Рассказ «Последний выстрел» получен редакцией в рукописи.

ДОРЖИЙН ГАРМА (род. в 1932 г.).

Монгольский писатель, киносценарист. Начал печататься в конце 50-х годов. Автор сборников рассказов и повестей «Метель», «Разбитый кувшин», киносценариев «Мне бы коня», «Пора кукования». В последние годы вышли повести «Горячее дыхание» (1976), «Дедушкино солнце» (1976), роман «Голубые туманы тайги» (1977).

На русский язык переведен роман «Белый источник» и книжка рассказов для детей «Веселые повести», рассказы печатались также в антологиях и периодике.

Рассказ «Ононская переправа» взят из одноименного сборника рассказов (Улан-Батор, 1973).

ЖАМЬЯНГИЙН ГАЛ (род. в 1937 г.).

Монгольский прозаик. Кандидат биологических наук, научный сотрудник АН МНР. Литературным творчеством занимается с 1957 года. Автор приключенческих повестей «Свидетель великого крушения», «Золотая

Гоби», «Наводнение». На русский язык переводится впервые.

Рассказ «Голубой архар» взят из его сборника «Нежный цветок среди тысяч гор» (Улан-Батор, 1975).

■

В предлагаемой подборке стихов «Молодые поэты Панамы» представлены:

АГУСТИН ДЕЛЬ РОСАРИО — AGUSTÍN DEL ROSARIO (род. в 1945 г.).

Панамский поэт и драматург. Автор двух поэтических тетрадей (одна из которых удостоена Национальной литературной премии 1971 г.) и нескольких пьес. Востоковед и литературный критик.

Публикуемые стихи были напечатаны в его сборниках «Тихая река» («El río mansamente», 1971) и «Заинтересованная сторона» («De parte interesada», Universidad de Panamá, 1972).

■

БЕРТАЛИСИЯ ПЕРАЛЬТА — BERTALICIA PERALTA (род. в 1939 г.).

Панамская поэтесса, новеллист и литературный критик. Автор многих поэтических сборников.

Стихи Б. Перальты взяты из ее книг «Гимн радости» («Himno a la Alegría», Universidad de Panamá, 1973) и «Книга басен» («Libro de las fábulas», 1976).

■

ПЕДРО КОРРЕА ВАСКЕС — PEDRO CORREA VÁSQUEZ (род. в 1955 г.).

Панамский поэт и новеллист, переводчик. Автор трех поэтических сборников и книги рассказов.

Публикуемые стихи взяты из его сборников «Десять заповедей с комментариями» («Decálogo carnal con comentarios», 1973) и «Начало темной симфонии» («Principio de oscura sinfonía», Universidad de Panamá, 1975).

В разделе «Критика» этого номера публикуется статья Педро Корреа Васкеса «Дом, с которого все начинается (Заметки о молодой панамской поэзии)».

■

МИКЛОШ РАДНОТИ — RADNÓTI MIKLÓS (1909—1944).

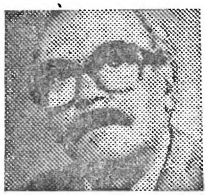
Венгерский поэт. Автор многих книг стихов. В 1944 году расстрелян гитлеровцами.

Первое полное собрание стихотворений М. Радноти, включавшее и стихи, найденные при эксгумации, издано в 1948 году. С тех пор собрания его стихотворений и переводов выходили неоднократно.

Подробнее о нем и его творчестве — во вступлении Е. Малыхиной.

Публикуемые стихи М. Радноти взяты из полного собрания его стихотворений (R. M. Összes versei. Budapest, 1963).

■



САМОЙЛОВ ДАВИД САМУИЛОВИЧ (род. в 1920 г.).

Советский поэт и переводчик. Начал печататься в 1941 г. Автор книг стихов «Ближние страны», «Второй перевал», «Дни», «Волна и камень», «Весть». Переводит с польского, венгерского языков и языков народов СССР. Книги Д. Самойлова переведены на многие иностранные языки.

■

МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА — MARIO VARGAS LLOSA (род. в 1936 г.).

Перуанский писатель, лауреат многих литературных премий. Советским читателям М. Варгас Льоса знаком по переведенным на русский язык его романам «Город и псы», «Зеленый дом», «Пантелеон и посетительницы».

Перу М. Варгаса Льосы принадлежат также сборник рассказов «Начальники» («Los jefes», 1958), повесть «Щенки» («Cachorros», 1967), роман «Беседы в кафедральном соборе» («Conversación en la Catedral», 1970), пьесы и несколько эссе.

До недавнего времени М. Варгас Льоса был президентом Международного ПЕН-клуба.

В этом номере мы начинаем публикацию перевода нового романа писателя «Тетушка Хулия и писака» («La tía Julia y el escribidor», по изданию Editorial Seix Barral, S.A., Barcelona, 1977).

■

НОВИКОВА ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА

Советский переводчик, искусствовед. В ее переводах печатались произведения Хуана Боша (Доминиканская Республика), Доры Алонсо (Куба), Хуана Рульфо (Мексика), Альфонсо Лопеса Микельсена (Колумбия), Хуана Карлоса Онетти (Уругвай). Автор работ, посвященных творчеству мексиканского художника Давида Альфаро Сикейроса, бразильского художника Кандидо Портина-

ри, очерков о театре и кинематографе Латинской Америки.

■

МАЙК ДЭВИДОВ — MIKE DAVIDOW (род. в 1913 г.).

Американский журналист, драматург, общественный деятель, несколько лет был московским корреспондентом американской газеты «Дейли уорлд», органа Компартии США.

Публикуемая статья получена в рукописи.

■

ЖАН ФРАНСУА БРИЕР — JEAN FRANÇOIS BRIERRE (род. в 1909 г.).

Гаитянский поэт, прозаик, драматург, общественный деятель, ветеран афро-азиатского писательского движения. Живет в изгнании в Сенегале. Автор ряда исторических драм в стихах, нескольких поэм, в числе которых «Истоки» («La Source», 1956), «Ночь» («La Nuit», 1956), «Золото, уран, медь, радий» («Or, Uranium, Cuivre, Radium», 1961), «Открытия» («Decouvertes», 1966), книги «Другой мир», посвященной Советскому Союзу («Un autre Monde», 1973), сборника стихов «Картинки из глины и золота» («Images d'argile et d'or», 1977), и других произведений.

Стихи и поэмы Ж. Ф. Бриера неоднократно печатались в Советском Союзе в книгах и периодике, в том числе в «Иностранной литературе» (поэма «Черная душа» — № 1, 1960, отрывок из поэмы «Письмо Ленину» — № 10, 1970).

Статья «Если крик ранит птицу...» получена от автора в рукописи.

■

ЯНУШ КРАСИНЬСКИЙ — JANUSZ KRASIŃSKI (род. в 1928 г.).

Польский прозаик, публицист, драматург. Автор повестей, сборников рассказов и репортажей, пьес для радио и телевидения.

Рассказ «Дырка в занавесе» взят из журнала «Диалог» (№ 8, 1977).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва Ж-17, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

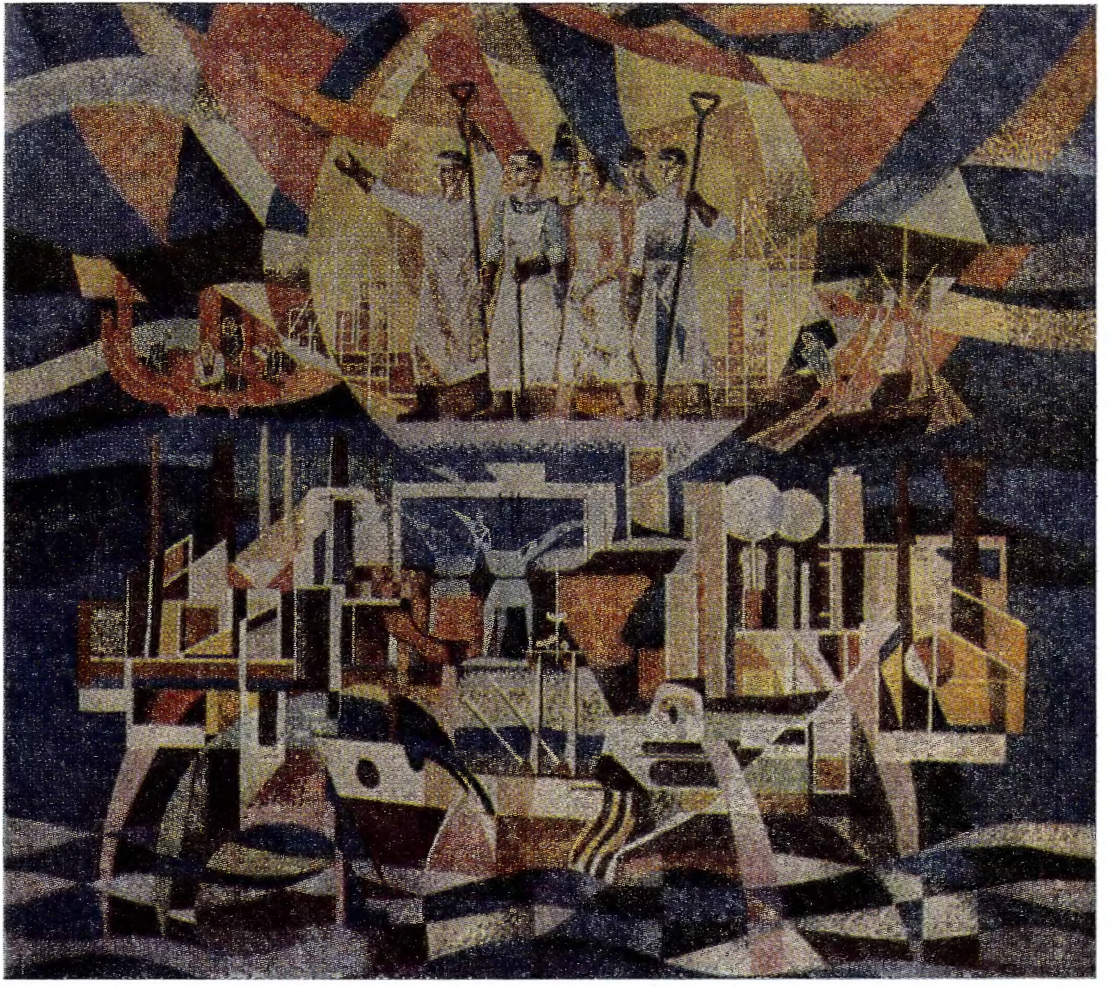
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/IX 1979 г. А03357. Подписано в печать 17/X 1979 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9 бум. л.= 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 28,45.

Тираж 686 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 3026.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



СПИРУ КИНТИЛЭ. Румыния.
Мозаика.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394